Институт этнологии и антропологии
Российской академии наук

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ
В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Коллективная монография

Москва 2022

УДК 39+323.1+93
ББК Т501
С56

DOI: 10.33876/978-5-4211-0296-0/1-556

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-09-43116 «Советская этнография в истории государственного строительства и национальной политики СССР»

Рекомендовано к изданию ученым советом Ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

Ответственный редактор: д. и. н. М. Ю. Мартынова
Рецензенты: д. и. н. Н. Ф. Мокшин, д. и. н. Н. А. Томилов

Советская этнография в истории государственного строительства и национальной политики: кол. монография / М. Ю. Мартынова, В. А. Тишков [и др.]; отв. ред. М. Ю. Мартынова. — Москва: ИЭА РАН, 2022. — 556 с.

ISBN 978-5-4211-0296-0

В фокусе внимания авторов — роль научной составляющей, а именно науки о народах (этнологии, точнее по терминологии того времени — этнографии) в нациестроительстве советской эпохи, ее прикладное значение и практические функции. Исследуется влияние ученых на практики управления государством и динамику жизни населяющих его народов в период существования СССР. Изучение взаимодействия науки и политики базируется на анализе концептуальных подходов и различных сюжетов, связанных с «национальным вопросом» (вклад обществоведов в формулировку критериев этнической идентичности, взаимодействие языковых и хозяйственно-географических вопросов с этническим фактором, организация всеобщих переписей, формирование музейных экспозиций и т. д.). Дается обстоятельный обзор региональной историографии, а также характеризуется исследовательский инструментарий советской этнографии. Авторы задаются вопросом, какова роль проектной деятельности людей в историческом процессе, значимость реализации целенаправленных планов и программ усилиями государств, больших коллективов и отдельных личностей.

УДК 39+323.1+93
ББК Т501
ISBN 978-5-4211-0296-0

© Институт этнологии и антропологии РАН, 2022
© Коллектив авторов, 2022

Содержание

Введение. Наука и национальная политика государства **4**

Часть I
КОНСТРУИРОВАНИЕ СОВЕТСКОСТИ: ИДЕИ И ГЕРОИ

Глава 1. Этнография в российской академической традиции **16**
Глава 2. Наука о народах и нациестроительство первых десятилетий советского государства **44**
Глава 3. Послевоенный этап развития отечественного народоведения и его концептуальные подходы **68**
Глава 4. Ю. В. Бромлей и позднесоветская этнография **79**

Часть II
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС» И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 5. Этнографы и малочисленные народы Севера и Сибири в контексте советской этнонациональной политики **91**
Глава 6. Научные этнографические центры Западной Сибири в XX в. Традиции и новации эпохи больших перемен **158**
Глава 7. Дальний Восток как объект этнографических исследований **196**
Глава 8. Советское кавказоведение **217**
Глава 9. Советское этнографическое финно-угроведение **262**
Глава 10. Карелия в этнологических исследованиях **293**
Глава 11. Народы Поволжья и казанская этнографическая школа **341**
Глава 12. Советские этнографы-славянофилы: В. А. Александров, М. М. Громыко, И. В. Власова **366**

Часть III
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ: ИДЕОЛОГИЯ И НАУКА

Глава 13. Конкретно-социологические исследования и этносоциология . **435**
Глава 14. Изучение рабочего быта и городская этнография **473**
Глава 15. Этнографическое музееведение в аспекте теории и практики советского нациестроительства **491**
Глава 16. Поздний СССР и советская этнография. Антропологический анализ в контексте личного опыта В. А. Тишкова **521**

Введение

Наука и национальная политика государства

Коллективная монография стала итогом работы по научному проекту, поддержанному Российским фондом фундаментальных исследований и Российским историческим обществом в рамках конкурса «Советская эпоха: история и наследие (к 100-летию образования СССР)». Проект посвящен анализу особенностей взаимодействия науки о народах (этнологии, точнее, по терминологии того времени — этнографии) и советской национальной политики, изучению роли отечественной этнографии в судьбе нашей страны. С одной стороны, очевидна обусловленность предметного поля научных исследований установками, вытекающими из директивных положений государства той ушедшей в историю эпохи. В то же время для теоретико-концептуального понимания места социального фактора в науке важно оценить степень влияния российских ученых на практики управления государством и разнородную динамику жизни составляющих ее народов в период существования СССР.

Целью работы является исследование вклада экспертной (этнологической) составляющей в нациестроительство советской эпохи, прикладного значения научного знания и его практических функций. Рассмотрение развития науки в контексте политики базируется на анализе различных сюжетов, связанных с «национальным вопросом» (организация всеобщих переписей, вклад обществоведов в формулировку критериев этнической идентичности, взаимосвязь языковых и хозяйственно-географических вопросов с этническим фактором, подходы к формированию музейных экспозиций и т. д.).

Авторы размышляют о степени значимости проектной деятельности людей в историческом процессе, о роли реализации целенаправленных планов и интеллектуальных программ усилиями государств, больших коллективов и отдельных личностей. Эта одна из форм социального творчества недооценивалась поборниками онтологической природы человеческих деяний и глубоких исторических закономерностей, согласно которым большие события не могут быть результатом малых причин и субъективистских, личностных устремлений. Напомним, что так называемые большие проекты всегда были в арсенале человеческой истории, в том числе в России. К таким судьбоносным проектам относится конструирование наций и государственное строительство. Как отмечал в 1918 г. выдающийся российский ученый и политик, академик Российской академии наук по Отделению истории и филологии П. Б. Струве, «нация конструируется и создается национальным сознанием» [*Струве* 1990: 247].

Фундаментальной является проблема, в какой мере многоэтничность огромного государства обусловила его развитие «мимо» идеи национального государства, или же как политика и наука возвели этнический фактор на уровень «национального вопроса» и тем самым стали препятствием своего рода нормативному подходу к государствостроительству. В монографии обосновывается значимость науки при разработке государственной поли-

тики, в данном случае миссия этнографов в государственной национальной политике. В сопоставлении с советским проектом нациестроительства становятся очевиднее возможности этнологии и перспективность ее роли в современной России для формирования российской идентичности, выработки механизмов миграционной политики, адаптации детей мигрантов и т. д.

Этнокультурный компонент составлял важную часть политики государства на протяжении всего периода существования СССР. Курс на формирование общесоветского единства проводился на основе большевистской идеологии и социально-экономического, политического и культурного развития всех народов, обеспечения их социального равенства. Переход к советской общегражданской идентичности сопровождался изменением элементов этнонационального самосознания, социальной структуры народов, их быта и ценностных ориентаций.

При размышлении над противоречивыми последствиями советского этнического проекта важным оказывается вопрос о его академической составляющей. Анализ развития этнологической науки приводит к выводу, что наука и прежде всего академическая этнология, с первых лет советской власти оказалась вовлеченной в большой идеологический план «решения национального вопроса» на основе национального (читай — этнического) самоопределения и дружбы народов, во многом создав эмпирическую и теоретическую базу для «социалистического нациестроительства» не на гражданской, а на этнической основе. После победы советской власти в Гражданской войне и ее «триумфального шествия» на первое место в государственной (национальной) политике вышли вопросы землеустройства и восстановления экономики, социальной помощи населению, образования и культуры. Их этнокультурный аспект включал в себя помощь разоренным окраинам, подготовку «национальных кадров» для всех областей хозяйственной и общественной жизни, создание органов власти, совмещающих централизованное начало и этнонациональное представительство.

Проблемы «политики коренизации», «социалистического национально-государственного строительства» и формирования советского народа как «нового типа исторической общности людей» — все эти темы требовали научного обоснования и осмысления. Этнографическое знание оказалось востребованным в государственной политике, например, при подготовке переписей населения страны, оно давало материал различным комиссиям при определении государственных границ и т. д. Этнографам в те годы предписывалось изучение становления социализма в быту различных народов и расцвета их культуры. В этнографах (по их собственным высказываниям) видели не только ученых, исследующих культуру народов, но и защитников их интересов, активных просветителей, проводников знаний и прогресса. С этими целями в различных регионах страны были развернуты масштабные экспедиционные исследования. Докладные записки в государственные

структуры по результатам экспедиций были в советское время востребованным жанром научного творчества.

В СССР «национальный вопрос» был возведен в ранг большой теории и фундаментальной политики. Ни одно национальное обществоведение в своей научной номенклатуре не отвело так называемой теории нации и национального вопроса того особого места, которое она заняла в советском обществоведении. Во всех вузах существовали соответствующие кафедры, для которых в огромном количестве готовились специалисты. Преподавание названных дисциплин было обязательным для всех факультетов всех вузов. В библиотеках страны под рубрикой «Национальная политика КПСС» стояли многочисленные каталожные шкафы с названиями книг, брошюр и авторефератов диссертаций. В стране была группа известных теоретиков (некоторые из них здравствуют и работают поныне), которые создавали не только фундаментальные сочинения на данную тему, но и разработки для очередных партийных съездов и документов. Этот раздел всегда присутствовал в отчетных докладах и в программах партии и отражал определенную динамику государствостроительства. Научные сотрудники, в том числе и академические, с энтузиазмом комментировали решения и высказывания руководителей государства и КПСС по развитию национальных отношений, хотя зачастую сами были их авторами.

Ученые виделись властью в качестве проводников «культурной революции» и акторов госполитики в сфере народного образования и администрирования субъектов федерации с местным населением. Инструментами, видами и формами исследовательских процедур стали анкетирование, экспедиционные выезды и экспертные оценки на местах расселения изучаемых этнических групп. Результатом стали полевые работы и издания, выполненные по заданиям Комиссии по изучению племенного состава населения СССР, Института народов Советского Востока, центрального Музея народоведения и иных научных институций.

С самого начала в советской этнической политике наметились две тенденции. Одна стремилась учесть сложную этническую структуру населения, интересы этногрупп и их элит, определить подходы к федерализации государства и его аппарата, другая — найти механизмы концентрации в центре функций контроля и унификации культурной сферы для реализации стратегических целей новой власти. В конечном итоге все решали основанная на грубой силе и пропаганде политическая импровизация и соотношение сил участников политической борьбы и социально-экономического строительства.

Регулирование межэтнических отношений всегда было важной задачей и вместе с тем камнем преткновения для советской власти. Долгосрочный исторический эксперимент по строительству в СССР федерального государства на этнической основе требовал постоянного осмысления и теоретического анализа. У этого воплощавшегося на практике концепта были

как реально-историческая подоплека, так и политико-идеологические последствия. Теория и методика привязывания этничности к территории, казалось бы, представляла и до сих пор представляется более чем интересным и вполне нейтральным занятием. Однако на ее основе в истории нашей страны было осуществлено множество не только полезных, но и бессмысленных, даже разрушительных для государства практических дел, идеологических кампаний, не говоря уже о бесчисленных общественных дебатах и открытых конфликтах.

Задача выявить и классифицировать «племенной состав населения» была поставлена властью еще до Октябрьской революции. С инициативой осмыслить и представить этнический фактор в политико-государственном измерении выступила Российская академия наук. Образованная во время Первой мировой войны для выяснения границ расселения различных этнических общностей в Латвии, Польше, Галиции, Буковине и в пограничной части Азиатской России и составления этнических карт этих регионов, Комиссия по изучению племенного состава населения России (КИПС) сразу после Октябрьской революции осуществила важнейшее не только для этнологической науки, но и для политики государства и даже для его устройства «интеллектуальное предприятие», а именно — она положила на карту сложную этническую мозаику населения Российского государства, а затем СССР. В 1925 г., в связи с предстоящей переписью населения СССР, в КИПС была образована подкомиссия по подготовке к всеобщей переписи. Эта подкомиссия начала заниматься проблемами проведения демографической, сельскохозяйственной, промысловой переписей. Был разработан вопрос об учете племенного состава населения СССР и составлен список народностей СССР. Как пишет А. В. Псянчин, «деятельность Комиссии по изучению племенного состава населения России (а затем — СССР) как ведущего академического центра в системе Академии наук сыграла важнейшую роль в развитии советской этнографии, а также этнической картографии (как тематического вида картографии) в первой половине XX в.» [*Псянчин* 2008: 52].

Созданный в 1918 г. Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац) занимался культурно-языковыми запросами населения и его общим просвещением. Именно эта структура в начале 1920-х гг. стала центром общения центральной власти с региональными местными этноэлитами, добивавшимися разной степени политического самоопределения, зачастую в его сепаратистском варианте. Сотрудники Наркомнаца, в свою очередь, нащупывали и применяли разные способы и инструменты этнополитики, во многом ставшие затем общим достоянием институтов власти.

В дальнейшем, на протяжении всего периода существования советского государства этнический фактор в политике был актуален и значим. Иерархизация этнополитической структуры общества потребовала более четкого определения статуса меньшинств и их места в административно-

территориальной системе СССР. Осуществлялось масштабное этнотерриториальное структурирование регионов. Создание сельских советов для этнических меньшинств власть рассматривала как один из главных результатов решения национального вопроса в СССР. В 1920–1930-е гг. происходили многократные административно-территориальные изменения: вместо губерний и округов создавались области и их районирование, шел обмен территориями между субъектами федерации, создавались новые этнотерриториальные образования, менялся их статус. В начале 1930-х годов этнографы разрабатывали проблему, связанную с социалистической современностью, — новый быт крестьянства разных национальностей, изучались вопросы труда и быта колхозного крестьянства и рабочих.

Одним из очевидных и драматических проявлений национального самосознания народов Советского Союза был их патриотизм в годы Великой Отечественной войны. Представители всех народов общей для них Родины встали на ее защиту и внесли вклад в победу над нацизмом. Вместе с тем, мрачной страницей истории многонационального Советского государства стала депортация ряда народов, необоснованно обвиненных в предательстве. Тема народа и патриотизма в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. была многократно освещена в исторических исследованиях.

Послевоенный период в истории советского народа — время сложных и противоречивых процессов, которые до сих пор были на периферии внимания профессиональных исследователей. Но это время заслуживает своего анализа, в том числе и с точки зрения процессов в сфере общественного сознания. В 1961 г. на XXII съезде КПСС была изложена идея формирования «советского народа», которая через несколько лет обрела более «изящное», но научно несостоятельное добавление «как нового типа исторической общности людей».

Значима была роль ученых в ходе подготовки переписей населения. Так, для переписи 1989 г. в СССР был разработан список из 800 возможных этнических самоназваний, которые могли встретиться в переписи. После опроса все ответы 250-миллионного населения были сгруппированы в 128 категорий. Поэтому именно столько получилось «народов СССР». В целом позитивный советский опыт государственной фиксации этнического состава населения (нам он представляется более демократичным, чем заранее определенные в само́м опросном листе расовые или кастовые категории, по которым расписывались жители США и Индии во время переписей), тем не менее не решал ряд важных вопросов, связанных с более тонким подходом к самому феномену этничности и с теми демократическими преобразованиями, которые стали происходить в стране с конца 1980-х гг.

В последующие годы развивалась тема приоритета в республиках прав «коренных наций», «титульных наций», обыгрывалась проблема соотношения этих прав с правами этнических меньшинств, говорилось об экономи-

ческой самостоятельности республик. Научный мир не оставался в стороне от этих злободневных для страны вопросов. Например, к пропаганде «республиканского хозрасчета» подключились некоторые московские ученые. В то время некоторые сотрудники ИЭА (О. И. Шкаратан и Л. С. Перепелкин) всерьез утверждали, что этносы являются субъектами экономических отношений и поэтому последние должны строиться по этническому принципу, в виде «этнических экономик» [*Перепелкин, Шкаратан* 1989: 32–48; см. также *Чешко* 2014].

При создании и первоначальном устройстве СССР был запущен в действие механизм производства этнонационализма — как принцип организации государства и общества и как мировоззренческая норма. Этот механизм привел к формированию социальных групп, интересы которых могли реализоваться именно через национализм, породил многообразные противоречия между «нациями и народностями», которые он же во многих случаях и создал. В этнополитическом аспекте советская общественная система была столь же многообразной и противоречивой, как и ее социально-политические основы. Этнонационализм, не последнюю роль во взращивании которого сыграло само советское государство, национальные движения стали особенно значимыми на закате существования СССР.

Размышления о роли этнографической науки в жизни государства под углом взаимодействия науки и власти и более широко — о роли науки в развитии ситуации в стране и в ее регионах нашли отражение в данной коллективной монографии. Переходя к более детальному обзору ее содержания, обратим внимание тот факт, что ученые в советские годы активно рассуждали о прикладной роли этнографических исследований. Например, в 1980-е годы Ю. В. Бромлей популяризировал мысль о возможностях использования этнографических знаний и работы этнографов в качестве экспертов [*Бромлей* 1985], а М. Н. Губогло выступил с предложением о создании Всесоюзного центра научно-прикладных исследований национальных процессов [*Губогло* 1989]. Э. А. Паин обратил внимание на прикладные аспекты изучения сельских поселений в целях оптимизации систем расселения [*Паин* 1985]. В. В. Пименов, думая о практическом применении этнографических знаний, отмечал, что «сама возможность прикладной функции этнографии прояснится лишь в том случае, если эта наука перестанет трактоваться, как только историческая, а будет рассматриваться также как одна из существенных сторон науки об управлении, включающей прогнозирование и планирование». Он считал принципиальным такой подход [*Пименов* 1986: 4].

Свое видение роли этнографических знаний для государственной политики дают и современные исследователи, как отечественные, так и зарубежные советологи [см., например: *Алымов* 2021; *Абашин* 2008; *Чешко* 2014; *Martin* 2001; *Rawski* 2017 и др.]. Американская исследовательница Фрэнсис Хирш в вышедшей в 2005 г. на английском, а в 2022 г. в переводе на русский

язык монографии «Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза», в частности, излагает мысль, что «именно от экспертов, имевших дореволюционную подготовку и опиравшихся на западноевропейские идеи, зависели в 1920–1930-е годы конкретные формы государственной политики в отношении тех или иных народов. На основе обширных архивных исследований автор показала, как посредством планирования и проведения переписей, картографирования, создания музейных экспозиций общие идеи большевиков кристаллизовались в политические решения» [*Хирш* 2022; см. также *Абашин* 2006].

Взгляд на события относительно недавнего исторического прошлого нашей страны сквозь призму современных идеологических и методологических реалий породил многогранный спектр еще не осмысленных научных вопросов, находящихся в компетенции этнологов/антропологов и связанных с развитием их исследовательского поля, в т. ч. и на перспективу. Поиск актуальных ответов при написании данного труда стимулировал кооперацию ученых из разных научных центров и регионов России. Исследование было спланировано таким образом, чтобы охватить разноплановые тематические направления и подходы. Авторами был осуществлен интерпретативный анализ целого ряда типичных для советского времени траекторий, проанализированы культурные структуры и механизмы научного сопровождения процесса формирования ценностей и символов советского общества.

Монография состоит из трех частей, разбитых на главы. Часть I «Конструирование советскости: идеи и герои», построенная по хронологическому принципу, содержит аналитику развития отечественной этнографии (по терминологии того времени) с учетом ключевых векторов национальной политики. В главе 1 «Этнография в российской академической традиции» (автор член-корр. РАН А. В. Головнев, Санкт-Петербург, Кунсткамера) показаны «искания и достижения российской этнографии на поприще этничности» в XX в., когда, как пишет автор, «„национальный вопрос“ сыграл ключевую роль в революции и строительстве СССР, который был сконституирован как союз народов». В главе 2 (автор д. и. н. Т. Д. Соловей, Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова) детально рассмотрена наука о народах первых десятилетий советского нациестроительства, а в главе 3 дан обзор послевоенного этапа развития отечественного народоведения и его концептуальных подходов (автор д. и. н. В. В. Карлов, Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова). Глава 4 сфокусирована на т. н. «бромлеевском периоде» в этнографии, связанном с деятельностью академика Юлиана Владимировича Бромлея на посту директора Института этнографии АН СССР и имевшим место обновлением исследовательского арсенала, которые оказались значимыми для науки и практики того времени (автор д. и. н. В. В. Карлов, Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова).

Часть II «„Национальный вопрос“ и региональные исследования» состоит из глав 5–12, во многом являющихся историографическими очерками. В них в контексте национальной политики дается комплексный обзор научных этнографических направлений, разрабатывавшихся в разных частях страны в советское время. Отдельные главы посвящены изучению малочисленных народов Севера и Сибири (автор к. и. н. Е. А. Пивнева, Москва, ИЭА РАН); традициям и новациям эпохи больших перемен на примере Западной Сибири (автор д. и. н. И. В. Октябрьская, Новосибирск, ИАЭТ СО РАН) и Дальнего Востока (авторы к. и. н. Г. Г. Ермак и д. и. н. А. Ф. Старцев, Владивосток, ИИАЭ НДВ ДВО РАН). Далее следуют главы о советском кавазоведении (авторы д. и. н. З. В. Канукова и д. и. н. И. Т. Цориева, Влаликавказ, СОИГСИ ВНЦ РАН), советском этнографическом финно-угроведении (авторы д. и. н. А. Е. Загребин, Ижевск, УдГУ, ИЯЛИ ФИЦ КОМИ НЦ УрО РАН, и к. и. н. В. Э. Шарапов, Сыктывкар, ИЯЛИ ФИЦ КОМИ НЦ УрО РАН), об этнографических исследованиях в Карелии (автор д. и. н. И. Ю. Винокурова, Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН) и о Казанской этнографической школе (авторы к. и. н. Е. Г. Гущина и д. и. н. Т. А. Титова, Казань, КФУ), о советском славяноведении, в т. ч. исследовании русской темы (автор д. и. н. О. В. Кириченко, Москва, ИЭА РАН)[1].

В части III «Исследовательский инструментарий: идеология и политика» акцент сделан на злободневных для советского времени исследованиях, носивших во многом прикладной характер и имевших практическую значимость в сфере государственного управления. Ее открывает глава 13, рассказывающая о развитии конкретно-социологических исследований и этносоциологии (глава 13, к. и. н. Л. В. Остапенко, Москва, ИЭА РАН с использованием материалов М. Н. Губогло и Л. М. Дробижевой). Затем в аспекте теории и практики советского нациестроительства анализируются нарративы, касающиеся изучения рабочего быта и городской этнографии (глава 14, д. и. н. М. Ю. Мартынова, Москва, ИЭА РАН), этнографического музееведения (глава 15, д. и. н. И. А. Гринько, Москва, МГПУ и д. и. н. А. А. Шевцова, Москва, МПГУ).

Завершает монографию глава 16 «Поздний СССР и советская этнография», основанная на личном опыте взаимодействия с властными инстанциями академика В. А. Тишкова (Москва, ИЭА РАН), идеолога и автора концептуальных трансформаций антропологической науки, совпавших с периодом социальной турбулентности и политических импровизаций в стране и мире. В. А. Тишков делает вывод о противоречивом по своей сути и наследию воздействии этнографической науки советского периода на общественные процессы, включая и судьбу страны. Вместе с тем, нельзя

[1] Оговоримся, что вне исследовательского поля авторов данной монографии оказались работы, касающиеся территорий, не входящих в состав Российской Федерации.

не согласиться с его мнением, что в советском наследии, включая гуманитарную науку, было много позитивных моментов по части этнокультурного развития больших и малых народов СССР, формирования этнического самосознания. Это подтверждается в т. ч. и впечатляющей масштабностью научных исследований, которые анализируются на страницах данной коллективной монографии.

Литература

Абашин С. Н. Рец. на кн. F. Hirsch. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005. 367 p. // Этнографическое обозрение. 2006. № 2. С. 165–168.

Абашин С. Н. Этнографическое знание и национальное строительство в Средней Азии: проблема сартов в XIX — начале XXI в. / автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.07. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2008. 53 с.

Алымов С. С. С. Забывая этнос и нацию: этнографические дискуссии и экспертиза «национального вопроса» в период перестройки // Шаги / Steps. 2021. Т. 7. № 2. С. 70–92.

Бромлей Ю. В. Может быть, это назовут этноникой // Знание — сила. 1985. № 12. С. 21–23.

Губогло М. Н. О создании Всесоюзного центра научно-прикладных исследований национальных процессов // Что делать? В поисках идей совершенствования межнациональных отношений в СССР. М.: ИНИОН, 1989. С. 94–104.

Паин Э. А. Прикладные аспекты этнографического изучения сельских поселений и систем расселения (постановка вопроса) // Советская этнография, 1985, № 1. С. 3–14.

Перепелкин Л. С., Шкаратан О. И. Экономический суверенитет республик и пути развития народов // Советская этнография. 1989. № 4. С. 32–48.

Пименов В. В. Прикладные аспекты этнографии: тенденции и проблемы // Советская этнография. 1986. № 5. С. 3–12.

Псянчин А. В. Из истории отечественной этнической картографии (по материалам ИРГО и КИПС). Уфа: ЦЭИ УНЦ РАН, 2008. 52 с.

Струве П. Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Из глубины: Сб. статей о русской революции. М.: Книгоиздательство «Русская мысль», 1918; переизд.: М.: Издательство Московского университета, 1990. 298 с.

Хирш Ф. Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 472 с. (перевод на русск. яз.: F. Hirsch. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and

the Making of the Soviet Union. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005. 367 p.).
Чешко С. В. Этническая политика в Российской империи и СССР: исторические, политические и правовые аспекты // Вестник антропологии. 2014. № 1. С. 7–22.
Martin T. The Affirmative Action Empire: Nation and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca; New York: Cornell University Press, 2001.
Rawski K. A Soviet think tank: The involvement of the Institute of Ethnography in Soviet policy // Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Vol. 6. No. 1. 2017. P. 109–132.

М. Ю. Мартынова, В. А. Тишков

Часть I

Конструирование советскости: идеи и герои

Глава 1. ЭТНОГРАФИЯ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ[2]

Цель главы настолько проста, что может показаться трюизмом: убедиться в том, что знание о народах было и остается призванием науки этнографии/логии. Названия «этнография» и «этнология» в данном случае используются как (почти) синонимы, поскольку основа у них одна, а различия состоят в мере субъективности: в этнографии преобладает полевое описание, в этнологии — авторское теоретизирование. При этом научная значимость образа народа (этнография) ничуть не ниже его теоретического осмысления (этнология), и у этнографического образа есть шанс войти в нетленный фонд науки, тогда как опыт этнологического теоретизирования может остаться сиюминутным и ситуативным. Во избежание кривотолков сразу оговоримся: говоря об этнографии, мы не изменяем антропологии, привязанность к которой выражена в других работах, например, в книге «Антропология движения». Более того, антропология, наука о человеке, представляется нам обширнее этнографии/логии, науки о народах.

О приоритетах

Х. Фермёлен небезосновательно утверждает, что «этнография как всестороннее описание народов стала откликом на колониальную практику России начала XVIII в.», и что «институционализация дисциплины случилась в России раньше, чем в Западной Европе или Соединенных Штатах». По его наблюдениям, приоритет России как страны происхождения этнографии сочетается с приоритетом Германии как страны происхождения выдающихся ученых, прежде всего Герарда Миллера и Августа Шлёцера, работавших в России и давших новой науке концептуальные основы и названия: Völker-Beschreibung [1740], Ethnographia [1767], Völkerkunde [1771], Volkskunde [1776] (чуть позднее, в 1781 г., словацкий историк Адам Коллар ввел понятие Ethnologia). Итак, «этнография была изобретена германскими учеными в России XVIII в.» и объектом ее штудий изначально была «этничность, точнее мультиэтничность, мировое многообразие народов и наций» [*Vermeulen* 2015: XIV, 28, 217, 262–263, 410].

В этом сценарии основоположником этнографии выступает Г. Ф. Миллер, историограф Петербургской Академии наук, составивший в середине XVIII в. развернутый вопросник для сбора этнографических данных [1740] и первый обзор народов Сибири на основе собранных им во Второй Камчатской экспе-

[2] Предыдущая версия главы представлена в статье А. В. Головнёва в ж. «Этнография», 2018, № 1.

диции (1733–1743) полевых и архивных материалов (правда, эти разработки «остались в рукописях»). Идеи Миллера подхватил Шлёцер, квартировавший у него в Петербурге в 1761–1762 гг., а затем распространивший идеи народоведения в Германии. В ходе поездки на свою родину, во Франконию, осенью и зимой 1765–1766 гг. Шлёцер виделся с историком Иоганном Шёперлином, который вскоре в «Истории Швабии» [1767] впервые употребил греческий эквивалент миллеровского Völker-Beschreibung — Ethnographia. Идея нашла отклик и в ученой среде университета Геттингена, ставшего с той поры очагом народоведения в Европе. Наконец, Шлёцер не только сеял зерна этнографии всюду, где бывал, но и вырастил концептуальное древо науки, обозначив в своей «Всеобщей истории Севера» [Allgemeine Nordische Geschichte 1771] «народ» (*Volk*) ключевым фигурантом мировой истории (*Weltgeschichte*): по его разумению, каждый народ нуждается в описании, и «мировая история может насчитывать столько глав, сколько существует отдельных народов» (одновременно другой геттингенский историк, Иоганн Гаттерер, обозначил народ как предмет географии/землеописания — *Erdkunde*) [*Stagl* 1995: 233–268; *Vermeulen* 2015: 217, 252, 260, 278, 280–281].

Поддерживая общий дизайн приоритетов, заметим, что при всех заслугах Миллера его народоведческие тексты пролежали в архиве два с половиной столетия и были изданы лишь недавно [*Müller* 2003; *Миллер* 2009], что не позволяет учитывать их как актуальный факт науки XVIII в.;[3] методичкой полевого народоведения послужила инструкция Миллера из почти тысячи вопросов [*Müller* 2018: 374–423], однако и эта разработка относится скорее к разряду проектов, чем результатов. В свою очередь Шлёцер, будучи блестящим кабинетным ученым, не участвовал в экспедициях и не видел народов, о которых писал. Авторство народоведения в той или иной мере принадлежит широкому кругу ученых: со стороны теории и систематики — Готфрид Лейбниц, Жозеф-Франсуа Лафито, Карл Линней; со стороны практического (экспедиционного) народоведения — Даниэль Мессершмидт, Иоганн Страленберг, Василий Татищев, Петр Рычков, Иоганн Фишер, Степан Крашенинников, Петер Паллас, Иоганн Фальк, Иван Лепехин и др. И всё же в потоке народоведческих опытов был момент, когда актуальное знание кристаллизовалось в первый собственно этнографический труд.

Иоганн Готлиб Георги опубликовал в 1776–1780 гг. на трех языках — на немецком четырехтомное, на русском и французском трехтомное — «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей» [*Georgi* 1776–1780; *Георги* 1776–1779].

[3] Опубликованные Г. Ф. Миллером народоведческие работы имели локальный характер [Описание трех языческих народов в Казанской губернии 1756] или ориентацию на летописную древность [О народах, издревле в России обитавших 1773].

В «Истории русской этнографии» С. А. Токарев охарактеризовал этот труд как «первую сводную этнографическую работу — обозрение всех народов России, описание их хозяйства, образа жизни». В Европе сопоставимая по масштабам «Этнография Австрийской монархии» Карла Чёрнига появилась несколькими десятилетиями позже, в 1855–1857 гг. [*Токарев* 1958: 13; *Токарев* 1966: 103]. Новизна труда Георги состояла не только в обобщении сведений о 80 народах России, но и в концептуальном сочетании (а) принципов систематики Линнея, (б) основ языковой классификации Лейбница, (в) народоописательного алгоритма Миллера, (г) концепции народа в истории Шлёцера, (д) сравнительного метода с опорой на «референтные народы» Палласа. Эпохальным новшеством стало выдвижение на первый план персонажа, никогда прежде не фигурировавшего в качестве главного героя повествования, — народа, точнее «всех народов»: Георги написал «этнопортрет империи» и создал образ России как многонародной страны [*Головнёв, Киссер* 2015]. Предисловие ко 2-му изданию «Описания» содержит многозначительный пассаж: «Известно всякому сведущему о государствах и владениях, на земном шаре существующих, что нет на оном ни одного такого, которое вмещало бы в себя толь великое множество различных народов, как Российская держава» [*Георги* 1799 I: VI]. Эта идея на разные лады повторялась в конце XVIII в.[4] и утвердилась как формула самоопределения России.

В обзорах блестящей плеяды академиков-немцев екатерининской эпохи имя Георги блекнет то в лучах славы Палласа, то в тени драмы Фалька. Его роль в академической экспедиции выглядит вторичной (он прибыл на помощь Фальку и Палласу), а труд компилятивным (автор открывает «Описание» длинным списком источников и заслуг предшественников). Между тем Георги провел в экспедиции более четырех лет, объехав Россию от Петербурга до Байкала, собрал и систематизировал данные по ботанике, геодезии, этнографии. В отряде Фалька он «более по своей воле, нежели по поручениям» занимался «землеописанием, минералогией и познанием языческих народов» [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36. Л. 2]. С ноября 1771 г., когда больной Фальк был отозван из экспедиции, он возглавил экспедиционный отряд.

Георги побывал у тунгусов, бурят, вогул, башкир, чувашей, мордвы. По дневнику путешествия заметно, что его «этнографический сдвиг» пришелся на тунгусов. Если прежние заметки 1770 — начала 1771 гг. не содержат этнографически выразительных сведений, то с июля 1771 г. ситуация решительно меняется: находясь среди байкальских, верхнеангарских, баргузинских, витимских тунгусов, он обстоятельно и увлеченно описывает их «колена», классифицирует тунгусов на «конных, оленьих и собачьих» (в другом измерении — на лесных и степных). В строки дневника закрады-

[4] Например, в 1797 г. академик Генрих Шторх, восторгаясь этнографическим многообразием России, отмечал: «Никакое другое государство на земле не имеет такого разнородного населения» [*Суни* 2007: 58].

вается симпатия и теплота: «Старики ходят так бодро и проворно, как у европейцев молодые люди. Молодые тунгусы скачут с удивительной легкостью через палки и колоды» [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36. Л. 237]. Тунгусы с их ярким шаманством и естеством миропонимания стали для Георги «референтным народом», и в дальнейшем он опирался на них в сопоставлениях. Одновременно, будучи учеником Линнея, он применял классификационный подход — и в типологии воды, и в обзоре народов.

Георги не звался «апостолом Линнея», как Фальк, не был архивным титаном, как Миллер, не обладал лидерской харизмой, как Паллас. Второй по отдельным характеристикам, он по совокупности достоинств — систематичности от Линнея, педантичности от Миллера, экспедиционному опыту от Палласа — стал первым в народоведении. Остается согласиться с М. Кёхлером в том, что «Иоганн Готлиб Георги — по сей день недооцененная фигура немецко-русских научных отношений XVIII в. В большинстве случаев он стоит в тени Петра Симона Палласа. Однако для развития ранней этнографии в Российской империи Георги сыграл не менее выдающуюся роль, чем Паллас, и оставил после себя труд, сопоставимый с трудом Палласа» [*Köhler* 2012: 187]. Странно, что до сих пор заслуги Георги остаются сокровенным знанием узкого круга специалистов, а для Википедии (в английской и немецкой версиях) он — лишь географ и натуралист, но не этнограф. Возможно, эти недомолвки имеют отношение не столько персонально к Георги, сколько к науке о народах в целом.

Образ народа

Георги обладал качеством, отличавшим его от маститых собратьев по науке (впрочем, по статусу он, член Российской и Прусской академий, им не уступал). Если сложно представить себе цветок по имени и образу Миллера, то георгин (точнее, в женском роде, георгина) — цветок, привезенный из Мексики и названный в честь Георги, — в представлении не нуждается. Насколько Миллер расположен к фундаментальности, настолько Георги — к популяризации и художествам. Он не был «рисовальных дел мастером», но, судя по всему, делал наброски в ходе путешествия и собирал коллекцию изображений, которую сегодня назвали бы визуальной этнографией. Однако прежде чем продолжить разговор о роли искусства в становлении этнографии, имеет смысл бросить общий взгляд на российскую действительность и обстоятельства рождения науки о народах.

К XVIII в. грандиозная восточная экспансия превратила Московское царство в Российскую империю. В отличие от европейских королевств, рассматривавших заморские колонии со стороны, Россия, вобравшая в себя новые земли и народы, видела их изнутри. Кроме того, полиэтничной была и элита империи; и если прежде она обильно пополнялась с Востока, то те-

перь — с Запада. Пересечение традиций и интересов создавало почву для народоведения во всех слоях общества. Обустройство огромной страны, раскинувшейся на всю Евразию от Балтики до Тихого океана, делало народоведение практическим знанием, посредством которого российские монархи, особенно энергично Петр I и Екатерина II, проводили инвентаризацию имперских ресурсов, в том числе людских [см.: *Головнёв* 2015: 329–535; *Головнёв, Киссер* 2015].

Изображение на карте служило первым по очередности — наглядным — способом сбора и свода знаний о землях и народах. Стратегическая значимость картографии превращала ее в государственную тайну и монополию. В те годы карта была одновременно социальной конструкцией, информационной базой и произведением искусства [*Harley* 2001]. Изобразить народ значило нанести его на карту, а изобразить империю значило нанести на карту много народов. Подобная практика сопровождала мировую геополитику со времен Птолемея и античных логографов, ярко проявившись в итальянской, арабской, голландской и английской картографии. В финале эпохи великих географических открытий на картах стали появляться не только обозначения народов, но и изображения их образов-костюмов (например, карта Турецкой империи 1626 г. Дж. Спида).

В империи Петра I картография связана с именами Николааса Витсена (бургомистра Амстердама), его родственника Андрея Виниуса (главы Сибирского приказа) и Семена Ремезова (автора Хорографической книги и Чертежной книги Сибири). В этом треугольнике роль связующего играл Виниус, а картографами выступали Витсен в Голландии и Ремезов в России; их карты появились почти одновременно — в последние годы XVII в. Обе сопровождались комментариями, разросшимися до самостоятельных трудов — книги «Северная и Восточная Тартария» Витсена [1692; 2-е изд. 1705] и «Летописи Сибирской» Ремезова [1703]. В той же очередности — от карты к книге — выстроена и «Северная и восточная часть Европы и Азии» Иоганна Страленберга [1730]. Поскольку в те времена приоритетом была карта, а приложением к ней — книга, можно сказать, что одним из начал этнографии была картография, изображающая народы в пространстве. Вторым способом изображения был рисунок костюма, и карта, наряду с сопровождающей ее книгой, служила полотном для этих рисунков. Народоведение изначально было изобразительным, представляя народы рисунками на картах и в книгах.

Исходная визуальность этнографии объяснима с учетом того, что любые контакты с соседями и пришельцами всегда начинались с народоузнавания по наружности, одежде, украшениям, манерам поведения и иным зримым символам. Такие «слепки этничности» удостаивались пристального внимания, в том числе со стороны иноземных путешественников, и доставлялись в Академию и Кунсткамеру не просто в качестве диковин, а как материали-

зованное знание о других народах. Иными словами, первичная этнография была сосредоточена в вещах и изображениях. В России обилие народов стало не только вопросом управления и формулой самоопределения, но и темой светских увеселений (своего рода этномодой), как показывает устроенный Анной Иоанновной в 1740 г. потешный «парад народов». Наука о народах только нарождалась, а империя уже играла в многонародность. 6 февраля 1740 г. состоялась «потешная свадьба» придворного шута кн. М. А. Голицына с шутихой — калмычкой А. Н. Бужениновой. Программа увеселений включала костюмированный «парад народов», для участия в котором в Петербург со всех концов страны прибыли пары (мужчина и женщина) от всех «инородцев» империи. Очевидец потешной свадьбы В. А. Нащокин отмечал, что в процессию, кроме «разноязычников», были включены и «ямщики города Твери», которые «оказывали весну разными высвистами по-птичьи» [*Нащокин* 1998: 258].

Впрочем, готовилась императорская забава вполне серьезно: Академии наук было поручено «подлинное известие учинить о азиятских народах, подданных ее императорского величества, и о соседях, сколько оных всех есть, и которые из них самовладельные были, и как их владельцы назывались, со описанием платья, в чем ходят, гербов на печатех или на других, на чем и на каких скотах ездят, и что здесь в натуре есть платья и таких гербов, и например: мордва, чуваша, черемиса, вотяки, тунгусы, якуты, камчадалы, отяки, мунгалы, башкирцы, киргизы, лопари, кантыши, каракалпаки, арапы белые и черные, и прочие, какие есть, подданные российские» [Материалы для истории 1886–1887: 276]. Генерал Х. Г. фон Манштейн (тоже очевидец свадьбы) утверждал, что праздник был задуман с целью показать, сколько различных народов обитает в России [*Манштейн* 1997: 158]. Потешные игрища в очередной раз, как неоднократно при Петре, стали полигоном выработки серьезной стратегии, и «парад народов» (пусть и шутовской) засвидетельствовал растущий интерес правителей и жителей России к многообразию народов империи [*Головнёв, Киссер* 2015: 62].

Большая часть этой коллекции костюмов, хранившихся в Кунсткамере, сгорела в пожаре 1747 г. [*Чистов* 2017: 139]. Однако наглядно-популярная (изобразительная) линия народоведения продолжилась в рисунках и гравюрах: костюмированный парад народов сменился «собранием одежд всех народов в Российской империи обретающихся». Так звучал подзаголовок издания с интригующим названием «Открываемая Россия» на русском, немецком и французском языках, представлявшего серию рисунков костюмов народов России [Открываемая Россия 1774–1776]. К этой идее и затее причастны, по меньшей мере, трое: составитель коллекции рисунков Иоганн Георги, гравер Христофор Рот и издатель Карл Мюллер.

«Открываемая Россия» — по некоторым оценкам, первый художественный журнал России — имел коммерческий успех и... научное продолже-

ние. Серия из 12 номеров не прервалась в 1776 г., а продолжилась изданием четырехтомного «Описания» Георги, в котором были те же гравюры, тот же автор (Георги, уже обозначенный в титуле), тот же издатель (Мюллер), та же триада языков (немецкий, русский, французский). Новшество состояло в добавлении к картинкам пояснительных текстов, которые разрослись настолько, что отодвинули рисунки на второй план. В траектории от «Открываемой России» к «Описанию» видны следы постепенного сдвига приоритета от изображения к тексту: «Открываемая Россия» (1774–1776) была коллекцией рисунков (по пять в номере) без сопроводительных комментариев; первое издание «Описания» (1776–1780) охарактеризовано в посвящении Екатерине II как «изображение и описание народов»; во втором издании (1799) сначала во введении перечислены тексты, затем изображения.

Коллекция этнографических рисунков (гравюр), перешедшая из «Открываемой России» в «Описание», известна как «костюмы Георги» или «рисунки Георги» [*Вишленкова* 2011: 48, 62], что прямо указывает на авторство общей идеи, а также, возможно, отдельных картин. Гравюры Рота, никогда не участвовавшего в экспедициях, были выполнены с исходников Георги, хотя «вопрос о том, кто с кого перерисовывал и перегравировывал иллюстрации для разных изданий конца XVIII — начала XIX в., весьма запутанный и никем пока еще не решенный» [*Жабрева* 2007: 208].

Таким образом, первый этнографический труд вырос из рисунков и описаний этнографических предметов, собиравшихся и хранившихся в Кунсткамере. Следовательно, изобразительное народоведение, по крайней мере в части публикации, предшествовало описательному. Е. А. Вишленкова полагает, что опыт Георги проливает свет на когнитивную схему рождения этнографии, в которой визуальное восприятие предваряет интеллектуальную деятельность. Ссылаясь на признание (в предисловии к немецкому изданию) Георги в том, что он взялся за описание народов для текстового сопровождения гравюр Рота в издании Мюллера, она заключает: «В XVIII в. этнографическое знание рождалось из наблюдений и последующих расспросов. Соответственно, оно упаковывалось сначала в „картинку“, а потом в „этнографическое письмо“» [*Вишленкова* 2011: 54].

Как уже говорилось, этнографическое «прозрение» Георги началось с тунгусов. В дневниках его путешествия им уделено непомерно много места (более 50 страниц), а завершается раздел рисунком «Тунгусы» [*Georgi* 1775 I: 295]. По мнению Е. А. Вишленковой, художественное несовершенство рисунка «позволяет предположить авторство самого Георги»; в рисунке ей видятся приемы музейной экспозиции, а в позах персонажей «с вывернутыми руками, в которые вложены колчан и стрелы», — «любительская выучка рисовальщика» и «негибкость деревянных манекенов, на которые надевались костюмы из Кунсткамеры» [*Вишленкова* 2011: 45]. На мой взгляд, некоторая «манекенность» лучников не затмевает живости общей картины тунгусско-

го стойбища, а в ее деталях этнограф-полевик легко различит значимые акценты: именно тунгусский ручной олень-*учак* может безмятежно дремать рядом с собакой и жилищем; мгновение реальности читается в том, как дымит лишь один из восьми чумов стойбища, мимо которого шагает еще один лучник. Эта сцена этнографически реалистична, ее можно рассматривать и в целом, оглядывая горно-таежный ландшафт, и в частностях, изучая орнамент меховой одежды, татуировку на лице, набор оружия, строение чума и крой его покрышек. Представленная Георги визуальная этнография — слепок действительности, передающий не только тунгусскую культуру, но и погружение в нее рисовальщика. Рисунок «Тунгусы» запечатлел тот самый «этнографический сдвиг» натуралиста, который позволил Георги вернуться из экспедиции знатоком народов России и взять на себя ответственность создания галереи костюмов, а затем этнографической энциклопедии.

Иоганн Георги сочетал в себе качества художника (пусть и любителя) и ученого (пусть и натуралиста), сумевшего в своей исследовательской практике сложить эти составляющие в целостное этнографическое обозрение. Не исключено, что именно рисунок — художественный образ — дал импульс выдвижению на первый план народа как главного фигуранта (объекта исследования) в сочинении Георги и последующей этнографии/логии.

Ex oriente lux

Сбор сведений об империи, начавшийся с картографии Витсена и Ремезова, был сфокусирован на Востоке (Сибири). Витсен начал повествование о Тартарии с описания Маньчжурии, а в конце книги после обзоров Азии, Америки, Океании и России вновь обратился к Монголии и Китаю. Это был первый в Европе евразийский обзор, открывающийся и завершающийся Востоком [*Витсен* 2010]. Заданная автором навигация, согласно которой Восток играет опорную роль для обзора и понимания Тартарии (Евразии, России), связана с недавней зависимостью доромановской Московии от Орды, а также с обозначением посреднической роли России между Европой и Азией. Благодаря присоединению Сибири российские политики научились мыслить континентами, а не уездами. Символически этот взгляд выразила Елизавета Петровна, повелев доставить на свою коронацию «шесть пригожих благородных камчатских девиц» (как известно, посланный на Камчатку штабс-фурьер Шахтуров исполнил поручение, но с опозданием на четыре года, притом добравшись на обратном пути только до Иркутска).

Пока Петр I в Северной войне прорубал окно в Европу, Владимир Атласов овладел Камчаткой. Утвердившись на Балтике, русский царь обратил взор на восток, и в 1719 г. сразу несколько миссий двинулись «встреч солнцу», в том числе: экспедиция Ивана Евреинова и Федора Лужина — на Камчатку и Курилы с целью «описать тамошние места: сошлася ль Америка с Ази-

ею <...>, и всё на карте исправно поставить»; посольство Льва Измайлова (с участием Лоренца Ланга) — в Китай для заключения торгового договора с императором Канси; доктор медицины Даниэль Мессершмидт — в Сибирь «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей, трав, цветов, коренья и семен и прочих принадлежащих статей в лекарственные составы». Если первые две миссии были посвящены важным, но обычным задачам политики, то последняя стала новшеством, обозначив зарождение в России экспедиционной науки. Доктору медицины надлежало следовать указу царя, подготовленному лейб-медиком Робертом Арескиным и направленному сибирскому губернатору Матвею Гагарину. Правда, пока Мессершмидт добирался до Сибири, лейб-медик умер, а губернатор попал в опалу. Доктор оказался предоставленным самому себе и действовал уже не столько по указу, сколько по собственному разумению: в Тобольске он обзавелся спутниками из числа пленных шведов, включая Страленберга. Пользуясь привилегией на казенный транспорт, он объехал на санях, нартах и лодках Западную и Восточную Сибирь от Иртыша (Тобольска) до Енисея (Красноярска, Туруханска) и Байкала (Иркутска, Нерчинска). За семь лет экспедиции Мессершмидт расширил круг своих интересов и занятий от первоначальных «куриозитетов и лекарственных вещей» до обширной программы, включая древности и народные обычаи [*Копанева* 2016: 47]. Семилетнее исследовательское путешествие (*Forschungsreise*) Мессершмидта сделало его знатоком не только природы и народов Сибири, но и пространства России. Его материалы, оставаясь рукописными, пользовались спросом у всех исследователей России, включая Миллера, Палласа и Георги.

Удачливее Мессершмидта оказался его «сердечный друг» и спутник по экспедиции Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг, немец на шведской службе, попавший в русский плен под Полтавой, проведший тринадцать лет в сибирской ссылке и год в путешествии с Мессершмидтом, вернувшийся домой после Ништадского мира 1721 г. и в 1730 г. опубликовавший книгу «Северная и восточная часть Европы и Азии». Страленберг заочно конкурировал с Витсеном, которого беспощадно критиковал и настойчиво перепроверял. Составив карту России, он назвал ее, в подражание Витсену, «Великая Тартария» (*Tartaria Magna*), и книгу свою озаглавил в витсенском стиле. Кстати, карту Витсена возил с собой Мессершмидт, уточняя и исправляя ее по ходу путешествия. Не исключено, что именно ему Страленберг обязан идеей работы над картой и книгой. Картографию Мессершмидт считал первоочередной задачей экспедиции, и не случайно при встрече с Витусом Берингом летом 1725 г. в Енисейске он обсуждал главным образом картографию Азии [*Vermeulen* 2015: 110, 120; *Копанева* 2016: 47–50; *Тункина, Савинов* 2017: 14].

Как Страленберг правил Витсена, так Миллер — Страленберга (например, в «Истории Сибирского царства»). Право на правку Миллер приоб-

рел не на службе в Петербурге, а в Камчатской экспедиции, где за семь лет (1733–1740) он стал ведущим историком империи. В ходе путешествия Миллер сделал еще одно открытие, разглядев в туземных народах главных фигурантов сибирской истории. Когда на смену ему в 1740 г. прибыл адъюнкт Иоганн Фишер, Миллер снабдил его инструкцией из 1 287 пунктов. 6-й раздел инструкции «Об описании нравов и обычаев народов» включал 923 пункта, а также приложения: (1) О ланд-картах (63 пункта); (2) О рисунках (30 пунктов); (3) О собирании различных предметов для Кунсткамеры (16 пунктов); (4) Словарь, по которому надлежит собирать материалы по языкам и диалектам. Эта программа стала методической базой для систематики народов и, по оценке А. Х. Элерта, до сих пор не имеет аналогов в отечественной науке [*Элерт* 1999: 25]. По возвращении из экспедиции Миллер в предисловии к «Описанию сибирских народов» впервые обозначил народоведение — в его формулировке «всеобщее описание народов» — как науку будущего: «Многократное мое желание было, чтоб какой искусный человек из всех по нынешнее время бывших путешественных описаний, також и из описаний однех народов, по сообщенному здесь показанию предпринял намерение к сочинению всеобщего описания народов, чем бы сия материя учинилась некоторою новою наукою, от которой бы потомство вечной пользы себе ожидать могло» [*Миллер* 2009: 30–31].

Желание Миллера, как известно, исполнил Георги, который в свою очередь прошел испытание Сибирью. Вместе с Палласом он отправился в восточное путешествие натуралистом, а вернулся народоведом. Успех последователей Линнея в этнографии не случаен: они применили методы естественнонаучной систематизации для описания народов, разглядев в них такое же естество и многообразие, какое видели в природе. Однако не менее важно и непосредственное пребывание в среде изучаемого народа, без которого немыслимо «этнографическое прозрение». Для Георги таким народом стали тунгусы, для Палласа — калмыки, которых он характеризовал обстоятельно и с явной симпатией: «Нравы сих жителей во многих делах показались мне лучше, нежели как многие путешественники их описали. По крайней мере они в том гораздо превосходнее других степных народов. Все те народы, которые имеют своевольную и степную жизнь, от природы склонны к праздности: но калмыки по их бодрому духу действительно могут назваться трудолюбивыми» [*Паллас* 1773 Ч. 1: 458, 570, 578].

В судьбе каждого этнографа есть народ, с которым он проходит своего рода этнографическую инициацию, после которой обретает новое видение не только изучаемого народа, но и — через него — народов вообще. С этого начинается этнографическое мышление, которое отзывается встречным переосмыслением себя, привычных ценностей и даже мирового пространства: так у человека Запада может появиться «взгляд с Востока». Попутно рождаются исследовательские приемы, в том числе общий для всех путеше-

ственников сравнительный метод, которые черпаются не из книг, а из опыта странствия.

Ex oriente lux (свет с востока) — так можно обозначить траекторию становления российского народоведения в XVIII в., поскольку самые яркие результаты приносили дальние и долгие восточные экспедиции. Российское народоведение рождалось не в кабинетах, а в путешествиях — этнография вообще невозможна без путешествия. В силу своей протяженности и этнокультурной многоликости Россия была и остается страной, путешествие по которой располагает к «этнографическому сдвигу».

Этнография и антропология

Российская традиция не противопоставляет, а сопоставляет «народ» и «человека» как непересекающиеся параллельные в геометрии Евклида (более того, столь же параллельными измерениями оказываются гражданство и религиозность). Поскольку России чужд акцент на конкурентной индивидуализации, антропологический мотив человека не теснит этнографический мотив народа. Свойственный отечественной науке «этнический крен», неоднократно и не без скепсиса отмечавшийся зарубежными коллегами, имеет глубокие корни, обособляющие отечественное народоведение от европейской антропологии.

Со своей стороны, западная антропология не ищет общих корней с российским народоведением XVIII в., пусть даже его зачинателями были этнические немцы. По утвержденной схеме, антропология родилась во второй половине XIX в. в лоне европейского эволюционизма. Англоязычные учебники связывают начала антропологии и этнологии с выходом в свет «Der Mensch in der Geschichte» Адольфа Бастиана [1860], «Primitive Culture» Эдуарда Тайлора [1871], «Ancient Society» Льюиса Генри Моргана [1877]. Немецкие учебники относят *Völkerkunde* и *Volkskunde* к донауке, в остальном вторя английским аналогам: «Институционализация антропологии на фоне естественных наук произошла в конце XIX и начале XX веков благодаря трудам ряда основоположников (Бастиана, Боаса, Риверса, Малиновского)» [*Heidemann* 2011: 16]. И в русском учебнике раздел «Становление науки этнологии» открывается фразой: «Этнологическая наука сформировалась как самостоятельная отрасль знания в середине XIX в.» [Этнология 2006: 9].

Понятие «антропология» вошло в обиход задолго до XIX в.: в Германии (1501), Франции (1516) и Италии (1533) оно — вполне в духе эпохи Возрождения — несло в себе антитезу «теологии» и охватывало все знания о человеке. В 1790-е гг. стараниями Иоганна Блюменбаха обособилась физическая антропология с расоведением (некоторые полагают, что ее отсчет можно вести с трудов Линнея 1730-х гг.). Однако на статус действительной науки (социокультурная) антропология стала претендовать только с момен-

та ее построения на эволюционизме во второй половине XIX в. [*Vermeulen* 2015: 2–5, 359–360].

Российская этнография и западная антропология расходятся не только по времени рождения, но и по мотивациям и практикам. Российское народоведение рождалось как эмпирико-практическое знание, заданное целями самопознания и самоорганизации империи: этнография по-российски — картина многонародности — создана исследователями-путешественниками XVIII в. под патронатом имперской власти. Европейская наука о человеке приобрела облик универсальной антропологии, в которой человечество выстроено в пирамиду эволюции, низшие ступени которой (дикость и варварство) отведены исследуемым, а высшая (цивилизация) — исследующим. Российское народоведение фокусировалось на отдельном народе и имперской галерее народов, тогда как западная антропология синтезировала общий ход эволюции человечества из фрагментов разных культур. Иначе говоря, главным героем российской этнографии выступал конкретный народ, западной антропологии — универсальный человек. Народы предстают в российской этнографии живыми современниками, в универсальной антропологии — реликтами первобытности. В трудах западных эволюционистов XIX в. фигурировали не народы (как у российских академиков XVIII в.), а стадии прогресса, для иллюстрации которых культуры народов мира служили базой данных.

В XIX в. российская этнография утратила былое лидерство и испытала мощное влияние европейской антропологии. Связано это, с одной стороны, со стабилизацией империи, когда актуальность практической этнографии сохранялась главным образом на пограничье. С другой стороны, бурный рост популярности европейского эволюционизма повлек за собой забвение прочих достижений. С середины XIX в. европейская наука стяжала право на истину, состоящую в единственно верной методологии эволюционизма. Как заметил С. М. Широкогоров, «в области этнографии этот метод одно время господствовал почти монопольно» [*Широкогоров* 2002: 67]. Впрочем, достижения классической российской этнографии XVIII в. всё же сохранили практическое значение, что видно, например, в их использовании М. М. Сперанским при составлении Устава об управлении инородцев 1822 г.

Несмотря на повальное увлечение европейской антропологией, Россия упорно хранила (и продолжает хранить) название «этнография» и ее предпочтения. В этом видится почвенность народоведения, воспроизводящегося в России на собственных основаниях с переменной интенсивностью. Н. М. Надеждин, М. М. Ковалевский, Н. Н. Миклухо-Маклай, Н. Н. Харузин, В. В. Радлов, Д. Н. Анучин и другие отечественные этнографы XIX в. сочетали (иногда эклектично) живую этнографию с концептуальными схемами. Акцент на этнической и культурной самобытности свойствен теории Николая Данилевского о преобладании в общественных явлениях национального (этнического) содержания и устойчивой самобытности различных

цивилизаций (культурно-исторических типов) [*Данилевский* 1991]. Однако релятивизм Данилевского не устоял в то время под напором эволюционизма («Россия и Европа» вышла в свет в том же 1871 г., что и «Первобытная культура» Тайлора), и почитателей творчества Данилевского в России оказалось немного (в их числе, правда, были Федор Достоевский и Лев Толстой).

Очередной подъем этнографии в России связан с волной движения народников, чьи революционно-просветительские «хождения в народ» до мелочей напоминали полевую этнографическую работу. Правда, научный эффект дали не просветительские акции народовольцев, а их ссылка в отдаленные края Российской империи, где они устанавливали контакты с «простыми людьми». К тому же администрация нередко привлекала образованных ссыльных к исполнению работ вроде переписи и обследования коренных жителей, как это случилось со Штернбергом на Сахалине [*Кап* 2009: 45].

Среди ссыльных было немало «иноверцев» и «инородцев», что создавало атмосферу взаимного доверия и сближало их с сибирскими туземцами. Немец Дмитрий Клеменц основательно изучил жителей Алтая и Монголии, поляки Эдуард Пекарский, Вацлав Серошевский и Бронислав Пилсудский — народы Якутии и Сахалина. Выдающуюся роль в российской и советской этнографии сыграло знаменитая еврейская «этнотройка»: Лев Штернберг исследовал нивхов, Владимир Богораз — чукчей и коряков, Владимир Иохельсон — юкагиров. На их долю выпало поле поневоле — «экспедиции» в виде ссылки: в течение ряда лет они жили среди сибирских туземцев, стихийно выработав приемы, которые позднее стали называться «стационарным методом» и «включенным наблюдением». Долгое поле дало им возможность вжиться в туземную культуру и овладеть местными языками, предвосхитив на пару десятилетий методику полевых работ Бронислава Малиновского.

Для этнотройки полевые исследования стали школой антропологии и этнографии, компенсировавшей дефицит университетского образования и ученых степеней. Этнография и антропология оставались для них важным делом до и после революции, особенно в связи с участием в Джесуповской экспедиции под началом Франца Боаса. Однако не в меньшей степени они посвящали себя общественной и революционной деятельности, в том числе еврейскому движению, в чем также ярко выразился феномен этничности.

Революционная наука

Революция 1917 г. дала мощный толчок развитию этнографии/-логии в России. Казалось бы, боровшимся за власть революционерам впору было биться на фронтах Гражданской войны, а не изучать народы. Между тем уже в апреле 1917 г., вскоре после Февральской революции, в Петербургской академии наук была создана Комиссия по изучению племенного состава населения России (КИПС) для составления этнографической карты России. Одним

из первых декретов большевиков стала Декларация прав народов России от 2 (15) ноября 1917 г., провозгласившая: (1) равенство и суверенность народов России; (2) право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; (3) отмену всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; (4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Первую подпись под Декларацией поставил народный комиссар по делам национальностей Иосиф Джугашвили-Сталин (Декреты 1957: 41). Значимость этнического фактора в революции оттеняется тем, что именно наркомат по делам национальностей стал первым нововведением большевиков в структуре министерств (совнаркома) и именно нарком по делам национальностей вскоре стал лидером большевистской партии и архитектором СССР. По оценке Т. Мартина, Советский Союз был «империей утвердительного действия» в отношении этнических интересов населяющих его народов, особенно нацменьшинств. Р. Суни полагает, что СССР стал колыбелью наций, созданных или даже «сфабрикованных» большевистским правительством [*Suny* 1993; *Martin* 2001].

Как в XVIII в. Российская империя, так в XX в. советская власть обустраивала подчиненное пространство с применением знаний о населяющих страну народах, и в очередной раз этнография стала инструментом политики. Поскольку одним из факторов революции было национальное движение «угнетенных инородцев» (евреев, грузин, латышей, поляков и др.) и новая правящая элита была этнически, а подчас и националистически, настроена, «национальный вопрос» в Советской России был поднят на необычайную высоту. Первое десятилетие советской власти ознаменовалось бумом нациестроительства и народоведения.

Диапазон этнографических интересов в условиях революции и войны виден в организации Постоянной комиссии по изучению тропических стран (1918), Коллегии востоковедов при Азиатском музее (1921), Яфетического института (1921), Славянской комиссии (1922). В октябре 1917 г. по инициативе С. П. Покровского в Казани был открыт Северо-восточный археологический и этнографический институт (с Б. Ф. Адлером во главе этнографического отделения). В 1918 г. усилиями Л. Я. Штернберга и И. Д. Лукашевича в Петрограде был учрежден Географический институт, в составе которого впервые выделился антропогеографический (позднее этнографический) факультет; в 1920 г. на нем обучалось 284 студента — впечатляюще много в сравнении не только с синхронными советскими, но и с зарубежными университетами. В 1919 г. в Московском университете кафедра физической антропологии под началом Д. Н. Анучина обособилась от географического факультета, а в 1922 г. в составе факультета общественных наук образовалось этнолингвистическое отделение с кафедрой этнологии, возглавляемой профессором П. Н. Преображенским [*Соловей* 1998: 50; *Кап* 2009: 278, 282].

В октябре 1922 г. было создано Центральное этнографическое бюро при отделе нацменьшинств Наркомпроса, декларировавшее задачу «всестороннего изучения народов РСФСР». При активном участии В. Г. Богораза в июне 1924 г. при Президиуме ЦИК СССР был образован Комитет содействия народностям северных окраин (Комитет Севера) — одна из самых деятельных правительственных организаций этнографического профиля. МАЭ (Кунсткамера) оставался основным центром академической науки и продолжал издание фундаментального Сборника МАЭ. В 1923 г. начал издаваться популярный журнал «Краеведение», в 1925 г. — этнографически ориентированный журнал «Северная Азия», а при ЛГУ был организован туземный рабфак для подготовки научных кадров из числа народов Севера. В 1926 г. под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга вышел первый номер академического журнала «Этнография», ставшего центральным печатным органом этнографического сообщества Советской России. В середине 1920-х гг. развернулась беспрецедентная по размаху экспедиционная этнографическая работа во всех краях СССР. Публикации журнала «Этнография» в 1926–1930 гг. отразили размах работ по этнографии восточных славян (86), народов европейской части СССР (87), окраинных народов СССР (88), народов мира (89); фольклористике (90), религиозным верованиям (91), историографии (92), теории и методологии науки (93) [*Соловей* 1998: 41–46, 81].

Этноэйфория в раннем СССР довела до того, что исторический факультет МГУ был переименован в этнологический (1925–1931). По словам Штернберга, этнология стала «квинтэссенцией общественных наук», а «новообразовавшиеся автономные республики, под влиянием национального подъема, ревностно взялись за изучение родного языка и культуры» [*Штернберг* 1926: 42]. В 1926 г. двое из этнотройки синхронно выехали на крупные международные форумы: Штернберг — на Тихоокеанский конгресс в Токио, Богораз — на Конгресс американистов в Рим; по этому поводу Богораз в одном из спичей заявил: «Мы, этнографы Союза ССР, охватили одним размахом весь круг земного шара» [*Богораз* 1927: 282]. Никогда прежде в России не заходила речь о съезде этнографов и антропологов всей страны, и такой момент, наконец, настал. Для подготовки всесоюзного съезда и обсуждения перспектив науки о народах было решено провести предварительную конференцию с участием этнографов Ленинграда и Москвы.

Неудачный роман с марксизмом

На конференции этнографов, состоявшейся в апреле 1929 г. в Ленинграде, доклады были распределены по темам: методы и теории, этнография и советское строительство, марксизм и этнология, этнографическое образование, этнография и музеи, публикационная деятельность, подготовка всесоюзного съезда этнографов. Трудности определения миссии и предмета этнографи-

и/-логии в СССР виделись в ее привязке к естественным (через географию и физическую антропологию) или к гуманитарным и социальным (через историю и социологию) наукам. Согласование осложнялось конкуренцией этнографических сообществ Ленинграда и Москвы, возглавлявшихся, соответственно, В. Г. Богоразом и П. Ф. Преображенским. Созданная Богоразом и Штернбергом школа базировалась в МАЭ и Географическом институте. Московский центр во главе с Преображенским располагался в МГУ. Полемика между Богоразом и Преображенским о методах этнографии и ее месте в системе наук обещала стать ключевой темой конференции.

Увлеченные профессиональными спорами, лидеры этнографов Ленинграда и Москвы недооценили третьей силы, проявившей себя за год до конференции в лице В. Б. Аптекаря, который в докладе «Марксизм и этнология» с трибуны Коммунистической академии обрушился на этнологию за то, что она строится на противоречивых понятиях «культура» и «этнос», при этом категория этнос/народность путается то с антропологической расой (вульгарный материализм), то с национальным духом (спиритуалистический идеализм). По логике Аптекаря выходило, что этнология несовместима с диалектическим материализмом и являет собой «буржуазный суррогат обществоведения», а марксистская социология перекрывает ее предметное поле, «уничтожая этнологию как особую науку» [От классиков к марксизму 2014: 250–252]. В конце 1920-х гг., на пике популярности науки о народах, подобные высказывания звучали если не ересью, то недоразумением. Тревожило лишь то, что они исходили от ближайшего помощника академика Н. Я. Марра, главного организатора конференции.

Доклад Аптекаря под тем же названием и с теми же жесткими обвинениями (в недавнем прошлом Аптекарь служил политическим инспектором Реввоенсовета) не только прозвучал на конференции с заметным превышением регламента, но и стал главной темой дискуссии. Решительность, звучавшая в тоне Аптекаря, выдавала в нем искушенного партийного полемиста, присвоившего себе право вершить суд именем марксизма. По его словам, доводы Преображенского «свидетельствует о том, что с марксизмом здесь весьма неблагополучно», а выраженная в «Основах этногеографии» Богораза позиция «не может быть базовой для построения марксистской этнологии». В целом он диагностировал паралич науки о народах: «Марксистской этнологии мы построить не сможем по той простой причине, что мы не сможем взять „этнос“ как одну из стадий, или ступеней, в диалектическом развитии производственного коллектива», а «с уничтожением понятия „этнос“ ликвидируется самая наука этнология»; «всё это приводит к заключению, что всякая попытка построить этнологию как марксистскую науку будет обречена на неудачу» [От классиков к марксизму 2014: 198–207].

В ответ Н. М. Маторин пустил в ход целую обойму фольклорных присказок для снятия напряжения от его выступления: «Аптекарь… „обещал

большое кровопролитие, а чижика съел“»; «Вы ни словечка не возражаете по конкретному вопросу, а, как говорят, лупите мимо Сидора в стенку». Выступления Аптекаря иногда вызывали смех, но чаще негодование: «тов. Аптекарь ведет в своих утверждениях к мракобесию, совершенно невозможному» (Маркелов); «одним из недоразумений можно считать и доклад тов. Аптекаря на нашей конференции» (Толстов); «второй год носит тов. Аптекарь имя антиэтнолога» (Ильин) [От классиков к марксизму 2014: 216–218, 225, 235].

Судя по хору протестующих возгласов, конференция пережила коллективную травму от атаки Аптекаря. Н. М. Никольский назвал его «диким человеком» и сравнил с плохим коновалом, который равнодушно сделал операцию и ушел. Богораз определил долгую дискуссию по докладу Аптекаря «нашим двухдневным коллективным сражением с „драконом“» и добавил: «После этих трехдневных споров мы, этнографы, всё не можем решить, упразднили нас или нет, существуем мы или не существуем». Синдром заложников, охвативший всё собрание, достиг своего апогея, когда на четвертый день заседаний *enfant terrible* («ужасное дитя», как называли Аптекаря) было избрано в президиум конференции [От классиков к марксизму 2014: 244, 254].

Сценарий, по которому Аптекарь выступил перед многочисленной аудиторией этнографов с открытой хулой их науки, может показаться театром абсурда или образцом социального мазохизма, если не учитывать ряд теневых обстоятельств. Конференция проходила в Мраморном дворце, принадлежавшем в то время ГАИМК, во главе которой стоял Марр, автор яфетидологии — «нового учения о языке». О роли Марра назойливо напоминал Аптекарь, называя его «хозяином этого помещения», «председателем нашей конференции, председателем организационного бюро» [От классиков к марксизму 2014: 195, 206]. При этом, собрав этнографов «в своем дворце», Марр в конференции не участвовал и даже не приветствовал ее, уступив слово своему ставленнику Аптекарю. Трудно сказать, насколько собравшиеся осознавали себя заложниками Марра, вещающего голосом Аптекаря. Мотивы академика очевидны: созданная им яфетическая теория претендовала на роль общей для гуманитарных и общественных наук методологии, и для достижения этой цели надлежало столкнуть этнологию с пьедестала «квинтэссенции общественных наук», на который ее старательно возводил Штернберг. Марр видел в национальности «переходную ступень развития человечества», а не самобытную культуру, и отводил этничности (соответственно, этнографии) вторичную роль: «Собственно этнических культур по генезису не существует; в этом смысле нет племенных культур, отдельных по происхождению, а есть культура человечества определенных стадий развития» [*Марр* 1933: 236].

Едва ли искусная режиссура академика Марра, как и вдохновенная игра его ученика Аптекаря, могла сама по себе сломить волю целой конференции профессионалов. Советские этнографы, безуспешно пытавшиеся в течение

нескольких дней составить хоть сколько-то приемлемую формулу альянса этнографии и марксизма, расписались в бессилии. Дискуссия показала, что там, где уместна этнография, некстати марксизм, и вместо альянса всюду получается мезальянс. Вскоре после конференции Богораз, неся бремя старшего по цеху, мобилизовал весь свой научный и литературный талант для сближения этнографии с марксизмом, написал большую статью в журнал «Этнография», но разочаровал себя и других — получилось худшее из его сочинений. Статья, полная скачков и повторов, явственно выражала неубежденность и неубедительность автора. Предложенные для «этнографического марксизма» описания религиозных верований ничуть не выиграли от того, что стали называться «надстройкой»; распределение фольклорных сюжетов по лестнице формаций живо напомнило лозунги; утверждение о том, что полевая работа без марксизма «полна разрывов и зияний», выглядело калькой прежних суждений автора о языке; витиеватый вывод о том, что «говорить об определенных общественных формациях на ранних стадиях жизни человечества мы можем только с большой условностью» (Богораз 1930: 9–10), был содержательно пуст. У читателя могло сложиться впечатление, что марксизм лишь портит этнографию (но в те годы подобные мысли следовало поскорее гнать прочь).

Погром

После ленинградской конференции случился обвал народоведения в СССР: многое из того, что открывалось в 1920-е гг., в 1930-е было закрыто. В 1930 г. был ликвидирован этнологический факультет МГУ, в 1932 г. прекратило существование этнографическое отделение географического факультета ЛГУ. В 1930 г. место академического журнала «Этнография» заняла «Советская этнография», первый номер которой содержал статьи с откровенными заголовками: «Буржуазная финская этнография и политика финляндского фашизма», «Против национализма в чувашской этнографии». Отныне проявления этничности воспринимались на зловещем фоне национализма и фашизма. На XVII съезде ВКП(б) в 1934 г. Сталин заявил, что любой национализм, будь он великорусский или местный, есть отход от «ленинского интернационализма».

Этнографию загнали в тупик, и любые попытки ее оправдательной «марксизации» вызывали только раздражение. Ходили слухи, что Комакадемия замыслила травлю этнографии и причислила ее к стану контрреволюции. В 1932 г. вышел сборник статей под красноречивым названием «Этнография на службе классового врага», в предисловии к которому последователь Марра С. Н. Быковский писал:

> Этнография играла роль информатора правящих классов относительно состояния «инородцев», в интересах империалистической системы хозяйства <...> выявляя условия быта, степень материального благополучия, культур-

ного развития каждой отдельной «инородческой» группы и тем самым обеспечивая наибольший успех в порабощении и разорении каждой отдельной «изучаемой» нации [Этнография на службе 1932: 7].

Намеченный на 1932 г. съезд этнографов не состоялся; вместо него в январе 1932 г. прошло совещание Комакадемии и Общества историков-марксистов, на котором Н. М. Маторин в докладе «О задачах историков-марксистов на этнографическом фронте» объявил этнографию изжившей себя «в смысле особой науки». В мае 1932 г. он повторил вердикт на Всероссийском археолого-этнографическом совещании в докладе «Возможна ли марксистская этнография». Его поддержал С. П. Толстов: «Этнографии как отдельной дисциплины, как отдельной науки не должно быть и не может быть». «Этнографию похоронили», — резюмировал участвовавший в совещании мордовский этнограф М. Т. Маркелов [*Алымов, Арзютов* 2014: 70–73]. На этот раз приговор своей науке оглашали сами этнографы — в популярном по тем временам жанре «чистосердечного признания».

Между тем академик Марр успешно сблизил «новое учение о языке» с марксизмом, установив классовую природу яфетической общности и надстроечную функцию языка. В 1930 г. он вступил в ряды ВКП(б) и выступил с речью на XVI съезде партии, причем вышел на трибуну сразу вслед за Сталиным. В том же году он стал директором Института по изучению народов СССР (ИПИН), созданного на базе КИПС. Одновременно, оставаясь председателем ГАИМК, Марр централизовал под своим началом лингвистику, добившись в 1931 г. объединения Яфетического института, Института востоковедения и Комиссии русского языка в Институт языка и мышления [*Алпатов* 1991; *Соловей* 1998]. Трудно представить степень унификации, до которой академик Марр мог довести гуманитарные науки под сенью яфетидологии, если бы не его кончина в 1934 г. Централизация науки удобна для управления и устрашения профессионального сообщества через его лидера. В этом смысле показательна судьба самого успешного этнографа тех лет — Н. М. Маторина, который в октябре 1930 г. был избран директором МАЭ, затем заместителем Марра в ИПИН, а в феврале 1933 г. — директором созданного на основе слияния МАЭ и ИПИН Института антропологии и этнографии. Он же стал редактором журнала «Советская этнография». Однако не прошло и года, как в декабре 1933 г. его сместили с поста директора (вместо него был назначен ученик Марра акад. И. И. Мещанинов), а затем исключили из партии, обвинив в причастности к контрреволюции (за работу в прошлом секретарем Г. Е. Зиновьева). 11 октября 1936 г. Маторин был расстрелян [*Решетов* 2003: 147–179].

Впрочем, жертвой лидера власть не удовлетворилась. В те годы этнографов, подобно кулакам, уничтожали «как класс»: по подсчетам А. М. Решетова [*Решетов* 1994: 186], репрессировано было около полутысячи этнографов (к слову, сегодня их в России немногим больше). Среди жертв оказалось боль-

шинство делегатов роковой конференции 1929 г. в Мраморном дворце, в том числе антиэтнолог Аптекарь, казненный в 1937 г.

Этнография попала в опалу не только из-за слабости теории и происков яфетидолога Марра, но и ввиду угрозы, которую она несла режиму. К концу 1920-х гг. новая правящая элита укрепила свои позиции и не нуждалась более в расшатывающих устои национальных движениях. Этнические мотивы и силы, в альянсе с этнографией, представляли собой стихию, которую следовало унять. С объявлением войны национализму и попутной дискредитацией этнографии джинн, помогавший вершить революцию, был возвращен и запечатан в бутылку.

Эпоха этногенеза

За взлетом 1920-х и провалом 1930-х гг. советская этнография пережила этап «исправительных работ», когда ей пришлось изучать первобытный коммунизм, бороться с религиями и содействовать скачку окраинных народов «из патриархальщины в социализм». Самые яркие российские теоретики этничности — Н. М. Могилянский и С. М. Широкогоров — эмигрировали. Казалось, разжалованная во вспомогательные исторические дисциплины этнография была обречена обслуживать марксистскую идеологию, откапывая в обычаях и обрядах пережитки матриархата и группового брака. Однако вскоре обнаружилось, что, даже отверженная, этнография всё же пребывает у себя дома и способна произрастать даже в тени марксизма и марризма.

Н. М. Могилянский упоминал «этногенезис» еще в дискуссии 1916 г. В версии «этногония» это понятие использовал и Н. Я. Марр для построения всеобщей схемы происхождения и стадиального развития языков; с его благословения археолого-этнографическое совещание 1932 г. определило «процесс этногенезиса и расселения этнических и национальных групп» одним из приоритетов исследований. Этнографы тут же воспользовались лазейкой, оставленной Марром, и с середины 1930-х гг. дружно принялись за этногенез. Этому сопутствовала идеологическая борьба с арийской, миграционистской и другими теориями, актуализировавшими древности (в 1936 г. по инициативе акад. Ю. В. Готье началось издание многотомной «Древней истории народов СССР»). Этногенез увлекал этнографов предметной близостью, «магией истоков» и эффектной междисциплинарностью на стыке с археологией, физической антропологией, лингвистикой. В 1938 г. на междисциплинарном совещании в ГАИМК была учреждена комиссия по проблемам этногенеза под председательством А. Д. Удальцова. В 1940-х гг. последовала серия публикаций по этногенезу за авторством Г. Н. Прокофьева [1940], В. Н. Чернецова [1941], С. А. Токарева [1941; 1949], А. Д. Удальцова [1943; 1944] и др. Тон в этногенетических исследованиях задавали советские археологи-автохтонисты, сражавшиеся с немцами-миграционистами

(Г. Коссиной и его последователями) в споре за пространство прагерманских и праславянских племен Европы [*Шнирельман* 1993; *Алымов, Арзютов* 2014: 77–78; *Алымов* 2017: 72].

После удара по марризму, нанесенному в 1950 г. статьей Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», этногенез остался без руля и ветрил (кстати, сцена свержения кумира полна этничности: грузин Джугашвили попрал авторитет полугрузина Марра при помощи грузин Чарквиани и Чикобавы). Пережив миг растерянности, этнографы обнаружили, что под вывеской марризма и марксизма они успешно развивали самостоятельное и перспективное междисциплинарное направление: С. П. Толстов являл собой образец синтеза этнографии и археологии, М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров — этнографии и антропологии, Б. О. Долгих — этнографии и истории (этнической истории).

Этногенез был для советских этнографов своего рода творческим подпольем. Среди смиренных гуманитарных наук именно «вспомогательная» этнография позволяла себе роскошь гипотез и дискуссий. Прорвавшись в неопечатанную марксизмом область этногенеза, она кипела смелыми предположениями и рискованными толкованиями. Достаточно, для примера, вспомнить исследование происхождения селькупов Г. И. Пелих, в котором автор представляет этногенетическую панораму от Шумера до Берингоморья [*Пелих* 1972]. Вольностью в эпоху советского интернационализма было и свойственное этнографам обостренное внимание к этничности.

Слегка окрепнув, этнография стала выбираться из подвала истории — «первобытнообщинной формации». Первые попытки привлечь этнографов к сюжетам современности в конце 1940-х гг. успехом не увенчались из-за опасений покидать убежище архаики и изменять обычаю «бесед со старушками». Сдвиг к современности Ю. Слезкин связывает с речью Сталина на приеме делегации правительства Финляндии в апреле 1948 г., когда вождь заговорил о равенстве народов и самобытности каждого из них; именно с этого момента «этнография смогла снова изучать этничность» [*Slezkine* 1994: 310]. Впрочем, тема была не нова: и недавно, на этнографической конференции 1929 г., и давно, в академических экспедициях XVIII в., этничность занимала ключевую позицию в повестке народоведения. Со временем выстроилась классическая предметная триада советской этнографии: этногенез — этническая история — современные этнические процессы.

Из этногенеза выросла не только новая советская этнография, но и теория этноса, увенчанная яркой и яростной дискуссией 1970-х гг. с участием Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева. Поскольку оба пришли в этнографию из соседних областей балканистики (Бромлей) и востоковедения (Гумилев), ни тот, ни другой не были скованы излишним пиететом к науке о народах, и каждый на свой лад решительно распорядился судьбой «этноса и этнографии». В настрое их теорий не последнюю роль сыграли проекции их исследовательских увлечений — кочевого напора Гумилева и оседлого уклада Бромлея.

Гумилев ворвался в остепенившуюся советскую этнографию 1970-х гг. подобно гунну, попирающему сложившиеся нормы и приличия. Традиционную этнографию он объявил исчерпавшей свои возможности и призвал развивать этнологию, цель которой состоит в изучении пассионарности народов. Обращаясь не только к формам, но и к эмоциям этничности, он использовал запрещенные в науке художественные приемы, посылающие сигнал не в мозг, а в сердце:

> Этническое поле, т. е. феномен этноса как таковой, не сосредоточивается в телах ребенка и матери, а проявляется между ними. Ребенок, установивший связь с матерью первым криком и первым глотком молока, входит в ее этническое поле, которое потом лишь модифицируется вследствие общения с отцом, родными, другими детьми и всем народом [*Гумилев* 1990: 305].

Как истинный художник, Гумилев пренебрег формальностями в выборе главного героя. Им оказался не этнос, а пассионарий — человек этногенеза, создающий народ. От количества таких людей зависит уровень пассионарного напряжения этноса. Энергия эта подсознательна, поэтому «пассионарии не могут заставить себя рассчитать последствия своих поступков».

> Особи, обладающие этим признаком, при благоприятных для себя условиях совершают (и не могут не совершать) поступки, которые, суммируясь, ломают инерцию традиции и инициируют новые этносы [*Гумилев* 1990: 260].

Эти метафоры и пассажи остались бы фигурами речи, если бы за ними не стояли реальные персонажи — этнические лидеры, миссия которых в советские времена старательно скрывалась научным коммунизмом. В этом плане Гумилев выступал не только идеологическим мятежником, но и почти конструктивистом, определяя решающую роль вождей в самоопределении народа. Для советских читателей «пассионарность» Гумилева по точности выражения не уступала зарубежным аналогам — «харизме» М. Вебера, «порыву» А. Бергсона или «творческому меньшинству» А. Тойнби.

Правда, в конкретных исторических сюжетах пассионарность часто давала сбои: например, чиновники *гудухэу* в державе хунну безо всяких видимых причин скопом получили статус пассионариев [*Гумилев* 1993: 61, 196]. Не менее уязвима наукообразная схема подъема, акматического состояния, надлома, инерции, обскурации этносов, общий жизненный цикл которых составляет около 1 200 лет. И уж совсем за гранью науки оказалась версия космического происхождения пассионарной энергии, из-за которой генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский назвал Гумилева «сумасшедшим параноиком, обуреваемым навязчивой идеей доказать существование пассионарности», и посетовал на то, что в спорах с Гумилевым потратил «максимум своей пассионарности» [*Беляков* 2012: 456]. Ныне эта часть теоретизирований Гуми-

лева вызывает больше всего недоумений и разочарований [*Bassin* 2016], а также вопрос: обязательно ли принимать творчество исследователя целиком или позволительно выбрать те его доли, которые заслуживают профессионального внимания? Оставляя поклонникам эзотерики и гороскопов версию о внеземных радиационно-мутационных истоках пассионарности, остается сожалеть о том, что Гумилев искал их в макрокосме вселенной, а не в микрокосме человека, но при этом помнить, что годы на дворе были космические — 1960-е и 1970-е.

Зато часто звучащие в адрес Гумилева упреки в биологизаторстве не всегда справедливы: на самом деле его доводы были апологией человечной этносферы на фоне всеобщей биосферы, агрессивной социосферы и мертвящей техносферы. Какой бы критике ни подвергались суждения Гумилева, ему принадлежит заслуга популяризации темы этноса и этногенеза. В его риторике впервые с 1920-х гг. громко зазвучало слово «этнология», причем с почти забытой претензией на роль «царицы наук».

В сравнении с пассионарным этногенезом Гумилева уравновешенный «этнос» Ю. В. Бромлея смотрелся научно, но статично. Его аналитические раскладки «в широком смысле» на этносоциальный организм (ЭСО) и «в узком смысле» на этникос вносили некоторую ясность, но не живость. Впрочем, в ту пору научность прочно ассоциировалась с тяжестью языка и распевными терминологическими штудиями: ученые были искренне увлечены обсуждением научных категорий, терминотворчеством; на конференциях призывали друг друга «прежде всего договориться о терминах» и самозабвенно без конца договаривались. Как истинный систематик, Бромлей твердо определил объект этнографии — народ (этнос), точнее «все когда-либо существовавшие этносы» [*Бромлей* 1973: 205]. Это тривиальное, на первый взгляд, суждение не за служивало бы внимания, не случись совсем недавно, в дискуссиях 1920–1930-х гг., «исчезновения» этноса, а следом и этнографии. Наконец, в 1983 г., Бромлей осуществил то, чего не допускали Марр и Аптекарь, — распределил типы этносов по марксистским формациям [*Бромлей* 1983]. Советским этнографам в те годы казалось, что этнос и этнография обрели наконец мир и покой. Однако теория этногенеза себя уже исчерпала и выглядела устало, что заметно по книге В. П. Алексеева с программным названием «Этногенез», содержащей схематичные понятия: этногенетические деревья, этногенетические ветви, этногенетические кусты, этногенетические пучки [*Алексеев* 1986: 70–72].

Усталость от этногенеза совпала с «окончательным решением национального вопроса в СССР»: брежневская конституция 1977 г. провозгласила новую историческую общность «советский народ», вобравшую в себя социалистические нации и народности. Однако этническое умиротворение оказалось лишь затишьем перед бурей 1990-х гг., когда «советский народ» вдруг взорвался сотней больших и малых национализмов. Вновь, как в годы

революции, по слабеющей империи пронесся смерч «национального вопроса» — джинн этничности, полвека просидевший в запечатанной бутылке, вырвался на свободу, и никто не мог ни предсказать, ни объяснить его поведения. «Этносы» вели себя совершенно не так, как им предписывала конституция, — скорее, по сценарию пассионарного этногенеза Гумилева, чем по статичной схеме Бромлея.

В те же годы в мировой науке обозначился тренд деэтнизации антропологической повестки: после выхода в свет книги Б. Андерсона [*Anderson* 1983] народы под пером конструктивистов всё чаще объявлялись «воображаемыми сообществами». Близился контрапункт, когда постсоветская этнография оказалась в разладе между реальным накалом этничности и концептуальным «низвержением этноса». Это состояние выразилось, например, в диалоге между С. А. Арутюновым с его «развитием» народов и культур [1989] и В. А. Тишковым с его «реквиемом по этносу» [2003]. Впрочем, это — сюжет отдельного очерка.

* * *

Иногда экскурс к первичным смыслам полезен, как уборка на письменном столе, для избавления от рассеивающих внимание наслоений. Краткий монтаж фактов из истории отечественной этнографии показывает, что в России наука о народах была «почвенной» — выросшей из реальных обстоятельств и нужд. Наука по определению всечеловечна и глобальна, но есть места и ситуации, в которых та или иная отрасль знаний растет от корней обыденности и отвечает на жизненные вызовы. В полиэтничной Российской империи XVIII в. так случилось с народоведением, от которого берет начало традиция особого, подчас гипертрофированного, внимания к этничности в советской и российской этнографии/-логии. Раннему народоведению свойственно: (1) выдвижение на первый план народа как главного фигуранта повествования; (2) значимость художественного образа (рисунка костюма) в описании народа; (3) рождение народоописания не в кабинетах, а в путешествиях. Позднее, когда идеология принуждала этнографию отречься от этничности, та уходила в «подполье» (например, этногенез), но затем непременно возвращалась к прежним приоритетам. Даже «критика этноса» исходила из той же этничности, пусть и с обратным знаком. Эта особенность российской науки о народах до сих пор заметно отличает ее от зарубежной антропологии.

Искания и достижения российской этнографии на поприще этничности следует считать не «тупиковой ветвью», а конкурентным преимуществом отечественной науки. Народоведение — национальное достояние России. Возможно, этнография — самая российская из наук (по рождению и устойчивой мотивации), и драматургия ее истории адекватна «национальному характеру».

В XX в. «национальный вопрос» сыграл ключевую роль в революции и строительстве СССР, который был сконституирован как союз народов, а его Верховный Совет составлен из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей. Как Запад опирается на многопартийность, так Россия/СССР — на многонародность. Российское народовластие этнично: именно голоса и интересы народов образуют многонациональное сообщество и служат главным противовесом политическому централизму.

Российская этнография не одинока в своей склонности к этничности. Среди близких ей методологий можно назвать постмодернизм с его неожиданным для западной антропологии культом этнографии как науки плотных текстов и их этнически адекватных интерпретаций. Многое из подходов и находок релятивизма родственно отечественной науке о народах с ее неизменным вниманием к «этнической специфике». Даже конструктивизм, ставящий под сомнение «объективность объекта» этнографии — народа, в действительности оказывается методом субъективной этнографии, открывающим доступ к изучению действующих лиц и сценариев народостроительства.

Источники и литература

Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. М.: Наука, 1991. 240 с.

Алымов С. С. Украинские корни теории этноса // Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 67–84.

Алымов С. С., Арзютов Д. В. Марксистская этнография за семь дней: совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920–1930-е годы // От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 21–90.

Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. 247 с.

Беляков С. С. Гумилев сын Гумилева. М.: АСТ, 2012. 797 с.

Богораз В. Г. К вопросу о применении марксистского метода к изучению этнографических явлений // Этнография. 1930. № 1–2. С. 3–56.

Витсен Н. Северная и восточная Тартария. Амстердам: Pegasus, 2010. Т. 1–3. Т. 1 — С. 1–625; Т. 2. — С. 626–1225.

Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М.: Новое лит. обозрение, 2011. 381 с.

Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. СПб., 1776. Ч. 1–3; 1799. Ч. 1–4.

Головнёв А. В. Феномен колонизации. Екатеринбург: УрО РАН, 2015. 592 с.

Головнёв А. В., Киссер Т. С. Этнопортрет империи в трудах П. С. Палласа и И. Г. Георги // Уральский исторический вестник. 2015. № 3 (48). С. 59–69.

Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. 626 с.
Жабрева А. Э. Изображения костюмов народов России в трудах ученых Петербургской Академии наук XVIII в. // Справочно-библиографическое обслуживание: традиции и новации. СПб.: БАН, 2007. С. 201–214.
Золотарев А. М. Этнография в Москве // Советская этнография. 1934. № 4. С. 118–119.
Копанева Н. П. Научное путешествие Д. Г. Мессершмидта как часть проектов Петра I по описанию Российского государства // Уральский исторический вестник. 2016. № 2 (51). С. 44–52.
Манштейн Х. Г. Записки о России // Перевороты и войны / Христофор Манштейн. Бурхард Миних. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. 576 с.
Марр Н. Я. Избранные работы. М.; Л.: ГАИМК, 1933. Т. 1.: Этапы развития яфетической теории. 397 с.
Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб.: Тип. Императорской акад. наук, 1886–1887. Т. 4. 824 с.
Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов. М.: Памятники исторической мысли, 2009. 456 с.
Нащокин В. А. Записки // Империя после Петра (1725–1765)/ Яков Шаховской. Василий Нащокин. Иван Неплюев. М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 325–384.
От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.)/Под ред. Д. В. Артюзова, С. С. Алымова, Д. Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 509 с. (Серия «Кунсткамера Архив». Т. VII).
Открываемая Россия, или Собрание одежд всех народов в Российской империи обретающихся. СПб., 1774–1776. № 1–13.
Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб.: Императорская Академия наук, 1773. Ч. 1–2, кн. 1. 773 с.
Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1972. 424 с.
Прокофьев Г. Н. Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна // Советская этнография. 1940. № 3. С. 67–76.
Решетов А. М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб.: Петербургское востоковедение, 1994. Вып. 4. С. 185–221.
Соловей Т. Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX в. М.: ИЭА РАН, 1998. 258 с.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36.
Суни Р. Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории/ Под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 36–81.

Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. 544 с.

Токарев С. А. К постановке проблем этногенеза // Советская этнография. 1949. № 3. С. 12–36.

Токарев С. А. Первая сводная этнографическая работа о народах России: Из истории русской этнографии XVIII в. // Вестник Московского университета. Историко-филологическая серия. 1958. № 4. С. 113–127.

Токарев С. А. Происхождение якутской народности // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.; Л., 1941. Т. 9. С. 58–62.

Токарев С. А. История русской этнографии. Дооктябрьский период. М.: Наука, 1966. 452 с.

Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: У истоков сибирской археологии. СПб.: ООО «ЭлекСис», 2017. 168 с.

Удальцов А. Д. Начальный период восточнославянского этногенеза // Исторический журнал. 1943. № 11–12. С. 67–72.

Удальцов А. Д. Теоретические основы этногенетических исследований // Известия АН СССР. Сер.: История и философия. 1944. Вып. 1. № 6. С. 252–265.

Чернецов В. Н. Очерк этногенеза обских угров // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.; Л., 1941. Т. 9. С. 18–28.

Чистов Ю. К. Этнографические коллекции Кунсткамеры (1714–1836). К вопросу об институционализации этнографии как научной дисциплины в России // Уральский исторический вестник. 2017. № 4 (57). С. 136–143.

Широкогоров С. М. Этнографические исследования. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2002. Кн. 2. 148 с.

Шнирельман В. А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение. 1993. № 3. С. 52–68.

Элерт А. Х. Народы Сибири в трудах Г. Ф. Миллера. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 1999. 240 с.

Этнология: учебное пособие/отв. ред. Е. В. Миськова. М.: Академический проект, 2006. 615 с.

Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London; New York: Verso, 1983. 160 p.

Asad T. Afterword: From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony // Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. Madison: The University of Wisconsin Press, 1991. P. 314–324.

Bassin M. The Gumilev Mystique: Biopolitics, Eurasianism, and the Construction of Community in Modern Russia. New York: Cornell University Press, 2016. 400 p.
Galtung J. Scientific Colonialism: The Lessons of Project Camelot // Transition. 1967. № 5–6 (30). P. 10–15.
Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen Merckwürdigkeiten. St. Petersburg, 1776–1780. Bd. 1–4.
Georgi J. G. Bemerkungen einer Reise im Rußischen Reich 1772–1774. St. Petersburg, 1775. Bd. 1–2.
Gough K. Anthropology: Child of Imperialism // Monthly Review. 1968. Vol. 19, № 11. P. 12–27.
Harley J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001. 331 p.
Heidemann F. Ethnologie. Eine Einführung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. 284 p.
Kan S. Lev Sternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Lincoln; London: University of Nebraska press, cop., 2009. 550 p.
Köhler M. Russische Ethnographie und imperial Politik im 18. Jahrhundert. Göttingen: V&R unipress, 2012. 300 p.
Martin T. An Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. New York: Cornell University Press, 2001. 496 p.
Müller G. F. Nachrichtenüber Völker Sibiriens (1736–1742). Hamburg: Institut fuer Finnougristik /Uralistik der Universitaet Hamburg, 2003. 258 p.
Müller G. F. Ethnographische Schriften II. Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen zu Halle; Sankt Petersburg: Arch. der Russischen Akad. der Wissenschaften, Zweigstelle Sankt Petersburg, 2018. 817 p.
Pels P. What Has Anthropology Learned from the Anthropology of Colonialism? // Social Anthropology. 2008. Vol. 16 (3). P. 280–299.
Slezkine Yu. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. New York: Cornell University Press, 1994. 456 p.
Stagl J. A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800. New York: Taylor & Francis, 1995. 344 p.
Suny R. G. The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford; Stanford University Press, 1993. 200 p.
Vermeulen H. F. Before Boas: the Genesis of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2015. 746 p.

Глава 2. НАУКА О НАРОДАХ И НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Формирование контуров этнонациональной политики (1917 — начало 1930-х гг.)

Полагаем справедливой оценку раннесоветской национальной политики как «эклектичной и импровизационной», во многом зависящей от «соотношения основных действующих лиц и сил в данной сфере, от идеологических установок и от реализующих эту политику организационно-правовых механизмов» [*Тишков* 2021: 208–209]. Вместе с тем в этой политике изначально присутствовали идеологические императивы и ценностные «красные линии», например, реализация обещаний в сфере устранения дискриминации и неравноправия для «ранее отсталых» и «ранее угнетаемых» наций и народностей.

В первые десятилетия был взят директивный курс приоритетного развития национальных окраин и отсталых регионов за счет более развитых, в первую очередь великорусских и украинских. Подобный курс вытекал из логики большевистской идеологии с ее концепцией «выравнивания» уровней экономического развития и модернизации социальной структуры традиционных обществ, а также доктриной «возмещения». Теоретико-методологическим основанием последней служила ленинская формула об интернационализме, который «должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически» [*Ленин* 1979: 359].

Можно характеризовать предвоенный СССР как «империю аффирмативных акций», имея в виду проведение сознательной и целенаправленной стратегии развития и поощрения советских меньшинств, этнической периферии.

Вообще раннесоветский СССР может служить классической иллюстрацией конструктивистских теорий: в нем целенаправленно создавались институциональные, культурные и кадровые предпосылки формирования «социалистических республик» и «советских наций». Социалистические нации и квазигосударственные образования благодаря усилиям коммунистической власти вырастали там, где их исторически никогда не существовало. «Для большевиков конструирование наций имело самодовлеющее значение. Это стало своего рода новой религией...», — справедливо указывает В. А. Тишков [*Тишков* 2021: 218].

Привязав национальную принадлежность к территории и введя ее паспортное установление, режим институционализировал этничность; результатом политики «коренизации» стало формирование амбициозных этнических элит. Вкупе с такими достижениями социалистической модернизации, как урбанизация и распространение образования, это создавало благоприятную почву для появления и распространения местных национализмов и партикуляризмов. В перспективе, по крайней мере, с 1960-х гг., республиканские (как союзных, так и автономных республик) элиты стали искать новые источники своей легитимации в истории и традициях так называемых «титульных» национальностей. На общесоюзной арене они предпочитали выступать от имени этих национальностей, разыгрывая козырную карту этнической лояльности на союзном административно-бюрократическом и ресурсном рынке.

Коммунистическую национальную политику в первое пятнадцатилетие советской власти можно охарактеризовать как амбивалентную: поощрительную в отношении националов и дискриминационную в отношении русских. Такая стратегия (включая институциональную неполноценность РСФСР) была рациональна в своем основании: распад Российской империи начался с номинальной метрополии и действиями русских, а национальные окраины (рассматривавшиеся до этого как потенциальная сепаратистская угроза) лишь воспользовались открывшимися возможностями.

К началу 1930-х гг. стратегическое видение ситуации стало меняться: этническая периферия начала возвращать себе статус потенциального вызова стабильности и целостности страны, а русские отождествлялись со страной Советов в целом и виделись ядром, надежным гарантом и опорой существования СССР.

Происходивший в дальнейшем процесс конструирования «советского народа», во многом предвосхитил западную политику мультикультурализма. Акцент на политическом единстве не исключал сохранения и даже поощрения этнокультурного своеобразия «советских наций». Кардинальное отличие от западной «политической нации» заключалось в том, что одновременно и наряду с формированием принципиально надэтнической политической и гражданской идентичности режим осуществлял институционализацию этничности, оформлял новые этнонации и воздвигал для них «национальные дома» в виде советских союзных и автономных республик.

Даже самые яростные критики советского строя не могут отрицать, что в своей приверженности модернизации коммунисты пошли значительно дальше любой другой империи: общий уровень грамотности и среднего образования в советской Средней Азии оказался недостижим для английских небелых колоний; местное население советских среднеазиатских республик играло несравненно более значительную роль в управлении, чем местное население британских колоний. Коммунистическая власть последовательно

и целенаправленно поощряла развитие самосознания нерусских народов. Не говоря уже об общепризнанных заслугах коммунистического режима в сохранении малочисленных этнических групп и культурной самобытности.

Существенную роль в решении задач модернизации и в деле национально-государственного строительства сыграли этнографы: с первых лет советской власти они оказались вовлечены «в большой идеологический проект „решения национального вопроса“ на основе национального (читай — этнического) самоопределения и дружбы народов и во многом создали эмпирическую и теоретическую базу для „социалистического нациестроительства“ не на гражданской, а на этнической основе» [*Тишков* 2021: 241].

Государство и наука в советской России (1917–1920-е гг.)

Советское государство возникло и развивалось (последние годы своего существования скорее по инерции) как носитель грандиозного и вдохновляющего проекта строительства альтернативной Западу цивилизации. Этот проект питался претендовавшей на научный характер мессианской идеологией русского марксизма (большевизма). (Претензии на научную рациональность вообще характерны для идеологий Модерна). То есть государство, номинально воплощавшее волю передового класса — пролетариата, нуждалось в легитимации себя наукой. В свою очередь, оно легитимировало науку, рассматривая ее как средство освобождения пролетариата и движения по пути прогресса. В принципе, в самой этой связи, если отбросить ее содержательную сторону, не было ничего специфически советского: вопрос о легитимации науки, решающей «что истинно, а что ложно», еще со времен Платона, как указывал Ж.-Ф. Лиотар, неразрывно связан с вопросом о легитимации власти, определяющей «что справедливо, а что несправедливо» [*Лиотар* 1998: 27–28]. Легитимация же науки через, по выражению того же Лиотара, «метарассказ» (диалектика Духа, эмансипация разумного субъекта или трудящегося, рост богатства и т. п.) вообще характерна для эпохи Модерна.

Советское государство одной из своих ипостасей выступало как государство Модерна. Во-первых, оно унаследовало важные черты Модерна: сциентизм, технократизм, рационализм, идею социального милосердия. Во-вторых, ему пришлось решать масштабные задачи социально-политической и экономической модернизации, остававшиеся для Запада уже в прошлом. Модерн-проект, вне зависимости от его политико-идеологической окраски, неосуществим без самого активного участия и использования науки, что предопределяло востребованность и высокий статус научного знания в новой России, порождая, в свою очередь, надежду на взаимность науки по отношению к большевистскому государству.

Развитие отечественной этнологии в 1920-е гг. в полной мере подтверждает справедливость этих теоретических выкладок. Она наконец-то

приобрела устойчивый статус самостоятельной научной дисциплины, получила институциональное оформление и стабильное государственное финансирование, была налажена система подготовки этнологических кадров, укрепился привлекательный образ профессии. Эти важные позитивные изменения более чем компенсировали потери, понесенные этнологией в годы революционных потрясений и гражданской войны.

Востребованность этнологических знаний объяснялась двумя принципиальными обстоятельствами. Первое из них носило (гео)политический характер: в 1920-е годы Кремль разворачивал вектор мировой революции с Запада, где раздуть революционный пожар не удалось, на пробуждавшийся Восток. Значительный рост интереса к зарубежной и отечественной Азии стимулировал развитие востоковедных, в том числе этнографических, исследований и расширение масштабов соответствующей профессиональной подготовки. Вторым фактором был упоминавшийся императив модернизации Советского Союза, в том числе модернизации («вовлечения в социалистическое строительство») ранее «отсталых народов». В авангарде решения этой задачи неизбежно оказывалась этнографическая наука.

Этнографам предстояло изучить и описать этнический состав населения бывшей Российской империи, создать этнографические карты и заняться этнической статистикой, активно участвовать в организации просветительских и культурных учреждений на окраинах страны, способствовать формированию и развитию национальных письменных литератур. Важно отметить, что направленность государственной политики принципиально совпадала с научными интересами и устремлениями самих ученых, т. е. существовала взаимная комплиментарность науки и нового государства. Благодаря поддержке последнего сложились благоприятные условия для реализации многочисленных замыслов и идей (например, изучения этнического состава населения России), вынашивавшихся не одним поколением российских этнографов. Ориентируя их в первую очередь на практические результаты, власть не вводила при этом значительных идеологических и политических ограничений в сфере профессиональной деятельности.

Более того, большевистский мироустроительный проект с его пафосом титанического созидания смог реактуализировать ценности Модерна и восстановить целостность мировоззрения русской интеллигенции. Вера в единство и прогресс человечества, в разум и преобразующую мощь человека — все те идеальные ценности и высшие смыслы, которые были порушены мировой и гражданской войнами, вновь наполнились реальным содержанием, мотивировали личное, групповое и общественное поведение. Приверженность идее прогресса объединила этнологическое сообщество — как представителей старой, дореволюционной школы, так и новую, советскую генерацию. Судя по этнологии 1920-х годов, «чувство социального оптимизма» — набивший оскомину штамп советских социальных наук — было *реальным* ми-

роощущением. Этнология в целом характеризовалась высоким морально-психологическим тонусом, динамизмом, стремлением к поиску нового и небывалой тягой экспериментаторства.

Этот *Zeitgeist* пронизывал и высшее образование, которое формировало не только профессиональную компетентность, но и (возможно даже, в большей степени) идеалы, итогом чего должно было стать появление элиты, ведущей пролетариат к освобождению, а человечество по пути прогресса. Новый мощный импульс получил легитимировавший этнографическую профессию с конца XIX в. миф об «этнографе-подвижнике» — модификация архаичного мифа о «культурных героях».

Отношения между государством и этнологической наукой в 1920-е годы можно в целом охарактеризовать как *неравноправное партнерство*, где слабой стороной выступало научное сообщество. Государственные преференции науке обменивались на ее участие в модернизации советской России («связь с практикой социалистического строительства» как критически важное условие государственной поддержки), что в полной мере соответствовало устремлениям самих этнологов, и политическую лояльность по отношению к новой власти. За этими исключениями этнология сохраняла автономию: политические инстанции не покушались на свободу научного творчества, не диктовали ученым, что и как им изучать. В свою очередь, этнологическому знанию нередко принадлежала решающая роль в выборе конкретных приоритетов, определении форм и методов советской этнополитической стратегии, особенно в части социализации «отсталых народов».

Хотя государство и наука легитимировались «метарассказом» — идеологией большевизма — конституирующим признаком этнологии 1920-х годов был плюрализм во всех сферах ее бытования, во всех ее аспектах: теоретико-методологическом, институциональном и кадровом, в принципах и системе профессиональной подготовки. Причем главенствующие позиции в науке и в профессиональном образовании занимали ученые старой школы — этнографы, чье профессиональное становление пришлось на дореволюционный период. Именно эта генерация ученых инициировала большинство новых учебных и научных этнологических центров, возникших после революции, в их руках находился контроль, как за новыми учреждениями, так и за теми, которые появились еще до большевистской революции.

Это объясняет, почему претензии на методологический диктат («марксизация» этнографии) на рубеже 1920-х и 1930-х годов, исходили не столько от власти, сколько от части молодого поколения советских обществоведов, лелеявших амбициозные планы административного контроля над комплексом гуманитарных дисциплин. Средством достижения чего была избрана организация идеологического давления на ученых старой школы, поскольку состязаться с ними на профессиональном поприще марксистские неофиты не решались. Фактически «молодые марксисты» пытались узурпировать

право государства выступать верховным арбитром истины, что с неизбежностью влекло за собой его вмешательство во внутринаучный, но идеологизированный конфликт. В результате хрупкий и неустойчивый *modus vivendi* в отношениях между наукой и государством был безвозвратно сломан. В общем-то, раньше или позже это неизбежно произошло бы в силу логики развития советского проекта и эволюции партийного государства.

Одним из важнейших условий, обеспечивших беспрецедентную динамику этнографических исследований после революции, стала кадровая непрерывность: в подавляющем большинстве этнологи старой школы не покинули Отечество в годы гражданской войны. Это потенциально обусловило их готовность к сотрудничеству с новой властью. Что двигало теми учеными, которые остались в России? Абстрагируясь от разного рода личных обстоятельств, попытаемся реконструировать определяющие мотивы. Во-первых, пафос титанического созидания, исходивший из большевистской парадигмы модернизации, предоставлял ученым уникальный шанс участвовать в формировании новой социальной и культурной ткани страны. Во-вторых, здравый анализ сложившейся ситуации показывал, что большевики представляли единственную реальную политическую силу, способную вывести страну из общенационального кризиса и восстановить Космос/порядок. В-третьих, переход к нэпу с его пусть ограниченным, но плюрализмом, порождал надежды на перерождение нового режима в демократическом русле.

Познать, чтобы преобразовать. Этнологическая экспертиза и большевистская модернизация

В раннюю советскую эпоху этнология оказалась очень важным средством «социалистического строительства на национальных окраинах». Политика экономической и социокультурной модернизации должна была опираться на «широкое этнографическое изучение освобожденных этнических единиц», а «безболезненное проведение в жизнь новых начал производства, быта, общественного устройства было возможно только при достаточном предварительном изучении данного этноса» [*Преображенский* 1929: 18].

Познать, чтобы преобразовать, — этот социалистический лейтмотив этнографического изучения сменил имперский принцип *познания ради управления*. Пафос трансформации *народов* — их социальных, институциональных, культурных и даже ментальных структур, подразумевавший непосредственное участие науки, вовлекал ученых в сложную политико-идеологическую игру, подвергая серьезному интеллектуальному и моральному риску. Хотя стратегия форсированного приобщения народов национальных окраин к социализму, основывавшаяся на классическом эволюционистском положении об универсальности прогресса и марксистской телеологии о движении народов к коммунизму как высшей и заключительной фазе истории — зем-

ному обетованию рая, выглядела антитезой царскому и западному колониализму, а первые плоды большевистской социокультурной модернизации и политическая интеграция «ранее порабощенных народов» подчеркивали фундаментальное различие стратегий модернизации, в действительности пафос триумфального марша национальных окраин к социализму под водительством великорусского пролетариата и коммунистической партии не был лишен колониалистского подтекста, поскольку имплицитно основывался на презумпции неполноценности народов этих окраин. Если их надо было *вести*, то это означало их неспособность *идти* самим.

Участие этнографов в осуществлении национальной политики осуществлялось различными способами. В первое десятилетие содержание национально-культурной политики определяли два конкурирующих ведомства — Наркомнац (Народный комиссариат по делам национальностей) и Наркомпрос. Схематично их противостояние можно описать следующим образом: Наркомнац следовал линии на «этнизацию» окраин и наделение их народов государственным статусом, а Наркомпрос был нацелен на контроль и унификацию культурной и образовательной сфер для реализации стратегических целей новой власти. Профессиональные этнологи вошли в состав некоторых подразделений как Наркомнаца, так и Наркомпроса (например, в Центральное этнографическое бюро при отделе нацменьшинств), а также других правительственных учреждений (Бюро съездов при Госплане СССР); часто выступали в роли приглашенных экспертов. В 1923 г. на большой коллегии Наркомнаца был заслушан доклад профессора В. Г. Богораза «об изучении и охране окраинных народов».

С роспуском Наркомнаца в 1924 г. национальная политика перешла в ведение партии и была нацелена на решение задачи дальнейшей интеграции регионов и национальностей в недавно образованном СССР. Отдел национальностей ВЦИК и Совет национальностей ЦИК СССР — часть общегосударственной структуры власти — осуществляли реализацию национальной политики.

С середины 1920-х гг. по инициативе ученых-этнологов учреждались различные комиссии (Подкомиссия по изучению окраинных народностей при КИПС, Комиссия экспедиционных исследований АН), занимавшиеся *научной* разработкой программ и планов экспедиционного изучения окраинных народов. В журнальной прессе множилось число публикаций, содержавших практические рекомендации профессионалов по обустройству национальных окраин [*Соловей* 1998: 72, 80].

Результаты экспертного штурма этнонациональной проблематики, а также деятельного участия профессиональных этнологов в формировании контуров национальной политики и в реализации национально-государственного строительства оказались амбивалентными. С одной стороны, 1920-е годы открыли для интеллектуалов уникальный шанс участия в государственном

целеполагании, с другой стороны, политика неизбежно редактировала науку, деформируя качество научной экспертизы и выхолащивая ее практические результаты. Яркими примерами того, как реализовывался экспертный потенциал этнологии, могут служить деятельность Комиссии изучения племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС) и Комитета содействия народностям северных окраин (Комитета Севера).

КИПС — идеал или утопия?

С точки зрения государства — держателя легитимирующего дискурса в отношении этнологии — к числу ее первоочередных задач относились этнографическая статистика и изучение «племенного состава» населения СССР и сопредельных стран. Хотя в научном плане эти проблемы были поставлены еще в имперской России, только в советское время началось их практическое решение, которое приняло огромный размах.

С инициативой осмыслить и представить этнический фактор в политико-государственном измерении выступила Российская академия наук, а решающую роль в ней сыграли этнографы и географы. Комиссия была создана 1(14) апреля 1917 г. по инициативе С. Ф. Ольденбурга под эгидой РАН [*Соловей* 2022: 321–327; *Тишков* 2021: 230–233].

Незадолго до этого 4 (17) февраля 1917 г. на общем собрании Академии было заслушано заявление непременного секретаря академика С. Ф. Ольденбурга и вынесено постановление о необходимости образовать комиссию для исследования племенного состава пограничных областей России. Поводом для этого стала серьезная обеспокоенность фактом организации немецкой стороной в ходе Первой мировой войны 1914–1918 гг. этнографических исследований территорий, прежде называвшихся «западнорусским краем» — Литвы, Галиции, Буковины, Бессарабии, Польши.

Особая Комиссия для исследования племенного состава пограничных областей России (предшественница КИПС) первоначально состояла из шести членов — по три представителя Отделений Русского языка и словесности и Исторических наук и филологии Академии наук. Ими были избраны академики Санкт-Петербургской Академии наук А. А. Шахматов, М. А. Дьяконов, Н. Я. Марр, В. В. Бартольд, В. Н. Перетц и Е. Ф. Карский. Идея встретила отклик среди научных обществ Петрограда, и в состав Комиссии были делегированы члены Русского антропологического общества С. И. Руденко и Ф. К. Волков, члены Филологического общества Санкт-Петербургского университета Л. В. Щерба и А. Д. Руднев, члены отделения этнографии Русского географического общества Д. А. Золотарев и Н. М. Могилянский.

На заседаниях 10 (23) и 24 февраля (9 марта) 1917 г. были намечены программа и план деятельности по изучению населения пограничных областей. Целью работы Комиссии С. Ф. Ольденбург считал получение экс-

пертного этнографического знания, способного поддержать военные усилия во время войны, ведущейся в существенной степени в связи с «обострением национального вопроса». Комиссии было поручено составить карты тех территорий, которые «лежат по обе стороны» европейской и азиатской границы России и которые «соприкасаются с нашими врагами»: Литвы, Польши, Галиции, Буковины, части Бессарабии, а также некоторых частей Туркестана и Кавказа, граничащих с Ираном [*Золотарев* 1925: 201–206].

Различная научная специализация членов комиссии влияла на выработку подходов: лингвисты и филологи акцентировали этноязыковой аспект картографирования (Е. Ф. Карский), антропологи — физический — для оценки пригодности местного населения к участию в военных действиях (С. И. Руденко). В конечном итоге были использованы материалы картографической комиссии РГО, чтобы предотвратить «полевые» работы на оккупированных немецкой армией территориях. Этнографические «экспедиции», отправленные на Восток, акцентировали этнолингвистический аспект изучения Центральной Азии.

На заседании 1 (14) апреля 1917 г. Особая Комиссия была преобразована в Комиссию изучения племенного состава населения России и сопредельных стран. Было выработано обращение к Временному правительству с указанием на важность и срочность задач.

Состав КИПС расширился до 18 человек: академики В. В. Бартольд, В. И. Вернадский, М. А. Дьяконов, Е. Ф. Карский, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург (председатель), В. Н. Перетц, А. А. Шахматов (заместитель председателя), а также Ф. К. Волков, Э. А. Вольтер, Д. А. Золотарев, Н. М. Могилянский, С. К. Патканов, С. И. Руденко (ученый секретарь), А. Д. Руднев, А. Н. Самойлович, Л. Я. Штернберг, Л. В. Щерба.

Скорректированные осенью 1917 г. в соответствии с новыми политическими реалиями практические задачи КИПС формулировались следующим образом: составление этнографических карт с объяснительными записками и составление очерков всех живущих в России народностей. Была образована особая подкомиссия (С. К. Патканов, С. И. Руденко, А. А. Шахматов, Д. А. Золотарев, Л. Я. Штернберг), которой поручалось составить проект инструкции к составлению племенных карт и описания народностей. Предполагалось исходя из данных Всероссийской переписи населения 1897 г., проверяя их по литературным источникам, дать «карты народностей», живущих в России. Речь шла об издании карт в масштабе 25, 40, 60 и 100 верст в зависимости от особенностей территории, но с таким расчетом, чтобы основные части — Европейская Россия, Кавказ, Сибирь и Туркестан имели однородные карты, которые можно было объединить в общую сводную карту в 100-верстном масштабе.

При реализации указанной задачи КИПС столкнулась с рядом проблем. Подлинные рукописные данные переписи уже были уничтожены. На местах

могли сохраниться копии отправленных в Центральный статистический комитет данных. Однако трудности военного и революционного времени, недостаток средств, малочисленность сотрудников и оторванность от окраин не позволили развернуть работы по собиранию материалов в широком масштабе. Тем не менее, по результатам работы удалось издать «Инструкцию к составлению племенных карт населения России» (1917), «Этнографическую карту белорусского племени» (Е. Ф. Карский, 1917), «Племенной состав населения Кавказа» (Н. Я. Марр, 1920).

Важным шагом в развитии этнической картографии стала сама «Инструкция к составлению племенных карт». На заседании комиссии в декабре 1917 г. об «Инструкции» докладывал С. И. Руденко (секретарь КИПС). Главной трудностью стало то, что население страны было полиэтничным при смешанном расселении, и подготовить этническую карту по одному или нескольким народам было сложно. Решено было разделить территорию России на ряд областей, лишь отчасти учитывая однородность племенного состава выделенных областей.

В 1920 г. были установлены штаты и бюджет КИПС, выделены территориальные отделы в ее составе — Европейский (Д. А. Золотарев), Кавказский (Н. Я. Марр), Сибирский (Л. Я. Штернберг), Туркестанский/Среднеазиатский (В. В. Бартольд), а также отдел Картографический (С. Ф. Ольденбург). Повышение уровня политико-социальной стабильности позволило КИПС вплотную приступить к реализации поставленных задач. В период с 1917 г. по 1929 г. Комиссия осуществила издание 17 выпусков «Трудов КИПС» с этнографическими картами народностей России (СССР) и сопредельных стран, что в основном решило задачу исследования этнического состава населения страны в основном решило задачу исследования этнического состава населения страны[5].

[5] Труды КИПС. Вып. 1. Инструкция к составлению племенных карт, издаваемых комиссией по изучению племенного состава России. Птг., 1917; Вып. 2. *Карский Е. Ф.* Этнографическая карта белорусского населения. Птг., 1917; Вып. 3. *Марр Н. Я.* Племенной состав населения Кавказа. Птг., 1920; Вып. 4. *Марр Н. Я.* Кавказские племенные названия и местные параллели. Птг., 1922; Вып. 5. *Марр Н. Я.* Талыши. Птг., 1922; Вып. 6. *Берг Л. С.* Население Бессарабии, его этнографический состав и численность. Птг., 1923; Вып. 7. *Патканов С. К.* Список народностей Сибири. Птг., 1923; Вып. 8. Шкала цветных обозначений народностей на картах, издаваемых КИПС. Л., 1924; Вып. 9. *Зарубин И. И.* Список народностей Туркестанского края. Л., 1925; Вып. 10. *Зарубин И. И.* Население Самаркандской области, его численность, этнографический состав и территориальное распределение. Л., 1926; Вып. 11. *Фиельструп Ф. А.* Этнический состав населения Приуралья. Л., 1926; Вып. 12. *Золотарев Д. А.* Этнический состав населения Северо-Западной области и Карельской АССР. Л., 1926; Вып. 13. *Зарубин И. И.* Список народностей СССР. Л., 1927; Вып. 14. *Вознесенская Е. А.* и *Пиотровский А. Б.* Материалы для библиографии по антропологии и этногра-

Если в начальный период своей деятельности Комиссия сосредоточила свое внимание на составлении этнических карт, то со временем стала привлекаться для решения проблем малочисленных народов Севера, языкового строительства и национальных республиках, областях и губерниях; практиковалось участие Комиссии в решении других вопросов. Для Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) КИПС готовила статистический материал с объяснительными записками по всей западной пограничной полосе. По просьбе Института социальной гигиены Наркомздрава занималась изучением проблемы вымирающих национальных меньшинств на материале исследований в Калмыцкой области. КИПС неоднократно предоставляла материалы и заключения в ответ на запросы автономных республик, областей и губерний, касающиеся языка, алфавита, организации школьного дела и т. д. НКИД посылал в КИПС на редактирование целый ряд своих карт.

Структура КИПС на 1925 г. помимо территориальных отделов включала подкомиссии по обследованию вымирающих народностей и по подготовке к Всесоюзной переписи 1926 г., а также склад карт (300 названий в 4100 листах) и библиотеку по статистике населения СССР (600 томов печатных изданий, 240 рукописей и таблиц). Штатный состав Комиссии возрос до 40 человек.

В середине 1920-х гг. увеличение бюджета на академические экспедиции давало КИПС реальную возможность осуществить собственные экспедиции. В 1926 г. КИПС провела Гарино-Амгуньскую экспедицию на Дальнем Востоке [*Золотарев* 1928б: 253]. КИПС активно участвовала в экспедициях Особого Комитета по исследованию союзных и автономных республик (ОКИСАР, образован в составе Академии наук весной 1926 г.) — Казахстанской, Карельской, Среднеазиатской и других [*Золотарев* 1928а: 76].

В 1926 г. в составе КИПС были образованы Урянхайско-Монгольская и Карело-Мурманская рабочие подкомиссии. В конце этого же года интенсифицируется работа по изучению финского населения СССР. В связи с указанным обстоятельством Карело-Мурманская подкомиссия была преобразована в Русско-Финскую секцию КИПС. В сферу исследовательской активности секции попали мордва, западно-финские племена (карелы, ижора, вепсы, водь) и лопари [*Золотарев* 1928а: 76].

К концу 1920-х гг. КИПС из учреждения, созданного для решения узкого круга прикладных задач, превратилась в мощный центр научно-исследовательской активности и даже приступила к изданию собственного журнала «Человек». Это была серьезная заявка на объединение специали-

---

фии Казахстана и Среднеазиатских республик. Л., 1927; Вып. 15. Финно-угорский сборник (под ред. С. Ф. Ольденбурга и А. И. Андреева). Л., 1928; Вып. 16. Западно-финский сборник (под ред. А. И. Андреева). Л., 1928; Вып. 17. Объяснительная записка к этнографической карте Сибири (под ред. С. Ф. Ольденбурга и С. И. Руденко). Л., 1929.

стов, изучающих человека с естественноисторической и гуманитарной точек зрения. В 1928 г. вышло 4 номера журнала, на этом издание прекратилось в связи с меняющейся ситуацией в стране (начиналась «революция сверху», сопровождавшаяся усилением политико-идеологического диктата, давлением на «буржуазных» специалистов и т. д.).

1 февраля 1930 г. КИПС была преобразована в Институт по изучению народов СССР (ИПИН). Согласно новому уставу Академии наук, ИПИН должен был стать в ряду академических учреждений руководящим, планирующим и координирующим органом в области изучения человека. К Институту перешли руководство экспедициями по изучению народов СССР и формирование соответствующих отрядов комплексных экспедиций. Институт возглавил академик Н. Я. Марр. Его заместителем стал Н. М. Маторин, ученым секретарем М. Г. Худяков.

Государственная этнография. Комитет Севера: политический заказ vs. этнокультурная реальность

В 1920-е годы академическая этнография получила реальные шансы реализовать экспертный потенциал и принять участие в национально-государственном строительстве: «Изменилась идеология этнографических исследований, когда наука прямо призывалась на службу практике, становясь элементом социальной инженерии» [*Сирина* 2013: 37]. Но в структуру деятельности этнографов изначально был встроен конфликт между «политическим заказом», с одной стороны, этнокультурными реалиями, а также картиной мира ученых специалистов «буржуазной» этнологии, с другой стороны.

Определение группы «малых» народов как объекта специального внимания власти и национального строительства привело к созданию 20 июня 1924 г. Комитета содействия народностям северных окраин при президиуме ВЦИК (Комитет Севера). Состав Комитета (председатель П. Г. Смидович, заместитель А. Е. Скачко; члены Б. М. Житков, Ф. Я. Кон, П. А. Красиков, Е. М. Ярославский, А. В. Луначарский, Н. А. Семашко, А. С. Енукидзе, В. Г. Богораз. Л. Я. Штернберг, С. А. Бутурлин. С. И. Мицкявичус) включал партийно-государственных функционеров, а также профессиональных этнологов, задача которых состояла в том, чтобы обеспечить решение политических задач научным бэкграундом.

Одним из самых деятельных региональных подразделений Комитета стал Комитет Севера при исполнительном комитете Иркутской губернии [*Сирина* 2013: 35–47]. Его активность позволяет воспроизвести логику становления «государственной этнографии» в раннесоветский период, обозначить пределы применимости идей научной этнографии в практике социалистического строительства, а также выявить встроенные в «советский

проект» ограничения, деформировавшие научный подход и приводившие к насильственной «ломке» этнокультурных реалий.

Ближайшей задачей (1925–1926) иркутского комитета стало «нащупывание» объектов преобразований, которое осуществлялось через экспедиции, в частности, к карагасам (тофаларам), окинским сойотам, верхнеленским и илимским тунгусам [*Сирина* 2013: 38–39]. Экспедиции хорошо финансировались, позволяя решать широкий круг научно-практических задач, но создавали для исследователей моральные риски — осознание негативных последствий реализации политического заказа для жизни народов Севера. Рационализацией выбора в пользу сотрудничества с властью и участия в политическом проекте было желание способствовать выработке *наименее болезненного* варианта преобразований. В проект были вовлечены ученые специалисты, в том числе, этнологи: Б. Э. Петри, В. Ч. Дорогостайский, К. Н. Миротворцев, Я. Н. Ходукин, Е. И. Титов, Н. П. Попов.

Участие в мегапроекте «государственная этнография» не только снабжало ученых новой мотивацией, придавая самоуважение, но и вело к пересмотру концептуальных подходов и контуров этнологии как дисциплины. В дореволюционный период сибирская этнография занималась темами и сюжетами, характерными для классической эволюционистской этнографии: формы социальной организации, семья, история и развитие религиозных верований. Практическая деятельность по обследованию и обустройству народов, получивших статус «малых», погружала этнографов в современность, заставила обратить внимание на прежде непопулярные темы: землепользование, хозяйство и бюджет, бытовые особенности, включая жилищные условия «малых народов» Севера. Вот как это рационализировал Б. Э. Петри: «...если раньше каждый новый добытый факт был тем ценнее и интереснее, чем больше следов давности таил он в себе, то теперь нас интересуют преимущественно те факты, которые дают ключ к правильному пониманию основных пружин, двигающих хозяйство туземцев» [Цит. по: *Сирина* 2013: 40].

Смещение акцентов в пользу изучения экономики и материальной культуры народов страны, было проявлением более широкой тенденции, характеризовавшей развитие не только сибирской этнографии. В качестве интенции это проявилось еще в имперский период и основывалось на общеметодологической установке изучения человека как производительной силы, сформулированной Д. Н. Анучиным еще в 1915 г., в ходе дискуссии о целях КЕПС (Комиссии для изучения естественных производительных сил) Академии наук.

В 1920-е годы государственное финансирование позволило организовать широкое комплексное экспедиционное изучение «этнических единиц» советского государства. Будучи ориентированы на исследование «быта народов СССР в их переходе от старого к новому» экспедиции учитывали все стороны «народной жизни», включая *экономику*, демографию, антропологию

и т. д. Этнографические результаты этих экспедиций публиковались в «Сборниках» МАЭ, изданиях этнологического отдела ГАИМК, «Материалах по этнографии СССР» этнографического отдела Русского музея, «Мемуарах» этнографического отдела ОЛЕАЭ, «Трудах» Центрального музея народоведения, изданиях Музея Центрально-Промышленной области и др.

В повестке первого (1926) и второго (1927) совещаний этнологов ЦПО «темы по материальной культуре» [*Богданов* 1927: 11; *Соловей* 1998: 78] декларировались как основные этнологические темы современности.

Что касается деятельности Комитета Севера, то слабая изученность «малых» народов, а также директивность намеченных государством преобразований требовали коллективного штурма на проблему — привлечения усилий разных учреждений и специалистов. В 1927 г. при иркутском Уполномоченном Комитета Севера был создан совещательный орган, в состав которого вошли 16 иркутских ученых и практиков (экономическую секцию Совещания возглавил Б. Э. Петри). Обсуждение вопросов происходило в жарких дискуссиях (сам факт дискуссий означал *принципиальную* возможность диалога с властью), где пытались найти разумный баланс между партийно-политическим заказом, этнокультурной действительностью (учет мнения самих «малых» народов) и культурно-ценностными презумпциями (картиной мира) профессиональных этнологов.

«Политический заказ» преследовал вполне определенную цель: решение «всех вопросов изменения жизненного уклада туземцев в сторону улучшения виделось в предстоящей коллективизации» [*Сирина* 2013: 42]. Исторически сложившиеся реалии в землепользовании туземных этносов власть предпочитала не замечать. Эта перспектива вступала в противоречие с неготовностью «подопечных» государства жить по установленным извне правилам (впрочем, единство мнений по поводу идеального жизнеустройства в туземной среде тоже отсутствовало).

Наконец, в картине мира этнологов, питавшихся гуманистическими идеалами сибирского «областничества», «отсталость» национальных меньшинств была проекцией имперской политики, русской колонизации, насильственной христианизации и русификации. Выход виделся в изоляции туземцев от русских как «главного зла» через создание особых районов-резерваций. Так «печальник» тунгусского народа Б. Э. Петри, характеризуя состояние дел в сфере школьного образования, замечал: «Особо следует обратить внимание на *засорение* (курсив мой. — Т. С.) туземного состава учащихся чуждым по национальности элементом. <...> Поскольку мы стремимся создать чисто туземную национальную школу, нет никакой надобности денационализировать ее посторонними включениями» [Цит. по: *Сирина* 2013: 43].

Участие этнографов в деятельности Комитета Севера давало прекрасный шанс проверить жизнеспособность концептуального арсенала буржуазной этнологии, верифицировать/фальсифицировать (априори) умозритель-

ные схемы и теоретические построения. Государственное финансирование по линии Комитета позволило организовать в период между 1924–1931 гг. порядка десяти экспедиций к прежде малоисследованным народам тайги, причем экспедиции носили комплексный характер, предполагая исследование ресурсной основы, социально-экономических отношений и культурных особенностей населения Сибири. Этнографическая составляющая присутствовала в этих комплексных исследованиях очень заметно.

Эмпирический материал, полученный в экспедициях, подвергался интеллектуальному осмыслению и стимулировал неизбежный пересмотр некоторых шатких квазинаучных построений и даже культурных презумпций. Есть горькая ирония в том, что гуманистическое желание защитить малые народы от «русских империалистов» и вывести Сибирь «на путь процветания и прогресса», структурировавшее взгляд сибирских этнографов на инородческий вопрос и конструировавшее их исследовательское поле, не выдержало проверки в реальных полевых условиях 1920-х годов. Риторика жалоб на русское промысловое население парадоксально сочеталась с категорическим нежеланием туземцев отделяться от русских в этнические резервации [*Сирина* 2013: 43]. Гуманизм интеллектуалов на поверку оказался «принудительным» счастьем для «малых» народов страны.

Вместе с тем, практики национально-государственного строительства способствовали обогащению концептуального и расширению методического арсенала этнологии. Объектами исследований становились отдельные этнографические группы. В этнографические исследования вносилась плановость: Б. Э. Петри предлагал «разбить» Сибирь на «квадраты» по географическому и национальному признакам, и планомерно изучать их статистико-экономическими методами. Были разработаны программы экономического, медико-санитарного обследования, адаптированные «применительно к хозяйству малых народностей тайги» [*Сирина* 2013: 46]. Практиковалось (особенно землеустроителями) сравнительное (кросс-культурное) изучение как минимум двух соседних этнических групп (например, эвенков и русских старожилов) с одинаковой отраслью традиционного хозяйства (охотой). В перспективе прикладные исследования могли конвертироваться в теоретические прорывы, но в быстро и драматически меняющемся на рубеже 1920–1930-гг. контексте эта возможность не имела шансов реализоваться.

Практические итоги деятельности Комитета Севера представляются «весомыми, грубыми и зримыми». К 1935 г. было образовано 9 национальных округов, 93 района, 830 кочевых советов, 500 производственных объединений, 550 артелей, 17 оленеводческих совхозов, 15 кооперативных хозяйств, 60 производственно-охотничьих станций, 7 моторно-рыбопромысловых станций.

Результаты «экспертного штурма» проблем «малых» народов Севера были амбивалентными. С одной стороны, благодаря государственной под-

держке впервые было организовано систематическое, планомерное и комплексное их исследование. С другой стороны, экспертные оценки специалистов неизбежно редактировала политика и общая идеологическая установка. Но пространство свободы и объективность оценок экспертов в не меньшей степени, нежели политика, ограничивали индивидуальный дотеоретический опыт и морально-ценностные презумпции. Картина мира, в оптике которой отсталость нацменьшинств была плодом имперской политики, русского колониализма, насильственной христианизации и русификации была таким же искажением реальности, как упования большевистской власти на тотальную коллективизацию — универсальное средство «изменения жизненного уклада туземцев в сторону улучшения».

В конечном итоге, форсированная модернизация, изменение общественно-политического контекста, логики взаимоотношений в связке власть–наука, а также роли и места этнографии в советской национальной политике, происходившие начиная с рубежа 1920–1930-х гг., не позволили реализовать экспертные возможности этнографии (в том числе, сибирской) в полном объеме и не оставили шансов проверить качество этой экспертизы. В 1935 г. Комитет Севера был расформирован, «работа по землеустройству с целью выделения особых туземных территорий прекратилась, а к концу 1930-х гг. были ликвидированы многие из созданных ранее национальных районов» [*Сирина* 2013: 45].

От экспертизы актуальных этнополитических решений — к этнографическому анализу «пережитков». Государство-Левиафан и судьба этнографии (1930-е гг.)

В СССР «национальный вопрос» (как и все другие вопросы) будет монополизирован властью и возведен в ранг большой теории и фундаментальной политики. Эта сфера теоретизирования будет изъята «из обычных гуманитарных предметов (истории, этнографии, социологии) и определена в комплекс „марксистско-ленинских дисциплин“, куда входили помимо диалектического и исторического материализма, политической экономии и истории КПСС также марксистско-ленинские эстетика и теория национального вопроса» [*Тишков* 2021: 220]. Необходимость использования экспертного потенциала этнографии для решения задач модернизации и национально-государственного строительства уже к середине 1930-х годов сойдет на нет, а сама этнография будет поставлена на грань выживания. Таковы в самом общем виде итоги «революции сверху», которая начиналась в сталинском СССР на рубеже 1920-х — 1930-х годов.

Ретроспективно, даже с высоты сегодняшнего положения этнологии в РФ, 1920-е годы выглядят во многом уникальным периодом в истории этой дисциплины, для характеристики которого уместно выражение «золотой

век». Несмотря на явные приметы менявшегося политико-идеологического контекста, вплоть до конца 1920-х гг. партийно-государственные инстанции не вмешивались в профессиональные дела этнологической корпорации, не диктовали ей постановку исследовательских задач, ограничиваясь декларациями самого общего характера. Формирование научных интересов оставалось делом самих ученых, актуализация исследований («связь с практикой социалистического строительства») была не только обусловлена внешними причинами, но и довольно органично вытекала из внутренней логики развития науки, расширявшей свой диапазон и тематическое поле.

Важная роль в формулировании научных приоритетов, освещении научной проблематики и налаживании профессиональной коммуникации принадлежала возобновившему в 1926 г. свое издание журналу «Этнография». Он унаследовал от дореволюционного «Этнографического обозрения» не только подчеркнутую аполитичность названия (что было символично), но и преемственность в отношении целей и задач, о чем публично заявила редколлегия нового издания, во главе которого встал академик С. Ф. Ольденбург. Журнал печатался одновременно в Москве и в Ленинграде, т. е. наследуя также «Живой старине». *Такая* рефлексия значительной части профессионального сообщества показывала, что она рассматривала этнологию как *ту же самую науку*, что существовала до революции, вне учета социального контекста.

Даже на исходе 1920-х годов сфера интеллектуальной свободы в этнографии была несколько шире, чем в других социогуманитарных дисциплинах. В ней сохранялась теоретико-методологическая и культурно-мировоззренческая полифония. Это было связано вот с чем. С одной стороны, политическая актуальность этнографии в деле модернизации национальных окраин служила ей своеобразной охранной грамотой. С другой стороны, этнография, в отличие от истории, не могла стать непосредственным политико-идеологическим оружием, а потому ее «марксизация» не форсировалась. Этнология могла позволить себе оставаться (или выглядеть) «той же самой» наукой, которую не затронули идейные и ценностные деформации, а этнологи в массе своей — демонстрировать аполитичность и научную добросовестность.

Однако в радикально меняющемся контексте конца 1920-х годов, когда начиналась «революция сверху» (политика форсированной модернизации страны) и резко повышался политико-идеологический градус, пространство объективности и взвешенных подходов сокращалось, как шагреневая кожа. «Горячий» контекст разогрел даже самые «холодные» и далекие от политики темы.

Существует естественный соблазн объяснить деформацию успешно развивавшейся научной дисциплины (этнологии) политическими и идеологическими факторами. Однако подобное объяснение было бы искажением сложной исторической картины.

Составной частью «революции сверху» было фронтальное наступление на «буржуазных специалистов» в промышленности, науке и системе высшего образования. На рубеже 1920–1930-х гг. ожесточенным атакам подверглась Академия наук — оплот беспартийных ученых: несколько десятков ее представителей были арестованы, а в руководство Академии партия ввела своих людей. В ходе академических выборов 1929 г. и 1932 г. академиками стали такие общественные деятели и видные ученые-марксисты, как Г. М. Кржижановский (вице-президент АН), Н. М. Лукин, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский и др. Широкомасштабные чистки охватили вузовскую систему: избавлялись от студентов с «сомнительным» социальным происхождением, беспартийных преподавателей подвергали остракизму и нередко увольняли, заменяя их партийцами.

Тем самым «революция сверху» открыла шлюзы социальной мобильности, создав благоприятные условия для реализации амбиций нового, послереволюционного поколения обществоведов, которых с долей условности можно называть «молодыми марксистами». Образно говоря, «революция сверху» была дополнена «революцией снизу», радикальная стратегия партийного руководства активно поддерживалась и проводилась в жизнь молодыми рекрутами, усугублявшими ее и без того отрицательные последствия.

Группы молодых интеллектуалов претендовали на выражение партийной линии и внедрение партийного духа в науку — претендовали самозвано, поскольку вплоть до конца 1931 г. официальная партийная линия в области общественных наук не была четко сформулирована. Руководствуясь духом времени, воинствующие марксисты поспешили взять на себя прерогативу официальных инстанций в определении того, что в гуманитарных дисциплинах считать марксистским, а что нет. (Позднее эта инициатива имела весьма плачевные последствия для многих из тех, кто на рубеже 1920-х и 1930-х годов числился в законодателях марксистской моды).

С 1927 г. обсуждение методологических вопросов этнологической науки резко активизировалось, застрельщиками в чем выступили представители «марксистского сектора» в общественных науках. Молодые интеллектуалы инициировали теоретическую дискуссию, определили ее характер и направление: марксизм как «единственно верный» научный метод был противопоставлен концептуальным построениям «буржуазной» этнологии. Был взят курс на продвижение «марксистской ортодоксии» в этнологии.

Дискуссия о «предмете этнологии» рубежа 1920-х-1930-х гг. оказалась, по невольному хронологическому совпадению, и критическим рубежом развития науки. Ее смысл и последствия вышли далеко за рамки формальной темы, ознаменовав завершение генезиса советской этнографии и положив начало советской этнографии как относительно завершенной и целостной системе науки. В этой перспективе интеллектуальные итоги дискуссии оказались за-

ведомо второстепенными, да собственно говоря, таких итогов и не было, поскольку дискуссия завершилась на сугубо идеологической ноте.

Всероссийское археолого-этнографическое совещание 7–11 мая 1932 г., на котором предстояло кодифицировать марксистское понимание этнографии, стало своеобразной тризной по науке. Центральную роль в его подготовке играла ленинградская ГАИМК — детище Н. Я. Марра, что выглядело дурным предзнаменованием (впрочем, «красный» академик на совещании так и не появился, хотя его выступление предполагалось).

С установочными докладами выступили Н. М. Маторин «Возможна ли марксистская этнография» и С. Н. Быковский «Возможна ли марксистская археология» [Резолюция 1932: 3–14]. Проблема применения марксистской методологии к конкретным этнографическим исследованиям на совещании вообще не обсуждалась, в его повестке стояли только общеметодологические вопросы, предполагавшие абстрактное социологизирование безотносительно профессиональной тематики.

Впрочем, о каких профессиональных проблемах могла идти речь, если пафос совещания сводился к «закрытию» науки. Вслед за «буржуазной» этнологией в праве существования отказывалось и «марксистской» этнографии. В решениях совещания утверждалось, что «поскольку в марксистско-ленинской системе наук не существует этнографии, как самостоятельной науки..., утверждение о существовании особой „марксистской“ этнографии является не только теоретически несостоятельным, но и сугубо вредным»; «построение этнографии как самостоятельной науки, с особым предметом и методом изучения, противостоящей или равноправной истории» признавалось противоречащим методологии марксизма; этнография сохраняла значение вспомогательной дисциплины, «находящейся на службе исторического исследования и имеющей своей задачей полевое собирание и первичную обработку непосредственных наблюдений над жизнью и бытом ныне живущих народов» [Резолюция 1932: 3].

Установление принадлежности этнографии к содружеству исторических дисциплин вряд ли могло компенсировать ее мизерабельный — технологический — статус в этом содружестве. Получалось, что суть марксистского подхода к этнографии состоит в ее фактической ликвидации. Однако этот ультрарадикальный взгляд не имел официального одобрения власти и выглядел опасной отсебятиной группы интеллектуалов, присвоившей прерогативу формулирования партийной политики в гуманитарных науках.

Увлекшись борьбой на «этнографическом фронте», воинствующие интеллектуалы, кажется, упустили из виду некоторые новые важные нюансы партийно-государственной политики по отношению к науке. А между тем 15 марта 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП(б), в котором, в частности, говорилось: «Этап завершения фундамента социалистической экономики требует перестройки всей научно-исследовательской работы, подчинения ее

строгой плановости, создания многочисленных кадров научных работников-коммунистов и, в особенности, преодоления отмеченного т. Сталиным отставания научной работы от практики социалистического строительства» [Наши задачи 1931: 2].

В свете этого постановления решения Всероссийского археолого-этнографического совещания оказались избыточно радикальными. Сужение пределов этнографии до перспективы ее исчезновения выглядело политической ошибкой, поскольку нельзя было пренебречь изучением народов СССР, находившихся на стадии доклассового общества. А борцы против «буржуазного понимания „антропологии" или „этнографии" как универсальных или всеобъемлющих наук» фактически вели дело к этому политически опасному игнорированию.

Наконец, отмеченное И. В. Сталиным «отставание научной работы от практики социалистического строительства» означало, что от этнографов ждут в первую очередь конкретных исследований. Между тем на повестке совещания 1932 г. стояли только общеметодологические вопросы, тогда как «вся масса этнографических работников ожидала образцов применения методологии диалектического материализма на фактических примерах, ожидала итогов конкретного исследования» [Резолюция 1932: 3].

Письмо И. В. Сталина в журнал «Пролетарская революция» в октябре 1931 г. внесло ясность в отношения между государством и интеллигенцией, показав, что только партийное руководство (а не самопровозглашенные жрецы марксизма) может быть арбитром истины — не только в истории, но и в любой другой научной или культурной сфере. Письмо это диктовало и линию поведения интеллектуалам: провозгласив «консолидацию усилий», оно дало понять всю неуместность научной конфронтации и научного нигилизма в условиях, когда усилия ученых должны были быть направлены в русло созидания, а не разрушения.

Эти партийные документы охладили наступательный пыл борцов за «марксизацию» этнологии и остановили ее дальнейшее разрушение. Крайне суженное понимание предмета этнографии было кодифицировано. Достаточно обратиться к формулировкам БСЭ 1934 г.: «Этнология — термин буржуазной этнографической науки, отвергнутый марксистско-ленинской этнографией»; «Этнография, наука, изучающая экономику, общественно-политический уклад, быт и проч. народов, стоящих на различных, часто довольно ранних ступенях докапиталистического развития...» [Цит. по: *Иванова* 1999: 256]. Хотя дискуссия по теоретическим вопросам этнологии не имела шансов на возобновление, ситуация в этнологической науке оказалась заморожена, что позволило сохранить некоторые из ее основ, в первую очередь кадры и возможность эмпирических исследований. Начавшаяся в контексте «революции сверху» ликвидация этнологии была остановлена также сверху.

После беспрецедентного успеха пришлось отступить «марристам». Подготовленная в 1932 г. В. Б. Аптекарем и И. К. Кусикьяном школьная программа уже на следующий год была заменена другой, сохранившей лишь краткие упоминания о Н. Я. Марре.

Власть поощряла революционный пафос в гуманитарных науках лишь до того предела, пока он не вступал в противоречие с задачами модернизации: «Попытка упразднить грамматику обозначила тот предел, который марризм был не в состоянии перейти ...даже в СССР 30-х гг. нельзя было прекратить преподавание языков в школах и вузах, составление и словарей, языковое строительство. А здесь марристы не предлагали ничего, кроме голого отрицания...» [*Алпатов* 1991: 108] По аналогии можно предположить, что деятельность воинствующих интеллектуалов была выгодна до той поры, пока они уничтожали здание «буржуазной» этнологии и расчищали площадку. Но *что* и *как* построить (и строить ли вообще) на освободившемся месте определяла власть, а не чернорабочие, возомнившие себя архитекторами. Эта метафора поясняет общую историческую логику, но не претендует на реконструкцию мотивов участников той далекой драмы.

Хотя дальнейшего ухудшения дел в этнографии не последовало, ее состояние было откровенно жалким, что наглядно подтвердил новый этнологический форум. Очередной вехой в утверждении советской этнографии предстояло стать Всесоюзному этнографическому слету, где предполагалось заслушать «серию конкретных научных докладов, посвященных не только народам СССР, но и проблемам первобытного общества на мировом этнографическом материале» или, другими словами, компенсировать отсутствие конкретной этнографической проблематики на Всероссийском совещании.

Но эту идею удалось осуществить лишь в сильно урезанном виде. Вместо Всесоюзного слета этнографам пришлось довольствоваться профессиональной секцией в рамках Всесоюзного географического съезда (1933). Да и предметное поле этнографии оказалось чересчур сужено: большинство выступлений было посвящено анализу социальных отношений, главным образом пережитков родового строя у народов СССР. Другими словами, этнография фактически отождествлялась с изучением пережитков первобытного общества [*Данилин* 1933: 113–117].

Исключение составил доклад Д. К. Зеленина «Итоги и перспективы изучения материального производства за 15 лет». Его автор, представивший обзор работ по темам традиционных этнографических классификаций (одежда, жилище и т. д.) констатировал, между прочим, отсутствие марксистских работ по рассматриваемой проблематике. Доклад носил историографический характер, не претендовал на теоретизирование и вполне укладывался в трактовку этнографии как эмпирической и описательной науки. Однако даже эта робкая попытка слегка расширить предписанные ей «марксистские» рамки была встречена в штыки и жестко раскритикована за возврат «к пониманию

этнографии, как самостоятельной науки, противостоящей истории» [*Данилин* 1933: 114].

Хотя марксиствующие интеллектуалы сводили на нет специфику этнографической науки, пытались растворить ее в истории, было бы неверно полагать, что они пытались подменить этнографию «изучением только современности, социалистического строительства», как утверждали их критики. Наоборот, изучение современности, уже вошедшее в тематику этнографии, Н. М. Маторин предлагал передать в ведение истории современности, оставляя этнографии некоторую (вспомогательную и техническую) роль лишь в изучении первобытного общества [*Маторин* 1931: 21].

Определения «возрождение» или «реанимация» были бы существенно ошибочной характеристикой процесса восстановления этнографической науки в конце 1930-х гг. Старая наука умерла безвозвратно, феномен, возникший на излете 30-х годов XX века, был *советской* этнографией — качественно новой наукой.

Если в 1920-е годы происходил генезис советской этнографии (и в этом смысле ее еще не было), то с конца 1930-х годов она существовала как относительно завершенная и самостоятельная система. Время в течение 1930-х годов, когда этнографии *как бы не было*, можно сравнить с инициацией: пережив символическую смерть, наука перешла в новое качество, стала другой.

Это новое качество кодифицировала формулировка предмета этнографии, которую на Пленуме Института этнографии АН (декабрь 1937 г.) дал директор института, историк-востоковед В. В. Струве: «...Основным предметом этнографии является изучение тех племен и народностей, которые еще не успели выйти далеко за рамки племенного быта, а также всех тех пережитков племенного быта, которые встречаются на более поздних стадиях общественно-экономического развития у более передовых народностей и наций» [Пленум 1938: 230].

По существу новая интерпретация предмета науки мало отличалась от прежней, «ошибочной», исходившей от лица «минимизаторов» этнографии начала 1930-х гг. Различие это было не столько научно содержательным, сколько политико-идеологическим, связанным с тем смыслом, который этнография приобретала в контексте социалистического строительства: «Советская этнография должна изучать и выявлять ... беспримерный в истории процесс перерастания племен нашего Союза в национальности и возрождения их культуры...». И еще: «Советский этнограф должен изучать те пережитки, которые остались в виде тяжелого наследства от старого классового общества и выявлять те причины, которые задерживают их отмирание. Он тем самым окажет деятельную помощь нашему социалистическому строительству» [Пленум 1938: 231].

Из этих цитат понятно, что, хотя существование этнографии было сочтено *политически* актуальным, понимание ее предмета, в общем, оставалось

на уровне начала 1930-х гг. Она получила статус *социалистической* дисциплины, изучающей преимущественно подъем и развитие национальных меньшинств и периферийных народов. В программной статье «Советская этнография и ее перспективы» Струве писал: «Она (этнография. — *Т. С.*) в первую очередь изучает те общества, которые не переросли в нацию, пребывая еще по существу на стадии первобытнообщинного строя или раннеклассового общества» [*Струве* 1939: 5]. В том, что касается более развитых народов, сфера этнографического анализа ограничивалась этнической историей или «пережитками», *иные* социальные и этнические феномены из ее ведения исключались. Методологическое обоснование подобного самоограничения науки, вероятно, питалось сталинской характеристикой (в работе «Марксизм и национальный вопрос») нации как «категории исторической» и племени как «категории этнографической».

Фактический уход этнографии в «первобытность» означал ее критическую деактуализацию и «размагничивание» экспертных возможностей, которые оказались не нужны тоталитарному Левиафану. Последующая внутренняя динамика советской этнографии не затрагивала ее качественной специфики, поскольку оставались неизменными принципы системы науки. Несмотря на появление в ней новых элементов, изменение конфигурации самой системы, напряженности и интенсивности связей между ее элементами, она оставалась советской этнографией — специфическим интеллектуальным и социокультурным институтом. Более того, внутринаучная динамика в конечном счете (хотя чаще всего опосредованно) зависела от изменений в государстве, ведь именно коммунистическая власть была подлинным демиургом как института советской науки, так и социополитической системы, интеллектуально-культурного континуума, элементом которой она выступала.

Источники и литература

Алпатов В. М. История одного мифа. Марр и марризм. М.: УРСС, 1991. 240 с.

Данилин А. Г. Секция этнографии Всесоюзного Географического съезда // Советская этнография (далее — СЭ). 1933. № 2. С. 113–117.

Богданов В. В. Задачи этнологического изучения Центрально-Промышленной Области // Вопросы этнологии Центрально-Промышленной Области. Первое этнологическое совещание по ЦПО при Государственном музее ЦПО. 29–30 марта 1926 г. / Под ред. В. В. Богданова и С. П. Толстова. М.: [Гос. музей Центр.-промышл. области], ([Серпухов]: тип. Серпуховск. «Промторга»), 1927. С. 3–11.

Золотарев Д. А. Постоянная Комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС) // Природа. 1925. № 07–09. С. 201–206.

Золотарев Д. А. (1928а). Десятилетие Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран АН СССР (КИПС). 1917–1927 // Человек. 1928. № 1. С. 76.

Золотарев Д. А. (1928б). Обзор исследовательских работ ленинградских учреждений по антропологии, палеоэтнологии и этнографии за последние 10 лет // Человек. 1928. № 2–4. С. 253.

Иванова Ю. В. Петр Федорович Преображенский: жизненный путь и научное наследие // Репрессированные этнографы / Сост. и отв. ред. Д. Д. Тумаркин; ИЭА РАН. М.: Восточная литература, 1999. Вып. I. С. 235–264.

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание. Т. 45. М.: Издательство политической литературы, 1979.

Лиотар Ж.-Ф. 1998. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 160 с.

Маторин Н. М. Современный этап и задачи советской этнографии // СЭ. 1931. № 1–2. С. 3–38.

Наши задачи в связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 марта 1931 г. // Сообщения ГАИМК. 1931. № 6. С. 2.

Пленум Института этнографии (декабрь 1937 г.) [Абрамзон С. М.] // СЭ. Сборник статей. 1938. № 1. С. 230–232. [Подпись С. А.]

Преображенский П. Ф. Вопросы развития советской этнологии // Культура и быт населения Центрально-Промышленной Области: (Этнологические исследования и материалы). Под ред. В. В. Богданова и С. П. Толстова. Второе совещание этнологов ЦПО 7–10 декабря 1927 г. М.: тип. ПТО МОНО при 1-м Моск. ин-те глухонемых, 1929. С. 12–20.

Резолюция Всероссийского археолого-этнографического совещания 7–11 мая 1932 г. (По докладам С. Н. Быковского и Н. М. Маторина об археологии и этнографии // СЭ. 1932. № 3. С. 3–14. От редакции. С. 3.

Сирина А. А. Вступительная статья // «Провинциальная наука»: этнография в Иркутске в 1920-е годы / составитель, автор вступительной статьи и биобиблиографического словаря Сирина А. А. М. – Иркутск, 2013. С. 8–53.

Соловей Т. Д. От «буржуазной» этнологии к «советской этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX века. М.: ИЭА РАН, 1998. 258 с.

Соловей Т. Д. История российской этнологии в очерках. XVIII — начало XXI в. М.: Этносфера, 2022. 612 с.

Струве В. В. Советская этнография и ее перспективы // Советская этнография. Сборник статей. М. –Л., 1939. № 2. С. 3–10.

Тишков В. А. Избранные труды. Т. 4. Российский народ: История и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2021. 631 с.

Глава 3. ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАРОДОВЕДЕНИЯ И ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Великая Отечественная война стала таким рубежом в жизни страны, который не мог не повлиять на абсолютно все сферы жизни народа, включая науку. Не случайно до сих пор в сознании общества сохраняется деление исторического времени на «до войны» и «после войны». Исключением не стала и отечественная этнография. Если в довоенный период ее предметной сферой были в основном исследования реалий быта народов доиндустриального периода, то есть этнокультурная специфика «традиционного» (в данном случае под традиционным понимается исключительно доиндустриальная культура, и главным образом сельского населения), то война, в которой была побеждена на тот момент самая сильная и технически оснащенная армия мира, не могла не привлечь внимание науки, в том числе этнографии, к современности. Ведь в ходе войны проявились совершенно новые черты советского общества и составлявших его народов, а это поставило в повестку неотложных задач этнографии изучение того, как такие качества появились, из чего они складываются, как население многонациональной страны могло выступить единым в борьбе с захватчиками.

Поэтому проблема необходимости изучения также и современных изменений в организации жизни и в быту закономерно превращалась в одну из первоочередных для советской этнографии. О необходимости изучения современности неоднократно заявлялось в статьях и выступлениях директора Института этнографии (с 1942 г.) С. П. Толстова [*Толстов* 1946; 1950; 1954; *Толстов, Жданко* 1964]. Эти призывы не оставались только словами: появилось немало публикаций, посвященных современному быту рабочих и колхозного крестьянства каких-либо конкретных поселений или отраслей промышленности. Но когда такие описания касались традиционного быта, в котором весь бытовой антураж, да и фольклорные жанры, представления о мире производились и воспроизводились в основном в узко локальной среде, передавались личностным путем, а потому имели очевидную этнокультурную специфику, накопление материалов подобного характера еще имело смысл. Иное дело в эпоху индустриализации, когда большинство бытовых аксессуаров становились покупными изделиями промышленного производства, касалось ли это одежды, мебели и убранства жилища, строительной техники и архитектуры жилых домов, бытовой утвари и т. д. И когда этнографы старыми методами скрупулезно фиксировали внедренные в народный быт промышленные формы, описывали соответствующие бытовые новации, это порой вызывало откровенные насмешки со стороны представителей смежных наук. Вопрос об изучении современности оставался открытым.

Отечественные специалисты-этнографы необходимость поиска и выработки новых подходов к изучению современности, несомненно, понимали. Вот цитата из классического и до сих пор не потерявшего своей актуальности знаменитого учебника С. А. Токарева «Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры» 1958 г. издания. Во вводных разделах книги («От автора» и «Введение. 1. Предмет и метод этнографии как науки») С. А. Токарев, один из наших авторитетнейших специалистов XX в., достаточно ясно и подробно высказался о том, чем занимается этнография и какие проблемы перед ней стоят. Среди них особо отмечена задача изучения современности:

> «Наиболее заметные, прямо зияющие пробелы в этнографической изученности народов Советского Союза касаются их современного социалистического быта. Правда, чисто фактический, описательный материал по современному быту народов у нас накоплен, он продолжает накопляться через ежегодные специальные экспедиции, через местную и центральную прессу, литературу, через выставки и документальные кинофильмы. Но ведь одно дело — фактический чисто описательный материал, другое дело — его научное этнографическое исследование. С последним у нас дело обстоит еще очень неудовлетворительно: не сформулированы еще с должной отчетливостью проблемы этнографического изучения современности, нет еще основанных на серьезном анализе конкретного материала обобщений, строго научных выводов». И далее: «Подвергнуть этот быт сам по себе, его специфические особенности этнографическому изучению наша наука еще не сумела». [*Токарев* 1958: 4].

Во Введении автор перечисляет 7 основных задач, стоящих перед этнографией, и среди них две (№ 3 и № 6) также касаются этнического и национального развития в современную эпоху и изучения перестройки народного быта, происходящей в наши дни [*Токарев* 1958: 9].

Итак, изучение этнографической современности было отчетливо понимаемой одной из первоочередных задач отечественной этнологии середины века. Но оставалась не разработанной проблема методики и даже самого исследовательского фокуса такого изучения.

Другая, отчасти связанная с первой, и не менее важная проблема, о которой до поры до времени говорить было не вполне возможным, заключалась в понимании и определении места главного объекта науки этнографии, то есть этноса, в классификации типов этнических и социальных общностей народов мира. Здесь голос профессиональных этнологов фактически не был слышен. Приоритет в определении этих форм социальной жизни остался за специалистами в области исторического материализма, прочно увязавшими типы этнических общностей с формулой «племя — народность — нация» и их обязательным соответствием формационной схеме марксизма. Племя было объявлено формой первобытного доклассового общества, народность — рабовладения и феодализма, а нация капитализма и социализма.

Обсуждение же этих сюжетов было невозможным, пока незыблемым оставалось сталинское определение нации как этнического образования, данное еще в 1913 г. Оно строилось на четырех признаках (общность территории, экономики, языка и психического склада, проявляющегося в общности культуры). Без наличия любого из них существование нации, по И. В. Сталину, не могло быть [*Сталин* 1946: 296].

Механистичность такого подхода поставила этнографов по отношению к современным этносам XX в. в ситуацию некоего прокрустова ложа. Если нация есть высший тип этнической общности, то любой народ при отсутствии одного из признаков, следовательно, не был нацией, то есть этнической общностью, или этносом, а если был, то какой-то иной ее формой, чем нация. Если же это этнос, но не нация, то такой народ, даже экономически развитый, индустриальный и урбанизированный, типологически как бы «низводился» на уровень народности или этнической группы. Существование множества фактов из жизни народов мира, когда, например, миграция нарушала общность территории, причем мигрировавшая часть народа сохраняла четкое сознание принадлежности к нему, соответственно заводило специалистов в понятийно-терминологический тупик.

Одной из терминологически не проработанных проблем этнографии выглядел также вопрос о ярко проявивших себя в годы войны, и на фронтах, и в тылу, признаках межэтнической интеграции — реальных проявлений того самого единства советского народа. Вообще же понятие «советский народ» в лексиконе политиков и идеологов стало употребляться после победы в войне значительно чаще. Но здесь важно остановиться на том, какой смысл придавался этому термину, так как идеологический акцент в те годы для науки значил очень много.

Словосочетание «советский народ» употреблялось конечно и до войны применительно к населению СССР в целом, однако, как о типе общности речь тогда не шла. Национальная политика при создании Союза ССР, выраженная в сложной структуре союзных и автономных образований, декларировалась принципом национального равенства и лозунгами достижения фактического равного уровня развития всех составляющих государство народов. Это предполагалось достичь подъемом ранее отсталых народов до уровня передовых. К началу войны в 1941 г. эти задачи решены не были, однако война несомненно показала достигнутые за пару десятилетий большие перемены в жизни населения страны, а общая борьба с врагом способствовала и очевидному росту осознания ощущений единства советского общества. Соответственно, обществоведы и идеологи стали задумываться над вопросом о том, что же за общность представляет собой советский народ, что лежит в основе такой общности. Поскольку трактовать ее как нацию не позволяла утвердившаяся в научной и пропагандистской литературе концепция многонациональности советского государства, состоящего из наций и народностей, то постепенно,

с 1950-х годов, стали появляться работы, авторы которых искали основания общности не в ее этническом, а скорее социально-политическом характере.

Одной из первых аргументированных работ такого плана стало выступление философа М. Д. Каммари в 1961 г. «Расцвет социалистических наций и их сближение в период перехода от социализма к коммунизму». Основные положения его понимания феномена советского народа соответствовали утвердившейся впоследствии в 1960–1970-х гг. трактовке «новой исторической общности». По его мнению, «советский народ» это не нация: он назвал ее исторической общностью более высокого чем нация уровня, так как ее формирование стало возможно только в условиях строительства социализма на новой социально-экономической, политической и культурной основе. Это определяло типологическое отличие советского народа от прежних наций, возникавших на иной социально-экономической базе, то есть новый социальный строй создавал для новой общности иной нежели национальный фундамент.

В последующие годы положения о новой исторической социально-интернациональной общности советского народа периода развитого социализма были «уложены» в идеологическую конструкцию, коснувшуюся всех гуманитарных дисциплин, в первую очередь философии исторического материализма. Следует отметить, что концепт «развитого социализма» сам по себе был рожден необходимостью как-то объяснить партии и народу, почему провозглашенное Н. С. Хрущевым в принятой XXII съездом новой Программе КПСС построение коммунизма через 20 лет не осуществилось. «Развитой социализм» представлялся как бы новым этапом движения страны по данному пути, а этому этапу должны были соответствовать и конкретные проявления в разных сферах жизни советских людей, в том числе социально-интернациональные новации.

Разумеется, советские этнографы, как и другие обществоведы, должны были тоже откликнуться демонстрацией новаций в своей области знания, и им, несомненно, было что сказать. Интеграция в недрах многонационального Союза, бесспорно, проходила, межэтническое общение развивалось, иллюстраций этих процессов в работах этнологов было немало. Однако препятствием на пути серьезного исследования этнокультурной действительности оставались незыблемые догматические рамки в идеологии национальных процессов бытия советского общества.

В 1960-е гг., с началом «оттепели», наступило время некоторого обновления до того «неприкасаемых» идеологических постулатов и их руководящего воздействия на науку. Одним из его конкретных проявлений в частности стала развернувшаяся на страницах нескольких солидных научных журналов («Вопросы истории», «Вопросы философии», «Народы Азии и Африки», «Советская этнография», «Советское государство и право») дискуссия по национальному вопросу. В ней приняли активное участие историки, фи-

лософы, филологи, этнографы[6], экономисты, юристы, представлявшие почти все национальные республики Союза. Было высказано немало интересных суждений и мыслей о природе и функциях этнических и национальных явлений. В том числе детально был проанализирован каждый признак из сталинского определения нации, и по отношению к каждому высказывались достаточно аргументированные сомнения и возражения в части их всеобщности и универсальности.

Однако, когда в 1970 г. подводились итоги дискуссии, авторы редакционной статьи «Вопросов истории» поступили довольно своеобразно. Они рассмотрели все «за» и «против» каждого признака нации из сталинского определения и методом простого подсчета, каких высказываний больше, вынесли заключение о том, что все перечисленные четыре признака нации остаются соответствующими сути явления [К итогам дискуссии... 1970: 86–98]. Таким образом, на идеологическом и на научном уровнях серьезных изменений в понятийно-терминологическом отношении формально как бы и не произошло. Но определенный импульс к дальнейшим научным поискам был всё же очевиден.

Например, гносеологически важный и перспективный подход к феномену этноса содержался в статье С. А. Токарева о типологии этнических общностей, опубликованной в ходе дискуссии по национальным вопросам. Данная статья стала, по существу, первой серьезной попыткой уйти от бесплодного (но, к сожалению, не прекращающегося и до сих пор) поиска определения этноса через набор признаков этого феномена. Не случайно такой универсальный набор никому не удается выделить до сих пор. С. А. Токарев же считал, что понятие этнической общности следует определять по связям, которые общность скрепляют, а не по признакам. Мысль, в сущности, элементарно простая, а потому имеющая универсальный характер. Ведь любую общность как явление скрепляет ничто иное как та или иная связь или группа связей. Вопрос только в том, какие из этих связей и на каком этапе истории народа выполняют ведущую роль. Идея варьирования числа и значения тех или иных связей, логически вытекающая из предложенного Токаревым подхода, представляется перспективным способом ухода от схоластических постулатов. Строгое следование данной линии непременно привело бы и к пониманию того, что нация не тип этнической общности, эта форма общности построена на существенно иных чем этнос связях, выходящих за этнические границы. Следование предложенному подходу также помогло бы более ясному представлению о природе сходства и различия между этносом и нацией как видами общности.

---

[6] Из этнографов в дискуссии участвовали, например, С. А. Токарев [*Токарев* 1964], В. И. Козлов [*Козлов* 1967, 1968], Б. В. Андрианов [*Андрианов* 1967], Л. П. Лашук [*Лашук* 1967], П. И. Пучков [*Пучков* 1968] и другие.

Однако развития идеи статьи не получили. Оно едва ли было бы осуществимо, пока тезис о нации как типе этнической общности оставался непоколебимым. Впрочем, участниками дискуссии всё же высказывалось иное понимание нации, где упор делался не на этнический ее характер, а на форму согражданства населения одного государства (такое понимание феномена нации давно укоренилось в англо-французской научной и политической лексике). Например, советский народ считал нацией известный американист историк и этнограф А. В. Ефимов (в 1957–1971 гг. зав. сектором Америки Института этнографии АН СССР). Однако большинство участников дискуссии с такой трактовкой не были согласны.

Если отвлечься от политико-идеологического антуража национально-этнической проблематики, то показателем общего уровня и понятийного арсенала советской этнографии послевоенного периода могут довольно точно служить наиболее крупные разработки советских этнографов, каких в 1950-е-1970-е гг. было немало. Среди них особенно примечательно такое фундаментальное и для того времени уникальное издание как серия томов «Народы мира. Этнографические очерки», подготовленных к изданию Институтом этнографии АН СССР, с привлечением ведущих ученых из других научных и учебных центров страны, под общей редакцией директора института С. П. Толстова. С 1954 по 1966 гг. вышли в свет 18 объемистых томов, посвященных истории и культуре народов ойкумены. Такое полное научное описание народов мира в отечественной науке было предпринято впервые. Серию составили 1 том по народам Африки, 1 по Австралии и Океании, по 2 тома были посвящены народам Европы и Америки, в 4 томах излагались материалы о народах Азии (Восточной, Передней, Южной и Юго-Восточной). 7 томов посвящены народам СССР: по 2 книги о Европейской части страны, Кавказу, Средней Азии и Казахстану и 1 том по Сибири. 1 том составили материалы этно-демографического характера о населении планеты.

К столь масштабной работе были привлечены ведущие специалисты Москвы, Ленинграда, союзных республик, коллеги из социалистических стран. Редакторами отдельных томов выступали, например, такие авторитетные этнологи как С. А. Токарев, Д. А. Ольдерогге, А. В. Ефимов, Н. Н. Чебоксаров, М. Г. Левин и другие. В издании были подробно освещены основные черты и особенности культуры и образа жизни народов мира. Несмотря на огромное культурное разнообразие населения мира, многотомная серия была построена на достаточно отработанных в отечественной науке принципах описания и анализа культуры народа в ее динамике и развитии, что придавало серии в целом энциклопедический характер, отразившийся в сходной структуре построения очерков в разных томах.

Так, вводные разделы содержали общие сведения о территории в географическом и экономико-хозяйственном отношении, о составе населения. После этого следовали очерки, подробно освещающие этническую историю

региона с древнейших времен до наших дней, заканчивая краткими данными о политической истории и современном состоянии. Основу же содержания очерков составляло скрупулезное историко-этнографическое описание хозяйства и материального быта, социальных отношений, семейного быта, духовной культуры крупных национальных образований или групп родственных народов, в основном в границах отдельных стран. Такая структура очерков в целом отражала профессиональный подход к предмету этнографии, формировавшийся в течение длительного периода развития отечественной науки о народах начиная с XVIII–XIX вв., существенно доработанный и углубленный в советские годы.

Одним из базовых принципов такого подхода к этнокультурным реалиям представляется обязательный синтез максимального числа доступных источников из арсенала смежных наук — этнографии, археологии, лингвистики, физической антропологии, а также письменных источников. В утверждении такого базового понимания предмета несомненна роль директора института этнографии С. П. Толстова, его ближайших коллег и единомышленников. Можно констатировать, что эти же принципы профессионального постижения основ науки были заложены С. П. Толстовым и в систему подготовки этнологов в Московском университете, где он в 1939 г. основал и до 1951 г. возглавлял кафедру этнографии.

Уникальная многотомная серия о народах мира убедительно показала высокий научный уровень отечественной этнографии. Но в то же время работа над изданием не могла не выявить, по крайней мере в понимании самих этнографов, также и комплекс очередных задач, решение которых становилось насущно необходимым для научного сообщества и общества в целом. В частности, сравнение содержания томов приводило внимательных читателей к выводу о неравномерности степени изученности населения разных регионов. Это касалось и населения регионов СССР, где авторы очерков основывались на собственных полевых материалах. Многие разделы очерков о современном быте народов содержали не серьезный анализ динамики перемен, но лишь ограничивались банальными иллюстрациями в духе «как было» и «как стало». Конечно, такой уровень описания объяснялся отмеченным выше отсутствием отработанной методики исследования современности. В томах же о народах зарубежья некоторая неравномерность материала очерков имела иное объяснение: в советские времена отечественные этнологи почти не располагали возможностью полевой работы за рубежом и вынуждены были основываться на публикациях иностранных исследователей и на доступных письменных источниках.

Экуменический масштаб серии «Народы мира» немало способствовал осознанию научным сообществом потребности в ревизии и глубоком анализе понятийного и терминологического арсенала этнографической науки. Удачным вариантом постановки и поиска решения этих проблем могла бы стать

широкая дискуссия после завершения публикации томов серии и подготовка на основе ее результатов теоретического тома, который подводил бы не только итоги этнографической картины мира, но и послужил бы фундаментом современной теории и методологии науки. Такие предложения высказывались в печати [*Лашук* 1966: 154], но, к сожалению, это не было реализовано.

Однако постановка и обсуждение ряда актуальных проблем отечественной этнографии тем не менее стали очевидными. Среди них в ряду первоочередных задач были справедливо отмечены такие: необходимость пересмотра триады «племя — народность — нация» в качестве типов этнической общности; назревшие потребности исследования этнических процессов современности, включая этническое/национальное самосознание, этническую психологию, идентичность; внедрение и использование полевых социологических исследований; углубление синтеза этнографии со смежными науками (археологией, антропологией, историей, социологией, языкознанием). Высказывалось также пожелание при исследовании этнической истории народов страны учитывать новые языковедческие концепции в индоевропеистике, уралистике, алтаистике, в изучении кавказских языков [*Лашук* 1966: 148–155]. То есть, подготовка и издание серии «Народы мира» стали, с одной стороны, демонстрацией достигнутого уровня отечественной науки, с другой, она же показала назревшие потребности обновления и его некоторые направления.

Кроме серии «Народы мира» Институтом этнографии АН СССР практически синхронно (с 1957 по 1968 гг.) была издана пятитомная серия «Очерки общей этнографии» под ред. С. П. Толстова, М. Г. Левина и Н. Н. Чебоксарова. Она стала полезным, в том числе для массового читателя, научно-популярным кратким показом этнографической картины мира. Серия открывалась вводной главой соредакторов издания М. Г. Левина и Н. Н. Чебоксарова о хозяйственно-культурных типах (ХКТ) и историко-этнографических областях (ИЭО). Данная принципиально важная для этнографии концепция основ научной классификации народов, в создании которой велика роль всех трех соредакторов издания (Толстов начал разработку истории хозяйственно-культурных типов еще до войны [Толстов 1932: 31–33]), впервые была опубликована авторами в 1955 г. [*Левин, Чебоксаров* 1955: 3–17].

Авторы представляли свой вариант классификации как более совершенный научно-понятийный инструментарий в сравнении с применявшимися американскими антропологами теориями «культурных кругов» и «культурных ареалов». Они справедливо указывали на то, что их версия классификации не столь статична, как американская, в большей степени отражает культурно-историческую динамику этнических процессов. Можно с этим согласиться: классификация по ХКТ и ИЭО до сих пор актуальности не утратила. Хотя одна из сложностей ее использования состоит, например, в том,

что не только исходные ХКТ бывают изменчивы, но состав ИЭО и взаимодействие в их границах народов разного происхождения и уровня развития по своей природе динамичны. Эту принципиальную особенность ИЭО хорошо понимали и об этом писали и сами авторы.

В данной главе основное внимание уделено крупным коллективным разработкам советских этнографов не потому, что не было иных заметных и важных исследований, а лишь по той причине, что они наиболее рельефно отразили как общий уровень науки, так и перспективы ее дальнейшего совершенствования. Разумеется, когда продолжали активно работать такие выдающиеся ученые, как С. А. Токарев, М. Г. Левин, Б. О. Долгих, П. И. Пучков, О. А. Сухарева, К. В. Чистов и многие другие, постоянно публиковались фундаментальные работы, вносившие серьезный вклад в науку. Подрастало и новое поколение ученых, кто активно включился в научную жизнь, понимая необходимость ее гносеологического прогресса.

Ныне нередко уровень науки того периода не вполне уместно отождествляют с понятием «застоя», или даже некоей самоизоляции отечественной науки. На самом деле такого не было: ведущие этнографы страны старшего поколения были людьми весьма эрудированными и образованными, знали зарубежную литературу и следили за новинками. О заметных явлениях в мировой этнографии они своевременно информировали заинтересованную аудиторию, в том числе студенческую. Например, когда кафедру этнографии МГУ возглавлял С. А. Токарев (1957–1973 гг.), студенты имели возможность слушать очень полезный курс о теоретических проблемах американской этнографии. Читал его В. М. Бахта (он преподавал на кафедре как почасовик). Курс не был построен в жанре сплошной критики «буржуазной науки», как нередко бывало в те времена. Целью Владимира Марьяновича был рассказ об эвристических истоках и научных задачах того или иного направления и конкретных результатах разработок. Студенты могли получить представление о неоэволюционизме Лесли Уайта, культурном релятивизме М. Херсковица и его сторонников, бихевиоризме, этнопсихологической школе, даже социологических идеях Т. Парсонса и других ведущих ученых.

Многие продуктивные течения научного поиска со стороны смежных направлений науки также находили отклик в отечественной этнографии. Можно привести в пример популярные в среде этнологов-профессионалов работы по проблемам историко-культурной антропологии ленинградца С. Н. Артановского, философа и культуролога Э. С. Маркаряна, разрабатывавшего концепцию деятельностного подхода к культуре и широко использовавшего этнографический материал. Работы этих авторов отличала широкая эрудиция, хорошее знание и использование культурологических концепций мировой науки, они пользовались заслуженной популярностью у отечественных этнологов [*Артановский* 1967; *Маркарян* 1969, 1973].

Подводя итог этого краткого обзора отечественной этнографии двух с половиной послевоенных десятилетий, можно констатировать, что, несмотря на очевидные достижения в работе этнографов, безусловно назрела ситуация обновления в теории и практике исследований, достаточно хорошо осознаваемая научным сообществом. Однако конкретное решение этих первоочередных задач выпало уже на новый период в истории науки, совпавший с изменениями в руководстве академическим институтом этнографии.

Источники и литература

Андрианов Б. В. Проблемы формирования народностей и наций в странах Африки // Вопросы истории, 1967, № 9. С. 101–114.

Артановский С. Н. Историческое развитие человечества и взаимное влияние культур. Л.: Просвещение, 1967. 268 с.

К итогам дискуссии по некоторым проблемам теории нации // Вопросы истории, 1970, № 8. С. 86–98.

Каммари М. Д. Расцвет социалистических наций и их сближение в период перехода от социализма к коммунизму. Львов: б. и., 1961. 29 с.

Козлов В. И. Некоторые проблемы теории нации // Вопросы истории, 1967, № 1. С. 88–99.

Козлов В. И. Типы этнических процессов и особенности их исторического развития // Вопросы истории, 1968, № 9. С. 95–109.

Лашук Л. П. Многотомная серия «Народы мира» и некоторые проблемы развития этнографии // Вопросы истории, 1966, № 10. С. 144–155.

Лашук Л. П. О формах докапиталистических этнических связей // Вопросы истории, 1967, № 4. С. 77–92.

Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области // Советская этнография, 1955, № 4. С. 3–17.

Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. 227 с.

Маркарян Э. С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1973. 143 с.

Пучков П. И. К анализу этнической ситуации в Океании // Вопросы истории, 1968, № 10. С. 90–104.

Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос. Соч. Т. 2. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы 1946. С. 290–367.

Токарев С. А. Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. 615 с.

Токарев С. А. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии) // Вопросы философии, 1964, № 11. С. 43–53.

Толстов С. П. Очерки первоначального ислама // Советская этнография 1932, № 2. С. 31–33.
Толстов С. П. Этнография и современность // Советская этнография, 1946, № 1. С. 3–11.
Толстов С. П. Основные задачи и пути развития советской этнографии // Краткие сообщения Института этнографии. Вып. 12. 1950. С. 5–14.
Толстов С. П. Задачи советской этнографии // Вопросы истории, 1954, № 11. С. 160–163.
Толстов С. П., Жданко Т. А. Пути развития и проблемы советской этнографии // Вопросы истории. 1964. № 7. С. 3–20.

Глава 4. Ю. В. БРОМЛЕЙ И ПОЗДНЕСОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Новый период в истории отечественной этнографии следует отсчитывать со второй половины — конца 1960-х гг., когда к руководству академическим Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая пришел Юлиан Владимирович Бромлей. Новым он стал даже не потому, что закончилось более чем двадцатилетнее руководство директора ИЭ АН СССР Сергея Павловича Толстова. Главное в произошедших кадровых изменениях заключалось в том, что стоявшие перед этнографической наукой актуальные задачи, как отмечалось в предыдущей главе, требовали решения, связанного с обновлением в теории и практике исследовательской работы. Понятно, что это должно было стать важной, но очень сложной задачей для нового руководителя института, ибо предполагало определенную перестройку уже десятилетиями налаженной работы, причем не только институтского коллектива, но всей научной отрасли.

Для большинства этнографов назначение Ю. В. Бромлея, историка, непосредственно с наукой о народах не связанного, стало неожиданным. Какими в данном случае соображениями руководствовалось академическое начальство, не вполне понятно, ведь непосредственно этнографией молодой доктор наук (в 1966 г. ему исполнилось 45 лет) не занимался. Что он стал историком, было объяснимо: его отцом был известный историк В. С. Сергеев, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова и заведующий кафедрой античной истории, мать Н. Н. Бромлей тоже работала в МГУ, где преподавала английский язык. Но, окончив школу, он поступил не на исторический, а на физический факультет МГУ, где ему поучиться не пришлось из-за призыва в 1939 г. в армию. Затем была война, которую он прошел от начала до конца, а в 1945-м, после демобилизации, поступил уже на истфак, который окончил в 1950 г. Специализировался по истории средневековой Хорватии, и по окончании МГУ был принят на работу в Институт славяноведения АН СССР, откуда в 1952 г. перешел в Отделение истории АН СССР. В 1956 г. Ю. В. Бромлей защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. докторскую. Обе работы посвящены средневековой истории Хорватии.

Изложенная краткая биография нового директора Института этнографии действительно вызывает вопрос, почему в 1966 г. выбор пал именно на него, не этнографа по образованию и специальности. Однако, можно предположить, что с точки зрения руководства Академии наук приход руководителя академической этнографии как бы «со стороны» имел свои резоны. Эта наука в стране, располагая богатейшим и разнообразнейшим многоэтничным полем, еще до Октябрьской революции многого достигла в изучении этнического состава страны, происхождения, культуры и быта ее народов, накопив

большой материал. Были разработаны методики сбора данных о быте народов, принципы их анализа. С другой стороны, главным объектом изучения оставались традиционные доиндустриальные формы материальной и духовной культуры и быта, что воспринималось многими этнографами как привычный основной объект исследования. В условиях, когда эти доиндустриальные формы еще не были изжиты и даже, несмотря на несомненные изменения, во многом устойчиво воспроизводились, в этом был свой смысл.

После же революции 1917 г. существенные перемены традиционного быта населения страны захватили не только эту сферу, но все без исключения стороны хозяйства, быта и общественной жизни. После бурных дискуссий и споров о марксистском взгляде на историю, и соответственно о месте и значении науки о народах [*Соловей* 1998], в особенности ее роли в изучении их «нового социалистического быта», тем не менее за этнографией в целом сохранилась ее традиционная «ниша» исследования: описание этногенеза, «доисторических» социальных форм и доиндустриальных вариантов бытия. Старшее поколение ведущих специалистов-этнологов, привыкшее к пониманию своей науки как некоего дополнения к истории, дающего представление о «дописьменном периоде», понимая, особенно после войны, потребность в пересмотре исторических рамок объекта изучения, всё же сохраняло определенную инерцию, тем более в условиях отсутствия методов подхода к этой современности. Отчасти этим можно объяснить и инерцию в методологии, когда нередко под марксистским подходом скрывался старый добрый эволюционизм.

Однако проблема необходимости изучения также и современных изменений в организации жизни и в быту всё острее представлялась задачей, стоявшей на повестке дня этнографии. Именно в такое время, когда обновление научного арсенала этнологии с очевидностью назрело, Юлиан Владимирович и возглавил академический институт этнографии. Да, он не был этнографом. Но работа в отделении истории «по определению» сделала его историком широкого профиля, которому необходимо разбираться в самых разнообразных сферах этой по специфике своей необъятной области научного знания о человеческом пути развития. А некоторые плюсы отсутствия у нового директора опыта именно этнографической работы состояли, возможно, в том, что как раз вследствие этого он был свободен от сложившихся годами пристрастий и приверженности каким-либо прочно сформировавшимся научным интересам. Такие интересы, проявляясь и в некоей «инерции» профессиональных воззрений, несомненно, бывают у специалистов, долго работающих в русле сложившихся подходов и схем.

В составе института под руководством С. П. Толстова работала целая плеяда блестящих специалистов, заслугой которых можно считать и создание принципов этнографических классификаций (концепция хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей), и подготовку уникального для того времени 18-томного издания «Народы мира», и участие в разработке си-

стемы этнографического образования, и многое другое. Безусловно, они понимали требование времени относительно новых задач этнографии.

Но отчетливое понимание необходимости обновления и реализация такового поворота в науке — это далеко не одно и тоже. И в данном отношении отсутствие устоявшихся связей и приверженностей у нового руководителя академической науки в чем-то, возможно, помогло в деле осмысления и реализации актуальных задач. Волей-неволей ему нужно было оценить и взвесить полученное «наследие» и решить, как с ним жить и действовать дальше. И при этом важно было не нанести вреда богатому наработанному предшественниками своду этнографических знаний и методам работы. Тем более, что многие из классиков отечественной науки были живы и продолжали активно работать. Несомненно, на опыт когорты корифеев, их знания, их советы новому директору тоже нужно было опереться в своей работе. И спустя более половины столетия есть основания в очередной раз взвесить, насколько это ему удалось. С такой точки зрения и следует оценивать личный вклад Ю. В. Бромлея и место «бромлеевского периода» в истории нашей науки.

Одной из таких насущных проблем было, как отмечено выше, изучение этнографической современности. Однако, сколько бы этнографы ни спорили и ни рассуждали о том, как ее изучать, было понятно: сама действительность настолько изменилось, что традиционными методами ее фиксировать и исследовать вообще невозможно. И решение проблемы было предложено для того времени совершенно новаторское: в институт этнографии были приглашены на работу исследователи, имевшие опыт социологических массовых опросов — Ю. В. Арутюнян и О. И. Шкаратан. По инициативе Ю. В. Бромлея был создан «Сектор конкретно-социологических исследований культуры и быта народов СССР», который возглавил Ю. В. Арутюнян. В его штат были приняты молодые выпускники ВУЗов, не только этнографы (их поначалу было меньшинство), но и историки, философы, даже математики и физики [Этносоциология 2008: 315–367]. Молодому коллективу предстояло приступить к масштабным опросам населения разных национальных республик и регионов страны, с последующей сложной по тем временам процедурой обработки анкет и компьютерным подсчетом результатов. Этнографы таким опытом тогда не обладали.

Появление нового подразделения академического института, специально созданного для изучения национальных процессов с использованием социологического инструментария, для большинства сотрудников Института этнографии было, конечно, весьма непривычным. К этому подразделению долго с недоверием и настороженностью присматривались. В конце 1960-х гг. среди коллег-этнографов была заметна атмосфера несколько ироничного ожидания результатов работы этносоциологов: «Ну-ну, посмотрим, что они там наанкетировали...». Поначалу казалось, что некоторые сотрудники нового сектора и сами еще не очень верили в возможности новых методов. Началь-

ству приходилось подробно объяснять подчиненным и научному сообществу смысл и перспективы применения социологии в этнографии [*Бромлей*, *Шкаратан* 1969]. Этносоциологи же, начав с обследования населения Татарской АССР, продолжили работу уже на уровне ряда союзных республик. Материал о современных этнонациональных процессах рос и расширялся.

В разработке научной концепции и инструментария опросов ведущую роль сыграли руководители проекта Ю. В. Арутюнян, О. И. Шкаратан, а затем Л. М. Дробижева, М. Н. Губогло, В. С. Кондратьев, А. А. Сусоколов и другие. Однако личный вклад в организацию и развертывание массовых исследований национальных процессов директора института, несомненно, был не менее значимым. Без его авторитета и организационной подготовки весь проект едва ли стал бы возможен: в советское время на это необходимо было получить одобрение союзных партийных и советских органов, которые соответственно спускали директиву на республиканский уровень. Это обеспечивало необходимую поддержку и помощь на местах. Хотя, с другой стороны, пристальное внимание местных властей (бесспорно, несколько опасавшихся, как бы москвичи не «раскопали» чего-то лишнего) порой тоже мешало нормальной работе. Понимание ситуации соответственно побуждало и самих исследователей к определенной «самоцензуре» [*Савоскул* 2008: 320–325].

Если же задаться вопросом о том, решило ли появление и развитие этносоциологии все проблемы исследования этнических процессов современности, то однозначно ответить на него трудно. Конечно, это был прорыв в научном понимании структуры и динамики национальных отношений в стране. Разумеется, весь спектр сложнейшей сферы этнического взаимодействия, тем более его места в структуре социальных связей в масштабе советского общества, охватить и отразить было весьма сложно. Но появление этносоциологического направления входило постепенно в сферу исследовательской практики не только в Институте этнографии. Так, профессор Л. П. Лашук стал читать в МГУ курс «Историческая социология», издал по нему учебное пособие [*Лашук* 1977]. Студентов он тоже ориентировал на внедрение в этнографию социологических методов работы, поэтому они, по рассказам очевидцев, внимательно следили за исследованиями коллег-этносоциологов. Сначала, при знакомстве с их результатами некоторых этнографов классического направления не покидало впечатление, что идет простое накопление материала о социально-профессиональном составе населения в национальном разрезе. При этом оставалось смутное ощущение, что чего-то там не хватает. Постепенно стало понятно, что, в частности, не хватало картины того, как идентификация этническая сочетается с другими социальными идентичностями и в каком иерархическом соотношении они находятся друг с другом.

Анкетные методы этнографам, привыкшим к свободной по форме этнографической информации, сначала не очень нравились. Но они довольно бы-

стро поняли их ценность и полезность. Во-первых, практически всегда можно было после анкетного опроса поговорить с респондентом о том, что тебя интересует, «без анкеты». Главная же польза открылась в том, что обобщенный материал опроса нередко высвечивал совершенно иную картину по сюжетам, которые до этого априорно представлялись как бы ясными совсем по-другому. А это всегда стимулировало на дальнейший поиск объяснения и анализ.

В итоге, когда коллеги-социологи собрали материал своих исследований в сводный том, значительность и ценность полученных ими данных стала очевидна [Социально-культурный облик: 1986]. Конечно, авторы и сами продолжали искать и совершенствовать методы и инструментарий. При этом они вполне лояльно относились к опытам коллег, которые стали тоже использовать новые методы в своих исследованиях. Коллеги-социологи оказывали совершенно бескорыстную помощь в организации экспедиций и делились созданными ими инструментариями с этнографами. С благодарностью вспоминаются советы со стороны покойных коллег Л. М. Дробижевой, М. Н. Губогло, В. С. Кондратьева и А. А. Сусоколова, а также их корректное и довольно спокойное отношение к нашим «добавлениям и вариациям» к их базовому вопроснику.

Таким образом, социологические методы в этнографии — несомненная и бесспорная заслуга и лично Ю. В. Бромлея с коллегами, и в целом всего «бромлеевского периода» в нашей науке. Сейчас эти методы прочно вошли в арсенал антрополого-этнологических исследований, хотя ныне по понятным обстоятельствам они не достигают масштабов того времени. Однако теперь этнологи редко обходятся в изучении современности без таких отработанных методик, расширяя и совершенствуя приемы работы. Немаловажно и то, что многие исследователи из национальных районов, пройдя школу в виде стажировки или аспирантуры в секторе этносоциологии ИЭА, стали серьезными самостоятельными учеными. Это тоже следствие большой организационной работы, проделанной институтом в 1960–1980-е годы [Этносоциология вчера и сегодня 2016: 77–145].

Параллельно с организацией этнологического изучения современных этнических процессов в стране Ю. В. Бромлей занимался разработкой теоретико-методологического арсенала науки о народах. Речь не шла о тотальной ревизии наработок предшественников, однако этнография остро нуждалась в уточнении самого основного предмета изучения, включая составляющие его базовые понятия, прежде всего этнос как явление и как феномен организации человеческого бытия. Несомненно, для этого директору института необходимо было прежде всего разобраться и осмыслить комплекс проблем науки для себя, а затем изложить это свое понимание научному сообществу. На это хотя и ушло несколько лет, но уже в 1973 г. Юлиан Владимирович издал одну из своих основных книг, где была изложена его теория этноса, получившая название дуальной или бинарной [*Бромлей* 1973; 1983].

Кроме того, что с этих пор этнос надолго стал основным объектом изучения для науки о народах, значение бинарной теории заключалось в том, что произошел хотя еще и не полный, но всё же очень важный частичный уход от догматики механистических определений с обязательными и неизменными наборами признаков. Ю. В. Бромлей показал, что этнос на самом деле характеризуется разными признаками и структурными компонентами, среди которых могут быть такие объединяющие носителей этнической идентичности компоненты, как язык и культура, а могут преобладать сложные скрепы социально-организационного уровня. Первый тип общности автор назвал *этникос* (прилагательное от греческого слова этнос, т. е. этнический), а второй — *этносоциальный организм* (*ЭСО*). Второй тип общности, таким образом, характеризовался более широкими основаниями социально-экономических, территориальных, государственно-политических коммуникаций. Это давало возможность вести речь об узком значении понятия этнос (этникос) и более широком спектре социальных связей (ЭСО), то есть изучать одно и то же явление (этнос) под несколько разными, узким и более расширенным, углами зрения.

Бинарная или дуальная теория этноса была принята научным сообществом и многими коллегами разделялась. Во всяком случае она позволила уйти от связывающего научный поиск обязательного и неизменного набора признаков объекта, показала объект сложным явлением, динамичным и подверженным изменениям. В данном отношении она была шагом вперед в развитии этнологической мысли. В частности, предложенное понимание этноса позволило наконец снять очевидное противоречие в отношении многих народов, разделенных государственными границами и лишенных общей этнической территории.

Важно отметить и то, что как глава отечественной этнографии Ю. В. Бромлей отнюдь не считал себя теоретическим монополистом и вполне благосклонно относился к появлению иных теоретических концепций, предлагаемых своими подчиненными, например, к информационной теории этноса С. А. Арутюнова и Н. Н. Чебоксарова, или к компонентной теории В. В. Пименова [*Арутюнов, Чебоксаров* 1972; *Пименов* 1977].

Можно сказать, что бинарная теория, став частичным отходом от жестких дефиниций явления, показала сложность изучаемых наукой национальных процессов. С позиций сегодняшнего дня ей, конечно, тоже можно предъявить ряд претензий. Например, то, что в части понимания связи этнического фактора с системой современных социальных отношений она по-прежнему сохраняла советскую традицию этнизации понятия нации, свойственную еще сталинскому определению. При этом научному сообществу было хорошо известно, что в англо-французской литературе давно преобладало не этническое, а этатистское понимание термина и сущности нации, высказанное еще в годы французской революции аббатом Сиейесом: «Совокупность объеди-

ненных индивидуумов, живущих под общим законом и представляемых одними и теми же законодательными органами» [*Sieyès* 1888: 31].

Такое понимание феномена нации необходимо было разрабатывать в нашей науке потому, в частности, что это помогло бы освободиться от неверного определения нации как «высшего типа этнической общности». Нация вообще не есть тип этнической общности, ее появление в эпоху модерна связано было с рождением принципиально нового (в сравнении с доиндустриальным этносом) способа адаптации в среде обитания, построенного на дифференцированных видах деятельности не на этнической, а в первую очередь на профессиональной основе. И если в начальный период становления нового способа адаптации в среде обитания дифференциация деятельности и происходила в какой-либо моноэтнической среде, то очень быстро расширение обменных связей начинало захватывать и интегрировать в нацию иноэтничные группы в границах государства. На эту тему в свое время очень точно высказался Х. Ортега-и-Гассет, заметив, что входящие в государство этносы еще могли бы существовать по отдельности, в отличие же от них все социально-профессиональные группы нации принципиально не могут существовать друг без друга. [*Ортега-и-Гассет* 1994: 47–48]. Только вместе они способны заменить прежний этнически специфичный способ адаптации в среде обитания на новый, через набор необходимых для полноценного воспроизводства социума профессионально, а не этнически специализированных видов деятельности, уже не строго зависимых от этнической принадлежности их представителей. Это и есть совокупное сообщество людей, составляющее нацию.

В свете высказанных соображений следовало бы несколько скорректировать сущностное содержание термина ЭСО: речь здесь не столько об этно-социальном организме — частица «этно» возвращает нас к понятию этно-нации и нации как якобы высшем типе этнической общности. Следовательно, для понимания организационных начал современного этноса точнее будет не термин этносоциальный организм, а определение места и функций того или иного этноса, входящего в состав нации, *в си*стеме ее социально-воспроизводственных связей.

Так как базовые основания, на которых выделяются этнос в узком смысле (этникос) и ЭСО, различны, то из этого вытекает еще одно существенное отличие выделенных форм бытия этноса. Когда общность скрепляют такие явления как язык и культурная специфика, то эта форма общности есть феномен, имеющий диахронную природу. В отличие от него, когда в основе ЭСО лежат социально-воспроизводственные механизмы, объединяющие нацию и этносы в ее составе, эта связь имеет синхронную природу. Разрушение такого воспроизводственного единства структуры нации неизбежно повлечет за собой деструкцию самого явления, включая место в нем входящих в нацию народов.

Из сказанного вытекает, что появление бинарной теории этноса стало несомненным шагом вперед в развитии этнологической мысли уже потому, что данная теория определенно показала: этнос есть явление подвижное и способное строиться на базе различных и варьирующих связей. Здесь уместно вспомнить, что мысль об определении понятия этнической общности именно по связям, которые общность скрепляют, а не по признакам, была высказана С. А. Токаревым [*Токарев* 1964: 43]. Если сравнивать по типу связи этникос и ЭСО, стало бы достаточно очевидным, что ЭСО есть выражение той группы экономико-хозяйственных, социально-профессиональных и политических связей, при посредстве которых этнос или его часть встроены в структуру нации, в том числе многонациональной. С пояснением такого рода бинарная концепция была бы более работающей и отражающей этнополитическую реальность. Но это уже был бы следующий шаг, а первый был всё же сделан.

Кроме разработки теории этноса в заслугу Ю. В. Бромлею следует поставить также то, что в трудах его и его коллег по институту в те годы закрепилось понимание этноса как живого и развивающегося явления и перманентного процесса. Постоянное внимание к этническим процессам, стремление к отслеживанию изменений — очевидное достижение «бромлеевского периода» не только в работе ИЭА, но и всей советской этнографии тех лет. Не случайно коллективная монография о современных этнических процессах в СССР, вышедшая под редакцией Ю. В. Бромлея двумя изданиями, была заслуженно удостоена Государственной премии СССР. [Современные...1975; 1977]. В этом издании содержался значительный материал, показывающий реальные признаки складывания общности советского народа, интегративные процессы в его недрах, хотя само понимание советского народа как фактического национального сообщества страны по понятным причинам не употреблялось. Издавались и другие серьезные исследования об интеграционных процессах в стране, например, исследование М. Н. Губогло о развитии двуязычия [*Губогло* 1984].

В 1987 г. институт подготовил и опубликовал также работу об этнических процессах в современном мире, в которой Ю. В. Бромлей стал не только ответственным редактором, но и автором трети разделов книги [Этнические процессы 1987].

Необходимо отметить, что помимо разработки теории этноса Ю. В. Бромлей много полезного сделал для категоризации системы этнологических понятий и научного аппарата. Здесь можно назвать и представление о типах этнических процессов (подразделение на этноэволюционные и этнотрансформационные, интегративные этнообъединительные и этноразделительные), и четкое объяснение различия между понятиями «этническая группа» и «этнографическая группа». Под первой понимается часть народа, оказавшаяся отделившейся по тем или иным причинам от основного этниче-

ского массива и живущая в иноэтничном окружении, под второй же совокупность людей, имеющая какие-либо особенности культуры и быта и по этим признакам выделяемая специалистами-этнографами. [*Бромлей, Козлов* 1987: 5–30]. Всё это вместе способствовало утверждению в те годы термина «этнос» в науке о народах и в широких границах общественного дискурса, в системе образования, и довольно четкому представлению общества о природе этнического и этнических процессах в их динамике.

К плодотворным усилиям Юлиана Владимировича по части категоризации научного этнологического знания относится также подготовленная по его инициативе совместно с коллегами из ГДР серия справочного характера «Свод этнографических понятий и терминов» из шести выпусков (1986–1995 гг.). [Свод этнографических 1986–1995]. Ю. В. Бромлей был главой редколлегии серии, но выпуски 3–6 увидели свет уже после его кончины.

В заключение скажем, что Ю. В. Бромлей уделял внимание подготовке молодых кадров. Он преподавал на кафедре этнографии МГУ в 1970–1980 гг. Были у Ю. В. Бромлея и аспиранты, с которыми он вполне ответственно работал и доводил до защиты. Студенты же с интересом слушали его лекции по вопросам теории науки.

Если подводить итог развитию советской этнографии в годы руководства этими процессами академика Ю. В. Бромлея, можно отметить следующее. Приход Юлиана Владимировича в этнографию открыл в целом довольно плодотворный период в развитии науки. Несомненно, в этом ощущается очевидный личный вклад Ю. В. Бромлея как ученого и как организатора науки. Став директором академического института, он достаточно глубоко погрузился в актуальные проблемы, стоявшие перед этнографией, и при этом вполне оперативно их если не полностью решил, то весьма серьезно поспособствовал решению. Это и отмеченный выше теоретический сдвиг в представлениях о природе этноса, и существенные подвижки в способах и приемах изучения этнографической современности. Научная общественность и общественное сознание получили достаточно ясное и подробное представление о феномене этноса и системе этнических категорий.

То есть, «бромлеевский период» и личный вклад Ю. В. Бромлея в нашу науку бесспорно можно считать одним из вполне продуктивных периодов в истории отечественной этнологии. Впрочем, «по большому счету» условия для его более глубокого анализа пока не созрели. Но, можно надеяться, такое время еще придет.

Источники и литература

Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп // Расы и народы. 1972, № 2. С. 8–30.

Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука. 1973. 285 с.
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. 412 с.
Бромлей Ю. В., Козлов В. И. Этносы и этнические процессы как предмет исследования // Этнические процессы в современном мире. М.: Наука. 1987. С. 5–30.
Бромлей Ю. В., Шкаратан О. И. О соотношении истории, этнографии и социологии // Советская этнография. 1969. № 3.
Губогло М. Н. Современные этноязыковые процессы в СССР: основные факторы и тенденции развития национально-русского двуязычия. Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Наука, 1984. 288 с.
Лашук Л. П. Введение в историческую социологию. Вып. 1. Историография и методология исторической социологии. Вып. 2. Конкретные проблемы исторической социологии. М.: Изд-во Московского университета, 1977. 172 с.+148 с.
Ортега-и-Гассет Х. Этюды об Испании. Киев: Новый круг Пор-Рояль, 1994. 317 с.
Пименов В. В. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. М.-Л.: Наука, 1977. 262 с.
Савоскул С. С. Из воспоминаний этносоциолога «второго призыва» // Этносоциология и этносоциологи. Исследования, поиски, воспоминания. М.: Старый сад, 2008. С. 320–325.
Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 1: Социально-экономические отношения и соционормативная культура. Отв. ред. Бромлей Ю. В., Штробах Г. М.: Наука. 1986. 240 с.
Свод... Вып. 2. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. Отв. ред. Бромлей Ю. В., Штробах Г. М.: Наука, 1988. 225 с.
Свод... Вып. 3. Материальная культура. Отв. ред. Бромлей Ю. В., Штробах Г. М.: Наука, 1989. 224 с.
Свод... Вып. 4. Народные знания. Фольклор. Народное искусство. Отв. ред. Бромлей Ю. В., Штробах Г. М.: Наука, 1991. 166 с.
Свод... Вып. 5. Религиозные верования. Отв. ред. Бромлей Ю. В., Штробах Г. М.: Наука, 1993. 239 с.
Свод... Вып. 6. Этнические и этно-социальные категории. Отв. ред. Бромлей Ю. В., Штробах Г. М.: Наука, 1995. 216 с.
Современные этнические процессы в СССР. М. Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Наука, 1975; 2-е изд. М.: Наука, 1977. 543 с.
Соловей Т. Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX века. М.: ИЭА РАН, 1998. 258 с.

Социально-культурный облик советских наций. По материалам этносоциологического исследования. Под ред. Ю. В. Арутюняна и Ю. В. Бромлея. М.: Наука. 1986. 453 с.

Токарев С. А. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии) // Вопросы философии, 1964, № 11. С. 43–53.

Этнические процессы в современном мире. Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Наука, 1987. 446 с.

Этносоциология вчера и сегодня. Отв. ред. Л. В. Остапенко и И. А. Субботина. М.: ИЭА РАН, 2016. 474 с.

Этносоциология и этносоциологи. Исследования, поиски, воспоминания. Сост.: Н. А. Дубова, Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. М.: Старый сад, 2008. 360 с.

Sieyès E. Qu'est-ce que le tiers etat?: precede de L'essai sur les privileges / par Emmanuel Sieyes; edition critique avec une introduction par Edme Champion. *Paris:* Au siege de la Societe, 1888. 93 p. (Societe de l'histoire de la Revolution francaise: Comite d'etudes pour la preparation historique du Centenaire de 1789).

Часть II

«Национальный вопрос» и региональные исследования

Глава 5.
ЭТНОГРАФЫ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА И СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОЙ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Основное внимание в этой главе будет сфокусировано на идеологических и политических аспектах советской этнонациональной политики в отношении «малых народов» Севера[7] как факторе и контексте производства этнографических знаний. Нас будет интересовать вопрос о том, как отозвались на этих народах, а также на научной деятельности изучающих их исследователей, «ошеломляющие повороты» советского политического курса. Обращение к периоду советских социалистических преобразований у северных аборигенов имеет большое научное и прикладное значение, поскольку именно тогда был запущен процесс кардинальных трансформаций во всех сферах жизнедеятельности этих народов. Интерес к этому сюжету связан также и со всё более осознаваемой в научном сообществе необходимостью антропологического взгляда на этнографию / этнологию / социально-культурную антропологию как социально и культурно обусловленную практику [Антропология академической жизни 2008].

В советской историко-этнографической литературе при характеристике советского периода истории народов Севера широко использовалась метафора *большого пути* [*Слезкин* 2008: 329–343]. Путь этот трактовался как выдающаяся глава в истории государства и свидетельство гениальности ленинской национальной политики, упор в основном делался на демонстрацию достижений. Нашли свое отражение в ряде публикаций и отдельные сюжеты из истории советского этнографического сибиреведения / североведения. Существуют также попытки периодизации этой научной субдисциплины, построенные главным образом на основе событийной истории. Вместе с тем, к ней (субдисциплине) в полной мере можно отнести замечание С. В. Соколовского о том, что «история идей с присущим ей вниманием к механизмам смены доминирующих парадигм и дискуссионных фокусов остается ненаписанной», и что «история дисциплины у нас практически всегда изображалась как история автономная, как развитие внутренних импульсов, в то время как следовало бы писать ее практически исключительно, хотя исключения всё же были <...>, как развитие под воздействием внешних импульсов, как историю контекстуальную» [*Соколовский* 2008: 37]. В то же время другие ис-

[7] «Малые», «малочисленные», «коренные», «аборигенные», «туземные» народы Севера в тексте используются как синонимы, имеющие отношение к современной официальной категории «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».

следователи обращают внимание на то, что абсолютизация внешних воздействий зачастую ведет к преуменьшению, а то и игнорированию внутренних факторов развития науки [*Соловей* 1998: 10].

На постсоветском пространстве в североведческих исследованиях, находящихся уже вне явных идеологических воздействий, происходит переосмысление опыта советского этнонационального строительства и переоценка его результатов с позиций северных сообществ, обращается также внимание на необходимость учета личностных факторов. При освещении социокультурных преобразований у народов Севера заметен отход от однозначно позитивной трактовки советской программы модернизации, пересмотр концептов «отсталости», «патернализма» и др. Настоящая глава продолжает исследования в этом направлении. В ней намечены основные вехи советского этнонационального строительства на Севере, накопления и осмысления историко-этнографических данных по этой проблеме, охарактеризован вклад советских этнографов-североведов (преимущественно на примере ленинградской и московской этнографических школ) в историю советского этнонационального строительства и ее репрезентацию.

В русле «больших проектов»: народы Севера

Этапы «большого пути». Выделенные постановлениями ВЦИК и СНК в середине 1920-х гг. в отдельную социальную категорию «малые народы» (алеуты, долганы, ительмены, кеты, коряки, манси, нанайцы, негидальцы, ненцы, нганасаны, нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, тофалары, удэгейцы, ульчи, ханты, чуванцы, чукчи, эвенки, эвены, энцы, эскимосы и юкагиры) стали объектом особой политики советского государства. Группу этих народов было принято рассматривать как единый специфический объект познания и социального управления, имеющий много общего: суровые природно-климатические условия, низкий исходный уровень экономического и социального развития к началу социалистического строительства, специфика национальных (=этнических) традиций, быта, самосознания. Им предстояло в короткие сроки совершить планомерный ускоренный переход «от патриархальщины к социализму» и продемонстрировать тем самым всему миру преимущество социализма над капитализмом в решении проблем коренного населения.

Этапы «большого пути» народов Севера нашли отражение в периодизации истории советского северного нациестроительства. Одним из первых такая периодизация была предложена в 1955 г. известным североведом М. А. Сергеевым[8] в его фундаментальном обобщающем труде «Некапитали-

[8] Михаил Александрович Сергеев (1888–1965) — крупный ученый-географ, историк и этнограф, много лет отдавший изучению Мурманского и Обского Севера, а также Камчатки.

стический путь развития малых народов Севера». По версии Сергеева путь этот состоял из следующих этапов: 1918–1924 гг. — гражданская война и интервенция; 1924–1930 гг. — первые меры советского правительства, направленные на приобщение малых народностей к советскому строю и подъему их хозяйства и культуры; 1931–1937 гг. — национально-территориальное районирование и реконструкция хозяйства малых народов; 1937–1950 гг. — национальное строительство на Крайнем Севере после Конституции 1937 г. (провозгласившей построение основ социализма) [*Сергеев* 1955].

На новом отрезке советской истории этнографом И. С. Гурвичем были предложены такие этапы социалистического строительства на Севере: «1917–1924 гг. — избавление от колониального гнета, борьба с голодом, попытки осуществить первые социальные мероприятия; 1924–1929 гг. — советизация, укрепление промыслового хозяйства, вытеснение государственной и кооперативной торговой сетью с Севера частных скупщиков пушнины, начало культурной революции; 1929–1934 гг. — начальный период коллективизации, национально-территориальное районирование; 1934–1941 гг. — укрепление колхозного строя, первые мероприятия по реконструкции хозяйства, завершение перехода народов Севера к социализму; 1941–1945 гг. — военный период; 1945–1956 гг. — послевоенный период, переход к высшим формам коллективизации (сельхозартели и рыболовецкие артели), укрупнение артелей, повсеместное введение всеобщего начального образования; с 1956 г. — ускоренная индустриализация Севера, техническая реконструкция промыслового хозяйства, глубокое переустройство быта коренного населения Севера, общий подъем его культуры» [*Гурвич* 1970: 17–18]. Обе эти периодизации в общих чертах отражают основные вехи советской истории народов Севера, которая предстает в общем контексте истории страны. Вместе с тем, выделенные этапы вмещают в себя и другие обусловленные политическими установками и решениями «повороты», на которых мы остановимся далее более подробно.

«***Некапиталистический путь развития***». На начальном этапе советских преобразований в основу стратегии и тактики социального управления процессами развития аборигенных народов Севера была положена ленинская концепция некапиталистического пути развития. Выступая в 1920 г. на II конгрессе Коминтерна вождь мирового пролетариата выдвинул теоретическое положение о том, что после победы социалистической революции капиталистическая стадия развития становится необязательной для отдельных стран и народов. В результате целенаправленных социалистических преобразований под руководством партии и правительства «отставшие» в своем развитии народы смогут перейти к социализму минуя капиталистическую стадию развития и тем самым «избежать мучительного, а иногда и гибельного для них, капиталистического „дозревания“» [*Сергеев* 1955: 529].

Теоретические положения В. И. Ленина воплотились в решения X (март 1921) и XII (март 1923) съездов РКП(б), на которых ставилась задача ликвидировать тяжелое наследие прошлого — хозяйственную, политическую и культурную отсталость ранее угнетавшихся народов, а затем избавиться от хозяйственного и культурного неравенства между народами внутри страны. На XII съезде был сформулирован тезис о том, что действенная и длительная помощь русского пролетариата народам бывших национальных окраин должна выражаться в принятии ряда практических мер по образованию там «промышленных очагов с максимальным привлечением местного населения» [КПСС в резолюциях 1970: 438]. Эта задача определялась как основная и долговременная.

Самые разнообразные «заботы» о народах Севера (попытки наладить снабжение и медицинскую помощь, создать кооперативы и школы и пр.) имели место с первых лет становления советской власти. Объединяющим и направляющим центром этой работы был Народный комиссариат по делам национальностей. Еще в начале 1922 г. при Наркомнаце был создан полярный подотдел управления туземными народами Севера, деятельность которого определялась следующим образом: «(а) Организация управления первобытными племенами применительно к их культурным бытовым особенностям и условиям их жизни; (б) Охрана туземных племен от всякой эксплуатации; (в) Снабжение туземцев через соответственные органы необходимыми средствами производства, одеждой и продовольствием; (г) Урегулирование пользования охотничьими и рыболовными участками, а также местами выпаса оленей; (д) Всестороннее изучение жизни и хозяйственного быта туземных племен в целях безболезненного приобщения их к новой социалистической культуре Советской России, сообразуясь со своеобразными природными условиями их жизни, их первобытным патриархальным коммунизмом и отсюда вытекающим укладом психологии» [*Сергеев* 1955: 213].

При обсуждении принципов управления и изучения коренных народов Севера «общим местом» был тезис об их глубокой отсталости на старте социалистических преобразований: «Говорят ли авторы о формах материальной культуры, или об укладах хозяйства, о социальных отношениях, либо о духовной жизни этих народов, они неизменно оперируют терминами „отсталость“, „примитивность“, „первобытность“», — заметил в свое время М. А. Сергеев, который, впрочем, тоже разделял эту точку зрения. Отсталость (задержка в развитии), в свою очередь, объяснялась неблагоприятной социально-политической обстановкой при царском режиме.

В рамках нового государства, «благодаря вниманию партии и правительства к охране всех специфических национальных интересов», эти «самые отсталые, забытые и угнетенные в прошлом племена» должны были чудесным образом «возродиться» и влиться в общую семью советских народов [*Сергеев* 1955: 5, 528–529]. Из этого вытекало, что развитие социализма у этих народов определялось внешними для них условиями — формированием социалистического государства, составной частью которого они стали. По факту это означало кардинальную трансформацию практически всех сфер жизнедеятельности северных аборигенов. На общесоветской интернациональной основе у них создавались государственность (в форме национальных автономий), письменность, формировались новые социально-экономические отношения и связи.

Дискурс отсталости, убеждение в невозможности подняться самостоятельно на более высокую ступень развития вызывали необходимость и в специальной государственной опеке: «Чрезвычайная экономическая, политическая и культурная отсталость народов Севера лишала их возможности самостоятельно осуществить возвещенные Конституцией права, препятствовала даже элементарной защите ими своих интересов. Унаследованное от прошлого высокомерно-шовинистическое отношение к „инородцам", наблюдавшееся еще в то время на местах, требовало твердой и решительной борьбы. Невозможность, даже в условиях ликвидации колониального гнета, подняться самостоятельно на более высокую ступень развития вызывала, таким образом, необходимость специальной государственной опеки — особой помощи населению и защиты его интересов» [*Сергеев* 1955: 223].

При таком раскладе нужен был специальный компетентный государственный орган, который со всей полнотой учел бы специфические особенности северных этнических групп и организовал конкретно-практическое осуществление национальной политики. Им стал созданный 20 июня 1924 года Президиумом ВЦИК РСФСР Комитет содействия народностям северных окраин (КСНСО), или, как его стали сокращенно именовать, Комитет Содействия, или Комитет Севера[9]. Ему надлежало «сплотить, организовать малые народы, пробудить у них сознание своего равноправия, поднять их на высший уровень развития» [*Сергеев* 1955: 224].

Комитет Севера начал систематическую и планомерную (обеспеченную громадными материальными средствами) деятельность по всестороннему «устроению» малых народов. В короткие сроки был принят ряд важнейших документов, которые сформировали правовую базу и определили направления

[9] На основании решения ЦИК и СНК РСФСР 23 февраля 1925 г. в областях, имевших в своем составе малые народы, при облисполкомах были созданы местные комитеты содействия, подчиненные Комитету Севера.

государственной политики в отношении северных аборигенов[10]. Был также реализован целый комплекс практических мер, направленных на улучшение положения народов Севера. Так, Комитет разработал принципы и методику землеустройства северных территорий; оказал влияние на организацию кооперации, торговли и снабжения на Севере; способствовал развитию там здравоохранения и просвещения и пр. Следует сказать, что данный институт социальной защиты малочисленных народов Севера был достаточно эффективен, что просматривалось, например, в оживлении основных отраслей северного хозяйства [*Юдин* 2013: 172–178].

В целом на данном этапе советская власть признавала необходимость освоения Севера с учетом интересов северных народов и при их непосредственном участии. Как утверждал М. А. Сергеев: «Важнейшая миссия Комитета состояла в развитии активности населения. Путем организации советских форм управления он должен был вовлечь народности Севера в строительство нового социалистического общества. Комитет Севера не был только учреждением, созданным для малых народов: являясь органом содействия, он осуществлял национальное строительство их собственными силами: „Не только для туземцев, но и руками самих туземцев", как это справедливо указывал П. Г. Смидович, — велась разнообразная работа комитета. Именно в таком направлении протекала деятельность туземных советов, культурных баз и кооперативных организаций, осуществлялась классовая политика партии и т. д.» [*Сергеев* 1955: 225].

Установление патерналистских отношений. Переломным моментом в жизни народов Севера стало создание национальных округов как формы политической автономии[11]. Проекты их образования разрабатывались с конца 1920-х гг. и исходили из постулата о готовности этих народов к созданию собственной государственности. Районирование было необходимо для успешного внедрения социалистических принципов управления. «Первая пятилетка прошла на Крайнем Севере без плана, наши знания о Севере, об его естествен-

[10] «Временное положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР» (Утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 25 октября 1926 г.); Постановление ВЦИК и СНК от 14 октября 1927 г. «О выполнении судебных функций органами туземного управления народностей и племен северных окраин РСФСР»; Положение об уполномоченных по делам национальных меньшинств (Утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 29 апреля 1929 г.); Положение о первоначальном земельно-водном устройстве трудового промыслового и земледельческого населения северных окраин РСФСР (Утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 сентября 1930 г.) [Статус 1999].

[11] Определены Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» от 10 декабря 1930 г. По Конституции 1977 г. округа стали называться автономными.

ных богатствах, о характере и направлениях хозяйства его народов были слишком недостаточными для того, чтобы строить какие-либо планы их развития. Ко второй пятилетке Крайний Север подошел уже с организованным по национальному признаку населением, с разграниченной территорией, и эти условия создали необходимые предпосылки для разработки плана социалистической реконструкции северного хозяйства», — говорилось в работах Комитета содействия малым народностям Севера [*Скачко* 1934: 50].

В контексте постулатов государственной политики того периода национальные округа были призваны способствовать выравниванию положения северных аборигенов с другими народами России, их консолидации и росту самосознания, гарантировать им известную самостоятельность и защиту [*Кряжков* 2004: 52–53]. Исследователи обращают внимание и еще на один важный политический аспект в этом вопросе. В ноябре 1932 г. торжественно отмечалось 15-летие с начала реализации ленинской национальной политики, и национальное районирование на Севере, проведение которого к этому моменту было спешно завершено, преподносилось как «еще одно наиболее яркое и блестящее доказательство ее <данной политики> жизнетворности: самые отсталые народы Союза — малые народы Севера — превратились из неоформленных и рассеянных племенных групп в связные национальные организмы...» [*Скачко* 1934: 49]. Границы округов при этом определялись в спешке, без согласования с коренным населением. Главным критерием была значительная доля представителей того или иного северного народа среди проживающих на территории. Национальное самоуправление в виде родовых советов было упразднено. Были установлены патерналистские отношения государства по отношению к коренному населению по принципу «старший брат — младшему»[12].

Таким образом, со второй половины 1930-е годов складываются новые подходы к решению проблем народов Севера. В 1935 г. Комитет содействия народностям северных окраин был ликвидирован, многие из его сотрудников репрессированы. Начинается период «советизации» обустройства жизни северных народов. Его суть в главном заключается в принятии мер, обеспечивающих форсированную интеграцию этих народов в господствующую систему общественных отношений [*Кряжков* 2004: 127]. Основными направлениями развития Севера становятся разработка ресурсов, промышленное и транспортное освоение. В отношении коренных народов выдвигаются задачи вовлечения их в социалистическое строительство и культурный подъем. Власти видели «продвижение народов Севера к социализму» в полном подчинении их общегосударственным нормам. Вплоть до конца1950-х гг. северные аборигены упоминаются в государственных документах лишь косвенно, в контексте общеэкономических преобразований. Система органов со-

[12] Подробнее см.: [*Виноградова* 2010*:* 131].

ветской власти была унифицирована в соответствии с Конституцией СССР (5 декабря 1936 г.) и Конституцией РСФСР (21 января 1937 г.), из судопроизводства исключались нормы обычного права. Эта мера в корне подрывала традиционный уклад жизни коренного населения, в которой обычное право занимало ключевое место. Результаты социально-культурного развития народов Севера в 1930-е гг. хорошо известны. Прежде всего, это был период активной борьбы с неграмотностью и формирования интеллигенции из числа народов Севера, о чем подробнее будет сказано ниже.

Управленческие решения 1950–1960-х годов. Вторая половина XX столетия характеризуется, с одной стороны, началом интенсивного промышленного освоения территорий проживания коренных народов Севера и разрушения их традиционного уклада жизни[13], а с другой стороны, принятием череды повторяющихся государственных мер по вопросам северных аборигенов, которые вновь стали объектом пристального внимания государства.

В 50-х годах XX в. был принят ряд специальных постановлений о необходимости развивать экономику и культуру народов Севера. Среди них: постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры малых народностей районов Севера» от 22 декабря 1954 г. и «О мерах помощи в развитии хозяйства и культуры районов Севера» от 10 декабря 1956 г., а также постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» от 16 марта 1957 г., фактически определившее политику государства в отношении коренных народов арктических и приарктических районов нашей страны на четверть века и открывшее новый период истории народов Севера. В развитие последнего из перечисленных постановлений последовал ряд правительственных решений, в которых были предусмотрены значительные меры по социально-экономическому развитию народов Севера[14].

Постановлениями Советского правительства и ЦК КПСС (особенно № 300 1957 г. и № 115 1980 г.) народам Севера, в частности, обеспечивались различные льготы и преференции (денежные ссуды на жилищное строительство с погашением значительной их части за счет государства, бесплатное приданое новорожденным, медикаменты, содержание в детских дошкольных учреждениях, интернатах, а также льготы при поступлении в вузы и др.). Многое, по мнению экспертов из числа известных североведов, было осуществлено. Значительно повысился материальный уровень жизни народов Севера,

---

[13] Была утверждена концепция «ускоренного промышленного развития Севера», государство пошло по пути включения коренного населения в свою индустриальную политику.

[14] Наиболее полный перечень постановлений советского периода приводит З. П. Соколова в сборнике «Осуществление ленинской национальной политики на Крайнем Севере» [*Соколова* 1971: 66–116].

для них были построены новые и реконструированы старые поселки, коренным образом изменилось их медицинское обслуживание, и как следствие этого стала расти их численность (с 1959 по 1970 г. она выросла на 16,6%)[15].

Была и оборотная сторона проводимой по отношению к народам Севера политики. Процессы экономических преобразований сопровождались ликвидацией мелких населенных пунктов и массовыми переселениями коренных северян в более крупные поселки. При этом на новых местах переселенцы сталкивались с многочисленными проблемами: нехваткой рабочих мест и жилья, изменением социального статуса, языковыми трудностями и пр. Недоступными становились многие родовые угодья, промысел на которых традиционно играл существенную роль в экономике домохозяйств народов Севера. Одновременно с этим разворачивалась политика «оседания», повлекшая за собой значительные изменения в исторически сложившейся системе расселения коренных народов. Семьям, веками кочевавшим на исконных территориях, теперь предписывалось постоянно проживать на новых местах, а работы в оленеводстве переводились на вахтовый метод.

Перевод на оседлость оленеводов, охотников, рыбаков, реорганизация и укрупнение хозяйств, ликвидация мелких «неперспективных» селений, как постоянного, так и сезонного значения, были одними из причин свертывания традиционных отраслей хозяйства народов Севера и их традиционного образа жизни. Появились и приобрели хронический характер негативные изменения в структуре занятости народов Севера: среди них постоянно сокращалось число работающих в традиционных отраслях хозяйства и увеличивалось число занятых неквалифицированным физическим трудом на низкооплачиваемых должностях — уборщиц, грузчиков, разнорабочих и т. п. Эти процессы, получившие название «люмпенизации», породили множество сопутствующих социальных проблем [Этнокультурное развитие 1989 и мн. др.].

XXI съезд КПСС (1959 г.) провозгласил, что в СССР социализм одержал полную и окончательную победу, и Советский Союз вступил в новый исторический период постепенного перехода от социализма к коммунизму. Борьба за построение коммунистического общества была общей интернациональной задачей всех народов Советского Союза. Главным звеном ее осуществления объявлялось создание материально-технической базы, в т. ч. промышленное освоение Севера, Сибири и Дальнего Востока. Зафиксированные в новой редакции Программы КПСС (1961 г.) объективные закономерности и тенденции развития социализма должны были привести «к углублению интернационализации всех сторон общественной жизни советских наций и народностей, становлению социальной однородности общества, развитию советского народа как целостной социальной и интернациональной общности, всеобъемлющему развитию личности» [Программа коор-

[15] Подробнее см.: [*Соколова* 90: 17–32].

динации 1987: 92]. Объектом Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 115 (1980 г.) стали уже не народы Севера, а территории их проживания, в системе статистических наблюдений перестали учитываться представители коренных народов, проживающих в городах.

В целом в советский период по отношению к северным народам проводилась особая политика, которая первоначально строилась с учетом их самобытности и рецепции дореволюционного права, а в последующем она всё более унифицировалась и была сведена к государственной опеке. Это соответствовало доминирующим общетеоретическим представлениям, согласно которым национальные меньшинства и этнические группы исключались из перечня субъектов государственно-правовых отношений. Таковыми признавались «советский народ», представленный государством, и «нации», реализующие себя через национально-государственные и автономно-административные образования. «Такой подход, — по авторитетному мнению В. А. Кряжкова, — нельзя считать дискриминационным, ибо он носил всеохватывающий характер, отражал свойства тоталитарного режима, хотя применительно к малочисленным этническим сообществам его результативность оказалась в чем-то наиболее разрушительной» [*Кряжков* 2004: 128].

В русле «больших проектов»: северная этнография и этнографы

Институциональная среда раннесоветской этнографии. В свое время С. А. Токарев, которому принадлежит известное определение советской этнографической школы[16], выделил четыре этапа ее развития: (1) начальный — вплоть до конца 1920-х годов; (2) период 1930-х годов; (2) Великая Отечественная война и послевоенное время до XX съезда КПСС; (3) новый этап, начавшийся в 1956 г. [*Токарев* 1958]. Такая периодизация в общих чертах отражает и состояние этнографического североведения, которое развивалось в русле исследовательских концепций советской этнографической школы и не могло не учитывать общих тенденций ее развития. Однако этой субдисциплине были присущи и свои внутренние особенности, которые в значительной мере определялись спецификой объекта исследования.

Этнографические знания о народах Севера (как, впрочем, и о других народах страны) были особенно востребованы государством на начальных этапах социалистического строительства. «Как в XVIII в. Российская империя, так в XX в. советская власть обустраивала подчиненное пространство с при-

[16] «Все советские этнографы, признавшие марксизм-ленинизм единственным подлинно научным методом, объединились на базе этого метода и составили единую советскую школу в этнографии. Эта школа, спаянная единством взглядов по основным методологическим вопросам, противостоит теперь как единое целое всем и всяческим течениям в зарубежной буржуазной науке» [*Токарев* 1958: 87].

менением знаний о населяющих страну народах, и в очередной раз этнография стала инструментом политики, — пишет А. В. Головнев. — Поскольку одним из факторов революции было национальное движение „угнетенных инородцев“ <...> и новая правящая элита была этнически, а подчас и националистически, настроена, „национальный вопрос“ в Советской России был поднят на необычайную высоту. Первое десятилетие советской власти ознаменовалось бумом нациестроительства и народоведения». Внимание к этим вопросам в раннем СССР он называет «этноэйфорией», подтверждая свое высказывание словами Л. Я. Штернберга о том, что этнология стала «квинэссенцией общественных наук» [*Головнев* 2018: 21].

Уже первые годы советской власти были отмечены небывалым ростом этнографических исследований как в центре, так и в регионах страны. В Петрограде (Ленинграде) возобновили активную деятельность Отделение этнографии РГО, Музей антропологии и этнографии, Этнографический отдел Русского музея. Были созданы Яфетический институт (1921), Славянская комиссия (1922), при ЛГУ в Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока — секция «Живой старины» (1925). Открытый в 1919 г. в Москве Музей Центрально-промышленной области начал систематические экспедиционные работы, результатом которых стали создание этнографической экспозиции и издание ряда трудов. В 1921 г. в Москве возобновилась деятельность Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 1923 г. начались полевые этнографические исследования Антропологического института при МГУ. В 1924 г. был организован Центральный музей народоведения, развернувший широкомасштабную экспедиционную деятельность. Советская Россия нуждалась в профессиональных этнографах, нацеленных на практическую деятельность. В связи с этим была развернута и подготовка этнографических кадров [*Сем* 2017].

В 1918 г. в Государственном географическом институте открываются два факультета: географический и общеэтнографический, чтобы осуществлять подготовку специалистов широкого профиля для работы «в центре и на местах в качестве инструкторов и самостоятельных ответственных руководителей в области районирования, изучения производительных сил, краеведения, изучения хозяйства и быта населения», а также «в качестве самостоятельных руководителей экспедиций и исследовательских партий в различных местах СССР» [*Сергеев* 1955]. В 1925 г. в Ленинградском университете, где работали Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз, введено преподавание этнографии; в том же году факультет общественных наук МГУ в Москве преобразован в этнологический факультет. В 1926 г. начал выходить журнал «Этнография» (с 1930 г. — «Советская этнография»). К 1927 г. в столицах союзных республик, в областных и уездных городах было создано более полутора тысяч краеведческих музеев и обществ. Они вели интенсивную собирательскую и этно-

графическую работу, координировавшуюся Центральным бюро краеведения [*Вайнштейн, Крюков* 1988: 116].

Академическим центром, координировавшим работу по изучению народов России, стала Комиссия по изучению племенного состава (КИПС), в деятельности которой в разное время принимали участие С. К. Патканов, Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз-Тан, В. И. Иохельсон, Ф. А. Фиельструп, С. И. Руденко и др. КИПС внесла большой вклад в развитие идей и методов этнической картографии, разработку вопросов этнической категоризации, научно-обоснованных методологических подходов к переписям, антропологическому изучению населения, исследованию положения женщин и пр.[17]

Для наблюдения за проведением в жизнь национальной политики партии в северных регионах при Отделе национальных меньшинств Народного комиссариата по делам национальностей в начале 1922 г. был создан специальный орган — подотдел по охране и управлению первобытными племенами севера России, начавший работу «по улучшению их экономического положения и вовлечению в государственную и общественно-политическую жизнь». К работе этого подотдела были привлечены видные ученые, в том числе этнографы Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз[18]. Последнему, как мы увидим из дальнейшего изложения, принадлежала особая роль в разработке проектов строительства новой жизни, а также в становлении советского этнографического североведения.

---

[17] В 1930 г. Комиссия по изучению племенного состава населения СССР была преобразована в Институт по изучению народов СССР. Подробнее см.: [*Псянчин* 2010].

[18] Бывшие политические ссыльные Лев Яковлевич Штернберг (1861–1927) и Владимир Германович Богораз (1865–1936), прошедшие многолетнюю школу полевой этнографии, стояли у истоков российской этнографической школы североведения. В 1918 г. факультет этнографии Ленинградского университета возглавил Л. Я. Штернберг. Он блестяще сочетал полевые навыки работы и теоретические разработки в области общей этнографии и религиоведения. В период ссылки Штернберг собрал на Сахалине уникальный материал по этнографии, языку и фольклору нивхов, айнов, в более поздних экспедициях — материалы по тунгусоязычным народам Приамурья. С 1921 г. на этнографическом факультете геофака Ленинградского университета читает лекции по этнографии профессор В. Г. Богораз-Тан, крупный этнограф-практик, североведа, а также писатель-беллетрист, специалист по палеоазиатским народам Северо-Востока Сибири, особенно чукчам. Этнографией он увлекся будучи политссыльным в Среднеколымске и зарекомендовал себя в дальнейшем как большой авторитет, собрав уникальный материал по языку, фольклору и этнографии чукчей, эскимосов, эвенов во время Якутской экспедиции Сибирякова и Джезуповской Азиатско-Американской экспедиции. Преподавательскую деятельность в Ленинградском университете он сочетал с работой в Музее этнографии и антропологии (МАЭ), затем в Институте народов Севера и позднее в Музее истории религии. См.: [*Кан* 2005; *Крупник* 2008; *Михайлова* 2004; *Вахтин* 2016].

В. Г. Богораз подчеркивал, что только на пути глубинного изучения и понимания жизни, быта, культуры, психологии этих «первобытных, бесхитростных людей» процесс взаимодействия, взаимовлияния русской и аборигенной культур может стать естественным, прогрессивным. «Для того, чтобы правильно организовать охрану окраинных племен, прежде всего, разумеется, необходимо их подробное и тщательное изучение. Нельзя сочинять произвольные законы для населения, которого не знаешь, которого не понимаешь». В этом процессе этнография «как наука о народах и человеческом обществе вообще» должна была стать «действительной основой всех социологических и общественных исследований», а этнографы призваны научить деятелей реформ «уважать в аборигене человека, всеми силами стремиться к подробному изучению его условий жизни и прежде всего языка <...> и быть готовыми разделить с аборигенами тяготы их повседневной жизни» [*Богораз* 1923: 169–177; 1925: 49].

При обсуждении принципов управления народами Севера, которое развернулось в начале 1920-х гг. на страницах печатного органа Наркомнаца «Жизнь национальностей», этнографы писали о необходимости особого подхода к хозяйству и быту «окраинных племен». В марте 1923 г. В. Г. Богораз выступил на Большой коллегии Наркомнаца с докладом «Об изучении и охране окраинных народов», к которому были приложены также практические рекомендации, ставшие известными как «тезисы Богораза». В частности, ученый предлагал создать для северных аборигенов своеобразные резервации, т. е. выделить «в трудовое пользование» осваиваемые ими территории, с запретом доступа туда переселенцев. Это предложение было вызвано вполне резонными опасениями, что соприкосновение северных аборигенов с «цивилизацией» может вызвать гибельные для них последствия. По выражению Богораза, «они разлетятся вдребезги, как глиняный горшок, попавший в кучи чугунных» [*Богораз* 1923: 172].

Однако созданная при Наркомнаце Комиссия по разработке проекта управления народами Севера, которой руководил известный специалист по северному оленеводству С. В. Керцелли, не поддержала это предложение («направлено на изоляцию народов Севера, консервацию отсталых форм хозяйства и примитивных форм культуры») и высказала мнение о необходимости государственной защиты прав народов Севера, оказания срочной разнообразной помощи этим народам, проведения работы по повышению культурного уровня коренных обитателей Севера. Положения этой Комиссии на долгие годы определили генеральную (патерналистскую) линию государственной политики по отношению к северным аборигенам. Руководствуясь указаниями Ленина о некапиталистическом пути развития отсталых народов при условии оказания им всесторонней помощи со стороны социалистического государства, созданный в 1924 г. при ВЦИК Комитет содействия народностям северных окраин приступил к разработке системы мер, которые

должны были содействовать безболезненной ликвидации отсталости и переходу к социализму[19].

Для реализации планов переустройства жизни «окраин» на социалистических началах требовались достоверные данные об этническом составе и численности населения Севера, их хозяйстве, социальной структуре, нормах обычного права и пр. В. Д. Виленский-Сибиряков (член Комитета Севера) говорил: «Комитет Содействия является не только органом административного устроения туземных народностей севера, но и органом, ставящим перед собою задачи изучения севера и его туземного населения: ибо, только базируясь на обобщениях и выводах науки в приложении к природе, экономике и населению севера, можно делать правильные заключения относительно содействия планомерному устроению малых народностей севера в хозяйственно-экономическом, административно-судебном и культурно-санитарном отношениях» [*Виленский-Сибиряков* 1926: 56].

В этих условиях чрезвычайно активизируется роль практической этнографии: «До сего времени исследовательская работа на севере носила кустарный характер, чаще и больше всего обусловленный научным интересом того или иного работника или просто случайным стечением обстоятельств в роде того, что попавшие на полярный север ссыльные изучали его обитателей и, таким образом, превращались в специалистов-этнографов. Задача сегодняшнего дня — выдвинуть задачу планового исследования севера, поставив во главу угла этого плана изучение человека в условиях северной природы» [*Виленский-Сибиряков* 1926: 59].

Одним из первоочередных мероприятий в этом направлении стала перепись населения: «Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что главнейшей задачей, связанной с делом изучения малых туземных народностей севера, является перепись населения советского севера. Статистические данные, касающиеся племенного состава севера, никогда не могли похвастаться своей достоверностью. Наш север еще пока не имел настоящей, правильно организованной переписи населения. Цифры, которыми оперировали отдельные исследователи, почти всегда носили условный характер и затем исправно списывались и повторялись различными учреждениями и лицами, которым приходилось выступать в качестве знатоков севера <...> А между тем вопрос о численности туземных племен севера крайне важен, хотя бы для решения основного вопроса о жизненности этих племен» [*Виленский-Сибиряков* 1926: 58].

По инициативе Комитета Севера в 1926–1927 гг. была проведена *похозяйственная перепись Приполярного Севера*, приуроченная к Всесоюзной переписи населения 1926 г. Эта перепись считается самой точной и полной

[19] В состав Комитета Севера вошли этнографы старшего поколения В. Г. Богораз и Л. Я. Штернберг, в дальнейшем в состав комитета были введены Я. П. Кошкин, П. Е. Терлецкий, И. М. Суслов, М. А. Сергеев и др. [*Скачко* 1934].

из всех, осуществленных на территории России до середины XX в.[20] При ее подготовке организаторы предвидели негативное отношение населения к этому мероприятию, что в дальнейшем подтвердилось на практике. В официально распространявшуюся версию о том, что государство организует всё это для того, чтобы улучшить снабжение в крае, верили не многие. (Одно из наиболее распространенных толкований причин переписи среди северян, переживших ужасы гражданской войны, было то, что всё это делалось для привлечения их к воинской повинности). Поэтому для проведения переписных мероприятий желательно было привлечь людей, пользующихся доверием инородцев. В одном из циркуляров говорилось: «Учитывая крайнюю подозрительность и недоверие в этой группе населения ко всему новому и не понятному для них признано необходимым к переписи приступать с большей осторожностью, использовав для подготовки кочевников и инородцев дальнего Севера, по возможности, всех, кто пользовался ранее и пользуется сейчас доверием инородцев» [*Главацкая* 2006]. Именно этнографы, имеющие опыт общения с коренным населением Севера, отвечали этим целям[21].

---

[20] «Это была даже не перепись в традиционном понимании, а настоящая комплексная экспедиция на Север, сотрудники которой должны были подробно описать каждое „туземное“ хозяйство, его состав, экономику и быт, детали материальной культуры и духовной жизни северян», — пишет Е. М. Главацкая. Так, регистраторы Уральской экспедиции должны были заполнить «Похозяйственную карточку» — бланк, состоявший из 405 граф-вопросов и «Поселенный бланк» — формуляр на 32 страницах, который включал сведения о местах и времени кочевания, хозяйственных занятиях, объектах и способах промыслов, традиционной медицине и религиозных традициях. Помимо заполнения основных форм переписи было решено собрать еще и сведения о бюджете кочевых хозяйств. Для этого была предложена шкала деления хозяйств оленеводов-кочевников на 5 групп в зависимости от их благосостояния. В итоге по Тобольскому округу было составлено 28 бюджетных описаний хозяйств жителей Обдорского, Березовского, Сургутского и Кондинского районов, в том числе 10 зажиточных, 11 середняцких и 7 бедняцких. Регистрировалось всё имущество, от оленей и промыслового инвентаря — до одежды и кухонной посуды. Учету подлежали продукты промысла, рабочее время, затраченное на разные виды работ мужчинами и женщинами, обстановка в доме, пища и способы ее употребления и пр. [*Главацкая* 2006].

[21] О существовании во время проведения переписи дружеских отношений регистраторов с населением свидетельствует, например, такой факт из истории повседневности: «Каждый из сотрудников переписных тундровых партий снабжался определенным набором продуктов из расчета на месяц. Пакет включал мороженый хлеб, мясо, копчености, крендели, крупы, масло, чай, сахар, карамель, компот, горчицу, лавровый лист, перец, соль, уксус, махорку, курительную бумагу, мыло, лимонную кислоту и клюквенный экстракт от цинги. Регистраторы часто делились выданными продуктами с теми, кого переписывали, и получали от них взамен свежее мясо и рыбу, что позволяло разнообразить рацион экспедиции» [*Главацкая* 2006].

Известно, что при проведении Приполярной переписи в качестве регистраторов участвовали этнографы: Б. О. Долгих — в низовьях Подкаменной Тунгуски и на Таймыре[22], В. Н. Чернецов, Р. П. Митусова и Н. А. Котовщикова, Г. И. Каминский — в Северо-Западной Сибири. Еще одна группа в составе Е. П. Орловой, К. И. Бауэрмана, К. Б. Шаврова и Ф. М. Физика — на Камчатке. Н. Ю. Серк проводил перепись у тунгусоязычного населения Советского района Хабаровского округа [*Антропова* 1972: 22].

Е. М. Главацкая очень верно охарактеризовала судьбу Приполярной переписи и людей, посвятивших ей годы своей жизни, как «величественную и печальную». Действительно, бóльшая часть уникальных первичных материалов Приполярной переписи так и осталась лежать в пыли архивных полок, многие до сих пор еще не обнаружены, что-то исчезло навсегда. Печальна и судьба некоторых участников Приполярной переписи, совершивших научный подвиг (в их числе — Наталья Александровна Котовщикова, трагически погибшая на Ямале в 1929 г. и Раиса Павловна Митусова, которая была арестована по сфабрикованному обвинению расстреляна в1937 г. в Новосибирске) [*Главацкая* 2006].

Лишь спустя многие десятилетия исследователи проявили глубокий интерес к этой странице истории советской этнографии обратившись к истории Приполярной переписи и осмыслению ее материалов в современном контексте[23]. Появилось также несколько статей, в которых Приполярная перепись предстает в «живых лицах». В ряду таких публикаций особый интерес для этой главы представляют публикации С. С. Савоскула и Д. Дж. Андерсона о Борисе Осиповиче Долгих (1904–1971), с которым в ходе дальнейшего изложения мы встретимся уже как с первым руководителем московского сектора Севера, и основоположником многих традиций советского североведения [*Савоскул* 2004; 2005; *Андерсон* 2004]. Участие в Приполярной переписи стало важным этапом в творческом пути Долгих, вставшем на «этнографическую тропу» в 1925 г., когда он начал посещать лекции на этнологическом факультете 1-го МГУ. С. С. Савоскул так пишет о начальном периоде научной карьеры ученого:

> В 1925 г., за год до начала Приполярной переписи, Борис Осипович закончил Самарский промышленно-экономический техникум и получил скром-

[22] По сведениям С. С. Савоскула, в составе Туруханской экспедиции Приполярной переписи принимал участие также М. Ю. Георгиевский — ученик иркутского этнографа проф. Б. Э. Петри, в то время активно вводившего статистические методы в изучение современного хозяйства и быта малых народов Восточной Сибири.

[23] См.: [Туруханская экспедиция 2005; *Главацкая* 2006; Приполярная перепись 2010; *Коломиец* 2013; Уральская экспедиция 2013].

ную специальность бухгалтера. С целью продолжить учебу и получить университетское гуманитарное образование он в том же году уехал в Москву. Но поступить в университет не удалось. В этой непростой ситуации юноша решил не сдаваться. Он остался в Москве, снял «угол» и стал ходить вольнослушателем на лекции по этнографии и антропологии в 1-й МГУ. Одновременно он работал техническим сотрудником в Обществе по изучению Урала, Сибири и Дальнего Востока, посещал заседания и в этом обществе, и в Институте антропологии 1-го МГУ. На очередном заседании общества Долгих узнал о начинающейся вскоре Приполярной переписи и о возможности принять в ней участие. Получив рекомендацию у тогда уже известного антрополога проф. В. В. Бунака, он был включен в число статистиков-регистраторов переписи. Ему предстояло больше года провести в районах Енисейского Севера — регионе, называвшемся тогда Туруханским краем [*Савоскул* 2004; 2005].

Объем настоящей главы не позволяет сколько-нибудь детально остановиться на этом интересном сюжете. Яркую и детальную картину участия Б. О. Долгих в проведении Приполярной переписи можно найти в упомянутых выше статьях С. С. Савоскула. Отметим лишь, что участие в этом грандиозном мероприятии позволило Долгих сформировать научный багаж, способствующий стремительному взлету ученого, который пришелся на московский период жизни Бориса Осиповича, когда он стал одним из наиболее весомых отечественных этнографов и приобрел известность в мировой этнографической науке [*Савоскул* 2004: 18].

«На Севере их основная работа не научная, а практическая» (1920–1930-е гг.). Экспедиционные исследования Комитета Севера особенно интенсивно велись с 1925 по 1931 гг. «Экскурсионные отряды» (по терминологии того периода) укомплектовывались сотрудниками учреждений и ведомств, призванных вести работу на Севере. В мае 1925 г. Комитет Севера принял решение посылать «на Севера» выпускников и студентов Ленинградского географического института. Энтузиастом этого начинания был Богораз, который считал, что этнограф должен совмещать научные изыскания с участием в «преобразовании окраин», с культурно-просветительской работой среди народов, которыми занимается. Он говорил: «Мы должны посылать на Север не ученых, а миссионеров, миссионеров новой культуры и советской государственности. Не старых, а молодых, не испытанных профессоров, а начинающих, только что окончивших курс работников, воспитанных новой, советской средой и готовых нести на Север весь пыл энтузиазма, рожденный революцией, и умелость практической работы, отточенную в революционном процессе. Эти молодые работники Северного комитета должны предварительно получить полное и тщательное научное образование, по преимуществу этнографическое. Но на Севере их основная работа не научная,

а практическая»[24] [*Богораз*: 1925: 48–49]. Во время экспедиций студенты выполняли разнообразные задания Комитета Севера: собирали демографические данные, обследовали культурно-просветительные учреждения, готовили материалы для разработки письменности и пр.[25]

Многие из них работали учителями, секретарями сельских советов, инструкторами, уполномоченными по туземным делам при ревкомах и исполкомах, выступали переводчиками, участвовали в производстве переписей, в составе землеустроительных экспедиций и пр. Например, учителями начали свою трудовую деятельность: в корякских школах этнографы С. Н. Стебницкий, Н. А. Богданова, Я. К. Коровушкин, И. С. Вдовин, М. И. Шабурова; в эвенкийских — А. Ф. Анисимов, А. В. Федорова, В. Ф. Курочкина, П. И. Смирнов и др. В школах на Чукотке (у чукчей и эскимосов) работали супруги А. С. и К. М. Форштейн, Т. А. Молл, И. С. Вдовин, Н. Б. Шнакенбург, В. Д. Нескучаева; у чуванцев — В. И. Иванчиков. У селькупов преподавали Г. Н. и Е. Д. Прокофьевы, у эвенков — Л. Д. Ришес, у народов Амура — Я. Минц, на Сахалине — Е. А. Крейнович [*Антропова* 1972: 22–23].

Еще одним участком, на котором нашли применение своим знаниям молодые этнографы, были культурно-просветительные учреждения, имевшие на Крайнем Севере особые формы[26]. Так, первым заведующим Большеземельским красным чумом в 1930–1931 гг. стал студент этнографического

---

[24] Такими молодыми миссионерами новой культуры и советской государственности на Севере с благословения В. Г. Богораза стали Е. А. Крейнович, А. С. Форштейн, С. Н. Стебницкий, Г. Н. Прокофьев, В. Н. Чернецов, Г. М. Василевич, В. И. Цинциус, С. В. Иванов, Г. Д. Вербов, Н. Котовчикова, П. Молл, Г. Каминский, В. Иванчиков и многие другие (всего около 20 человек) [*Михайлова* 2004: 95–136].

[25] В соответствии с новыми требованиями на этнографическом факультете Географического института, а с 1925 г. на этнографическом отделении университета были пересмотрены учебные планы: созданы циклы специализации по этнографии народов Севера, введено изучение их языков, в программе обучения предусматривалась длительная производственная практика (2–3 года) или стажировка после окончания, также в течение нескольких лет, в районах Севера. Так, например, в 1929 г. тунгиро-олекминскому отряду, руководимому Г. М. Василевич, было поручено выяснить состав населения, расселение и места кочевок эвенков с целью определения границ деятельности будущей культбазы; нижнеамурский отряд в составе В. И. Цинциус и К. М. Мельниковой (1926–1927 гг.) должен был выяснить возможность объединения тунгусов с негидальцами и пути перехода к оседлому образу жизни оленеводческого населения. Е. П. Орлова в 1934 г. по заданию Дальневосточного Комитета Севера обследовала состояние школ и больниц Чукотского национального округа и т. п. [См.: *Антропова* 1972: 21].

[26] Для обслуживания кочевого населения Комитетом Севера были созданы передвижные красные чумы, красные яранги, красные юрты, плавучие базы и т. д. Их основной задачей являлось проведение массовой воспитательной работы среди народов Севера и оказание помощи партийным и советским организациям.

отделения Ленинградского университета Г. Д. Вербов, а в 1932 г. — В. Пане-Братцев. В Анадырской красной яранге в 1931 г. работала ученица Богораза Д. С. Цыбектарова. Культурно-просветительной работой среди нанайцев занималась М. А. Каплан. Сотрудниками культбаз в конце 1920 — начале 1930-х годов состояли Н. М. и Н. Г. Ковязины, Н. П. Никульшин (Туринская культбаза); Г. И. Каминский (Казымкая культбаза); Г. Н. и Е. Д. Прокофьевы (культбаза Хоседа-Хард); М. Г. Левин (Ногаевская культбаза); П. Ю. Молл и Н. Б. Шнакенбург (Чукотская культбаза); Н. Н. Билибин и В. М. Крылов (Корякская культбаза) [*Антропова* 1972: 22–23]. По указанию партийных органов все учреждения, предприятия и организации, имевшие дело с местным населением, объявлялись «очагами культуры». Трудностей в процессе культурного строительства было много[27], но пыл энтузиазма, рожденный революцией, способствовал их преодолению.

Большой вклад внесли этнографы в дело *создания письменности на языках малых народов Севера* — одной из первоочередных задач по содействию народам Севера[28]. В этом сложном и ответственном деле выдающуюся роль сыграли выпускники этнографического факультета, для которых работа этнографа и работа лингвиста «всегда шли рука об руку»[29]. Это: Г. М. Василевич, В. И. Цинциус, В. А. Аврорин, Т. И. Петрова (тунгусо-маньчжурские языки); Г. Н. Прокофьев (самодийские языки); Е. А. Крейнович (нивхский, кетский, юкагирский языки); С. Н. Стебницкий (корякский язык) и др. Этнографы-лингвисты приняли деятельное участие в работе «Комитета нового алфавита» по разработке письменности на языках народов Севера[30]. Ими были написаны первые буквари и многие другие учебные пособия на языках северных народов (Н. А. Липская, Г. М. Василевич, В. Г. Богораз, С. Н. Стебницкий, Е. П. Орлова, В. И. Цинциус, Е. Р. Шнейдер, Г. Н. и Е. Д. Прокофьевы, Н. К. Каргер,

---

[27] Например, кампании по «вербовке» детей в школы вызывали иногда более энергичный протест северян, чем насильственное насаждение колхозов или перевод кочевников на оседлость [Судьбы народов 1994: 16].

[28] См.: [*Лукс* 1930; *Зак* 1966; *Беленкин* 1971 и др.].

[29] По выражению Н. Б. Вахтина, этому они научились от своих учителей. В числе первых студентов Л. Я. Штернберга и Богораза были: С. М. Абрамзон, Г. М. Василевич, Н. П. Дыренкова, Ю. А. Крейнович, Е. П. Орлова, Г. Н. Прокофьев, Е. Д. Прокофьева, В. И. Цинциус, В. В. Чарнолуский и многие другие [*Вахтин* 2020: 443].

[30] Комитет нового (латинизированного) алфавита народов Севера во главе с Я. П. Кошкиным был создан в 1932 г. в Ленинграде. В состав этого комитета вошел профессор В. Г. Богораз, а также аспирант ИНСа ненец А. Пырерка (заместитель председателя), студент эвенк Н. Салаткин, ученый секретарь Научно-исследовательской ассоциации Н. Каргер. В 1936 г. Президиум Совета Национальностей ЦИК СССР принял решение о переводе письменности народов Севера на русский (кириллический) алфавит.

З. Е. Черняков, В. Н. Чернецов, В. А. Аврорин, Е. А. Крейнович). Темпы были небывалыми. К 1932 г. была разработана письменность по 14 языкам народов Севера [*Алькор-Кошкин* 1932: 39–65].

До издания печатной литературы некоторые национальные школы пользовались рукописными букварями, составленными Г. М. Василевич, Г. Н. Прокофьевым, Н. А. Богдановой. В дальнейшем, за выпуском учебных пособий последовало издание политико-массовой и художественной литературы на языках народов Севера. По сведениям В. В. Антроповой, из 140 названий книг, изданных в 1931–1934 гг. на этих языках, около 120 было написано, переведено или отредактировано этнолингвистами [*Антропова* 1972: 25]. Создание письменности на языках народов Севера имело большое значение в борьбе за ликвидацию неграмотности, всеобщее начальное обучение и в подготовке кадров национальной интеллигенции. Последний вопрос заслуживает особого рассмотрения.

Подготовка педагогических и управленческих кадров являлась составной частью программы социалистического строительства на Крайнем Севере. (Одним из основных в деятельности Комитета Севера, как уже было отмечено выше, был принцип «не только для народов Севера, но и руками самих этих народов».) Теоретики культурной революции и коренизации исходили из того, что туземцы смогут преодолеть отсталость и стать полноправными членами многонациональной советской семьи, если их за собой поведет «сознательный» авангард соплеменников, которые помогут своему народу «наверстать» ход истории [*Головнев* 2018].

«Кузницей кадров» для Севера стал Ленинградский государственный университет (ЛГУ), на базе которого по инициативе Комитета Севера и Наркомпроса РСФСР в 1925 г. был создан Северный рабочий факультет (рабфак) ЛГУ[31]. Значение этого учебного заведения было определено А. В. Луначарским следующим образом: «Рабфак северных народностей — своего рода чудо, потому что, если совершенная правда то, что о нем рассказывают, то тут достигается два чуда. С одной стороны, с очень большой быстротой,

[31] В 1926 г. было организовано Северное отделение при рабфаке Ленинградского института живых восточных языков (ЛИЖВЯ), куда были переведены и учащиеся рабфака университета. В 1930 г. Северное отделение рабфака было реорганизовано в самостоятельное учебное заведение — Институт народов Севера ВЦИК им. П. Г. Смидовича (ИНС), основной задачей которого являлась подготовка туземного актива всех специальностей. В 1939 г. ИНС был реорганизован в Педагогический институт народов Севера (ПИНС), куда принимались представители любой национальности, с льготами для коренных народов Севера. В 1942 г. имущество ПИНС было передано в ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1953 г. Факультет народов Севера при ЛГУ и Отделение народов Севера при ЛГПИ, открытые в 1948 г., сливаются в ФНКС ЛГПИ им. А. И. Герцена [*Воскобойников* 1958].

свидетельствующей о естественной природной талантливости людей, происходит соприкосновение северных туземцев с культурой. С другой стороны, в молодых людях, детях Севера, появляется чрезвычайный интерес в смысле служения своей народности. Если мы привлечем теперь к работе среди туземцев молодую туземную интеллигенцию, если мы сосредоточим свои силы для достижения этой цели, мы добьемся больших и серьезных успехов» [*Луначарский* 1927: 20].

Преподавательскую и воспитательную работу в Институте народов Севера (ИНС) вели многие этнографы: В. Г. Богораз, Г. Н. и Е. Д. Прокофьевы, С. Н. Стебницкий, Г. Д. Вербов, Н. К. Каргер, Н. Ф. Прыткова, В. И. Цинциус, Т. И. Петрова, Г. М. Василевич, В. А. Аврорин, Е. Р. Шнейдер, З. Е. Черняков, В. Н. Чернецов, Е. А. Крейнович и др. В числе важнейших задач института была организация научного изучения всё еще малоисследованных огромных регионов страны — Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, причем этим занимались не только научные сотрудники и преподаватели, но и учащиеся. «Каждый студент Института должен стать хорошо подготовленным пионером-исследователем своего народа и обжитых им (народом) пространств тайги и тундры» — так формулировал одно из направлений работы ИНСа его первый ректор К. Я. Лукс [*Лукс* 1930: 133].

С 1930 г. при ИНСе действовала Научно-исследовательская ассоциация (председатель Я. П. Кошкин, ученый секретарь П. Ю. Молл, затем Н. К. Каргер), которая проводила работу по ряду направлений. В 1936 г. она состояла из пяти секций: лингвистической, историко-этнографической, экономической, педагогической и антропологической. В институте разрабатывались вопросы изучения языков народов Севера, создание письменности и учебников на национальных языках, организация школьного дела на местах, территориально-экономическое районирование и социалистическое переустройство хозяйства Севера и пр. [*Воскобойников* 1958: 48–75]. Результатом деятельности этой ассоциации стали многочисленные научные труды[32].

«Ученые старшего поколения преподавали в ИНСе и одновременно обучались у своих студентов-северян языкам коренного населения; будущие учителя участвовали в разработке грамматик языков, на которых им предстояло преподавать; будущие советские работники из числа коренных народов Севера, постигая азы административного управления, одновременно учились переводить и править тексты на своих родных языках и выступали в качестве консультантов для разнообразных специалистов, изучающих Север. Так возникла особая, уникальная человеческая и научная среда, которая получила название „петербургское североведение“», — пишет о том периоде Н. Б. Вахтин [2020: 442–443].

[32] См.: [*Еремеева* 2010; *Смирнова* 2013].

В новых условиях ярко раскрывались разнообразные таланты жителей Севера, развитию которых в ИНСе уделялось большое внимание[33]. Наряду с изучением теоретических курсов по истории и этнографии, языков и фольклора народов Севера, там были оборудованы учебные ремесленные и художественные мастерские, промысловый кабинет, самые разные кружки. Каждый студент подготовительной группы или первого и второго курсов обязательно был обучен какому-либо мастерству.

Институт воспитал первых политических деятелей, ученых, писателей, художников из среды народов Севера. Среди них — депутат Верховного Совета СССР I созыва чукча Тевлянто, эвенк В. И. Увачан — депутат Верховного Совета СССР, доктор исторических наук; хант Н. И. Терешкин, манси М. П. Баландина и нанаец С. Н. Оненко — кандидаты филологических наук; чукча Вуквол — талантливый художник; удэгеец Джанси Киманко — писатель и мн. др. [*Антропова* 1972: 26]. Представители первого поколения северной интеллигенции из числа малочисленных народов стали проводниками советизации в тайге и тундре. Там Институт народов Севера называли «Чудесным чумом», а его учащихся-инсовцев — «красными шаманами» [*Воскобойников* 1976; *Омельчук* 1981]. Ведь они, как и шаманы, обладали невиданными и неслыханными прежде способностями, понимали чудесные знаки, «разговаривали» с книгой и газетой, умели читать и писать и учили этому других, а готовила их новая власть, символом которой был красный цвет [*Смирнова* 2013: 45]. К сожалению, не обошел Институт народов Севера и «красный террор».

> «Этот „золотой век“ в истории петербургского североведения длился недолго, — пишет Н. Б. Вахтин. — После смерти В. Г. Богораза в 1936 г. созданная им система образовательных и научно-исследовательских учреждений просуществовала всего несколько лет. Репрессии против североведов начались уже в 1934 г., когда был арестован Н. К. Каргер, специалист по кетскому языку, создатель первого кетского букваря. Но основной удар был нанесен летом 1937 г.: около десятка ведущих ученых были арестованы по абсурдному обвинению «в участии в троцкистско-зиновьевской шпионско-террористической организации, связанной с японской разведкой, и шпионаже в пользу Японии». Эту мифическую организацию с „филиалом“ в ИНС якобы возглавлял умерший в начале 1930-х гг. председатель Дальневосточного Комитета Севера К. Я. Лукс. Арестованы были Я. П. Алькор (Кошкин), Е. В. Блок, Н. И. Гаген-Торн, И. И. Иванов, Е. А. Крейнович, В. Д. Пересвет-

[33] Например, в литературном журнале ИНСа «Тайга и тундра» публиковались первые литературные опыты студентов-северян, будущих национальных писателей (эвенков А. Н. Платонова, Г. Я. Чинкова, Н. В. Сахарова, нанайцев А. Д. Самара и А. А. Пассара, эвенов А. А. Черканова и Н. С. Тарабукина, чукчи Ф. Э. Тынэтэгына, коряка К. Кеккетына и мн. др.) [*Таксами* 1976; Североведение 2003].

Салтан, Н. Прыткова, Н. И. Спиридонов, И. С. Сукоркин, А. С. Форштейн, В. И. Цинциус, К. Б. Шавров и некоторые другие» [*Вахтин* 2020: 443].

В целом этнографами 1920-х годов были собраны очень интересные и важные в научном плане материалы для практического осуществления советской национальной политики. Полученные с мест традиционного проживания народов Севера сведения об их численности, о состоянии промыслового хозяйства, об экономическом положении отдельных групп населения Севера, о быте и культуре были оперативно и широко использованы для развития в тайге и тундре советской торговли и интегральной кооперации (имела функции снабжения, сбыта и кредитования), для налаживания советской работы, медицинского обслуживания, школьного строительства и пр. [*Гурвич* 1979: 281]. Практическая деятельность многих молодых этнографов уже в тот период получила высокую оценку. Так, в одной из статей журнала «Советский Север», посвященной работе студентов, уехавших на Дальний Восток, было написано: «Этноотделение <...> может гордиться тем, что его работники на Севере являются пионерами советской культуры и крайних северных форпостах СССР, выполняющими свою работу с большой настойчивостью и энтузиазмом» [*Антропова* 1972: 25]. В ряде публикаций также отмечалось, что в атмосфере всеобщего революционного энтузиазма «пробуждались сознание и энергия местных жителей»[34].

Важно также подчеркнуть, что в тот период этнографы не только добывали важные для советского государственного строительства сведения об этнокультурной действительности на Севере, им принадлежала значительная *конструктивистская роль* в процессах формирования и легитимации этой действительности (утверждение официальных этнонимов, формирование списка «малых народов» и пр.). «Номенклатура малых народов сложилась из реальной этнографии, но с вкраплением политических и персональных предпочтений», — отмечает А. В. Головнев.

> «Например, самоеды были преобразованы в три народа (ненцы, энцы, нганасаны), остяки — тоже в три (ханты, селькупы, кеты), но на разных основаниях <...> Другой пример этнообразования связан с подвижнической деятельностью этнографов Г. Н. и Е. Д. Прокофьевых, которые сочли возможным объединение нарымских и тазовско-туруханских остяков (остяко-самоедов) в один народ <селькупы>, несмотря на отсутствие у них общей идентичности <...> Порождением революционного XX века стали долганы — метисная (саха-тунгусо-самоедо-русская) группа Таймыра, оказавшаяся по воле устроителей Севера отдельным народом, к тому же титульным в пределах Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Иначе сложилась судьба другой метисной группы — камчадалов. Перепись 1926 г. объявила их наро-

[34] О различных аспектах культурного строительства у этих народов в разные периоды их истории см., например: [*Балицкий* 1967; *Онищук* 1968; *Синько* 1984 и др.].

дом, но в конце 1970-х гг. они были изъяты из списка. Чиновники вынуждали камчадалов «отказаться от прежней национальности и стать по выбору: ительменами, эвенами, русскими, орочами, коряками»; в 2000 г. камчадалов вернули в список, но только в пределах Камчатской области (в Магаданской области они остались «вне закона») [*Головнев* 2012: 3–12].

Огромная по объему и интенсивности научно-исследовательская (главным образом, экспедиционная) работа, которая была проделана советскими этнографами в первое послереволюционное десятилетие, завершилась серией научных и практически ориентированных статей. Многочисленные *публикации периода работы Комитета Севера* заслуживают отдельного историографического обзора, что не входит в задачи настоящей главы. Отметим в этой связи лишь большую организаторскую роль в деле изучения и популяризации социалистических преобразований периодической печати: журналы «Советский Север», «Северная Азия», «Северная Азия», «Революция и культура», «Землеведение», «Советская Арктика», «Советская этнография» и др. Публикации этих журналов по классификации И. С. Гурвича могут быть подразделены на официальные документы (узаконения и распоряжения правительства СССР и РСФСР, резолюции пленумов Комитета Севера), статистические данные, многочисленные фактические сообщения об осуществлении тех или иных мероприятий, описания жизни, быта и культуры отдельных народов и этнографических групп; материалы о советском школьном, медицинском и культурном строительстве, экономические очерки (Ф. Р. Богданов, Г. Д. Вербов, Л. Н. Доброва-Ядринцева, Г. Н. Прокофьев, Т. З. Семушкин, С. Н. Стебницкий и др.)[35].

В числе корреспондентов печатного органа Комитета Севера — журнала «Советский Север»[36] — были ученые, руководители Комитета Севера, многие практические работники. Во главу угла их публикаций была поставлена связь теории и практики. Например, широко обсуждался вопрос о «пережитках первобытнообщинного строя» (навыки коллективного труда, общинная собственность на землю и др.), их значении в практике колхозного строительства. Пристальное изучение этих вопросов было связано с «поисками наиболее рациональных методов приобщения «отсталых» народов севера к советским формам государственности» (Н. Н. Билибин, А. М. Золотарев, В. М. Крылов, Н. П. Никульшин, А. Е. Скачко, П. Е. Терлецкий и др.) [*Синько* 1984: 13–21].

***Этнография в нокдауне*?** К началу 1930-х гг. задача советских этнографов формулировалась четко: научную работу вести в тесной связи с социалистическим строительством. От них требовалась помощь «школе, врачу,

[35] Подробнее см.: [*Гурвич* 1979: 282–283].

[36] Журнал «Советский Север» начал выходить в 1930 г., в 1935 г. он слился с журналом «Советская Арктика».

участие в социалистической переделке экономики и быта» народов Севера [*Маторин* 1931, 1931а]. Вместе с тем, уже в 1920-е гг. рост этнографических исследований сопровождался настойчивыми теоретическими поисками. Сформировавшиеся еще до революции этнографы (в их числе — Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз), которые группировали вокруг себя молодежь, пытались применять подходы и методы различных европейских этнографических школ. Это был период относительного плюрализма мнений в отечественной этнографии. В то же время многие исследователи старшего поколения стремились овладеть марксистской методологией, внедрить в этнографическую практику принципы материалистического мировоззрения [*Вайнштейн, Крюков* 1988: 114–124].

В 1929 г. при Центральном музее народоведения был организован «Этнологический марксистский семинарий», проблемы применения марксистского метода в этнографии широко обсуждались также в Обществе историков-марксистов и Секции социологии Института истории Коммунистической академии. Логическим завершением этих многочисленных дискуссий и споров явилось проведение в 1929–1932 гг. этнографических совещаний, целью которых была выработка общих позиций по ряду принципиальных теоретических вопросов. Эти совещания знаменовали собой конец первого этапа советской этнографической науки[37]. Короткий период разумного баланса традиций и новаций в 1930-е гг. сменился бюрократическим патернализмом [Приполярная перепись 2010: 15].

1930-е годы стали периодом интенсивной перестройки идейной базы, централизацией и огосударствлением этнографии. По словам С. А. Токарева, произошло «марксистское перевооружение этнографической науки» [1974: 11–19]. «Свобода в публичной демонстрации независимых научных воззрений в столь политизированной в советской России сфере, как научная, преподавательская, просветительская деятельность, не могла длиться долго. Уже во второй половине 1920-х годов жесткая, догматическая идеология советской науки вынуждала ученых считаться с „политическими“ требовани-

[37] В резолюции, принятой Совещанием этнографов Ленинграда и Москвы в 1929 г., указывалось, что, «отмежевываясь от всяческих буржуазных суррогатов обществоведения, советская этнография должна строиться как исследование конкретных обществ, главным образом тех из них, которые и поныне находятся на ранних стадиях развития, вследствие чего основным понятием и объектом исследования этнографии должны стать социально-экономические формации в их конкретных вариантах». На Всероссийском археолого-этнографическом совещании 1932 г. эта позиция была выражена еще более определенно: «Построение этнографии как самостоятельной науки с особым предметом и методом изучения, противостоящей или равноправной истории, противоречит марксистско-ленинскому учению о диалектике исторического процесса» [См.: *Вайнштейн, Крюков* 1988; *Алымов, Арзютов* 2014].

ями. Они обязаны были быть марксистами (по крайней мере, номинально) и демонстрировать свою приверженность марксистскому историческому эволюционизму как единственному универсальному закону развития человечества» [*Михайлова* 2004: 124].

В 1932 г. заместитель председателя Государственной академии истории материальной культуры С. Н. Быковский писал: «Для тех, кто марксистски мыслить не может, должны быть применены методы воздействия более сильные, чем разъяснения и убеждения» [Цит. по: *Вайнштейн, Крюков* 1988]. А в постановлении по докладу П. Г. Смидовича «О национальном районировании» было сказано: «Работники, не умеющие пропитать всю свою работу принципами советской национальной политики, должны сниматься с Севера» [*Скачко* 1932: 28]. Научные дискуссии приобретали всё более выраженный политический характер, их участники по отношению к исследованиям оппонентов могли использовать термин «вредительство», что нередко влекло за собой репрессивные меры.

Е. В. Лярская обращает внимание на существующий в научном мире консенсус относительно того, что 1930-е гг. — это тяжелейшее время для отечественной этнографии, о чем свидетельствуют названия работ и их разделов, посвященных этому периоду: «Жизнь после смерти», «Советская этнография в нокдауне» и пр. Эта участь не минула и отечественное североведение. Так, Н. Б. Вахтин пишет:

> «Масштаб репрессий, обрушившихся на этнографию в целом и на североведение в частности, был такой, что можно уверенно говорить о полном разгроме: в период с конца 1920-х по середину 1950-х гг. было репрессировано около 500 этнографов. В этот период говорить об отечественном североведении не приходится: большая часть ученых сидела в лагерях и тюрьмах, немногие оставшиеся жили в постоянном страхе, ежеминутно опасаясь ареста. / Судьба этого поколения североведов вообще трагична. Г. Каминский, Н. А. Котовщикова, П. Ю. Молл умерли, работая в экспедициях на Севере в конце 1920-х гг.; Г. Д. Вербов, А. П. Пырерка, С. Н. Стебницкий Н. Б. Шнакенбург погибли на полях сражений в годы Великой Отечественной войны; Г. И. Мельников и Г. М. Корсаков умерли во время блокады Ленинграда. Большинство остальных были репрессированы и либо расстреляны, как Кошкин и Спиридонов, либо получили длительные лагерные сроки, как Форштейн и Крейнович, надолго, а иногда и навсегда прервавшие их научную работу. Школа ученых-североведов была практически уничтожена» [*Вахтин* 2020: 443].

Е. В. Лярская на примере «проекта Богораза» опровергает распространенный стереотип, будто этнография в СССР в целом и в Ленинграде в частности прекратила свое существование после печально известного совещания 1929 г. Она пишет: «Мы думаем о нокдауне советской этнографии потому, что считаем этнографией в СССР унылую схоластику журнала „Советская этнография“ тех лет, порожденную идеологическим вмешательством в науч-

ное творчество. Ленинградское североведение в конце 1920-х — первой половине 1930-х гг. придумало форму существования, которая могла устроить советскую власть, — форму практически ориентированных научных и образовательных программ и учреждений. Это помогало науке выживать до тех пор, пока идеология окончательно не вытеснила все проявления живой науки — и пока был жив Богораз» [*Лярская* 2016: 172]. К этому стоит добавить, что и в последующие годы советские североведы находили те или иные способы адаптации к сложившейся общественно-политической ситуации, неизменно продолжая при этом гуманистические «традиций Богораза». Как представляется, в данной ситуации можно говорить о том, что этнографическое североведение, как и основной объект / предмет его изучения (этничность народов Севера) было «загнано в подполье», чтобы возродиться в новом качестве на очередном витке своей истории.

Оценка развития советской этнографии в 1930–1940-е гг. сложна и неоднозначна, как противоречивы были и сами социально-политические процессы, происходившие в советском обществе в то время. Утверждение новых позиций этнографии происходило в условиях, когда в советском обществе насаждалась идея непререкаемости сталинской концепции построения социализма и исключительности вклада Сталина в теорию марксизма. В русле этой политики исследования по изучению образа жизни народов Севера стали проводиться планомерно, в тесной связи с намеченными партией и правительством социально-экономическими задачами. С другой стороны, как отмечают некоторые исследователи, «переход советских этнографов к концу 1920-х годов на позиции марксизма отнюдь не означал полной унификации подходов к решению важнейших теоретических и прикладных задач этнографии, а также к пониманию самого ее предмета» [*Вайнштейн, Крюков* 1988].

В 1930-е гг. внимание исследователей привлекали в основном такие проблемы, как общественное устройство, социально-экономические отношения, имущественное расслоение, формы обмена и пр.[38] Появились практически ориентированные статьи о ходе коллективизации, земельно-водном устройстве, деятельности культбаз, школьном строительстве, разработке письменности на языках народов Севера[39]. В связи с переустройством быта поднималась проблема оседания [*Кантор* 1934]. Разработка всех этих вопросов имела определенное практическое значение в связи с социалистическим переустройством «ранее отсталых окраин». Важно было определить, на каком социальном уровне развития находились отдельные этнические группы и выяснить, при каких конкретных условиях начался у них процесс некапиталистического развития.

[38] См.: [*Скачко* 1930; 1933; *Богораз* 1931; *Золотарев* 1932; *Анисимов* 1933; 1936; *Билибин* 1933; 1934; *Маслов* 1934; *Терлецкий* 1934; *Никульшин* 1939 и др.].

[39] См.: [*Бескорсый* 1934; *Дмитриев* 1934; *Суслов* 1934; *Алькор (Кошкин)* 1934 и др.].

С начала 1930-х гг. начинают публиковаться исследования А. Ф. Анисимова, Б. О. Долгих, А. А. Попова, Г. Н. Прокофьева, В. Н. Чернецова. В работах этих авторов также прослеживается характерный для всего раннего периода советского североведения особый интерес к анализу общественного строя и социальной организации, выявлению пережитков общинно-родового уклада. В первой трети XX в. появились и первые монографии, освещавшие социалистические преобразования в различных районах Крайнего Севера. Так, М. А. Сергеевым был освещен ход колхозного строительства, достижения в области культуры и переустройства быта у населения Корякского национального округа (коряки, ительмены) и Командорских островов (алеуты) [*Сергеев* 1934; 1938]. Социалистическому строительству у эвенков была посвящена монография Н. П. Никульшина «Первобытные производственные объединения и социалистическое строительство у эвенков» [Л., 1939]. Материалы по школьному строительству на Крайнем Севере обобщены в монографии А. Г. Базанова и Н. Г. Казанского «Школы на Крайнем Севере» [Л., 1939].

В 1933 г. было создано академическое учреждение, призванное возглавить советскую этнографическую науку, создать концепцию развития дисциплины, «которая отвечала бы новым политическим, социальным и культурным условиям, создавшимся в результате революционных преобразований и построения основ социалистического общества» [*Бромлей*, *Чистов* 1983: 20]. Постановлением Президиума Академии наук СССР от 15 февраля 1933 г. был создан Институт антропологии, археологии и этнографии АН СССР, который объединил сотрудников Музея антропологии и этнографии АН СССР, Института по изучению народов СССР и Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Это событие оказало большое влияние на развитие отечественной этнографии. Возникновение нового академического научного центра способствовало объединению усилий основных этнографических кадров рассредоточенных ранее по различным учреждениям страны[40].

[40] Постановлением Президиума Академии наук СССР от 17 декабря 1937 г. № 4 переименовано в Институт этнографии АН СССР. Постановлением Совета Министров СССР от 29 января 1947 г. № 167 Институту этнографии Академии наук СССР было присвоено имя Н. Н. Миклухо-Маклая. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1983 г. № 8757-X и Распоряжением Президиума Академии наук СССР от 15 марта 1983 г. № 10123–380 «О награждении Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР орденом Дружбы народов» награжден орденом Дружбы народов. Постановлением Президиума Академии наук СССР от 18 сентября 1990 г. № 1158 Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР переименован в Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР.

В декабре 1937 г. в ознаменование 20-й годовщины Октябрьской революции в Институте этнографии АН СССР был проведен пленум института. В его работе приняли участие работники Института народов Севера им. П. Г. Смидовича, Государственного Музея этнографии и других научный учреждений Ленинграда. В качестве основного докладчика выступил занимавший в тот период пост директора института акад. В. В. Струве, который наметил основные задачи советской этнографии в русле реализации постановления Президиума Академии наук от 5 июля 1937 г. (о необходимости уточнения профиля Института этнографии, определения содержания и предмета этнографической науки и ее задач на ближайший период).

Исходя из высказываний основоположников марксизма и в особенности базируясь на работе Сталина «Марксизм и национально-колониальный вопрос», В. В. Струве проводил в своем докладе мысль о том, что основным предметом этнографии является изучение тех «племен и народностей», которые еще не успели выйти далеко за рамки «племенного быта», а также тех «пережитков племенного быта», которые встречаются на более поздних стадиях общественно-экономического развития «у более передовых народностей и наций». В условиях социализма изучение этих пережитков приобретало особо серьезное политическое значение в свете задачи их преодоления. В то же время в тезисах доклада директора института содержалось положение о том, что советская этнография не может ограничиться одним лишь изучением прошлого:

> «Советская этнография должна изучать и выявлять тот беспримерный в истории процесс перерастания племен нашего Союза в национальности и возрождения их культуры, „социалистической по своему содержанию и национальной по форме“, который, в результате мудрой национальной политики тт. Ленина и Сталина, превращает их в полнокровных и полноценных сотрудников в строительстве социалистического общества, созданного народами нашего Союза под руководством великого вождя трудящихся всего мира тов. Сталина. Советский этнограф должен изучать те пережитки, которые остались в виде тяжелого наследства от старого классового общества, и выявлять те причины, которые задерживают их отмирание. Он тем самым окажет деятельную помощь социалистическому строительству» [*Абрамзон* 1938: 231][41].

[41] О том, что советская этнография «не может ограничиться изучением племен», см. также в программной статье В. В. Струве, опубликованной в 1939 г. В ней перед исследователями в качестве основной выдвигалась задача изучения социализма в быту, расцвета культуры всех национальностей Советского Союза. При этом особо подчеркивалась необходимость выявления вредных пережиточных явлений и объяснения причин, которые задерживают их отмирание [*Струве* 1939: 39].

На основе журнала «Советская этнография» в 1938 г. вышел одноименный сборник статей, в котором констатировалась «ликвидация былой отсталости» и построение «в основном» социалистического общества в нашей стране:

> «Социалистическая революция за 20 лет преобразила лицо нашей страны. На ее необъятнейших пространствах, где, по выражению В. И. Ленина, царила „патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость", самоотверженными героическими усилиями великого советского народа, руководимого славной Коммунистической партией (большевиков), построено в основном социалистическое общество. Две сталинские пятилетки окончательно ликвидировали былую хозяйственную, культурную и военную отсталость нашей страны. Мощная индустриальная держава, оснащенная передовой техникой, располагающая самым крупным в мире механизированным сельским хозяйством, имеющая на своих рубежах непобедимую, вооруженную всеми современными средствами обороны Красную Армию и Военно-Морской флот, — такою пришла наша страна к своему двадцатилетию. В перечне тех завоеваний, которых добились народы СССР за 20 лет, на одном из первых мест стоит сталинская дружба народов» [Народы СССР 1938: 12–14].

Народам Севера в этом сборнике была посвящена отдельная большая статья чл.-корр. Д. К. Зеленина, опубликованная под названием «Народы крайнего Севера после Великой Октябрьской социалистической революции». В ней, в частности, говорилось: «Так называвшиеся малые народы, которые прежде отставали в культурном отношении от русской и других наций, были возрождены Октябрьскою революцией; Октябрь и ленинско-сталинская национальная политика открыли им широкую дорогу к культурной, зажиточной, радостной и счастливой жизни, обеспечив им полный и мощный размах народного творчества и подлинный расцвет культуры». Далее Зеленин отметил, что в великом деле «возрождения» северных народов есть немалые заслуги и советских этнографов («не столько теоретические, сколько практические»):

> «За двадцать лет советской этнографии в СССР резко изменился самый предмет этнографического изучения — резко изменились те «малые» и «культурно-отставшие» народы, которые являются первым и главным объектом этнографического изучения. В быстром культурном росте этих народов, в пышном расцвете их национальной культуры главную роль сыграла, конечно, ленинско-сталинская национальная политика, вся советская система и общественность. Советские этнографы также приняли немалое участие в этом великом деле. Не будет преувеличением сказать, что главные достижения советской этнографии за 20 лет не столько теоретические, сколько практические: это именно непосредственное участие в социалистическом строительстве народов СССР, в частности тех «малых» народов, которые до Великой социалистической революции были культурно отставшими, а теперь

в качестве членов единой дружной семьи советских народов идут нога в ногу со всеми прочими народами СССР, переживая подлинный расцвет своей культуры — социалистической по содержанию и национальной по форме» [*Зеленин* 1938: 15–52].

С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники Института этнографии ушли на фронт, часть эвакуировалась в Ашхабад, Ташкент. В дни ленинградской блокады и на фронтах этнографическая наука потеряла многих своих представителей. Однако работа продолжалась. В самый разгар войны — в конце 1942 г. Президиум Академии наук СССР принимает особые меры для сохранения и развития Института этнографии — в Москве была создана группа этнографов, составившая ядро нынешнего Института этнологии и антропологии РАН. Этнографические исследования в масштабе страны возглавил оправившийся после ранения С. П. Толстов [Институт этнологии... 2013].

В 1944 г. в Институте этнографии АН СССР по инициативе заместителя директора института М. Г. Левина была создана группа Севера. В ее работе участвовали многие ведущие этнографы как московской, так и ленинградской частей института: В. В. Бунак (1891–1979), С. А. Токарев (1899–1985), М. Г. Левин (1904–1963), Г. Ф. Дебец (1905–1969), Г. М. Василевич (1895–1971), П. Е. Терлецкий (1882–1967), В. Н. Чернецов (1905–1970), Л. П. Потапов (1905–2000), Е. Д. Прокофьева (1902–1978), Т. А. Трофимова (1905–1986), Н. Н. Чебоксаров (1907–1980), З. Е. Черняков (1900–1997), Б. О. Долгих (1904–1971) [*Батьянова* 2013, 2017]. На заседаниях группы заслушивались доклады, отчеты, сообщения; проходили дискуссии; обсуждались рукописи книг, статей, диссертаций, связанных с северной тематикой. Обязательной составляющей работы группы Севера были полевые исследования. Несмотря на тяжелейшее положение в стране, во время войны экспедиции продолжались. Например, в 1943–1944 гг. по 5–6 месяцев в году работали Чукотская и Камчатская антропологические экспедиции под руководством — Г. Ф. Дебеца[42].

Первые послевоенные годы были отмечены оживлением всех сторон деятельности советских этнографов, прежде всего резким расширением масштабов полевых исследований. Основной организационной формой полевой этнографии в СССР становятся многолетние экспедиции, в большинстве своем комплексные по проблематике. В них нашла воплощение идея Д. Н. Анучина о триаде наук — этнографии, археологии, антропологии. В отличие от 1930-х гг., этнография определялась теперь как «отрасль истории, исследующая культурно-бытовые особенности различных народов мира в их историческом

[42] В 1945 г. работало более десяти экспедиций — этнографических, антропологических и фольклорных в различные области СССР — на Кавказ, Украину, в Среднюю Азию, Коми АССР, в Якутию [Институт этнологии 2013].

развитии, изучающая проблемы происхождения и культурно-исторических взаимоотношений этих народов, восстанавливающая историю их расселения и передвижения»[43] [*Толстов* 1946: 3].

Работа советских североведов находилась в русле общих задач науки и политики[44]. В первое послевоенное десятилетие появился целый ряд публикаций о достижениях национальных округов Севера (работы М. М. Броднева, М. Е. Бударина, Н. М. Ковязина, М. А. Сергеева, В. Н. Увачана и др.)[45]. После Великой Отечественной войны возобновилась подготовка кадров для Крайнего Севера и Дальнего Востока на северном факультете Ленинградского государственного университета и северном отделении Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена[46]. Из лагерей вернулись Г. М. Василевич, Ю. А. Крейнович, В. И. Цинциус. Отдел Сибири Кунсткамеры и отдел языков народов Севера Института языкознания стали постепенно пополняться новыми сотрудниками[47].

С середины 1950-х годов можно вести отсчет новой эпохи в советском этнографическом североведении, как и этнографии в целом. Общую ситуацию в этнографической науке Т. Д. Соловей характеризует следующим образом: XX съезд КПСС (1956 г.) «ослабил стальные объятия власти, в которых находились общество и интеллектуально-культурная жизнь страны. Тяготившееся навязанными ему ограничениями профессиональное этнологическое сообщество воспользовалось открывшимися возможностями для обогащения теоретической базы науки и расширения исследовательской проблематики <...> Хотя критика и новации привязывались к методологическому стержню, выкованному в 30-е годы, — „пятичленке“, а идея эволюции оставалась „красной нитью“ советской этнографии, в теоретический оборот был введен ряд подходов, значительно расширявших возможности научной концептуализации и способствовавших появлению более гибких и изощренных теоретических схем» [*Соловей* 2004: 275].

Академическая этнография, загнанная в 1930-е гг. в подполье, вернулась в статус академической дисциплины, тем более что, как верно отмечают некоторые исследователи, «прикладные наблюдения быстро обрастали фундаментальными исследованиями этногенеза и этнической истории, социаль-

---

[43] В варианте 1957 г. этнография выступает как «отрасль исторической науки, изучающая культуру и быт народов земного шара, их происхождение, расселение и культурно-исторические взаимоотношения» [Очерки общей этнографии 1957: 7].

[44] См.: [*Толстов* 1946; 1947; 1957; *Толстов, Жданко* 1964].

[45] См.: [*Бударин* 1952; *Сергеев* 1953; 1947; *Броднев* 1950; *Увачан* 1950; *Ковязин* 1952; 1955 и др.].

[46] В результате их слияния в 1953 г. возник факультет народов Крайнего Севера ЛГПИ, с 2001 г. преобразованный в Институт народов Севера.

[47] Подробнее см.: [*Вахтин* 2020].

ных структур, материальной и духовной культуры, религии и мифологии» [*Головнев, Данилова*: 2021: 133]. В целом же заключительная фаза советской эпохи (1950–1980-е гг.), на которой мы остановимся далее более подробно на примере московского отдела Севера, была «временем строительства коммунизма и политической оттепели[48], интернационализации и поощрения национальных форм (при социалистическом содержании)» [*Головнев, Данилова*: 2021: 133].

Что касается Севера, прежде всего стоит отметить, что 50-е гг. XX в. оказались ознаменованы значительной активизацией интереса органов власти к проблемам развития его аборигенных народов, очень много внимания им уделялось по линии СОПСа[49]. Решения партии и правительства, о которых было сказано выше, с одной стороны, «в определенной степени стали следствием деятельности научного сообщества — в них были отражены результаты проводившихся исследований и рекомендации, разработанные учеными по их итогам. С другой — подготовка и выход в свет важнейших правительственных документов приводили к интенсификации процесса научного изучения арктических <северных> районов страны» [*Сулейманов* 2017: 161].

Постановление Президиума АН СССР от 10 февраля 1954 г. «Об усилении научно-исследовательских работ по Советскому Северу» способствовало активизации этнографического изучения современной жизни северных народов, о чем свидетельствуют некоторые отчетные документы Института этнографии. Так, в годовом отчете за 1954 г. констатировалось, что решения партии и правительства по вопросам развития и культуры требуют от этнографов усиления работы на многих участках, и в первую очередь, выявилось отставание в изучении народов Крайнего Севера:

> «Сектор Сибири (ленинградская часть Института этнографии — *авт.*) последние годы занимался главным образом народами Южной Сибири. Вследствие этого происходящие в развитии культуры и быта народов крайнего Севера процессы оставались недостаточно изученными этнографами. В связи с этим летом 1954 г. были предприняты рекогносцировочные выезды в различные районы Севера. Приняты меры по усилению научно-исследовательской этнографической работы на Крайнем Севере» [*Золотаревская* 1955: 126–129].

---

[48] XXI съезд КПСС (1959 г.) провозгласил, что в СССР социализм одержал полную и окончательную победу, и Советский Союз вступил в новый исторический период постепенного перехода от социализма к коммунизму. Перед общественными науками была поставлена задача «творческого обобщения опыта хозяйственного и культурного строительства и исследования новых вопросов, выдвигаемых жизнью».

[49] Совет по изучению производительных сил — научно-исследовательское учреждение, образованное в 1930 г. при АН СССР, а в 1960 г. переданное в ведение Госплана СССР.

Значимым событием научной жизни стал выход в 1955 г. фундаментального труда М. А. Сергеева «Некапиталистический путь развития малых народов Севера» [*Сергеев* 1955], о котором мы уже упоминали в первом разделе главы. Сергеев сумел предложить целостную концепцию хода исторического развития северных народов в русле существовавших в советской историографии ленинских положений, которая раскрывала, каким образом отсталые в прошлом народы при помощи победившего пролетариата могут прийти к социализму, минуя стадию капитализма. Эта книга стала своеобразным итогом работы североведов предыдущих десятилетий и в то же время она способствовала дальнейшему изучению различных аспектов социокультурного развития народов Севера[50]. В дальнейшем (в том числе в связи с некоторым улучшением общей ситуации в развитии общественных наук после XX съезда КПСС), советское строительство на Севере становится предметом самостоятельного историко-этнографического изучения. Этим вопросам посвящена обширная литература, обзор которой выходит за рамки настоящей главы[51].

Московский сектор Севера. В середине 1950-х гг. в отечественном североведении произошли и институциональные изменения. В соответствии с постановлением Президиума АН СССР от 10 февраля 1954 г. «Об усилении научно-исследовательских работ по Советскому Северу» в 1955 г. в московском отделении Института этнографии был создан сектор по изучению социалистического строительства у малых народов Севера (сектор Севера)[52]. Он должен был работать в соответствии с задачами Комиссии по проблемам Севера, созданной при Президиуме АН СССР в 1954 г., и информировать директивные органы о положении дел на Севере направляя им специальные информационные документы, предназначенные для служебного пользования — «докладные записки». С той поры московский сектор Севера стал опорным в научно-практических (прикладных) исследованиях, тогда как ленинградский сектор Сибири уделял больше внимания традиционной академической этнографии. [*Головнев, Данилова* 2021: 133]. Взаимодействие чиновников и ученых имело практическим результатом подготовку целого ряда решений и постановлений партии и правительства, принятых в 1950–1960-х гг.[53]

---

[50] Краткое изложение этой книги содержится в статье Сергеева, опубликованной в томе «Народы Сибири» (серия «Народы мира»), вышедшей в 1956 г.

[51] См.: [*Мазуренко* 1961; *Таксами* 1964; *Бударин* 1968; *Клещенок* 1968, 1972; *Зибарев* 1968; *Ретунский* 1966; *Балицкий* 1969; Новая жизнь... 1970; *Увачан* 1971, 1977, 1984; *Веселкина* 1971; Ленинская национальная полигика 1972; *Онищук* 1973; Переход к социализму 1974; *Киселев* 1974; *Кузаков* 1981; Современные этнические процессы 1981; Проблемы современного социального развития 1987 и др.].

[52] В 1986 г. сектор получил статус отдела и стал называться отделом этнографии народов Крайнего Севера и Сибири. Ныне — отдел Севера и Сибири.

[53] Подробнее см.: [*Соколова* 1971].

История сектора Севера советских десятилетий была неразрывно связана с именами и трудами таких талантливых исследователей, как Владилен Александрович Туголуков (1924–1986), Владимир Иванович Васильев (1936–1993), Юрий Борисович Симченко (1935–1995), Мария Яковлевна Жорницкая (1921–1995), Анна Васильевна Смоляк (1920–2003), Севьян Израилевич Вайнштейн (1926–2008). Этими учеными был накоплен значительный объем полевых материалов и исследованы различные аспекты современной им культуры северных народов[54].

Руководителями сектора / отдела Севера в свое время были выдающиеся советские сибиреведы Борис Осипович Долгих (в 1955–1965 гг.), Илья Самуилович Гурвич (в 1965–1987), Зоя Петровна Соколова (в 1987–1995). Результаты их научной деятельности отразили разные этапы истории советского этнографического североведения, при этом характер исследований во многом предопределялся практическими общественно-политическими потребностями и запросами.

Основы многих научных традиций московского североведения были заложены первым руководителем сектора Севера *Б. О. Долгих* (1904–1971). Ко времени переезда в Москву это был уже известный этнограф, автор монографии о кетах и многих статей, регистратор Приполярной переписи 1926–1927 гг., организатор и участник ряда этнографических экспедиций. Работая в Иркутске, а затем в Красноярске, он вел полевые исследования среди кетов, эвенков, долган, энцев, якутов, нганасан. В 1937–1944 гг. Долгих являлся сотрудником Красноярского краеведческого музея. Там в начале 1942 г. он познакомился с будущим академиком С. П. Толстовым, который, будучи раненым, оказался в одном из госпиталей Красноярска. В 1944 г. по приглашению Сергея Павловича Долгих возвратился в Москву и был зачислен в аспирантуру Института этнографии. В 1948 г. он защитил кандидатскую, а в 1958 г. — докторскую диссертацию. С момента образования до 1965 г. возглавлял сектор по изучению социалистического строительства у народов Севера, руководил работами Северной экспедиции Института этнографии[55].

История Северной экспедиции детально описана в публикациях И. С. Гурвича и Е. П. Батьяновой [*Гурвич* 1990; *Батьянова* 2013, 2017]. Елена Петровна, в частности, отмечает, что эта экспедиция «способствовала развитию школы советской полевой этнографии, в основе которой была не только научная, но и прикладная направленность исследований, имевшая своей целью, помимо активизации процесса социалистических преобразований на Севере, защиту национальных (этнических — *авт.*) прав се-

[54] О вкладе ученых в исследование этнокультурного развития народов Севера в советский период см.: [*Антропова* 1971; Переход к социализму 1974; *Гурвич* 1979].

[55] О жизни и деятельности Б. О. Долгих см.: [*Васильев, Симченко* 1964; *Вайнштейн* 1992; *Савоскул* 2004, 2005 и др.].

верных народов» [*Батьянова* 2017: 28]. Во многом такая установка формировалась под влиянием Б. О. Долгих, который видел в этнографах не только ученых, исследующих культуру народов, но и защитников их интересов, активных просветителей, проводников знаний и прогресса: «Этнографы могут сыграть большую роль в деле дальнейшего подъема хозяйства и культуры народов Севера. Желательно создание в центре и на местах специальных органов по содействию экономическому и культурному развитию малых народов Севера. К работе в этих органах можно широко привлечь этнографов в качестве консультантов, инструкторов и референтов. Практическая работа этнографов в этой области будет содействовать также дальнейшему прогрессу самой советской этнографической науки» [*Долгих* 1958: 11–12]. Он также призывал создать «условия для полного, всестороннего развертывания знаний, опыта и способностей исконных оленеводов, охотников и рыболовов, обладающих огромными положительными национальными традициями в этой сфере человеческой деятельности» [Там же]. Эта позиция Бориса Осиповича стала для большинства этнографов-северников руководством к действию.

И. С. Гурвич (1919–1992) достойно продолжил добрые начинания Б. О. Долгих в развитии прикладной этнографии и защите прав народов Севера. Показательно, что анализируя результаты первых полевых сезонов Северной экспедиции, среди главных ее достижений Гурвич отметил выявление обстоятельств, препятствующих развитию национальных (=этнических) культур, улучшению условий труда и быта северных народов [*Гурвич* 1990: 198–204]. Как и Борис Осипович, он имел большой опыт полевой этнографии. Выпускник кафедры этнографии МГУ 1941 г., Гурвич был направлен по распределению в Якутию, где работая школьным учителем в пос. Оленёк, собирал материалы по этнографии якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, русских старожилов. В 1946 г. он поступил в аспирантуру Института этнографии, по окончании которой в 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию об оленёкских и анабарских якутах, вернулся в Якутию, где работал научным сотрудником в НИИ языка, литературы и истории Якутского филиала Академии наук СССР. В 1956 году Гурвич снова вернулся в Москву и до конца своей жизни работал в Институте этнографии АН СССР. В 1966 г. ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук за работу «Этническая история Северо-Востока Сибири»[56].

З. П. Соколова (1930–2020) также была в числе первых сотрудников сектора Севера, куда была зачислена на должность младшего научного сотрудника в 1956 г. К тому времени за плечами у нее была учеба на истфаке в Молотовском (Пермском) государственном университете, аспирантура в Институте этнографии АН СССР, а также опыт археологической экспедиционной

[56] См.: [*Батьянова и др*. 1992; *Батьянова, Бойчук* 1999 и др.].

работы под руководством известного археолога О. Н. Бадера. Зоя Петровна возглавляла сектор / отдел Севера с 1987 г. по 1995 гг. — период больших перемен в истории нашей страны и науки. В начале 1990-х гг. под ее руководством был реализован ряд проектов, в ходе которых зафиксирован первый этап постсоветских трансформаций в регионах Севера и Сибири. Коренные народы для З. П. Соколовой, как и для многих ее коллег по сектору, не были лишь объектом научного интереса. «Я глубоко уверена, что этнограф обязан брать на себя функцию правозащитника изучаемого народа. Иначе просто нет оправдания нашим исследованиям и грош им цена. Только проникаясь жизнью и проблемами народа, мы можем его понять». Это профессиональное кредо, озвученное в одном из своих интервью, Зоя Петровна неизменно воплощала в жизнь[57].

Но вернемся к первым годам истории сектора Севера. С самого начала его сотрудники развернули под руководством Б. О. Долгих масштабные экспедиционные исследования в регионах Севера и Сибири. В 1955–1956 гг. отряды Северной экспедиции работали среди эвенков Охотского побережья, кетов, нивхов, юкагиров, магаданских эвенов. В 1957 г. экспедиционные работы проводились в Чукотском, Таймырском, Ханты-Мансийском, Корякском, Эвенкийском национальных округах и в долине р. Амур [*Долгих* 1958].

В 1957 г. страна отмечала 40-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, который ознаменовался подведением итогов во всех областях жизни советских людей. Подготовка к юбилею стала мобилизующим фактором и в работе Института этнографии АН СССР. Он провел юбилейную сессию Ученого совета в Москве и Ленинграде, выпустил юбилейный сборник «Советской этнографии». В отчете о работе института за 1958 г., в частности, говорилось о том, что сектором Крайнего Севера проведена большая работа по изучению современного хозяйства и быта северных народов:

> «Сектор под руководством Б. О. Долгих подготовил сборник, посвященный вопросам реконструкции хозяйства и быта этих народов и развитию их культуры, а сотрудник сектора И. С. Гурвич написал совместно с сотрудником Совета по развитию производительных сил АН СССР (СОПС) К. Г. Кузаковым работу «Корякский национальный округ», подготовляемую к изданию СОПС и посвященную истории и этнографии коряков, их современному хозяйству, образу жизни и культуре. В связи с важностью проблемы развития хозяйства и культуры малых народов Севера Ученый совет Института провел с участием представителей Комиссии по проблемам Севера и других заинтересованных учреждений специальное заседание, на котором заведующий сектором народов Крайнего Севера Б. О. Долгих сделал доклад о современном состоянии данного вопроса» [*Александров* 1959: 129–130].

[57] См.: [*Пивнева* 2021: 780–788].

В том же отчете отмечалось, что «несмотря на успешность проводимой институтом работы по исследованию вопросов современности, ее объем в настоящий момент нельзя признать достаточным». Задача изучения современной культуры и быта народов страны выдвигалась в тот период в качестве центральной. Подчеркивалось, что изучая социалистическое общество, «этнография концентрирует свое внимание на национальных особенностях социалистической культуры и социалистических форм быта». Во многом такое внимание к этой проблеме объяснялось новой доктриной по национальному вопросу, принятой на XXII съезде КПСС (1961 г.). Положение о том, что национальные отношения в СССР характеризуются дальнейшим сближением наций и народностей, достижением их полного единства, побудило этнографов к изучению процессов «сближения наций» на практике[58].

В программной статье, написанной руководством Института этнографии в 1964 г., говорилось:

> «Согласно Программе КПСС, в период развернутого строительства коммунизма будет происходить дальнейший быстрый подъем жизненного уровня и культуры советского народа, рост благоустройства сельских поселков и городов, улучшение бытовых условий трудящихся, устранение остатков неравного положения женщины в быту. В ходе созидания коммунистических форм общественного устройства всё основательнее будет утверждаться коммунистическая идейность в отношениях между людьми; будут окончательно изжиты обычаи и нравы, мешающие коммунистическому строительству. Задача этнографов — проанализировать этот исторический процесс во всем многообразии его конкретных форм у различных народов, изучить его закономерности и, главное, всемерно ему способствовать» [*Толстов, Жданко* 1964: 12–13].

Сбор материалов по различным аспектам социалистического переустройства хозяйства, культуры и быта коренного населения тайги и тундры входил в программу всех отрядов Северной экспедиции. По результатам поездок этнографы издавали статьи, содержащие сведения о развитии промыслового хозяйства того или иного района, колхоза или локальной группы, этнографические наблюдения над изменениями в материальной и духовной культуре населения, особое внимание обращалось на перспективы хозяйственного и культурного развития народов Севера. Такого рода публикации по отдельным группам эвенков были сделаны В. А. Туголуковым, Г. М. Василевич, Ю. Б. Стракачом; о населении Таймыра — Б. О. Долгих и Л. А. Фай-

[58] Своеобразным итогом работы ученых института в этом направлении стала книга «Современные этнические процессы в СССР», вышедшая двумя изданиями (1975, 1977) и в 1981 г. получившая Государственную премию СССР. В числе лауреатов этой премии был И. С. Гурвич как один из авторов и член редколлегии этой коллективной монографии.

нбергом, В. И. Васильевым и Ю. Б. Симченко; о кетах — Е. А. Алексеенко; о чукчах — И. С. Вдовиным, о населении Корякского национального округа — К. Г. Кузаковым; об эвенах — И. С. Гурвичем, У. Г. Поповой; о народах Амура — А. В. Смоляк, М. А. Каплан и др.[59]

В 1960 г. Институт этнографии АН СССР выпустил по материалам экспедиционных обследований сборник «Современное хозяйство, культура и быт малых народов Севера». Эта публикация, с одной стороны, являет собой пример «классического» жанра этнографической публикации тех лет. Во введении говорилось об отсталости народов Севера накануне революции и дальнейших глубоких положительных изменениях в их жизни: «Как известно, малые народы севера (саамы, ненцы, энцы, нганасаны, селькупы, ханты, манси, кеты, эвенки, эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи, ороки, орчи, удэгейцы, нивхи, юкагиры, чукчи, коряки, ительмены, эскимосы, алеуты, долганы и тофалары) были самыми отсталыми народами царской России»; «господствующие классы царской России жестоко эксплуатировали малые народы Севера»; «широко практиковалась спаивание оленеводов, охотников и рыбаков»; Октябрьская революция «обеспечила широкие возможности для всестороннего развития экономики и культуры всех народов»[60]. С другой стороны, отдавая должное большим успехам ленинской национальной политики, Б. О. Долгих подробно останавливается на проблемах социалистического строительства у народов Севера с целью «обратить на них внимание и дать материал, способствующий их решению»:

> «Одной из них является проблема правильного определения направления хозяйственной деятельности колхозов народов Севера. В недавнем прошлом были случаи внедрения в хозяйства этих колхозов таких отраслей, как земледелие и молочное животноводство, нецелесообразных в условиях ряда районов Севера и отвлекавших и без того незначительные трудовые ресурсы народов Севера от их исконных занятий. Квалифицированные оленеводы, охотники и рыболовы работали на огородах и фермах, огромные пространства тайги и тундры оставались неосвоенными, оленеводство испытывало значительный ущерб.
>
> Другая важная проблема, которую следует правильно решить в отношении народов Севера — проблема образа жизни охотников и оленеводов.

[59] Библиографию см.: [*Антропова* 1971: 50–65; *Гурвич* 1979: 277–302 и др.].

[60] А. Г. Киселев и С. В. Онина пишут о том, что особая ритуальная форма начала общественно-политических, общественно-просветительских текстов, выраженная при помощи специфической лексики «официолекта», прочно сложилась и встречалась в советский период повсюду: от газетных публикаций до научных трудов. Суть ее заключалась в оппозиции «прежде и теперь». Поэтому зачин, скорее, воспринимался самими авторами не более, как «фигура речи», «пароль, дававший возможность высказывания» [*Киселев, Онина* 2019: 167–183]. См. также статью В. А. Шнирельмана «Наука в условиях тоталитаризма» [1992: 7–18].

Было стремление перевести на оседлость всё население Севера независимо от его хозяйственной деятельности. Но так как мужчины — охотники и оленеводы должны были находиться на своих охотничьих угодьях ии при стадах на пастбищах, а их семьи были переведены на оседлость и жили в колхозных поселках, то получилось, что мужчины стали бóльшую часть года отрываться от своих семей. Это в конце концов вызвало ряд нежелательных явлений, в частности в семейной жизни колхозников. Таким образом, стоит проблема: как сохранить необходимый для оленеводов и охотников подвижный образ жизни вместе с их семьями и в то же время обеспечить им необходимый культурный быт.

Третьей важной для будущего народов Севера проблемой является проблема подготовки кадров. Она приобрела особенную остроту, в частности в связи с политехнизацией школы. Для того чтобы быть полноценным охотником, оленеводом, рыболовом на дальнем Севере, человек с детства должен овладеть рядом необходимых навыков <...> Все эти знания и навыки можно получить исключительно путем практического участия в колхозном производстве. В последнее время замечено, что подрастающее поколение вследствие того, что в школах-интернатах иногда плохо поставлена политехнизация, вплоть до окончания школы не участвует в производстве колхозов, а затем оказывается недостаточно подготовленным для упомянутых выше основных колхозных профессий Севера <...> перед северной школой стоит, следовательно, задача максимально приблизить политехнизацию к требованиям колхозного производства, чтобы готовить полноценную смену старым кадрам тружеников северного колхозного производства» [Современное хозяйство 1960: 7–8].

Эта публикация (заметим — в открытой печати), делавшая акцент на «болевых точках» социально-экономического развития коренных народов Севера, заложила основу для появления впоследствии отдельного направления в североведении, которое иногда называют кризисной этнологией.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в связи с 50-летием Октябрьской революции и 100-летием со дня рождения В. И. Ленина происходит более активное и целенаправленное изучение национально-государственного строительства у народов Севера, что, вероятно, было связано с официальным заказом на труды такого рода. В тот период появилась целая серия монографий, авторы которых стремились показать особенности ленинской национальной политики на Севере России и результаты ее претворения в жизнь[61], широко освещалась деятельность партийных организаций на Севере[62].

---

[61] См.: [*Бударин* 1967, 1968; *Зибарев* 1968, 1972; *Клещенок* 1968; *Увачан* 1958,1971; *Балицкий* 1969 и др.]

[62] Историографию проблемы партийного строительства на Севере России см.: [*Увачан* 1958; *Лаврентьева* 1961; *Бычкова* 1963; *Зибарев* 1967; Переход к социализму 1974].

Из вышедших в Институте этнографии работ, приуроченных к этим юбилейным датам, стоит отметить книгу «Новая жизнь народов Севера» [1967]. Она была написана коллективом сотрудников сектора по изучению социалистического строительства у народов Севера и сектора Сибири (Н. А. Алексеев, В. И. Васильев, И. С. Вдовин, И. С. Гурвич, С. В. Иванов, Ю. Б. Симченко, А. В. Смоляк, З. П. Соколова, В. А. Туголуков, с использованием материалов Е. А. Алексеенко, В. А. Антроповой, Л. В. Хомич). В духе юбилейного жанра — презентации авторы показали огромные перемены, произошедшие в хозяйстве, быте и культуре народов Севера за 50 лет советской власти:

> «Коренное переустройство хозяйства, культуры и быта народов Севера — результат великих завоеваний Октябрьской социалистической революции, яркий пример осуществления принципов ленинской национальной политики. Исторический опыт приобщения к социализму отсталых в прошлом народов Севера практически подтвердил применимость ленинского учения о возможности некапиталистического развития не только к народам, не знавшим развитых форм капитализма, но и к народам, не прошедшим стадии развитых классовых отношений <...> Больших успехов достигли народы Севера за советский период. Растут и хорошеют северные национальные округа. Упорная работа людей Севера высоко ценится всей страной, партией, правительством. Многие оленеводы, охотники, рыбаки награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя Социалистического Труда. Встречая 50-летие Великого Октября, осуществляя предначертания XXIII съезда партии, народы Севера вносят свой достойный вклад в строительство коммунизма» [Новая жизнь 1967: 113, 118].

В 1971 г. в Институте этнографии АН СССР был опубликован еще один «юбилейный» сборник — «Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера». Авторами выступили не только североведы московской и ленинградской частей ИЭ АН СССР, но и привлеченные специалисты (экономисты, работники просвещения, здравоохранения). Несмотря на свою в целом идеологическую направленность (стремление показать особенности ленинской национальной политики на Севере России и результаты ее претворения в жизнь) и следы «официоза», этот труд включил в себя разностороннюю фактологическую информацию по различным аспектам жизнедеятельности народов Севера.

В вводной статье «Принципы ленинской национальной политики и применение их на Крайнем Севере», написанной И. С. Гурвичем, показан общий ход осуществления социалистических мероприятий и предложена авторская периодизация этого процесса (см. выше). Подробно изложена историография некапиталистического пути развития народов Севера (В. В. Антропова). Из обобщающих статей особый интерес представляет также обширная сводка нормативных документов «Постановле-

ния партии и правительства о развитии хозяйства и культуры народов Крайнего Севера (юридические акты 1935–1968 гг.)» (З. П. Соколова). Начальный этап советского строительства на Туруханском Севере осветила Е. А. Алексеенко, вопросы преодоления старого у эвенков — В. А. Туголуков. Представлен также новый полевой материал о социалистическом строительстве в Ненецком, Таймырском, Корякском национальных округах, на Кольском полуострове, в бассейне Нижнего Амура и на Сахалине (статьи Л. В. Хомич, В. И. Васильева, Ю. Б. Симченко, К. Г. Кузакова, Т. В. Лукьянченко, А. В. Смоляк). Кроме того, в ряде статей был затронут разнообразный круг других вопросов, связанных с осуществлением советской национальной политики: о развитии печати на языках народов Севера, о принципах использования родных языков коренного населения в северных школах и подготовки педагогических кадров для этих школ, в т. ч. специалистов с высшим образованием из среды народов Севера; о деятельности медицинских учреждений на Севере, о фильмах, посвященных этим народам.

В начале 1970-х гг. в связи полувековым юбилеем СССР появился социальный заказ на научно-популярные издания о народах, населяющих Советский Союз. Участие этнографов в осуществлении этих решений проявилось в активизации деятельности по распространению накопленных ими знаний среди широких народных масс. Их работа включала публикацию научно-популярных книг и статей, выступления по радио и телевидению, деятельность историко-этнографических музеев, издание рассчитанной на массового читателя серии «Страны и народы». Поскольку тиражи научно-популярных изданий, в отличие от академических, были большие (от 20 до 70 тысяч экземпляров) и реализовывались они по всей стране, книги этнографов стали достоянием сибирских народов. Например, З. П. Соколова с удовольствием вспоминала о подаренной ей фотографии, на которой был запечатлен мужчина-ханты, читающий ее «Путешествие в Югру». Предметом гордости Зои Петровны был и тот факт, что термины «Югра» и «Югория», которые были известны в основном в письменной исторической литературе, благодаря ее научно-популярным книгам широко вошли в жизнь, и что в современном названии Ханты-Мансийского округа — Югра есть и ее вклад. Кроме того, научно-популярные книги пробудили у многих представителей северных народов интерес к изучению своей культуры.

Между тем, период «развитого социализма» вызвал необходимость поднятия этнографии на качественно новый теоретический уровень. Не случайно именно в те годы в институте велась активная разработка общей теории этноса, которая объявлялась одним из ведущих направлений в советской этнографии. Основным направлением полевой работы Северной экспедиции в 1970–1980-е гг. по-прежнему оставался анализ развития социалистических

преобразований. Новый (по сравнению с предыдущими изысканиями) подход состоял в том, что эти данные рассматривались не только как сведения для характеристики специфики культуры того или иного народа, но и ценный источник для освещения этногенетических проблем[63].

В 1970 г. сотрудники сектора Севера обобщили собранные данные о современных этнических процессах у народов Крайнего Севера и Дальнего Востока в сборнике статей «Преобразования в хозяйстве и культуре и этнические процессы у народов Севера». В этой книге нашли отражение изменения в хозяйстве, культуре, семейных отношениях, бытовой сфере языковой ситуации различных народов Северной Сибири и Дальнего Востока. В числе основных выводов стало заключение о тесном переплетении на Севере консолидационных, ассимиляционных и интеграционных процессов, а главным фактором этих изменений стало «быстрое внутреннее преобразование сложившихся этнических общностей в результате развития экономики и подъема культуры» [Преобразования 1970: 9]. В предисловии И. С. Гурвича к более позднему сборнику, вышедшему в 1985 г. под названием «Этнокультурные процессы у народов Сибири и Севера», утверждалось: «Путь, пройденный народами Севера за советский период, полностью подтверждает положение Программы КПСС, принятой XXVII съездом партии, о том, что „национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решен“» [Программа КПСС 1985: 28]. Этнические процессы на Севере характеризовались «расцветом национальных культур, внутренним сплочением каждой нации и народности и неуклонным сближением всех этнических образований, выражающимся в укреплении новой интернациональной общности — советского народа» [Программа КПСС 1985: 3].

«Мы писали о недостатках»: докладные записки советских североведов. Писать о недостатках национальной политики в открытой печати этнографы тогда не могли по цензурным соображениям. Главный акцент в их публикациях делался на «успехах», «сближении», «преодолении различий», «выравнивании», «однородности». На страницах открытой печати малые народы Севера «строят новое общество в одном ряду с другими народами, процессы их развития идут в общем русле интернационализации всей общественной жизни, формирования и развития одной общности — советского народа. Общее в развитии является определяющим и целенаправляющим как в области формирования теоретических концепций, так и в области стратегии управле-

[63] Вопросы этногенеза и этнической истории определяли содержание многих академических проектов советского периода и разрабатывались исследователями на протяжении десятилетий. «Бум этногенеза в советской этнографии, — пишет А. В. Головнёв, — был связан и с незавершенным нациестроительством в Российской империи, и с впечатляющим воздействием „национального вопроса“ на большевистскую революцию, и с замещением этничности интернациональной советскостью в эпоху „победившего социализма“» [*Головнев* 2010: 41].

ния процессами дальнейшего прогрессивного развития народностей Севера» [Программа координации 1987: 93].

Есть между тем в научном наследии советских североведов уникальный опыт практической деятельности, в котором нашла выражение гражданственность их позиций по отношению к проблемам коренных народов. О реальном положении дел на Севере этнографы информировали директивные органы, направляя им «докладные записки» — специальные документы, предназначенные для служебного пользования[64]. Зоя Петровна вспоминала:

> «...Мы писали докладные записки — такие отчеты-экспертизы, в которых излагали проблемы по народам Севера <...> сначала связь у нас была с Советом по изучению производительных сил (СОПС), потом уже мы тесно стали связываться с Отделом по экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера и Арктики Совета Министров РСФСР. На наши записки в этом отделе реагировали: там работала группа сотрудников — человек 25, они выезжали на места, и по нашим материалам принимались какие-либо меры. Этнографы, особенно Борис Осипович Долгих, потом Илья Самойлович Гурвич, непосредственно принимали участие в подготовке целого ряда постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по народам Севера. В частности, в 1953 году вышло Постановление № 300, а в 1957 году, когда я ездила на р. Вах, я могла видеть всё, что там делается по выполнению этого постановления» [*Соколова* 2018: 7].

Анализ этих документов показывает, что этнографы, в целом следуя идеологическим и политическим установкам власти, пытались, в ряде случаев решительно, корректировать политику Советского государства по отношению к народам Севера. В качестве примера можно привести выдержки из докладной записки Б. О. Догих, датированной 1959 г. В ней ученый оспаривает утверждение о том, что сокращение численности народов Севера неизбежно связано с кочевым образом жизни, и указывает на основные факторы этого процесса в советское время: «Внешними, бросающимися в глаза причинами такого уменьшения численности малых народов Севера является плохое их экономическое положение, туберкулез и пьянство. Более глубокой причиной всех этих явлений надо считать общую неправильную линию, взятую в отношении этих народов на протяжении последующих двух десятков лет, после ликвидации в 1935 г. Комитета содействия малым народам Севера при Президиуме ВЦИК. Вместо помощи малым народам в развитии их хозяйства и улучшении их быта, местные организации стали заботиться главным образом о выполнении планов заготовки рыбы, пушнины, оленьего мехо-

[64] Значительная часть докладных записок в начале 2000-х годов была опубликована Институтом этнологии и антропологии РАН в 5-ти сборниках под общим названием «Этнологическая экспертиза. Народы Севера России». Анализ этих публикаций см.: [*Головнев, Данилова* 2021].

вого сырья и др. мяса, притом в таких количествах, что коренное население оставалось без мясных продуктов питания, материалов для теплой одежды, материалов для жилищ и т. п.». Борис Осипович приходит к выводу о необходимости признания того, что до сих пор работа по подъему экономики и культуры народов Севера шла по неправильному пути и коренного пересмотра всего, что делается для народов Севера, а также выдвигает целый ряд конструктивных предложений» [*Долгих* 1993: 142–153].

Задолго до «перестройки и гласности» в докладных записках того времени поднимались многие наболевшие, жизненно важные для северных народов, вопросы: развитие традиционного хозяйства, «обустройство тундры», подготовка национальных кадров, жилищное строительство, борьба с пьянством и алкоголизмом и пр. Сотрудники сектора Севера одними из первых выступили против огульного перевода оленеводов на оседлость, против упразднения так называемых неперспективных селений, активно боролись за возобновление преподавания родных языков северных народов. К числу реальных результатов экспертиз можно отнести, например, прекращение массового перевода на оседлость, сокращение не свойственных Северу занятий сельским хозяйством, ограничение завоза спиртных напитков, распространение северных льгот на коренное население, улучшение здравоохранения и образования [Этнологическая экспертиза 2004: 6, 7].

Составление докладных записок требовало не только обширных знаний о характеризуемом объекте и проблеме, но и гражданского мужества, по той причине, что партийные и госчиновники, деятели идеологического аппарата бдительно и чутко следили за малейшей критикой социалистического строя и его ценностей. По словам В. Н. Басилова: «Мелочный надзор за творчеством ученого отнюдь не ограничивался анекдотическими придирками к отдельным фразам и вычеркиванием всего, что „не положено“ <...> В результате у исследователей вырабатывалась привычка смотреть на свой собственный (даже еще не написанный) текст глазами цензора» [*Басилов* 1992: 4–5].

В защиту традиций и уход в историю. Наличие внутренних («национально-специфических») особенностей официально признавалось за народами Севера, не случайно они были выделены в отдельную социальную категорию советских граждан. Однако считалось, что эти особенности могли в той или иной мере содействовать или, наоборот, сдерживать процессы строительства социализма и достижение конечной цели — полной интернационализации общественной жизни. «Позитивные элементы», способные стать формой или носителем общего, а также культурные особенности, существование которых детерминировалось природно-климатическими условиями, следовало развивать и совершенствовать. Другие — изживать и/или ликвидировать.

Концептуальная установка официальной советской этнографии гласила:

«Научно-техническая революция середины XX в. необычайно сократила „расстояния“ между народами. Однако народы мира по-прежнему обладают своими этническими особенностями, притом не только сохранившимися от далекого прошлого, но и возникшими сравнительно недавно. Этнографу важно получить отчетливое представление о сохранении и модификации традиционных форм их культуры и быта, изменении национального (этнического) самосознания и т. д.» [*Бромлей, Токарев* 1988: 30].

А. П. Окладников выразил эту же мысль следующим образом:

«Народы Сибири накопили огромный производственный опыт, обобщающий конкретные знания. В этом производственном опыте имеется то, чего не знают многие. Изучая и обобщая его, мы должны подходить к этому опыту „со знаком плюс“ и „со знаком минус“ <...> Очевидно, одним традициям следует объявить решительную борьбу, а за другие — бороться, стремиться сохранить всё то здоровое, что получено в наследство от прошлого. И в этой связи прежде всего необходимо разобраться в этих традициях» [*Окладников* 1968: 23–24].

Выражаясь словами современных исследователей, этнографическая экспертиза призвана была «отделить злаки от плевел» и определить, с какими «пережитками» следует покончить, а какие традиции можно применить к социализму на Севере [*Головнев, Данилова* 2021: 139].

Этнографы активно выступили в защиту самобытной культуры северных аборигенов, хотя и признавали (во всяком случае, в открытой печати) существование у них неких «пережитков со знаком минус». Например, в работе, написанной более полувека тому назад (докладная записка 1962 г. «О современном положении хантов Шурышкарского района Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области») З. П. Соколова, писала:

«Даже если когда-либо хантыйская национальная культура и отомрет и будет заменена какой-то общечеловеческой, коммунистической, это не значит, что сейчас надо полностью отказаться от ее достижений. В ней, как и в других национальных культурах, есть вредные пережитки (религиозные и т. д.), но есть важные, выработанные веками в суровых условиях Севера завоевания, которые сделали свой вклад в мировую культуру: введение промыслового хозяйства с использованием доступных им природных богатств, прекрасные одежда и обувь, великолепно приспособленные к тяжелым климатическим условиям средства транспорта и т. д. <...> Поэтому нельзя, борясь с вредными пережитками, полностью отрицать национальную культуру» [*Соколова* 2016: 346].

Одной из важнейших задач, стоящих перед исследователями, Б. О. Долгих считал «внесение историзма в этнографию». Сам он так объяснял свой интерес к историко-этнографическим материалам:

«<Они> помогут лучше уяснить современную культуру народов Севера, показав ту базу, на которой ей пришлось развиваться. С другой стороны, при введении на севере новых форм хозяйства, быта приходится постоянно учитывать старые, складывавшиеся веками национальные традиции. Многое в них представляет большую ценность и должно быть сохранено, с другими же вредными традициями надо бороться. Поэтому этнографам приходится большое внимание уделять вопросам изучения старых производственных навыков и приемов промысла, традиционному быту, религиозным пережиткам в сознании людей и т. п.» [Современное хозяйство 1960: 8].

Личным выдающимся вкладом Бориса Осиповича в изучение истории народов Сибири стала его фундаментальная монография «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в.» [М., 1960], основанная на изучении огромного массива архивных источников. В. А. Туголуков (ученик Долгих) в предисловии к одной их своих книг писал:

> «Еще не так давно этнографы обыкновенно ограничивались описанием того или итого народа на основе собственных полевых материалов и литературы. Однако потребность в решении вопросов этногенеза, а также особенностей исторического развития исследуемых народов потребовали обращения этнографов к документальным источникам прошлого и к более широкому привлечению данных, добытых смежными науками — историей, антропологией, археологией, лингвистикой. Так пробило себе дорогу новое направление в этнографии — историко-этнографическое изучение народов СССР» [*Туголуков* 1985: 3].

В конце 1956 г. в Институте этнографии вышел том «Народы Сибири» фундаментального серийного издания «Народы мира», который создал своеобразный стиль дисциплины и до сих пор оказывает влияние на российскую этнографию. Это направление быстро завоевало широкую популярность среди исследователей: С. И. Вайнштейн (1972), В. И. Васильев (1979), Вдовин (1965, 1974), И. С. Гурвич (1966), Л. В. Хомич (1976), Туголуков В. А. (1985) и др. Одной из форм фиксации традиционных компонентов материальной культуры стали историко-этнографические атласы[65].

Существует мнение, что «уход в историю» был предпочтительным из соображений личной и корпоративной безопасности, что серьезное изучение и тем более научная концептуализация современности были невозможны и небезопасны в условиях господства единой методологической основы — историко-материалистической теории развития общества. В этой интеллектуальной перспективе «современность оказывалась лишь хронологической

[65] В 1961 г. институт выпустил «Историко-этнографический атлас Сибири», в котором обобщен огромный фактический материал, дана характеристика важнейших компонентов материальной культуры народов Севера.

рамкой для анализа традиционной бытовой культуры и ее функционального места в модернизировавшихся социальных структурах», — считает Т. Д. Соловей [2004: 236, 257]. Однако есть и еще один важный аспект ухода североведов в историю, о чем упоминает С. И. Вайнштейн в статье, посвященной своему учителю: «Борис Осипович говорил, что создавая этот труд, он выполняет нравственный долг русской науки перед народами Сибири, перед памятью многих канувших в Лету после присоединения в России сибирских племен» [Вайнштейн 2002: 301]. А Зоя Петровна Соколова свою приверженность этногенетическому направлению объясняла следующим образом: «Думаю, что актуальность данной тематики ясна: мы восполняем недостаток в работах не только по истории культуры этих народов, но и в целом по их истории, поскольку малочисленные народы Севера были бесписьменными» [Соколова 2016: 24].

Развитие гласности в период перестройки (1985–1991) позволило ученым в полный голос сказать о бедственном положении народов Севера и тех негативных явлениях, о которых ранее писалось лишь в закрытых научных разработках для чиновников высших органов власти. Смогли высказать свое мнение по наболевшим проблемам и сами представители народов Севера, которые из «малых» превратились в «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока». Дополнительное определение «коренные» приблизило нашу страну к пониманию проблем аборигенных народов, существующее в международном законодательстве. Такое изменение в официальной терминологии символически завершило эпоху «государственного патернализма» [*Мартынова* 2012].

Во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. на передний план прикладных исследований североведов вышли «экологические вопросы, проблемы природопользования, проявляющиеся в негативной форме под влиянием экстенсивного и технологического, загрязняющего природную среду промышленного освоения Крайнего Севера, угасание традиционных отраслей хозяйства народов Севера, снижение материального уровня их жизни, утрата черт национальной культуры и родных языков в условиях растворения малочисленного коренного населения среди приезжего, некоренного и др.» [*Соколова* 2007: 169].

В 1989 г. сотрудниками сектора этнографии народов Крайнего Севера и Сибири под руководством З. П. Соколовой была подготовлена и опубликована концепция этнокультурного развития народов Севера [Этнокультурное развитие 1989]. В начале 1990-х гг. реализованы крупные проекты: «Адаптивная функция национальной культуры у народов Севера», «Народы Севера и Сибири в условиях экономических реформ и демократических преобразований». Их научным результатом стали два сборника статей, в которых был зафиксирован первый этап постсоветских социокультурных трансформаций в регионах Севера и Сибири [Народы Севера и Сибири 1994].

Именно тогда было предложено пересмотреть вопрос о путях и перспективах развития северных аборигенов, в частности, отказаться от «голого патернализма» и предоставить им возможность выбора для своего развития.

Знаковым событием на рубеже эпох стала коллективная монография «Народы Советского Севера», которая вышла под редакцией И. С. Гурвича и З. П. Соколовой в 1991 г. в издательстве «Наука», затем, в 1992 г. — в дополненном варианте под названием «Народы Севера России» как материалы к серии «Народы и культуры». В книгах освещались актуальные проблемы в области экономики, охраны природы, социального и культурного развития в период с середины 1960-х до 1980-х гг. В частности, была дана негативная оценка волюнтаристским решениям по переселению представителей народов Севера и Сибири из мелких селений в укрупненные, по ликвидации мелких традиционных деревень; отмечена необходимость проведения экспертиз и компенсации убытков; высказаны идеи о создании на Севере биосферных и природных заповедников, заказников, парков, на территории которых деятельность человека была бы ограничена и развивались только традиционные отрасли хозяйства и пр. Одним из основных выводов стал следующий:

«Наблюдаемая ныне в той или иной (иногда катастрофической) степени социальная дезадаптация народов Севера является конечным результатом многих разнородных процессов. Один из них, может быть, основной — разрушение традиционной модели образа жизни, при котором производство (хозяйственная деятельность) людей непосредственно и органично связаны с их бытом, и исторически сложившихся социальных отношений, обеспечивающих интересы отдельного человека в небольшом семейно-родственном коллективе. Эти связи и отношения постепенно уступили место новым, сочетавшим в себе как элемент принуждения, так и патернализм (опека). Корни явления, видимо, обусловлены и другими общими процессами. Гипертрофированный административно-бюрократический централизм вызвал к жизни и воспроизводит сверху донизу определенные стереотипы и стандарты деятельности, не воспринимаемые коренными северянами, органически чуждые их этнопсихологическому складу» [Народы Сибири 1993: 238–239].

Многие негативные стороны социально-экономического и культурного развития народов Севера, которые обозначились в 1970–1980-е гг. и были зафиксированы исследователями в публикациях тех лет, к сожалению, характерны и для наших дней. Всё это делает необходимым дальнейшую разработку вопросов, связанных с положением коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проблемами их адаптации к новым социально-экономическим и политическим условиям.

* * *

Решение проблем «малых народов» Севера было частью этнонациональной политики советского государства, с 1920-х гг. они стали объектом особой социальной защиты. При этом в ходе истории советская политика в отношении этнических групп, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, занимавшихся охотой, рыболовством, оленеводством, претерпела достаточно серьезные изменения. Вначале (до 30-х гг. XX в.) она строилась на принципе «уникальности» коренных народов, необходимости учитывать и сохранять их традиции[66], а затем — на принципе «универсализации» (советизации), то есть необходимости избавления от так называемой отсталости и интеграции их в доминирующее общество[67].

Мероприятиями советской власти были охвачены все стороны жизни коренных народов в политической, социально-демографической, экономической и культурной сферах, что дает исследователям основания рассматривать произошедшие изменения как модернизационный процесс, в результате которого совершался переход от традиционного общества к современному. Политика советизации предполагала, что коренные народы будут и далее развивать эстетическую составляющую своих культурных традиций («со знаком плюс»), одновременно интегрируясь в окружающее доминирующее общество во всех других отношениях. Так, оленеводство и вся иная традиционная хозяйственная деятельность были трансформированы в государственные предприятия, дети коренных народов в обязательном порядке помещались в школы-интернаты, где их обучали получившие в гг. Москве и Ленинграде образование преподаватели, а кочевые общины были принуждены к оседлому образу жизни, что привело к увеличению масштабов урбанизации. Все эти мероприятия, хотя и задуманные с благой целью, зачастую приносили больше беды, чем пользы тем, на кого они были направлены. Насильственная модернизация, предпринятая в отношении коренных народов Севера, привела к ограничению возможности вести традиционное хозяйство, разрушению образа жизни, системы социальных связей, многих культурных ценностей [*Алексеева* 2002: 20, 29].

Вместе с тем советская власть дала возможность части представителей аборигенных народов воспользоваться предлагаемыми благами. Была сформирована система образовательных учреждений, создававших новые возможности для социальной мобильности. Многие достижения, включая доступ

---

[66] Этим народам предоставлялось право на самоуправление с учетом обычаев и традиций (родовые Советы и их съезды, туземные управы, исполкомы и т. п.), создавались условия для развития традиционного хозяйственного и культурного уклада.

[67] См. также: [*Юдин* 2013: 172–178].

к медицинскому обслуживанию, социальным программам, гарантируемым государством, и т. д., стали для представителей аборигенного населения более доступными. Сформировался слой интеллигенции из числа народов Севера, не только в партийно-советской среде, но и в творческих профессиях, что привело к развитию и продвижению родных языков, развитию национальных литератур и искусств. В условиях жесткого контроля сохранялись этнообразующие элементы традиционной культуры, в том числе и ее основные религиозные элементы[68].

Сказанное выше приводит к выводу о том, что наиболее оптимальным вариантом при рассмотрении советских преобразований у народов Севера России («большого пути») представляется попытка найти компромисс между установками теории модернизации и теории культурного релятивизма, что позволяет соединить позитивную оценку основных действий советской власти по преобразованию жизни северных народов с требованиями сохранения их самобытных культур[69].

«Традиция защитности» северных аборигенов, сложившаяся не без участия этнографов, повлияла на формирование политики государственного патернализма, которая обрела особо покровительственные формы в советский период как часть национальной политики, или политики «преодоления исторической отсталости окраин» и развития «в прошлом угнетенных народов и наций». Как заключает акад. В. А. Тишков: «Советский патернализм, проявившийся во многих формах хозяйственной, социальной и культурной политики в отношении малых народов Севера, принес ощутимые позитивные результаты, но не решил фундаментальных проблем самого контакта разных цивилизаций и обеспечения культурно устойчивого модернизационного развития аборигенных этнических групп. Успехи в области культуры, образования, здравоохранения не могли компенсировать более основательные пороки советской системы в сфере хозяйствования и политического управления, а общий низкий уровень социальных условий жизни в СССР определял и низкий уровень жизни малочисленных народов Севера» [Экспертный доклад 2004: 7].

Что касается советского североведения, оно развивалось «в фарватере» этнографической науки, которая, в свою очередь, тоже существовала в русле «больших проектов» государственной этнополитики и марксистской идеологии. Научные изыскания этнографов, осуществлявшиеся в начальный период социалистических преобразований, находились в тесной связи с практикой социалистического строительства. Они были

---

[68] О том, что советская государственно-правовая политика в отношении северных народов была неоднородной, но в целом находилась в контексте проводимых преобразований и провозглашаемых новых ценностей, см. также: [*Кряжков* 2004: 124–132; 125].

[69] См. также: [*Корчагин* 2005].

направлены на решение конкретных назревших жизненных вопросов, а результаты исследований оказали большое влияние на осуществление социальных мероприятий в северных регионах. Сведения о численности, о состоянии экономики, о культуре и быте народов Севера и Сибири широко использовались при проведении национального районирования, школьном и языковом строительстве, организации культурно-просветительной работы, медицинского обслуживания, налаживании торговли, переустройстве быта и т. д. Благодаря деятельности ученых-североведов при проведении социально-экономических преобразований на Севере России в определенной мере удалось учесть культурные особенности и интересы коренных народов.

Огромный информационный материал, собиравшийся непосредственно для решения актуальных вопросов социалистического переустройства хозяйства, культуры и быта народов Севера в 1920–1930-х г., явился базой и для определенных теоретических обобщений о характере некапиталистического развития «отсталых» народов, хотя научные работы советских этнографов, конечно же, были отражением своего времени (это же относится и к более позднему советскому периоду). «Высоко профессиональные разработки этнической истории и культуры северных народов, подвижнический экспедиционный труд, участие в разработке систем образования и в подготовке кадров для аборигенов и из числа аборигенов, не могли дополниться столь же обстоятельным изучением социальных, медицинских и общественно-политических проблем» [Экспертный доклад 2004:7].

С позиций сегодняшнего дня среди минусов научных публикаций советского периода отмечают «лакировку действительности», «парадность изложения», «победные реляции», т. е. демонстрацию достижений советского строительства и подчеркивание успехов. Общим недостатком советской историографии преобразований называется *презентизм*, т. е. изложение событий с идеологических и политических позиций текущей повестки дня, как реализация решений и постановлений партийных органов [*Соколовский* 200: 37]. Ю. Л. Слезкин, например, заметил, что главным смыслом истории коренных народов Севера в советской историографии было то замечательное достижение, что в своем развитии они миновали большинство выделенных К. Марксом стадий общественного развития [*Слезкин* 2008: 361]. Замалчивание проблем, уход от постановки спорных вопросов (часто не по вине исследователей), преподнесение в упрощенном виде сложнейших процессов сформировали не у одного поколения советских людей образную картину свершившегося перехода у коренных народов «от патриархальщины к социализму» за каких-то 20 лет!

Сказанное выше относится и к теории «развитого социализма», которая была призвана идеологически обосновать выдачу желаемого за действительное. Московский профессор В. В. Карлов пишет по этому поводу: «Отблеск такого

социального заказа лег и на ее часть, касавшуюся судеб и перспектив исторических общностей. Конкретно это выразилось в преобладании простой подгонки фактов и обобщений исследований исторической действительности у народов страны под то, что теоретически должно было бы быть, над исследованиями реального развития интеграционных связей у социальных и национальных компонентов народонаселения СССР» [*Карлов* 2010: 457–458].

В публикациях североведов, написанных по итогам полевых исследований в тот период главный акцент делался на «сближении», «преодолении различий», «выравнивании», «однородности». Выполненные в русле господствующей в стране марксистско-ленинской идеологии и политики труды советских ученых (за редким исключением) не ставили вопросы о качественной стороне преобразований, их целесообразности и полезности для субъектов северных традиционных сообществ. Официальный марксизм, исповедуемый почти как религиозная догма, приводил «к девальвации всего субъективного, индивидуального, частного и подчеркиванию (вопреки реальности!) „объективного", „независимого наблюдения", „всеобщего"» [*Соколовский* 2008: 35–36].

Рефлексию на сей счет находим у известного сибиреведа С. И. Вайнштейна:

> «В последние годы в средствах массовой информации не раз звучали упреки в адрес этнографов, которые наряду с другими обществоведами обвиняли в сознательной лакировке действительности, в сокрытии подлинных фактов тяжелого положения народов нашей страны <...> Нельзя не признать, что в публикациях тех лет мы действительно не увидим реальной картины жизни северных народов со всеми их социально-бытовыми проблемами. Большинство сибиреведов, надо, увы, признать, писали в своих публикациях только о достижениях, нередко лишь мнимых. Но далеко не всегда эта была вина самих ученых, выполнявших суровый социальный заказ, нередко вопреки своей научной и гражданской совести» [*Вайнштейн* 20024: 294].

Действительно, в советском обществе, где власть была спаяна с идеологией, табуировано было или могло быть всё, что в партийную идеологию не вписывалось. Люди просто боялись репрессий (еще живы были воспоминания о гонениях на религию, публичное клеймение «старого быта» и т. п. [*Щепанская* 2008: 123].

Но было и другое интеллектуальное пространство, где регистр изложения этнографического материала менялся. Известно, например, что советские сибиреведы активно пробовали различные стили и формы письма, предлагая очерки, этюды, новеллы и даже историко-этнографические романы (Гурвич 1975; Итс 1976; Туголуков 1969; Симченко 1975, 1993 и др.) [*Шнирельман* 1992: 13]. Элементы академической оценки и даже попытки корректировать политику советского государства по отношению к народам Севера содержали

«докладные записки» североведов[70]. Этот жанр научных публикаций представляет собой уникальный опыт практической деятельности советских этнографов, в котором нашли выражение гражданственность позиций исследователей по отношению к изучаемым народам и продолжение гуманитарных традиций основателей советской этнографии В. Г. Богораз-Тана, Л. Я. Штернберга, В. И. Иохельсона. Более того, являясь публичными фигурами, эксперты своими работами не просто развивали научное понимание мира, но и закладывали непосредственные категории описания действительности[71].

Преимущество этнографов в этих вопросах заключалось/ется в обладании особыми приемами неформальной коммуникации, которое является частью профессионализма [*Щепанская* 2008: 21]. Социальный диагноз, основанный на личном общении с представителями малочисленных народов «в поле», позволял исследователям предлагать рецепты по сбережению этнических (традиционных) культур и, следовательно, сохранению самих народов. В этой связи представляется вполне убедительным мнение российского этносоциолога М. Н. Губогло о том, что в общем русле гуманитарного знания «именно этнографам принадлежала приоритетная роль по созданию выпуклого и правдивого образа советской действительности без заказанного властями приукрашивания во всех аспектах повседневной жизни: в материальной и духовной культуре, в динамике численности населения, в психологическом восприятии времени, причинности и пространства» [*Губогло* 2018].

[70] Существует мнение, что меры по результатам докладных записок, на которые отваживались этнографы, носили половинчатый, верхушечный характер: «Их воздействие было ограниченным по причине нехватки ресурсов или же неуемных затрат на военные программы, на грандиозные мегапроекты типа строительства атомных электростанций на вечной мерзлоте» [Экспертный доклад 2004: 7].

[71] Ряд современных работ показывает, каким образом ученые посредством исследований, выступлений и других практик научной жизни в той или иной мере моделируют и нарративно конструируют объект своего исследования, задавая определенный язык его описания [Подробнее см., например: *Калеменева* 2018].

Источники и литература

Абрамзон С. М. Пленум Института этнографии (декабрь 1937) // Советская этнография. Сб. ст. I. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 230–232.

Александров В. А. Работа Института этнографии АН СССР в 1958 году // Советская этнография. 1959. № 2. С. 128–132.

Алексеева Л. В. Северо-Западная Сибирь в 1917–1941 годах: Национально-государственное строительство и население. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского пед. ин-та, 2002. 264 с.

Алымов С. С., Арзютов Д. В. Марксистская этнография за 7 дней: совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920–1930-е гг. // От классиков к марксизму: Стенограмма совещания этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) / под ред. Д. В. Арзютова, С. С. Алымова, Д. Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 21–90.

Алькор (Кошкин) Я. Задачи культурного строительства на Крайнем Севере // Советский Север. 1934. № 2. С. 22–35; № 3. С. 45–50.

Алькор (Кошкин) Я. П. Письменность народов Севера // Советский Север. 1931. № 10. С. 102–121.

Алькор-Кошкин Я. П. Вопросы создания и развития национальных литературных языков Севера // Материалы I всесоюзной конференции по развитию языков и письменности народов Севера. М.-Л.: Учпедгиз, 1932. С. 39–65.

Андерсон Д. Дж. Б. О. Долгих и Приполярная перепись 1926–1927 гг. Статистика на службе государственной этнографии // Этносы Сибири. Прошлое. Настоящее. Будущее. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Б. О. Долгих, 70-летию Красноярского края и Международному 10-летию коренных народов мира (Красноярск, 11–13 ноября 2004 г.) / отв. ред. Н. П. Макаров. В 2-х ч. Ч. 1. Красноярск: Красноярский краевой краеведческий музей, 2004. С. 19–29.

Анисимов А. Ф. О социально-экономических отношениях в охотохозяйстве эвенков // Советский Север. 1933. № 5. С. 38–49.

Анисимов А. Ф. Родовое общество эвенков (тунгусов). Л.: Изд-во ИНС ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, 1936. 200 с.

Антропова В. В. Проблема некапиталистического пути развития народов Севера в советской историко-этнографической литературе // Осуществление ленинской национальной политики у народов Севера. М., 1971. С. 50–65.

Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / отв. ред. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. 300 с.

Арутюнов С. А. От спокойной к ускользающей материальности: о проблемах этнографического изучения материальной культуры (интервью Н. В. Богатырь) // Этнографическое обозрение. 2011. № 5. С. 5–19.

Балицкий В. Г. От патриархально-общинного строя к социализму (О переходе к социализму малых народов северо-востока РСФСР). М.: Мысль, 1969. Москва: Мысль, 1969. 221 с.

Балицкий В. Г. Мероприятия партии по формированию национальной интеллигенции на Крайнем Северо-Востоке СССР // История и культура народов Севера и Дальнего Востока. М. 1967.

Басилов В. Н. Этнография: есть ли у нее будущее? // Советская этнография. 1992. № 4. С. 3–17.

Батьянова Е. П. Северная экспедиция Института этнографии (1956–1991 гг.) // Этнографическое обозрение. 2013. № 4. С. 17–34.

Батьянова Е. П. Северная экспедиция Института этнографии и ее роль в развитии советской школы полевого этнографического североведения // Поле как жизнь: к 60-летию Северной экспедиции ИЭА РАН / отв. ред. Е. А. Пивнева. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. С. 13–38.

Беленкин И. Ф. Развитие печати на языках народов Севера // Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера / отв. ред. И. С. Гурвич. М.: Наука, 1971. С. 117–140.

Бескорсый П. Некоторые итоги: Материалы о состоянии коллективизации на Крайнем Севере // Советский Север. 1934. № 2.

Билибин Н. Н. Батрацкий труд в кочевом хозяйстве коряков // Советский Север. 1933. № 1. С. 36–46.

Билибин Н. Н. Классовое расслоение кочевых коряков. Дальгиз, 1933. 58 с.

Билибин Н. Н. Обмен у коряков. Л.: Изд-во ИНС ЦИК СССР, 1934. 40 с.

Богораз В. Г. Классовое расслоение у чукоч-оленеводов // Советская этнография. 1931. № 1–2. С. 93–115.

Богораз В. Г. О первобытных племенах (наброски к проекту организации управления первобытными туземными племенами // Жизнь национальностей. 1922. Кн. 1.

Богораз-Тан В. Г. Об изучении и охране окраинных народов // Жизнь национальностей. 1923. Кн. 3–4. С. 168–177.

Богораз-Тан В. Г. Подготовительные меры к организации малых народностей // Северная Азия. 1925. Кн. 3. С. 40–50.

Богораз-Тан В. Г. Северный рабфак (Северное отделение рабфака Ленинградского института живых восточных языков // Северная Азия. 1927. № 2. С. 52–63.

Бойко В. И. Социальные проблемы труда у народностей Севера. Новосибирск: Наука, 1986. 213 с.

Броднев М. М. От родового строя к социализму (по материалам Ямало-Ненецкого национального округа) // Советская этнография. 1950. № 1. С. 92–106.

Бромлей Ю. В. Этнография в Академии наук в послевоенные годы // Советская этнография. 1974. № 2. С. 20–41.

Бромлей Ю. В., Токарев С. А. Этнография // Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М.: Наука, 1988. С. 21–40.

Бударин М. Е. Путь малых народов Крайнего Севера к коммунизму: КПСС — организатор социалистических преобразований в национальных районах севера Западной Сибири Омск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1968. 474 с.

Бударин М. Е. Прошлое и настоящее наров Северо-Западной Сибири. Омск: Омское областное государственное издт-во, 1952. 184 с.

Бычкова Р. А. Руководство партийных организаций Таймырского национального округа культурным строительством (1930–1959) // Из истории партийных организаций Восточной Сибири. Иркутск, 1963.

Вайнштейн С. И. Борис Осипович Долгих: дни и деяния подвижнической жизни // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 119–129.

Вайнштейн С. И. Судьба Бориса Осиповича Долгих — человека, гражданина, ученого // Репрессированные этнографы / под ред. Д. Д. Тумаркина. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. Т. 1. С. 284–307.

Вайнштейн С. И. Судьба Бориса Осиповича Долгих — человека, гражданина, ученого // Репрессированные этнографы. Вып. I. М.: Вост. лит., 2002. С. 284–307.

Вайнштейн С. И., *Крюков М. В.* Советская этнографическая школа // Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М.: Наука, 1988. С. 114–124.

Васильев В. И., Симченко Ю. Б. Борис Осипович Долгих // Советская этнография. 1964. № 6. С. 151–153.

Вахтин Н. Б. «Проект Богораза»: борьба за огонь // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 125–141.

Вахтин Н. Б. Коренное население Крайнего севера Российской Федерации. СПб.; Париж: Изд-во Европейского Дома, 1993. 96 с.

Вахтин Н. Б. Петербургское североведение // Полярные чтения-2019. Арктика: вопросы управления / отв. ред. П. А. Филин. М.: Изд-во «Паулсен», 2020. С. 440–446.

Веселкина В. В. Возникновение национальной государственности у малых народов Обского Севера (1917–1934): Автореф. дис... канд. ист. наук. Л., 1971.

Виленский-Сибиряков В. Д. Задачи изучения малых народностей Севера // Этнография. 1926. № 1–2. С. 55–60.

Виноградова С. Н. Формирование государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: ретроспективный анализ // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2010. Вып. 1 (2/2010 (2)). С. 127–139.

Воскобойников В. Г. Подготовка в Ленинграде педагогических кадров для школ народов Крайнего Севера // Просвещение на Советском Крайнем Севере. В помощь учителю школ Крайнего Севера. Вып. 8. Л.: Просвещение, 1958. С. 48–75.

Воскобойников М. Дыхание Севера (К 50-летию Ленинградского института народов Севера) // Сибирские огни. 1976. № 5.

Гаген-Торн Н. И. Ленинградская этнографическая школа в двадцатые годы (У истоков советской этнографии) // Советская этнография. 1971. № 2. С. 134–145.

Главацкая Е. М. Уральская экспедиция Приполярной переписи 1926–27 гг.: история организации // Уральский исторический вестник. № 13. [Ямальский выпуск]. 2006. С. 187–197.

Головнев А. В. Этничность: устойчивость и изменчивость (опыт Севера) // Этнографическое обозрение. 2012. № 2. С. 3–12.

Головнев А. В. Этнография в российской академической традиции // Этнография. 2018. № 1. С. 6–36.

Головнёв А. В. Этюд из угорской этноистории // Этнокультурное наследие народов Севера России: К юбилею доктора исторических наук, профессора З. П. Соколовой / отв. ред. Е. А. Пивнева. М.: Август Борг, 2010. С. 41–55.

Головнев А. В., Данилова Е. Н. Советская версия этноэкспертизы: докладные записки этнографов-североведов 1950–1990-х гг. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2021. № 1(52). С. 132–143.

Губогло М. Н. Советскость: мечта о процветании и/или агония саморазрушения?// Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ: Международная научно-практическая конференция, посвященная дню славянской письменности «Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ», 11 мая 2016 г., 19 мая 2017 г. / гл. ред. и сост.: Л. В. Бойкова. Комрат: КГУ, 2018. 282 с.

Гурвич И. С. 10 лет деятельности сектора Севера Института этнографии АН СССР // Проблемы Севера. М., 1967. Вып. 11. С. 258–261.

Гурвич И. С. Некоторые вопросы историографии национального развития народов Крайнего Севера в советский п ериод // Основные направления изучения национальных отношений в СССР. М., 1979. С. 277–302.

Гурвич И. С. Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера СССР // Советская этнография. 1970. № 1. С. 15–58.
Гурвич И. С. Принципы ленинской национальной политики и применение их на Крайнем Севере // Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера / отв. ред. И. С. Гурвич. М.: Наука, 1971.
Гурвич И. С. Северная экспедиция Института этнографии АН СССР (исследование вопросов материальной и духовной культуры) // Проблемы изучения историко-культурной среды Арктики. М., 1990. С. 198–204.
Гурвич И. С., Таксами Ч. М. Вклад советских этнографов в осуществление ленинской национальной политики на Севере // Ленинизм и проблемы этнографии / отв. ред. Ю. В. Бромлей, Р. Ф. Итс. Л.: Наука, 1987.
Дмитриев Л. Земельно-водное устройство районов Крайнего Севера // Советский Север. 1934. № 2.
Долгих Б. О. Вопросы развития хозяйства, культуры и перестройки быта малых народов Севера РСФСР // Тезисы докладов на сессии Ученого совета Института этнографии, посвященной итогам экспедиционных исследований 1957 г. М., 1958.
Долгих Б. О. Некоторые вопросы национальной политики на Севере СССР. 1959 г. // Полевые исследования Института этнологии и антропологии РАН / отв. ред. С. И. Вайнштейн. Нов. сер. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 142–153.
Еремеева О. И. Институт народов Севера в 1930-е годы: первые шаги // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 4–1(68). С. 91–97. С. 97
Зак Л. М., Исаев М. И. Проблемы письменности народов СССР в культурной революции // Вопросы истории. 1966. № 2. С. 2–16.
Зеленин Д. К. Народы крайнего Севера после Великой Октябрьской социалистической революции // Советская этнография. Сб. ст. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 15–52.
Зибарев В. А. Советское строительство у малых народностей Севера (1917–1938 гг.). Томск: Изд-во Томского ун-та, 1968. 334 с.
Зибарев В. А. Большая судьба малых народов. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1972. 117 с.
Зибарев В. А. Создание партийных организаций в национальных округах и районах малых народностей Севера // Социалистическое и коммунистическое строительство в Сибири. Томск, 1967. Вып. 5. С. 5–22.
Золотарев А. М. Пережитки родового строя у гиляков района Чомэ // Советский Север. 1932. № 2.
Золотаревская И. Работа Института этнографии АН СССР в 1954 году // Советская этнография. 1955. № 2. С. 126–129.

Институт этнологии и антропологии Российской академии наук — 80 лет / под ред. В. А. Тишкова. М.: Индрик, 2013. 108 с.
Калеменева Е. А. Смена моделей освоения советского севера в 1950-е гг. Случай комиссии по проблемам Севера // Сибирские исторические исследования. 2018. № 2. С. 181–200.
Кан С. «Мой друг в тупике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический контекст советской этнологии в конце 1920-х — начале 1930-х гг. // Антропологический форум. 2005. № 7. С. 191–230.
Кантор Е. Д. Проблема оседания малых народов Севера // Советский Север. 1934. № 5.
Карлов В. В. Народы северо-восточной Евразии в XIX и XX вв.: монография. М.: КДУ, 2010. 476 с.
Киселев А. Г., Онина С. В. История Ханты-Мансийского национального педагогического училища: опыт источниковедческого прочтения // Вестник угроведения. 2019. Т. 9. № 1. С. 167–183.
Киселев Л. Е. От патриархальщины к социализму. Свердловск: Средне-Уральское книжное из-во, 1974. 266 с.
Клещенок И. П. Исторический опыт по осуществлению ленинской национальной политики среди малых народов Севера (1917–1935). М.: Высшая школа, 1972. 239 с.
Клещенок И. П. Народы Севера и ленинская национальная политика в действии. М.: Высшая школа, 1968. 156 с.
Ковязин Н. М. Колхозное строительство в национальных округах Крайнего Севера СССР // Известия РГО. 1955. Т. 87. Вып. 1. С. 11–22.
Ковязин Н. М. Культурное строительство на Крайнем Севере СССР // Вестник ЛГУ. 1952. № 11. С. 145–156.
Коломиец О. П. Первичные материалы Приполярной переписи как этнографический источник по изучению традиционной культуры коренных народов Северо-Востока России // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 4 (23). С. 117–126.
Корчагин Ю. В. Комплексный теоретический подход к развитию народов Севера России // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2005. № 1. С. 41–46.
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: б. и., 1970. Т. 2. 543 с.
Крупник И. И. В. Г. Богораз, его наследие и ученики // Тропою Богораза: Научные и литературные материалы. М.: Ин-т наследия — ГЕОС, 2008. С. 17–22.
Кряжков В. А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М.: Из-во Норма, 2010. 560 с.
Кряжков В. А. Правовые основы развития народов Севера и Сибири // Современное положение и перспективы развития малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Независимый экспертный доклад / под ред. В. А. Тишкова. М., 2004. С. 124–132.
Кузаков К. Г. Социализм и судьбы малых народностей Северо-Востока СССР. Магадан, 1981. 113 с.
Лаврентьева И. А. Советское и партийное строительство в районах Крайнего Севера в 1926–1936 гг. // Вестник ЛГУ. Сер. ист. яз. и лит. 1961. № 20. Вып. 4.
Ленинская национальная политика КПСС и малые народности Севера. Томск, 1972. Вып. 1.
Лукс К. Я. Институт народов Севера, его место и задачи // Советский Север. 1930. № 1. С. 130–136.
Лукс К. Я. Проблема письменности у туземных народов Севера // Советский Север. 1930. № 1. С. 38–47.
Луначарский А. В. Задачи Наркомпроса на Крайнем Севере // Северная Азия. 1927. Кн. 3. С. 18–22.
Лярская Е. В. «Ткань Пенелопы»: «проект Богораза» во второй половине 1920-х — 1930-х гг. // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 142–186.
Мазуренко Г. А. Торжество национальной политики Коммунистической партии на Обском Севере. Тюмень, 1961. 90 с.
Мартынова Е. П. Народы Северо-Западной Сибири: дефиниции и научно-политический дискурс // Этнографическое обозрение. 2012. № 2. С. 13–18.
Маслов П. Кочевые объединения единоличных хозяйств в тундре Северного края // Советский Север. 1934. № 5.
Маторин Н. М. Пятнадцать лет советской этнографии // Советская этнография. 1931. № 5–6. С. 3–14.
Маторин Н. М. Современный этап и задачи советской этнографии // Советская этнография. 1931. № 1. С. 3–38.
Михайлова Е. А. Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX в. / отв. ред. В. А. Тишков, Д. Д. Тумаркин. М.: Наука, 2004. С. 95–136.
Народы Севера и Сибири в условиях экономических реформ и демократических преобразований / отв. ред. З. П. Соколова. М.: ИЭА РАН, 1994. 440 с.
Народы Севера России. Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. XVIII. М., 1992. Ч. I–III. 719 с.
Народы Советского Севера (1960–1980-е годы) / отв. ред. И. С. Гурвич, З. П. Соколова. М.: Наука, 1991. 264 с.
Никульшин Н. П. Первобытные производственные объединения и социалистическое строительство у эвенков. Л., 1939. 144 с.

Новая жизнь народов Севера. М.: Наука, 1967. 120 с.
Окладников А. П. Динамика культурных традиций у народов Сибири // Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири. Улан-Удэ, 1968. С. 19–27.
Омельчук А. Институт народов Севера // Дальний Восток. 1981. № 2.
Онищук Н. Т. Советское строительство у малых народов Севера. 1917–1941 гг. (По материалам Нарымского края). Томск, 1973. 159 с.
Онищук Н. Т. Советы Нарымского края в борьбе за культурную революцию и организацию охраны здоровья малых народностей Севера (1930–1940) // Доклады итоговой научной конференции юридического факультета Томского университета. Томск. 1968.
Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера / отв. ред. И. С. Гурвич. М.: Наука, 1971. 214 с.
Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. 271 с.
Переход к социализму народностей Севера: Историографический очерк / ред. В. А. Зибарев. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1974. 84 с.
Пивнева Е. А. Советское этнографическое североведение второй половины XX в. в зеркале научного наследия З. П. Соколовой (московская школа) // Вестник угроведения. 2021. № 4. С. 780–788.
Преобразования в хозяйстве и культуре и этнические процессы у народов Севера / отв. ред. И. С. Гурвич, Б. О. Долгих. М.: Наука, 1970. 280 с.
Приполярная перепись 1926/1927 гг. на Европейском Севере (Архангельская губерния и автономная область Коми / отв. ред. К. Б. Клоков и Дж. П. Зайкер. СПб., 2010. 510 с.
Проблемы современного социального развития народностей Севера. Новосибирск, 1987. 254 с.
Программа координации исследований «Социальное и экономическое развитие народностей Севера в условиях научно-технического прогресса» («Народности Севера»). Новосибирск, 1987. 297 с.
Псянчин А. В. Комиссия по изучению племенного состава населения: от этнокартографии к переписи населения. Уфа: Гилем, 2010. 43 с.
Ретунский В. Ф. К вопросу о создании национальной государственности у народностей Обского Севера // Уч. зап. Горьковского пед. ин-та. Вып. 61. Горький, 1966. Сер. ист. Сб. 9. С. 63–85.
Савоскул С. С. Б. О. Долгих — этнограф Красноярского краеведческого музея (1937–1944) // Этносы Сибири. Прошлое. Настоящее. Будущее. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Б. О. Долгих, 70-летию Красноярского края и Международному 10-летию коренных народов мира (Красноярск, 11–13 ноября 2004 г.) / отв. ред. Н. П. Макаров. В 2-х ч. Ч. 1. Красноярск: Красноярский краевой краеведческий музей, 2004. С. 10–19.

Савоскул С. С. Борис Долгих — регистратор Приполярной переписи // Туруханская экспедиция Приполярной переписи: Этнография и демография малочисленных народов Севера: Сборник научных трудов / отв. ред. Д. Дж. Андерсон. Красноярск: Поликор, 2005. С. 64–78.

Савоскул С. С. Впервые на Севере: Б. О. Долгих — регистратор приполярной переписи // Этнографическое обозрение 2004. № 4. С. 126–147.

Североведение в Герценовском университете. Институт народов Севера. СПб.: Астерион, 2003. 195 с.

Сем Т. Ю. Роль этнологического образования в сохранении культур малочисленных народов Севера в исторической перспективе развития североведения // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2017. № 4(40). С. 88–135.

Сергеев М. А. Корякский национальный округ. Л.: Изд-во ИНС ЦИК СССР, 1934. 143 с.

Сергеев М. А. Малые народы в эпоху социализма // Советская этнография. 1947.

Сергеев М. А. Народы Обского Севера в эпоху социализма. Новосибирск, 1953. 150 с.

Сергеев М. А. Некапиталистический путь развития народов Севера. М.-Л.: АН СССР, 1955. 569 с.

Сергеев М. А. Реконструкция быта народов Севера // Революция и национальности. 1934. № 3.

Сергеев М. А. Советские острова Тихого океана. Л., 1938. 282 с.

Синько В. Е. Проблемы культурного строительства на Северо-Востоке СССР в 20–30-е годы (по материалам периодической печати) // Культура народов Дальнего Востока: Традиции и современность. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. С. 13–21.

Сирина А. А., Давыдов В. Н. Этнограф Борис Александрович Васильев и его очерк «Пять дней среди орочей»: стратегии письма в советской этнографии // Этнографическое обозрение. 2020. № 5. С. 5–22.

Скачко А. Десять лет работы Комитета Севера // Советский Север. 1934. № 2. С. 9–21.

Скачко А. Е. Имущественные показатели социальных групп у малых народов Севера // Советский Север. 1930. № 3. С. 5–28.

Скачко А. Е. Национальная политика и малые народы Севера // Революция и национальности. 1931. № 6. С. 29–36.

Скачко А. Е. Национальный вопрос и реконструкция хозяйства народов Севера // Советский Север. 1932. № 3. С. 28–40.

Скачко А. Е. О социальной структуре малых народностей Севера // Советский Север. 1933. № 2. С. 39–51; № 3. С. 35–43.

Скачко А. Е. Очередные задачи советской работы среди малых народов Севера // Советский Север. 1931. № 2. С. 5–29.

Скачко А. Е. Постановления ЦК партии и СНК и их применение к Северу // Советский Север. 1932. № 3. С. 3–13.
Скачко А. Е. Теория и практика в работе среди народов Севера // Советский Север. 1934. № 6. С. 5–15.
Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: НЛО, 2008. 512 с.
Смидович П. Г. Наши задачи на Северных окраинах // Советский Север. 1932. № 3. С. 14–27.
Смидович П. Г. Советизация Севера // Советский Север. 1930. № 1. С. 5–14.
Смирнова Т. М. Институт народов Севера в Ленинграде // История Петербурга. 2013. № 1(68). С. 43–50.
Современное хозяйство, культура и быт малых народов Севера / отв. ред. Б. О. Долгих // Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Том LVI. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 216 с.
Современные этнические процессы у народов Западной и Южной Сибири / отв. ред. О. П. Осипов, Н. А. Томилов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. 145 с.
Соколова З. П. Постановления Партии и Правительства о развитии хозяйства и культуры народов Крайнего Севера (юридические акты 1935–1968 гг.) // Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера. М., 1971. С. 66–116.
Соколова З. П. Постановления Партии и Правительства о развитии хозяйства и культуры народов Крайнего Севера (юридические акты 1935–1968 гг.) // Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера / отв. ред. И. С. Гурвич. М.: Наука, 1971. С. 66–116.
Соколова З. П. Актуальные проблемы сибиреведения // Советская этнография. 1989. № 6. С. 36–46.
Соколова З. П. Культура обских угров в свете историко-сравнительного метода исследования. Тюмень: ООО «Формат», 2018. 80 с.
Соколова З. П. Народы Севера в условиях экономической реформы и демократических преобразований // Народы Севера в условиях экономической реформы и демократических преобразований. М., 1994. С. 16–49.
Соколова З. П. Народы Севера СССР: прошлое, настоящее, будущее // Советская этнография. 1990. № 6. С. 17–32.
Соколова З. П. Этнограф в поле: Западная Сибирь. 1950–1980-е годы: Полевые материалы, научные отчеты и докладные записки. М.: Наука, 2016. 947 с.
Соколовский С. В. Российская антропология и проблемы ее историографии // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / отв. ред. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 26–52.

Соловей Т. Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте (XIX — начало XXI вв.). М.: Прометей, 2004. 498 с.

Соловей Т. Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX в. М.: ИЭА РАН, 1998. 258 с.

Статус малочисленных народов России: Правовые акты и документы / сост. В. А. Кряжков. М., 1994. 486 с.

Струве В. В. Советская этнография и ее перспективы. Сборник статей. «Советская этнография», II. М.-Л., 1939.

Судьбы народов Обь-Иртышского Севера [Из истории национально-государственного строительства. 1822–1941. Сб. документов. Тюмень, 1994. 320 с.

Сулейманов А. А. Материалы деятельности Комиссии по проблемам Севера как источник по социально-экономическому положению аборигенных этносов Советской Арктики в 50-е гг. XX в. // Вестник угроведения. 2017. № 3(30). С. 160–167.

Суслов И. М. 15 северных культбаз // Советский Север. 1934. № 1.

Таксами Ч. М. Переустройство культуры и быта народов Нижнего Амура и Сахалина. М., 1964.

Таксами Ч. М. От таежных троп до Невы. Л.: Лениздат, 1976. С. 159 с.

Терлецкий П. Е. К вопросу о пармах Ненецкого округа // Советский Север. 1934. № 5.

Токарев С. А. Из истории этнографических исследований в Академии наук // Советская этнография. 1974. № 3. С. 11–19.

Толстов С. П. Основные теоретические проблемы современной советской этнографии // Советская этнография 1960. № 6. С. 10–23.

Толстов С. П. Советская школа в этнографии // Советская этнография. 1947. № 4. С. 8–28.

Толстов С. П. Сорок лет советской этнографии // Советская этнография. 1957. № 5. С. 31–55.

Толстов С. П. Этнография и современность // Советская этнография. 1946. № 1. С. 3–11.

Толстов С. П., Жданко Т. А. Пути развития и проблемы советской этнографии // Вопросы истории. 1964. № 7. С. 3–20.

Туголуков В. А. (рец.). Увачан В. Н. «Переход к социализму малых народов Севера (По материалам Эвенкийского и Таймырского национальных округов) / под ред. М. А. Сергеева. М., 1958. 183 с. // Советская этнография. 1959. № 4. С. 143–144.

Туголуков В. А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири. М.: Наука, 1985. 286 с.

Туруханская экспедиция Приполярной переписи: Этнография и демография малочисленных народов Севера: Сборник научных трудов / отв. ред. Д. Дж. Андерсон. Красноярск: Поликор, 2005. 447 с.

Увачан В. Н. Годы, равные векам (строительство социализма на Советском Севере). М.: Мысль, 1984. 357 с.

Увачан В. Н. Путь народов Севера к социализму. Опыт социалистического строительства на Енисейском Севера (Исторический очерк). М.: Мысль, 1971. 391 с.

Увачан В. Н. Из истории партийных организаций Енисейского Севера // Труды Сиб. технол. ин-та. Сб. XXVIII. Красноярск, 1958. С. 125–137.

Увачан В. Н. Народы Севера в условиях развитого социализма. Красноярск, 1977. С. 10–17; 71–90.

Увачан В. Н. Переход к социализму малых народов Севера / под ред. М. А. Сергеева. М.: Госполитиздат, 1958. 184 с.

Увачан В. Н. Советская Эвенкия // Ученые записки ЛГУ. 1950. № 115.

Уральская экспедиция на Обдорском Севере. Приполярная перепись, 1926–1927 гг. / сост. Е. М. Главацкая, Ю. В. Клюкина-Боровик. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2013. 268 с.

Четырова Л. Б. Аористодицея или как оправдать социального теоретика эпохи позднего социализма // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / отв. ред. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 26–52. С. 82–99.

Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих / отв. ред. В. А. Михайлов. М.: «Скрипторий», «Русский мир», 1999. 584 с.

Шнирельман В. А. Наука в условиях тоталитаризма // Этнографическое обозрение. 1992. № 5. С. 7–18.

Щепанская Т. Б. Символические репрезентации знания в неформальном дискурсе «поля» // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / отв. ред. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 100–140.

Этнографические работы Комитета Севера // Северная Азия. 1926. № 2. С. 96–100.

Этнокультурное развитие народностей Севера в условиях научно–технического прогресса на перспективу до 2005 г. (концепция развития). М.: Ин-т этнографии, 1989. 81 с.

Этнокультурные процессы у народов Сибири и Севера / отв. ред. И. С. Гурвич. М.: Наука, 1985. 206 с.

Этнологическая экспертиза. Народы Севера России: 1956–1958 годы / отв. ред. З. П. Соколова и Е. А. Пивнева. М.: ИЭА РАН, 2004. 368 с.

Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1959–1962 годы / отв. ред. З. П. Соколова и Е. А. Пивнева. М.: ИЭА РАН, 2005. 410 с.

Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1963–1980 годы / отв. ред. З. П. Соколова и Е. А. Пивнева. М.: ИЭА РАН, 2006. 379 с.
Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1981–1984 годы / отв. ред. З. П. Соколова и Е. А. Пивнева. М.: ИЭА РАН, 2006. 314 с.
Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1985–1994 годы / отв. ред. З. П. Соколова и Е. А. Пивнева. М.: ИЭА РАН, 2007. 316 с.
Юдин В. И. Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов Севера: историко-политологический анализ // Власть и управление на востоке России. 2013. № 4 (65). С. 172–178.
Юдин В. И. Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов Севера: историко-политологический анализ // Власть и управление на востоке России. 2013. № 4 (65). С. 172–178.

Глава 6.
НАУЧНЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XX В. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ЭПОХИ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Важное место в гуманитарных исследованиях рубежа XX–XXI в. занимает проблема оценки места науки и научного знания в современном мире. Тенденции развития российской этнографии, ее социальная обусловленность и функции становятся очевидны при изучении процессов становления и развития региональных научных центров. Интерес к ним был обозначен еще 1990-е гг., когда российская этнография переживала процесс реструктуризации, пересмотра концепций и ценностей. Тогда появились работы, ориентированные на оценку места сибирской этнографии в общей картине развития гуманитарной науки.

В работе 1997 г. «Вклад наших предшественников — этнографов — сибиреведов в изучение культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Ч. М. Таксами (в то время заведующий отделом Сибири МАЭ РАН) обратил внимание на процесс децентрализации этнографии/этнологии России, где, начиная с 1960-х гг., создавались новые научные центры: в Новосибирске, Омске, Томске, Владивостоке, Магадане, Южно-Сахалинске, Тобольске, Салехарде, Анадыре, Ханты-Мансийске, и др. городах [*Таксами* 1997].

Региональная этнография стала предметом исследований одного из лидеров Омского научного центра проф. Н. А. Томилова. Под его руководством в 2000-е гг. был реализован проект «Этнографическое сибиреведение середины XIX–XX вв.: проблемы периодизации и истории знаний об этносах Сибири, научные направления, коллективы, ученые». В серии публикаций, с опорой на существующую историографию, была предпринята попытка оценить историю науки на основе разработки ее периодизации. Ориентируясь на хронологию развития советской этнографии С. А. Токарева (1917 — до конца 1920-х гг.; 1930-е гг.; с 1941 г. до XX съезда КПСС; с 1956 г.), в этнографическом сибиреведении Н. А. Томилов выделил несколько основных периодов: «1) донаучный, охватывает XVII — середину XIX в. — это период накопления этнографических материалов о народах Сибири и Дальнего Востока и их интерпретация в рамках истории, географии, фольклористики и некоторых других наук; 2) период становления этнографического сибиреведения, он приходится на время с середины XIX в. до 1920-х гг. — это период не только становления, но и развития этнографии благодаря появлению и возрастанию числа собственно сибирских этнографов и сибирских научных центров; 3) период «социализации», если можно так выразиться,

этнографического сибиреведения падает на 1920-е — 1950-е гг. — это период возрастания объема научно-практического изучения народов для решения национальных проблем в советском обществе, позволившего функционировать этнографии не только как исторической науке, но и как обществоведческой научной дисциплине; 4) период современного этнографического сибиреведения, он приходится на вторую половину XX — начало XXI в., начиная с 1960-х годов — это становление и развитие новых научных направлений, в том числе и на стыке наук, в этнографии народов Сибири и Дальнего Востока, становление новых этнографических научных центров в азиатской России». Детализацию этих этапов Н. А. Томилов осуществил на примере омского и новосибирского центров этнографии [*Томилов* 2007: 110, 111–118].

Не ставя под сомнение возможность интерпретации истории российской (сибирской) этнографии с акцентом на количественные и качественные характеристики исследований, выполненных в разные годы (в том числе в советский период), нельзя не признать, что за пределами внимания ученого остались история концепций, поиски методологии, факторы и механизмам смены доминирующих парадигм и общий событийный социально-политический и социокультурный контекст развития науки [*Соколовский* 2008: 37].

Попытка воссоздать широкий контекст становления и развития этнографии/этнологии Сибири определила содержание данной работы. В фокусе авторского исследования находится институализация этнографии в Западной Сибири на протяжении XX в. в контексте взаимодействия науки, общества и государства. Основное внимание уделяется советской эпохе, когда этнографические научные центры в регионах переходят к системным изысканиям, связанным с историей и культурой народов Сибири.

Предыстория

Известно, что появление научных центров в Томске, Новосибирске, Омске и др. городах с середины XX в. определял запрос государства и общества на эффективную аналитику, связанную с интенсивным освоением природных и человеческих ресурсов Сибирского региона. Их становление опиралось на традиции отечественного народоведения, которое формировалось с начала XVIII в. Тогда, провозглашенная империей, Россия находилась в состоянии приращения территорий. Задачи их «кадастровой оценки» решала Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге. Она была основана и открыта в 1724–1725 гг. (в 1803 г. стала Императорской академией наук, в 1917 г. — Российской академией наук, в 1925 г. — Академией наук СССР/АН СССР). Организованная Академией Великая Северная экспедиция 1733–1743 гг., а затем академические экспедиции 1768–1774 гг. позволили обозначить границы страны и состав ее народонаселения, сформировали кар-

тину (образ) империи, многообразие народов и культур которой стало символом ее могущества [*Головнев* 2018].

Когда в 1822 г. были приняты охранительные по своему характеру Устав «Об управлении инородцев» и Устав «О сибирских киргизах» (действовавшие до Февральской революции 1917 г.) сложилась система управления полиэтничным имперским сообществом; определился административный и правовой статус народов Сибири.

Вслед за этим к середине XIX в. на государственном уровне была поставлена задача оценки человеческих и природных ресурсов провинций Российской империи, в том числе Сибири. На ее решение была ориентирована деятельность созданного в 1845 г. при поддержке императорского дома, внутри и внешнеполитического ведомств и Русского географического общества (с 1849 г. Императорского русского географического общества/ИРГО). Один из его участников — ученый и государственный деятель П. П. Семёнов-Тян-Шанский определил ИРГО как свободную, открытую для всех, кто верит в будущее России, корпорацию. Это была организация, опосредовавшая взаимодействие академической науки, общества и государства. Этнографический отдел в ее структуре был создан изначально. В 1851 г. первыми открылись Кавказский и Сибирский центры. В 1877 г. Сибирский отдел (в Иркутске) был переименован в Восточно-Сибирский; тогда же в Омске был учрежден Западно-Сибирский отдел для изучения Сибири и Средней Азии в геолого-географическом, естественно-историческом, статистическом, этнографическом и археологическом аспектах. В 1891 г. в Барнауле возникло Общество любителей исследования Алтая, перешедшее через несколько лет на устав ИРГО. В 1913 г. состоялось открытие Якутского отдела [Очерки 2015].

Развитие сети отделов и подотделов ИРГО оказало большое влияние на развитие естественных и гуманитарных наук, на формирование университетской, музейной и библиотечной сети России и ее провинций. К концу XIX в. возникли первые образовательные этнографические центры. В 1884 г. кафедра географии и этнографии была образован в Казанском университете. В том же году курс «Этнография России» был впервые прочитан акад. Д. Н. Анучиным на кафедре географии и этнографии историко-филологического факультета Московского университета. В 1887 г. подобная кафедра под руководством проф. Э. Ю. Петри возникла на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета.

Ориентированное на прикладные задачи в связи с организацией системы управления, народоведение империи развивалось в контексте широкого общественно-политического и академического дискурсов. На рубеже XIX–XX вв. значимыми в определении перспектив государства были концепции нации и национального строительства; осваивались теории антропогеографии, социальной и культурной эволюции, исторического материализма; обсуждались концепты этнической группы и этноса и т. д.

Теоретические разработки в российской этнографии преломлялись сквозь призму социо- и этнокультурных реалий. Вслед за реформами 1860–1870-х гг. страна вступила в эпоху модернизации. В развитии ситуации был реализован проект преобразований аграрной России под руководством министра внутренних дел П. А. Столыпина. Его частью и следствием стало масштабное крестьянское переселенческое движение, в результате которого, по официальным данным, с 1900–1916 гг. в Сибирь прибыло более 4,4 млн. чел. Это существенно повлияло на экономическую, этно-демографическую и социокультурную ситуацию в регионе: обострились земельный и национальный вопрос; возникли проблемы во взаимоотношениях коренных народов, старожилов и переселенцев. Результаты системных исследований масштабной миграции были обобщены в Атласе Азиатской России 1914 г. Он был издан при поддержке ИРГО и переселенческого отдела главного управления землеустройства и земледелия. Большое место в Атласе отводилось характеристике народонаселения: этно-локальные сообщества оценивались в нем с позиций человеческого, ресурсного потенциала регионов огромной империи, живущей в ожидании перемен [*Илюшина* 2006].

Необходимость системных преобразований активно обсуждалась в общественно-политическом дискурсе Сибири конца XIX — начала XX в., поддерживалась прессой и формировавшейся наукой. Большое влияние на характер региональных исследований оказало движение областников и его лидеры Г. Н. Потанин, А. В. Адрианов, Н. М. Ядринцев и др. Возникнув в Санкт-Петербурге в начале 1860-х гг. на основе «Сибирского кружка» студенческого землячества, движение развивалось в переплетении различных, нередко противоречащих друг другу тенденций: народнического радикализма и консерватизма, унитаризма и федерализма. Представители областничества противопоставляли российский центр и периферию по эколого-экономическим, политическим, этническим, социокультурным характеристикам. Но, по мнению экспертов, обозначенные ими перспективы (сохранение этнокультурного многообразия, самоуправление, выборность органов власти, формирование университетской сети и местной интеллигенции, индустриальное развитие, благоприятный режим торговли и т. д.) в целом соответствовали идеологии народничества и проекту догоняющей модернизации [*Бакшеев* 2019].

Выступая защитниками интересов сибирской провинции, областники настаивали на региональной идентичности; выделяли сибиряков как особый этнокультурный тип, специфику которого, кроме прочего, определял синтез русских и аборигенных традиций. При всей спорности и неоднозначности этих суждений, они существенно повлияли на развитие науки в Сибири; предопределили поиски «сибирского стиля» в искусстве, сформировали устойчивый интерес к культурному наследию коренного и старожильческого

населения, сделали актуальным изучение истории освоения Сибири в череде культур сменяющих друг друга на протяжении столетий [*Бакшеев* 2019].

Начиная с 1870-х гг. и до начала XX в. лидеры областничества активно работали в проектах ИРГО, Российского комитета для изучения Средней и Восточной Азии, землеустроительных организациях и проч.; имели широкие связи с гуманитарными, краеведческими и др. объединениями.

При ограниченности исследовательских ресурсов Сибири (Томский университет, открытый в 1888 г., оставался единственным в регионе до 1918 г.) общественные структуры были эффективной формой организации науки на местах. Они тесно сотрудничали с властью по широкому кругу вопросов, включая оценку народонаселения в целом и коренных народов Сибири в частности. Значимую роль в этих объединениях играли: сибирская администрация, ссыльная интеллигенция, купечество, журналисты, учителя; заметным было представительство национальных элит и т. д.

У истоков создания региональных научных центров

Активизации общественного научного движения в Сибири способствовал Указ 1906 г. «О временных правилах об обществах и союзах», упрощавший процедуру их открытия по решению губернатора, но предполагающий высокую степень административного контроля. Он продолжал действовать в редакции 1914 г. [*Туманова 2*002]

За год до указа, под влиянием революционных событий 1905 г., в Томске был основан «Сибирский областной союз» — общественно-политическая организация, выражавшая взгляды областников. В 1908 г. в Санкт-Петербурге возникло «Общество изучения Сибири и улучшения ее быта», сочетавшее черты научного, общественно-политического и культурно-просветительного формирования. Процесс его становления совпадал с оформлением сибирской парламентской группы в Государственной думе. Общество изучения Сибири и улучшения ее быта предполагало заниматься разработкой актуальных проектов. Его председателем стал акад. В. В. Радлов (с 1894 г. — директор Музея антропологии и этнографии — ведущего этнографического центра России). Среди членов общества были известные ученые: В. Г. Богораз, Д. А. Клеменц, С. К. Патканов, Э. К. Пекарский и др. — с именами которых было связано изучение народов и культур региона [*Попов* 2004].

В 1908–1915 гг. отделы общества были образованы в Тюмени, Тобольске, Омске, Новониколаевске, Бийске, Красноярске, Иркутске, Братске, Якутске, Чите и др. городах. В структуре столичного и региональных отделений действовали инородческая, юридическая, земская, экономическая, рыболовная, путей сообщения и др. комиссии. При его поддержке, по предложению сибирского студенческого землячества, ежегодно в Сибири проходила экспедиция под девизом «Знание своей родины есть сила, без которой народный

труд не может быть успешен». В 1911 г. материалы этой экспедиции экспонировались в Музее этнографии и антропологии [*Попов* 2004].

Институализация научного сибиреведения происходила одновременно с появлением всё новых политических инициатив. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в России дали новый толчок процессам сибирской суверенизации. В октябре 1917 г. в Томске состоялся Сибирский областной съезд, который принял «Положение об областном устройстве Сибири». В декабре 1917 г. в городе прошел чрезвычайный съезд, где была провозглашена автономия края под социалистическими лозунгами.

В 1918 г. в развитии деятельности Общества изучения Сибири по поручению петроградского союза областников был разработан проект Сибирского научно-хозяйственного института, работа которого, кроме прочего, была ориентирована на изучение истории, этнографии и археологии региона. Однако этот проект не был реализован.

Годом ранее в октябре 1917 г. в Иркутске состоялся Первый сибирский метеорологический съезд, который в действительности собрал ученых многих специальностей и поставил вопрос об организации Института исследования Сибири с переносом его в регион. На первом заседании съезда с докладом «Об изучении туземных племен Приамурья и севера Сибири» выступил этнограф-дальневосточник К. Д. Логиновский. Он подчеркнул, что работу с коренными народами «необходимо вести не только в интересах чисто научных, но и в интересах мероприятий в области улучшения их быта и охранения от вымирания»; в программу будущего института следовало внести вопросы «практическо-экономического значения» [*Некрылов, Фоминых, Меркулов, Литвинов* 2012: 77].

Одним из заключительных в работе съезда стал доклад П. Г. Любомирова об организации историко-этнологического отдела Института исследования Сибири. «Отметив, что изучением истории, археологии, этнографии и искусства занимаются 34 сибирских учреждения и общества, докладчик указал на необходимость создания такого органа, который занялся бы не только координацией деятельности и объединением усилий исследователей, но и обладал бы достаточными средствами для проведения научных работ. Таким центром, по его мнению, мог бы стать историко-этнографический отдел при создаваемом Институте исследования Сибири, который, наряду с решением научных проблем, должен был готовить и кадры самих исследователей» [*Некрылов, Фоминых, Меркулов, Литвинов* 2012: 78].

Кроме того, по замыслу организаторов, создание института позволило бы объединить университетскую и академическую науку и различные ведомства: Переселенческое управление, Управление государственными имуществами, Военно-топографическое управление, Геологический комитет и др. — и вывести изучение края на новый уровень. Спроектированный институт претендовал на роль общесибирского исследовательского центра. Он был открыт

в январе 1919 г. в Томске для «планомерного научно-практического исследования природы, жизни и населения Сибири в целях наиболее рационального использования естественных богатств края и культурно-экономического его развития» [*Некрылов, Фоминых, Меркулов, Литвинов* 2012: 78].

В соответствие с резолюциями съезда, в структуре института был выделен историко-этнографический отдел, который имел своей целью: «изучение истории (включая археологию), быта, нрава, языка, словесности, верований, искусства народов Сибири (русского, иноплеменного и туземного населения) и охрану всякого рода памятников старины и документов прошлого и настоящего» [Труды 1919: 33].

С созданием Института исследования Сибири удалось соединить государственные и общественные формы организации и управления наукой. Но статус государственного учреждения институт приобрел в ходе свержения советской власти, получив поддержку Колчаковского правительства. Его директором стал проф. Томского университета В. В. Сапожников, который исполнял обязанности министра просвещения во Временном Сибирском правительстве. Одним из приглашенных сотрудников института был выдающийся этнограф и археолог С. И. Руденко. С 1919 по 1921 гг. он занимал должность профессора кафедры географии, был деканом физико-математического факультета Томского университета. По инициативе С. И. Руденко (ранее ученого секретаря Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран Академии наук) на базе института была образована комиссия по изучению племенного состава населения Сибири. При его поддержке были проведены Обь-Тазовская и Енисейская комплексные экспедиции. Впоследствии сотрудничество с Колчаковским режимом обернулось испытаниями и для него, и для его коллег.

Но тогда в 1919 г. в ходе организации института многих вдохновлял переход от разрозненных к системным исследованиям Сибири. Комплексный характер программы определил структуру института. В нем сосуществовали географический, технико-промышленный, историко-этнологический, статистико-экономический др. отделы, а также комиссии по отдельным направлениям, в том числе, по изучению народов Сибири. С восстановлением в Сибири советской власти деятельность института была свернута. Многие его сотрудники в 1930-е гг. подверглись репрессиям.

В 1920-е гг. для контроля над томской, критично настроенной по отношению к новой власти, профессуры, была образована особая коллегия по управлению делами местных вузов. Омская интеллектуальная элита, сотрудничавшая с колчаковским режимом, также была отстранена от участия в советских проектах.

Институт был ликвидирован летом 1920 г. распоряжением Сибревкома. Но идея координации научных исследований и проведения их на основе

взаимодействия с государством осталась. Для решения этих проблем в марте 1921 г. был созван новый съезд исследователей Сибири. Он наметил план работ на ближайший год, содержание которого определил научно-практический принцип и соответствие единому плану хозяйственного освоения Сибири. Программу вновь возглавил проф. В. В. Сапожников [*Литвинов* 2006: 72].

В 1925 г. в молодом Новониколаевске (с декабря 1925 г. — Новосибирске), где накануне революции 1917 г. существовала сильная и радикально настроенная группировка областников, было создано «Общество изучения Сибири и ее производительных сил». Ему был передан основанный в городе в 1920 г. Центральный народный музей, который превратили в Музей производительных сил Сибирского края. До конца 1930-х гг. он был ведущим музеем Западной Сибири; осуществлял широкую экспедиционную деятельность [*Томилов* 1996].

Создание Общества изучения Сибири и ее производительных сил совпадало с образованием в 1925 г. Сибирского края, включавшего территории Томской, Омской, Новониколаевской, Алтайской, Енисейской губерний и Ойротской автономной области. С 1930 г. в ходе административной реформы Сибирский край был разделен на Западно- и Восточно-Сибирский. В 1937 г. была образована Новосибирская область, из состава которой в 1943 г. выделилась Кемеровская, а в 1944 г. — Томская области.

Образованное по инициативе ученых и общественных деятелей в 1925 г. Общество изучения Сибири и ее производительных сил имело форму ассоциации и фактически сохраняло преемственность с Институтом исследования Сибири. Но, согласно уставу, оно было ориентировано не только на изучение производительных сил региона, но и на содействие органам власти и управления. Работники партийных, государственных и общественных структур составляли 53% его членов. Общество включало социально-экономическую, естественно-историческую секции и секцию изучения малых народностей; позже — секции «Флора и фауна», «Недра», «Человек». Совместно с Бюро по изучению производительных сил при Крайплане оно было призвано осуществлять координацию исследований в Сибири, которая находилась в процессе политической и административно-территориальной реструктуризации [*Красильников* 1988; *Курочкина* 1968].

С провозглашением СССР в границах Сибири в 1922 г. были выделены Якутская АССР и Ойратская автономная область, в 1923 г. — Бурято-Монгольская АССР; в 1929 г. был образован Ненецкий округ, в 1930 г. — Остяко-Вогульский и Эвенкийский округа и Хакасская АО. Задачи изучения народонаселения, природных ресурсов и хозяйственно-культурного потенциала этих автономий определяли деятельность Общества. При правлении действовали бюро экспедиций и краеведения. Важным событием в жизни Общества стало участие в подготовке и проведении в декабре 1926 г. Первого Сибирского краевого научно-исследовательского съезда. О необходимо-

сти изучения коренных народов края говорил выступивший на его открытии Б. Э. Петри [*Петри* 1928].

Интерес к аборигенным культурам Сибири конца 1920-х гг. был созвучен идеям сибирских областников начала XX в., но уже не встречал широкой поддержки. В союзном государстве, ориентированном на перспективы интеграции, регионализм в науке рассматривался сквозь призму рисков сепаратизма.

К 1930 г. Общество изучения Сибири и ее производительных сил вступило в полосу реорганизации. В Омске, Томске, Новосибирске, Иркутске прошла серия арестов. В 1937 г. по обвинению в шпионаже был расстрелян Б. Э. Петри; ряд ученых, этнографов разделили его участь. Судьба Общества была предрешена. Оно самораспустилось (следуя решениям бюро крайкома ВКП(б) и Президиума крайисполкома) и передало основные функции вновь созданному Западно-Сибирскому бюро краеведения. Центром краеведения стал музей, которому вновь изменили статус — он стал Западно-Сибирским краевым музеем; с 1937 г. — Новосибирским областным краеведческим музеем. Краеведческая работа была переориентирована на просвещение и образование. Государство взяло под контроль организацию науки и сделало ставку на ее централизацию. В 1931 г. был создан Научный комитет при Западно-Сибирском Крайисполкоме. Управленческие структуры на местах повторяли организацию центрального аппарата [*Красильников* 1988; *Курочкина* 1968].

Будучи столицей края, Новосибирск в то время развивался ускоренными темпами как индустриальный и транспортный центр на востоке страны. Притягивая всё новые человеческие ресурсы, он, тем не менее, не имел сформированной научной базы. Этнографические исследования в Сибири курировались столичными структурами; проводились при поддержке созданной в 1917 г., Постоянной комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран и Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР (существовал до 1924 г.).

В 1922 г. при Наркомпросе открылось Центральное этнографическое бюро, ориентированное на всестороннее изучение народов РСФСР. В 1924 г. при Президиуме ЦИК СССР был образован Комитет содействия народностям северных окраин (Комитет Севера). Большую работу среди коренных народов проводила Северная научно-промысловая экспедиция ВСНХ СССР и др. организации.

Новый устав АН СССР, принятый в 1927 г., обязывал адаптировать теории и результаты научных исследований к применению в промышленности и культурно-экономическом строительстве. Исполнителями новых советских проектов становились этнографы — сотрудники Академии наук, студенты и преподаватели этнографического отделения Географического института, который существовал с 1918 г. и позднее вошел в состав Ленинградского университета. На базе Ленинградского восточного института был создан Северный факультет, в 1930 г. реорганизованный в Институт

народов Севера. В 1925 г. факультет общественных наук МГУ был разделен на факультет советского права и этнологический. В 1930 г. был создан Институт по изучению народов СССР. В 1933 г. в результате его объединения с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого возник Институт антропологии, археологии и этнографии (позднее — Институт этнографии АН СССР).

При участии этих и др. структур под контролем государственного аппарата в 1920–1930-е гг. осуществлялись исследования, сопровождавшие процесс советизации Сибири. Шла коренизация систем управления и образования (был создан северный алфавит и письменности для 13 народов); формировалась советская социокультурная инфраструктура и система подготовки кадров из числа коренных нардов Сибири; предпринимались усилия по адаптации традиционных обществ к новым социально-политическим стандартам и культурно-хозяйственным практикам.

Попытка научного обоснования стратегий модернизации была (в том числе) предпринята в ходе организации и проведения (на основе комплексного подхода) Приполярной переписи 1926–1927 гг., мобилизовавшей десятки специалистов в центре и на местах. Уникальные по объему и реалистичные по содержанию материалы переписи ориентировали практиков социалистической перестройки на сохранение и естественную эволюцию традиционных культурных и хозяйственных форм народов Сибири и Севера. Но уже в 1930-е гг. в отрицании охранительного этнографического подхода советское государство сделало ставку на включение традиционной экономики национальных окраин в плановую систему производства в ходе пролетаризация и «преодоления отсталости».

Глобальный проект форсированной социальной реконструкции, часто имевший трагические последствия на местах, проходил на фоне ревизии методологической базы советской этнографии. Политизация науки оборачивалась отказом от вариативных методов и концепций, в том числе от системного антропогеографического подхода и теории этноса, разработанной в начале XX в. усилиями слависта Н. М. Могилянского, специалиста по тунгусо-манчжурским народам С. М. Широкогорова и их коллег [*Октябрьская, Романова* 2020].

Провозглашенный лидерами советской гуманитарной науки цивилизационный концепт, закрепленный догматикой исторического материализма и сфокусированной на классовом подходе, вывел этнографию за пределы актуальной повестки. В 1931 г. прекратилось этнографическое образование в ЛГУ, и было расформировано историко-этнологическое отделение МГУ. Кафедры этнографии были воссозданы в университетах центральной России в 1938–1939 гг. на новых идейных платформах.

В 1937 г. вышло постановление Президиума АН СССР о строгом соблюдении научными учреждениями их специализации. В том же году состоялся

пленум Института этнографии, который подвел итоги его реализации. В ходе обсуждения проблемы директор института В. В. Струве констатировал, что этнография призвана заниматься пережитками племенного быта у народов и наций, которые находятся на разных стадиях общественно-экономического развития [*Абрамзон* 1938: 231].

При этом после принятия конституции 1936 г., провозгласившей построение основ социализма в СССР, народы Севера стали рассматриваться как социалистические народности, вставшие на путь национального возрождения (со своими территориями и национальными по форме культурами). Как и все народы СССР они позиционировались в качестве субъектов истории, политики и права. Этнополитические и этно-территориальные автономии формировали структуру государства; учет населения осуществлялся по национальному признаку; графа о национальности с 1932 г. была включена в паспорт гражданина страны; в 1938 г. в составе высшего органа государственной власти — Верховного Совета СССР начал действовать Совет Национальностей. Научные центры были созданы во многих автономиях СССР. Проблема единства и многообразия многонародного сообщества по-прежнему определяла содержание этнографических/этнологических исследований. Ставка на архаику («первобытность») и одновременная разработка сюжетов социокультурной и социально-политической модернизации народов России вообще и Сибири в частности определяла противоречивое содержание советского академического дискурса.

Следуя официальной доктрине и опираясь на метод исторических реконструкций, в 1930-е гг. исследователи пытались проследить элементы древности в культурах современности. Этносоциальные и этнокультурные ретроспекции рождали интерес к генезису человечества и составляющих его народов.

В 1938 г. в АН СССР была учреждена Комиссия по проблемам этногенеза под председательством чл.-корр. А. Д. Удальцова. В 1940 г. состоялось созванное комиссией совещание по этногенезу народов Севера с участием сотрудников ведущих научных центров страны, среди которых был будущий акад. А. П. Окладников, а тогда кандидат наук, сотрудник Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР/ ИИМК НА СССР. В его докладе, как и в выступлениях коллег: А. В. Збруевой, В. Н. Чернецова, Н. Н. Чебоксарова, Т. А. Трофимова, Г. Н. Прокофьева, С. А. Токарева, А. М. Золотарева и др. — нашли отражение методы интерпретации археологических и этнографических материалов, сопоставление которых позволило нащупать исторические связи между древними сообществами и позднейшими группами северных народов. На совещании рассматривались проблемы происхождения эвенков, якутов, чукчей, коряков и т. д. В его резолюции было отмечено, что, несмотря на значительные достижения, работа в области этногенеза народов Севера носит еще случайный характер. Плановое освоение этой проблемы было обозначено как важнейшая перспектива [*Толстов* 1941: 3–5].

При спорности некоторых положений, обозначенных на совещании 1940 г., этногенетическое направление североведческих исследований разрабатывалось на протяжении последующих десятилетий. В послевоенной России, заново осваивающей свои ресурсы и рубежи, к концу 1940-х гг. на государственном и академическом уровне сформировались представления о важности подобных изысканий. Была проведена реструктуризация научных центров. Еще в 1943 г. Институт этнографии был перенесен в Москву с сохранением в Ленинграде отделения. Возглавивший московский центр С. П. Толстов на уровень академических приоритетов вывел проблемы этногеографии и этногенеза, при этом прошлое следовало рассматривать в связи с оценкой настоящего. В 1946 г., провозгласив сложившейся советскую школу в этнографии, главной ее отличительной чертой он назвал историзм, требующий исследования культуры каждого народа [*Алымов* 2009].

На протяжении 1940-х гг. в этногенетических исследованиях формировался междисциплинарный подход с использованием широкого круга источников. В 1949 г. в третьем номере журнала «Советская этнография» в разделе «Вопросы этногенеза» была опубликована программная статья одного из лидеров советской гуманитарной науки С. А. Токарева «К постановке проблем этногенеза», где, подводя итоги сделанному, он обозначал перспективу — полное исчерпывающее решение проблем этногенеза каждого народа на основе междисциплинарного взаимодействия. После выхода в том же журнале в 1951 г. статьи С. А. Токарева и Н. Н. Чебоксарова «Методология этногенетических исследований на материалах этнографии в свете работ И. В. Сталина о языкознании» в освоении этногенетической проблематики начался новый этап [*Октябрьская, Романова* 2020].

Особенно активно она начала разрабатываться в рамках сибиреведческих исследований, развернувшихся в соответствии с постановлением Президиума АН СССР 1954 г. «Об усилении научно-исследовательских работ по Советскому Северу». В 1950-е гг. интерес к Сибири был связан с включением ее в единый народнохозяйственный промышленно-транспортный, энергетический комплекс страны.

Следуя директивам, в ходе реструктуризаци ИЭ АН СССР, в его составе в 1955 г. руководство выделило сектор по изучению социалистического строительства у малых народов Севера, впоследствии переименованный в сектор Крайнего Севера и Сибири. Его возглавил проф. Б. О. Долгих — к тому времени признанный властью и академическим сообществом этнограф. В 1956 г. под его руководством была организована Северная экспедиция. Одним из ее участников стал (позднее возглавивший сектор) И. С. Гурвич, научная карьера которого начиналась в Якутии в 1940-е гг. В 1960–1980-е гг., выполняя прикладные разработки на основе комплексной экспертизы, сотрудники сектора одновременно закладывали основы системных исследований в Сибири [*Октябрьская, Романова* 2020].

Формировние сибирских научных центров этнографии

Изучение макрорегиона приобрело широкомасштабный характер с созданием в 1957 г. Сибирского отделения АН СССР/СО АН СССР. Его становление началась в годы войны, когда сотни ученых были эвакуировались на восток. В 1943 г. был создан Западно-Сибирский филиал АН СССР, в 1949 г. — Восточно-Сибирский и Якутский. Они стали основой Сибирского отделения, которое было призвано обеспечить научное сопровождение развития производительных сил, сырьевой базы и энергетики на востоке России.

Для его «усиления» в Новосибирск были приглашены ведущие ученые российских академических и университетских центров. В 1959 г. при Президиуме СО АН СССР была создана комиссия по общественным наукам; затем в 1961 г. в Институте экономики и организации промышленного производства образован сектор истории промышленности; позже — отдел гуманитарных исследований. Его возглавил приглашенный из Ленинграда А. П. Окладников.

Иркутянин по рождению, он был учеником Б. Э. Петри, который с 1918 г. работал в открывшемся в Иркутске университете. Вместе с будущими лидерами российской антропологии М. М. Герасимовым и Г. Ф. Дебецем А. П. Окладников посещал кружок «Народоведение». Научную карьеру начал с заведования Иркутским музеем; был аспирантом, затем сотрудником ИИМК АН СССР. В годы войны в Якутии осуществлял руководство Ленской историко-археологической экспедицией; занимал должность заместителя директора, заведующего Ленинградским отделением ИИМК АН СССР; накануне переезда в Сибирь возглавлял сектор палеолита. Начало работы в Новосибирске для него было связано с организацией широкомасштабных «спасательных» археологических и этнографических экспедиций в зоне строек промышленного, энергетического пояса Сибири. В 1966 г. уже в статусе члена-корреспондента (затем академика АН СССР, Героя Социалистического Труда) он стал директором Института истории, филологии и философии/ИИФФ СО АН СССР. Вместе с единомышленниками — специалистом по тунгусо-манчжурским языкам В. А. Аврориным и известным философом Г. А. Свечниковым — заложил основы гуманитарного центра, ориентированного на междисциплинарный характер.

Базой для развития творческого потенциала формирующегося института стал Новосибирский государственный университет/НГУ, открытый в 1958 г. На гуманитарном факультете университета в 1962 г. была образована кафедра истории; в 1971 г. — кафедра всеобщей истории, которая стала площадкой для подготовки археологов и этнографов. Этнографическая и археологическая специализации получили новый импульс к развитию после создания в 1988 г. лаборатории гуманитарных исследований. Единство образовательного и исследовательского процессов, задавали параметры ее дея-

тельности. Но становление системы преподавания археологии и этнографии в НГУ растянулось на несколько десятилетий. Лишь в 1993 г. на гуманитарном факультете была открыта профильная кафедра. В основу ее деятельности был положен принцип интеграции университетской и академической систем, единство полевых, прикладных и теоретических изысканий в подготовке новых поколений археологов и этнографов.

С 1960-х гг. гуманитарный факультет НГУ готовил специалистов для объединенного ИИФФ СО АН СССР. В структуре института изначально были выделены три отдела — истории, филологии и философии. К концу 1960-х гг. в качестве самостоятельно подразделения был открыт Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, который включал постоянную экспозицию и историко-этнографический комплекс под открытым небом. Комплектование фондов и экспозиции музея определял системный подход к изучению и презентации археологических и этнографических реалий и исторических процессов.

Учредители ИИФФ СО АН СССР (и прежде всего акад. А. П. Окладников) исходили из концепции непрерывного освоения Сибири с эпохи первоначального расселение человека вплоть до современности. Еще в 1947 г. А. П. Окладников защитил докторскую диссертацию «Очерки по истории Якутии от палеолита до присоединения к Русскому государству», где дал ее обоснование. Эта концепция была положена в основу амбициозного издания «Истории Сибири с древнейших времен до наших дней». Его подготовка сопровождала становление сибирского научного центра. Пятитомник Истории Сибири 1968–1969 гг. был удостоен Государственной премии СССР. Системный подход, определивший его содержание, в целом был характерен для сибиреведения середины XX в. [*Окладников* 1982].

Он также определял содержание исследований ИЭ АН СССР под руководством И. С. Гурвича, который активно сотрудничал с А. П. Окладниковым со времен Ленской экспедиции. В 1966 г. И. С. Гурвич защитил докторскую диссертацию «Этническая история Северо-Востока Сибири». Затем возглавил подготовку фундаментальных изданий «Этногенез народов Севера» (1980 г.) и «Этническая история народов Севера» (1982 г.), исследовательскую парадигму которых определили схемы, отработанные при подготовке Истории Сибири [*Октябрьская, Романова* 2020].

В общих чертах они укладывались в теорию этноса в ее обновленной советской версии. Реновация в сфере методологии произошла в 1964 г. — на Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве один из ведущих балканистов России Ю. В. Бромлей (с 1966 г. директор ИЭ АН СССР) объявил концепцию этноса теоретической основой советской этнографии. Реставрированная в середине XX в. на основе разработок российских и европейских авторов, она позволяла описать многонародное (многонациональное) пространство СССР как сложноор-

ганизованную систему, состоящую из сообществ разных порядков, находящихся во взаимоотношениях друг с другом и с государством, и имеющих многоуровневое самосознание.

Ориентируясь на официально признанную теорию этноса, сибиреведы в своих исследованиях исходили из принципов историко-культурной типизации и районирования с выделением территорий, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально-экономического развития и взаимного влияния складывались сходные технологии природопользования, бытовые особенности, социо-нормативные и символические практики.

Рассматривая освоение Сибири как динамичный, растянувшийся на тысячелетия процесс, археологи и этнографы выделяли этапы становления и трансформации ее народонаселения от неолита/бронзового века до исторической реальности. Подчеркивая преемственную связь современных и исторических народов Сибири, а также несводимость проблемы их формирования к поискам прародины, или к оценкам миграций, исследователи и в центре, и в регионах акцентировали многоуровневый характер разновременных культурных напластований и возможность обособления автохтонных сообществ в процессе дивергенции. Анализ этногенетических процессов изначально (по версии И. С. Гурвича и его коллег) ограничивался событиями XVII в. Этническую историю — основные тенденции развития народов Севера после их вхождения в состав России — определял процесс внутренней консолидации с обретением устойчивого самосознания и формированием более или менее единой культуры в пределах этнических ареалов [Этногенез 1980].

Такая концепция, допускавшая «совместимость» археологии, этнографии и истории, лежала в основе исследовательских программ ИИФФ СО АН СССР. Подготовка фундаментальных изданий, посвященных истории Сибири, формировала плановый характер его деятельности. Но в 1960–1970-е гг. развитие этнографической проблематики имело скорее «сопутствующий» характер. Так, к организации этнографических исследований А. П. Окладников привлек одного из сотрудников Новосибирского краеведческого музея Е. П. Орлову, которая провела экспедиции на Командорские острова и Чукотку и подготовила статьи по культуре алеутов и чукчей.

Разработки по этногенезу осуществляла Е. И. Деревянко (представителем дальневосточной археологии в институте); ею была воссоздана история и культура средневековых мохэ и чжурдженей. В серии публикаций востоковеда А. Г. Малявкина по материалам китайских хроник была представлена история уйгуров. Традиционной материальной и социальной культуре алтайцев были посвящены работы Е. М. Тощаковой — одного из первых профессиональных этнографов из среды алтайцев. Начальник историко-этнографического отряда Дальневосточной экспедиции (выпускник ЛГУ) В. А. Тимохин занимался проблемами советской национальной политики в Сибири и на Дальнем Востоке. К этнографии в изучении сибирского кре-

стьянства XVII–XIX вв. обращались историки: М. М. Громыко, позже — Н. А. Миненко, Т. М. Мамсик и др.

Исследования в области истории и культуры русского населения Сибири имели вполне системный характер. Их содержание определяла растянувшаяся на десятилетие подготовка многотомной «Истории крестьянства Сибири» (1982–1991 гг.). Структуру издания, в соответствии с теорией исторического материализма, определял формационный подход: от эпохи феодализма до периода упрочения и развития социализма. Первый том «Крестьянство Сибири в эпоху феодализма» вышел в 1982 г. под редакцией А. П. Окладникова; второй «Крестьянство Сибири в эпоху капитализма» — в 1983 г. под редакцией Л. М. Горюшкина. В ходе их подготовки проводились масштабные историко-культурные (экспедиционные) исследования в Сибири.

Ученые осваивали архивы и музейные фонды сибирских городов, крестьянские библиотеки и проч. Шло формирование сибирской археографической школы Н. Н. Покровского — выдающегося историка (в конце жизни — чл.-корр. РАН), выпускника МГУ, который начал работу в ИИФФ СО АН СССР в 1965 г., освободившись из Дубровлага, где отбывал срок по московскому «университетскому делу» (с отменой приговора в 1989 г.). Проведение поисковых археографических работ позволило ученым под его руководством сформировать уникальный свод сочинений крестьян-старообрядцев Сибири XVIII–XIX вв. Изучение старообрядческого старожильческого населения востока страны выявило богатство и многообразие его культуры.

Участие этнографов в комплексных историко-культурные экспедициях расширяло исследовательскую проблематику. В работах Л. М. Русаковой, Ф. Ф. Болонева были воссозданы быт, праздничный календарь и народное искусство этно-локальных (этно-конфессиональных) групп русских Алтая и Забайкалья. Кандидатская диссертация Ф. Ф. Болонева (семейского старообрядца по происхождению, филолога по базовому образованию) на тему «Народный календарь семейских Забайкалья второй половины XIX — начала XX в.» 1974 г. стала первой квалификационной работой по специальности этнография в ИИФФ СО АН СССР. Проблемы, обозначенные в ней, получили развитие в докторской диссертации ученого «Духовная культура русских крестьян-старожилов Юго-Восточной Сибири XVIII–XX вв. (Семейские Забайкалья)» 1996 г.

«Русская тема», заданная исследованиями 1960–1970-х гг., продолжала развиваться и далее в неразрывной связи с изысканиями в области истории и социальных трансформаций Сибири. Институт пополнялся новыми кадрами, в числе которых были первые выпускники гуманитарного факультета НГУ. В работах начинающих, а затем титулованных ученых А. Н. Сагайдачного, В. Н. Курилова, А. А. Люцидарской, и др. рассматривались проблемы освоения Сибири, история и формы миграций XVII–XIX вв., история становления и развития первых поселений и городов, этно-социальных групп, особен-

ности их демографии и жизнедеятельности. Позднее они получили развитие в проектах сотрудников сектора истории Сибири второй половины XVI — начала XX вв. Института истории СО РАН. С 1980-х гг. всё большее место в исторических исследованиях занимали сюжеты этнокультурных контактов. Они определили содержание междисциплинарных проектов по сибирскому фронтиру известных историков Д. Я. Резуна, М. В. Шиловского и др.

Историко-этнографическая проблематика расширялась в институте с появлением поколения специалистов 1980–1990-х гг. — Е. Ф. Фурсовой, А. Ю. Майничевой, Г. В. Любимовой, О. Н. Шелегиной, О. В. Голубковой, позже — их учеников. Всё более фундированный характер приобретали характеристики русского старожильческого населения и переселенцев (славянских, уральских и иных сообществ). Исследования опирались на полевые практики, которые охватывали Западную и Восточную Сибирь, Большой Алтай, Забайкалье и, в соответствии со сложившейся в советской этнографии/этнологии парадигмой, включали все сферы существования этно-локальных групп (от природопользования до обрядовых практик и религиозных воззрений), каждая из которых рассматривалась с точки зрения этно-дифференцирующих признаков [*Октябрьская* 2018].

Диапазон научных поисков новосибирских славистов определяли традиционные, сложившиеся еще в XIX в., направления. Их результатом были квалификационные, а затем монографические работы: «Старожилы Сибири. Историко-этнографические очерки. XVII начало XVIII в.» (Люцидарская А. А.), «Очерки истории взаимодействия сельского населения Сибири с природной средой (на материалах русской земледельческой традиции)» (Любимова Г. В.), «Архитектурно-строительные традиции крестьянства северной части Верхнего Приобья: проблемы эволюции и контактов» (Майничева А. Ю.), «Традиционная одежда русского и других восточнославянских народов юга Западной Сибири» (Фурсова Е. Ф.), «Календарная обрядность восточнославянских народов в Приобье, Барабе и Кулунде: межкультурные взаимодействия и трансформации первой трети XX в.» (Фурсова Е. Ф.), «Женские образы в народных верованиях восточных славян Сибири» (Голубкова О. В.), «Старообрядцы Васюганья: опыт исследования межкультурных взаимодействий конфессионально-этнографической группы» (Фурсова Е. Ф. и др.) и т. д. [*Фурсова* 2019].

На основе полевых исследований этнографы ИИФФ СО АН СССР (позже ИАЭТ СО РАН) заполняли историко-культурные лакуны в описании русского (славянского) населения Сибири. На протяжении 1970–1990-х гг. занимались изучением сложно структурированного регионального сообщества, где в рамках официально декларируемой новой исторической общности — советский народ — всё еще существовали группы «чалдонов», «кержаков», «двоеданов», «маскалей», «русинов», «панцырных бояр» и т. д.

Выделяя этнические (этно-конфессиональные) и этнографические (этно-локальные) старожильческие и переселенческие группы в составе местных сообществ по мере их адаптации в Сибири на протяжении XVII–XX вв., исследователи подчеркивали сложный характер их самосознания, которое определял вариативный набор маркеров. Констатировали при этом, что, развиваясь во времени и пространстве и устанавливая контакты с друг другом, группы меняли свои этно-дифференцирующие признаки и часто этническое самоопределение.

Следует заметить, что подобное, сформировавшиеся на основе советской теории этноса, представление о динамическом характере этнического самосознания (и других признаков этнических сообществ) вполне укладывалось в конструктивистскую парадигму, утвердившуюся в российской гуманитарной науке уже в 1990-е гг. Возможность «методологического консенсуса» в этом случае предопределяла формирование полипарадигмального подхода в исследованиях Новосибирского центра этнографии.

Это наиболее отчетливо проявилось в изучение коренных народов Сибири. К 1980-м гг. содержание работ в сфере археолого-этнографических изысканий во многом определяла этногенетическая проблематика. Неслучайно, первая докторская диссертация по этнографии была защищена в 1982 г. ученицей А. П. Окладникова, одним из ведущих археологов института Е. И. Деревянко. Она называлась «Племена Приамурья в I тыс. н. э. (очерки этнической истории и культуры)».

С 1980-х гг. этногенетические изыскания ИИФиФ СО АН СССР стали обретать всё более масштабный характер. Их развитие было связано с деятельностью В. И. Молодина, который, начав с аспирантуры А. П. Окладникова, стал академиком РАН и создал научную школу, ориентированную на изучении древней истории, процессов культур- и этногенеза Сибири. В своих работах В. И. Молодин сформулировал концепция автохтонного происхождения обских угров, связав истоки их этногенеза с кулайской культурой. Его археолого-этнографические изыскания развивались на базе отдела палеометалла во взаимодействии с рядом научных центров Сибири, прежде всего Томска и Омска [*Молодин* 1995].

В составе этого отдела к началу 1980-х гг. выделилась группа этнографов под руководством И. Н. Гемуева, который на долгие годы стал лидером формирующегося этнографического подразделения. Свою карьеру он начал офицером зенитно-ракетных войск; после окончания ТГУ с 1978 г. работал в институте, пройдя путь от лаборанта до доктора исторических наук, заведующего отделом этнографии Сибири, заместителя директора. Его ранние публикации были посвящены семейно-брачным отношениям у селькупов XIX — начала XX в., которые оценивались на основе социальной типизации с позиций эволюционизма. В 1986 г. вышла в свет монография И. Н. Гемуева и А. М. Сагалаева «Религия народа манси. Культовые места.

XIX — начало XX в.», посвящённая результатам работы Приполярного этнографического отряда ИИФФ СО АН СССР. В работах 1980–2000-х гг. (в том числе в докторской диссертации «Религиозно-мифологические представления манси» 1991 г.), автор предпринял попытку системной реконструкция традиционной картины мира манси и дал характеристику ее символического выражения.

Эта тема была продолжена в исследованиях А. В. Бауло — ученика И. Н. Гемуева. На основе уникального музейного свода культовой атрибутики он показал, как формировалась и транслировалась аутентичная религиозно-мифологическая система обских угров, истоки которой восходят к началу II тыс. н. э. Проекции мифа в этно-историческое и этногенетическое измерения были подтверждены археолого-этнографическими изысканиями с участием ведущих археологов ИИФФ СО АН СССР. Они стали основой для реконструкций архаичного мировоззрения на уровне урало-алтайского единства.

Исследование в масштабах урало-алтайской общности было проведено А. М. Сагалаевым. Выпускник ТГУ, после аспирантуры по этнографии в ЛГУ с 1981 по 1994 гг. он являлся сотрудником ИИФФ СО АН СССР; работал на Алтае и на Обском Севере. Содержание его кандидатской диссертации «Ламаистские элементы в мифологии и традиционных культах алтайцев» определили сравнительно-религиоведческие изыскания. В серии работ, написанных в соавторстве с И. Н. Гемуевым, а также в докторской диссертации «Архаичное мировоззрение урало-алтайских народов Западной Сибири» 1992 г., А. М. Сагалаев обосновал синкретичную природу традиционного мировоззрения; дал его характеристику как многокомпонентной системы, объединяющей архаичный (мифо-экологический) пантеизм, шаманизм и элементы мировых религий [Профессора 2003: 196–198]. Методология его диссертации отрабатывалась в ходе подготовки монографии «Традиционное мировоззрении тюрков Южной Сибири» (1988–1990 гг.), которая стала результатом сотрудничества ученых ТГУ и ИИФФ СО РАН (при участии Э. Л. Львовой, М. С. Усмановой, И. В. Октябрьской). В ней был последовательно реализован структурно-семиотический подход, позволивший всё многообразие представлений и ритуалов тюрков Южной Сибири объединить во внутренне целесообразную структуру, определяющими для которой были принципы взаимодействия человека, общества и природы в единстве реального и метафизического.

Этнографы новосибирского центра активно экспериментировали с методами исследований: кроме прочего, осваивали теорию обмена, как основу социальных коммуникаций, работали над проблемами социокультурной адаптации, широко использовал методы устной и повседневной истории, культурной географии и т. д. Но при этом на уровне авторских исследовательских стратегий также сохраняли свое значение традиционные подходы, которые сложились в этнографии еще в период ее становления [*Октябрьская* 2018].

Так, в 1986 г. в институт в статусе доктора исторических наук был приглашен Н. А. Алексеев, представитель Ленинградской этнографической школы, на тот момент работавший в Якутском филиале СО АН СССР. Показательно, что в его программных трудах 1970–1980-х гг., посвященных духовной культуре тюркских народов Сибири, был последовательно реализован концепт эволюции, предполагающий стадиальную типологию религиозных воззрений коренных народов Сибири, начиная с архаичного анимизма [*Арутюнов* 1977]. Этот подход был позднее продолжен в исследованиях В. А. Бурнакова и Д. Ц. Цыденовой. Региональную этнографию/этнологию второй половины XX в. отличала вариативность подходов, методов и тем.

Этот принцип был заложен при основании сибирского научного центра. Его придерживался акад. А. П. Окладников. Следуя официальным установкам, он при этом создавал условия для авторских экспериментов — поддерживал «астроахеологические исследования» и изыскания в области знаковых систем (на материалах древнего и традиционного искусства); опережая время, внедрял математические методы в археологических реконструкциях. При его одобрении в 1976 г. в Сибирском научном центре прочел цикл лекций по проблемам этногенеза Л. Н. Гумилев (на тот момент преподаватель ЛГУ). Лекции имели большой успех, т. к. их основная идея (по воспоминаниям слушателей) заключалась в синтезе естественных и гуманитарных наук. Теория антропосферы Л. Н. Гумилева (при всей ее спорности и конфликтному противостоянию теории этноса Ю. В. Бромлея) формировала пространство междисциплинарного диалога. Свободный дискурс создавал возможности для развития теоретической базы науки и расширения ее исследовательской проблематики.

Мульти- и междисциплинарные исследования определили стратегии ИИФФ СО РАН в 1970-е гг. Они получили импульс к дальнейшему развитию, когда в 1983 г. институт возглавил чл.- корр., а затем академик АН СССР А. П. Деревянко — крупнейший специалист по древнейшим этапам антропо- и культургенеза, археолог с мировым именем. Под его руководством и при его участии был реорганизован музей, создан ряд новационных по функционалу и методам структур; продолжала развиваться аспирантура института и базовый гуманитарный факультет НГУ.

Основой деятельности ИИФФ СО РАН в эти годы по-прежнему оставалось единство дисциплин гуманитарного цикла. Всё активнее разрабатывались этноисторическое и этнополитическое направления. В 1989 г. в штат ИИФФ СО РАН был принят А. Х. Элерт (выпускник ТГУ, этнограф по базовому образованию). Его кандидатская, а затем докторская диссертация и монографии были защищены под руководством Н. Н. Покровского и посвящались оценке народоведческих концепций одного из основоположников сибиреведения, российского академика XVIII в. Г. Ф. Миллера. Эти работы вывели на новый уровень историческую этнографию и этнографическое источниковедение.

В 1980-е гг. в ИИФиФ СО РАН было значительно расширено отделение языков и фольклора народов Сибири. В 1983 г. в институт был приглашен А. Б. Соктоев (позже чл.корр РАН, директор Института филологии СО РАН). Вместе с коллегами им была инициирована серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», отмеченная Государственной премией. Подготовка 60-томного академического издания объединила фольклористов и этнографов прежде всего в области изучения традиционных мифо-ритуальных систем народов Сибири и Дальнего Востока.

В развитии комплексных исследований в институте этнографическая группа была преобразована в сектор, затем в отдел. Он был создан в 1992 г., год спустя после защиты докторской диссертации И. Н. Гемуева и под его руководством. К 1990-м гг. полевые маршруты сотрудников отдела охватывали не только Западную Сибирь, Большой Алтай, но также Забайкалье, Дальний Восток. В структуру отдела вошли А. А. Бадмаев, О. В. Мальцева, О. В. Голубкова, другие специалисты. После ухода из жизни И. Н. Гемуева уже в 2000-е гг. отдел возглавляли А. В. Бауло, И. В. Октябрьская, Е. Ф. Фурсова.

Становление нового подразделения совпало с реорганизацией Сибирского отделения и ИИФиФ. Из его состава был выделен Институт археологии и этнографии. В 2001 г. он обрел юридическую самостоятельность. Системный подход к изучению Сибири по-прежнему оставался актуальным для его этнографического подразделения. Расширялся репертуар интеграционных проектов. В масштабах региона большую роль в их развитии играл томский научный центр.

Становление этнографии в Томске было связано с классическим университетом, где еще в 1917 г. открылось гуманитарное отделение. Весной 1920 г. на базе упраздненного юридического факультета был создан факультет общественных наук; в 1921 г. он влился в историко-филологический факультет как этнолого-лингвистическое отделение. После, в 1922 г. гуманитарное отделение было ликвидировано. Его восстановление проходило накануне и в годы Великой отечественной войны, когда в Томск были высланы и эвакуированы специалисты из ведущих российских ВУЗов. В 1940 г. открылся исторический факультет Томского государственного университета/ТГУ; в 1941 г. он был вновь преобразован в историко-филологический [*Литвинов* 2006: 29, 35].

В 1962 г. на факультете была открыта кафедра археологии, этнографии и истории Сибири, но уже в 1965 г. ее закрыли. Специализация по археологии и этнографии до конца 1980-х гг. осуществлялась на кафедре истории СССР дооктябрьского (позже — досоветского) периода. Поколения выпускников 1940–1960-х гг. формировали ядро археолого-этнографического сообщества, ориентированного на изучение Сибири. Сейчас подготовку этнографов в ТГУ ведут: кафедра антропологии и этнологии и кафедра исторического краеведения и археологии факультета исторических и политических наук.

В 1968 г. при историко-филологическом (в 1974 г. разделенном на исторический и филологический) факультете ТГУ была образована Проблемная научно-исследовательская лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири. Ее стратегию и программу определяли признанные исследователи — историки, археологи, этнографы: И. М. Разгон, З. Я. Бояршинова, А. П. Бородавкин, М. Е. Плотникова, Б. Г. Могильницкий, А. А. Говорков, Н. В. Блинов, Г. Х. Рабинович, Л. И. Боженко, Г. И. Пелих, В. И. Матющенко, Н. В. Лукина, Н. А. Томилов и др. [*Андрющенко* 2008].

Становление системного этнографического образования в ТГУ было связано с именем Г. И. Пелих и ее учениками. В 1945 г. она окончила ТГУ; в 1953 г. — аспирантуру при Ленинградском отделении ИЭ АН СССР; в 1954 г. защитила кандидатскую, в 1972 г. — докторскую квалификационную работу по истории и этнографии селькупов [*Галкина, Топчий* 1999].

За годы работы в ТГУ в 1950–1970-е гг. усилиями Г. И. Пелих, с участием студентов и сотрудников университета, были проведены десятки экспедиций в районы расселения коренных народов Западной Сибири. На основе анализа полевого материала еще в 1969 г. в работе «Ретроспективно-этнографическое изучение этногенетических процессов» она сформулировала принципы выделения субстратных компонентов этногенеза [*Пелих* 1969]. Ретроспективный подход определил содержание ее программной монографии «Происхождение селькупов» 1972 г. Опираясь на актуальную для палео-этнографических исследований методику этнической идентификации различных источников (утварь, орнаментика, мифология и т. д.), Г. И. Пелих реконструировала в культуре селькупов несколько разновременных (изначально принадлежащих к различным культурам) комплексов. Принципы многофакторности и стадиальности процессов этногенеза осваивались в российской этнологии на протяжении нескольких десятилетий. Кроме прочего, они были использованы при подготовке монографии ИЭ АН СССР «Этногенез народов Севера» под редакцией И. С. Гурвича.

Эффективно используя ретроспективно-аналитический метод в этногенетических исследованиях, Г. И. Пелих не считала его единственным и выступала за использование вариативных подходов в этнографии/ этнологии. Ее работы рождали интерес начинающих ученых к постижению культурного многообразия Сибири. Среди учеников исследователя были угроведы Н. В. Лукина, В. М. Кулемзин, И. Н. Гемуев, А. В. Бауло, тюркологи Н. А. Томилов, Э. Л. Львова, В. А. Бурнаков и др.

С 1977 по 1981 гг., по приглашению А. П. Окладникова, Г. И. Пелих работала в ИИФФ СО АН ССС; после продолжала сотрудничать с гуманитарным отделением ТГУ. С ее уходом специализацию по этнографии в ТГУ продолжали Э. Л. Львова, Н. В. Лукина, В. М. Кулемзин, которые воспитали собственных учеников, позже работавших в научных центрах Томска, Новосибирска, Бийска, Ханты-Мансийска, Абакана, Алматы и т. д. К 2000-м гг.

в Томске заговорили о собственной этнографической школе. Одной из ее особенностей была ориентированность на междисциплинарные исследования, методология которых стала активно осваиваться в 1960-е гг. с появлением молодого поколения ученых.

Развитие межрегиональных связей имело большое значение для гуманитарной науки сибирских городов. Сотрудничество с новосибирским, томским научными центрами, с Институтом истории материальной культуры, ИЭ АН СССР и другими структурами задавало векторы этнографических и археологических исследований на Алтае, где давние традиции имели музейное дело и краеведения. В Барнауле они были связаны с именами ученых XIX вв., в том числе с именем В. В. Радлова — одного из основоположников российской, сибирской тюркологии. Проведя в исследованиях на Алтае более 10 лет, в 1890-е гг. в статусе академика он возглавил Музей антропологии и этнографии, участвовал в работе ИРГО, был инициатором организации и руководителем Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии, главой правления Общества изучения Сибири. При его поддержке на Алтае пересекались труды и судьбы многих тюркологов России.

Алтай стал «полем» жизни и науки для Л. П. Потапова — одного из лидеров Ленинградской этнографической школы. Уроженец Барнаула, он был учеником одного из самых ярких этнографов, музыкологов и краеведов Сибири — А. В. Анохина, жизнь и творчество которого в начале XX в. были связаны с Томском, Барнаулом и Горным Алтаем. В экспедициях А. В. Анохина принимали участие и сам Л. П. Потапов, и его однокашники по ЛГУ. Опыт, полученный в юности, стал основой научного поиска ученого. В 1939 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Пережитки первобытнообщинного строя у народов Алтая», которая была вдохновлена идеями советских эволюционистов Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза. В 1948 г. издал «Очерки по истории алтайцев», отмеченные Сталинской премией. С 1949 г. Л. П. Потапов возглавил комплексную Саяно-Алтайскую экспедицию, позднее преобразованную в Тувинскую археолого-этнографическую экспедицию. В 1952 г. вышел его «Очерк этногенеза южных алтайцев»; в 1969 г. — монография «Этнический состав и происхождение алтайцев». При всей политической ангажированности автора, эти работы стали классикой российской этнографии. Ряд этнографов Сибири (Г. И. Пелих, Н. А. Алексеев и др.) были учениками Л. П. Потапова. Он внес большой вклад в создание в 1951–1952 гг. Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы [Дьяконова, Решетов 2002].

Не менее знаковой для Алтая фигурой был А. П. Уманский (в конце жизни — доктор исторических наук, проф., заведующий кафедрой отечественной истории Барнаульского государственного педагогического университета). Ученый-универсал, он занимался проблемами археологии, истории и этнографии Южной Сибири. Сотрудничал и дружил М. П. Грязновым

и А. П. Окладниковым, с ленинградским и новосибирским научными центрами. Им была создана первая археологическая карта Алтайского края; кандидатская и докторская диссертации посвящены этнополитической истории телеутов. Обобщающие монографии А. П. Уманского «Телеуты и русские в XVII–XVIII веках» 1980 г. и «Телеуты и их соседи в XVII — первой четверти XVIII века» 1995 г. определили высокую планку в изучении взаимосвязанных локальных и глобальных этнических процессов Евразии. Он был одним из тех, кто с 1950-х гг. закладывал основы исторического краеведения на Алтае.

С опорой на существующие традиции в 1973 г. в столице Алтайского края — Барнауле был открыт Алтайский государственный университет/АГУ. Преподавателями его гуманитарного отделения стали, кроме прочих, сотрудники проблемной лаборатории ТГУ. В 1988 г. в АГУ открылась кафедра археологии, этнографии и источниковедения, которую в статусе доктора исторических наук возглавил известный археолог Ю. Ф. Кирюшин (позднее ректор и президент университета). Сегодня специализацию и исследования, посвященные народам, культурам и религиям Алтая, в университете осуществляют кафедра археологии, этнографии и музеологии и кафедра регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений АГУ. Со временем они меняли свою структуру и программы, но всегда ориентировались на развитие междисциплинарных, межуниверситетских связей. В университете работают новые поколения специалистов, в том числе — этнографы и краеведы (И. И. Назаров, П. К. Дашковский и др.).

Расширение пространства научного диалога сопровождает развитие археолого-этнографических исследований в Сибири. Среди тех, кто изначально формировал межуниверситетские интеграционные тренды советской гуманитарной науки был В. И. Матющенко. С 1968 г. его исследования были связаны с проблемной лаборатории ТГУ, где он заведовал отделом археологии и этнографии. Его докторская диссертация 1974 г. была посвящена древней истории населения лесного и лесостепного Приобья. С 1976 г. В. И. Матющенко работал в Омском государственном университете в статусе заведующего кафедрой, декана исторического факультета [*Тихонов* 2007].

После переезда в Омск, В. И. Матющенко сохранил контакты с томским научным центром. Его учениками считали себя ведущие археологи Сибири: Ю. Ф. Кирюшин, Л. А. Чиндина, Л. М. Плетнёва, А. И. Боброва и др. Для многих сибиреведов площадкой диалога стало учрежденное в Томске в 1970 г. Западносибирское археологическое совещание — с 1975 г. Западносибирская археолого-этнографическая конференция, которая имела статус всесоюзной, действовала на протяжении полувека и сохраняла свое значение до последнего времени. Формат конференции определяли задачи координации исследований древних и современных народов Сибири; ее широкий диапазон был задан междисциплинарной тематикой по вопросам этнокультурной истории,

миграций и межкультурных контактов в макрорегионе в контексте взаимодействия с природной средой и проч. В промежутках между конференциями действовал Координационный совет, утверждённый Министерством высшего образования в 1981 г., который изначально возглавлял акад. А. П. Окладников (позже акад. А. П. Деревянко); заместителем была один из лидеров сибирской археологии, проф. ТГУ Л. А. Чиндина. Влияние конференции на развитие сибирской этнографии и шире — междисциплинарных исследований в регионе было и остается значительным и на научно-практическом, и на фундаментальном уровнях [*Черная* 2017].

На этот методологический эффект изначально рассчитывали «отцы-основатели» конференции, среди которых особое место занимал А. П. Дульзон. Известный лингвист, профессор Саратовского педагогического института, будучи этническим немцем, в 1941 г. он был депортирован в Томск. С 1944 г. преподавал в Томском педагогическом институте; проводил лингвистические, этнографические, археологические экспедиции на территории Томской области и в соседних регионах. Находясь под надзором (до 1954 г.) развернул широкую деятельность по изучению проблем происхождения народов Сибири и их языков. Результатом работы ученого стали многочисленные издания, в том числе монография «Кетский язык» 1968 г., удостоенная Государственной премии.

В 1947 г. под руководством А. П. Дульзона была составлена программа исследований, опубликованная в 1952 г. в Ученых записках ТГУ. В основу перспективного плана был положен системный походе к изучению процессов глотто-, культур- и этногенеза. В его развитии в 1958 г., пользовавшийся огромным авторитетом в стране, ученый инициировал проведение Всесоюзной научной конференции по проблемам происхождения аборигенов Сибири и их языков, которая была регулярной до конца 1970-х гг. Ее концепцию наследовала международная научная конференция «Аборигены Сибири: проблемы сохранения исчезающих языков и культур», состоявшаяся в Новосибирске в 1995 г., и другие научные форумы [*Галкина, Осипова* 1995].

Одним из самых значимых в творчестве А. П. Дульзона и его младших коллег был проект по комплексному изучению чулымцев. В ходе работы (при участии антропологов ТГУ Н. С. Розова, В. А. Дрёмова, этнографов Э. Л. Львовой и Н. А. Томилова) обитатели таежного Причулымья были впервые описаны как один из коренных малочисленных тюркоязычных народов Сибири. Уже в 2000-е гг. они подтвердили свой статус на законодательном уровне.

Сюжеты тюркской истории получили развитие в работах Л. И. Шерстовой, которая после окончания АГУ и аспирантуры в ЛГУ вошла в научное сообщество Томска. Ее кандидатская диссертация 1986 г. «Алтай-кижи в конце XIX — начале XX в. (История формирования этноконфессиональной общности)», а затем докторская «Этнополитическая история тюрков

Южной Сибири. XVII — начало XX в.» 1999 г. стали заметными событиями сибирской тюркологии.

В понимании Л. И. Шерстовой, этнополитическая история являлась частью широко трактуемого процесса этногенеза, который представлял собой становление и трансформацию этнических сообществ вплоть до обретения ими устойчивого самосознания; каждый из этапов этого исторического процесса был связан с конкретной формой идентификации (родовой, территориальной, социокультурной и т. д.); возможным итогом развития этнического сообщества являлось его политическое самоопределение.

На материалах истории тюркских народов Южной Сибири XVII–XX вв., Л. И. Шерстова пришла к выводу о том, что этническая история, являясь формой их самоопределения во времени и пространстве, имела многокомпонентный характер; при этом формирование административно-политических систем в реальности часто опережало сложение этнических сообществ, и тогда в их развитии большое значение приобретали государственные практики [*Шерстова* 1999].

Проявление этнического через политическое (или политического через этническое) стало актуальной темой для исследований ученых сибирских этнографических центров конца XX в. Позже именно такой подход лег в основу работ новосибирского этнографа И. В. Октябрьской, посвященных этнической/этнополитической истории казахов Алтая в их взаимодействии с полиэтничным сообществом региона XIX–XX вв.

Тюркология традиционно занимала одно из значимых мест в структуре этнографических (этнологических) исследований томского научного центра. Но знаковым для него стали труды, посвященные этногенезу, истории и культуре угро-самодийских народов Приобья. В одном ряду с работами признанных археологов Л. А. Чиндиной, А. И. Бобровой, Е. А. Васильева и др. стояли сочинения Н. В. Лукиной, В. М. Кулемзина, О. М. Рындиной, Н. А. Тучковой и др.

Итогом масштабной долговременной программы Проблемной лаборатории ТГУ по изучению культурно-исторических процессов в Западной Сибири с древности до современности стали пять томов серии «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири», изданные на базе университета в 1990-е гг. Они объединили исследования антропологов, археологов и этнографов — материалы по обским уграм и селькупам (Н. В. Лукиной, В. М. Кулемзина, Я. А. Яковлева, О. М. Рындиной), тюркам (В. М. Кулезина), русским (П. Е. Бардиной).

В основе большинства реализованных проектов томского научного центра, посвященных традиционным культурам Сибири, лежали ставшие классическими для российской этнографии и фольклористики (со времен освоения эволюционной теории) принципы систематизации и типологизации, методы ретроспекций и историко-этнографических реконструкций.

Вместе с тем, именно томские этнографы в 1980-е гг. впервые заявили о темах, ставших актуальными для гуманитарной науки лишь некоторое время спустя. Так, в монографии 1984 г. «Человек и природа в верованиях хантов» В. М. Кулемзина (при обязательной для того времени риторике научного атеизма) была раскрыта синкретичная природа традиционного мировоззрения. Автор рассматривал его как единую (мифо-экологическую) систему, в которой представления о жизни имели всеобъемлющий характер.

Этот же подход был реализован в исследованиях по хакасам М. С. Усмановой, а также в 3-томной монографии «Традиционное мировоззрении тюрков Южной Сибири» 1988–1990 гг., подготовленной с участием новосибирских и томских ученых (учеников и единомышленников Э. Л. Львовой — М. С. Усмановой, А. М. Сагалаева, И. В. Октябрьской).

Творческие поиски и обширность экспедиционного поля определяли особенности и перспективы этнографического/этнологического направления в деятельности томского научного центра второй половины XX в. Общим трендом исследований в Сибири того времени была их ориентация на актуальные вызовы современности.

Еще в 1957 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера», в котором отмечалось, что на основе ленинской национальной политики народы Севера достигли успехов в своем экономическом и культурном развитии. «В прошлом многие из этих народностей не имели письменности, вели преимущественно кочевой образ жизни и были обречены на вымирание. Теперь, в условиях советского социалистического строя, в этих районах создана горнодобывающая промышленность, оснащенная современной техникой, получили развитие рыбная промышленность, водный и воздушный транспорт, а в Коми АССР, Ямало-Ненецком и Таймырском национальных округах построены железные дороги. Народы Крайнего Севера в результате социалистических преобразований при братской помощи всех народов Советского Союза в основном перешли на оседлость, обеспечили подъем хозяйства, вырастили значительную группу своей интеллигенции, располагают сетью школ, лечебно-профилактических и культурно-просветительных учреждений и в ряде мест построили благоустроенные поселки, имеют большие возможности для дальнейшего развития своей экономики и культуры. Вместе с тем, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают, что созданные возможности для всестороннего и успешного хозяйственного и культурного строительства используются плохо» [О мерах 1957].

После того, как на XXII съезде КПСС в 1961 г. была принята новая Программа партии, процессы хозяйственного и культурного строительства на Севере были подчинены задачам углубления интернационализации всех сторон общественной жизни, развитию советского народа как целостной общности [*Ноговищев* 2019]. С начала 1960-х гг. дальнейшее развитие на-

родов Западной Сибири связывали с формированием хозяйственного комплекса, ключевую роль в котором играли нефтяная и газовая отрасли. В ходе расширения нового добывающего района происходило его активное заселение. По оценкам экспертов, темпы роста населения севера Западной Сибири в 1960–1980-е гг. превосходили показатели РСФСР. Освоение ресурсов региона сопровождалось градообразованием и трансформацией традиционной среды обитания коренного и старожильческого населения. Проблема адаптации локальных сообществ к условиям форсированной индустриализации и урбанизации, как и необходимость сохранения культурного многообразия, рождали новые риски и вызова; определяли исследовательские задачи, которые решала гуманитарная наука и в центре, и на местах.

В 1963 г. при Объединенном ученом совете СО АН СССР возникла Сибирская секция по проблемам развития национальных отношений. В 1968 г. по инициативе А. П. Окладникова был создан сектор комплексных исследований проблем развития народов Сибири, который возглавил выходец из партийной, управленческой среды, социолог В. И. Бойко (позже чл.-корр. АН СССР). В АН СССР разрабатывалась программа «Социальное и экономическое развитие народностей Севера». Главной ее целью была обозначена концепция развития аборигенных сообществ в условиях научно-технического прогресса. Проекты новосибирских социологов корреспондировали с прикладными исследованиями сектора по изучению социалистического строительства у малых народов Севера (позже сектор Крайнего Севера и Сибири) ИЭ АН СССР.

Большое влияние на становление этносоциологии в регионах оказал сектор конкретных социологических исследований (позднее отдел этносоциологии), созданный в ИЭ АН СССР в 1966 г. Его возглавил док-р ист. наук Ю. В. Арутюнян — автор монографии «Массовые индустриальные кадры сельского хозяйства СССР (1929–1957)», инициатор проведения конкретно-социологических исследований российской деревни в рамках Исследовательского комитета по социологическим проблемам села Советской социологической ассоциации. В 1970-е гг. коллективом под руководством Ю. В. Арутюнян выполнялось исследование по оптимизация социально-культурных условий развития наций СССР [*Арутюнян* 1968, 1972].

В ходе реализации сходного проекта на базе СО РАН под руководством В. И. Бойко было осуществлено масштабное обследование коренного населения Амура, Якутии, Читинской, Сахалинской, Камчатской и др. областей; подготовлена серия аналитических публикаций. Выводы, сделанные в них, были ориентированы на интеграционный характер модернизации и разработку принципов управления процессами интернационализации в ходе социальных трансформаций коренных народов Сибири [*Бойко* 1973, 1986]. При этом исследователи подчеркивали противоречивый характер индустриализации и урбанизации макрорегиона — с одной стороны эти процессы были

связаны с изменением системы ценностей коренного населения, а с другой — оборачивались ростом социально-экономической напряженности и культурной гибридизацией/маргинализацией (в риторике уже 1990-х гг.).

Для решения возникших проблем в 1981 г. на базе ИИФФ СО РАН была организована Межведомственная комиссия СО АН СССР, СО АМН СССР и СО ВАСХНИЛ, которая осуществляла координацию социально-экономических, медико-биологических и лингвистических исследований проблем развития малочисленных народностей Севера. Ее возглавил В. И. Бойко. Результатом деятельности комиссии стала комплексная прогнозная концепция развития народов Севера [Программа 1987]. По итогам дискуссии в российской науке и в нормативно-правовой сфере в 1990-е гг. утвердились концепты культурно-ориентированной модернизации и многовариантного саморазвития коренных народов Сибири и Севера; этнологическая экспертиза была признана в качестве важного инструмента системы управления [*Пивнева* 2021].

В ходе реорганизации ИИФФ СО РАН этносоциологическое направление продолжало развиваться на базе Института философии и права СО РАН под руководством философа Ю. В. Попкова. В ИАЭТ СО РАН была создана группа этносоциологических и демографических исследований В. И. Бойко, которая в дальнейшем вошла в состав отдела этнографии. Большое значения для развития этносоциальных исследований в ИАЭТ СО РАН имели совместные проекты с отделом социологии ИОПП СО РАН по оценкам миграционных процессов и человеческого потенциала Сибири [*Костюк, Персидская* 2007].

В настоящее время исследования в этой сфере активно реализуются при участии И. В. Октябрьской, В. В. Николаева, А. П. Чемчиевой, В. В. Лыгденовой и др. ученых. В круг исследовательских интересов новосибирских этнографов входят проблемы урбанизации, оценки современных диаспоральных, этноконфессиональных процессов и форм межэтнического диалога. Характер их работ во многом определяют становление современных стратегий и законодательно оформленных концепций эффективного устойчивого развития Сибири в их региональных вариантах.

В 1970–1980-е гг. этносоциальные исследования синхронно развивались в научных центрах Москвы, Новосибирска, Томска и др. городов. Одним из первых среди сибирских этнографов методологию и методы этносоциологии в ее советской редакции стал использовать Н. А. Томилов — выпускник ТГУ, в 1960–1970-е гг. сотрудник Проблемной лаборатории университета. В 1973 г. в ИЭ АН СССР под руководством И. С. Гурвича он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Современные этнические, культурные и бытовые процессы среди сибирских татар» и был (как и В. И. Матющенко) приглашен для работы в Омский государственный университет/ОмГУ. С этого события началось формирование этнографического подразделения

в Омске, которое проходило при активном взаимодействии с этнографическими научными центрами России.

Историки науки вполне обоснованно полагают, что к 2000-м гг. в ОмГУ сложилась собственная этнографическая школа. Она опиралась на традиции Русского географического общества, достижения и возможности регионального краеведения, потенциал местных музеев, практики сохранения культурного наследия. Начало этнографии в Омске с середины XIX в. связывают с именем Ч. Ч. Валиханова. Чингизид по рождению (правнук Абылай-хана), он был блестящим офицером; занимался изучением Степного края, Центральной Азии и Восточного Туркестана; являлся действительным членом ИРГО.

Вслед за созданием Западно-Сибирского отдела общества, экспедиционная (в том числе этнографическая) деятельность в регионе вышла на новый уровень — работы велись не только в Сибири, но и в Казахстане, Монголии, Северо-Западном Китае. В 1897 г. в музее отдела было выделено этнографическое направление. В ходе политических преобразований и утверждения советской власти в Сибири музейная этнография и краеведение приобрели новый импульс к развитию. На долгие десятилетия музей, вышедший из структуры географического общества (в 1921–1923 гг. он был Западно-Сибирским краевым, с 1934 г. — Омским областным краеведческим музеем), стал основным этнографическим центром региона. Исследования этнографии Азии вела в Омском педагогическом институте И. В. Захарова. Точкой отчета в формировании омского научного центра стал 1974 г. — год основания Омского университета [*Захарова, Томилов* 2007: 21–23].

К 1970-м гг. Омск (в связи со становлением Западно-Сибирского народно-хозяйственного комплекса) стал одним из динамично развивающихся промышленных центров России. Омские власти неоднократно выступали с предложениями о формировании здесь сети академических институтов, обеспечивающих научную поддержку программ социально-экономического развития. Однако городское, региональное сообщество настояло на создании классического университета. Академик А. П. Окладников курировал его гуманитарное отделение в первые годы становления. Принципы организации гуманитарной науки, сложившиеся в новосибирском и томском научных центрах, были перенесены на омскую почву.

Становление этнографического отделения в ОмГУ под руководством Н. А. Томилова опиралось на организацию широкомасштабных экспедиционных, архивных и музейных практик в границах Западной Сибири; начиналось с создания университетского Музея археологии и этнографии.

В 1983 г. Н. А. Томилов защитил докторскую диссертацию на тему: «Этническая история тюрко-язычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI — начале XX в.»; в 1985 г. возглавил кафедру этнографии, историографии и источниковедения истории СССР (ныне кафедра этнологии,

антропологии, археологии и музеологии) исторического факультета ОмГУ. Сложившийся на кафедре коллектив уже в 1980-е гг. убедительно заявил о себе реализацией значимых в масштабах Западной Сибири проектов: это была работа с музейными собраниями региона и исследования современных этнических процессов [*Смирнова* 2019; *Томилов* 2011].

При поддержке ОмГУ была издана серия каталогов и аналитических обзоров по истории музеев Сибири. В квалификационных, затем монографических работах выпускников и сотрудников кафедры Г. М. Патрушевой, И. В. Лоткина, Т. Б. Смирновой, Д. Г. Коровушкина, Л. Т. Шаргородского, Ш. К. Ахметовой, М. А. Жигуновой и др. была дана оценка социокультурных изменений в сельских и городских локациях полиэтничного сообщества Западной Сибири. Исследования проводились среди татар, шорцев, селькупов, казахов, чувашей, латышей, эстонцев, немцев, русских. Выявление общих и специфических тенденций развития региональных этнических сообществ на прикладном уровне стало важным элементом управления национальными процессами на местах; на теоретическом — позволило сформулировать концепцию «открытых» этнических сообществ [*Жигунова* 2014].

От актуальных этносоциологических исследований сотрудники Омского центра перешли к углубленному изучению этноэкологических, этнокультурных, этноконфессиональных, этноисторических процессов народов Западной Сибири в большом хронологическом диапазоне — от позднего средневековья до современности. В работах Н. А. Томилова, Ш. К. Ахметовой, С. Н. Карусенко, А. Г. Селезнева, М. А. Карусенко, И. А. Селезневой, Д. А. Мягкова, И. В. Толпеко и др. на основе историко-культурного, этно-исторического, этно-генеалогического и др. подходов были прослежены этапы и выявлены закономерности становления и развития тюркских сообществ Обь-Иртышского междуречья (казахов, чулымцев, тарских, барабинских, курдакско-саргатских татар, сибирских бухарцев и тд.). Площадками для обсуждения проблем истории и культуры тюркских народов стали конференции и семинары «Степной край Евразии», «Казахи России: история и современность» и др., которые до настоящего времени регулярно проводятся в ОмГУ при поддержке академических и университетских центров России и Казахстана [*Томилов* 2007, 2011].

Тюркология стала одним из основных направлений омского научного центра с 1970-х гг. Впервые всесоюзная конференция «Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий» была проведена в ОмГУ в 1979 г.; следующие состоялись в 1984 гг., 1992 г., 1998 г. Их продолжением стал Международный научный конгресс 2011 г. «Этническая история и культура тюркских народов Евразии (по данным антропологии, археологии, культурологии, лингвистики, фольклористики и этнографии)», который позволил обозначить место омского научного центра под руководством Н. А. Томилова в отечественных и шире в евразийских комплексных

тюркологических исследованиях. До настоящего времени он играет координирующую роль в развитии сибирской тюркологии.

Русская (славянская), в том числе, городская этнография была представлена в ОмГУ работами Т. Н. Золотовой, М. А. Жигуновой, М. Л. Бережновой и др. Не менее важным направлением в деятельности центра было и остается изучение межнациональных контактов, форм самосознания, способов его презентации и осмысления у народов Сибири. На материалах русских, украинских, немецких сообществ в работах Т. Б. Смирновой, М. А. Жигуновой, М. Л. Бережновой, Т. Н. Золотовой, П. П. Вибе, А. Н. Блиновой и др. ученых раскрывается феномен идентификации на личностном и групповом уровне, вариативно представленный диаспоральными, этническими, локальными, региональными и общенациональным компонентами. Благодаря деятельности Т. Б. Смирновой и ее учеников немецкая диаспоральная проблематика в 1990-е гг. выделяется в отдельное направление. Категория «диаспоры» занимает важное место в изучении этнополитических реалий постсоветской Сибири [*Смирнова* 2019; *Томилов* 2011].

В 1993 г. в ОмГУ была организована первая научно-практическая конференция «Немцы Сибири: история и культура», которая регулярно проводилась до последнего времени. В развитии ситуации в 1996 г. была создана научно-исследовательская лаборатория этнографии и истории немцев Сибири. Ее работа была организована в тесном взаимодействии с Международной ассоциацией исследователей истории и культуры российских немцев.

Широкие контакты с государственными структурами, ориентированными на решение национальных проблем, с общественными научными организациями и национальными культурными центрами Сибири, России в целом и ближнего зарубежья являются отличительной чертой омского научного центра, в деятельности которого изначально органично сочетались прикладные и аналитические исследования.

Методологию исследований этнографов Омска определяют теоретические разработки в области этнической истории и этногенеза. Понимание этих процессов в продолжении антропо- и расогенеза, как составляющих всемирно-исторического процесса, было одним из выводов дискуссии, развернувшейся в советской науке в конце 1980-х гг.

В развитии темы в 1993 г. вышла обобщающая монография Н. А. Томилова «Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI — начале XX вв.». Рассматривая концепт «этнической истории», ученый, обозначил многокомпонентный характер этой категории, выделив в ее составе этнокультурную, этноязыковую, этнотерриториальную и др. составляющие, в том числе этносоциальную историю, под которой следует понимать не только динамику этнических свойств социальных институтов, но и историю этносоциальных организмов в целом [*Томилов* 1993: 17–27].

Анализируя понятие «этнической истории», Н. А. Томилов концептуально оформил точку зрения ряда российских авторов, ориентированных на расширительное толкование этого понятия в интерпретации исторических сюжетов Сибирского и шире — Центрально-Азиатского, региона. Рассматривая этническую историю в единстве этногенеза, этнического развития (этнодинамики) и этнической трансформации, исследователь обозначил ее принципиальную непрерывность, многофакторность и универсальность, распространив этот понятие на все разновидности историко-культурных общностей — этнографических, этнических, этносоциальных [*Томилов* 1993: 17–27].

Теоретико-методологические положения Н. А. Томилова нашли поддержку и продолжение в работах многих сибирских авторов, работы которых, посвященные этнической истории народов Сибири, выходили в 1990–2000-е гг. Расширительная трактовка этногенеза легла в основу, выведя на новый уровень археолого-этнографические исследования объектов истории и культуры нового и новейшего времени.

С 1990-х гг. Н. А. Томилов, его ученики и младшие коллеги разрабатывали принципы такого направления как «этноархеология». В 1993 г. на базе ОмГУ была создана группа (позднее лаборатория) по проведению исследований многокомпонентных этнографо-археологических социокультурных комплексов; начал работу семинар (а затем международный симпозиум) «Интеграция археологических и этнографических исследований». Работы в этом направлении объединили омских ученых — археологов и этнографов (М. А. Корусенко, Л. В. Татаурова, С. С. Тихонов, С. Ф. Татауров, М. Л. Бережнова, Л. М. Кадыров, А. В. Матвеев, К. Н. Тихомиров и др.), их томских и новосибирских коллег [*Томилов* 2007, 2011].

На протяжении последних десятилетий методы этноархеологии активно осваивались учеными Новосибирска, Томска, Сургута и т. д. Это направление стало новой формой интеграционных исследований сибирских центров археологии и этнографии.

С 1990-х гг. Омский научный центр существовал в тесном взаимодействии со структурами Сибирского отделения РАН. В 1991 г. был создан Омский филиал Объединенного института истории, филологии и философии Сибирского отделения РАН; с 2006 г. — филиал ИАЭТ СО РАН. Он активно сотрудничал с Омским филиалом Российского института культурологии (созданным в 1993 г.); в настоящее время занимает одно из лидирующих мест в изучении полиэтничного сибирского региона и продолжает наращивать свой потенциал.

* * *

Межрегиональная, межотраслевая интеграция определяла стратегию развития гуманитарных подразделений СО РАН на всем протяжении его истории. В постсоветский период они переживали сложный процесс реструктуризации. Менялись формы институализации сибирской этнографии/этнологии, ее концепции и подходы. Этот процесс, совпадал с реформированием системы высшего образования. На уровне университетской и академической систем этнография/ этнология расширяла свое присутствие и творческий диапазон, приближаясь к направлениям социальной и культурной антропологии, устной истории, истории повседневности и т. д. На национальном и региональном уровне происходила диверсификация науки.

В 1989 г. возникла Лаборатория языков и культуры коренных народов Сибирского Севера, в 1990 г. — Лаборатория археологии Тюменского научного центра СО АН СССР; их развитие происходило в рамках Института проблем освоения Севера СО РАН. В последние десятилетия проектами по этнографическому краеведению заявил о себе существующий с 1990 г. Центр устной истории и этнографии АлтГПУ в Барнауле. Его становление началось под руководством проф. Т. К. Щегловой. Новые приоритеты стали результатом изменений в регионалистике, где фокус исследований был перенесен с идеологизированного социально-политического контекста в сферу этнически маркированной повседневности. В том же ключе развивалась Лаборатория социально-антропологических исследований, созданная в ТГУ в 2013 г.; Кузбасская лаборатория археологии и этнографии была основана в КемГУ в 1995 г.; Лаборатория археологии и этнографии — в 2015 г. в ТюмГУ.

В настоящее время научные этнографические центры Сибири реализуют оригинальные и интеграционные, междисциплинарные исследования. Их сфера расширяется. В целом деятельность региональных научных центров была и остается ориентированной на изучение этнических, этнокультурных и этноконфессиональных сообществ азиатской части России в динамике развития на всех этапах их становления и трансформации от прошлого до современности. Сотрудничества с административными и общественными структурами в решении актуальных проблем современности определяют их перспективы в регионах.

Отделения этнографии/этнологии в академических и университетских центрах городов Западной Сибири продолжают динамично развивается. При этом актуальной остается необходимость координации их деятельности. Системность определяя будущее гуманитарной науки, в том числе, сибирских научных этнографических центров.

Источники и литература

Абрамзон С. М. Пленум Института этнографии (декабрь 1937 г.) // Советская этнография. Сб. статей. Вып. I. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 230–232.

Алымов С. С. Космополитизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940–1950-х годов // Новое литературное обозрение. 2009. № 3. С. 7–36.

Андрющенко Б. К. Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета — 40 лет // Вестник Томского государственного университета. История. 2008. № 3 (4). С. 8–12.

Арутюнов С. А. Новые книги о ранних формах религии // Советская этнография. 1977. № 2. С. 154–158.

Арутюнян Ю. В. Опыт социологического изучения села. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 104 с.

Арутюнян Ю. В. Изменение социальной структуры советских наций» // История СССР. 1972. № 4. С. 3–20.

Бакшеев А. И. Сибирское областничество: XIX — начало XX в. // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2019. № 3. С. 126–137.

Бауло А. В. Экспедиции Измаила Гемуева к манси: этнокультурные исследования в Нижнем Приобье. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. Т. 1: 1983–1985 годы. 284 с.

Бойко В. И. Опыт социологического исследования проблем развития народов Нижнего Амура. Новосибирск: Наука. Сибирск. отд-ние, 1973. 211 с.

Бойко В. И. Социальные проблемы труда у народностей Севера. Новосибирск: Наука, 1986. 213 с.

Галкина Т. В., Осипова О. А. А. П. Дульзон: [Лингвист, археолог, этнограф]: К 95-летию со дня рождения. Томск: б. и., 1995. 74 с.

Галкина Т. В., Топчий А. Т. Первый этнограф Томского университета // Вестник Томского государственного университета. 1999. № 268. С. 133–137.

Головнев А. В. Этнография в российской академической традиции // Этнография. 2018. № 1. С. 6–36.

Дьяконова В. П., Решетов А. М. О Леониде Павловиче Потапове // Этнографическое обозрение. 2002. № 2. С. 125–131.

Жигунова М. А. Омская этнографическая научная школа // Вестник Омского университета. 2014. № 3. С. 193–195.

Захарова И. В., Томилов Н. А. Этнографические научные центры Западной Сибири середины XIX — начала XXI века. Омский этнографический центр. Омск: Наука, 2007. 400 с.

Илюшина Т. В. История картографии Азиатской России // Наука в России. 2006. № 4. С. 106–112.

Красильников С. А. Общественные формы организации науки в Сибири во второй половине 1920-х гг. // Формы организации науки в Сибири: Исторический аспект. Новосибирск: Наука: Сибирское отделение, 1988. С. 120–144.

Костюк В. Г. Персидская О. А. Новосибирская школа этносоциологии: этапы становления, основные результаты // Гуманитарные науки в Сибири, 2007, № 1. С. 14–18.

Курочкина Е. Ф. Из истории организации научно-исследовательской работы в Сибири (Общество по изучению Сибири и ее производительных сил) // Бахрушинские чтения. 1966. Новосибирск: б. и., 1968. Вып. 3: Сибирь в эпоху социализма. С. 134–146.

Литвинов А. В. Образование и наука в Томском государственном университете в 20–30-е гг. XX в. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. 156 с.

Молодин В. И. Этногенез // История и культура хантов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. С. 3–44.

Некрылов С. А., Фоминых С. Ф., Меркулов С. А., Литвинов А. В. Институт исследования Сибири и изучение истории, археологии и этнографии региона (1919–1920 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 365. С. 77–81.

Ноговищев А. Ю. Национальный вопрос в подготовке Программы КПСС 1961 года (по материалам писем трудящихся) // Наука на благо человечества. 2019. М.: Издательство МГОУ, 2019. С. 149–153.

Окладников А. П. Открытие Сибири. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. 206 с.

О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 16 марта 1957 г. № 300. URL: https://docs.cntd.ru/document/765714380

Октябрьская И. В. Новосибирский центр этнографии: история и современность // Этнография. 2018, № 1. С. 195–211.

Октябрьская И. В., Романова Е. Н. Североведение в истории российской этнографии: от описания народов к конструированию этничности // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2020, № 3. С. 9–20.

Очерки деятельности Русского географического общества за 170 лет: 1845–2015. М.: Исполнительная дирекция Русского географического общества, 2015. 300 с.

Памяти И. Н. Гемуева: Сборник научных статей и воспоминаний/А. В. Бауло / Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии, 2007. 248 с.

Пелих Г. И. Ретроспективно-этнографическое изучение этногенетических процессов // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1969. С. 235–236.

Петри Б. Э. Задачи дальнейшего исследования туземцев Сибири и метод обследования целых народностей // Труды Первого сибирского краеведческого научно-исследовательского съезда. Новосибирск, 1928. Т. 5.

Пивнева Е. А. Советское этнографическое североведение второй половины XX в. в зеркале научного наследия З. П. Соколовой (московская школа) // Вестник угроведения, 2021, № 4. С. 780–788.

Попов Д. И. Общество изучения Сибири и краеведческое движение в России в начале XX века // Вестник Омского университета, 2004, № 3. С. 108–111.

Программа координации исследований «Социальное и экономическое развитие народностей Севера в условиях научно-технического прогресса («Народности Севера»). Новосибирск: СО АН СССР, 1987. 297 с.

Профессора Томского университета: Биографический словарь (1980–2003). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. Т. 4, Ч. 2. 424 с.

Смирнова Т. Б. Омская школа этнографии // Этнография. 2019. № 4. С. 181–194.

Соколовский С. В. Общественные трансформации и «кризис» науки // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 26–52.

Струве В. В. Советская этнография и ее перспективы // Советская этнография. Сб. статей. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 3–10.

Таксами Ч. М. Вклад наших предшественников — этнографов–сибиреведов в изучение культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Культура народов Сибири. СПб.: МАЭ РАН, 1997. С. 5–15.

Тихонов С. С. Рыцарь сибирской археологии // Рыцарь сибирской археологии. Сборник, посвященный памяти В. И. Матющенко. Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. С. 4–12.

Толстов С. П. Итоги совещания по этногенезу народов Севера // КСИИМК. Вып. IX. 1941. С. 3–5.

Томилов Н. А. Проблемы этнической истории (по материалам Западной Сибири). Томск: Издательство Том. Университета, 1993. 222 с.

Томилов Н. А. Новосибирский областной краеведческий музей (Краткий исторический очерк) // Хозяйство русских в коллекциях Новосибирского областного краеведческого музея. Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1996. С. 6–48.

Томилов Н. А. Периодизация этнографического сибиреведения и истории этнографических центров в Сибири // Проблемы общей и региональной этнографии: (к 75-летию А. М. Решетова): сборник статей. СПб.: МАЭ РАН, 2007. С. 110–120.

Томилов Н. А. Теоретические исследования ученых омского этнографического центра // Методология науки. Материалы Всероссийской научной шко-

лы. 2011. Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2011. С. 80–86.
Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Томск: Типография Сибирского Товарищества печатного дела и Дома трудолюбия, 1919. Ч. I–IV. 460 с.
Туманова А. С. Общественные организации и союзы России в начале XX века. // Россия и современный мир. 2002. № 3. С. 120–137.
Фурсова Е. Ф. Становление и развитие отдела этнографии в Новосибирском научном центре (1960–2000-е гг.) // Культурологический сборник: исследования по культуре Западной Сибири и Северного Казахстана. К 25-летию Сибирского филиала Института Наследия. М.: Институт Наследия, 2019. С. 53–61.
Черная М. П. XVII Западносибирская археолого-этнографическая конференция в Томске: новый шаг в 45-летней истории ЗСАЭК // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2017. Т. 16. № 3. Археологи и этнография. С. 141–151.
Шерстова Л. И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири, XVII — начало XX вв. Томск: ТПУ, 1999. 432 с.
Этногенез народов Севера / отв. ред. И. С. Гурвич. М.: Наука, 1980. 281 с.

Глава 7. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК КАК ОБЪЕКТ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Топоним «Дальний Восток», обозначающий сегодня обширную территорию, простирающуюся почти на 4500 км вдоль северо-западного побережья Тихого океана и его морей, до начала XX в. не был распространен в отечественном общественно-политическом и научном дискурсе. Огромный регион с богатой первозданной природой и живущими в гармонии с ней «инородцами» на протяжении более 350 лет был составной частью Сибири. Северо-Восточные районы Дальнего Востока были включены в этот мегарегион в конце XVII — начале XVIII вв., а территории юга Дальнего Востока — в середине XIX в. Только в 1884 г. было создано Приамурское генерал-губернаторство, положив начало административной «самостоятельности» Дальнего Востока и запустив процессы формирования отличной от сибирской дальневосточной идентичности («амурцы», «дальневосточники») [*Ремнев* 2003: 24]. В годы Гражданской войны и в период советского строительства территории Дальнего Востока получили административное оформление как Дальне-Восточная Республика (1920–1922 гг.), Дальневосточная область (1922–1926 гг.), Дальневосточный край (1926–1938 гг.). В эту эпоху топоним Дальний Восток прочно закрепился в общественном сознании граждан страны, сформировался образ региона, пронизанный особой дальневосточной романтикой, экзотикой. И если первое было больше связано с природными богатствами, то второе — в немалой степени было обусловлено неоднородным и многоликим составом населения региона, многообразие которого в годы СССР еще более возросло.

В данном разделе будут рассмотрены сюжеты, связанные с развитием этнографических или народоведческих исследований на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг. В эти первые советские десятилетия народоведы, будь то этнографы, историки, востоковеды или лингвисты, должны были решать важные прикладные задачи осуществления социалистических культурных преобразований, направленных на всё полиэтничное население Дальнего Востока. Его характерные особенности сформировались уже к началу XX в.: преобладающее восточнославянское население, немногочисленные, но этнически разнообразные аборигенные народы, значительное число представителей этнических сообществ российского происхождения и иностранных мигрантов из стран Восточной Азии.

Статистические материалы показывают, что в середине 1920-х гг. более 100 национальностей проживали на Дальнем Востоке России, самой многочисленной (62,4%) были русские. По сведениям о национальном составе Дальневосточной республики, сообщаемым Дальревкомом в ноябре 1922 г.

в Наркомнац Сталину, значительную группу населения составляли украинцы — около 350000 чел., т. е. 60% населения Приамурья и Приморья, евреи — 10600 чел., тюрко-татары — 9000 чел. [Культурно-национальная 1999: 4]. Численность других этнических сообществ (поляков, немцев, латышей, эстонцев и др.) была небольшой. К туземному населению Дальневосточной республики в государственной системе учета были отнесены буряты (108,8 тыс. чел.), якуты (3000 чел.), тунгусы (8848 чел.), а также самагиры (425 чел.), негидальцы (423 чел.), ольчи (1387 чел.), ороки (759 чел.), манегры (160 чел.), дауры, маньчжуры, солоны (15 чел.), гольды (5016 чел.), орочоны (2316 чел.), гиляки (4365 чел.), айны (1162 чел.) [*Раднаева* 2010: 51].

Иммигранты из государств Восточной Азии (Кореи, Китая, Японии), появившиеся на Дальнем Востоке после присоединения Приамурья и Приморья в середине XIX в., к середине 20-х гг. XX в. были одной из самых многочисленных групп неславянского населения. Они делились на две категории: российские подданные и иностранцы. На разных этапах соотношение иностранных подданных из числа корейцев, китайцев и японцев и тех из них, кто, принял российское подданство, было разным. Так, в 1922 г. численность корейцев составила более 100 тыс. чел., из них русско-подданных 60 тыс. чел. [Дальний Восток 2018: 124; Культурно-национальная 1999: 4].

Значительное увеличение численности иммигрантов из Азии на территории региона произошло с 1923 по 1926 гг. К началу 1924 г. в Забайкальской, Амурской, Приморской губерниях (без Камчатской и Сахалинской областей) было зарегистрировано 50 183 китайца, 110 480 корейцев и 1095 японцев, что составляло соответственно 3,2%, 7,0% и 0,07% населения. Большая их часть проживала на юге Дальнего Востока в Приморской губернии (современные Приморский и Хабаровский края). Перепись 1926 г. в границах Читинского, Зейского, Стретенского, Амурского, Николаевского, Хабаровского, Владивостокского, Камчатского, Сахалинского округов зафиксировала уже 168 009 корейцев, в том числе, 49,4% иностранных подданных; 72 005 китайцев (94,9% иностранцев), что составляло соответственно 9,7 и 4,2% населения Дальневосточного края. [Дальний Восток 2018: 124]. В последующие годы численность китайцев сокращалась, составляя от 50 тыс. до 70 тыс. чел., а корейцев увеличивалась от 160 тыс. до 180 тыс. чел.

К середине 1930-х гг., согласно статистике, на Дальнем Востоке России проживали представители свыше 70 этнических общностей. В сравнении с 1920-ми гг. произошло их заметное уменьшение, что связано с изменениями учета национальной принадлежности населения, который был преобразован в русле политических и идеологических установок эпохи социалистических преобразований. К этому времени сложилась номенклатура аборигенных народов, что также привело к сокращению их перечня. По-прежнему в совокупности самыми многочисленными были восточнославянские народы.

По данным переписи 1937 г. идентифицировали себя как русские — 66,8% населения Дальневосточного края, 14,4% — украинцы, 1,6% — белорусы, 1,5% — евреи, 7,3% — корейцы, 1% — китайцы. Перепись 1939 г. также показала увеличение доли русских до 74,9% (1772,8 тыс. чел.) и белорусов до 1,7% (39,9 тыс. чел.), но кардинальное уменьшение численности восточноазиатских сообществ из-за принудительного выселения практически всех корейцев, японцев и большей части китайцев в 1937–1938 гг. с территории советского Дальнего Востока в Узбекистан, Казахстан и на историческую родину в Китай и Японию. Согласно переписи 1939 г. на Дальнем Востоке было учтено 5,5 тыс. китайцев, которые из приграничных районов Дальнего Востока были перемещены во внутренние. В Приморье, например, перепись 1939 г. зафиксировала только 351 китайца, 64 корейца и 27 японцев [Всесоюзная перепись 1939].

Изменения в этническом составе населения региона в 1920-х — 1930-х гг. в большей степени были связаны со спецификой политики и практики социалистического строительства на Дальнем Востоке России. В орбиту масштабных культурно-политических преобразований были вовлечены все народы Дальневосточной окраины, но особенно пристальное внимание уделялось представителям коренных малочисленных народов и восточноазиатским меньшинствам.

Этнографические исследования коренных малочисленных народов Дальнего Востока в 1920–1930-е гг.

Этнографическое описание-изучение Дальнего Востока началось с появлением отрядов русских землепроходцев у берегов Тихого океана в XVII в. Бесценны как источники и казачьи «скаски», и отписки воевод и приказчиков, и расспросные речи русских землепроходцев [Россия 2017: 5]. В последующие годы также вклад в развитие дальневосточной этнографии внесли не только получившие признание своих этнографических трудов исследователи и ученые, но и моряки, военные, государственные служащие, краеведы, путешественники, покоренные самобытностью дальневосточного края и народов его населяющих. Например, отважный мореплаватель дальневосточных морей, китобой Фридольф Гек во время плаваний собирал предметы культуры и быта народов Севера и передавал этнографические коллекции Обществу изучения Амурского края, членом которого он стал в 1887 г. Собрание эскимосских предметов, сделанное им во время северных рейсов, уникально и не имеет аналогов во всем мире [*Сороколетова, Дробышева* 2020].

В 1755 г. увидела свет первая академическая монография С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки», которая стала результатом первого экспедиционного исследования на Дальнем Востоке, положив начало акаде-

мическому этнографическому изучению населения региона, главным образом коренных народов. Значительный вклад в этнографию народов Дальнего Востока в XVIII — начале XX столетия внесли Г. Ф. Миллер, Г. В. Стеллер, Г. А. Сарычев, А. Ф. Миддендорф, Л. И. Шренк, Л. Я. Штенберг, Б. О. Пилсудский, И. П. Надаров, В. П. Маргаритов, С. Н. Браиловский, И. И. Майнов, В. Г. Богораз, В. И. Иохельсон, Н. Л. Гондатти, В. К. Арсеньев, И. А. Лопатин и др. Возникшие в этот период местные научно-просветительские общества — Общество изучения Амурского края во Владивостоке (1884 г.), Приамурский отдел Русского географического общества в Хабаровске (1894 г.) — придали импульс развитию систематических этнографических исследований на Дальнем Востоке. В 1899 г. открытие во Владивостоке Восточного института положило начало изучению этнографии зарубежных стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония) [*Кузнецов* 2005: 21].

Экспедиции и исследования на Дальнем Востоке не прекращались в годы революции, гражданской войны, в период Дальневосточной республики (6.04.2020–15.11.2022). Их проводили местные и приезжие ученые при содействии Министерства по национальным делам ДВР, Приамурского и Приморского отделений Географического общества. Так, с ноября 1917 г. по весну 2018 г. В. К. Арсеньев работал в экспедиции с А. Н. Липским (Г. Д. Куренков) и Н. А. Липской (Вальронд) у нанайцев, проживающих в районах рек Кур, Урми и Тунгуска. Были собраны данные по материальной культуре и положению аборигенов Кур-Урмийской речной системы. В 1918 г. В. К. Арсеньев на Камчатке провел статистическо-экономическое обследование ительменов и других народов полуострова.

Научных учреждений исторического и этнографического профилей на Дальнем Востоке еще не было, но как раз в этот период началась интенсивная деятельность по их созданию. Инициатива исходила от известных ученых, которых Гражданская война забросила на Дальний Восток. Проживали некоторое время во Владивостоке известный антрополог Е. М. Чепурковский, сотрудники Музея антропологии и этнографии С. М. Широкогоров, А. М. и Л. А. Мерварты. Благодаря их усилиям в 1918 г. во Владивостоке был открыт Историко-Филологический факультет — самостоятельное частное высшее учебное заведение с целью дать возможность местной молодежи получать высшее гуманитарное образование, так как в условиях гражданской войны было невозможно выезжать в другие города страны. Деканом факультета был избран профессор М. Н. Ершов. Обучение студентов проходило на кафедрах сибиреведения, сравнительного языкознания и санскрита, всеобщей истории, философии и педагогики, классической филологии, истории западноевропейской литературы, русского языка и литературы. Среди преподавателей были С. М. Широкогоров, Н. В. Кюнер, А. М. и Л. А. Мерварт, П. П. Шмидт, А. В. Гребенщиков, М. Н. Ершов и др.

В 1920 г. факультет вошел в состав Государственного Дальневосточного университета [Краткий отчет 2001].

Профессура не могла находиться в стороне от политической жизни. Не только живой интерес к текущей политической ситуации, но и активная политическая деятельность была присуща С. М. Широкогорову. Возможно, справедливо в своей статье «Антрополог или политик? Политические пристрастия и теоретические построения Сергея Широкогорова» Д. В. Арзютов назвал Широкогорова едва ли не первым этнографом русской революции и гражданской войны, который жил и наблюдал за политическими процессами на окраине распадающейся империи и объединял в своем лице политика, преподавателя и этнографа. Широкогоров активно публиковался в этот период, были изданы его научные работы о шаманстве у тунгусов, учебные — об этносе, политические — о нации. С. М. Широкогоров не разделял идеологию большевизма и в конце 1922 г, после увольнения из Дальневосточного университета эмигрировал в Шанхай [*Арзютов* 2017: 130–131].

В июне 1924 г. при Президиуме ВЦИК был создан Комитет содействия народностям Севера, ставший центром координации изучения народов Дальнего Востока. Перед Комитетом стояли задачи собрать сведения о расселении, численности, хозяйстве, культуре и быте северных народов. Их выполнение было поручено не только ученым и преподавателям, но и выпускникам и студентам из Москвы и Ленинграда. Следует особо отметить, что «в первое десятилетие советского строительства на Дальнем Востоке на плечи молодых этнографов легла огромная, трудная работа в связи с созданием необходимых экономических и политических предпосылок для приобщения аборигенных народов к новой жизни, для проведения культурной революции» [*Тарасова* 1985: 280––281]. В 1926–1927 гг. и в 1929 г. В. И. Цинциус и К. М. Мыльникова изучали язык и фольклор негидальцев на Амгуни и в прилегающих районах Амура. С 1926 по 1929 г. А. С. Форштейн работал на Чукотке среди азиатских эскимосов. В 1927 г. Б. А. Васильев изучал этнографические особенности культуры и хозяйства ороков Сахалина, в 1928 г. С. Н. Стебницкий — коряков Камчатки, Е. А. Крейнович в 1926–1928 гг. обследовал нивхов Охотского побережья и Сахалина [Народы 1985: 23].

Члены Амурской экспедиции АН СССР, организованной профессором Л. Я. Штернбергом летом 1927 г., в низовье Амура изучали родовой состав, верования, материальную культуру и искусство ульчей и других народов. В том же году этнографическая экспедиция проф. Б. А. Куфтина работала среди орочей и удэгейцев. Необходимо отметить, что этнографы плодотворно занимались научной, практической деятельностью и были в гуще политической жизни: Л. Я. Штернберг был членом Комитета Севера и преподавал на Рабфаке северных народов; большую работу вел в Комитете Севера при Президиуме ВЦИК и в Институте народов Севера В. Г. Богораз. Дальневосточники из Дальстат-управления и Научно-исследовательского института

при Дальневосточном государственном университете в составе П. Н. Орловского, Ф. П. Москаева, Т. З. Семушкина, Г. П. Суханова, А. И. Королева и М. А. Максимова на Крайнем Северо-Востоке в составе Анадырско-Чукотской статистико-экономической экспедиции собирали статистические, экономические данные и этнографические экспонаты. В работе экспедиции принимал участие представитель Комитета содействия народностям Севера К. Я. Лукс. Материалы экспедиции стали серьезной основой для практической работы Комитета [Народы 1985: 25].

В это время этнографическая тематика дальневосточного региона получила известность в России, а затем и за рубежом после опубликования переводов работ русских исследователей. Немалую лепту в популяризацию этнографии Дальнего Востока внес В. К. Арсеньев. Мировую известность ему принесли книги: «Дерсу Узала» (1923), «Лесные люди удэгейцы» (1926), «В горах Сихотэ-Алиня» (1927). Но он помимо создания художественно-научных текстов, занимался всегда практической, научно-организационной и, как сказали бы сегодня, большой экспертной деятельностью, выполнял аналитические работы, характеризующие разные стороны жизни и быта населения Дальнего Востока. Еще до установления советской власти в 1921–1922 гг. он был назначен старшим инспектором морских звериных промыслов Дальнего Востока [Народы 1985: 23], параллельно организовывал проведение первого съезда по изучению Уссурийского края с целью объединить усилия исследователей для изучения жизненного уклада народов Дальнего Востока. Съезд состоялся в апреле 1922 г. в Никольск-Уссурийске, но его решения и рекомендации претворялись в жизнь уже после окончательного установления советской власти. Со своим соавтором Е. И. Титовым, они впервые дали детальную характеристику этнического состава населения Дальнего Востока и анализ хозяйственного уклада каждого народа в работах «Население как производственный фактор» (1926) и «Быт и характер народностей Дальневосточного края» (1928) [*Арсеньев, Титов* 1926; *Арсеньев, Титов* 1928]. Именно эти работы подверглись резкой критики как не отвечающие марксистско-ленинской научной методологии. Ученого, лояльного к Советской власти, обвиняли в применении методов «буржуазной этнографической науки», в шовинизме и неуважении к коренным народам Дальнего Востока. В 1927–1928 гг. всячески доказывал научную «несостоятельность» этнографических трудов исследователя и обвинял в антимарксизме его оппонент и критик А. Н. Липский [*Тарасова* 1985: 263]. В одном из последних писем (от 27 июня 1930 г.) В. К. Арсеньева прозвучал буквально крик души: «Мое желание — закончить обработку своих научных материалов и уйти, уйти подальше, уйти совсем — к Дерсу!». Он словно бы предвидел свое ближайшее будущее... Сейчас, с высоты прошедших лет, понятно, что ушел он, хоть это и кощунственно звучит, вовремя. С большой долей вероятности можно предположить, что через не-

сколько лет «научная» травля В. К. Арсеньева переросла бы в политическое дело «врага народа». Такая участь постигла его оппонента А. Н. Липского, который 21 августа 1938 г. был арестован по обвинению «за участие в контрреволюционной националистической организации» и осужден по статье 58 сроком на 5 лет. Он освободился из ГУЛАГа в 1943 г., а в 1955 г. был реабилитирован [*Вайнштейн* 2003: 478].

В. К. Арсеньев использовал любую возможность не только для изучения аборигенного населения, но и оказания ему всевозможной помощи. Например, один из авторов данной главы, доктор исторических наук А. Ф. Старцев уверен, что благодаря В. К. Арсеньеву с этнической карты страны не исчез один из самых малочисленных народов России — тазы Ольгинского и Лазовского районов Приморского края. В середине 20-х годов Арсеньеву стало известно, что органы ОГПУ разрабатывают идею о выселении из Приморья всех некоренных народов региона, преимущественно из числа китайцев и корейцев. В. К. Арсеньев знал, что для тазов Приморья китайский язык был языком повседневного общения. В своих публикациях 1916 г. он писал, что нельзя ставить знак равенства между этнической группой тазов и удэгейцами [*Арсеньев* 2012: 535–542; *Арсеньев* 2012: 568], но ровно через 10 лет, в 1926 году, касаясь истории удэгейцев и тазов, вдруг резко поменял свою точку зрения и официально заявил, что тазы являются южной группой удэгейцев, подвергшейся ассимиляции со стороны китайских отходников [*Арсеньев, Титов* 1926: 7–8]. Таким образом объединение удэгейцев и тазов в один удэгейский народ спасло тазов в 1938 г. от выселения из Приморья в Среднюю Азию и казахстанские степи, как это случилось с русско-подданными корейцами [История 2019: 61].

В. К. Арсеньев был привлечен к большой практической работе по социалистическому строительству, которой последовательно отдавал свои знания, опыт и энергию. Он активно включился в работу, связанную с подготовкой Всесоюзной переписи населения 1926 г., готовил справочные материалы для переписчиков, которые должны были проводить перепись среди аборигенных народов Дальнего Востока, оказывал им практическую помощь [*Тарасова* 1984: 231, 280–281].

Большая заслуга в осуществлении первой в истории переписи населения на востоке и крайнем северо-востоке страны в 1926–1928 гг. принадлежит этнографам, особенно молодым исследователям. Несмотря на территориальную разбросанность национальных районов, отсутствие транспортных средств, тяжелые материально-бытовые условия, первые выпускники советских вузов с честью выполнили возложенные на них задачи.

Народоведение в структуре научно-исследовательских учреждений Дальневосточного края в 1920–1930-е гг.

В 1920-е гг. на Дальнем Востоке, так же как и по всей стране, проходили процессы институционализации науки на основе идей о создании разветвленной сети научно-исследовательских институтов, целенаправленной подготовке научных кадров, а главное — на необходимости усиления прикладного характера научных исследований. Наука становилась частью стратегии партии в области создания социалистического общества и хозяйства, за партийно-государственным руководством закреплялось право регулирования научной деятельности [Дальний Восток 2018: 409, 410].

Вузовская наука на советском Дальнем Востоке с 1920 до 1930 г. была представлена только Государственным Дальневосточным университетом (ГДУ). В 1930 г. ГДУ расформировали, в 1932 г. Дальневосточный университет был восстановлен, научная работа на его кафедрах и в лабораториях активно развивалась до 1939 г.

На базе Дальневосточного государственного университета согласно положению «О научно-исследовательских институтах и об ассоциациях институтов при вузах», принятом 14 июля 1921 г. Наркоматом просвещения (Наркомпрос) РСФСР, осенью 1923 г. был открыт «Краеведческий научно-исследовательский институт» (1923–1931).В инициативную группу по созданию института входили известные ученые В. П. Вологдин, А. В. Гребенщиков, В. И. Огородников, Н. В. Кюнер, Б. П. Пентегов, А. А. Половинкин, В. М. Савич, Е. Г. Спальвин, Н. Н. Трифонов, Е. М. Чепурковский, П. Ю. Кристин и Г. Н. Гассовский [*Малявина* 2009: 158]. Институт должен был объединить исследователей, принадлежащих различным структурам и ведомствам, и организовать планомерную работу по изучению Дальнего Востока для решения важнейших практических задач, направленных на хозяйственное, культурное, военное и политическое развитие региона. В проектном документе об образовании института было отмечено три важнейших обстоятельства, обуславливающих необходимость его создания: «...непочатые богатства Дальнего Востока природными ресурсами, почти неизученные, и разнообразие его населения», а также безжалостное истребление этих ресурсов и нерациональное их использование [Бюллетени 1925: 3].

Народоведение 1920–1930 гг., было подчинено задаче развития производительных сил. На первой Всероссийской конференции по изучению производительных сил в марте 1923 г., на секции «Человек как производительная сила» в докладе проф. Д. Н. Анучина была сформулирована актуальная повестка народоведческих исследований:

«Составление и издание детальных карт расселения по территории России различных народов и основных элементов их хозяйственного быта; ан-

тропологические и этнографические съемки страны в отношении к главным физическим признакам населения и к особенностям его домашнего и общественного быта, и культурного творчества; научная разработка языков, особенно малоизвестных, и введение их в программы факультетов, в виду призвания соответственных народов к государственному строительству; изучение и охрана народностей окраин как населения, наиболее приспособленного к использованию местных природных богатств» [Бюллетени 1925: 5].

Создатели института были уверены, что Дальний Восток — это как раз то место, где особенно важно было начать реализацию этих задач, не только из-за неизученности богатейших природных ресурсов и способов их использования аборигенным населением, но и в силу уже проделанной в крае большой работы в области этнографии и лингвистики. Необходимо было объединить усилия исследователей и краеведов, дать им средства на экспедиции и публикацию трудов. Планировалось, что институт займется научной обработкой результатов экспедиций и изысканий, предпринятых по инициативе разных учреждений, в том числе Отделов Географического Общества.

Институт создавался как многопрофильное учреждение для решения прикладных задач социально-экономического развития региона: изучение природно-климатических, физико-географических, почвенно-ботанических и геологических особенностей территории, сбор сведений об экономике, культуре и быте населения Дальнего Востока. Решаться поставленные задачи должны были в рамках трех отделов «Природа», «Человек», «Промышленность», состоящих из секций, специализировавшихся на отдельных видах исследований [Бюллетени 1925: 8–17]. За народоведческие исследования отвечал отдел «Человек», его первым руководителем был Н. В. Кюнер.

Отдел «Человек» подразделялся на 4 секции (этнографии и физической антропологии, лингвистическую, научной организации труда, истории и археологии). Преподаватели ГДУ, а среди них значительную часть составляли профессора университета, известные ученые, сформировали основной состав отделов и секций.

Так, в секторе этнографии и антропологии в 1923–1926 гг. проводил исследования профессор Е. М. Чепурковский, антрополог, член корреспондент Германского Антропологического общества, член Московского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, член Русского Антропологического общества, член Владивостокского Отдела Русского Географического общества. Вместе с ним трудился И. А. Лопатин, этнограф, преподаватель 1-го разряда ГДУ, член Владивостокского Отдела Русского Географического общества и Общества Востоковедения, участник многих экспедиций по этнографическому изучению аборигенных народов Дальнего Востока [Бюллетени 1925: 18]. Этнографы и антропологи должны были заниматься следующими проблемами:

«Детальное установление племенных и родовых названий народностей, их численности и мест обитания, а у кочевников — районы их передвижения. Составление дазиметрических карт.

Изучение названий местностей с целью установить расселение народов в древности и их доисторические передвижения. Сопоставление их с переселением в доисторическом периоде. История колонизации края.

Изучение материальной и духовной культуры, а также натурального хозяйства, в частности разрешение вопроса об этнографической отдельности Удыхе, сохранивших местами весьма древние обычаи.

Изучение быта переселенцев из России; в частности, исследование культурных переживаний в их экономике.

Исследование физического типа населения, как инородцев, так и русских...проследить влияние переселения на тип народности, особенно у русских для сопоставления с данными, полученными, напр. Американским иммиграционным бюро. Крайне желательно войти в соглашение для совместного массового изучения окраинного населения с японскими и китайскими антропологами.

Демографические исследования рождаемости, смертности, брачности, болезненности и т. д. методами современной математической статистики... Микроскопическое изучение волос, а также влияние на заболеваемость и на течение болезней условий питания и расы..., исследовать ритм развития (роста) и наступление зрелости у различных рас, что имеет, как известно, большое значение для педагогики, спорта, военного дела и т. д.» [Бюллетени 1925: 14, 15].

Как видим, поставленные проблемы и методы их решения не потеряли своей актуальности и для современных этнологических и антропологических исследований: изучение численности, этнической идентичности и расселения народов Дальнего Востока, использование топонимики как источника по этнической истории, изучение духовной и материальной культуры народов Дальнего Востока, проблемы миграций и этнической истории, вопросы адаптации и интеграции мигрантов-переселенцев из России на Дальнем Востоке, использование математических методов в этнодемографических исследованиях, вопросы физической и медицинской антропологии, кросс-культурные исследования в рамках международного научного взаимодействия.

В секции Научной организации труда в основе исследований лежала идея этнического разделения труда, обусловленного спецификой географических условий проживания народов, историко-культурными традициями, религиозными нормами. Так как на повестке дня стояли задачи «производить отбор рабочих, от природы наиболее приспособленных для работ в той или иной профессии, изучать рабочие процессы в разных производствах, кривые утомляемости и т. д.», то Дальний Восток, «имея разнородный племенной состав трудящихся (желтый труд) особенно нуждался в таких изысканиях» [Бюллетени 1925: 15]. Решением этих задач занимались Н. Н. Трофимов,

профессор ГДУ, психолог и философ, В. Л. Погодин, преподаватель первого разряда ГДУ, юрист, Н. И. Фролов, преподаватель графических искусств ГДУ [Бюллетени 1925: 19].

В Лингвистической секции работали известные востоковеды: профессор А. В. Рудаков, специализирующийся на истории культуры Китая и китайской словесности; японист, профессор Е. Г. Спальвин; профессор А. В. Гребенщиков, специалист по Маньчжурии и председатель Дальневосточного отделения Всероссийской научной ассоциации Востоковедения; преподаватель Рабфака А. П. Георгиевский, занимавшийся русской культурой, фольклором и диалектологией; профессор Б. К. Пашков, специалист по древней литературе Китая, и преподаватель ГДУ И. А. Клюкин, знаток монголо-уйгурской письменности и поэзии монгольских племен [Бюллетени 1925: 18–19].

Лингвистическая секция выполняла важную миссию — обеспечение исследовательских коллективов специалистами, владеющими восточными языками. Значительное число трудящихся, представителей из стран Восточной Азии, живущих на юге Дальнего Востока, задачи, связанные с изучением специфики их труда, ликвидация неграмотности в их среде, а также всестороннее изучение соседних стран, формировали повышенный спрос на востоковедов. Также в Лингвистической секции планировалось изучение языков и образцов народного творчества «туземных народностей», диалектов русского языка на Дальнем Востоке в сравнении с говорами на родине переселенцев, готовились к изданию программы для собирания и изучения русского и восточного языков и образцов народного творчества этих групп населения на русском Дальнем Востоке [Бюллетени 1925: 16].

Перед сотрудниками Секции истории и археологии ставились задачи изучения «племен и народов, некогда населявших Дальний Восток и теперь живущих на его территории». На начальном этапе планировалась серьезная работа по сбору источников, репрезентативных для анализа социально-экономического строя и культурно-политических отношений у представителей разных дальневосточных «народов и племен». Планировалось начать разработку темы, связанной с историей заселения Дальнего Востока русскими людьми [Бюллетени 1925: 16]. Профессор В. И. Огородников, ректор ГДУ, историк, занимался этими проблемами на материалах Сибири, профессор Н. В. Кюнер, востоковед, специализировался по вопросам экономического, политического и культурного развития Дальнего Востока, З. Н. Матвеев, преподаватель первого разряда, директор библиотеки ГДУ, занимался исторической библиографией Дальнего Востока [Бюллетени 1925: 20].

В первые годы работы института сложно решались вопросы финансирования исследований и экспедиций, сотрудники института сами искали заказчиков. Среди них были различные ведомства, например, Дальневосточное рыбное, Переселенческое и Дальневосточное краевое земельное управления, Приморский лесной отдел Земельного управления, Даль-

завод и др. Так, в 1924–1926 гг. были профинансированы исследования и экспедиции по изучению тихоокеанской сельди и краба в бухте Восток; гидрологические исследования в Амурском заливе; экспедиции в бассейны рек Хор и Матан для обследования состояния хвойных деревьев; охотоведческая экспедиция в Гилюй-Олдойский район Амурской губернии, также экспедиция В. М. Савича, И. К. Шишкина, А. А. Емельянова с участием этнографа И. А. Лопатина в северную часть хребта Сихотэ-Алинь.

В 1928 г. институт выделился в самостоятельное учреждение краевого уровня, имеющее госбюджетное финансирование и не связанное с университетом. В 1929 г. «Краеведческий научно-исследовательский институт» стал Дальневосточным краевым научно-исследовательским институтом (ДВКНИИ), поменялась структура института, но основные тематические направления исследований остались прежними. Востоковеды, этнографы и историки планировали изучение корейского населения Приморья (Н. В. Репин), составление библиографического указателя о Дальневосточном крае (ДВК) (З. Н. Матвеев), изучение национального вопроса на Сахалине и ряд других работ [*Малявина* 2009: 159, 161]. К концу 1920-х гг. были подготовлены к печати и изданы труды В. И. Огородникова, А. И. Разина [*Огородников* 1927; *Разин* 1926].

Летом 1931 г. решениями местных органов власти Далькрайкома ВКП(б) и Далькрайисполкома институт был расформирован, и его сотрудники реализовывали намеченное уже в рамках других структур и учреждений. Институт помог сохранить и обеспечить работой научные кадры, которые оказались на Дальнем Востоке в период Гражданской войны, была создана научная база, на основе которой в 1932 г. во Владивостоке одним из первых в стране был учрежден Дальневосточный филиал Академии наук СССР (ДВФАН). Выступая в начале сентября 1932 г. во Владивостоке на расширенном заседании совета Дальневосточного отделения АН СССР вице-президент АН В. Л. Комаров, отметил:

> «...Мы пришли к выводу, что отделение Академии наук должно быть особенно здесь, во Владивостоке, на стыке с массой восточного населения. Мы должны сделать Дальневосточный край революционным форпостом на тихоокеанском побережье» [*Осипов* 2011: 233–234].

Главным структурным подразделением Дальневосточного филиала Академии наук СССР, занимавшимся изучением народонаселения Дальневосточного края, был кабинет по изучению народов ДВК (КИН). В его задачи входило: изучение состава населения ДВК, изучение человека на Дальнем Востоке как производительной силы, изучение экономики, быта и научного обоснования правильного проведения ленинской национальной политики в ДВК. В его структуре было четыре секции: 1) секция по изучению корейского населения ДВК; 2) секция по изучению китайского населения ДВК;

3) секция по изучению туземного населения ДВК; 4) секция по изучению европейских групп ДВК [Вестник 1932: 102].

Секции кабинета активно работали, выполняя директивы руководства о сочетании теоретических исследований с прикладными, направленными на решение задач советского строительства. На заседаниях китайской секции большое внимание уделялось всестороннему изучению китайского языка и проведению его латинизации. Заслушивались доклады: «Работа по латинизации китайской письменности» (А. А. Драгунов), «История переселения китайских трудящихся на Дальний Восток» (З. Н. Матвеева) [*Осипов* 2011: 234].

В газете «Красное знамя» 29 августа 1932 г. была опубликована статья об организации секции корееведения. Предполагалось, что секция будет работать по двум основным направлениям: первое — комплексное изучение Кореи и второе — изучение быта корейцев Дальнего Востока. Так, на одном из заседаний корейской секции был заслушан доклад «Развитие промышленности в Корее и положение корейского пролетариата»; научным сотрудником Дальневосточного филиала Академии наук СССР А. В. Маракуевым была подготовлена монография «Корея и корейцы»; секция сформировала группу по составлению «Русско-корейского терминологического словаря».

Сотрудники туземной секции занимались исследованием искусства туземного населения Чукотки, вопросами исторического прошлого населения Дальневосточного края (профессор ГДУ А. В. Гребенщиков). В конце 1933 г. А. Н. Улитин совершил поездку в низовье Амура в Ульчский и Нанайский районы для сбора материалов по языку ульчей и гольдов. Ему удалось объехать пять стойбищ ульчей и девять — гольдов (Диппун, Хунгари, Тусер, Верхний Нерген, Болон, Джуен, Джонка, Джари и Найхен), собрать свыше 50 сказок и преданий, загадок и песен. Работа по сбору материалов сочеталась с выполнением заданий местных органов. Так, по поручению Ульчского и Нанайского РОНО проверялось преподавание родного языка в школах, оказывалась помощь учителям путем собеседования и проведения занятий по нанайскому языку. Во время пребывания в стойбище Найхен А. Н. Улитин провел совещание с работниками районного комитета и местных школ о новом алфавите [*Осипов* 2011: 234].

В перспективе к 1934 г. планировалось расширить кабинет и создать отдельный институт с лабораторией экспериментальной фонетики, кабинетом краниологии, станциями в Благовещенске и селении Каменском (Пенжинский район Корякского нац. округа) и этнографическим музеем материальной культуры народностей ДВК. На начальном этапе музею должен был предшествовать отдел этнографических коллекций и коллекций кустарных изделий народностей ДВК, изделий из дерева, кости и пр. в качестве одного из видов нового экспорта ДВК [Вестник 1932: 102].

Реализация главной тематики народоведческих исследований той поры «человек как производительная сила» и «трудовые ресурсы ДВК» осущест-

влялась совместно с Бюро по изучению производительных сил ДВК (БИПС). Бюро было создано постановлением совета и президиума Дальневосточного отделения Академии наук для руководства научно-исследовательской деятельностью институтов и кабинетов Дальневосточного отделения Академии для изучения производительных сил края, планирования на основе народнохозяйственного плана края, научно-исследовательской работы Академии по изучению производительных сил [Вестник 1932: 101]. Также как Государственный Дальневосточный университет свою деятельность Кабинет по изучению народов ДВК прекратил в 1939 г.

Востоковедение и национальные меньшинства на Дальнем Востоке в 1920–1930-гг.

Одним из значимых народоведческих научно-исследовательских направлений на Дальнем Востоке, особенно во Владивостоке и Хабаровске, было востоковедение. И если в досоветский период главной задачей ученых было раскрытие загадок и тайн истории, культуры, экономики и политики соседних восточных стран, а также подготовка кадров для административных и торгово-промышленных учреждений Дальнего Востока, то советская наука должна была в первую очередь решать вопросы, связанные с национальными меньшинствами советского Дальнего Востока.

Институционализация дальневосточного востоковедения началась в 1899 г, созданием Восточного института — первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке. В 1920 г. на его основе был учрежден Государственный Дальневосточный университет, который в 1930 г. был расформирован по политическим причинам. Активные востоковедческие исследования проводились не только в вузах, но и в рамках востоковедческих научно-исследовательских обществ. Первое такое общество было открыто в декабре 1922 г. во Владивостоке, но деятельность его продлилась не долго, до 1923 г., потом только 1929 г. при Дальневосточном Государственном университете образовалось общество востоковедения. Основной задачей общества было изучение экономики Востока. Члены общества читали доклады и популярные лекции на востоковедческие темы, проводили научно-исследовательскую работу. Так студентами ДВГУ под руководством проф. С. П. Никонова было проведено обследование экономического положения китайских рабочих Владивостокского округа (180 чел.).

В разное время научно-исследовательскую работу в области востоковедения вели проф. К. А. Харнский (востоковед), проф. Е. М. Чепурковский (антрополог), И. А. Лопатин (этнограф), проф. А. В. Рудаков (китаевед), проф. Е. Г. Спальвин (японовед), проф. Н. П. Мацокин (японовед), проф. А. В. Гребеншиков (маньчжуровед), проф. И. А. Клюкин (монголовед), проф. Б. К. Пашков (китаевед), проф. В. И. Огородников

(историк), проф. Н. В. Кюнер (востоковед), доцент З. Н. Матвеев (историк), доцент Б. Г. Шапиро (историк), доцент А. В. Маракуев (китаевед), доцент В. И. Серебряков и др.

На Дальнем Востоке перед востоковедами стояла не только теоретическая, но и важнейшая практическая задача — борьба за культурную революцию среди национальных меньшинств края (китайцев, корейцев и т. д.). Это была работа, потребовавшая «прихода научной мысли в узкие улицы китайского квартала Владивостока, фанзы Корейской слободки — куда чиновники царского министерства народного просвещения, занимавшиеся «чистой» наукой в стенах Восточного института, спускаться считали ниже своего достоинства» [*Маракуев* 1932: 33].

> «В условиях социалистического строительства на глазах происходит синтез теории с практикой. Наконец, потребность во всестороннем изучении того разнообразного богатого человеческого материала, которым изобилует наш край, тех масс национальных меньшинств, которые лишь после победы пролетарской революции вышли на широкую историческую арену в качестве равноправных строителей социализма, также оказывает науке гораздо больше помощи, чем десять университетов», — сообщалось в отчете Дальневосточного отделения Академии наук СССР за 1932 г. [*Рахман* 1932: 8].

Многочисленное китайское население на Дальнем Востоке было занято в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и сфере обслуживания. Перед органами советской власти стояла важная задача — «социалистическое перевоспитание» китайцев, означавшее ликвидацию неграмотности, политическое просвещение и культурное развитие китайских трудящихся. Перепись 1926 г. зафиксировала на Дальнем Востоке 72 005 китайцев (94,9% иностранцев), что составляло 4,2% населения ДВК [Дальний Восток 2018: 124]. По данным этой переписи, процент грамотности среди китайцев равнялся 34%, но более чем на 40 тыс. китайского населения Приморья имелось лишь две китайские школы. Ликвидация неграмотности среди китайцев совпала с движением за латинизацию письменности народов СССР, поэтому было принято решение о латинизации китайской письменности, замене иероглифов фонетической письменностью, овладение которой требовало гораздо меньше времени и усилий [*Дацышен* 2008: 160, 162].

Латинизированный алфавит для китайского языка был создан в Институте востоковедения Академии наук под руководством академика В. М. Алексеева, а принят на первой Дальневосточной краевой конференции по латинизации китайской письменности, которая прошла во Владивостоке 27–29 сентября 1932 г. Но востоковеды Дальнего Востока активно включились в работу по ликвидации неграмотности среди китайских рабочих гораздо раньше. Так, первое широкое обсуждение проблемы латинизации иероглифической

письменности состоялось на совещание в Дальневосточном государственном университете 23–24 мая 1930 г., что стало началом работы по латинизации письменности на Дальнем Востоке [*Маракуев* 1932: 40].

Большую работу по ликвидации безграмотности среди китайских рабочих ДВК развернул комитет латинизации в Хабаровске, издавший букварь научного работника А. И. Шпринцина и подготовивший ряд других пособий по китайскому языку с латинизированными текстами. По китайской лексикографии работой, вышедшей в ДВК в 1931 г., стал небольшой русско-китайский словарик И. Михайловой и О. Бауера. Рецензенты с одной стороны отмечали неряшливость издания — опечатки, ошибки, с другой, писали о его своевременном появлении, так как он содержал новую политическую терминологию, вошедшую в язык китайского национального меньшинства ДВК за советский период существования края. Словарь позволял ею овладеть и закрепить свои знания [*Маракуев* 1932: 40].

Вторая конференция, посвященная латинизации китайской письменности, прошла во Владивостоке 25–29 октября 1932 г. На конференции, помимо делегаций районов ДВК, присутствовали представители Восточно-Сибирского края и Казахстана. В конференции приняли участие около 1000 человек китайских рабочих, делегаты от крупнейших предприятий края, представители общественных организаций. Делегаты брали на себя обязательство внедрения латинизированной письменности в широкие массы китайских рабочих.

Бурные дебаты развернулись вокруг вопроса о перспективах латинизации во второй пятилетке и задачах работы в 1933 г. Обсуждались вопросы изменения алфавита и орфографии. Абсолютным большинством конференция решила оставить алфавит без изменения. Что касается спорных вопросов орфографии, конференция решила передать их специальной комиссии из научных работников под председательством заведующего китайской секцией ДВО АН т. Буренина, обязав комиссию представить экспертное заключение Дальневосточному комитету нового алфавита до созыва пленума комитета в июне 1933 г. Конференция поставила своей задачей ликвидацию к 1 мая 1934 г. неграмотности среди организованных китайских рабочих и колхозников, составляющих, примерно, 50 000 человек в ДВК [Вестник 1932: 105].

Активная работа по «воспитанию» китайцев на советском Дальнем Востоке велась до конца 1930-х гг. В целом идея ликвидации неграмотности, «перевоспитания китайских трудящихся» и создания новой социальной группы — советских китайцев — не была реализована, в первую очередь в силу специфики русской и китайской ментальности. Политические репрессии и депортации конца 1930-х гг. привели к ликвидации китайской общины на советском Дальнем Востоке [*Дацышен* 2008: 168].

Как видим, в 1920-е и 1930-е годы на Дальнем Востоке, и прежде всего во Владивостоке, сложились благоприятные условия для создания соб-

ственной этнографической школы — наличие высокопрофессиональных кадров, необходимой научно-исследовательской инфраструктуры. Радикальные политические и социально-экономические трансформации в первые десятилетия советской власти создали уникальные предпосылки для развития народоведческих исследований на Дальнем Востоке. Но вместе с тем, малейшие колебания в политическом курсе страны влекли за собой постоянную реорганизацию научно-исследовательских учреждений Дальневосточного края. За два десятилетия плодотворной деятельности этих учреждений некоторые их сотрудники, к сожалению, подвергались необоснованной критике, репрессиям, а принудительные переселения отдельных народов привели к закрытию целых научно-исследовательских направлений. В 1939 г. был закрыт Дальневосточный филиал Академии наук СССР и Дальневосточный государственный университет. Эти обстоятельства не позволили в рассматриваемый период в полной мере развить научный потенциал Дальнего Востока в области народоведческих исследований и привели к их приостановлению.

Дальневосточная этнографическая школа 1950–1980 гг.

Академическая традиция дальневосточной этнографии возобновилась в 1954 г. с учреждением в Дальневосточном филиале АН СССР отдела истории, археологии и этнографии сначала под руководством В. В. Томашевского, а с 1958 г. — А. И. Крушанова. Дальневосточные этнографы и языковеды Ю. В. Аргудяева, Н. Б. Киле, Н. В. Кочешков, Г. А. Отаина, Б. М. Росугбу, Л. И. Сем, Н. К. Старкова и др. начали изучение особенностей культуры, языка, фольклора нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, тазов. Большую роль в становлении науки сыграл выпускник Ленинградского государственного университета Ю. А. Сем. В 1962 г. под его руководством этнографы, востоковеды и филологи объединились в сектор этнографии и филологии, образовав плодотворный творческий коллектив, по государственной программе исследовавший социально-экономическую, политическую и культурную историю народов Дальнего Востока: нивхов, эвенов, ительменов, тазов, орочей, ульта, восточных славян, эстонцев, молдаван и др. Объектом внимания ученых становится также история и культура корейцев, китайцев, маньчжуров, монголов, бурят, калмыков, других народов смежных зон Азии. В 1970–1971 гг. востоковеды и филологи выделились из состава сектора этнографии в самостоятельные научные подразделения.

Благодаря организаторской деятельности А. И. Крушанова в июле 1971 г. был создан Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО АН СССР, что послужило началом планомерного изучения этнической истории и культуры народов Дальнего Востока местными учеными. Их профессиональный рост, защита кандидатских диссер-

таций не заставили себя ждать. Об общественном признании дальневосточной академической этнографической школы можно говорить уже в 1970–1980-е годы, чему во многом способствовал выход в свет монографий Ю. А. и Л. И. Семов, С. Ф. Карабановой, Н. В. Кочешкова, Г. А. Отаиной, Б. М. Росугбу, Н. К. Старковой, П. Я. Гонтмахера [*Сем* 1973; *Сем* 1976; *Росугбу* 1976; *Старкова* 1978; *Карабанова* 1979; *Кочешков* 1979; *Отаина, Санги*1981; *Гонтмахер* 1988; *Кочешков* 1989].

Творческая деятельность дальневосточных этнографов была сосредоточена на подготовке историко-этнографической серии «История и культура народов Дальнего Востока», вдохновителем ее являлся Ю. А. Сем, который и предложил подготовить 25 томов, посвященных коренным малочисленным народам Дальнего Востока, комплексно осветив в них проблемы этнической истории, этносоциального и этнокультурного развития аборигенов региона. Выполнение этого государственного заказа поставило Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО АН СССР в один ряд с ведущими научными центрами страны. В течение 20 лет Ю. А. Сем был бессменным руководителем и организатором этнографической науки в дальневосточном регионе, подготовив несколько десятков учеников.

В 1985 г., благодаря научно-организационной работе нового заведующего сектором Л. Я. Иващенко, был опубликован вводный том серии «Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв.: историко-этнографические очерки» [*Народы* 1985]. В рамках этой серии началось издание коллективных монографий: о чукчах (1987), удэгейцах (1989) ительменах (1990) [*История* 1987; *История* 1989; *История* 1990].

Целым рядом важнейших событий, связанных с развитием этнографической науки на Дальнем Востоке, ознаменовались 1980-е и начало 1990-х гг. Именно в эти годы были защищены кандидатские диссертации Т. С. Шульгиной, Е. А. Демидовой, Е. А. Гаер, А. Ф. Старцевым, В. В. Подмаскиным, В. А. Тураевым и опубликованы их монографии, всесторонне освещавшие социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов России [*Демидова* 1987; *Шульгина* 1989; *Тураев* 1990; *Подмаскин* 1991; *Гаер* 1991].

В этот период, несмотря на восстановление в 1960-е годы на Дальнем Востоке традиций востоковедческого образования, в Восточном институте не удалось восстановить традиции этнографических исследований. Не были они возобновлены и в рамках Дальневосточного отделения Академии наук. Востоковедение продолжило развиваться своим путем, этнографы традиционно и продуктивно занимались исследованиями коренных малочисленных народов региона, принимали активное участие в социально-экономическом и культурном развитии аборигенных народов, отстаивали их интересы, вносили существенный вклад в деятельность по реализации государственной национальной политики СССР.

Источники и литература

Арзютов Д. В. Антрополог или политик? Политические пристрастия и теоретические построения Сергея Широкогорова // Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 123–140.

Арсеньев В. К. Наши американоиды // В. К. Арсеньев. Собр. соч. в 6 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2012. Т. 3. С. 535–542.

Арсеньев В. К. Этнологические проблемы на востоке Сибири // В. К. Арсеньев. Собр. соч. в 6 т. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2012а. Т. 3. С. 549–578.

Арсеньев В. К., Титов Е. И. Население как производительный фактор // Экономика Дальнего Востока. М.: Плановое хозяйство, 1926. С. 50–77.

Арсеньев В. К., Титов Е. И. Быт и характер народностей Дальневосточного края. Хабаровск–Владивосток: Книжное дело, 1928. 84 с.

Бюллетени Краеведческого научно-исследовательского института при Государственном Дальневосточном университете / ред.: Чепурковский Е. М., Гассовский Г. Н. (Труды Государственного Дальневосточного университета. Т. 2: Вып. 1. № 1). Владивосток: Типография Дальневосточного университета, 1925. 86 с.

Вайнштейн С. И. Романтика и трагедии в судьбе А. Н. Липского // Репрессированные этнографы. Вып. 2. Сост. и отв. ред. Д. Д. Тумаркин. М.: Вост. лит., 2003. 495 с.

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по регионам России. Приморский край // URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php?reg=9 (дата обращения: 12.08.2022).

Вестник ДВ Отделения Академии наук СССР. Владивосток: Дальгиз, 1932. № 1–2. 115 с.

Гаер Е. А. Древние бытовые обряды нанайцев. Хабаровск: Кн. Изд-во, 1991. 144 с.

Гаер Е. А. Традиционная бытовая обрядность нанайцев в конце XIX — начале XX в. М.: Мысль, 1991. 128 с.

Гонтмахер П. Я. Золотые нити на рыбьей коже: [О декоратив. искусстве нивхов]. Хабаровск: Кн. изд-во, 1988. 127 с.

Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922-начало 1941 года / отв. ред. Л. И. Галлямова. (История Дальнего Востока. Т. 3. Кн. 2). Владивосток: Дальнаука, 2018. 656 с.

Дацышен В. Г. Движение за латинизацию китайской письменности и развитие китайской школы на советском Дальнем Востоке // Россия и АТР. 2008. № 3(61). С. 160–169.

Демидова Е. Г. Культура народностей Нижнего Амура и Сахалина в буржуазной историографии. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1987. 96 с.

История культуры чукчей: историко-этнографические очерки. / Под общ. ред. А. И. Крушанова; [отв. ред. И. С. Вдовин]. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1987. 288 с.

История и культура удэгейцев: Историко-этнографические очерки / Под общ. ред. А. И. Крушанова; [отв. ред. Л. Я. Иващенко]. Л.: Наука, Ленингр. отдние, 1989. 188 с.

История и культура ительменов: Историко-этнографические очерки / Под общ. ред. А. И. Крушанова; [отв. ред. Л. Я. Иващенко]. Л.: Наука, Ленингр. отдние, 1990. 207 с.

История и культура тазов: историко-этнографические очерки (вторая половина XIX — начало XX в.) / Ю. А. Сем, Л. И. Сем, В. В. Подмаскин [и др.]. Владивосток: Издательство Дальнаука, 2019. 416 с.

Карабанова С. Ф. Танцы малых народов Дальнего Востока СССР как историко-этнографический источник. М.: Наука, 1979. 142 с.

Краткий отчет о деятельности в 1917–1919 гг. сверхштатного младшего антрополога Музея антропологии и этнографии С. М. Широкогорова // С. М. Широкогоров. Избранные работы и материалы. Книга 1. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2001. URL: http://www.shirokogorov.ru/s-m-shirokogorov/publications/report-1917-1919 (дата обращение: 15.04.2022).

Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголо-язычных народов XIX — середины XX в. М.: Наука, 1979. 203 с.

Кочешков Н. В. Этнические традиции в декоративном искусстве народов Крайнего Северо-Востока СССР (XVIII–XX вв.) / отв. ред. А. И. Крушанов. Л.: Наука, 1989. 199 с.

Кузнецов А. М. От этнографии к социокультурной антропологии (Дальневосточный вариант) / А. М. Кузнецов // Этнографическое обозрение. 2005. № 2. С. 21–24.

Культурно-национальная автономия в истории России: Докум. антол. / Под ред. Э. И. Черняка; Том. гос. ун-т. Каф. соврем. отеч. истории. Томск: Изд-во ТГУ, Т. 2: Дальний Восток. 1921–1922. Т. 2 / Авт.-сост. И. В. Нам. 1999. 295с.

Малявина Л. С. Организация и деятельность Дальневосточного краевого научно-исследовательского института (1923–1931 гг.) Вестник ДВО РАН. 2009. № 5 (147). С. 157–164.

Маракуев А. В. Десять лет востоковедения на Советском Дальнем Востоке (1922–1932)// Вестник ДВ Отделения Академии наук СССР, 1932, № 1–2. С. 33–42.

Матвеев З. Н. Что читать о Дальневосточной области: Опыт сист. указ. лит. (классифицирован по междунар. десятич. системе) /З. Н. Матвеев, зав. Б-кой Гос. Дальневост. ун-та. Владивосток: Кн. дело, 1925. 248 с.

Огородников В. И. Туземное и русское земледелие на Амуре в XVII в. Владивосток: Тип. Гос. Дальневост. ун-та, 1927. 91 с.

Осипов Ю. Н. К истории создания кабинета по изучению народов Дальневосточного края // Россия и АТР. 2011. № 2 (72). С. 233–234.

Отаина Г. А., Санги В. М., Букварь для подготовительного класса нивхских школ. Ленинград: Просвещение, 1981. 128 с.

Подмаскин В. В. Духовная культура удэгейцев XIX–XX вв.: Историко-этнографические очерки. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1991. 161 с.

Разин А. И. Стоянки каменного века на берегу Уссурийского залива // Советское Приморье, Владивосток. 1926. № 3–4. С. 55–69.

Раднаева С. Б. Основные направления деятельности первого министра по национальным делам Дальневосточной республики Карла Яновича Лукса // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 10 (191). История. Вып. 39. С. 51–56.

Рахман Д. А. Пролетарская революция и наука // Вестник ДВ Отделения Академии наук СССР. 1932. № 1–2. С. 3–11. С. 8.

Ремнев А. В. Географические, административные и ментальные границы Сибири (XIX–начало XX в.) // Административное и государственно-правовое развитие Сибири XVII–XXI веков: Материалы науч.-теорет. семинара (12–13 ноября 2002 г.). Иркутск: Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 2003. С. 22–43.

Россия и народы Дальнего Востока: исторический опыт межэтнического взаимодействия (XVII–XIX вв.)/отв. ред. В. А. Тураев. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 364 с.

Росугбу Б. М. Малые народности Приамурья в 1959–1965 гг. Хабаровск: Хаб. кн. изд-во, 1976. 224 с.

Сем Ю. А. Нанайцы: Материальная культура (вторая половина XIX — середина XX в.). Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1973. 315 с.

Сем Л. И. Очерки диалектов нанайского языка: Бикинский (Уссурийский диалект). Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1976. 212 с.

Старкова Н. К. Ительмены. Материальная культура XVIII — 60-е годы XX века. Этнографические очерки. М.: Изд-во «Наука», 1978. 166 с.

Сороколетова А., Дробышева Е. Фридольф Гек: капитан и его октан. 27 июля 2020. URL: https://arseniev.org/story/fridolf-gek-kapitan-i-ego-oktan/ (дата обращения: 15.07.2022).

Тарасова А. И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М.: Главная редакция Восточной литературы издательства «Наука», 1985. 344 с.

Тураев В. А. И на той Улье реке... Русский землепроходец И. Ю. Москвитин: Правда, заблуждения, догадки. Хабаровск: Кн. изд-во, 1990. 224 с.

Шульгина Т. С. Русские исследователи культуры и быта малых народов Амура и Сахалина (конец XIX — начало XX в.). Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1989. 184 с.

Глава 8. СОВЕТСКОЕ КАВКАЗОВЕДЕНИЕ

Гуманитарная наука осуществляла научное сопровождение национальной политики в течение всего советского времени. Оглядываясь на историю советской этнографии, некоторые ученые определяют ее последние десятилетия как стагнацию, среди причин которой указывают засилье политизированных, схоластических концепций (В. А. Тишков), официально-политический пресс (Я. В. Чеснов), идеологически конъюнктурные стереотипы (А. А. Никишенков), авторитарно предписываемое требование обосновывать идеи, рожденные не в исследовательском процессе, а навязанные в виде готовых формул (М. В. Крюков) [*Филиппова* 1992: 8–10]. Общее мнение научного сообщества сводится к тому, что непоследовательная национальная политика, особенно ее командно-административная составляющая, нанесла урон не только этнографии, но и другим отраслям гуманитарного знания.

Основу советской кавказской историографии национальной политики СССР составляют различные интерпретации ленинского положения о двух исторических тенденциях в национальном вопросе. «Первая преобладает в начале его (капитализма — авт.) развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм», — считал В. И. Ленин [*Ленин* 1973: 124]. Заложенная в этом положении противоречивость влекла за собой непоследовательность в национальной политике и ее научном сопровождении. Первая тенденция — расцвет наций, реализованная в первые годы советской власти политикой «коренизации», стимулировала развитие этнодифференцирующих характеристик народов региона, что плохо сочеталось с объявленной задачей сближения и слияния наций. Свертывание этой политики в ходе кампании «борьбы с буржуазным национализмом» поставило перед гуманитарной наукой непростую задачу совмещения ленинских установок об «особой осторожности в отношении к национальному чувству» и форсирования идеи слияния наций. Идея формирования единой общности «советский народ», озвученная на XXII съезде КПСС в 1961 г., конкретизировала задачу теоретического обоснования формирования «нового типа исторической общности». Этнокультурное многообразие народов страны представлялось препятствием в решении этой стратегической задачи, поэтому в научной повестке появились вопросы унификации этнического самосознания, культуры, быта и духовных ценностей.

Политика «коренизации» и становление гуманитарной науки

С конца 1920-х гг. в национальном вопросе преобладала политика «коренизации», в рамках которой на территориях союзных и автономных республик формировались различные национальные структуры: районы, сель-

советы, партсекции и пр. Эти процессы активно протекали и на Северном Кавказе, где открывались национальные школы, на языках местных народов издавалась учебная и художественная литература, печатались газеты и журналы, велось делопроизводство, широко привлекались в местные органы власти национальные кадры.

Характеризуя условия работы в Терской области в первые годы Советской власти, председатель облисполкома В. Квиркелия писал В. И. Ленину, что «действовать здесь по известному трафарету, мерить, так сказать, коммунистическим аршином прямолинейно и без каких-либо отклонений и компромиссов, не обдумывая каждый шаг и не приспосабливаясь к каждому изгибу национально-бытовых пережитков отсталых горских масс, не приноравливаясь к их культурно-экономическому уровню, национально-религиозным предрассудкам и прочее, это значит не успокаивать и привлекать массы на свою сторону, а пугать и настраивать всех против Советской власти» [*Саламов* 1975:1].

Очевидно, такие посылы с окраин страны подтверждали правильность политики «коренизации», которая стимулировала развитие национальной культуры.

В апреле 1919 г. по инициативе осетинской интеллигенции было создано Осетинское историко-филологическое общество. Гражданская война была в самом разгаре, Владикавказ находился под властью Добровольческой армии, но прогрессивная национальная интеллигенция, вдохновленная пафосом революционных изменений, несмотря на огромные трудности, сумела объединить усилия образованных слоев североосетинского общества для изучения и популяризации истории и культуры родного края.

Осетинское историко-филологическое общество в тот период стало первым научным учреждением горских народностей, которое активно осваивало методы краеведческой работы на местах. Определяющими принципами, на которых строилась его работа, были добровольность, массовость и демократизм. Возникновение Общества было неразрывно связано с деятельностью осетинского учительства. В Уставе были сформулированы цели и задачи создаваемого научного учреждения: поиск, собирание, охрана памятников осетинской старины и их научное изучение; издание результатов исследований и учебников; популяризация и разработка методов преподавания осетиноведения; подготовка научно-педагогических кадров.

В соответствии с уставом была разработана программа исследований, имевшая по содержанию гуманитарную направленность, а именно: собирание материалов по осетинскому языку и устному народному творчеству; изучение вопросов языка и литературы; оказание содействия органам образования и т. д. [*Канукова* 2010].

Осетинское историко-филологическое общество заложило основы исследовательской традиции и критического анализа в области гуманитарного

знания для всех народов Северного Кавказа и сыграло решающую роль в становлении и развитии научной школы осетиноведения как самостоятельного направления научной деятельности.

В истории советского государства 20-е годы прошлого века стали временем значительного расширения сети научно-исследовательских учреждений, в том числе в национальных регионах, что было продиктовано потребностями хозяйственно-экономического и культурного строительства. Характерной особенностью развития науки в рассматриваемый период стала ее тесная взаимосвязь с краеведением как особой формой организации совместной деятельности научных учреждений и населения с целью использования научных знаний о конкретной территории по административным, социально-политическим, хозяйственным и культурным признакам.

На волне революционного подъема популярность краеведческого движения возросла. За десять послереволюционных лет, которые характеризуются как «золотой век» отечественного краеведения, в стране существенно увеличилась численность краеведческих организаций (кружков, обществ, музеев). Краеведение превратилось в важный фактор общественной жизни, в средство организации научно-исследовательской, учебной и культурно-просветительной работы. Деятельность краеведов-любителей по изучению родного края, сохранению памятников истории и культуры получила поддержку государства. Новая власть оценила созидательный потенциал движения и возможность использовать научное краеведение в деле хозяйственно-экономического и национально-культурного строительства.

В полной мере потенциал развития краеведения для науки оценил академик Н. Я. Марр, глава Академии истории материальной культуры, ставший в 1922 г. членом созданного Центрального бюро краеведения при Российской академии наук. Успех краеведения в дальнейшем он видел в «обоюдной пользе» работы специалистов-краеведов и всего населения. Участвуя в работе Центрального бюро краеведения, он наблюдал, как это сотрудничество позволяло энтузиастам движения приобретать научные знания и навыки их практического использования с целью получения новых краеведческих знаний. Объединение усилий кавказских народов в краеведческом деле, по убеждению ученого, могло обеспечить как прочность и долголетие северокавказских краеведческих организаций, так и научную составляющую. При этом Н. Я. Марр выделял два организационных подхода, которые, по его мнению, могли повысить продуктивность работы краеведов. Во-первых, постоянное взаимодействие с центральными научно-исследовательскими учреждениями для соответствия уровню современных научных требований и, во-вторых, обеспечение теснейшей связи с населением для вовлечения его в краеведческую работу и подготовки краеведческих кадров.

Н. Я. Марр указывал на особую сложность работы краеведов среди северокавказских народов при отсутствии научных знаний и методик научной

работы и при незнании языков, «здесь исключительно трудных и наукой доселе с исключительным упорством пренебрегаемых». Но, как отмечал ученый в выступлении на учредительном съезде Ассоциации горских краеведческих организаций в Махачкале 5 сентября 1924 г., без такой работы «никогда не стать краеведению тем, чем ему необходимо сделаться, а именно осью того громадного махового колеса науки центра, мощное движение которого должно помочь наверстать по просвещению упущенное всем остальным массовым слоям населения СССР, в числе их наиболее пострадавшим от систематического невнимания всех культурных государств, восточных и западных, к северокавказским народам...» [*Марр* 1925: 18]. Он также подчеркивал роль краеведения как фактора интеграции народов Северного Кавказа в общественно-политическое пространство советской России и предостерегал деятелей науки от непоправимого вреда, который мог быть нанесен делу научно-культурного сближения и сплочения народов всего Союза из-за непонимания важности краеведческой работы.

Это требование видного ученого в полной мере разделяли партийно-государственные органы власти в регионе, о чем свидетельствовало выступление на указанном съезде Наркома просвещения Дагестанской АССР А. А. Тахо-Годи. Он, в частности, отмечал, что краеведение есть «тот фундамент, на котором должны строить жизнь государственные и общественные органы страны». Нарком призывал к согласованной работе в ходе научных исследований на всей территории Северного Кавказа, рассматривая взаимодействие как «объединение не национальное, так как тут не единая нация, а территориальное, деловое, практически необходимое» [*Калинченко* 2006: 28].

Национальная научная интеллигенция с энтузиазмом осваивала краеведческий инструментарий в исследовательской работе. В 1926 г. тогда еще молодой ученый, а в будущем выдающийся иранист, В. И. Абаев, высоко оценивая научный потенциал краеведения, писал: «До сих пор не *мы* изучали, а *нас* изучали. Мы были объектом, а не субъектом научного исследования. Этот период, период монопольного изучения горских народов заезжими учеными, период *научной интервенции* в нашу страну, надо думать, кончается или близок к окончанию. На наших глазах горские народы переходят не только к общественно-политическому, но и к *культурному самообслуживанию*...». Он подчеркивал важность этого обстоятельства, причем «не только субъективно, для самих горских народов, но и объективно, для науки, ибо принадлежность к местной среде дает такие преимущества в научной работе, отсутствие которых не раз влекло за собой у исследователей — «интервенционистов» весьма забавные и печальные в то же время ошибки». «Не будет поэтому слишком смелым утверждать, — отмечал ученый, — что, когда горские народы сумеют <...> создать науку для себя, это будет новая эра не только в их культурном развитии, но также новая эра в кавказоведении» [*Абаев* 1926: 17].

Массовость и любовь к родному краю считались не менее значимыми условиями успешной краеведческой работы. Как замечал В. И. Абаев, каждый мыслящий человек, независимо от социальной и профессиональной принадлежности, должен быть краеведом хотя бы в масштабе родного аула, знать его историю, природу, быт, экономику; вырабатывать в себе чутье ко всему, «что в окружающей жизни представляет научный, естественно-исторический, этнографический или иной интерес». В то же время он предостерегал от «организованной фабрикации» краеведов и краеведения, справедливо замечая, что в этой работе больше, чем где-либо, личная склонность и энтузиазм определяют пригодность человека к делу. Абаев сформулировал три задачи, которые, по его мнению, должны были решать ученые-краеведы:

1. Всячески способствовать выдвижению культурных работников из местной среды.

2. Широко пропагандировать идеи краеведения среди населения, для чего, не боясь уронить свой «научно-исследовательский» престиж, придавать материалам в печати более популярный, общедоступный характер.

3. Прививать массам, в особенности молодежи, навыки и вкус к краеведческой работе, будить личную инициативу и не создавать искусственных рамок в виде обязательной централизации, всевозможных планов и программ» [*Абаев* 1926: 19].

Благодаря активной разработке учеными способов развития краеведческого движения краеведение с середины 1920-х гг. представляло собой не только инструмент изучения истории родного края. Усилиями представителей прогрессивной национальной интеллигенции и краеведов-любителей при поддержке центральных и региональных властей открывались вузы, музеи, научные учреждения, развивавшие основы систематического научного изучения края. Этот процесс активно шел в городах Северного Кавказа, которые уже имели свои традиции научно-исследовательской работы. Ведущим среди них был Владикавказ, где с 1893 г. работал краеведческий («естественно-исторический») музей. Терский областной музей, призванный содействовать распространению знаний по истории, этнографии, а равно собирать и хранить памятники старины и искусства края, внес значительный вклад в сохранение и популяризацию памятников истории и культуры северокавказских народов. На его базе было основано первое на Северном Кавказе специализированное краеведческое научное учреждение — Северо-Кавказский институт краеведения. Он стал частью государственного проекта формирования региональной сети краеведческих научных учреждений для реализации практических задач советского социалистического строительства.

Северо-Кавказский институт краеведения был открыт на основании приказа Терского областного отдела народного образования от 3 июня 1920 г. для планомерного и систематического изучения Северного Кавказа и в целях приложения научных знаний и выводов к опытно-практической де-

ятельности правительственных учреждений края. Основной формой работы института в те годы были экспедиции, в которых наряду с местными специалистами участвовали ученые из ведущих научных центров страны. За пять лет своей деятельности институт краеведения превратился в центр сосредоточения научных сил всего Северного Кавказа. Был приобретен ценный опыт организации научной работы, который впоследствии очень пригодился при создании национальных научных учреждений, и создан богатый краеведческий материал по истории, этнографии и культуре кавказских народов. Однако в 1925 г. институт был обвинен в «великодержавном шовинизме» и закрыт. Вместо него в каждой национальной автономии региона появился свой научно-исследовательский институт, изучавший историю, этнографию, культуру и язык «коренного» народа.

Вместе с тем, исходя из интересов координации краеведческой работы создаваемых в национальных автономиях институтов, Постановлением СНК РСФСР от 24 ноября 1926 г. было принято решение о возобновлении деятельности Института краеведения в Ростове-на-Дону. Официальное восстановление состоялось в марте-апреле 1927 г. С этого момента (вплоть до ликвидации в 1937 г.) проблематика исследований воссозданного института разрабатывалась в строгом соответствии с государственными задачами социалистического строительства в регионе. Она согласовывалась с органами краевой власти и представителем Главнауки. В итоге диапазон исследовательских направлений расширился и стал предметным. Он включал задачи изучения естественно-производительных сил автономных образований, национальных культур автохтонных народов; проработку вопросов, вызываемых государственными потребностями; мероприятия по организации краеведческого дела на местах, подготовке кадров краеведов, проведению культурно-просветительской работы.

В середине 1920-х гг. задачи форсированной социалистической перестройки народного хозяйства и культурная революция привели к усилению централизации управления всей сферой науки и к ужесточению контроля над научной деятельностью.

Осетинское историко-филологическое общество с его демократическими традициями организации научной деятельности, относительной свободой и независимостью в формировании исследовательских направлений, равно как и Северо-Кавказский институт краеведения, уже не соответствовали новым запросам власти. Реорганизация Общества и создание на его базе Осетинского научно-исследовательского института краеведения стали одним из этапов институционального и организационного становления научного пространства Северного Кавказа в середине 1920-х — начале 1930-х гг.

Новая парадигма национальной политики и интерпретации ленинского положения о двух тенденциях в национальном вопросе

В начале 1930-х гг. политика «коренизации» была свернута в ходе кампании «борьбы с буржуазным национализмом». Вместе со сменой парадигмы национальной политики, перед учеными были поставлены задачи дальнейшей разработки актуальных теоретических и практических проблем развития наций и национальных отношений. К числу приоритетных вопросов были отнесены экономические основы сближения наций и народностей, соотношение общего и особенного в их социально-политическом и культурном развитии, проблемы расцвета и сближения социалистических национальных культур, социально-психологические факторы дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества народов СССР и т. д.

Анализу двух тенденций было дано немало оценок, включая совершенно противоположные мнения. Основной подход заключался в сравнении этих тенденций при капитализме и в условиях советского политического режима. Разница виделась в отсутствии равноправия между большими и малыми нациями, национальном гнете, разжигании национальной розни, присущими буржуазной идеологии.

Свою лепту в разработку этих проблем внесла и региональная гуманитарная наука, которая рассматривала специфику этих тенденций не только на Кавказе. В частности, активно обсуждалась идея несовместимости ленинского положения о двух тенденциях с развитием национально-культурной составляющей, высказанная в публикациях П. М. Рогачева и М. А. Свердлина [*Рогачев, Свердлин* 1969: 26–31]. Так, Б. Саламов утверждал, что В. И. Ленин имел ввиду создание необходимой социально-психологической атмосферы для всемерного укрепления дружбы и сотрудничества наций и народностей, но никак не развитие их особенностей. «Если всесторонне развивать отличительные черты социалистических наций, их особенности, то не приведет ли это к утрате первой тенденцией ее прогрессивного характера?» [*Саламов* 1975:11].

В ходе многочисленных дискуссий, высказывались разные мнения: о преобладании второй тенденции, о недопустимости противопоставления «расцвета» и «сближения», о необходимости развивать в рамках «расцвета» только лучшие образцы национальной культуры, и наконец, об абсолютном единстве и всего лишь относительном различии обеих тенденций. Многие исследователи утверждали, что в экономике, политике и идеологии в период развитого социализма не может быть национальных особенностей. Наличие таковых признавалось только в таких областях национальной культуры как художественное творчество, язык, семья и национальная психология. «Можно было бы, конечно, вопреки здравому смыслу отрицать вообще развитие национально-особенного при социализме, но лучше...вести речь о *расцвете*

положительных особенностей национальной культуры», — рассуждали философы [*Саламов* 1975: 13].

Вторая из двух ленинских исторических тенденций в национальном вопросе была обозначена как «сближение наций» и предполагала укрепление единой экономики, идейно-политической жизни, социально-классовой однородности, единого духовного облика народа, единой культуры. Соответственно, перед учеными ставилась задача обоснования приоритета общих закономерностей и критики попыток преувеличения национального своеобразия, которое мешало сближению наций.

Часть ученых считала, что причиной преувеличения этнокультурного своеобразия является «национальное формообразующее начало», которое складывалось веками, обладает большой консервативностью и устойчивостью, лежит в основе этнического самосознания и «психического склада» каждого народа [*Акимов* 1970: 31].

Другие среди причин сохранения национальных особенностей выделяли высокий процент национальной однородности населения на исконных территориях, низкий уровень грамотности горских народов, наличие социально-психологического фактора — сохранение в обыденном сознании значительной части людей обиды на русских как на угнетавшую в прошлом нацию, значительное негативное влияние клерикальной идеологии.

К числу причин была отнесена и сама Октябрьская революция с последовавшей за ней политикой коренизации: «раскованное национальное чувство получило простор для взлета и с этим нельзя было не считаться» [*Саламов* 1975: 25].

Необходимость ориентироваться на установки В. И. Ленина об «особой осторожности в отношении к национальному чувству угнетенных наций», о содействии «развитию языка, литературы трудящихся масс угнетавшихся ранее наций для устранения всех следов унаследованного от эпохи капитализма недоверия и отчуждения» [*Ленин*1969: 111] и одновременно «продвигать» идею о слиянии наций, привела к весьма противоречивым научным интерпретациям.

Так, миграционные передвижения 1920–1930-х гг., направленные на воссоединение отдельных этнических групп со своим народом, воспринимались как националистические проявления. В частности, таковыми объявлялись переселение в 1927 г. 200 семейств калмыков, издавна проживавших на Тереке, в Калмыкскую автономную область; жителей адыгейского селения Суворово-Черкесского — в Адыгейскую автономную область; около 50% кабардинцев, проживавших в Моздоке — в Кабарду; около 200 семей черкесов — на исконную черкесскую территорию [*Саламов* 1975: 25–26]. Таких фактов было очень много. Тщетной попыткой восстановить давно утраченную этническую общность было названо и желание армавирских армян обучать своих детей армянскому языку [*Волков, Лавров* 1968: 331].

Много лет ученые не поднимали проблемы межнациональных противоречий. Опыт межэтнического взаимодействия на Северном Кавказе представлялся исключительно позитивным, и это вполне соответствовало исторической реальности традиционных обществ. Она заключалась в существовании тесных взаимовыгодных хозяйственных связей, добрососедских отношений, закрепленных межэтническими браками и такими формами искусственного родства как побратимство, куначество, аталычество и пр. Эта исторически сложившаяся система с хорошо развитыми миротворческими практиками была создана социальными элитами народов региона [*Марзоев* 2011], которые были реальными участниками межэтнического общения, имея для его реализации материальные ресурсы, социальный статус и связи, унаследованные от старших поколений. Уничтожение этнических элит практически уничтожило эту систему.

Горская Автономная советская республика, основанная в 1921 г., вместо разрушенной традиционной модели межэтнического общения, предложила императивную формулу, озвученную Учредительным съездом Советов Горской АССР: «Отныне раз и навсегда уничтожаются и отмирают межнациональные неприязненные отношения в центре Кавказа. Все трудящиеся ГАССР — сотрудники и соратники по борьбе...» [Образование Горской АССР].

При этом совершенно игнорировались реальные проблемы. Главным фактором межэтнических споров была острая нехватка земли, поэтому от новой власти люди требовали возвращения территорий, отданных российским правительством казакам. Поскольку многие представители терского и кубанского казачества, получившие большую часть земель, поддержали белогвардейское движение, требование крестьян было удовлетворено.

Распад Горской АССР положил начало территориальным претензиям между образовавшимися национальными автономиями, которые, впрочем, не представляли интереса ни для власти, ни для науки. Исключением был вопрос горско-казачьего противостояния, но он представлялся этнически обезличенным.

К этому времени национальный вопрос в стране был признан решенным, цепи «национального гнета» — разрушенными, социализм — торжествующим, нации и народности — расцветающими и по-ленински дружными. Никто не прогнозировал, что административно-территориальные преобразования могут стать серьезной причиной будущих, в том числе некоторых современных межнациональных конфликтов в регионе.

В феврале-марте 1944 г. чеченцы, ингуши, балкарцы, как и некоторые другие народы региона были насильственно депортированы в Казахстан и Среднюю Азию. Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована, часть ее районов отошла к Дагестану, Грузии и Северной Осетии. На освободившиеся земли завозили переселенцев из близлежащих ре-

гионов, нередко против их воли. После реабилитации депортированных народов в 1957 г., Чечено-Ингушская республика была восстановлена, в ее состав были включены 3 новых района, ранее принадлежавшие Ставропольскому краю. Но эти мероприятия не помогли избежать напряжения в отношениях между осетинами и ингушами, чеченцами-аккинцами и аварцами-алмакцами, обострения отношений между кабардинцами и балкарцами, карачаевцами и казаками. В частности, ингуши ставили вопрос о возвращении Пригородного района Северо-Осетинской АССР, где тогда же произошли первые межэтнические столкновения между осетинами и вернувшимися из казахстанской ссылки ингушами. С тех пор в данном районе столкновения происходили постоянно, но власти не видели в этом проблему. Не заинтересовала эта история и ученых.

Идеологическая и политическая регламентация научной деятельности в послевоенное время

Работы, написанные в послевоенное время, имели скорее идеологический характер, чем научный. Задача анализа реальных событий и процессов в области национальных отношений, очевидно, не ставилась; содержательная часть сводилась к восхвалению политики партии и ее вождя.

В северокавказской историографии слабая разработанность проблематики объяснялась неразвитостью материально-технической базы научной сферы, методической и источниковой базы, а также малочисленностью профессиональных историков, которые понесли безвозвратные потери в результате репрессий 1930-х гг., а затем в ходе войны. В послевоенное время власть оказывала ученым материальную и социальную поддержку, что способствовало складыванию в общественном сознании представления о престижности занятий научной деятельностью. Общеизвестно, что поколение послевоенных студентов наиболее быстро продвигалось по социальной лестнице, заняв почти сразу же после окончания институтов довольно высокие посты. Действительно, острая нехватка кадров и имевшийся у многих фронтовой опыт обеспечивали благоприятную почву для быстрого служебного роста.

Вместе с тем, наряду с позитивными процессами, в научном пространстве страны в целом и регионах, в частности, усиливается идеологическая и политическая регламентация научной деятельности. Начиная с 1946 г., разворачивается кампания по восстановлению политического контроля над интеллигенцией, со временем всё больше приобретавшего форму усиленных идеологических проработок. Само же содержание такой «палочной» идеологии становилось всё более и более зашоренным и подчас лишенным всякого смысла. Но в развитии этой формы выражалось стремление контролировать духовную жизнь общества, подчинить партийному влиянию всю творческую интеллигенцию. Ужесточение к концу 1940-х гг. идейно-политического

курса в отношении научной и творческой интеллигенции нашло, в частности, выражение во введении с сентября 1948 г. персонального учета научных работников. Тем самым формировалась своеобразная база данных, дававшая представление о научных пристрастиях и научных интересах исследователя, о перемещениях по карьерной лестнице. В карточке учета фиксировались автобиографические сведения, которые позволяли прямо или опосредованно судить о социальном происхождении, о национальной принадлежности, об общественно-политических взглядах человека и т. д. Обладая такой информацией, в условиях нарастающего идеологического диктата власть получала реальные рычаги для контроля умонастроений интеллигенции и корректировки поведения творческой личности в нужном ей направлении.

Показателем усиления регламентации общественной жизни, в том числе в научных и учебных учреждениях республики, явились решения V пленума Северо-Осетинского обкома ВКП(б) (февраль — март 1950 г.), состоявшегося после февральского (1950 г.) постановления ЦК ВКП(б) «О недостатках в работе Северо-Осетинского обкома ВКП(б)». Действуя в соответствии с идейно-политическими требованиями ЦК ВКП(б) к организации научно-образовательной деятельности вузов, пленум подверг резкой критике руководителей этих учебных заведений за «плохую постановку учебно-воспитательной и политической работы среди студенчества», за «допущение засоренности среди профессорско-преподавательского состава». Были сняты с должностей директора медицинского и горно-металлургического институтов с формулировкой «за крупные ошибки и морально-бытовое разложение». В педагогическом институте была «вскрыта антисоветская подпольная группа» [*Цориева* 2012: 191].

Об усилении давления на научную интеллигенцию в Северной Осетии свидетельствовали материалы заседания бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б), состоявшегося 27 мая 1950 г., и принятое по итогам обсуждения постановление «О подборе, расстановке и воспитании профессорско-преподавательских кадров вузов республики». Обсуждению вопроса предшествовал анализ социального состава, политических предпочтений, фактов привлечения к ответственности за политические взгляды профессорско-преподавательского состава вузов республики. Как отмечалось в справке, подготовленной к заседанию бюро обкома, из 460 человек профессорско-преподавательского состава четырех вузов республики 25% имели сами или их родственники «серьезные компрометирующие материалы». Свидетельством «политической неблагонадежности» могли оказаться происхождение из «зажиточной семьи», служба в белой армии, связь с «буржуазными националистами», нахождение в плену или на оккупированной фашистами территории, наличие судимости самого, родственников или знакомых по «политической статье», «нахождение родственников за границей», национальная принадлежность и т. д.

Проводя социальные чистки среди ученых и педагогов, партийно-государственные органы использовали не раз испытанный прием — «бить наиболее видных, чтобы боялись остальные». Действительно, среди тех, кому было отказано в политическом доверии, оказались многие видные представители научной интеллигенции, внесшие заметный вклад в становление высшей школы и науки в Северной Осетии. Культивирование атмосферы подозрительности, проявления «политической бдительности» в определенной степени имело следствием высокую текучесть научных и преподавательских кадров. По данным высших учебных заведений республики в течение 1948–1950 годов в институты было принято 105 человек и уволено 72 человека.

Активно поощряемая властью кадровая политика, базировавшаяся на принципе: «освобождение от лиц, не соответствующих своему назначению по политическим и деловым качествам», служила весьма эффективным профилактическим средством для предотвращения проявлений политической нелояльности со стороны наиболее образованных, интеллектуальных слоев общества. При этом совершенно очевидно, что предпочтение политических критериев отбора и аттестации научно-педагогических кадров в ущерб их профессиональным качествам крайне негативно сказывалось на научном, творческом потенциале вузов и действовавших на их базе научных учреждений.

Сложившаяся система предпочтительного отбора по социально-классовым и политическим признакам усугубляла проблему острой нехватки научно-педагогических кадров. Решать ее предполагалось за счет привлечения в науку молодежи, в том числе из представителей коренной национальности. Однако отбор для поступления в аспирантуру должен был осуществляться, прежде всего, с учетом политической благонадежности, социальной принадлежности претендентов и лишь затем исходя из уровня их подготовленности, природных способностей и предрасположенности к занятиям научной деятельностью. Любые отступления от этих правил резко пресекались.

В послевоенные годы научная деятельность в вузах и научных учреждениях осуществлялась в полном соответствии с общесоюзными требованиями к организации научного процесса. Практически все вопросы от планов научно-исследовательской работы до состава Ученого совета, выносились на обсуждение и утверждались на заседаниях бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б). Научные исследования, предназначенные для печати, проходили цензуру Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит).

Рассмотрение вопросов национально-культурного строительства непосредственно связывалось с решением задач агитационно-пропагандистского характера. Это определяло компоновку структуры текста, влияло на подбор и интерпретацию документальных и статистических источников, на стиль изложения материала [20 лет 1940, 20 лет 1944, Кабардинская 1946].

В новых политических реалиях любые попытки подчеркнуть своеобразие исторического развития отдельного народа, стремление глубже изучить

его культуру и традиции истолковывались как проявление национализма и решительно пресекались. В конце 1940-х гг. самыми опасными обвинениями для национальной интеллигенции становились обвинения в буржуазном национализме.

Например, в Северной Осетии в 1947 г. возобновилась прерванная войной работа над созданием первого фундаментального научного исследования по истории Северной Осетии с древнейших времен до настоящего времени. 24 июля 1947 г. было принято совместное постановление Северо-Осетинского обкома ВКП(б) и Совета Министров Северо-Осетинской АССР о написании истории республики. Постановлением бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) был определен состав правительственного комитета. В него вошли секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) К. Д. Кулов, председатель Совета Министров Северо-Осетинской АССР, руководитель отдела пропаганды и агитации (они являлись ответственными политическими редакторами готовившегося издания), а также ряд других партийных и советских работников республики. Идеологизированный подход к освещению истории Северной Осетии, изначально предопределенный поставленными перед исследователями задачами, был чреват конфликтом между политическим заказом и научным предложением. Именно это и произошло в ходе работы над «Историей Северо-Осетинской АССР. В процессе реализации исследовательского проекта были подняты актуальные проблемы истории Северной Осетии: происхождение осетинского народа, формирование государственности, особенности социально-экономического развития, значение присоединения к России, сущность и характер массовых народных выступлений конца XVIII — начала XIX вв., причины переселения горцев в Турцию. Разработка этих и других вопросов вызвала споры, и не только в научной среде.

Реакция республиканских партийных руководителей на характер освещения ряда научных проблем, некоторые оценочные суждения и выводы, к которым пришли гуманитарии в ходе научно-исследовательской деятельности, оказалась негативной: они вошли в явное противоречие с концептуальными положениями, утверждавшимися в тот момент в официальной исторической науке. Переписывание истории народов Северного Кавказа в угоду политическим требованиям тяжело отражалось на состоянии науки и судьбах интеллигенции. Начались проработки и гонения на ученых, имевших расхождения в общественно-политических взглядах с официально поддерживавшейся позицией. Однако, несмотря на идеологическое давление и использование административно-правовых методов, некоторые из них в силу воспитания, особенностей психологического склада, моральных качеств, видения себя в научном сообществе, не всегда были готовых отказаться от своих научных взглядов и покаяться в «заблуждениях». «Дела» инакомыслящих с подачи партийных органов выносились на заседания Ученых

советов, на партийные собрания вузов и научных учреждений. Против них публиковали критические статьи на страницах газет и журналов. Их подвергали общественному осуждению, лишали возможности работать, арестовывали, ссылали. Неуступчивость редактора издания, историка Г. А. Кокиева в научной позиции, его отказ следовать политическим и идеологическим соображениям времени и нежелание каяться в «политических ошибках», привели к тому, что ученый был обвинен в фальсификации истории народов Северного Кавказа, в «протаскивании мелкобуржуазной националистической идеологии» и приговорен к восьми годам лишения свободы с содержанием в исправительно-трудовом лагере [*Цориева* 2012: 210].

Курс на идеологическую профилактику среди научной интеллигенции объективно ограничивал возможности исследовательской деятельности при анализе и оценке важнейших событий и процессов в истории и культуре народов СССР. В таких же сложных условиях в конце 1940-х — начале 1950-х гг. писались истории других национальных республик Северного Кавказа.

Значительное влияние на формирование тематики исследований по истории национально-культурного строительства оказывало истолкование в научной литературе культурной революции в духе «Краткого курса истории ВКП(б)». По сути, содержание культурной революции в нем сводилось к преобразованиям преимущественно в сфере народного просвещения и подготовки кадров специалистов. Упрощенная трактовка проблемы естественным образом ограничивала круг научных проблем вопросами всеобуча, создания «трудовой» школы, деятельности ликбезов и культурно-просветительных учреждений. Исследовательский интерес вызывала тема развития высшей школы, подготовки кадров специалистов. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. в региональном кавказоведении она изучалась в рамках празднования юбилейных дат, связанных с созданием и развитием системы высшего образования в республиках Северного Кавказа.

Особенно обостренно воспринимались попытки публичного обсуждения проблемы функционирования национального языка. К этому времени уже отчетливо проявились негативные последствия реформы национальной школы. Сужение сферы использования национального языка в результате реформы неизбежно вело к угасанию языковой традиции и к ухудшению перспектив развития национальной культуры. Деятели культуры справедливо выражали обеспокоенность в связи со складывавшейся ситуацией, однако попытки обсуждения проблемы и критические оценки государственной языковой политики решительно пресекались, поскольку они не согласовывались с концепцией создания наднациональной общности — «советский народ».

«Оттепель» и ее влияние на развитие гуманитарной науки

Либерализация духовной жизни и некоторое смягчение идейно-политического климата на фоне «оттепельных» процессов второй половины 1950-х — начала 1960-х гг. в совокупности дали новый импульс разработке теории и истории советской культуры. С середины 1950-х гг. намечается некоторый перелом, связанный с разоблачением политики И. В. Сталина и депортации целых народов. В период «оттепели» появились первые на Северном Кавказе диссертационные исследования [*Сабанчиев* 1950, *Абилов* 1952, *Бурнышев* 1955]. В научный оборот вводятся малоизвестные архивные и другие документы, что является несомненным достоинством проведенных исследований.

Новый этап в изучении истории советской культуры республик и областей Северного Кавказа был отмечен появлением первых монографических исследований [*Абилов* 1959, *Аликберов* 1956; *Александров* 1961, *Дедегкаев* 1964, *Цуциев* 1967]. В работах северокавказских ученых рассматривались вопросы формирования и внедрения новых форм культуры, создания кадров национальной интеллигенции, развития системы образования в годы социалистической реконструкции. Шло активное накопление иллюстративно-статистического материала, характеризовавшее состояние культурной жизни в национальных регионах. Доминирование образовательной проблематики в советской историографии было обусловлено ролью, отводимой государством школе в решении социально значимых задач, а именно: образования и просвещения народных масс, воспитания нового, «советского» человека, активного участника социалистического переустройства общества. С учетом этого, анализировались актуальные вопросы введения всеобщего обязательного среднего политехнического образования, создания школ-интернатов как институтов обучения и воспитания подрастающего поколения, преодоления неграмотности среди взрослого населения.

В целом, накопленный в 1950–1960-е гг. исследовательский материал позволял проследить динамику культурного процесса за годы советской власти и выявить как общие закономерности, так и специфические особенности развития гуманитарной науки в национальных регионах. Вместе с тем, советской историографии, безусловно, были свойственны тематическая ограниченность и описательность, преувеличение достижений в области национально-культурного строительства, игнорирование части сложных и противоречивых явлений социальной и культурной жизни. В значительной мере эти свойства историографии были отражением осознанных, канализированных идеологических путей обеспечения культурного прорыва в коммунизм, особенно в начале 1960-х гг. В этих работах не было и не могло быть в то время, глубокого анализа межнациональных отношений. По сути, все работы констатировали отсутствие в стране национального вопроса и укрепление

дружбы народов, зачастую используя один набор стандартных утверждений и фактов. Отчасти попытки преодоления этих противоречий достигались через совершенствование методологии обращения к предмету исследования. Начинался поиск новых подходов к изучению истории советской культуры, которые позволяли бы представить ее единой, внутренне цельной сферой общественной жизни.

Одним из способов решения этой задачи мыслился «проблемный подход», который по мнению его сторонников, помогал преодолеть недостатки «иллюстративно-схематического метода изучения советской культуры. Совершенствование методологической базы науки расширяло возможности для углубленной разработки вопросов культурного строительства. Активизации исследовательской деятельности способствовал ряд научно-организационных мероприятий, в результате которых были созданы научные центры по изучению истории советской культуры в центральных и республиканских академических институтах. Заметно пополнился научно-кадровый потенциал в национальных регионах, в том числе в северокавказских республиках. Дальнейшим изысканиям в области культуры содействовало и расширение источниковой базы исследований, в результате открытия в годы «оттепели» некоторых недоступных прежде архивных фондов.

Очередной XXII съезд в 1961 г. объявил о новом этапе в развитии национальных отношений в СССР: дальнейшем сближении наций и достижением их полного единства [Материалы 1961: 405]. Сегодня многие критикуют принятую съездом Программу КПСС как «двурушную оценку» происходящих событий и откровенную демагогию [*Дзидзоев* 1992: 17–18]. Но надо признать, что в период после съезда отмечена наибольшая активность в историографии «национального вопроса», появилось большое число монографий и научных статей, посвященных «мудрой» национальной политике партии и ленинской дружбе народов [*Кониев* 1969; Плоды 1976; *Некоторые* 1977; *Магидов*1982].

Актуализация идеи «сближения наций» как условие формирования единой общности «советский народ». «Пережитки прошлого», «новые традиции» и другие тренды советской историографии

Идея формирования единой общности «советский народ», озвученная на XXII съезде КПСС, поставила перед гуманитарной наукой задачу теоретического обоснования формирования «нового типа исторической общности».

Этнокультурное многообразие народов страны представлялось препятствием в решении этой стратегической задачи, поэтому в научной повестке появились вопросы унификации этнического самосознания, культуры, быта и духовных ценностей. Этнокультурное и конфессиональное своеобразие народов страны считалось источником противоречий и конфликтов [*Боров*

2014: 4], культурная мозаика рассматривалась как препятствие для сближения наций. Задачей гуманитарной науки стало теоретическое обоснование развития единой духовной общности советского народа, и решалась она зачастую в ущерб другим проблемам: десятилетиями не становились объектом глубокого осмысления проблемы национальной культуры и самосознания, противоречия в сфере этнокультурных проблем и межнациональных отношений. Приоритетными направлениями становились культура и быт рабочего класса, борьба с пережитками прошлого, создание новой советской обрядности. По-прежнему были табуированы попытки критического анализа политики советской власти, как в первые годы ее установления, так и в последующие периоды.

Разработкой понятий «традиция», «обычай», «обряд» и других этнических дефиниций на Северном Кавказе больше занимались философы и социологи. Они же проявили наибольшую активность в борьбе с пережитками прошлого, за внедрение новой обрядности. Многие из этих работ безнадежно устарели, время показало несостоятельность содержащихся в них концептуальных положений. Этнографы более трепетно и профессионально относились к традиции, но вынуждены были добавлять к своим исследованиям, и особенно к диссертационным, обязательные разделы о пережитках прошлого, о быте рабочего класса и влиянии социалистических преобразований на культуру народа. При этом этнографами уже было сформулировано представление об обусловленности традиции социально-экономическими условиями, об их гибкости и возможностях адаптации к новой исторической эпохе; о том, что игнорирование традиций, накопленных предшествующими поколениями, может привести к нарушению исторической связи поколений [*Волкова, Джавахишвили* 1982: 4–5].

Отметим, что северокавказская интеллигенция наработала длительный опыт борьбы с традицией, история которой начинается с середины XIX в. Как справедливо отмечал А. И. Мусукаев, прогрессивно настроенная часть российского бюрократического аппарата и перспективно мыслящие генералы считали разумным демократично решать вопросы, относящиеся к сфере национальных особенностей [*Мусукаев* 2000: 55], учитывать образ жизни и интересы населения. Вместе с тем, российская администрация на окраинах ставила задачи искоренения «вредных» обычаев: многолюдных и многочисленных поминок, уплаты калыма за невесту и других, особенно угрожавших успешному налогообложению населения и пр.

Представители местной интеллигенции считали своей великой миссией обновление традиционного общества, и наряду с идеями новой хозяйственной культуры, «революции возрастающих потребностей», образования и просвещения, поддерживали идеи искоренения устаревших традиций. Содействуя своим авторитетом принятию «общественных приговоров» — коллективных «добровольных» решений сельских сходов об отмене отдель-

ных обычаев, они с одной стороны, участвовали в реализации национальной политики российской администрации, а с другой — искренне верили в просветительское служение своему народу.

Такая политика и порожденные ею социальные практики не возымели воздействия на традиционное общество, поэтому в условиях нового, советского политического режима одним из объектов идеологической борьбы вновь были объявлены устаревшие и «вредные» обычаи и традиции. Как отмечал В. С. Уарзиати, борьба дореволюционных чиновников с «вредными народными обычаями» по своей активности несравнима с деятельностью советских партийных чиновников, смело поднявших руку на культурное наследие народа [*Уарзиати* 1995: 8].

Появились новые формы этой борьбы, связанные с советской периодикой, в частности, коллективные письма трудящихся. В одном из архивов отложилось такое письмо: «Коммунистическая молодежь селения Кадгарон вместе со всем обществом, собравшись для совместной беседы по поводу искоренения многих тяжелых обычаев горских народов, таких, как кровная месть, и выслушав разъяснения ораторов, постановила: всемерно содействовать искоренению этих обычаев, доставшихся в наследство от тех времен, когда судьбой нашей руководили цари и помещики. Горцы, порывая с темным прошлым, видят в лице товарища Ленина вождя могучего рабочего движения, строящего новую жизнь. Дорогому товарищу Ленину наш юношеский привет из подножия Кавказских гор! [Архив музея С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе: 23]. Молодежь не случайно связывала архаичные обычаи с царями и помещиками: главным идеологическим посылом была буржуазная, реакционная сущность традиции.

Новацией можно считать широкое привлечение молодежи и женщин к борьбе с пережитками прошлого, а также пополнение интеллигенции новым профессиональным сообществом — учеными — обществоведами.

«Программа КПСС», вышедшая в 1962 г., вооружила исследователей новым лозунгом: «Партия не допускает ни игнорирования, ни раздувания национальных особенностей» [Программа 1961: 92]. Ученые пытались акцентировать внимание на общих для всех народов Северного Кавказа обычаях и традициях, а «разность» объявляли их национальной формой. Осознание невозможности «причесывать» все народы Северного Кавказа одной историко-философской «гребенкой» привело к стратегии постепенного накопления общих черт в национальных традициях.

Вооруженные идеей К. Маркса о необходимости массового изменения сознания строителей нового общества и избавления «от старой мерзости» [*Маркс, Энгельс* 1929: 70], ученые активно приступили к борьбе с пережитками прошлого. Важно отметить, что это была не только агитация и пропаганда. Философы ставили перед собой непростую задачу разработки теоретических проблем, связанных с обычаями и традициями.

Не имея возможности выйти за рамки понимания нации как продукта буржуазного общества, советские гуманитарии пытались подогнать под него и понятие национальной традиции, наделяли ее классовым характером и подтверждали свои выводы наличием исторического опыта использования традиций прошлого в «узкоклассовых интересах».

В осетинском сегменте советской историографии отмечена активная полемика с зарубежными и российскими авторами по поводу определения таких дефиниций как нация, обычай и традиция, обряд. Одни авторы считали обычаи и традиции формой общественного сознания, другие — элементами социальной психологии, некоторые сетовали на отсутствие «методологических принципов классификации национальных обычаев и традиций», убеждали в необходимости серьезного изучения закономерностей формирования новых традиций в период строительства коммунизма, особенностей их становления в условиях полиэтничности Северного Кавказа. Ставились задачи исследования диалектики перерастания национальных традиций в общенародные, разработки этических и организационных принципов внедрения новых традиций и обрядов.

Идея объективной обусловленности обычаев и традиций экономическим фактором в жизни социума представлялась как «диалектическое переплетение» материальных потребностей с нравами и настроениями, в ходе которого возникали устойчивые нормы, переходившие последующим поколениям уже в виде обычаев и традиций [*Саламов* 1968: 11].

Исследователи, особенно философы, вступали в полемику с представителями «субъективно-идеалистических течений и школ» по вопросу определения нации. Так, Б. С. Саламов не соглашался с определением нации, данным Б. Шейфером, который считал одним из ее признаков «любовь к лицам своей национальности» или высокую оценку своих исконных обычаев. Возражение вызывал тезис о «существующих извечно», а не социально обусловленных обычаях, а также «игнорирование других наций или враждебность к ним» [*Shafer* 1955: 78].

В субъективно-идеалистическом толковании национальных обычаев и традиций и введении в научный оборот «абстрактных понятий» обвинялись и другие «буржуазные идеологи»: Г. Кон, оперировавший понятием «национальная воля», В. Шорджер — «единством цели», Р. Эмерсон — «чувствами разделенных воспоминаний» [*Брутенц* 1961: 67–89]. Тезис американских социологов Р. Макайвера и Ч. Пейджа: «Мы определяем нацию как выражение чувства, разделяемого ее членами, а это вовсе не объективный критерий» [*Модржинская* 1965: 132], был истолкован как признание в отсутствии у них объективного критерия в определении нации.

Полемика велась и с некоторыми отечественными исследователями. Б. С. Саламов не соглашался с определением традиции М. Варисова и Л. Карапетяна как одной из форм общественного сознания и отражения обще-

ственного бытия [*Варисов, Карапетян* 1958: 46]. Он считал, что, являясь отражением общественного бытия, обычаи и традиции отнюдь не являются формами общественного сознания. Не поддержал Б. С. Саламов и определение Б. Цавкилова: «Традиции — это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от прошлых поколений. Передаются, наследуются и становятся традицией идеи, взгляды, вкусы, образ действия и обычаи» [*Цавкилов* 1961: 17]. Б. С. Саламов считал, что автор не усматривает никакой разницы между традицией и обычаем, а сам по себе факт передачи от одного поколения к другому не раскрывает их сущности.

Наиболее приемлемым Б. С. Саламову представлялось определение Н. Сарсенбаева, который под обычаями и традициями подразумевал «устойчивые формы регулярности и порядка во всех сферах общественных отношений» и считал, что «все обычаи и традиции предполагают определенные социальные, нравственные и эстетические идеалы, которые нередко облекаются в формы символизированных обрядов и ритуалов» [*Сарсенбаев* 1966: 33]. Соглашаясь с этим определением в целом, Б. С. Саламов указывал, что оно может привести к ошибочному выводу о том, что только обычаи и традиции, без учета их положительных и отрицательных сторон на конкретном историческом этапе, регламентируют общественные отношения [*Саламов* 1968: 20].

Важно отметить и наметившуюся тенденцию пересмотра синонимического употребления терминов «традиция» и «обычай». Многие исследователи полагали, что сфера действия обычая по сравнению с традицией более узкая, а сама традиция обладает большей устойчивостью и охватывает своим действием большую сферу общественных отношений. А. Хачиров считал, что обычай — это конкретная жизненная ситуация, в которой регулируются взаимоотношения людей посредством нравственных принципов и вытекающих из них действий [*Хачиров* 1973: 26]. Нравственную природу обычая отмечал и Н. Джусойты: «обычай — нравственный закон всего общества и каждой отдельной личности. За его соблюдением следят все — и каждый человек и общество» [*Джусойты* 1968: 244].

Б. С. Саламов предложил собственную классификацию традиций и обычаев, основанную на таких принципах как социальная обусловленность, сфера действия и продолжительность. По принципу социальной обусловленности традиции делятся на народные, классовые и национальные. Народные создаются в течение всей истории материальной и духовной жизни, лучшие из них становятся общенародными, как например, общесоветские традиции.

По принципу сферы распространения обычаи и традиции было предложено разделять на профессиональные, политические (сюда же входят революционные, интернациональные и военно-патриотические), нравственные, научные, художественно-творческие, религиозные и семейно-бытовые. В основе принципа продолжительности действия заложена историческая преемственность традиций, они делятся автором на две категории: преходя-

щие, обслуживающие только данное поколение людей и имеющие ресурсы для становления частью новых традиций, и действующие в течение многих поколений людей [*Саламов* 1968: 26].

Практическую ценность своих теоретических изысканий указанные авторы видели в том, чтобы отобрать лучшие традиции и использовать их в строительстве новой жизни и воспитании нового человека. «Можно ли дорожить обычаями и традициями, которые восхваляют древнюю старину, рождают у молодежи неведомые для нее, противные ее духу мысли и чувства национальной и фамильно-родовой исключительности или отравляют ее сознание ядом религиозного невежества? Нужно ли ценить обычаи и традиции, которые не объединяют людей для совместной борьбы за окончательное переустройство общества по коммунистическому принципу, а исподволь разъединяют их?», — спрашивает Б. С. Саламов. И тут же напоминает слова И. В. Сталина: «Подумайте только: «сохранить» такие «национальные особенности» закавказских татар, как самобичевание в праздник Шахсей-Вахсей, «развить» такие «национальные особенности» грузин, как «право мести!» [*Сталин*1946: 329]. Вдохновленный столь авторитетным подтверждением своих идей, автор призывает к радикальным «мерам принуждения в соответствии с социалистическими правовыми нормами» [*Саламов* 1968: 43].

Отметим, что параллельно обсуждалась и модель «синтетической традиции», идея соотношения ее формы и содержания: приемлемая форма может быть наполнена новым содержанием, равно как и приемлемое содержание традиции может быть облачено в новую, привлекательную форму. Реально оценивая общественные настроения, ученые вынуждены были признать наличие национальных различий, но отнесли их к формам, которые следует снабдить социалистическим содержанием. В качестве примера практически все осетинские исследователи приводили один из главных элементов традиционной праздничной культуры осетин — религиозное празднество «Джеоргуба», которое пытались трансформировать в праздник урожая, сохранив традиционную форму проведения. Отметим, что это предложение вошло в практику в советское время, но долго не продержалось.

Некоторые исследователи считали обряд формой традиции, ее «одеждой» [*Саламов* 1968: 72], другие настаивали на самостоятельности, более весомой общественной значимости и более широкой сфере его функционирования, не всегда связанной с обычаем; отмечены и обычаи, вовсе не имеющие обрядности.

В ходе дискуссии родилось определение: «обряд — это своеобразная плоскость действия, выражающего традиционную форму и раскрывающего ритм и последовательность его развертывания» [*Хачиров* 1973: 24]. К. И. Гостиев определял обряд как совокупность условных, традиционных действий, способ передачи в символической форме определенных социальных отношений, совместное проявление переживания людей, один из способов суще-

ствования традиций и разновидностью обычая. Обычай же определяется им как унаследованный стереотипный способ человеческой деятельности. Традиция, обычай и обряд несут общую функцию передачи социального и культурного опыта новым поколениям [*Гостиев* 1985: 25].

Пережитками прошлого все авторы единодушно считали те вредные стороны в традициях, обычаях, обрядах, те привычки и нравы, которые вступили в явное противоречие с требованиями современности и стали тормозом развития нового. К. И. Гостиев к этой общей позиции прилагал свое мнение: пережитки — это не только то отжившее, что к нам перешло от предков, но и то негативное, что нажито современными поколениями, в виде общечеловеческих пороков [*Гостиев* 1985: 26].

При Советах Министров республик Северного Кавказа создавались специальные Советы по разработке рекомендаций и внедрению в быт новых советских праздников, традиций и обрядов. В их состав входили и ученые. В республиках активизировалась практика борьбы с пережитками прошлого, проводились диспуты, вечера молодежи, вечера вопросов и ответов.

К реализации национальной политики государства, к борьбе за становление новых традиций и обрядов были привлечены СМИ — печать, радио и телевидение. Региональная пресса пестрила заголовками «Рождается традиция», «Это стало традицией», «С днем рождения, традиция!». Анализ местной периодики показывает, что поставленная идеологическая задача решалась по-разному. Например, в Северной Осетии республиканская газета «Социалистическая Осетия» публиковала статьи известных ученых и общественных деятелей, рецензии на книги и брошюры, посвященные борьбе с устаревшими традициями. Другая республиканская газета «Растдзинад» подходила к проблеме творчески, используя жанры юмористических рассказов, описания сцен из реальной жизни, широко привлекая сельскую интеллигенцию в качестве авторов заметок. Такая подача материала на родном языке, из уст не партийных работников, а простых жителей селений, лучше воспринималась обществом. Ответственные за идеологию чиновники считали ее недостаточно острой, но редко кто из них утруждался чтением на осетинском языке. Были и специализированные издания, различные «блокноты» и «бюллетени» агитаторов и пропагандистов, неистово сражавшиеся с национальными и религиозными традициями; к вредным национальным традициям причислялись даже тунеядство, спекуляция, пьянство и другие общечеловеческие пороки. К агитационной работе в Северной Осетии привлекали известных и авторитетных людей. В Кабардино-Балкарии, как отмечал С. Х. Мафедзев, к борьбе с «устаревшими» обычаями также привлекалась «передовая, сознательная» часть кабардинского и балкарского народов [*Мафедзев* 2000: 8].

Одновременно ликвидировались проекты, направленные на сохранение культурного наследия. Так, очень востребованная и полюбившаяся читателям серия научно-популярных брошюр «На древней земле Иристона», которую

основало Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, была закрыта как не отвечающая задаче построения нового общества.

Ученые и общественники под методическим руководством партийных органов, сходились на том, что при анализе обычаев и традиций прошлого во главу угла нужно ставить этический принцип и отбирать для общества то, что в состоянии нести в массы высокие гуманистические идеи. Из новых традиций всемерную поддержку должны были находить только те, которые способствовали воспитанию в трудящихся любви к своей социалистической Родине, прививали чувства интернационализма, коллективизма и коммунистического отношения к труду.

Соотношение национального и интернационального стало для многих исследователей спасительной формулой, в которую хорошо укладывались идеи органичного сочетания национальных особенностей с интернациональными, социалистическими, общесоветскими чертами и традициями [*Киргуев* 1973: 246].

Среди ученых, включенных в процесс формирования нового человека и новых традиций, не было полного взаимопонимания. Не все исследователи разделяли резкий императивные установки на запреты устаревших традиций, расценивая их как конъюнктурный подход к сложной проблеме и непонимание закономерностей культурного развития. Более того, высказывалась достаточно смелая мысль о том, что огульная критика традиции искусственно разрывает связь времен, нарушает диалектику развития личности и препятствует освоению культурного наследия. Появилась и критика сценариев новых обрядов, в частности, комсомольской свадьбы, как чуждой и нежизнеспособной [*Хачиров* 1973: 33–34]. В трудностях при внедрении в быт новых традиций и обрядов стали признаваться и руководители некоторых районов [*Костюкевич* 1983: 82].

Важно отметить, что научная интеллигенция Грузии, Армении, Азербайджана отличалась бережным отношением к своей традиционной культуре и не испытывала столь мощного идеологического давления.

Азербайджанские исследователи умело находили в марксистско-ленинских учениях нужные идеи о ценнейших достижениях в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры, в том числе и буржуазной эпохи, которые следует усваивать и перерабатывать. Это позволило им сделать вывод: «Марксизм учит, что без глубокого и всестороннего изучения и использования прогрессивного наследия прошлых эпох нельзя строить новую, мирную жизнь», и создавать фундаментальные этнографические труды [*Каракашлы* 1964: 271].

Этнографы в Армении считали дошедшие до них традиции достоянием своей этнической культуры и своими исследованиями способствовали сохранению этнокультурной самобытности народа. С. А. Арутюнов справедливо считает, что армянам в условиях диаспоры и сильного культурного давления

удалось активизировать осознанно контролируемые обществом различные защитные механизмы, выполняющие роль своеобразных «фильтров-селекторов» по отношению к восприятию чужеродного культурного влияния [*Арутюнов* 1989: 174–178]. Тем не менее, сегодня армянские ученые сожалеют о том, что за годы советской власти, политика «унификации» и сближения культур, стремление создать новую этническую общность — «советский народ», лишила их многих очагов своей национальной культуры, созданных до 1917 г. [*Тер-Саркисянц* 1998: 384], но это не помешало им в советское время провести многочисленные этнографические исследования и создать добротные труды.

Советский период в грузинской этнографии отмечен многочисленными трудами разнообразной этнографической тематики, которые «соединяют в себе черты большой конкретности и тщательного анализа изучаемых сторон грузинского быта» [*Волкова, Джавахишвили* 1982: 7]. Многие из них написаны на грузинском языке. Следует отметить и наличие исследований общего характера по философии, этнографии, социологии, в которых теоретически осмыслено развитие традиционной культуры и нет ни малейших признаков борьбы с ее пережитками. Высокий уровень этнографических работ обусловил появление интересных обобщающих трудов с новым пониманием культуры, развитие которой происходит в постоянном взаимодействии традиционных, новых и смешанных форм. «В этом сложном процессе традиции, как правило, постепенно трансформируются (или совсем исчезают из быта народа), а инновации, обычно через компромиссные формы, превращаются в традиции. Вновь возникающие традиции на последующем этапе истории обязательно встречаются с другими инновациями, которые в свою очередь со временем также могут превратиться в новые традиции. Подобный процесс бесконечен и, как подтверждают факты истории, характерен для культуры всех времен и народов» [*Волкова, Джавахишвили* 1982: 5].

Этнографическая наука в Южной Осетии во многом формировалась под влиянием грузинской общественно-культурной среды. У югоосетинских этнографов Л. А. Чибирова, З. Д. Гаглойты [*Чибиров* 1970, 1976, 1984; *Гаглойты* 1974, 1981] и других не было необходимости добавлять к своим исследованиям разделы о пережитках прошлого и влиянии социалистических преобразований на быт трудящихся. Сегодня эти труды переиздаются без редакции, они актуальны и востребованы. Известный ученый, писатель и поэт Нафи Джусойты позволил себе выступить против идеи унификации национального своеобразия, против декретирования в вопросах внедрения в быт новых обрядов и поставил под сомнение саму возможность регулирования процессами формирования и внедрения в жизнь новых национальных традиций [*Джусойты* 1968: 242–252]. Он считал, что традиции формируются в естественной нравственно-психологической атмосфере, которую невозможно создать искусственно. За свои «ошибочные суждения» и романтиче-

ское отношение к горской культуре, Н. Джусойты подвергся критике коллег, упорно доказывающих, что такая атмосфера уже создана. Позднее роль микросреды и образа жизни в становлении нового человека станет объектом специального исследования психологов [*Хадиков* 1981], которое со временем приведет к формированию и развитию этнопсихологического направления в региональной науке.

Северокавказские этнографы ориентировались на труды столичных коллег-кавказоведов, которые также вынуждены были балансировать между советским и интернациональным. Например, видный и авторитетный кавказовед Я. С. Смирнова, автор исследований семьи и семейного быта народов Северного Кавказа, писала, что социалистическая интернационализация семейного быта не ведет к его денационализации, а лишь предполагает отход от негативных, изживших себя бытовых традиций. «В любой из сфер культуры и быта национальная форма не может противоречить социалистическому содержанию, а если противоречит — значит, это псевдонациональная форма» [*Смирнова* 1983: 256]. Авторы фундаментальных обобщающих трудов Б. А. Калоев, А. Х. Магометов и их многочисленные коллеги по всему региону, также отдавали дань требованиям времени, описывая быт рабочих, роль социалистических преобразований в бытовой культуре, но при этом создавали достойные этнографические труды, многократно переизданные и востребованные современным обществом [*Калоев* 1971, *Магометов* 1974].

Этнографическая реальность заставляла пропагандистов корректировать идеи создания новой обрядности. Одной из них было использование визуально-эмоционального сопровождения новых традиций, его воздействия на чувства людей. Оглядываясь на уничтоженный опыт подобного влияния церкви на прихожан, они призывали подключить к агитационной работе художников, композиторов, музыкантов, профессиональных актеров.

Приоритетной оставалась проблема расцвета и сближения наций в ее различных интерпретациях, включавших идеи «объективного» характера их слияния, «естественного» отмирании национальных различий и особенностей. Идеологи убеждали сами себя и общественность в том, что завет В. И. Ленина создать «образец национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном строе» [*Ленин* 1970: 198] стал реальностью, приводили убедительные доводы о «выдающихся достижениях» в развитии экономики и культуры Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и других советских республик. Эти успехи позиционировались как торжество ленинской национальной политики, поскольку все коллективы предприятий в регионе были многонациональными; они также использовались в опровержении вымыслов буржуазной пропаганды об ущемлении интересов малых народов, их культуры, языка, обычаев.

Культурная революция в северокавказкой историографии

Проблема советского национально-культурного строительства рассматривалась в общеисторических хронологических рамках, во взаимосвязи с социально-политическими и экономическими процессами. Заметным вкладом в развитие региональной историографии 1960-х — 1980-х гг. явились обобщающие труды по истории республик и областей Северного Кавказа [История 1966, История 1967, История 1969, Очерки 1972, Очерки 1981]. Значение этих работ состояло в том, что они давали представление о динамике культурного процесса в национальных автономиях Северного Кавказа, о содержании и направлениях культурных преобразований, об их месте в общеисторическом процессе. Вместе с тем, анализ накопленного материала позволял судить о степени разработанности отдельных аспектов проблемы и определить вектор дальнейших конкретно-исторических исследований.

Интенсивность публикационной активности по вопросам культурного развития национальных республик и областей Северного Кавказа росла устойчивыми темпами. В работах северокавказских ученых реализовывались традиционные исследовательские подходы.

По мере накопления фактического материала углублялось представление о содержании культурных преобразований в национальных регионах. Расширялись хронологические и тематические рамки исследований. Рос интерес к культуре послевоенного периода [*Хутуев* 1972, *Герандоков* 1975, *Хачиров* 1976, *Бекижев* 1969, *Кулов* 1979].

Наибольшее внимание привлекала история национально-культурного строительства в связи с развернувшейся в 1960–1980-х гг. дискуссией о сущности и периодизации культурной революции. К середине 1980-х гг. в отечественной историографии сложились два взгляда на эту проблему.

Часть исследователей, в большинстве историки, руководствовалась ленинской интерпретацией культурной революции, подразумевавшей революционное преобразование духовной жизни общества, создание новой социалистической культуры, максимальное приобщение к культуре и знаниям широких народных масс. Исходя из такого представления о сущности культурной революции, определялись ее хронологические рамки. Они совпадали с периодом построения социализма в СССР.

Другие исследователи (этот взгляд на проблему наиболее последовательно разрабатывался в философской литературе) считали, что сущность культурной революции заключается в формировании всесторонне развитой личности как нового субъекта исторической деятельности. В таком случае ее задачи могли быть реализованы лишь в процессе всего социалистического строительства, и ее завершающий этап совпадал с построением коммунизма в стране.

В северокавказской историографии советского периода трактовка сущности и содержания культурной революции в национальных республиках

и областях происходила в рамках сложившихся в научной литературе концептуальных построений. В конкретно-исторических исследованиях преобладал взгляд на культурную революцию как революционное демократическое переустройство духовной жизни общества, в результате которого утверждался новый тип культуры — социалистическийпо содержанию и национальный по форме [*Джамбулатова* 1974, *Кулов* 1979].

В региональной историографии в ряду важных исследовательских тем была проблема формирования советской интеллигенции в национальных республиках и областях Северного Кавказа. В работах обществоведов выявлялись социальные источники, рассматривались методы подготовки национальных кадров интеллигенции. При этом проблемы преемственности, вовлечения представителей старой интеллигенции в процесс социалистического переустройства общества не получали должного освещения или оценивались тенденциозно, с классовых позиций. Не рассматривались вопросы взаимоотношений советской власти и интеллигенции, влияния идеологических и политических факторов на реализацию творческого потенциала интеллигентов. Совершенно замалчивалась история инакомыслящей части интеллигенции, а также тех, кто оказался в эмиграции.

К началу 1980-х гг. степень разработанности отдельных аспектов культурного развития позволяла приступить к его комплексному изучению. Заметным продвижением в этом направлении явилась работа В. Д. Текиева «К сияющим вершинам» [*Текиев* 1989]. Автор проанализировал основные тенденции в развитии системы образования, науки и художественной культуры послевоенных десятилетий. Несмотря на несомненный вклад в историографию советской культуры Северной Осетии, вместе с тем, следует отметить, что написанная с позиций марксистско-ленинской методологии, работа несла на себе печать времени, отражала имевшийся теоретический уровень историографического осмысления проблемы. Культурное развитие республики представлялось как непрерывное поступательное движение по восходящей линии.

Конструктивно-позитивный подход к оценке культурных преобразований в национальных регионах за годы советской власти был свойственен всем работам советского периода отечественной историографии. Иллюстративно-статистический материал в монографиях, очерках, статьях и других публикациях представлял положительную динамику в развитии системы образования, демонстрировал достижения в строительстве национальной школы, в обеспечении всеобщей грамотности, в повышении культурного уровня населения, в формировании профессиональных кадров специалистов, в развитии художественного творчества.

Ограниченность исследовательских подходов при изучении истории советской многонациональной культуры, обусловленная господством марксистско-ленинской методологии в обществоведении, не позволяла по-

казать процесс социально-культурного переустройства национальных регионов в советский период во всей его сложности и противоречивости. Некоторые вопросы не ставились вообще или представлялись односторонне. К примеру, несмотря на большой объем научной литературы по истории национально-культурного строительства в 1920-х — 1930-х гг., практически не поднималась тема политических репрессий, тем более не обсуждался вопрос об их трагическом влиянии на духовное состояние общества и на судьбы национальной культуры и национальной интеллигенции.

Существенное внимание истории политических репрессий начинает уделяться только в 1990-е годы. В работах общего и специального характера, посвященных вопросам национально-культурного строительства в республиках и областях Северного Кавказа, нашла освещение история функционирования «репрессивной машины», перемалывавшей не только старую интеллигенцию, но и расправлявшейся с теми немногочисленными национальными кадрами научной и творческой интеллигенции, партийно-советской бюрократии, которые сформировались в годы советской власти. Национальной интеллигенции Северного Кавказа был нанесен огромный невосполнимый урон [*Гаппоев, Тотоев* 2000, *Катханов 2008*]. Мнение кабардино-балкарских исследователей о том, что работа по воспитанию собственной национальной интеллигенции в республике фактически началась в послевоенный период, вполне применимо к интеллигенции и других национальных автономий Северного Кавказа [*Шамеев* 2011].

В исторической литературе явственно озвучивается мысль о том, что культурная революция породила конфликт двух культурных систем: традиционной национальной и новой советской.

Межэтнические конфликты и их последствия в общественно-политической жизни и гуманитарной науке

«Мудрой национальной политике» пришлось столкнуться с реальностью. Особого внимания заслуживает первый межнациональный конфликт в СССР между осетинами и ингушами в г. Орджоникидзе в 1981 г., его последствия для общественно-политической жизни и гуманитарной науки в регионе.

Порожденной ею конфликт осетин с ингушами всё настойчивее напоминал о себе межнациональными столкновениями. В течение 1979–1981 г. произошло около 20 жестоких убийств осетинских таксистов. Очередным стало убийство 28-летнего таксиста в селении Плиево Назрановского района Чечено-Ингушетии в октябре 1981 г., которое привело к мощному протесту в городе Орджоникидзе (Владикавказ). Траурная процессия перенесла гроб с телом молодого человека на площадь перед Северо-Осетинским обкомом партии. Многолюдный митинг предъявил руководству республики обвинения в безнаказанности череды убийств, попустительстве беззаконию и кор-

рупции. Руководство республики обратилось в ЦК, из Москвы прибыли председатель Совета Министров РСФСР Михаил Соломенцев, ряд генералов МВД во главе с Юрием Чурбановым и заместителем Генерального прокурора СССР Баженова. Разгон митингующих был крайне жестоким, с применением бронетранспортеров, слезоточивого газа, солдатских дубинок; Тбилисский полк и солдаты внутренних войск три дня разгоняли восстание, избивали людей, было много раненых и задержанных, которым инкриминировали разжигание межнациональной вражды и активное участие в массовых беспорядках [*Томров* 2020].

Причину конфликта ЦК КПСС увидел в серьезных недостатках в интернациональном воспитании. V пленум Северо-Осетинского обкома КПСС в 1982 г. также признал, что работа по идейно-политическому и интернациональному воспитанию трудящихся республики нередко проводилась формально, в отрыве от жизни, от задач хозяйственного и культурного строительства, что привело к крупным недостаткам — проявлениям национализма, нарушениям общественного порядка, еще и к «пьянству, хулиганству и спекуляции» [Социалистическая 1982].

V и VI пленумы Северо-Осетинского обкома КПСС ставили задачу разработки практических мер по устранению допущенных недостатков, коренному улучшению интернационального воспитания трудящихся, особенно молодежи. При Северо-Осетинском обкоме КПСС был создан «Совет общественного мнения» с проблемными секциями по вопросам идеологической и политико-воспитательной работы, интернационального и атеистического воспитания. Вскоре появилось обращение передовиков производства, деятелей науки, литературы и искусства «Крепить нашу дружбу и братство», в котором содержались призывы к преумножению успехов в коммунистическом строительстве, в воспитании нового человека, к борьбе против пережитков прошлого, против попыток западной пропаганды разжечь националистические предрассудки [Социалистическая 1982]. Во всех республиканских и районных СМИ появились передачи и рубрики о вреде националистических и религиозных предрассудков и глубоких корнях дружбы народов, особенно осетинского и ингушского. Был разработан совместный план мероприятий Северо-Осетинского и Чечено-Ингушского обкомов КПСС по усилению идейно-политического, интернационального и атеистического воспитания. Ученых и партийных деятелей направляли на встречи с многочисленными коллективами; проблемами интернационального воспитания были охвачены все средства массовой информации, учреждения культуры.

В 1982 г. Ю. В. Андропов в докладе на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР, впервые признал, что успехи в решении национального вопроса отнюдь не означают, «что исчезли все проблемы, которые порождает сам факт жизни и труда в рамках единого государства множества наций и народностей. Такое вряд ли возможно, пока существуют

нации, пока есть национальные различия. А они будут существовать долго, много дольше, чем различия классовые» [*Андропов* 1982: 10].

XXVI съезд КПСС установил курс на наращивание материального и духовного потенциала каждой республики и вместе с тем его максимальное использование для гармоничного развития всей страны; важной задачей идеологической работы было объявлено формирование у всех советских людей правильного понимания неразрывного единства национальных интересов с интересами всего советского народа [Материалы 1982: 55]. Съезд также указал на необходимость чуткого отношения к удовлетворению специфических запросов граждан некоторых национальностей в области языка, культуры и быта. Ю. В. Андропов призывал всеми средствами идейного воздействия добиваться того, «чтобы естественная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям» [Материалы 1982: 13].

Что предлагал Ю. В. Андропов? Вновь пропаганду, но в усовершенствованной форме: «свежесть мысли и слова — вот путь к совершенствованию всей нашей пропаганды, которая всегда должна быть правдивой и реалистичной, а также интересной, доходчивой, а значит, и более действенной»; особо вредными признавались «шаблон, серость, словесная трескотня» [Материалы 1982: 15].

Идеологи на местах, вслед за Ю. В. Андроповым предупреждали, что успехи в экономике и культуре одной республики не должны становится предметом узконациональной гордости и приводить к иллюзии исключительности своей нации. Пытаясь объяснить события ноября 1981 г., они уверяли, что в стране нет социальной, классовой базы для националистических проявлений, но рецидивы «буржуазного национализма» еще дают о себе знать. «Факты показывают, в том числе и в нашей республике, что преувеличенное или извращенное проявление национальных чувств, национальный эгоизм, национальная неприязнь и кичливость — явления живучие. И было бы неправильно объяснять эти негативные явления только пережитками прошлого. Порой их питают наши собственные просчеты и недостатки в работе. Нередко националистические пережитки маскируются под истинно национальное: под национальную политику, национальные традиции, патриотизм» [*Кучиев* 1983: 5].

Работники местных обкомов признавали, что неправильно преувеличивать достигнутые в результате «действенных» мер результаты, что для воспитания нового человека недостаточно лекций и бесед, необходим комплекс организационно-партийных и идеологических мер. В частности, ставился вопрос представительства в партийных и государственных органах всех наций и народностей республик, ставших многонациональными в ходе расширения и упрочения всесторонних экономических и культурных связей между ними [*Кучиев* 1983: 4].

Но главной задачей объявлялось интернациональное воспитание. Одной из новых, действенных форм воспитания молодежи провозглашались Клубы интернациональной дружбы (КИД). В Осетии насчитывалось 256 таких клубов. Перед учеными также ставилась задача интернационального воспитания. С целью искоренения национальной «кичливости», идеологи Северо-Осетинского обкома партии постановили, что история осетин начинается с 1917 г., а страницы древней и средневековой истории следует придать забвению; авторов фундаментальных трудов по истории скифов и алан, в том числе профессора В. А. Кузнецова, обвинили в осетинском национализме. В республиканском издательстве было остановлено издание «вредоносных» книг, но ускоренными темпами издавались «правильные» научные труды, посвященные проблемам соотношения национального и интернационального, этническим основам интернационального воспитания.

Следует признать, что наряду с пропагандистскими работами — комментариями материалов съездов КПСС, издавались и исторические труды, посвященные анализу исторического опыта межэтнического общения, этнокультурным связям и взаимовлияниям народов Кавказа. Так, уже в 1982 г. вышла работа А. Х. Магометова «Этнические и культурные связи алан-осетин и ингушей», где исследовано взаимодействие двух народов в хозяйственно-экономической и культурной жизни на протяжении столетий [*Магометов* 1982]. Конечно, упоминаний о событиях 1981 г. в книге нет, а последняя страница посвящена роли партии в укреплении дружбы народов. Но многочисленные факты родственных и дружеских связей, межэтнических браков, сходства традиций и обычаев, форм материальной культуры гораздо действеннее работали на поставленную задачу, чем многочисленные труды по интернациональному воспитанию.

Многие исследователи обращали внимание на тесную связь религиозных и национальных «пережитков», поэтому интернациональное воспитание совмещалось и атеистическим. Высказывалось мнение об интернационализме как мощном факторе борьбы с религиозными предрассудками. Религия объявлялась разновидностью чуждой идеологии, а идеологические центры империализма — рассадниками религиозности для антисоветской националистической пропаганды. Если А. Г. Кучиев допускал некоторую условность в тесной взаимосвязи этих двух понятий, полагая, что верующий человек вполне может быть интернационалистом [*Кучиев* 1983: 15–16], то С. Т. Меликов был убежден в том, что верующий человек всегда будет отстаивать свою религию, не станет сближаться с «неверными», а при необходимости будет враждовать с ними [*Меликов* 1983: 51]. Х. В. Дзуцев также считал, что сущность религиозной идеологии в немалой степени проявляется в разъединении и противопоставлении людей по религиозному признаку, особенно обвиняя ислам, по которому, якобы, «не только атеист, но даже иноверец по сути дела враг» [*Дзуцев* 1983: 77].

К 1983 г. на территории республики действовали 17 зарегистрированных религиозных объединений. Кроме этого, нелегально действовали группы баптистов и иеговистов. Советские работники критически подходили к научно-атеистической пропаганде за ее эпизодичность, отсутствие должной настойчивости, принципиальности, системности и планомерности, без учета национальной принадлежности верующих, их возрастных категорий. Они требовали разработки и реализации комплексных планов научно-атеистического воспитания, которые должны были охватывать все возрастные группы, включая пенсионеров и домохозяек, рабочие коллективы, соседские сообщества. Партийные и комсомольские организации, идеологические учреждения республики призывались к участию в политпросвещении, к образовательному процессу в университетах марксизма-ленинизма, народных университетах культуры.

На VIII пленуме обкома КПСС подверглись критике ученые за слабое участие в интернациональном и атеистическом воспитании трудящихся. Ученых «посчитали» и выявили, что «из 1200 научных работников только 20 человек выступают с лекциями по научному атеизму и 32 человека — по вопросам дружбы народов». За недостаточную активность досталось и организациям общества «Знание». Перед исследователями ставилась задача проведения социологических исследований по вопросам религиозной ситуации и выработки рекомендаций по повышению эффективности атеистического воспитания [*Кучиев* 1983: 17]. Такими исследованиями вскоре были охвачены все регионы страны. Одной из первых к ним подключилась Северная Осетия, где еще с середины 1970-х годов стали проводится массовые опросы населения совместно Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР и Северо-Осетинским НИИ под руководством В. К. Гарданова.

К числу «болевых» точек, негативно влияющих на межнациональные отношения в рабочих коллективах, авторы отнесли недовольство своей профессиональной деятельностью, неудовлетворенность социально-бытовыми условиями. Задачи интернационального воспитания тесно связывали с необходимостью кардинального улучшения ситуации в торговле, жилищном строительстве и коммунально-бытовом обслуживании, в условиях труда, в доступности повышения квалификации. Социологи также писали, что у опрошенных жителей Владикавказа есть друзья другой национальности; у 40% осетин и у 50% русских ближайшие друзья — иной национальности [*Дзуцев* 1983: 75]. Вывод о характере межнациональных отношений сводился к тезису об интенсивности постоянных контактов в производственном коллективе как гарантии оптимизации интернационального воспитания.

Ситуация в стране несколько изменилась после июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, признавшего, что «идеологическая работа в условиях нашей страны, объединяющей свыше 100 наций и народностей, немыслима

без внимательного изучения их специфических интересов, особенностей национальной психологии и культуры» [Материалы 1984: 24].

Однако, реформаторски настроенная часть ученых и общественных деятелей настаивала на необходимости создания и проведения новых обрядов с творческим подходом, с учетом местных особенностей и степени влияния различных объективных и субъективных факторов. В частности, К. И. Гостиев внес большой вклад не только в теоретическую разработку этнических дефиниций, но и выработал «Примерные рекомендации по внедрению в быт трудящихся республики новых гражданских социалистических обрядов», в которых дифференцировались положительные, перспективные и отжившие традиции. Признавая, что борьба с пережитками прошлого, за новые советские традиции не раз приводила к перегибам, и что насильственная борьба с традицией не дала результатов, ученый приходит к выводу о необходимости умело развивать лучшее в традициях, отбрасывая при этом всё вредное и устаревшее. К. И. Гостиев считал, что «драгоценнейшие зерна высокой нравственности» должны использоваться для формирования новой социалистической обрядности, но при этом необходима целенаправленная, деятельная, повседневная пропагандистская и организаторская работа СМИ, партийных и советских органов, общественных организаций по практическому внедрению в жизнь «Примерных рекомендаций» [*Гостиев* 1990]. Рекомендации стали предметом дискуссий, главным оппонентом ученого выступил Х. К. Цаллаев с обоснованием теоретической несостоятельности и практического вреда насаждения новых обрядов «сверху», в административном порядке. Последний он усмотрел в императивной риторике документа («внедрить», «усилить», «искоренить», «исключить» и т. п.). Х. К. Цаллаев считал, что традиции и обычаи подвижны и динамичны, зависимы от жизненных потребностей людей и от динамики экономической и социальной жизни. Дифференциацию обычаев на плохие и хорошие автор расценивал как результат субъективных суждений [*Цаллаев* 1993: 8–11]. К. И. Гостиев, спустя 5 лет после разработки Рекомендаций, признавал наличие в них устаревших формулировок, чрезмерно регламентированных сценариев и необходимость корректировки отдельных положений. Однако на критику Х. К. Цаллаева отвечал, что разработанные им положения являются именно рекомендациями, а не насильственным насаждением новых традиций, касались они не общесоветских, а семейно-бытовых обрядов; при этом настаивал на способности агитационной работы воздействовать на изменение массового сознания людей [*Гостиев,* 1990: 19–22].

По сути, спор ученых сводился к одному вопросу: возможно ли в принципе воздействовать на традицию или ее развитие является исторически обусловленным, «нерукотворным» и независимым от человека.

Несмотря на официальное признание проблем в национальном вопросе, проявленную активность и настойчивость, привлечение всех возможных

ресурсов к его решению, надо признать, что этот подход был поверхностным; по-прежнему не ставилась задача глубокого анализа межэтнических отношений в регионе. Трудно не согласиться с мнением председателя Верховного совета Республики Северная Осетия А. Х. Галазова о том, что октябрь 1981 г. явился предвестником кровавых событий октября — ноября 1992 г.: «Если бы тогда была дана верная оценка происшедшему и приняты соответствующие ей меры, сегодня нам не пришлось бы расплачиваться такой дорогой ценой, — заявил А. Х. Галазов через 11 лет после событий ноября 1981 г., когда этот глубоко укоренившийся конфликт повторился с еще более печальными последствиями» [*Галазов* 2009].

Новый, 1992 г. осетино-ингушский конфликт, а еще раньше Алма-Атинские события 1896 г., события в Нагорном Карабахе, Тбилиси, Фергане стали вызовом для исторической науки. Растерявшие идеологи пытались объяснить их нарушением ленинских принципов национальной политики, по-прежнему считая их «верным компасом».

К. И. Гостиев признавал: «Мы, по существу, расплачиваемся сейчас за то, что чересчур долго считали национальный вопрос решенным, а национальные отношения идеально ясными и ровными, позволяющими без оглядки и сомнений громко с любой трибуны провозглашать «Да здравствует нерушимая дружба между народами!» [*Гостиев* 1990: 46].

В научный дискурс вновь попала ленинская теория двух тенденций в национальном вопросе. Дальнейший расцвет наций по-прежнему считался естественно-историческим процессом, как и их сближение. Но современные ученые считали, что расцвет и сближение наций возможны только при их равноправии, и признавали декларативность последнего.

К этому времени никто не сомневался в отсутствии равных прав и возможностей больших и малых народов, союзных республик и небольших автономий. Идеологи пытались объяснить ситуацию нарушением ленинских принципов национальной политики, по-прежнему считая их «верным компасом». Вспоминалась и нарушенная ленинская установка о недопустимости как привилегий, так и ущемления интересов какой-либо нации. Другое нарушение ленинских принципов виделось в чрезмерном форсировании процесса «слияния» наций, неправильном понимании интернационализма, отставании первой тенденции от второй.

Ученые старшего поколения, убежденные в том, что научно-техническая революция должна стирать национальные отличия и перегородки, недоумевали, откуда взялась «тяга к национально-самобытному», и переживали, как бы она не превратилась в национальное «самомнение» и чувство превосходства над другими [*Гостиев* 1990: 52].

Привычка ориентироваться на установки партии, побудила ученых искать ответы на сложные вопросы в материалах XIX Всесоюзной конференции КПСС и проекте Платформы КПСС, в которых был намечен комплекс мер

по укреплению страны на основе демократических принципов, но не было искомых ответов на актуальные вопросы. Правда, М. С. Горбачев на конференции признал, что национальная политика нуждается в глубокой научно-теоретической разработке [Материалы 1988: 58].

В одних научных исследованиях интерпретировались новые партийные установки, основанные на всё тех же ленинских двух тенденциях, а все неудачи национальной политики объяснялись отходом от них. В других появлялись более смелые попытки объяснения этнического «ренессанса» ответом на такие вызовы как вытеснение родных языков, борьба с обычаями и традициями, в том числе с религией. Ответом, который стал возможен в условиях объявленной перестройки и гласности.

В 1993 г. Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований и Президиум Совета Северо-Осетинского общества «Памятники Отечества» возобновили издание научно-популярной серии «На древней земле Иристона». В предисловии к первой книге «Традиции и обычаи осетин» признавалось, что в бурное время глубоких перемен, когда общество всё больше занимает вопрос национального возрождения, проблема сохранения самобытности многовековых традиций и обычаев приобретает исключительно важное значение. Обычаи и традиции объявлялись золотым фондом, духовным достоянием, предметом гордости, и одновременно, предметом озабоченности [*Цаллаев* 1993: 3].

В первой же книге возобновленной серии Х. К. Цаллаев писал о том, что тоталитарный режим и диктат партийных органов нанесли серьезный урон освоению культурного наследия осетин, их традициям и обычаям, языку и культуре в целом [*Цаллаев* 1993: 8–11]. Такого же мнения придерживался Ф. С. Эфендиев, утверждавший, что долгие годы наблюдался разрыв в развитии и усвоении национальной культуры кабардинцев, балкарцев и других народов, поэтому необходимо глубокое социально-философское осмысление духовного наследия всех народов [*Эфендиев* 1999]. В. С. Уарзиати считал, что в результате национальной политики советской власти и деятельности региональных чиновников, на смену подлинным образцам народной обрядности пришли всевозможные суррогаты [*Уарзиати*1995: 8], искажающие первоначальные смыслы и символы духовной культуры. Надежды на сохранение культурного многообразия мира ученый связывал с Всемирным десятилетием развития культуры (1988–1997), провозглашенным ООН и предполагающим утверждение и обогащение культурной самобытности народов мира.

Историографические тенденции на рубеже советской и постсоветской эпох: итоги и уроки

К концу советской эпохи стирания этнических граней не произошло, ценности и нормы традиционной культуры сохраняли важные функции

в хозяйственной и общественной жизни, в семье и социально-бытовом укладе. Многие авторы отмечали, что происходившая в советское время интеграция традиционной культуры кабардинцев, балкарцев, осетин и других народов Северного Кавказа в структуру общесоветского культурного поля, не привела к ее исчезновению, защитные механизмы самобытной культуры сохранили многие традиции, которые существовали наряду с инновациями [*Кучмезова* 2003; Мир культуры 2002; *Мамбетов, Думанов 1977; Думанов, Смирнова* 1999].

Как справедливо отмечает Ю. Д. Анчабадзе, модернизации в сфере духовных традиций воспринимаются болезненно, а протест может обретать и агрессивные формы [Народы 2016: 6]. Запретительные и ограничительные практики советского времени стали одной из причин «этнического ренессанса», прорыва ожидаемых и неожиданных охранительных настроений. Они проявляются в разных формах: восстановление «народной религии», реконструкция древних, а порой никогда не существовавших обрядов, мобилизация молодежи на защиту «отеческих гробов» от научных археологических раскопок, митинги в защиту памятников национальной культуры и др.

Историографический обзор работ кавказских ученых, позволивший определить влияние государственной национальной политики страны на региональную гуманитарную науку, показывает, что главными тенденциями северокавказского сегмента советской историографии были критика пережитков прошлого, устаревших традиций, обоснование необходимости новой советской обрядовой культуры и разработка практических рекомендаций по ее внедрению. Работа на поставленную задачу плохо сочеталась с другими, действительно важными для науки проблемами национальной культуры и самосознания, межнациональных отношений.

Северокавказские ученые, принимая активное участие в дискуссиях по поводу этнических дефиниций «нация», «традиция», «обычай», «обряд» и других не ограничивались пропагандой и агитацией. В условиях непоследовательной национальной политики они столь же непоследовательно и противоречиво обсуждали две ленинские исторические тенденции, соотношение национального и интернационального в культуре, разрабатывали модели «синтетической традиции», которая бы совмещала национальные формы с социалистическим содержанием. Вместе с тем высказывали достаточно смелые мысли о перегибах в борьбе с традиционной культурой, об искусственном разрыве связи времен и препятствии освоению культурного наследия, об исторической обусловленности, динамичности и подвижности традиции.

Если региональная наука представила интересные исследования по поводу развития национальной жизни, с ее «пережитками» и новыми советскими традициями, то в дискуссии о «второй» тенденции она проявляла скованность, а порой и беспомощность на протяжении всей советской исто-

рии. Ученые вынуждены «примирять» ленинские «две тенденции», зачастую используя один набор стандартных утверждений и фактов в тональности лозунговой политики.

В 1991 г. во Владикавказе состоялась научно-практическая конференция «Совершенствование межнациональных отношений в условиях перестройки», в работе которой приняло участие больше 200 ученых со всей страны: историки, этнологи, философы, экономисты, социологи, психологи, правоведы. Эта площадка была максимально использована для серьезного обсуждения причин сложившейся напряженности в межнациональных отношениях и вариантов ее преодоления, поднимались вопросы мониторинга и прогнозирования. Подчеркивалось, что социально-экономическое развитие страны, культурное и государственное строительство сопровождалось существенными негативными явлениями, послужившими причиной обострения межнациональных отношений. Единый народнохозяйственный комплекс не всегда учитывал экономические потребности отдельных народов, нередко игнорировал экологические условия развития отдельных народов, противоречил их традиционной социальной и хозяйственной культуре, национальным интересам. Также было отмечено, что создание крупных индустриальных комплексов в отдельных регионах страны приводило к интенсивной межэтнической миграции, большим демографическим и социально-структурным изменениям, которые не становились предметом научного анализа, не учитывались, в силу чего негативно отражались на развитии национальных отношений. Разный правовой статус народов страны создавал и разные условия для их развития, что стало причиной возникновения этноцентрических устремлений, национализма и шовинизма. Следует отметить и предложение пересмотреть иерархическую подчиненность национальных республик, областей и округов, краям и областям, не нарушая сложившихся территориальных границ национально-государственных образований, с целью достижения равноправия малых народов.

Ученые согласились и с тем, что существенный урон позитивному развитию межнациональных отношений нанесли теоретические положения о развитии наций, спроецированные на постулатах волюнтарного управления. Истоки этих проблем уходят своими корнями в те времена, когда были разрушены естественноисторические процессы развития многих народов: насильственные миграции, репрессии, право на национальный язык и культуру.

Научный анализ объективных этнических процессов подменялся установками на форсированное сближение наций, предвзятым положением о якобы высоком уровне интернационализации всех сфер жизнедеятельности советских народов, в том числе и сфер социально-бытовых отношений, этнокультурных ценностей и этнической психологии. Нередко яркие проявления этнокультурной самобытности народов объявлялись пережитками, не попадали в число актуальных исследования в области духовной самобытности народов.

На периферии научного поиска остались разработки концептуальных положений и инструментария этнопсихологии, этноязыковых проблем. Ученые выступали с многими предложениями, среди которых стоит выделить организацию комплексных междисциплинарных исследований этнокультурных процессов в условиях социального обновления с учетом региональных проблем в рамках специальной программы «Совершенствование межнациональных отношений», с созданием Российского координационного центра, научных центров и консультационных служб в регионах. Предлагалось создать условия для поддержки таких отраслей науки как этнография, этносоциология, этнопсихология: создать систему подготовки кадров и внедрять результаты исследований в практику совершенствования межнациональных отношений.

Особое внимание стало уделяться вопросу о всемерном содействии расширению социальных, политических и культурных функций национальных языков, правовое закрепление за ними статуса государственных языков, без ущемления интересов представителей других наций, изучение родного языка и культурных ценностей в учебных заведениях.

Заметно возрос интерес к проблеме соотношения религиозного и национального, религия была признана неотъемлемой частью национальной культуры, а борьба за массовый атеизм — разрушительной и бесплодной в части создания альтернативы. Ученые стали формулировать задачи научного осмысления роли религии в этническом сознании, актуализации богатого религиозно-этнического наследия.

Педагоги предлагали в корне пересмотреть систему интернационально-патриотического воспитания, разработав гибкую и динамичную методику воспитания, отвечающую потребностям развития общества и предусматривающую повышение гражданской активности самой молодежи [Этнические 1992: 3–7].

Обзор научной литературы в конце советского и начале постсоветского периодов позволяет заключить, что выше обозначенные проблемы стали активно разрабатываться. В частности, вопросы, неразрывно связанные друг с другом и особенно актуальные для национальных культур в контексте сегодняшнего дня: развитие и функционирования национального языка и национальной общеобразовательной школы. Они исследуются во всех республиках СКФО [От века 2001, *Мирзаканова* 2004, *Бзаров* 2005, *Камболов* 2007]. Интерес к ним обусловлен огромной значимостью национального языка и национальной школы как структурообразующих элементов национальной культуры — факторов национальной и этнокультурной идентичности, формирующих мировоззренческие установки в обществе. Кроме того, принимается во внимание тот факт, что притеснение родного языка становилось причиной или началом крупных межэтнических конфликтов, как, например, это было в Южной Осетии. По мнению Р. С. Бзарова, проанализировавшего

историю осетинской школы на протяжении второй половины XVIII–XX вв., главная закономерность в истории национального образования в Осетии заключалась в прямой зависимости осетинской школы от политической конъюнктуры при отсутствии (или слабости) механизмов этнокультурной самозащиты в осетинском обществе. Автор обосновывает мысль о том, что в результате денационализации образования и разрушения национальной школы во второй половине XX в. образование потеряло необходимую связь с национальной культурой и повседневной жизнью народа. Резкое сокращение социальных функций лишило осетинский язык действенных механизмов воспроизводства. Профессиональные отрасли национальной культуры оказались подавлены жестким идеологическим прессингом и цензурным контролем. В итоге национально-культурное строительство в Осетии не было завершено, что стало одной из фундаментальных причин духовного кризиса общества. Автор считает, что формирование продуманной языковой и образовательной политики — «единственный путь конструктивного движения, совмещающий сохранение имеющихся достижений с планомерным достраиванием недостающих звеньев национально-культурной инфраструктуры» [*Бзаров* 2005: 69].

Критическую оценку получили и другие аспекты национальной политики, в частности освещение межнациональных отношений на Северном Кавказе, которое характеризуется исключительно как конъюнктурное, лозунговое и застойное, прикрывающее истинные причины межэтнического противостояния, деформации и преступления [*Дзидзоев* 1993: 6]. Обстоятельному анализу была подвергнута и национально-культурная политика, выявлены вопросы взаимодействия власти и науки, культуры, творческой интеллигенции [*Цориева* 2012]. Выявлены главные тенденции северокавказского сегмента советской историографии: критика пережитков прошлого, устаревших традиций, обоснование необходимости новой советской обрядовой культуры и разработка практических рекомендаций по ее внедрению. Идеологическим давлением объясняется очевидный, но не в полной мере реализованный потенциал советских ученых-кавказоведов [*Канукова, Дзамихов* 2021].

Анализ национальной политики и историографических обзор сопровождавших ее трудов, показывает негативное воздействие идеологического давления на развитие общества и науки, очевидный, но не в полной мере реализованный потенциал ученых-кавказоведов. К причинам неготовности власти к вызовам наступившей эпохи кровавых межнациональных конфликтов следует отнести многолетнюю политику замалчивания проблем межнациональных отношений, несопоставимости реальности с постулатами «расцвет» и «сближение», неадекватные оценки межэтнических противоречий, тотальное негативное давление на гуманитарную науку, и как следствие, отсутствие глубокой и объективной научно-теоретической разработанности проблемы.

Большая часть рассмотренных работ и содержащихся в них идей не выдерживает критики, время показало их несостоятельность. Однако, некоторые позиции советских ученых незаслуженно преданы забвению, среди них есть положения, приближенные к современному пониманию сохранения и развития самобытности народов страны в контексте формирования общероссийской гражданской солидарности [*Тишков* 2011], поэтому обращение к ним представляется полезным и продуктивным.

Источники и литература

Абаев В. И. Краеведение у горских народов // Известия Осетинского научно-исследовательского института краеведения. 1926. Вып. 2. С. 17–20.

Абилов А. А. Борьба партии Ленина — Сталина за осуществление культурной революции в Дагестан: диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1952.

Абилов А. А. Очерки советской культуры народов Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1959. 267 с.

Акимов А. Х. Осуществление ленинских идей интернационализма на Северном Кавказе. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1970. 105 с.

Александров Н. Ф. Чечено-Ингушская областная партийная организация в борьбе за выполнение решений XX съезда КПСС /1956–1957 гг. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1961. 70 с.

Аликберов Г. А. Дружба народов — основа свободы и процветания народов Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1956. 94 с.

Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР [1922–1982]. Москва: Политиздат, 1982. 30 с.

Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. 247 с.

Архив музея С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе. Ф. 5. Д. 38.

Бекижев М. М. Партийное руководство культурным строительством в Карачаево-Черкесии (1920–1967 гг.). Черкесск: Ставроп. кн. изд-во. Карачаево-Черкесское. отд-ние, 1969. 192 с.

Бзаров Р. С. Очерки истории осетинской школы // Историко-филологический архив. 2005. № 3. С. 30–77.

Боров А. Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе (проблема социально-культурного синтеза). Нальчик: КБГУ, 2014. 298 с.

Брутенц К. Н. Против идеологии современного колониализма М.: Соцэкиз, 1961. 260 с.

Бурнышев А. В. Коммунистическая партия в борьбе за развитие социалистической культуры адыгского народа: диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1955.

Варисов М. В., Карапетян Л. М. Национальные традиции и пережитки прошлого. Махачкала, Б.И. 1958. 21 с.
Волкова Н. Г. Джавахишвили Г. Н. Бытовая культура Грузии XIX–XX веков: традиции и инновации. М.: Наука, 1982. 238 с.
Волкова Н. Г., Лавров Л. И. Современные этнические процессы //Культура и быт народов Северного Кавказа». Москва: Наука, 1968. 348 с.
Гаглоева З. Д. Захарий Николаевич Ванеев. Цхинвали: Ирыстон, 1981. 207 с.
Гаглойти З. Д. Очерки по этнографии осетин. Общественный быт осетин в XIX в. Тбилиси: Мецниереба, 1974. 161 с.
Галазов А. Х. Пережитое. Москва: Фортуна ЭЛ, 2009. 852 с.
Гаппоев Т. Т., Тотоев Ф. В. Величие и трагизм судьбы профессора истории // Книга памяти политических жертв политических репрессий РСО — Алания. Владикавказ: Иристон, 2000. Т. 1. С. 43–49.
Герандоков М. Х. Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1917–1940). Нальчик: Эльбрус, 1975. 239 с.
Гостиев К. И. Народные традиции и обычаи осетин. Пути их совершенствования. Орджоникидзе: Ир, 1990. 223 с.
Гостиев К. И. Новые обряды — в жизнь! Орджоникидзе: Ир, 1985. 49 с.
Дедегкаев С. Культурное строительство в Северной Осетии. Орджоникидзе: б. и., 1964. 18 с.
Джамбулатова З. К. Культурное строительство в Советской Чечено-Ингушетии (1920–1940). Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1974. 233 с.
Джусойты Н. Воспитание чувств и обычай // Дружба народов. 1968. № 7. С. 243–249.
Дзидзоев В. Д. Национальная политика СССР, межнациональные отношения и национальные движения на Северном Кавказе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. СПб., 1992. 46 с.
Дзуцев Х. В. Некоторые вопросы интернационального воспитания трудящихся Северной Осетии по данным социологических исследований // О единстве интернационального и атеистического воспитания. Орджоникидзе: Госкомитет СОАССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 1983. С. 72–77.
Думанов Х. М., Смирнова Я. С. Старые и новые трактовки некоторых брачно-семейных обычаев народов Кавказа // Этнографическое обозрение. 1999. № 4. С. 18–27.
История Дагестана М.: Наука, 1968–1969. Т. 3. 1968. 426 с. Т. 4. 301 с.
История Кабардино-Балкарской АССР. В 2-х тт. Т. 2. Москва: Наука, 1967. 439 с.
История Северо-Осетинской АССР / Сев.-Осет. науч.-исслед. ин-т при Совете Министров СОАССР; [Ред. коллегия: проф. С. К. Бушуев (отв. ред.) и др.]. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959–1966. 2 т. 434 с.

Кабардинская АССР. Посвящается 25-летию автономии Кабарды. Нальчик: Кабард. гос. изд-во, 1946. 395 с.
Калинченко С. Б. Из истории науки на Северном Кавказе. Научно-исследовательские институты: становление и деятельность (1920–1941 гг.). Ставрополь: б. и., 2006. 120 с.
Калоев Б. А. Осетины (Историко-этнографическое исследование). Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1971. 247 с.
Камболов Т. Т. Языковая ситуация и языковая политика в Северной Осетии. История. Современность. Перспективы. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2007. 290 с.
Канукова З. В., Дзамихов К. Ф. «Пережитки прошлого», «новые традиции» и другие тренды северокавказского сегмента советской историографии (1960–1980 гг.) // Известия СОИГСИ. 2021. № 42 (81). С. 70–81.
Канукова З. В. 85 лет научного поиска // Известия СОИГСИ. 2010. № 4 (43). С. 5–18.
Каракашлы К. Т. Материальная культура азербайджанцев северо-восточной и центральной зон Малого Кавказа. Историко-этнографическое исследование. Баку: изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1964. 283 с.
Катханов К. Н. Назыр: Книга об отце. Нальчик: Эльбрус, 2008. 141 с.
Киргуев В. Х. К вопросу о национальном и интернациональном в культуре социалистической нации // Ленинизм и малые нации. Орджоникидзе: б. и., 1973. С. 245–256.
Кониев Ю. И. Национально-государственное строительство на Тереке. Орджоникидзе: Ир, 1969. 98 с.
Костюкевич Г. П. Советскому человеку — новые обряды (Из опыта работы Моздокского районного Совета народных депутатов)//О единстве интернационального и атеистического воспитания. Орджоникидзе: Госкомитет СОАССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 1983. 142 с.
Кулов Б. С. К высотам культуры. Орджоникидзе: Ир, 1979. 184 с.
Кучиев А. Г. Некоторые вопросы интернационального и атеистического воспитания: опыт, проблемы //О единстве интернационального и атеистического воспитания. Орджоникидзе: Госкомитет СОАССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 1983. С. 3–21.
Кучмезова М. Ч. Соционормативная культура балкарцев: традиции и современность. Нальчик: Эль-Фа, 2003. 213 с.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. Издание пятое. М.: Госполитиздат, 1969. 572 с.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. М.: Госполитиздат, 1973. 559 с.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. М.: Госполитиздат, 1970. 552 с.
Магидов Ш. Г. Сближение наций, содружество языков. Нальчик: Эльбрус, 1982. 230 с.

Магометов А. Х. Общественный строй и быт осетин (XVII–XIX вв.) Орджоникидзе: Ир, 1974. 369 с.
Магометов А. Х. Этнические и культурные связи алан-осетин и ингушей. Орджоникидзе: Ир, 1982. 62 с.
Мамбетов Г. Х., Думанов Х. М. Некоторые вопросы современной кабардинской свадьбы/ Этнография народов Кабардино-Балкарии. Вып.1. Нальчик: Кабардино-Балкарский институт истории, филологии и экономики при Совете Министров КБАССР, 1977. 184 с.
Марзоев И. Т. Привилегированные сословия Осетии в поликультурном пространстве Кавказа: генеалогические связи и межэтнические коммуникации (XVIII — начало XX века). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Нальчик, 2011. 45 с.
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.III. Под редакцией Д. Рязанова. Москва-Ленинград: Государственное издательство,1929. 724 с.
Марр Н. Я. Краеведение. Ленинград: Российская гос. акад. тип., 1925. 19 с.
Материалы XXII съезда КПСС. М.: Госполитиздат, 1961. 464 с.
Материалы Пленума Центрального комитета КПСС 26–27 декабря 1983 года. Москва: Издательство политической литературы,1984. 80 с.
Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М.: Политиздат, 1988. 159 с.
Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1982. 223 с.
Мафедзев С. Х. Адыге хабзе. Адыги. Обычаи и традиции. Нальчик: Эль-Фа, 2000. 359 с.
Меликов С. Т. Из истории борьбы КПСС за преодоление влияния идеологии ислама и укрепление интернациональной дружбы народов Северного Кавказа // О единстве интернационального и атеистического воспитания. Орджоникидзе: госкомитет СОАССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 1983. С. 51–71.
Мир культуры адыгов. Майкоп: Адыгея, 2002. 516 с.
Мирзаканова Е. А. Современные этноязыковые процессы и проблема сохранения языка // Вестник Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН. Нальчик, 2004. Вып. 11. С. 126–139.
Модржинская Е. Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. М.: б. и., 1965. 342 с.
Мусукаев А. И. К истории изучения адатов народов Северного Кавказа // Традиции и обычаи народов России. Т. 2. СПб.: АКМЕ, 2000. 200 с.
Народы Кавказа: этнокультурные традиции и модернизация. М.: Три квадрата, 2016. 256 с.
Некоторые актуальные вопросы развития национальных отношений в условиях развитого социализма. Орджоникидзе: Сев.-Осет. ун-т, 1977. 138 с.

Образование Горской АССР. Из истории национально-государственного строительства на Северном Кавказе // TEXTARCHIVE.RU [Электронный ресурс]. Доступ: https://textarchive.ru/c-2884265-pall.html
От века к веку: страницы образования и воспитания в Северной Осетии / Под ред. А. В. Черджиева. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001. 335 с.
Очерки истории Адыгеи. Т. 2. Майкоп: Краснодар. кн. изд-во: Адыг. отд., 1981. 368 с.
Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1972. Т. 2. 359 с.
Плоды ленинской дружбы. Орджоникидзе: Сев.-Осет. ун-т, 1976. 230 с.
Программа Коммунистической партии Советского Союза. Москва: Госполитиздат, 1961. 144 с.
Рогачев П. М. Свердлин М. А. О преобладающей тенденции развития наций в советской общности //Вопросы философии. 1969. № 2. С. 26–31.
Сабанчиев Х. М. Борьба партии большевиков за осуществление культурной революции в Кабарде: диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1950.
Саламов Б. С. Горские народы: расцвет и сближение. Орджоникидзе: Ир,1975. 299 с.
Саламов Б. С. Обычаи и традиции горцев. Орджоникидзе: Ир, 1968. 137 с.
Сарсенбаев Н. С. Обычаи и традиции в развитии. (Народные обычаи, традиции и коммунистическое воспитание трудящихся). Алма-Ата: б. и., 1966. 44 с.
Смирнова Я. С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. Вторая половина XIX–XX в. Москва: Наука, 1983. 264 с.
Социалистическая Осетия, 1982. 24 декабря.
Социалистическая Осетия, 1982. 27 июля.
Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. 1907–1913. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1946. 439 с.
Текиев В. Д. К сияющим вершинам. Орджоникидзе: Ир, 1989. 135 с.
Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. История и этнокультурные традиции. Москва: Восточная литература, 1988. 397 с.
Тишков В. А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011 гг. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011. 232 с.
Тотров В. Великое Осетинское Восстание. Три дня, которые изменили всё, но не попали в учебники истории // Основа. Информационный сайт. 26 октября 2020. Доступ: http://osnova.news/n/9577
Уарзиати В. С. Праздничный мир осетин. М.: б. и., 1995. 233 с.
Филиппова Е. Н., Филиппов В. Р. Камо грядеши? //Этнографическое обозрение. 1992. № 6. С. 3–17.

Хадиков Х. Х. Становление нового человека (социально-психологические очерки). Орджоникидзе: Ир, 1981. 115 с.
Хачиров А. К., Орлова В., Кесаев В. Новые традиции и борьба с пережитками в сознании людей. Орджоникидзе: Ир, 1973. 105 с.
Хачиров А. К. Социалистическая культура и наследие. Орджоникидзе: Ир, 1976. 231 с.
Хутуев Х. И. Из истории культурного строительства в Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1972. 132 с.
Цавкилов Б. О традициях и обычаях. Нальчик: Эльбрус, 1961. 68 с.
Цаллаев Х. К. Традиции и обычаи осетин. Владикавказ: б. и., 1993. 59 с.
Цориева И. Т. Наука и образование в культурном пространстве Северной Осетии (вторая половина 1940-х — первая половина 1980-х гг.). Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2012. 327 с.
Цуциев Б. А. Экономика и культура Северной Осетии. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. 279 с.
Черджиев Х. С. Решающие успехи культурной революции в Северной Осетии (1933–1941 гг.) // Известия СОНИИ. Орджоникидзе, 1960. Т. 22. Вып. 4. С. 108–121.
Чибиров Л. А. Древнейшие пласты духовной культуры осетин Цхинвали: Ирыстон, 1984. 217 с.
Чибиров Л. А. Народный земледельческий календарь осетин. Цхинвал: Ирыстон, 1976. 279 с.
Чибиров Л. А. Осетинское народное жилище. Цхинвали: Иристон, 1970. 202 с.
Шамеев А. М. Историография проблемы формирования интеллигенции на Северном Кавказе в 20–30-е годы XX века (на материалах Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии) // Вестник СОГУ. Общественные науки. 2011. № 3. С. 115–120.
Этнические проблемы развития национальных отношений: Сборник научных трудов /Под ред. Х. Х. Хадикова. Владикавказ: СОГУ,1992. 198 с.
Эфендиев Ф. С. Этнокультура и национальное самосознание. Нальчик: «Эль–Фа», 1999. 329 с.
20 лет автономии Северной Осетии. Дзауджикау: Сев.-Осет. гос. изд-во, 1944. 131 с.
20 лет Советской власти в Северной Осетии. Сборник статей. Орджоникидзе, Госиздат Сев.-Осет. АССР, 1940. 144 с.
B. Shafer. Nationalism: Myth and Reality. New York: Harcourt, Brace, 1955. 319 с.

Глава 9.
СОВЕТСКОЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ

Революционная смена управленческой парадигмы в России растянулась на несколько лет, отягощенных бедствиями гражданской войны. Тем не менее, темпы социалистических преобразований подвигали администраторов процессов изменений к решительным шагам. Но недавний опыт распавшейся империи указывал на пользу сдержанности в подходах к этническому фактору и стимулированию модернизации укладов[72]. Отчасти по этой причине сформулированные научным сообществом этнографические предложения брались в расчет органами власти, видевшими в них практическую надобность[73]. Этнокультурное развитие национальных регионов было частью планов советского строительства, в которых немалый процент составляли научно-исследовательские мероприятия, проходившие, в том числе, на территориях вновь образованных автономий с финно-угорским населением[74]. Регуляторную функцию выполняли уполномоченные органы власти в центре и на местах, прежде всего Главнаука Народного комиссариата просвещения

---

[72] Федерализация РСФСР/СССР была связанна с гигантским объемом срочных работ по образованию новых административно-территориальных единиц, часть из которых строилась по этническому принципу. Властям и этнографам удалось найти взаимопонимание несмотря на то, что далеко не все специалисты по изучению народных традиций разделяли идеологические установки советской власти [*Хирш* 2022].

[73] В первое советское десятилетие органы власти, особенно на региональном уровне, старались использовать в своей деятельности материалы, полученные в ходе полевых исследований — этнографических экспедиций и этносоциологических опросов населения, выделяя пусть скромные, но достаточно регулярные субсидии для работы на местах научных групп из центральных научных и музейных учреждений, краеведческих обществ и областных организаций [Революция для всех 2008].

[74] Научно-прикладные исследования среди финно-угорских народов РСФСР/СССР, ведущиеся в рамках задач «советской этнографии», не могли не учитывать наличие развитой традиции изучения родственных народов, представленной в трудах финских, венгерских и эстонских ученых. Несмотря на идеологические расхождения и напряженные межгосударственные отношения в 1920-х гг. сохранялись спорадические научные контакты. Так, по инициативе финского археолога А. М. Тальгрена, при поддержке этнографов — финно-угроведов У. Т. Сирелиуса и И. Маннинена, в 1926–1938 гг. издавался журнал "Eurasia Septentrionalis Antiqua", в котором публиковались советские археологи и этнографы [*Kokkonen* 1985: 3–10; *Кузьминых, Салминен* 2016: 40–45].

РСФСР/СССР, определявшая объемы и последовательность выделения господдержки ученым.

Структурно-организационные формы советского финно-угроведения 1920–1930-х гг.

Перспективной научно-организационной идеей, одобренной еще прежней властью, виделось предложение о создании специальной комиссии, ответственной за комплексное изучение приграничных областей, что стало бы ответом на действия австро-германских этнографов и лингвистов в прифронтовой зоне и среди военнопленных в годы Первой мировой войны [*Золотарёв* 1925: 201–206; *Денисов, Загребин* 2015: 23–28]. В середине февраля 1917 г. решением Общего собрания Императорской Академии наук была учреждена Комиссия по изучению племенного состава приграничных областей, цели и задачи которой расширились Временным правительством, преобразовавшим ее в Комиссию по изучению племенного состава населения России (*далее* КИПС) [Об учреждении Комиссии 1917; *Псянчин* 2005]. Глубокое административно-территориальное и социально-экономическое переустройство, проводимое под руководством победивших в гражданском противостоянии большевиков, по мысли их лидеров, должно было опираться на реалистичное представление об этническом составе населения страны[75]. Экспедиции и этнографическое картографирование, языковое строительство и публикации по итогам полевых сезонов вселяли в сотрудников КИПС оптимизм, несмотря на послевоенную разруху и личную материальную недостаточность.

Финно-угорская тематика оказалась широко представлена в деятельности Комиссии. Так, в нескольких томах Трудов КИПС содержатся материалы по традиционной культуре родственных народов, правда, представленные

[75] С 1924 по 1935 гг. при Президиуме ЦИК СССР действовал Комитет содействия народностям Севера, в работе которого самое непосредственное участие принимали этнографы, развернувшие систематическое изучение этнических культур, включая северных финно-угров. Одним из ключевых этнографических проектов тех лет стала Приполярная перепись народов Севера и Сибири (1926–1927 гг.), олицетворявшая «государственную прикладную этнографию» и занятия этнографией как важную «государственную профессию». Приполярная перепись явилась уникальным эмпирическим и теоретическим мероприятием, направленным на детальный сбор статистических данных — основной демографической информации о населении (возраст, образование, род занятий, национальность). Отчеты экспедиций содержали значительный качественный статистический компонент, направленный на документацию таких составляющих, как структура домохозяйств коренных жителей, структура сообществ (поселений), фундаментальная структура родства домохозяйств, а также отчеты о ритуалах, мировоззрении, здоровье, условиях жизни и самосознании коренных народов [Приполярная перепись 1926/27 гг. на Европейском Севере 2010].

по географическому принципу, в отличие от публикаций зарубежных финно-угроведов, отдававших предпочтение лингвистической структуризации [*Патканов* 1923; *Фиельструп* 1926; *Золотарёв* 1927; Объяснительная записка 1929; Западнофинский сборник 1930]. Отдельно следует сказать о «Финноугорском сборнике», вышедшем под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, десятью годами ранее инициировавшего создание КИПС[76]. Авторами составлявших том историографических очерков были этнографы, лингвисты, историки и археологи — Д. А. Золотарёв, Н. Н. Поппе, Д. В. Бубрих, А. В. Шмидт и А. И. Андреев, что подчеркивало комплексный характер советского подхода к проблематике. Примечательно, что в тот же период финские финно-угроведы выпустили обобщающий трехтомник, озаглавленный «Финский род», в котором наряду с филологической картиной финно-угорского мира свое место нашли тексты по ранней истории, материальной и духовной культуре [Suomen suku 1926, 1928, 1934]. Оба издания, независимо от страны происхождения, основывались на данных, собранных в экспедициях с помощью местных любителей этнографии. Отличие было во времени: финские материалы преимущественно датировались второй половиной XIX — началом XX вв., тогда как советские — делали акцент на полевых исследованиях последних лет. Также весьма небезынтересна заключительная сентенция из Предисловия к сборнику председателя КИПС: «...Комиссия надеется, что „Сборник" найдет отклик и на Западе, показав, что Комиссия по изучению племенного состава населения СССР приступила к планомерному систематическому исследованию финских народов на территории нашего Союза» [*Ольденбург* 1928: IV]. Признавая отсутствие системы в изучении культур финно-угорских народов в марте 1927 г. в структуре КИПС была создана «Русско-Финская секция» в качестве начального шага институционализации направления и, возможно, некоего ответа на открытие в 1921 г. кафедры финно-угорской этнографии в Хельсинкском университете [*Valonen* 1981: 3–4]. Подводящий итоги ранее сделанному «Финноугорский сборник» остался единственным завершенным продуктом деятельности секции. В 1930 г. КИПС был трансформирован в идеологизированный Институт по изучению народов СССР (*далее* ИПИН), который в 1933 г. вошел в состав академического Музея антропологии и этнографии, в том же году преобразованный в Институт антропологии и этнографии АН СССР.

[76] Формулируя целеполагание советского финно-угроведения С. Ф. Ольденбург отметил важность не столько поиска культурных новаций, сколько фиксации уходящей традиции: «Вопрос изучения финских народностей один из насущнейших в нашей науке, во-первых, потому, что эти народы еще до сих пор мало у нас изучены, а во-вторых потому, что целый ряд специфических особенностей их языка и быта начинает исчезать, уступая нивелирующему влиянию культуры и просвещения» [*Ольденбург* 1928: III].

Академическая заинтересованность в сборке корпуса советского финно-угроведения и его этнографической составляющей подкреплялась активностью музейных учреждений. Часто действуя синхронно с планами КИПС и откликаясь на обращения властей советских национальных автономий за консультациями по темам этнографического районирования, работали сотрудники Этнографического отдела Государственного русского музея (*далее* ЭО ГРМ). Столь тесное взаимодействие объяснялось тем, что заведующий отделом С. И. Руденко совмещал должность в музее с постом ученого секретаря КИПС, а заведующий русско-финским отделением ЭО ГРМ Д. А. Золотарёв возглавлял европейский отдел КИПС и антрополого-этнографическую секцию Ленинградского общества изучения местного края [*Шангина* 1985: 76–84]. Под руководством Д. А. Золотарёва Верхневолжская, Северо-западная и Лопарская экспедиции зафиксировали значительный пласт традиционной культуры прибалтийско-финских народов и кольских саамов [*Золотарёв* 1926, 1927, 1927а, 1930]. Этнографический отдел традиционно опирался на широкую сеть местных корреспондентов-собирателей, многие из которых в советское время стали участниками краеведческого движения. В 1922 г. делегаты 1-й Всероссийской конференции научных обществ решили создать координирующий орган — Центральное бюро краеведения (*далее* ЦБК) при Академии наук СССР с отделениями в Петрограде и Москве. Возглавил ЦБК С. Ф. Ольденбург, а к редакционной работе над журналом «Краеведение» подключился Д. А. Золотарёв[77]. Благодаря деятельности ЦБК был собрано и частично опубликовано немало оригинальных этнографических описаний, поступивших с мест компактного расселения финно-угорских народов. Однако желание установить более строгий контроль за работой краеведов привело к тому, что в 1925 г. ЦБК был подчинен Наркомпросу СССР, через два года С. Ф. Ольденбурга отстранили от руководства краеведным сообществом. В 1929 г. открылось следствие по «Академическому делу», а в следующем году по «Делу о контрреволюционной группировке в ЦБК»[78]. В 1937 г. уникальное объединение советских краеведов было закрыто.

---

[77] Редакция главного журнала краеведов СССР внимательно наблюдала за организационными подходами и тематическими запросами краеведного сообщества не только в стране, но и за рубежом. Одним из примеров успешного изучения истории и культуры даже самых небольших населенных пунктов представлялась работа финляндских коллег, опыт работы которых внимательно анализировался [*Касперович* 1928: 482–490].

[78] В ряде национальных регионов РСФСР в 1930-х гг. особым образом было осуществлено сворачивание краеведческого движения — на базе обществ по изучению местного края организовали приправительственные комплексные научно-исследовательские институты, с положенным по штату числом этнографов. Так смогли сохранить уникальные библиотеки, архивы и, главное, память об исследовательской традиции [*Загребин* 2012: 398–402].

Редким примером краеведческого сообщества, созданного не по региональному, а по тематическому принципу стало Ленинградское общество исследователей культуры финно-угорских народностей (*далее* ЛОИКФУН)[79]. В 1925 г. его организационное ядро составляли собиратели ингерманландских этнографических и фольклорных материалов — В. А. Егоров, Я. Я. Ленсу и А. С. Тигонен; профессора Д. К. Зеленин, Д. В. Бубрих, И. Я. Депман и молодые ученые из среды финно-угорских народов — мордвин М. Т. Маркелов и удмурт К. П. Герд [*Королькова* 2006: 421–432]. Ограниченность выделяемых Главнаукой ресурсов не позволяла развернуть планируемую масштабную деятельность, тем не менее энтузиастам удалось провести ряд экспедиций к финноязычному населению Ленинградской области, начать сбор предметных коллекций, а также издательскую деятельность [Бюллетень ЛОИКФУН 1929]. Опубликованная в сборнике ЛОИКФУН статья члена-корреспондента АН СССР Д. К. Зеленина, посвященная влиянию финно-угорских народов на формирование великороссов, вызвала заинтересованное, порой, острое обсуждение [*Зеленин* 1929: 96–108; *Маркелов* 1930: 57–62; *Толстов* 1930: 63–87]. Д. К. Зеленин рассматривал предмет славяно–финно-угорских культурных отношений как славист, по духу своей научной специализации. Время же требовало иного, комплексного инструментально и политически грамотно оформленного текста [*Решетов* 2004: 137–183]. Это был хороший урок этнографам, оказавшимся на рубеже 1920–1930-х гг. неопределившимися, т. е. публично не заявившими о своем разрыве с методологически устаревшими и идеологически вредными концепциями, начиная с «буржуазного эволюционизма» до «не правильно понятого» ими марксизма [*Слёзкин* 1993: 121]. В 1931 г. вещевые коллекции, собранные в экспедициях членами ЛОИКФУН, были переданы на хранение в ЭО ГРМ, а само Общество прекратило существование.

Продолжая тему, связанную с этнографическим финно-угроведением в музее, с ролью собирателей и краеведов надо отметить, что многие дискуссионные вопросы имели свою историю[80]. Достаточно сказать, что финно-

[79] Признанием заслуг членов ЛОИКФУН стала публикация на страницах главного этнографического журнала страны, тогда же переименованного под идеологическим влиянием руководства ИПИН. Статья стала неким подведением итогов сделанному, поскольку в тот год Общество прекратило существование [ЛОИКФУН 1931: 156–157].

[80] Музей, воспринимая обязательные идеологические метки и технологические новации, виделся в качестве некоей этнографической константы, хранилищем эталонных предметов той или иной культурной традиции. Краеведческий подъем 1920-х гг. в СССР отражал рост этнической идентичности и регионального сознания, продуктивно влияя на учреждение музеев и объединений любителей местной истории и культуры, дольше других сберегавших интеллектуальную автономию в идеологизированном обществе [*Загребин, Шарапов* 2021: 716].

угорские коллекции Этнографического отдела Русского музея в дореволюционные годы пополнялись русскими и финскими этнографами. Среди них были казанский профессор, автор серии монографий о культурах финноязычных народов Среднего Поволжья и Урала И. Н. Смирнов, основатель кафедры финно-угорской этнографии в Хельсинкском университете У. Т. Сирелиус, земский фельдшер В. П. Налимов, впоследствии первый профессор этнографии родом из коми, многие другие известные и малоизвестные энтузиасты сохранения материального наследия [*Ивановская* 2004: 26–35; *Фишман* 2005: 175–187]. Возникшие на растущей краеведческой волне 1920-х гг. многочисленные музеи истории местного края нуждались в методологическом сопровождении ничуть не меньше, чем в оригинальных экспонатах. На музейном поле и на этнографическом материале разворачивалась ключевая дискуссия о механизмах трансляции и способах влияния на массы. Часть этнографов предпочитала в качестве главного оценочного критерия рассматривать «охват», т. е. популяризацию, другая — «содержание», с акцентом на научную нагрузку выставочного мероприятия. В этой связи актуализировался вопрос о соотношении «вещей» и «текстов» в этнографическом музее [*Бертран* 2003: 96]. Постепенно разумная достаточность и поиски баланса смещались в сторону «бумажных экспозиций», где кумачевая красочность скрывала недостатки предметного ряда.

Острым был вопрос экспозиционной концепции, которая могла ориентироваться на факторы географической и хозяйственно-культурной близости этносов, либо на принцип общности происхождения. Последний был реализован на открытой в 1919 г. первой финно-угорской выставке в Национальном музее Финляндии, надолго ставшей эталонной для финно-угроведов разных стран, равно как экспозиция, посвященная финской традиционной культуре [*Sirelius* 1923]. В духе и стиле «дома Калевалы» в эволюционно-типологических рядах были расставлены предметы быта из разных этнографических областей страны [*Sirelius* 1921]. Осуществление такого подхода вряд ли было возможно в реалиях советского музейного строительства, поскольку нужны были годы целенаправленной собирательской и описательной работы. Преодолевая определенные фондовые трудности, в 1923 г. на презентацию общего финно-угорского этнографического наследия решился ЭО ГРМ[81]. Стараниями Д. А. Золотарёва и недавно пришедшей в отделение ученицы А. А. Шахматова Н. П. Гринковой задача была решена с учетом этнокультурных и диалектных особенностей выставочного материала [*Груз-*

[81] В 1923 г. русско-финское отделение ЭО ГРМ подготовило две выставки — первая посвящалась этнографии русских, вторая — финнов и родственных им народов РСФСР. Значимую часть обеих экспозиции составили образцы традиционной одежды и предметного обеспечения народных промыслов, внимание к которым будет долгое время присуще советской этнографии, включая разработку проблем этногенеза [Этнографический отдел Русского Музея 1923: 13–19].

дева 2021: 154]. В методическом отношении краеведческие музеи вновь образованных советских автономий также обратились к комплектованию своих фондов, учитывая особенности этнографических групп титульных этносов.

С начала 1930-х гг. выставочные замыслы и планы музейных сотрудников всё чаще сталкивались с обязанностью отражать в картосхемах и графиках успехи индустриализации и победное шествие колхозного движения. ИПИН и его директор Н. М. Маторин приняли на себя роль идеологического центра советской этнографии, главенствующее положение в которой отводилось формулированию смыслов, существенно отличающих народоведение в СССР от «буржуазных и националистических происков», в том числе в музейном деле [*Маторин* 1931: 33–34]. Тем не менее, была попытка альтернативного подхода к музею, основанная на продуманной экспедиционно-собирательской работе по формированию этнографических коллекций по принципам языкового родства, территориальной и хозяйственной близости народов.

В 1924 г. в Москве был учрежден Центральный музей народоведения (*далее* ЦМН), призванный ярко представлять этнокультурное многообразие СССР и популяризировать советский образ жизни народов [*Шиллинг* 1926: 267–270]. Приехавший из Саратовского университета, чтобы возглавить музей, фольклорист Б. М. Соколов придерживался сходной с председателем КИПС идеи о приоритете изучения уходящей под влиянием модернизации традиционной культуры [*Бахтина* 2000: 230–244]. Это понимание стимулировало деятельность сотрудников ЦМН, ведущую роль среди которых сыграл полевой отряд Восточно-финской экспедиции М. Т. Маркелова [*Мокшин* 2001: 135]. Ученик директора, выходец из эрзя-мордовской крестьянской семьи, он не просто разделял взгляды учителя, но реализовывал их применительно к финно-угорской проблематике [*Мокшин, Сушкова* 2016: 92–107]. «Маркеловская экспедиция» стала школой для талантливой музейной молодежи, в которой были выпускница МГУ В. Н. Белицер и выпускник Высшего литературно-художественного института им. В. А. Брюсова К. П. Герд. Поступив на работу в ЦМН в одном 1925 г., они во многом олицетворяли новую эпоху. В. Н. Белицер занялась финно-угроведением скорее по воле распределяющего случая и провела в нем жизнь, тогда как К. П. Герд присоединился к коллегам из «угро-финского отдела» ЦМН сложившимся фольклористом, этнографом и признанным удмуртским поэтом. В следующем году К. П. Герд возглавит Ижевский музей местного края и поведет самостоятельную линию в финно-угорских исследованиях [*Загребин, Юрпалов* 2011: 4–9]. В 1929 г. М. Т. Маркелов и К. П. Герд станут участниками совещания этнографов Москвы и Ленинграда, отстаивая свои взгляды [«От классиков к марксизму» 2014]. Скоро их объединит следствие по «делу СОФИН», но до 1932 г. у каждого будет несколько лет продуктивной экспедиционной и издательской работы [*Куликов* 1997]. Проведя полевой сезон 1925 г. среди марийцев, а 1930

и 1931 гг. — среди разных этнографических групп удмуртов, М. Т. Маркелов и его спутники оказались в сердцевине нарастающего конфликта. Драма коллективизации требовала однозначности в публичных суждениях[82]. В местной периодике появлялись статьи, ставящие под сомнение действия приезжих этнографов, которых почему-то интересуют разного рода пережитки, а не успехи советского строя [*Зеленцов* 1931]. В 1931 г. ЦМН был переименован в Музей народов СССР, что отражало смену партийного вектора в пользу идеи построения социализма в отдельно взятой стране, также устанавливался более пристальный надзор за содержанием выставок [*Ипполитова* 2001: 152]. После М. Т. Маркелова финно-угорская тематика в музее сохранялась за В. Н. Белицер и пришедшей в ЦМН в 1935 г. Г. С. Масловой, занимавшейся еще в музее ЦПО этнографией мордвы-терюхан и тверских карел [*Маслова* 1936: 79–100; *Маслова* 1937: 150–152]. Проработки и чистки сотрудников музея, утрата части коллекций, пострадавших при переездах и эвакуации, привели в послевоенное время Музей народов СССР к закрытию.

Очарованные революцией: советские финно-угроведы 1920–1930-х гг.

Общей проблемой как в столичных, так и местных учреждениях науки и образования, занимающихся этнографией финно-угорских народов СССР, был недостаток специалистов, готовых заниматься полевыми и камеральными исследованиями. Не укрепленный знанием энтузиазм не позволял надеяться на системное решение поставленных государством задач национальной политики и языкового строительства[83]. В этой связи были приняты меры по кадровому обеспечению советского финно-угроведения, знаковую роль в которых сыграл

[82] Марксистское толкование исторической динамики, понимаемой как борьба классов и смена общественных формаций, распространилось на сферу этнического, став обязательным, а несколько позже основным местом в этнографических описаниях. Упрощение подходов к интерпретации полевых материалов сопровождалось понижением социального статуса этнографа, ранее видевшего себя деятельным участником и проводником культурных изменений. Теперь его предназначение заключалось в том, чтобы научными словами отображать победу над вековой хозяйственно-культурной отсталостью. Свой вклад в оттеснение этнографии на роль вспомогательной исторической науки внесли сторонники идей Н. Я. Марра [*ван Мёйрс* 2001: 26].

[83] В 1925 г., по инициативе В. Г. Богораза, в структуре Ленинградского университета был создан Северный институт. В 1930 г. он стал отдельным Институтом народов Севера ВЦИК. Главной его задачей была подготовка управленческих, педагогических и научных кадров из числа коренных народов советского Севера, в том числе финно-угорских этносов [*Кан* 2007: 203]. Значимую роль в формировании научной интеллигенции из числа народов страны сыграла аспирантура в НИИ этнических и национальных культур советского Востока РАНИОН (1925–1930 гг.), после реорганизации переданного в ведение ЦИК СССР.

Д. В. Бубрих[84]. В 1925 г. при его деятельном участии в Ленинградском университете начала работать кафедра финно-угорского языкознания, в том же году его избрали председателем угро-финской секции НИИ этнических и национальных культур народов Востока СССР. Одновременно, с 1926 по 1929 гг. он был профессором кафедры угро-финских языков этнологического факультета МГУ-1. Обучая других, Д. В. Бубрих нуждался в научном общении с представителями устоявшихся школ финно-угроведения. Руководством Академии наук СССР были выделены средства для его почти полугодовой поездки (осень 1927 — зима 1928 гг.) в научные центры финно-угроведения Германии и Финляндии [*Мандрик* 2018: 632]. Студенты и аспиранты московских и ленинградских вузов, выбрав финно-угорскую специализацию, участвовали в фольклорных и этнографических экспедициях, результаты которых практически сразу отражались в материалах по созданию литературных языков и в музейных экспозициях.

Престиж профессии начал страдать от разнонаправленных обвинений извне, а более, от внутренних разногласий[85]. Иногда сложно было понять, как недавние добрые товарищи по экспедиционным будням и праздникам начинали обвинять друг друга в разнообразных умыслах, даже тогда, когда к тому особенно не принуждали[86]. Тенденция стала проявляться в середине

[84] В 1911 г. А. А. Шахматов с группой академиков подготовил докладную записку о необходимости вернуться к традиции изучения финно-угорских народов, поскольку «проводящаяся в Гельсингфорсе работа не может освободить русские ученые учреждения от обязанности изучать то, что так тесно связано с нашей страной в ее прошлом и настоящем». А. А. Шахматов предложил своему ученику Д. В. Бубриху сосредоточиться на проблемах финно-угроведения. Автор «Мордовского этнографического сборника» в 1918 г. инициировал создание финно-угорской кафедры в Саратовском университете [*Бубрих* 1947: 435–455].

[85] Оппоненты сначала подозревали Д. В. Бубриха в недостаточном внимании к «новому учению о языке» Н. Я. Марра, затем обвиняли в агитации за создание карельского литературного языка и против «финнизации», а после — в симпатиях к «финнизации», вплоть до создания «Великой Лапландии». В начале 1930-х гг. он был уволен почти отовсюду. Многие его коллеги «на местах» также подвергались профессиональным гонениям. Так, К. П. Герда отозвали из аспирантуры, определив преподавателем совпартшколы в Ижевске и не позволив работать ни в музее, ни в пединституте, сопровождая, вплоть до ареста, травлей в печати как «буржуазного поэта и националиста» [Д. В. Бубрих: к 100-летию со дня рождения 1992; *Решетов* 2007: 93–100].

[86] В 1930-х гг. в региональной этнокультурной историографии проявляются черты своего рода кураторства, когда о прочитанном и увиденном в ходе выездов «на места» печатно высказывались сотрудники центральных научных и музейных учреждений, часто связанные с курируемыми прежней работой или происхождением. Порой такое внимание принимало облик идеологического оценивания на предмет соответствия изданных трудов и проведенных мероприятий руководящим документам в интерпретации актуальных на тот момент лидеров советской этнографии [*Старцев* 1931: 231–234; *Пальвадре* 1932: 90–91; *Худяков* 1935: 151–152; *Лекомцев* 1936: 155–157].

1920-х гг., по мере роста властной поддержки «яфетических идей» академика Н. Я. Марра, возглавлявшего Государственную академию истории материальной культуры (*далее* ГАИМК) и ряд других научных и просветительских учреждений. Будучи прежде всего лингвистом, он живо интересовался этнографией, видя в ней скорее научный метод получения информации, подтверждающей этногенетические построения [*Маторин* 1933: 3–13; *Данилин* 1936: 220]. Адепты теорий Марра были и среди финно-угроведов, как правило, отличавшихся стойким неприятием иных воззрений кроме «яфетических». Пожалуй, самым продуктивным из них был М. Г. Худяков, в 1926 г. поступивший в аспирантуру ГАИМК сформировавшимся историком, этнографом и археологом, исследователем этнических культур Среднего Поволжья [*Гришкина, Кузьминых* 2008: 26–28]. Самоутверждаясь в ходе интеллектуальных противоборств, порой личного свойства, пытаясь пристать к той или иной теоретической платформе, финно-угроведы не смогли выработать общих правил и, исключая ЛОИКФУН, выходящих за региональные рамки институциональных моделей.

Предпосылки для того, чтобы этнографическое финно-угроведение в СССР встало на путь самостоятельного развития, объективно и субъективно имелись. Потенциально можно было надеяться на получивших специальное образование, опыт работы в ведущих вузах и музеях, и, что важно, не связанных «буржуазным происхождением» и дореволюционным прошлым выходцев из народной среды — коми этнографа Г. А. Старцева и удмуртского общественного деятеля и этнографа К. П. Герда. Красноармеец, комсомолец, партиец Г. А. Старцев был направлен на учебу в Петроградский университет, где стал учеником корифеев отечественной домарксистской этнографии — Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза [*Терюков* 1999: 136–142]. Дорогу в финно-угроведение ему открыл Н. Н. Поппе, пригласивший аспиранта ЛГУ в соавторы обзорной книжки, написанной по заказу ЛОИКФУН [*Поппе, Старцев* 1927]. В 1927 г. с другим ленинградским финно-угроведом Д. В. Бубрихом они отправились на стажировку в Венгерский институт Берлинского университета, затем по приглашению Финно-Угорского Общества провели несколько месяцев в Хельсинки. Успешно начатая карьера преподавателя Ленинградского Восточного Института им. А. С. Енукидзе и Педагогического института им. А. И. Герцена сопровождалась исследовательской работой как ученого-североведа [*Старцев* 1928]. В 1931 г. открылся Коми государственный пединститут и Г. А. Старцева откомандировали в Сыктывкар, где кроме аудиторной нагрузки и руководства учебной частью на него возложили обязанности директора областного музея [*Терюков* 2011: 381–383]. Вернувшись через пять лет в Ленинград, он вновь искал себя в качестве исследователя, но вскоре был арестован, осужден и выслан.

К середине 1930-х гг. заметно спала экспедиционная активность академических и музейных учреждений СССР, изучающих этнокультурное мно-

гообразие [*Соловей* 2001: 101–121]. Перемены по-своему затронули финно-угроведение и финно-угроведов. Многое стало ясно еще в 1931 г. после публикации в главном этнографическом журнале страны статьи М. Ю. Пальвадре [*Пальвадре* 1931: 39–43]. Автором без каких-либо двусмысленностей были названы фамилии финских «этнографов-фашистов», контакты с которыми отбрасывали тень на любого, пусть и заслуженного в прошлом исследователя. Задуматься стоило всем советским специалистам, занимавшимся изучением традиционной культуры финно-угров, если не лично знакомым с обозначенными в статье У. Т. Сирелиусом, А. Хямяляйненом, Ю. Вихманном и др., но даже некритично высказывавшимся о научном творчестве идеологических противников. Скорее всего статья М. Ю. Пальвадре имела заказное происхождение, что понимали ее внимательные читатели, так по-разному поведшие себя в ближайшей перспективе. Внутренняя конфликтность в сообществе была замечена и однозначно негативно воспринята властью, отнесшей финно-угроведение, как и всю советскую этнографию к числу идеологически нестойких отраслей знания[87]. При всей тягостности самоощущения отверженности многие этнографы пытались сохранить внутреннее достоинство и верность избранному пути.

Наверное, более других этнографов — финно-угроведов опасаться ухудшения своего положения можно было профессору МГУ-2 В. П. Налимову и заведующему Марийским областным краеведческим музеем Т. Е. Евсевьеву, проходившим обучение под руководством финских финно-угроведов, имевшим опыт совместных с финнами экспедиций, состоявшим в переписке с финскими этнографами и научными обществами [*Сануков* 1995: 79–87]. Началом их знакомства с «финской школой» стала «Пермская экспедиция лета 1907 г.», когда У. Т. Сирелиус, тогда еще доцент Императорского Александровского университета в Гельсингфорсе, проводил полевые исследования среди коми и удмуртов, а на пути в Казань ненадолго заезжал к марийцам [*Загребин, Шарапов* 2008: 113]. В том же году ученик Д. Н. Анучина, студент-этнограф В. П. Налимов помогал финскому этнографу освоиться в Коми крае. В 1908 г. он при поддержке Финно-Угорского Общества побывал в музеях и на университетских лекциях по финно-угорской этнографии в столице Великого княжества Финляндского. Часть научного архива В. П. Налимова будет сохранена благодаря финским коллегам, что со временем позволит объ-

[87] В 1934 г. состоялась экспедиция Государственного музея этнографии (*ранее* ЭО ГРМ) к вепсам. В составе экспедиционного отряда были в недавнем прошлом ученый секретарь ИПИН, сотрудник ГАИМК М. Ю. Пальвадре и финские финно-угроведы — профессор Л. Кеттунен, Л. Пости и П. Сиро. Несмотря на правильно оформленный отчет, в котором говорилось о колхозе, МТС и клубе с радио и кинопередвижкой, она стала фигурантом уголовного дела о троцкистско-зиновьевском заговоре, по которому в том числе проходили Н. М. Маторин и М. Г. Худяков [Отчет о командировке к вепсам 2015: 197–199].

единить в общий том его разрозненные рукописи [*Налимов* 2010]. Также в архиве Финно-Угорского Общества отложилось значительное по объему и содержанию собрание материалов по традиционной культуре марийцев, которое по предложению У. Т. Сирелиуса и по его методикам начал комплектовать сельский учитель Т. Е. Евсевьев [*Лехтинен* 2002: 7–39; Timofej Jevsevjevs 1985; Timofej Jevsevjevs 2002]. Не раз он сопровождал в поездках по Марийскому краю финских этнографов — А. О. Хейкеля и А. Хямяляйнена, затем приезжая на стажировки под эгидой Финно-Угорского Общества. В 1923 г. Т. Е. Евсевьев стал свидетелем открытия финно-угорского отдела в Национальном музее Финляндии, оставаясь одним из немногих финно-угроведов из СССР, поддерживавших научное общение с финскими этнографами.

К такого рода научным контактам стремился К. П. Герд[88]. Будучи сотрудником ЦМН и аспирантом в НИИ этнических и национальных культур народов Востока СССР, он организовал в Москве Общество по изучению удмуртской культуры «Бöляк» (Соседство), проведя при научной поддержке В. П. Налимова несколько экспедиций к удмуртам и выпустив этнографический сборник «Вотяки» [Вотяки 1926; *Загребин, Шарапов* 2010: 10–14]. Вместе с Д. В. Бубрихом, содействовавшим его поступлению в аспирантуру, были организованы полевые исследования в Вотской АО, давшие богатый диалектологический и фольклорный материал [*Кельмаков* 1992: 29–47]. В 1920-х гг. К. П. Герд познакомился с бывавшими в Москве финскими финно-угроведами — А. Хямяляйненом и С. Халтсоненом, по-видимому, содействовавшими публикации его статей в финляндской печати [*Gerd* 1925; *Gerd* 1929: 481–492; Bibliografinen luetello 1932]. Много позже из архивных фондов Финно-Угорского Общества будет извлечена и издана рукопись одного из вариантов диссертации удмуртского этнографа [*Gerd* 1993]. Не менее ценно и то, что К. П. Герд раньше других советских финно-угроведов пришел к мысли о необходимости объединения, проведя на базе ЛОИКФУН подготовительные мероприятия к первому съезду финно-угроведов и разработав проект Устава «объединения угро-финских научных обществ», вошедшего в план работы Главнауки на 1929/1930 год [*Ермаков* 1996: 73]. Дальнейшие организационные шаги остановились в связи с отзывом К. П. Герда в Ижевск.

Следующее десятилетие в истории советской этнографии стало временем замирания этнокультурного дискурса. Результаты полевых исследований, музейные стенды и научные работы цензурировались и выдерживались

[88] К. П. Герд просил Облисполком ВАО и Главнауку: «Для окончательного закругления моих работ по сравнительному изучению языка и культуры угро-финских народов мне необходимо некоторое время работать в финляндских, эстонских высших учебных заведениях. Как раз с октября по декабрь в Гельсингфорском университете читаются лекции по вышеуказанным предметам» [Из переписки Кузебая Герда 1998: 549; *Карм, Загребин* 2014: 124].

в едином идеологическом ключе[89]. В качестве канонических текстов выступали цитаты из трудов классиков марксизма, имевшие какое-либо отношение к этничности. Тяжелее всех приходилось этнографам, оказавшимся фигурантами следственных действий, причин которых они не понимали.

Когда летом 1938 г. В. Н. Белицер приехала в очередную удмуртскую экспедицию, она оставалась одна из прежнего состава полевого отряда ЦМН [*Загребин* 2014: 129]. Иной маршрут привел в финно-угроведение человека, от которого также в дальнейшем будет зависеть возможность сохранения и передачи традиции. Высланная в 1928 г. за посещение вечеров «Космической Академии наук» в родной г. Козьмодемьянск, специализировавшаяся по славистике выпускница ЛГУ Т. А. Крюкова, поступила на работу в краеведческий музей, где в течение трех лет набиралась опыта в этнографии марийцев[90]. Вернувшись в Ленинград, она смогла устроиться в ЭО ГРМ, преимущественно, занимаясь материалами по народной культуре финноязычного населения Среднего Поволжья и Урала[91]. К середине 1930-х гг. она и Г. А. Никитин оставались почти единственными сотрудниками музея, работавшими в этой области после арестов С. И. Руденко, Д. А. Золотарёва, Ф. А. Фиельструпа и др. [*Никитин* 1941: 126–139]. Дело в том, что ученица Д. А. Золотарёва Н. Ф. Прыткова, в юном возрасте присоединившаяся к экспедициям КИПС и ЭО ГРМ к води и ижоре, активно сотрудничавшая с ЛОИКФУН и собравшая ценные коллекции женской одежды води, ижоры и ингерманландских финнов, после осуждения наставника покинула ЭО ГРМ [*Королькова* 2020: 189]. В 1931 г., используя полученные в экспедиции в Западную Сибирь знания языка ханты, она перешла на преподавательскую работу в Институт народов Севера, совмещая ее с аспирантурой, затем с исследованиями отдела Сибири Института этнографии АН СССР. Арест по «делу Института народов Севера» в 1937 г. на три года прервал научные поиски [*Решетов* 2007: 185–189]. Вернувшись, она продолжила хантыйскую тему.

Рост политической напряженности, а затем и советско-финляндская война 1939–1940 гг. серьезно актуализировали финно-угорскую этнографиче-

---

[89] Всероссийское археолого-этнографическое совещание было призвано завершить период методологической неопределенности и окончательно утвердить «марксистский подход» в науках, основанный на исторической дисциплинарной природе археологии и этнографии, задача которых: «...не подменять, но обосновывать на специфических видах источников анализ общественно-исторического процесса» [Резолюция 1932: 4].

[90] Работая в Козьмодемьянском краеведческом музее Т. А. Крюкова нередко консультировалась по вопросам этнографии марийцев с заведующим Областным музеем Т. Е. Евсевьевым, который, заметив ее трудолюбие, приглашал начинающего исследователя перейти в главный музей Марийской АО [*Решетов* 2003: 280].

[91] В 1934 г. Этнографический отдел Государственного русского музея был преобразован в Государственный этнографический музей, в структуре которого в 1938 г. создана секция «Народы Поволжья» [*Крюкова, Никитин* 1941: 168–171].

скую проблематику, особенно в отношении этнографических границ Карелии и традиционной карельской культуры[92]. В рамках обозначившегося интереса руководство Института этнографии АН СССР посчитало возможным в приоритетном порядке опубликовать посвященный карелам очерк из только еще планируемого четырехтомника «Народы СССР» [Программа 1939: 210–212; *Линевский* 1941: 89–109]. В целом же предвоенная советская этнография, как и другие общественные науки, руководствовалась трудами И. В. Сталина, в которых пыталась найти ответы на проблемные вопросы или указания на перспективные тематики. Очевидно, этим желанием объяснялся исследовательский разворот к сюжетам, связанным с этническим наполнением таких понятий как племя, народность, народ, нация[93]. На финно-угорских материалах тех лет заметно, как смещались приоритеты — от изучения «крестьянских этносов» к охотничье-рыболовецким сообществам саамов и обско-угорских народов [*Волков, Золотарев, Левин* 1936: 136–138; *Никольский* 1939: 182–207; *Гудков, Сенкевич* 1940: 78–99]. В последнем случае нельзя не учесть растущего масштаба работ В. Н. Чернецова [*Чернецов* 1936: 85–92; *Чернецов* 1937: 209–211; *Чернецов* 1939: 20–42]. В целом советская этнография к началу 1940-х гг. подошла методологически и кадрово обедненной. Этнографическое финно-угроведение в СССР, изначально находившееся в более уязвимом положении по сравнению с некоторыми иными научными направлениями, не было исключением — практически всех этнографов коснулись репрессивные волны.

Война и эвакуация (1941–1945 гг.)

Великая Отечественная война внесла существенные коррективы в научные и жизненные планы этнографов, занимавшихся финно-угорской тематикой.

Восстановленный на работе в Институте языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР (*далее* ИЯМ) после двухлетнего следствия, Д. В. Бубрих успел

---

[92] Важность проблематики подчеркивалась тем, что на «карельские темы» начал писать этнограф-славист, чл.-корр. АН СССР Д. К. Зеленин, в эти годы вынужденный давать «ответ оппонентам», пытавшимся обвинить его в связях с западными славистическими центрами. Невероятно смелым является начало его статьи о быте карел, в котором он без доли критики цитирует книгу о происхождении финнов и финно-угорских народов, не так давно названного профессором-фашистом: «...покойного финского ученого У. Сирелиуса». Приводит он и данные из работ А. О. Хейкеля и И. Маннинена [*Зеленин* 1941: 113–114].

[93] В редакторской статье к ежегоднику Института этнографии АН СССР, академик В. В. Струве пишет не только о пресеченных попытках «троцкистско-бухаринских вредителей» исключить этнографию из числа самостоятельных наук, но, ссылаясь на работы вождя, отмечает: «Из данных слов товарища Сталина следует, что этнография является по отношению к истории самостоятельной научной дисциплиной, ибо у нее другой объект изучения — племя — нежели у истории, имеющей объектом изучения нацию» [*Струве* 1939: 4–5].

в последний предвоенный год совершить экспедицию по вновь образованной Карело-Финской ССР[94]. В сентябре 1941 г. он эвакуировался из осажденного Ленинграда в г. Сыктывкар, где на площадях Коми педагогического института разместился Карело-Финский университет, в обоих вузах профессор Д. В. Бубрих читал лекции и заведовал кафедрами[95]. Основная же его научная деятельность была связана с Научно-исследовательским институтом языка, письменности и истории коми народа, входившего в структуру Базы АН СССР по изучению Севера, ученым секретарем которого он стал [*Рощевская, Лисевич* 2014: 101]. Три материально тяжелых, но свободных года позволили Д. В. Бубриху вернуться к крупным темам, внушая надежду на осуществление идей советского финно-угроведения [*Рощевская, Лисевич* 2013: 47–49]. Вместе с Карело-Финским университетом в 1944 г. он реэвакуировался в г. Петрозаводск и после снятия блокады возвратился в Ленинград, где в числе выживших научных сотрудников ИЯМ был представлен к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В тот победный год Д. В. Бубрих был награжден орденом Ленина.

До октября 1942 г. в Ленинграде оставалась Т. А. Крюкова — днем заведовавшая секцией народов Поволжья ГМЭ, а ночью выходившая на тушение зажигательных бомб. Ее муж и соратник Г. А. Никитин не пережил блокады. Приехав из эвакуации в 1944 г., она возглавила в музее отдел Поволжья, методически курируя еще отдел Прибалтики [*Решетов* 2003: 285–286]. В исследовательском отношении Т. А. Крюкова преимущественно интересовалась изучением народной одежды и украшений марийцев, мордвы и удмуртов, ставших, как и тематика народного искусства, «острым местом» в послевоенной советской этнографии. Стечением обстоятельств за несколько дней до начала войны из Ленинграда в экспедицию к казымским хантам выехала сотрудник Института этнографии АН СССР Н. Ф. Прыткова. Планируемый полевой сезон превратился в работу начальника Казымской культбазы, ответственной за просвещение обширного региона [*Прыткова* 1946: 159–161]. По возвращению из затянувшейся на несколько лет экспедиции, она опубли-

[94] В 1938 г. Д. В. Бубрих был арестован по обвинению: «в обслуживании интересов финляндской буржуазии..., в шпионаже в пользу Финляндии, в контрреволюционной агитации и пропаганде в пользу Финляндии, и в участии (или даже создании) контрреволюционной организации, работавшей по заданию Финляндии» и осужден на 10 лет заключения, но после отправки материалов на доследование был выпущен на свободу, в связи с прекращением «дела» [*Мандрик* 2018а: 636–637].

[95] С 1 октября 1941 г. Д. В. Бубрих приступил к исполнению обязанностей заведующего кафедрой коми языка и литературы в Коми государственном педагогическом университете, читая финно-угроведческие дисциплины [*Попов* 2015: 4]. В 1943/1944 учебном году профессор Бубрих возглавил кафедру финно-угорских языков историко-филологического факультета Карело-Финского государственного университета [*Малкова* 2005: 124].

ковала краткий, но емкий отчет о времени, вещах и людях обско-угорского, ненецкого и коми пограничья.

Новацией военных лет стали комплексные академические экспедиции, призванные дать новое знание о ресурсной базе малоизученных областей, в условиях затяжных боевых действий, утраты части людского, военно-промышленного и сельскохозяйственного потенциала. Одна из таких экспедиций Института географии АН СССР работала в 1944 г. на территории Коми-пермяцкого национального округа Молотовской области. Примечательно, что значимым итогом ее поисков была монография, посвященная этнографии коми-пермяков, вышедшая в послевоенные годы и ставшая одним из объектов критики в период развенчания «марризма» в советской этнографии [*Шишкин* 1947]. В годы войны этнография становится востребованной наукой, безотносительно местонахождения линии фронта [*Рабинович* 1946*:* 226–227]. Этнический фактор вновь начал восприниматься как важное слагающее советского патриотизма.

На полях боев тогда остались многие этнографы, среди них «удмуртский аспирант» Д. К. Зеленина, ответственный секретарь проекта «Этнография народов СССР» И. М. Лекомцев [*Решетов* 1995: 10–11]. Под Сталинградом геройски погиб ранее высланный в Красноярский край коми-этнограф Г. А. Старцев [*Терюков* 2011: 385]. Иной жизненный путь избрал его старший товарищ, профессор Н. Н. Поппе [*Алпатов* 1996]. Военные годы также внесли перемены в научные планы финских и эстонских этнографов, также надевших солдатские и офицерские шинели. В 1942–1943 гг. эстонские этнографы и фольклористы (Э. Лайд, Г. Рянк, П. Аристэ, И. Талве, И. Линнат), представлявшие Эстонский национальный музей и Тартуский университет, провели две экспедиции к води на территории оккупированной немецко-фашистскими войсками Ленинградской области СССР [*Карм, Загребин* 2015: 39–41]. В 1943–1944 гг. профессор финно-угорской этнографии Хельсинкского университета, на время войны ставший майором финляндского Генерального штаба, в качестве эксперта был привлечен к работам по перемещению водского и ижорского населения Ленинградской области СССР в Финляндию [*Räsänen* 1992: 106]. Тотальная война заставила всех сделать моральный выбор.

Новый догматизм и этногенетические поиски (1946–1955 гг.)

Война и связанные с ней героизм, жертвенность и воля к победе советских людей стали для этнографов временем консолидации и определения новых исследовательских задач, что нашло отражение в программной послевоенной статье директора Института этнографии АН СССР С. П. Толстова. Заявленные им — историзм этнографии, изучение культуры конкретного народа и междисциплинарность подходов к предмету научного интереса были

понятны, приемлемы и предсказуемы для профессионального сообщества [*Толстов* 1946: 8–9]. Приоритет этногенетических проблем внушал оптимизм в части глубины разработки и допустимости научного дискурса, безусловно, в рамках официально одобренной методологии.

Исходя из этой логики, финно-угроведение в СССР также получало возможности изучения этногенеза и этнической культуры каждого родственного народа в отдельности, что не препятствовало синтезу наук в поисках общего и особенного их исторического пути. Быть может в такой или близкой парадигме размышлял Д. В. Бубрих, принимая в 1947 г. предложение возглавить Институт истории, языка и литературы Карело-Финской базы АН СССР в г. Петрозаводске. Годом ранее он был избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «финно-угорское языкознание» [*Мандрик* 2018: 113]. Своими главными задачами на данном этапе он видел попытку решения проблемы происхождения карельского народа и сбор всех заинтересованных сил в научном оформлении советского финно-угроведения. Достижению первой цели должна была способствовать его монография [*Бубрих* 1947а]. Ко второй задаче Д. В. Бубрих и его единомышленники попробовали приблизиться путем проведения в Ленинграде Всесоюзной конференции финно-угроведов [*Волков* 1947: 219–221]. Несмотря на «филологическую маркировку» на тематических секциях выступали историки, археологии и этнографы, что по мысли организаторов подчеркивало комплексный характер советского финно-угроведения [Научная конференция 1947]. В полном объеме доклады участников конференции были опубликованы отдельным томом непериодической серии «Советское финноугроведение»[96]. Успех установочного мероприятия должен был быть закреплен в следующем году на конференции в Петрозаводске [*Шитов* 1948: 229]. Но неожиданно стали возникать сложности, о которых Д. В. Бубрих не мог предположить.

В 1945 г., по инициативе руководства Коми АССР и Базы АН СССР по изучению Севера в г. Сыктывкаре, началось планомерное изучение европейского северо-востока страны силами академических учреждений. В этой связи, республиканскими властями был подписан договор с Институтом этнографии АН СССР о создании Северной археолого-этнографической экспедиции. Общее руководство над ней принял антрополог и этнограф Н. Н. Чебоксаров, а этнографический отряд возглавила В. Н. Белицер, перешедшая в академический институт из Музея народов СССР [*Белицер* 1947: 3–12]. Имея опыт исследований среди финно-угорских народов, она была

[96] В редакторской статье отмечалось: «В деле издания этой серии центр и места будут сотрудничать. Отдельные томы будут выходить и в Ленинграде и во всех шести финноугорских республиках — в Карело-Финской ССР, в Эстонской ССР, в Мордовской АССР, в Марийской АССР, в Удмуртской АССР, в Коми АССР» [От редакции 1948: 3–4].

незаменима как специалист, прежде всего, по материальной культуре [*Загребин, Шарапов* 2015: 142–146]. Народный быт, особенно в гендерном измерении, был самой сильной стороной ее этнографии [*Федянович* 2004: 112–113]. Погружаясь в материал, она сравнивала типологически близкие проявления в культурах разных народов, находила семантические связи и символические отсылки к прошлому[97]. Двадцать лет в музейной системе координат научили ее ценить этнически окрашенные вещи не сами по себе, а в естественной связи с их недавними пользователями[98]. Поэтому переходя от одного коми села или зимовья к предметному ряду коми-пермяцких деревень, В. Н. Белицер могла до времени оставить методологические кондиции, столь памятные ей с довоенных поездок в поле. Иной позиции придерживался ее руководитель.

В статье по «коми проблематике» Н. Н. Чебоксаров как специалист по физической антропологии продемонстрировал не только умение интерпретировать фактологические материалы, но и способность соединять их с выдержками из письменных источников, равно использовать данные археологии [*Чебоксаров* 1946: 51–80]. Показывая в динамике процессы взаимодействия локальных групп коми (зырян и пермяков) с обскими уграми, ненцами, тюрками и славянами на пространствах европейского северо-востока, он практически ни разу не упомянул о существовании финно-угорского языкового родства. Термины — «финно-угорский», либо «финно-угроведение» словно намеренно исключались из вокабуляра, приличествующего описанию проблем этногенеза народов коми.

Многое прояснилось через несколько лет, когда появилась журнальная публикация, посвященная «конференции по финно-угорской филологии», в которой Н. Н. Чебоксаров с самого начала говорил о своем неприятии понятия финно-угроведения в качестве «новой советской научной дисциплины», в создании которой принимали участие «филологи, историки, археологи, этнографы и представители других смежных отраслей знания» [*Чебоксаров* 1948: 176]. Основанием для такого заявления, он считал то обстоятельство, что финно-угорские народы, с древнейших времен расселявшиеся на землях от Балтики и Дуная до Обь-Енисейского водораздела, никогда в истории не составляли этнического и культурного целого, будучи более тесно связаны с соседними «иноязычными» группами, чем между собой.

---

[97] В этом отношении примечательна кандидатская диссертация В. Н. Белицер, посвященная народной одежде удмуртов в контексте проблем этногенеза удмуртского народа, защищенная в 1945 г. и опубликованная в ряде статей и позднее в виде монографии [*Белицер* 1947а: 103–125; *Белицер* 1947: 183–193].

[98] В первые послевоенные годы В. Н. Белицер, работая среди разных групп коми и коми-пермяков, по ранее выработанной традиции, опиралась на личные неформальные связи среди работников краеведческих музеев, являясь негласным консультантом и официальным рецензентом многих выставочных и издательских финно-угорских проектов [*Белицер* 1946: 222; *Белицер* 1950: 209].

В создании «советского финно-угроведения» автор статьи видит угрозу искусственного отрыва финно-угров от соседствующих с ними народов, прежде всего от восточных славян. Упрекая коллег в недостаточно полном использовании теоретического наследия Н. Я. Марра, он критиковал, прежде всего, Д. В. Бубриха в котором видел идейного лидера неприемлемого для него «финноугроведения» и сторонника вестернизированной истории калевальской эпики [*Чебоксаров* 1948: 179–180]. Особо строго он оценивал тезисы доклада Д. К. Зеленина об общих элементах в древних финских и русских костюмах, замечая в них тенденцию к необоснованному возвышению западной культурной традиции в виде конвергенции модных проявлений [*Чебоксаров* 1948: 180–182]. Итоги критического разбора были предсказуемы — любые попытки конструирования чего-либо «общего» заметно проигрывают полезности разработки «частного».

Символично выглядел вышедший менее чем через год очередной выпуск журнала советских этнографов, ключевыми темами которого стали 100-летний юбилей полного издания карело-финского народного эпоса «Калевала» и борьба с проявлениями чуждого отечественному народоведению буржуазного космополитизма. В редакторской статье был задан идейный лейтмотив, указывающий, что в ключевых пунктах противостояния марксистскому методу «космополиты и националисты» могут объединяться [Бессмертный эпос 1949: 6]. Как это произошло с попытками последних лишить эпос родины и национальной принадлежности карело-финскому народу, т. е. привязки к территории Карело-Финской ССР[99]. Поскольку в традиции следовало не только дать общую оценку враждебных действий, равно выявить и осудить деятельность адептов подрывных теорий в программной статье «Задачи борьбы с космополитизмом в этнографии», наряду с трудами фольклористов В. В. Проппа и П. Г. Богатырева, наиболее жесткой критике был подвергнут доклад Д. К. Зеленина об общих элементах в древних русских и финских костюмах на ленинградской конференции 1947 г. по финно-угорской филологии [*Потехин* 1949: 24–25].

Упрек в низкопоклонничестве перед влиянием западных научных школ становился всё более угрожающим обвинением в профессиональной сфере. Свою роль в трудностях «советского финно-угроведения» сыграл созданный в 1940-х гг. при поддержке военных и лично Дж. К. Маршалла американский Центр по изучению урало-алтайских языков. В середине 1950-х гг. Центр трансформировался в департамент уральских и алтайских

[99] В подтверждение автохтонной теории, выступая с докладом «К вопросу об этнической принадлежности рун «Калевалы» на юбилейной научной сессии Карело-Финской научной базы АН СССР, директор Института истории, языка и литературы Д. В. Бубрих отметил, что калевальские руны были созданы древним племенем «корела» — предком современного карело-финского народа [*Чистов* 1949: 152].

исследований Индианского университета (г. Блумингтон). Ведущие позиции в нём занимали ученые, эмигрировавшие в США из Эстонии и Венгрии, участвовал в его проектах и Н. Н. Поппе [*Шарапов* 2015: 220–221]. Скорость реакции на идеологический запрос отразилась в материале, вышедшем в том же номере журнала, содержащем отчет о прениях по проблеме космополитизма в советской этнографии. В очередной раз был осужден Д. К. Зеленин за доклад и статью в сборнике «Советское финно-угроведение, т. 1» и другое, достаточное, чтобы «объявить жесточайшую борьбу всей системе ошибочных взглядов Зеленина» [*Корбе, Стратанович* 1949: 170]. В перечне обличий космополитизма, включая пантюркизм, панираниз, панисламизм, весьма тщательно был разобран панфиннизм, воплощенный в проведенной в Ленинграде конференции по финно-угорской филологии. Как отмечалось далее, «...советская общественность финно-угорских народов была возмущена тенденцией создать такую комплексную финно-угорскую науку, идущую, с одной стороны по пути выхолащивания культуры каждого отдельного народа, а с другой, — по пути искусственного соединения их в какую-то финно-угорскую общность, противопоставляемую не только в лингвистическом, но и в историческом и культурном отношении русскому и другим народам СССР» [*Корбе, Стратанович* 1949: 174]. Теперь, когда космополиты и их пособники были определены, можно было ожидать решений по конкретным персоналиям, отдельным коллективам и направлениям исследований.

Между тем Д. В. Бубрих продолжал обороняться. В развернутом ответе на критику со стороны Н. Н. Чебоксарова он пытался доказать, что «советское финно-угроведение» не просто возможно, оно необходимо на современном этапе народоведческих поисков в СССР, в том числе учитывая нарастающее идеологическое противоборство с Западом, имеющим намерения по использованию финно-угорских исторических и филологических нарративов [*Бубрих* 1949: 190]. Примирительная тональность его выступления, тем не менее, не привела к ослаблению пафоса оппонентов. В пространной рецензии, посвященной критике тезисов в защиту «советского финно-угроведения», Н. Н. Чебоксаров вновь предостерегал: «...Не создавайте комплексной науки для изучения комплекса, которого нет...» [*Чебоксаров* 1949: 199]. Апеллируя к «финно-угорскому наследию» Н. Я. Марра, оппоненты хотели укрепить свою аргументацию щитом официально принятой методологии, искусно оперируя цитатами из работ классика этногенетических исследований. Д. В. Бубрих пытался уйти от догматического прочтения положений «нового учения о языке», соглашаясь, возражая и развивая его в нужных местах. Предел полемике наступает с ровно того места, где критик задается вопросом, как организаторы конференции по финно-угорской филологии позволили себе допустить «космополитические срывы» подобные «зеленинским пан-европейским (если

не пан-глобальным) модам» [*Чебоксаров* 1949: 204]. Адекватный ответ на этот вопрос отыскать было непросто.

Завершающей публикацией в серии статей Н. Н. Чебоксарова по проблемам финно-угроведения был текст, посвященный этногенетическим размышлениям, построенным в основном на данных антропологии [*Чебоксаров* 1952: 36–50]. Меньшего объема, чем прежние, она вышла после смерти Д. В. Бубриха, столкнувшегося с ожесточенными нападками друзей-марристов и обвинениями в «контрабанде буржуазных идей» со стороны борцов с космополитизмом. Немалая часть статьи имела «личное измерение», касаясь самоосуждения в заблуждениях идей марризма (включая критику Д. В. Бубриха), получивших нелицеприятную оценку в труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»[100]. В сутевом отношении статья примечательна по двум обстоятельствам. Во-первых, само название, вводящее в научный оборот термин «угрофинны», вместо историографически устоявшихся «финноугров». Чем была вызвана такая замена однозначно сказать сложно, но можно предположить, что в том проявлялась попытка противопоставить «угрофинноведение» «финноугроведению»[101]. Тем более, что последнее было связано с «ленинградской конференцией» и ее лидером. Кроме того, понятия — «финно-угры», «финно-угроведение», «финно-угорские исследования» в идеологическом смысле не были безупречны, прямо корреспондируя с финскими и иными «западными» терминами — “suomalais-ugrilaiset kansat”, “finnisch-ugrische forschungen”, “finno-ougrienne” etc. Как будто в подтверждение возможного противопоставления, автор посвятил несколько страниц критике этнологических воззрений У. Т. Сирелиуса, Т. Итконена, Х. Паасонена, Э. Сётяля, И. Маннинена и более ранних исследователей финно-угорской лингвистики и этнографии, связывая их научные разработки с пропагандой «бредовой идеи „великой Финляндии“ от Балтики до Урала» [*Чебоксаров* 1952: 37–38]. Время менялось, менялись оценки и всё получилось, как в случае с марризмом. Недавний законодатель научных мод оказывался неправ и низложен, а перемена политического курса Финляндии в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества с СССР делала неуместными дальнейшие идеологические выпады. Возможно, поэтому «угрофинны» остались «финноуграми».

---

[100] В частности, Н. Н. Чебоксаров подверг жесткой критике за приверженность марристской методологии книгу Н. И. Шишкина «Коми-пермяки», попутно пожурив В. Н. Белицер за слишком мягкую и недостаточно принципиальную рецензию на эту работу [*Белицер* 1948: 207–209].

[101] Терминологическая новация Н. Н. Чебоксарова сосуществовала с прежним понятийным аппаратом, правда на уровне справочного обеспечения основного текста. Например, автор ссылался на недавно вышедшую работу, в которой использован термин «финноугорский» [*Чернецов* 1951: 24–29].

Новые возможности в проведении экспедиций и научном общении преодолевали, казалось, незыблимые границы и установки[102]. Первым шагом, открывающим перспективы междисциплинарного синтеза, в ранее неисследованном советской этнографией поле была Балтийская объединенная комплексная экспедиция (1945–1955 гг.) [*Терентьева* 1950: 189]. С одной стороны, участниками работ становились сотрудники Института этнографии АН СССР, с другой — местные этнографы, имевшие, как правило, отличный теоретико-методологический опыт. В 1949 г. к исследованиям в Эстонии присоединилась В. Н. Белицер [*Белицер* 1950: 118–129]. Ей же было суждено стать участницей одного из рецидивов уходящей эпохи в истории советской этнографии. Разоблачение этнографов-марристов, ставшее одной из задач послевоенного этапа работы Института этнографии, с неким умыслом было поручено этнографам, чьи работы сами «грешили» повышенным вниманием к семантике и символике народных облачений [*Алымов* 2008: 84]. Опубликованный после выхода статьи в «Правде» текст В. Н. Белицер и Г. С. Масловой был направлен на коррекцию идеалистических воззрений на природу вещей, особенно на роль народной одежды [*Белицер, Маслова* 1954: 3–11]. Увлечение разгадыванием и толкованием кроя и орнаментов в ущерб утилитарной функции было признано вредным. По традиции была осуждена статья Д. К. Зеленина об общих элементах в древних русских и финских костюмах и касательно затронута книга Т. А. Крюковой о марийской вышивке [*Крюкова* 1951]. Ранее сами авторы внесли правку в личные монографии [*Белицер* 1951; *Маслова* 1951]. Тем не менее, грядущая политическая оттепель уже ощущалась в настроениях советских этнографов, в том числе в ожиданиях финно-угроведов.

Источники и литература

Алпатов В. М. Николай — Николас Поппе. М.: Восточная литература, 1996. 144 с.

Алымов С. С. Три этюда о «марризме» в советской этнографии // Этнографическое обозрение. 2008. № 6. С. 79–93.

Бахтина В. А. Фольклористическая школа братьев Соколовых (Достоинство и превратности научного знания). М.: Прометей, 2000. 334 с.

Белицер В. Н. Этнографическая экспозиция в краеведческом музее Коми АССР // Советская этнография. 1946. № 4. С. 222.

Белицер В. Н. К вопросу о происхождении бесермян (по материалам одежды) // Памяти Д. Н. Анучина (1843–1923). Труды института этнографии, Новая серия. Т. 1. М.-Л., 1947. С. 183–193.

[102] В СССР было издано переводное географическое описание Финляндии, в котором главу по этнографическому районированию написал профессор финно-угорской этнографии Хельсинкского университета Куста Гидеон Вилькуна [*Вилкуна* 1953: 289–294].

Белицер В. Н. К вопросу о происхождении удмуртов (по материалам одежды) // Советская этнография, 1947а. № 2. С. 103–125.

Белицер В. Н. Работа этнографического отряда комплексной экспедиции в Коми АССР // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, 1947б. Вып. 3. С. 3–12.

Белицер В. Н. Н. И. Шишкин Коми-пермяки. Этнографический очерк / Под ред. акад. А. А. Григорьева и акад. И. И. Мещанинова, Институт географии АН СССР. Молотов: Молотовгиз, 1947 // Советская этнография. 1948. № 3. С. 207–209.

Белицер В. Н. Т. В. Сторожев. Коми-пермяцкий фольклор (дореволюционный и советский) // Советская этнография. 1950. № 4. С. 209–211.

Белицер В. Н. Этнографическая работа в Эстонской ССР в 1949 году // *Краткие сообщения Института этнографии* Академии наук СССР, Вып. 12. М., 1950. С. 118–129.

Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу // Труды Института этнографии АН СССР, Новая серия. Т. 10. М., 1951.

Белицер В., Маслова Г. Против антимарксистских извращений в изучении одежды // Советская этнография. 1954. № 3. С. 3–11.

Бертран Ф. Наука без объекта? Советская этнография 1920–1930-х гг. и вопросы этнической категоризации // Журнал социологии и социальной антропологии, 2003. Т. 4. № 3. С. 90–104.

Бессмертный эпос карело-финского народа // Советская этнография. 1949. № 2. С. 3–6.

Бубрих Д. В. А. А. Шахматов как финноугровед // А. А. Шахматов (1864–1920): Сб. статей и материалов / Под ред. С. П. Обнорского. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 435–455.

Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа: повесть о союзнике и друге русского народа на Севере. Петрозаводск: Гос. Изд-во Карело-Финской ССР, 1947а. 51с.

Бубрих Д. В. О советском финноугроведении // Советская этнография. 1949. № 2. С. 189–196.

Бюллетень ЛОИКФУН: автореферaты докладов и хроника работ. Вып. 2. Л.: ЛОИКФУН, 1929. 23 с.

Вилкуна К. Этнографические области // Финляндия. Географический сборник. М.: Изд-во иностранной литературы, 1953. С. 289–294.

Волков Н. Н. Конференция по финно-угорской филологии // Советская этнография. 1947. № 2. С. 219–221.

Волков Н. Н., Золотарев А. М., Левин М. Г. «Саами (лопари)» // Советская этнография. 1936. № 3. С. 136–138.

Вотяки: Сборник по вопросам быта, экономики и культуры удмуртов / Под ред. К. П. Герда и В. П. Налимова. Кн. 1. М.: Центр. изд-во народов СССР, 1926. 82 с.

Гришкина М. В., Кузьминых С. В. Михаил Георгиевич Худяков как историк // М. Г. Худяков. История Камско-Вятского края: Избранные труды. Ижевск: Удмуртия, 2008. С. 5–49.

Груздева Е. Н. Надежда Павловна Гринкова: между лингвистикой и этнографией // Судьбы ученых в эпоху перемен: очерки и документы / Под ред. Е. Н. Груздевой. Ad fontes. Вып. 21. Материалы и исследования по истории науки СПбФ АРАН. СПб.: Реноме, 2021. С. 146–168.

Гудков И. С., Сенкевич В. В. Социализм в быту хантов // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 4. М., 1940. С. 78–99.

Д. В. Бубрих: к 100-летию со дня рождения: Сб. статей / отв. ред. Г. М. Керт. СПб.: Наука, 1992.

Данилин А. Г. Два письма Н. Я. Марра (Из научного архива Государственного музея этнографии в Ленинграде) // Советская этнография. 1936. № 4–5. С. 219–222.

Денисов В. Н., Загребин А. Е. Из истории фонографических и граммофонных записей российских военнопленных в Австро-Венгрии и Германии в годы Первой мировой войны // Сибирский филологический журнал, 2015. Вып. 4. С. 23–28.

Ермаков Ф. К. Кузебай Герд (жизнь и творчество). Ижевск: Полиграфкомбинат, 1996. 443 с.

Загребин А. Е. Гуманитарный институт в национальном регионе: между этносом и кратосом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН, 2012. Вып. 12. С. 398–402.

Загребин А. Е. Забытые тексты» экспедиций В. Н. Белицер к удмуртам // Уральский исторический вестник. 2014. № 4. С. 127–131.

Загребин А. Е., Шарапов В. Э. К истории «Пермской экспедиции» У. Т. Сирелиуса // Этнографическое обозрение. 2008. № 1. С. 110–117.

Загребин А. Е., Шарапов В. Э. Новые материалы об экспедиции В. П. Налимова в Удмуртию (1926 г.) // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 6. С. 10–14.

Загребин А. Е., Шарапов В. Э. Полевая этнография В. Н. Белицер: забытые тексты экспедиций к удмуртам, коми и коми-пермякам в 1930–1950-х гг. // Ежегодник финно-угорских исследований, 2015. Вып. 4. С. 139–150.

Загребин А. Е., Шарапов В. Э. Музейная этнография в контексте этнографического финно-угроведения в СССР (1920–1930-е гг.) // Ежегодник финно-угорских исследований, 2021. Т. 15. Вып. 4. С. 715–721.

Загребин А. Е., Юрпалов А. Ю. Из истории этнографического музееведения: Ижевский музей местного края (1920-е гг.) // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 10. С. 4–9.

Западнофинский сборник / Под ред. В. В. Бартольда. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Вып. 16. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. 340 с.

Зеленин Д. К. Принимали ли финны участие в образовании великорусской народности? // Сборник ЛОИКФУН. Вып. 1. Л., 1929. С. 96–108.

Зеленин Д. К. О старом быте карел Медвежьегорского района Карело-Финской ССР // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 5. М., 1941. С. 110–125.

Зеленцов В. Культурническая прогулка или научная экспедиция // Ижевская правда. 1931. 28 июля.

Золотарёв Д. А. Постоянная Комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС) // Природа, 1925. № 7–9. С. 201–206.

Золотарёв Д. А. Население Поволжья. Этнографический очерк Поволжья. Л.: б. и., 1926. 37 с.

Золотарёв Д. А. Лопарская экспедиция. Л.: Издание Гос. русского географического об-ва, 1927. 48 с.

Золотарёв Д. А. Этнический состав населения Северо-Западной области и Карельской АССР. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Вып. 12. Л.: Изд-во АН СССР, 1927 а. 117 с.

Золотарёв Д. А. Карелы СССР. Антропологический очерк. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. 124 с.

Ивановская Н. И. Казанские исследователи истории Волго-Камского региона В. И. Заусайлов и И. Н. Смирнов // Материалы по этнографии. Народы Прибалтики, Северо-Запада, Среднего Поволжья и Приуралья. Т. 2. СПб: РЭМ, 2004. С. 26–35.

Из переписки Кузебая Герда // Как молния в ночи. К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха. Ижевск: УдГУ, 1998. С. 547–549.

Ипполитова А. Б. История музея народов СССР в Москве // Этнографическое обозрение. 2001. № 2. С. 144–160.

Кан С. «Мой друг в тупике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический контекст советской этнологии в конце 1920-х — начале 1930-х гг. // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 191–230.

Карм С., Загребин А. Е. Кузебай Герд и его эстонские корреспонденты // Вестник Удмуртского университета, 2014. Серия: история и филология. Вып. 1. С. 118–127.

Карм С., Загребин А. Е. Не/известное этнографическое финно-угроведение: эстонская история // Вестник Удмуртского университета, 2015. Т. 25. Вып. 1. С. 36–44.

Касперович Н. И. Краеведение в Финляндии // Краеведение, 1928. Т. 5. № 8. С. 482–490.

Кельмаков В. К. Д. В. Бубрих и удмуртское языкознание: послесловие и примечание к статье «Из результатов работ Удмуртской лингвистической

экспедиции 1929 г.» // Вопросы диалектологии и истории удмуртского языка. Ижевск, 1992. С. 29–47.
Корбе О., Стратанович Г. Обсуждение доклада И. И. Потехина «Задачи борьбы с космополитизмом в этнографии» // Советская этнография. 1949. № 2. С. 170–177.
Королькова Л. В. Ленинградское Общество исследователей культуры финно-угорских народностей. Дела и люди // IN SITU. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 421–432.
Королькова Л. В. Водь. Ижора: Фотографии и материалы из собрания Российского этнографического музея. Л.: Инкери, 2020. 240 с.
Крюкова Т. А. Марийская вышивка. Л.: б. и., 1951. 195 с.
Крюкова Т. А., Никитин Г. А. Секция народов Поволжья в Государственном Музее Этнографии // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 5. М., 1941. С. 168–171.
Кузьминых С. В., Салминен Т. А. М. Тальгрен — редактор журнала "Eurasia Septentrionalis Antiqua" // Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (Проблемы интерретации и сохранения). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. С. 40–45.
Куликов К. И. Дело «СОФИН». Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 338 с.
Лекомцев И. М. Поездка в Удмуртскую АССР // Советская этнография. 1936. № 1. С. 155–157.
Лехтинен И. Хранитель национальной культуры // Тимофей Евсевьев: этнографические коллекции. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2002. С. 7–39.
Линевский А. М. Карелы // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 5. М., 1941. С. 89–109.
ЛОИКФУН // Советская этнография. 1931. № 1–2. С. 156–157.
Малкова Т. А. Научная деятельность Д. В. Бубриха в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Европейский Север СССР в стратегии Второй мировой войны (на материалах Коми АССР). Сыктывкар, 2005. С. 123–131.
Мандрик М. В. Бубрих Дмитрий Владимирович // Ученые — фондообразователи Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук: Краткий биографический справочник: А–В. СПб.: Реноме, 2018. С. 113–116.
Мандрик М. В. Лингвист Д. В. Бубрих: материалы к биографии и обзор фонда (№ 1112), хранящегося в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН // Миллеровские чтения — 2018. Преемственность и традиции в изучении и сохранении документального академического наследия / отв. ред. И. В. Тункина. Сер.: Ad Fontes. Вып. 14. СПб.: Реноме, 2018а. С. 628–643.
Маркелов М. Т. К вопросу о культурных взаимоотношениях финнов и русских // Этнография. 1930. № 1–2. С. 57–62.
Маслова Г. С. Материалы по этнографии карел Калининской области // Советская этнография. 1936. № 2. С. 79–100.

Маслова Г. С. "Kegrin päiva" у карел Калининской области // Советская этнография. 1937. № 4. С. 150–152.
Маслова Г. С. Народный орнамент верхневолжских карел // Труды Института этнографии АН СССР, Новая серия. Т. 11. М.: изд-во АН СССР, 1951. 139 с.
Маторин Н. М. Современный этап и задачи советской этнографии // Советская этнография. 1931. № 1–2. С. 3–38.
Маторин Н. М. Н. Я. Марр и историческая наука // Советская этнография. 1933. № 5–6. С. 3–13.
Мёйрс В. ван. Советская этнография: охотники или собиратели? // Ab Imperio. 2001. № 3. С. 9–42.
Мокшин Н. Ф. М. Т. Маркелов и этнографическое изучение финно-угорских народов // Этнографическое обозрение. 2001. № 2. С. 92–107.
Мокшин Н. Ф., Сушкова Ю. Н. М. Т. Маркелов — талантливый сын мордовского народа // Ежегодник финно-угорских исследований, 2016. Т. 10. Вып. 2. С. 92–107.
Налимов В. П. Очерки по этнографии финно-угорских народов / Ред.-сост. А. Е. Загребин, В. Э. Шарапов. Ижевск–Сыктывкар: Удмуртский ин-т истории, яз. и лит. УрО РАН; Сыктывкар: Ин-т яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН, 2010. 331 с.
Научная конференция по вопросам финно-угорской филологии. 23 января — 4 февраля 1947 г. Тезисы докладов / отв. ред. чл.-корр. АН СССР Д. В. Бубрих. Л., 1947. 104 с.
Никитин Г. А. Народное изобразительное искусство финнов суоми (по материалам Государственного Этнографического музея в Ленинграде) // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 5. 1941. С. 126–139.
Никольский Н. П. Обзор литературы по этнографии, истории, фольклору и языку хантов и мансов // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 2. М., 1939. С. 182–207.
Об учреждении Комиссии по изучению племенного состава населения России // Известия КИПС. 1917. Вып. 1. С. 3–4.
Объяснительная записка к этнографической карте Сибири / Под ред. С. Ф. Ольденбурга и С. И. Руденко. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Вып. 17. Л.: Изд-во АН СССР, 1929. 104 с.
Ольденбург С. Ф. Предисловие // Финноугорский сборник. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Вып. 15. Л.: Изд-во АН СССР, 1928. С. III–IV.
«От классиков к марксизму»: совещание этнографов Москвы и Ленинграда 1929 г. / Под ред. Д. В. Арзютова, С. С. Алымова. Д. Дж. Андерсона. Серия: Кунсткамера-Архив. Т. 7. СПб: МАЭ РАН, 2014. 509 с.

От редакции // Ученые записки ЛГУ. № 105. Серия востоковедческих наук. Вып. 2. Советское финноугроведение. Т. 1 / отв. ред. чл.- корр. АН, проф. Д. В. Бубрих. Л., 1948. С. 3–4.

Отчет о командировке к вепсам Ленинградской области научного сотрудника Государственного этнографического музея М. Ю. Пальвадре. 1934 год // Вепсы. Фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея. СПб, 2015. С. 197–199.

Пальвадре М. Ю. Буржуазная финская этнография и политика финляндского фашизма // Советская этнография. 1931. № 1–2. С. 39–43.

Пальвадре М. Первая сессия Карельского научно-исследовательского института // Советская этнография. 1932. № 3. С. 90–91.

Патканов С. К. Список народностей Сибири. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Вып. 7. Л.: Изд-во АН СССР, 1923. 16 с.

Попов В. А. Деятельность Д. В. Бубриха в Коми пединституте // Концепт. 2015. № 9. С. 1–9.

Поппе Н. Н., Старцев Г. А. Финно-угорские народы: очерк с 12 рисунками. Л.: ЛОИКФУН, 1927. 46 с.

Потехин И. И. Задачи борьбы с космополитизмом в этнографии // Советская этнография. 1949. № 2. С. 7–26.

Приполярная перепись 1926/27 гг. на Европейском Севере (Архангельская губерния и автономная область Коми). Под ред. К. Б. Клокова и Д. П. Зайкера. СПб.: ЭтноЭксперт, 2010. 510 с.

Программа подготовляемого Институтом этнографии сборника «Народы СССР» // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 2. М., 1939. С. 210–212.

Прыткова Н. Ф. Отчет о работе на Севере (1941–1945 гг.) // Советская этнография. 1946. № 3. С. 159–161.

Псянчин А. В. Деятельность Комиссии по изучению племенного состава населения России в области этнической картографии (1917–1930 гг.). Уфа: ЦЭИ УНЦ РАН, 2005. 24 с.

Рабинович М. Институт этнографии в годы Великой отечественной войны // Советская этнография. 1946. № 1. С. 226–235.

Революция для всех. Анкеты Вятского научно-исследовательского института краеведения «Влияние революции на быт нацмен» (1924–1927 гг.) / Сост., науч. ред. и коммент.: А. Е. Загребина и А. А. Иванова. Ижевск–Йошкар-Ола: УИИЯЛ УрО РАН, МарГУ, 2008. 495 с.

Резолюция Всероссийского археолого-этнографического совещания 7–11 мая 1932 г. по докладам С. Н. Быковского и Н. М. Маторина // Советская этнография. 1932. № 3. С. 4–14.

Решетов А. М. Отдание долга. Часть II. Памяти сотрудников Института этнографии АН СССР — воинов Великой Отечественной войны // Этнографическое обозрение. 1995. № 3. С. 3–24.

Решетов А. М. Сибиревед Наталия Федоровна Прыткова: жизнь и научная деятельность // Словцовские чтения, 2007. Тюмень: Изд-во Тюменского ун-та, 2007. С. 185–189.

Решетов А. М. Тернистый путь к этнографии и музею: страницы жизни Т. А. Крюковой // Репрессированные этнографы. Вып. 2. М., 2003. С. 269–300.

Решетов А. М. Дмитрий Константинович Зеленин: классик русской этнографии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. М.: Наука, 2004. С. 137–183.

Решетов А. М. Поэт и этнограф Кузебай Герд (1898–1937): этапы короткой жизни // Финно-угроведение. 2007. № 1. С. 93–100.

Рощевская Л. П., Лисевич Н. Г. Финно-угровед Д. В. Бубрих: «...во время моего трехлетнего пребывания в Коми АССР» // Финно-угорский мир. 2013. № 4. С. 44–50.

Рощевская Л. П., Лисевич Н. Г. Документы Д. В. Бубриха в научном архиве Коми научного центра Уральского отделения РАН // Труды Карельского научного центра РАН. 2014. № 3. С. 99–107.

Сануков К. Н. Тимофей Евсеев: трагические страницы биографии // Марийский археографический вестник. 1995. № 5. С. 79–87.

Слёзкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // Этнографическое обозрение. 1993. № 2. С. 113–125.

Соловей Т. Д. «Коренной перелом» в отечественной этнографии // Этнографическое обозрение. 2001. № 3. С. 101–121.

Старцев Г. А. Остяки. Социально-этнографический очерк. Л.: Прибой, 1928. 150 с.

Старцев Г. А. Культурное строительство и научно-исследовательская работа в Коми области (К 10-летнему юбилею области Коми) // Советская этнография. 1931. № 3–4. С. 231–234.

Струве В. В. Советская этнография и ее перспективы // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 2. М., 1939. С. 3–10.

Терентьева Л. Н. Совещание по этнографии народов Советской Прибалтики // Советская этнография. 1950. № 2. С. 189–193.

Терюков А. И. Г. А. Старцев в Ленинграде // Арт-Лад. 1999. № 2. С. 136–142.

Терюков А. И. История этнографического изучения народов коми. СПб.: МАЭ РАН, 2011. 514 с.

Толстов С. П. К проблеме аккультурации (в связи со статьей проф. Д. К. Зеленина об образовании великорусской народности) // Этнография. 1930. № 1–2. С. 63–87.

Толстов С. П. Этнография и современность // Советская этнография. 1946. № 1. С. 3–11.
Федянович Т. П. Исследования В. Н. Белицер финно-язычных народов Поволжья и Приуралья // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 112–125.
Фиельструп Ф. А. Этнический состав населения Приуралья. С этнографической картой и дополнениями к ней. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Вып. 11. Л.: Изд-во АН СССР, 1926. 37 с.
Фишман О. М. Контакты и импульсы: из истории финской и российской этнографии // Санкт-Петербург — Хельсинки, Хельсинки — Санкт-Петербург, 1809–2004 / отв. ред. А. В. Прохоренко. СПб.: Европейский Дом, 2005. С. 175–187.
Хирш Ф. Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М.: НЛО, 2022. 472 с.
Худяков М. Г. Я. Ялкаев. Материалы для библиографического указателя по мариеведению. 1762–1931 // Советская этнография. 1935. № 3. С. 151–152.
Чебоксаров Н. Н. Этногенез коми по данным антропологии // Советская этнография. 1946. № 2. С. 51–80.
Чебоксаров Н. Н. Некоторые вопросы изучения финноугорских народов в СССР (по поводу одной научной конференции) // Советская этнография. 1948. № 3. С. 176–185.
Чебоксаров Н. Н. Еще раз о некоторых вопросах изучения финноугорских народов // Советская этнография. 1949. № 2. С. 197–204.
Чебоксаров Н. Н. К вопросу о происхождении народов угрофинской языковой группы // Советская этнография. 1952. № 1. С. 36–50.
Чернецов В. Н. Чум // Советская этнография. 1936. № 6. С. 85–92.
Чернецов В. Н. Отчет об этнографической экспедиции в Остякско-Вогульский национальный округ // Советская этнография. 1937. № 4. С. 209–211.
Чернецов В. Н. Фратриальное устройство обско-югорского общества // Советская этнография. Сб. статей. Вып. 2. М., 1939. С. 20–42.
Чернецов В. Н. К вопросу о месте и времени формирования финноугорской этнической группы // Тезисы докладов и выступлений сотрудников Института истории материальной культуры АН СССР, подготовленных к Совещанию по методологии этногенетических исследований. М., 1951. С. 24–29.
Чистов К. 100-летие полного издания карело-финского народного эпоса «Калевала» // Советская этнография. 1949. № 2. С. 151–153.
Шангина И. И. Давид Алексеевич Золотарёв: к 100-летию со дня рождения // Советская этнография. 1985. № 6. С. 76–84.
Шарапов В. Э. «Финно-угорская метагеография» американского центра урало-алтаистики (1940–1950-е годы) // XI Конгресс антропологов

и этнологов России: сб. материалов. Екатеринбург, 2–5 июля 2015 г. / отв. ред.: В. А. Тишков, А. В. Головнёв. — Москва;
Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 2015. С.220–221.
Шиллинг Е. Государственный Центральный музей народоведения // Этнография. 1926. № 1–2. С. 267–270.
Шитов Н. ИИЯЛ Карело-Финской базы АН СССР // Советская этнография. 1948. № 1. С. 229–231.
Шишкин Н. И. Коми-пермяки. Этнографический очерк / Под ред. акад. А. А. Григорьева и акад. И. И. Мещанинова, Институт географии АН СССР. Молотов: Молотовгиз, 1947. 140 с.
Этнографический отдел Русского Музея. Пг., 1923. 48 с.
Bibliografinen luetello vuosina 1917–1929 painetusta Votjakilaisesta kansanrunouskirjallisuudesta / Tehnyt Kuzebai Gerd // Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1932. Vol. 45. 11 p.
Gerd K. Votjakkien teatterista // Fenno-Ugria. 1925. № 3–4.
Gerd K. Votjakkilaisesta taidekirjallisuudesta // Valvoja-Aika. 1929. Vol. 7. S. 481–492.
Gerd K. Ethnographica: Человек и его рождение у восточных финнов // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1993. Vol. 217.
Kokkonen J. Aarne Michaël Tallgren and Eurasia Septentrionalis Antiqua // Fennoscandia archaeologica. 1985. Vol. 2. P. 3–10.
Räsänen R. Albert Hämäläinen — champion of Finno-Ugrian ethnology // Pioneers: The History of Finnish ethnology. Studia Fennica: Ethnologica. 1992. Vol. 1. P. 103–125.
Sirelius U. T. Kalevalatalo, suomalaisen kulttuuritutkimuksen ahjo ja ohjelma. Helsinki, 1921.
Sirelius U. T. Suomen Kansallismuseo. Opas suomalais-ugrilaisella osastolla. Helsinki, 1923.
Suomen suku / Toim. A. Kannisto, E. N. Setälä, U. T. Sirelius, Y. Wichmann. Vol. 1–3. Helsinki: Otava, 1926, 1928, 1934.
Timofej Jevsevjevs Ethnographishe Sammlungen über die Tscheremissen / Hrsg. von I. Lehtinen // Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne. 1985. Vol. 12. № 1.
Timofej Jevsevjev, Tšeremissien rakennukset — Cheremis Buildings / Ed. by I. Lehtinen // Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne. 2002. Vol. 12. № 2.
Valonen N. Why have Finno-Ugric Ethnology? // Ethnologia Fennica. 1981. Vol. 11. P. 3–5.

Глава 10.
КАРЕЛИЯ В ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Этнологические исследования в Карелии в 1920–1930-х гг.

Первые советские этнологические исследования в Карелии относятся к 1920-м — началу 1930-х гг. Они неразрывно связаны с реализацией национальной политики советского государства и возникновением национальной государственности на территории Карельского края.

Сразу после победы Октябрьской революции были приняты программные документы, посвященные национальному вопросу. В «Декларации прав народов России» (от 2/15 ноября 1917 г.) новая советская власть провозгласила основные принципы национальной политики: равенство народов России, право на свободное самоопределение вплоть до отделения и создания самостоятельных государств, свободное развитие национальных меньшинств и отмену всех национальных и национально-религиозных привилегий. Развитие национальной культуры, включающее ее научное изучение, находилось под патронажем государства. Этатизация культуры имела положительные моменты. Государственное планирование и финансирование, кадровое обеспечение культурно-просветительной работы и научной деятельности позволяло ликвидировать культурную отсталость и неграмотность большинства населения страны. В то же время такое вмешательство советского государства в культурное развитие народов включало строгий идеологический и классовый диктат и имело отрицательные последствия. Например, государством поддерживалась только светская культура, а конфессиональная отрицалась [*Смирнова* 2002: 32–33]. Одно из революционных преобразований, затрагивающих национальный вопрос, касалось изменения отношения государства к религии и церкви. В. И. Ленин и другие идеологи большевизма были фанатично убеждены в несовместимости религии с коммунистической формацией. Установившаяся в России советская власть провозгласила программу построения первого в мире бесклассового и атеистического государства. Она сразу же обрушила на церковь всю силу разветвленной репрессивной системы, оказавшую влияние на развитие национальных культур.

В другом документе — «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (от 3 января 1918 г.), устанавливающем политические основы государства, — Россия объявлялась республикой советов и учреждалась как федерация национальных советских республик на основе свободного союза свободных наций. Создание нового государства по принципу не территориального, а этнического федерализма, имело цель удержать страну от распада на десятки независимых национальных государств или иностранных протек-

торатов [*Тишков* 2012: 11–12]. На территории Российской Федерации, созданной в 1918 г., стали появляться разные типы автономии[103].

Национально-государственное строительство происходило и в Карелии. В дореволюционное время Российской Карелией называли территорию, заселенную карелами, которая административно была разобщена и входила в состав Олонецкой и Архангельской губерний. 8 июня 1920 г. Советское правительство (СНК РСФСР) приняло постановление об образовании в населенных карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний, включающих Олонецкий, Петрозаводский и Кемский уезды (уезды вошли не в полном составе), автономного областного объединения — Карельской Трудовой Коммуны.

Вопрос о национальном самоопределении карелов, о путях национального строительства в Карельском крае возник сразу же после освобождения территории Российской (Восточной) Карелии от белогвардейцев, противостоявших Советам в годы гражданской войны, и сил международной интервенции на Севере России. После окончания гражданской войны по данному вопросу выявились разные точки зрения: олонецкие карелы видели свою дальнейшую судьбу в составе России, тогда как ухтинские карелы, населявшие приграничные территории Кемского у. Архангельской губ. (Беломорская Карелия), высказывали пожелания о создании своего независимого государственного образования[104] либо о присоединении к Финляндии [История Карелии 2001: 428].

В конце марта — начале апреля 1920 г. В. И. Ленин беседовал с делегатами от Олонецкой губернской организации РКП(б) на IX партийном съезде в Москве. В середине мая в Кремле состоялась его встреча с Э. А. Гюллингом и Ю. Сирола, во время Гражданской войны 1918 г. входившими в революционное правительство Финляндии, по вопросу о создании Карельской автономной республики. Эмигрировавшие в советскую Россию руководители «красных финнов» полагали, что таким путем можно «удовлетворить национальные интересы карельского населения, лишить Финляндию оснований претендовать на Восточную Карелию и создать плацдарм для подготовки ре-

[103] В октябре 1918 г. возникла Трудовая коммуна немцев Поволжья, в марте 1919 г. — первая национальная республика — Башкирская АССР, в 1920–1921 гг. были созданы Чувашская, Вотская (Удмуртская), Марийская, Кабардинская, Калмыцкая, Коми автономные области; Татарская, Дагестанская, Горская, Крымская автономная республики [История Карелии 2001: 426–427]. В 1922 г. в состав единого государства вошли Украина, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан, первоначально объявившие себя независимыми. В 1924 г. была поделена на республики Средняя Азия.

[104] На состоявшемся 21–29 марта 1920 г. в с. Ухта съезде представителей северных карельских волостей была провозглашена «Ухтинская республика».

волюции в Финляндии и Скандинавских странах» [История Карелии 2001: 428; *Бутвило* 2011: 30–37; *Килин* 1999: 39–55; *Шумилов* 2007: 31].

Первым руководителем Карельской Трудовой Коммуны стал возглавивший Карельский ревком Э. А. Гюллинг, по предложению В. И. Ленина он был привлечен к созданию карельской национальной автономии как ученый-экономист и опытный политический деятель. Гюллинг активно участвовал в подготовке постановлений Президиума ВЦИК (7 июня) и СНК РСФСР (8 июня), которые наряду с государственной автономией предоставили Карелии значительную степень бюджетной и экономической самостоятельности [*Бутвило* 2011: 37–40; *Кораблев, Макуров* 2007: 285].

В 1922 г. в связи с упразднением Олонецкой губ. в состав Карельской Трудовой Коммуны были переданы Повенецкий у. (8 волостей, включая г. Повенец) и часть Пудожского у. (5 волостей с г. Пудожем), населенные русскими. Следующим шагом, демонстрирующим процесс оформления государственности Карелии, стало дальнейшее территориальное расширение границ Карельской Трудовой Коммуны с присвоением ей статуса автономии и создание в 1923 г. Автономной Карельской Советской Социалистической Республики (АКССР) [*Килин* 1999: 77–87; *Кутьков* 2007, 1: 120]. В 1923 г. к Кемскому у. были присоединены принадлежавшие ему прежде 5 поморских волостей Онежского у. Архангельской губ., а через год — прилегающие к Кемскому у. острова Белого моря. В 1924 г. к АКССР отошли Ладвинская и часть Шелтозерско-Бережной вол. Лодейнопольского у. Ленинградской губ., большинство населения которой составляли вепсы, тем самым разделив народ административной границей без учета его интересов. За счет включения Пудожья, Заонежья и Беломорья с русским населением и вепсского Прионежья происходили изменения в количественном соотношении этнического состава и площади Карельской АССР, увеличившейся с 115,2 тыс. кв. км до 146,3 тыс. кв. км и остававшейся неизменной до 1938 г. [История Карелии 2001: 441].

Статус национально-государственных образований укреплялся в результате проводимой в советском государстве в 1925–1935-х гг. политики «коренизации», нацеленной на ускорение социального, экономического, политического и культурного развития отсталых нерусских народов и национальных меньшинств. Представители титульных национальностей имели возможность получить политически мотивированные привилегии, например, квоты при поступлении в вузы, приеме на работу в правительственные учреждения. Особое место занимало сохранение и развитие родного языка и культуры: создавались письменности для бесписьменных народов, национальные школы, печатались газеты, книги и журналы на родном языке, получала поддержку национальная интеллигенция [*Щербак, Болячевец, Платонова* 2016: 105].

В Карелии осуществление политики «коренизации» имело свою специфику. Языковой аспект «коренизации» оказался в республике политикой «финнизации». Власти Карелии не поддерживали идею создания письменности для

карелов, считая возможным всю культурную работу, в том числе и школьное обучение, вести на финском языке. Аргументация данного решения представлена, например, председателем Карельского ЦИКа А. Ф. Нуортева: «В Карелии нет никакой надобности путем мучительного процесса создавать особый карельский язык. Есть готовый, сравнительно высоко развитый язык, который более быстро и успешно, чем какой-либо искусственно собранный из отдельных карельских наречий „средний язык", может стать орудием широкого национального приспособления карел к современной культуре» [*Нуортева* 1927: 3]. Такой же политики карельское руководство придерживалось и по отношению к вепсам АКССР, несмотря на то, что для вепсов Ленинградской обл. вепсская письменность была создана в 1930 г. согласно официальной дате, а фактически — на два года раньше. В сентябре 1932 г. в 37 школах Ленинградской обл. началось обучение детей на родном языке, которое было успешным [*Смирнова* 2002: 156–157]. Оставалось распространить этот опыт на вепсов Карелии, но республиканские границы оказались непреодолимыми.

Для проведения социалистических преобразований в созданной АКССР — бывшей окраине царской России, форсированной индустриализации и эксплуатации ресурсов особую актуальность приобретало научное изучение народов Карелии. В 1920-е гг. на территории Карельского края развернулась интенсивная деятельность этнографических экспедиций, что вызывалось слабой изученностью этнического состава Карелии. Поскольку своих профессиональных кадров не было, то первые экспедиционные исследования выполнялись преимущественно этнографами Ленинграда. Главной задачей экспедиций являлось получение информации о современном состоянии сельского населения Карелии, служащим своеобразным мониторингом для местных властей.

Экспедиции Л. А. Золотарева

Большинство экспедиций в 1920-е гг. в Карелию, финансируемых властями АКССР, происходило при участии и под руководством Давида Алексеевича Золотарева (1885–1935) — видного этнографа, антрополога, картографа, краеведа. Д. А. Золотарев имел блестящее образование. В 1904–1907 гг., проживая в Париже, посещал лекции по антропологии и этнологии в Сорбонне. В 1908–1912 гг. обучался на физико-математическом факультете Петербургского университета по специальности «география и антропология». В 1917 г., став магистром географии и антропологии, приступил к чтению лекций по антропологии, а через год — получил звание профессора. В 1920-е гг. Д. А. Золотарев имел широкую аудиторию студентов — слушателей курса лекций по антропологии: Ленинградский государственный университет, Географический институт, Педагогический институт им. А. И. Герцена. Наряду с преподавательской деятельностью, Д. А. Золотарев работал на ответственных должностях, связанных с проведением антропологических и этнографических исследований

народов СССР: возглавлял отделение русско-финской этнографии Этнографического отдела Русского музея; был заведующим разрядами этнической антропологии и этнографии Академии истории материальной культуры и Европейского отдела КИПС; председателем северной комиссии экспедиционных исследований АН, антрополого-этнографической секции ЛОИМК и Анатомо-антропологического общества Ленинграда [*Шангина* 1985: 76–78].

Значительное место в научно-организационной деятельности Д. А. Золотарева занимали экспедиции. Ученый был приверженцем систематических (стационарных) экспедиционных обследований определенной территории по 3–4 месяца в году в течение нескольких лет, которые должны были включать комплексный сбор данных о том или ином народе: не только по этнографии, но и по физической антропологии, языку, фольклору, позволяющих составить его всестороннюю характеристику [*Шангина* 1985: 79]. Согласно проводимой государством национальной политике, в число главных задач полевых исследований тех лет обязательно входила фиксация всех тех изменений, которые происходили в жизни деревни под влиянием Октябрьской революции. Практическую значимость такого подхода Д. А. Золотарев видел в следующем: «Изучение деревни и внимание к ней культурных кругов населения, так необходимые в интересах всего государства, неизбежно приведут к изменению и улучшению деревенского быта» [*Золотарев* 1926: 158].

Экспедиционные обследования Карелии с участием Д. А. Золотарева делились на два периода: 1920–1923 гг. и 1926–1930 гг. Согласно заведенному порядку, итоги экспедиций, финансируемые карельским правительством, его участники обязаны были донести до широкой общественности в газетах и научно-популярных журналах. К числу таких журналов относился «Карело-Мурманский край»[105]. Журнал боролся «за правильное проведение ленинской национальной политики, за превращение отсталой царской окраины в передовую индустриальную республику, за большевистское понимание революционной истории края» [Культурное строительство 1986: 116–117]. Учредителями журнала являлись Совнарком АКССР и правление Мурманской железной дороги. Издание, выходившее несколько раз в месяц, было «настольной книгой и первым теоретическим пособием каждого специалиста, хозяйственника, плановика, партработника края» [Празднование 1933: 21].

Экспедиция 1920 г. В 1920 г. Д. А. Золотарев работал в составе Олонецкой научной экспедиции Гидрологического института, организованной по предложению Олонецкого губпродкома для комплексного исследования озер, разных запасов края, способов ловли зверей и птиц, имеющего практи-

[105] За многолетнюю историю журнал несколько раз менял свое название: «Вестник Мурманской железной дороги» (1923), «Вестник Мурмана» (1923–1924), «Вестник Карело-Мурманского края» (1924–1926), «Карело-Мурманский край» (1926–1937).

ческое значение, связанное с обеспечением продовольствием населения советской страны. Он собрал этнографические материалы о карелах побережья озера Сандал [НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. Д. 75. Л. 45]. В 1921 г. экспедиция продолжила свою работу на побережье оз. Сегозера. Именно здесь Д. А. Золотарев начал многолетние антропологические исследования в Карелии [*Золотарев* 1930: 2].

Экспедиция 1923 г. В 1923 г. Д. А. Золотарев руководил этнографическим отрядом Олонецкой экспедиции в Кестеньгской и Подужемской волостях Ухтинского уезда Карелии [НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. Д. 75. Л. 46]. В состав отряда помимо него входил архитектор и художник А. Л. Колобаев (1893–1960). Экспедиционный маршрут включал обследование сел Кандалакша, Кестеньга, Подужемье и г. Кемь. Результаты полевых исследований отряда Д. А. Золотарев опубликовал в журнале «Вестник Мурмана» [*Золотарев* 1924]. В своем отчете он указал на некоторые злободневные бытовые проблемы кестеньгских карел, заслуживающие внимания властей: удручающее дорожное сообщение, исчезновение оленеводства, отсутствие газет и литературы, «способных дать положительные знания и воспитать новые жизненные навыки» у населения, сохранение религиозных пережитков и др. Прорисовка проблем иллюстрировалась яркими примерами конкретных ситуаций, в которые приходилось попадать ученым в поле.

В отчете ученым высказалось опасение относительно политики «финнизации» в Кестеньгском крае, которая, по его мнению, ослабляла связи карел с Россией и укрепляла с Финляндией:

> «Хотя западные волости Карелии раньше поддерживали тесную связь с Финляндией, всё же русское влияние через школу, церковь, администрацию и молодежь сильно давало себя знать даже здесь (в Кестеньгском крае — *И. В.*), не говоря об остальной Карелии. Население умело говорить по-русски, дети учились в русской школе. Проведение железной дороги еще больше спаяло с Россией население <...>. Хозяйственная разруха и происк врагов России едва не нарушили этой связи <...>. К счастью, Карелия осталась в союзе с нами, но русское влияние там всё же определенно ослаблено. В школе даже не преподается русский язык. Делопроизводство Исполкома ведется на финском языке, причем часто под руководством финнов. Приветствуя почин государственной власти, способствующей культурному саморазвитию карельского народа, надо быть уверенным, что наша власть изыскала иные, чем раньше, пути для укрепления духовной связи с карельским населением и предусмотрела возможность новых осложнений на национальной почве, которые через несколько лет при ослаблении русского влияния, могут быть значительно опасней и тяжелей для Союзной Республики, чем два года тому назад» [*Золотарев* 1924: 4].

Как можно видеть по приведенной цитате, в начале 1920-х гг. ученые еще могли высказываться прямо, не боясь реакции властей.

Экспедиция 1926 г. В 1925 г. правительство АКССР обратилось в Академию Наук СССР с просьбой организовать изучение карел и в 1926–1930 гг. в крае работала Карельская экспедиция под общим руководством Д. А. Золотарева. С самого начала руководство республики оказывало исследователям всевозможную поддержку.

Летом 1926 г. КИПС и этнографический отдел Русского музея при содействии СНК Карелии организовали Карельскую этнологическую экспедицию в Ухтинский р-н (поселения Ухта, Вокнаволок, Тихтозеро), длившуюся два месяца. Участниками экспедиции были Д. А. Золотарев — руководитель и антрополог, архитектор и художник А. Л. Колобаев, антрополог С. Д. Синицын, фольклорист Х. Ф. Жеребцов. Этот район вызывал особый интерес у исследователей, как пограничный с Финляндией и как уникальная территория, где еще сто лет назад собирались эпические песни. Перед экспедицией были поставлены следующие основные задачи: «С этнографической и антропологической точек зрения проследить, в какой мере Ухтинский край отличается от других районов, каков общий бытовой облик населения в настоящее время и насколько сохранились там <...>произведения народного творчества» [*Золотарев* 1930: 2].

В отчете об этой экспедиции Д. А. Золотарев уделил достаточно много места «самому насущному и больному для Карелии вопросу о путях сообщения», играющему важную роль в реализации государственной национальной политики превращения Карелии в развитый индустриальный край. Он подробно описал путь от г. Кеми до Ухты, ввиду отсутствия колесной дороги проходивший по порожистой и опасной реке Кеми с 28 порогами [*Золотарев* 1930: 5]. На р. Кеми экспедицию постигла трагедия. На обратном пути сотрудник Х. Ф. Жеребцов утонул на Белом пороге. С горечью о случившемся писал Д. А. Золотарев:

> «Х. Ф. Жеребцов, поехав „послужить родной Карелии“ через 30 лет после того, как он провел здесь детство и юность, с необыкновенной страстностью отдавался работе и горел желанием не только изучать, но и помочь родному народу, живущему в суровых условиях. Стихия поглотила вернувшегося домой сына Карелии, нашедшего вечный покой на Кемском кладбище» [*Золотарев* 1930: 6].

Сообщая об этом несчастном случае, ученый призывал карельские власти заняться решением дорожных проблем [*Золотарев* 1930: 6].

Один из главных выводов, сделанных Д. А. Золотаревым об Ухтинском крае, за который он впоследствии жестоко поплатился, это то, что данная территория издавна находилась под сильным финским влиянием, которое сказалось на хозяйственных занятиях ухтинских карел (например, значительной доле разносной торговли), различных сторонах быта местного населения, употреблении в значительной степени финского языка [*Золотарев* 1930: 8].

Экспедиция 1927 г. В 1927 г. Карельская антропологическая и этнографическая экспедиция (под общим руководством Д. А. Золотарева), организованная Русско-Финской Секцией КИПС при материальной поддержке СНК Карельской АССР, работала в составе трех отрядов.

Работы первого отряда. Один из отрядов, руководимый Л. Л. Капицей, продолжил полевые исследования в Ухтинском р-не Карелии, которые носили более углубленный характер, чем летом 1926 г.

Леонид Леонидович Капица (1892–1938) — этнограф, фотограф, сценарист и режиссер этнографических фильмов, эффективно сочетающий в научной работе исследовательские и кинематографические навыки [*Головнев* 2021: 379]; старший брат выдающегося физика, нобелевского лауреата П. Л. Капицы. Л. Л. Капица учился в Санкт-Петербургском университете на естественном отделении физико-математического факультета, где, как и Д. А. Золотарев, занимался углубленным изучением антропологии и этнографии. С 1921 по 1931 гг. Л. Л. Капица работал в Этнографическом отделе Русского музея. В 1924 г. во время командировки за границу, длившейся четыре месяца, он обучался научной кинематографии и применением ее в этнографии.

В состав экспедиции под руководством Л. Л. Капицы вошли фольклорист Г. Х. Богданов, художник-оператор В. А. Воротилов и студентка Ленинградского университета Ю. П. Аверкиева. Примечательно, что Ю. П. Аверкиева (1907–1980) — в будущем крупнейший этнограф-американист — была родом из с. Подужемье Кемского уезда, из семьи онежских крестьян — поморов. Она свободно владела карельским языком, поскольку ее мачеха была карелкой. Содействовавший подготовке профессиональных кадров из народной среды Наркомпрос АКССР направил Ю. П. Аверкиеву учиться на этнографическое отделение географического факультета Ленинградского университета, где она проходила обучение у В. Г. Богораза и Л. Я. Штернберга, а затем в Кембриджском университете у Франса Боаса [*Нитобург* 2003: 399–428].

В планы Ухтинского экспедиционного отряда входил сбор материала по этнографии и фольклору, включающий ознакомление с современным состоянием карельского эпического творчества. Л. Л. Капица собирал материал по хозяйственным занятиям, жилищу, одежде, пище и культурным взаимоотношениям с Финляндией. Ю. П. Аверкиева и Г. Х. Богданов записывали фольклор. Собирателями фольклора было установлено, что руны из года в год забываются. По мнению Г. Х. Богданова, «вымирание рун было связано с влиянием церкви, которое в середине XIX в. и раньше было значительно слабее, чем в начале XX в., а также с ростом грамотности и изменений в хозяйственно-бытовом укладе. Наконец, вытесняли руны финские современные песни» [НА КарНЦ. Разряд XI. Оп. 2. Д. 75. Л. 49].

Специальной задачей отряда было создание первого этнофильма о народной жизни карел. Замысел съемок этнографического фильма о карелах возник неслучайно. В 1920-е — начале 1930-х гг. происходило становление

и развитие этнокино в СССР, которому уделялось особое внимание правящих кругов, рассматривающих кинематограф как важное средство пропаганды успешного национального строительства в СССР. В это время создавалось большое количество советских этнографических фильмов о различных народах нашей страны, и карелы вошли в этот перечень.

Как и везде по стране, съемки фильма о карелах (режиссер Л. Л. Капица), контролировались и финансировались местными властями. Предварительно для получения согласия на создание фильма Л. Л. Капица сделал доклад и представил план съемки в Совете народных комиссаров Карелии. Первоначально фильм носил название «На родине Калевалы» и был задуман на основе сочетания старого и нового быта. Включение в фильм показа старого и нового быта выделялось в качестве главного требования заказчика, независимо от народа, которому он был посвящен. Во время экспедиции летом 1927 г. на кинопленку удалось запечатлеть самих стариков-рунопевцев и пластику их движений, некоторые реконструированные фрагменты старинной свадьбы, новации советского быта — празднование Петрова дня со спортивными зрелищами (футбол, прыжки в высоту, гребля, плавание, перетягивание каната) и картины новостроек в сельской местности [*Головнев* 2021: 382]. В июне-июле 1928 г. Л. Л. Капица вновь отправился в экспедицию в этот район с оператором А. А. Рылло, художницей Н. А. Маковской и фольклористом Г. Х. Богдановым, чтобы продолжить сбор фольклорно-этнографического материала и киносъемку. В конце 1928 г. из материалов двух экспедиций Л. Л. Капица смонтировал фильм под новым названием «Среди озер, лесов и порожистых рек Карелии».

Фильм, знакомящий с северными карелами и успехами национальной политики в Карелии, получил признание у широкой зрительской аудитории и выделялся одним из первых к показу фильмов в 1929 г. в списке рекомендуемых Наркомпросом Карельской АССР. Он был представлен ученым и кинематографистам; делегатам VIII Всекарельского съезда Советов, включая Правительство (9 января 1929 г.); жителям различных населенных пунктов по всей Карелии, в том числе и в Ухтинском крае [*Головнев* 2021: 383].

Работы второго отряда. В числе насущных проблем молодого советского государства была борьба с эпидемиями и тяжелыми болезнями населения. В этнографические экспедиции по комплексному изучению народов часто включались врачи, выявляющие заболевания у местных жителей и санитарно-гигиенические условия их проживания [*Каспарьян* 2013: 137–151]. Так, в состав второго отряда Карельской экспедиции 1927 г., работавшего в Видлицком, Тулмозерском и Ведлозерском районах Карелин, входил врач Ф. Г. Иванов-Дятлов [*Каспарьян* 2013: 150]. Он собрал ценные данные о конституции карел и болезнях, «где среди обычных сифилиса, туберкулеза, трахомы и пр.», им было обнаружено распространение в 7 селениях эндемического зоба (struma endemic). Это заболевание, встречающееся в определен-

ных географических границах и поражающее более или менее значительные массы населения, характеризуется увеличением щитовидной железы, изменяющим конфигурацию шеи. Наиболее вероятным фактором возникновения зобной болезни считается недостаток йода в почве и воде, а также неблагоприятные санитарно-гигиенические условия жизни населения. Ф. Г. Иванов-Дятлов детально изучил симптомы этого заболевания в каждом поселении, не упустив из виду генеалогию больных, а также условия их проживания, состав воды рек и колодцев. Исследование привело врача к выводу, что по мере своего роста зоб неизбежно влечет тяжелые для жизни последствия — значительное сдавливание трахеи и пищевода, ведущее к затрудненному глотанию и дыханию. По сообщению Ф. Г. Иванова-Дятлова, жизнь таких больных — это не только физическое, но и душевное страдание, последнее обусловлено тем, что в карельской деревне они считались заразными. «Больные сифилисом, — писал врач, — в глазах населения, менее опасны, чем зобатые, и поэтому провалившийся нос не вызывает такого отвращения, как средних размеров зоб. Каждое, не имеющее зоба семейство, старательно оберегает свой дом от посещения зобатыми: последние же, видя такое к себе отношение, стараются реже показываться посторонним на глаза, считая в то же время себя глубоко несчастными» [*Иванов-Дятлов* 1928: 31].

Работы третьего отряда. Третий отряд Карельской экспедиции 1927 г. работал в русской части Карелии, главным образом в Даниловской и Петровско-Ямской волостях Повенецкого у. Основной задачей отряда в составе С. Д. Синицына, Е. Волкова и Е. Ф. Уль было изучение антропологических особенностей русского населения в целях сравнения с карелами. Измерение 660 человек дало достаточный материал. При производстве измерений было исследовано 53 семейства из 5 родственных групп. Кроме того, отряд измерил в Петрозаводске 82 красноармейца из карел. Вместе с антропологическими работами производилось изучение гигиены жилища и питания населения.

Экспедиция 1928 г. В 1928 г. Карельская экспедиция, состоящая из трех отрядов, продолжила исследования карельского и русского населения Карелии. В Ухтинском р-не, как указывалось выше, работал отряд под руководством Л. Л. Капицы. Карельские деревни Сямозерья исследовал второй отряд, состоящий из трех человек, — Д. А. Золотарева — руководителя и этнографа, Р. М. Габе — архитектора, изучающего народное зодчество Карелии, и врача Ф. Г. Иванова-Дятлова. Третий отряд (С. Д. Синицын и А. Н. Александрова) проводил антропологическое обследование русских в Заонежье [НА КарНЦ РАН. Р. XI. Оп. 2. Д. 75. Л. 50].

Экспедиция 1929 г. Летом 1929 г. комплексные экспедиционные исследования карельского и русского населения сосредоточились в Юго-Западной Карелии и Пудожском р-не и проходили «по плану, согласованному с Карельским наркомпросом» [Р. VI. Оп. 1. Д. 97. Л. 1]. Основными задачами экспедиции были собирание материалов по карельскому языку и фольклору

(Г. Х. Богданов), пополнение данных о крестьянской архитектуре, необходимых для завершения монографии о карельских постройках (Г. М. Габе), этнографический и антропологический сбор данных у карел (Д. А. Золотарев), антропологическое и медицинское обследование у русских (С. Д. Синицын, Ф. Г. Иванов-Дятлов).

Экспедиция 1929 г. проходила в «год великого перелома» в деревне, когда по всей стране, включая национальные районы, был взят курс на форсирование коллективизации и в преддверии принятия постановления ЦИК и СНК КАССР о развертывании сплошной коллективизации в Карелии (от 5 марта 1930 г.) [История Карелии 2001: 537]. Этот судьбоносный курс государственной политики не мог не сказаться на задачах экспедиции. Важное место в ней заняли работы по обследованию совершенно новых образцово-показательных коллективных хозяйственно-бытовых организаций — коммун: «Сяде» в Олонецком крае, в Пограничных Кондушах, Андросовой Пустыне и др. Так, сельскохозяйственная коммуна «Сяде» (фин. säde — луч) была основана 15 финнами-переселенцами из Канады в с. Верховье Рыпушкальской вол. Олонецкого уезда. В хозяйстве успешно возделывались неприхотливые и устойчивые к заморозкам зерновые культуры: овес, рожь, озимая пшеница, ячмень. В небольших количествах выращивались огородные культуры (например, помидоры, клубника). С 1930 г. успешно развивалось пчеловодство. Главным направлением хозяйственной деятельности коммуны стало животноводство. Коммуна получала высокие урожаи и удои. Изучать ее опыт приезжали крестьяне из разных районов Карелии и других областей страны, рабочие делегации из Германии и Канады [Филимончик 2010: 178–182]. Детальное обследование этих коммун экспедицией Д. А. Золотарева «дало значительный материал для суждения о культурно-бытовых влияниях, распространяемых ими на окружающее население» [НА КарНЦ. Р. VI. Оп. 1. Д. 97. Л. 3].

Экспедиция 1930 г. В 1930 г. в составе Карельской экспедиции работало два отряда антропологов: пряжинский и поморский. В Пряжинском районе экспедиция в составе Д. А. Золотарева (рук.), С. Д. Синицына и А. Л. Злотник имела своей целью произвести общее антропометрическое обследование местного населения, «известного под названием „людикёт“ и сближаемого некоторыми исследователями с вепсами». В Поморье в задачи участников экспедиции С. Д. Синицына и А. Л. Злотник входило «обследование *р*усского населения и определение его связей с населением соседних русских и карельских районов» [НА КарНЦ. Р. VI. Оп. 1. Д. 99. Л. 1]. Р. М. Габе занимался изучением крестьянских построек Карелии у людиков и русских Заонежья. Коллективизация заставила существенно расширить научные задачи Р. М. Габе. Наряду с традиционными постройками и планировками деревень, ему было поручено собрать материал о колхозном строительстве в наиболее значительных коллективных крестьянских хозяйствах, которые были указаны местными райисполкомами и сельсоветами.

Так, были изучены колхозы в селах Покровском, Святнаволоке, Линдозере, д. Койкары. Результаты исследования колхозных сооружений, как следовало из беспристрастного отчета Д. А. Золотарева, не были впечатляющими: «Ввиду того, что все отмеченные колхозы насчитывают за собой несколько месяцев существования, то вполне понятно, что вновь возведенных построек в них не имеется, и только в наиболее крупных, каким является колхоз в селе Святнаволок, существующие старые здания приспособлены под нужды хозяйственного коллектива и в них хорошо устроены и оборудованы молочная, ясли, столовая для обслуживания работников колхоза, но всё же, будучи помещены в существующих старых домах, не отвечающих требованиям современности, эти учреждения оставляют желать много лучшего» [НА КарНЦ. Р. VI. Оп. 1. Д. 99. Л. 6].

Помимо научных исследований, участники экспедиции должны были заниматься идеологической работой среди местного населения. Руководителем экспедиции были привезены книги по социалистическому строительству. А. Л. Злотник велись беседы с местными комсомольцами.

В 1930 г. Карельская этнографическая экспедиция завершила свои исследования Карелии, которые совпали с 10-летним празднованием образования АКССР. Д. А. Золотарев, получив персональное приглашение от Правительства Карелии, участвовал в юбилейных торжествах, как представитель Карельской экспедиции [НА КарНЦ. Р. VI. Оп. 1. Д. 99. Л. 6]. Этот факт свидетельствует о важном значении, которое местные власти придавали этнографическим исследованиям в деле проведения национальной политики в республике.

Среди прикладных достижений Карельской экспедиции следует отметить и вклад исследователей в развитие музейного дела, развернувшегося в нашей стране в 1920-е гг. По мнению партийных и государственных деятелей тех лет, музеи должны были превратиться в учреждения, занимающиеся просвещением народа, а также в мощное идеологическое оружие, с помощью которого можно быстро перестроить мировоззрение людей [*Шангина* 1992: 137]. За многолетний период экспедиционной работы Д. А. Золотарев и Л. Л. Капица пополнили собрание Этнографического отдела Русского музея и Карельского краеведческого музея большим количеством предметов и фотографий по культуре карелов и поморов. К 10-й годовщине Октябрьской революции в Русском музее была открыта экспозиция, посвященная традиционной культуре прибалтийско-финских народов, в которую вошли и новые экспонаты из Карелии [*Шангина* 1985: 82]. С помощью выставленных предметов создатели экспозиции постарались показать и те изменения, которые произошли в жизни народов после Октябрьской революции. Временные выставки по итогам полевых сезонов устраивались не только в стенах Этнографического отдела Русского музея, но и в районных, областных и республиканских центрах, где проходила полевая работа, в том числе и в Петрозаводске. Кроме того, под

руководством Л. Л. Капица Этнографическим отделом Карельского краеведческого музея была создана выставка, посвященная культуре карел, в которую вошли подлинные предметы быта, а также фотографии и рисунки, сделанные в Карельской экспедиции. Л. Л. Капица подготовил путеводитель, которым, как писал автор, следовало руководствоваться, «чтобы получить наиболее цельное впечатление» от выставки [НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. Д. 76. Л. 2].

Первые этнографические исследования в Карельском научно-исследовательском институте

Организация этнографической выставки входила в план руководства СНК АКССР превратить Карельский музей, созданный в 1873 г., в важное политико-просветительное и научное заведение автономной республики. В первой половине 1920-х гг. Карельский музей представлял собой учреждение чисто «архивного» порядка, выполняющее роль хранилища разнообразных экспонатов [Культурное строительство 1986: 135]. Он даже не имел собственного помещения и размещался в нескольких комнатах здания КарЦИКа. В 1928 г. руководство СНК АКССР приглашает из Ленинграда на должность заведующего Карельским краеведческим музеем профессионального этнографа Степана Андреевича Макарьева.

С. А. Макарьев родился в 1995 г. в д. Подщелье Шелтозерско-Бережной вол. Петрозаводского уезда Олонецкой губ. в вепсско-русской крестьянской семье. В 1923–1927-х гг. по направлению профсоюза он обучался на этнографическом отделении географического факультета ЛГУ [*Савватеев* 1999: 11, 14]. Его учителями были выдающиеся этнографы Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз-Тан, Д. К. Зеленин, Е. Г. Кагаров, Я. П. Кошкин и др. Еще, будучи студентом, С. А. Макарьев проводил полевые исследования среди вепсов в родном Прионежье. Уже во время учебы в университете он выделялся своими организаторскими способностями, в 1926 г. в Карелии под его руководством работала Карельская этнографическая экспедиция студентов ЛГУ. После окончания университета С. А. Макарьев около года учился в аспирантуре по специальности «этнография с лингвистическим уклоном», одновременно работая секретарем этнографического отделения геофака и личным секретарем профессора В. Г. Богораза-Тана.

Переезд в Петрозаводск на работу в краеведческий музей полностью изменил траекторию жизни С. А. Макарьева. Его организаторский талант, энергия и настойчивость позволили существенно поднять роль музея, превратить его в центр научно-исследовательской, собирательской, природоохранительной деятельности, краеведческой и культурно-просветительной работы. В музее было создано три отдела — этнографический (или культурно-исторический), социально-экономический и естественно-исторический, а также бюро краеведения с отделениями в районных центрах республики,

призванными развивать краеведческое движение на местах и оказывать помощь в этнографических исследованиях. Постановлением коллегии Наркомпроса в октябре 1928 г. музею было присвоено официальное название — Карельский государственный музей (КГМ), что явилось повышением его статуса. Музей получил помещение — заводскую церковь, ему были переданы церковные вещи и книги [*Савватеев* 1999: 16].

Посещение музея, ведущего политизированную культурно-просветительную деятельность, неуклонно росло. В сезон 1929 г. в нем побывало 27507 чел., было проведено 215 экскурсий [*Савватеев* 1999: 16]. Музей полностью обеспечивал все экскурсии экскурсоводами. Для проведения экскурсий школьникам были привлечены их педагоги. Для них организовали специальный семинар с целью ознакомления с содержанием музея.

Научно-исследовательская работа музея в 1929 г. была представлена работой пяти полевых отрядов, три из которых занимались сбором этнографического материала. Так, С. А. Макарьев работал в Шелтозерском р-не, заселенном вепсами. Для комплексного обследования Святозерского р-на был командирован В. Г. Солнышков. Третий отряд под руководством С. А. Макарьева и ассистентов А. Л. Пятигорского и Д. Д. Всеволожского, состоящий из 41 студента этнологического отделения географического факультета ЛГУ, произвел детальное этнографическое обследование с. Шуи Прионежского р-на, во время которого были собраны экспонаты для музея, сделаны подробные дневниковые записи, зарисовки и фотографии. Фотографии и зарисовки использовались для организации временной выставки в Ленинграде [Культурное строительство 1986: 136].

В сентябре 1930 г. руководство СНК АКССР поручило С. А. Макарьеву организацию на базе КГМ Карельского научно-исследовательского (комплексного) института (КНИИ), призванного «всемерно содействовать социалистическому строительству Карелии <...> углубленным изучением ее неистощимых природных богатств, экономики и культуры» [*Макарьев* 1931: 26]. В связи с политикой коренизации, направленной на образовательный и социальный лифтинг представителей титульных национальностей, особое внимание правительство во главе с Э. Гюллингом придавало формированию научных кадров из местного карельского населения. Так, в одной из записок о создании научно-исследовательского института указывалось: «... нужно доработать вопрос о подготовке научных сил из местных людей — карел. Ни один вопрос не может быть удовлетворительно (с политической и национальной стороны) разрешен, если не будет своих людей» [*Сенькина* 2012: 34]. В другой записке, адресованной т. Макарьеву, подчеркивалось: «При наборе в аспирантуру иметь в виду только националов или минимум 75% националов» [*Сенькина* 2012: 34].

Первоначальную структуру КНИИ составили 6 секций: лесного хозяйства; сельскохозяйственная; развития естественных производительных

сил; социально-экономическая; историко-революционная и, что особенно примечательно, этнографо-лингвистическая, включающая нескольких групп исследователей из разных областей знания. Этнографо-лингвистическая секция первоначально была запроектирована в виде двух самостоятельных секций — 1) языка и литературы и 2) археологии, этнографии и антропологии [*Макарьев* 1931: 29]. В КНИИ из Карельского государственного музея перешло и Карельское бюро краеведения, в какой-то мере оказывающее помощь в разработке проблем, исследуемых в секциях.

Первым официальным директором КНИИ, точнее почетным директором, стал глава правительства Карелии Э. А. Гюллинг — ученый-экономист, доктор философии, до революции в Финляндии — доцент университета в Хельсинки, имеющий научные труды. Будучи одновременно председателем Совнаркома Карелии, Э. А. Гюллинг стремился связать деятельность института с конкретными потребностями социально-экономического развития республики и важнейшими задачами подъема ее культуры, прежде всего — с задачей возрождения и развития всего ценного в культуре карельского и вепсского народов [*Афанасьева* 1989: 226]. Его заместителем, а по сути дела фактическим директором, был назначен С. А. Макарьев.

Руководство КНИИ привлекло к сотрудничеству известных ученых — лингвистов И. И. Мещанинова (директора Института языка и мышления) и Д. В. Бубриха (профессора ЛГУ), археолога А. Я. Брюсова (заведующего отделом Государственного Исторического музея), фольклориста М. К. Азадовского (профессора ЛГУ). Они выполняли экспертную, консультационную, редакторскую работу, занимались подготовкой научных кадров. Среди привлеченных были и этнографы — директор Музея антропологии и этнографии Н. М. Маторин и ведущий специалист Института антропологии и этнографии СССР Е. Г. Кагаров. [*Филимончик* 2010: 104].

Становление КНИИ происходило в период «великого перелома», который сопровождался инициированной Сталиным классовой войной с «социально чуждыми» буржуазными элементами во всех сферах советского общества, в том числе и в науке. Под пресс жесточайшей критики попала этнография и круг ведущих этнографов «старой школы». На организованных по этому поводу обвинительных мероприятиях — Совещании этнографов Москвы и Ленинграда в апреле 1929 г. и Всероссийском археолого-этнографическом совещании в мае 1932 г. — наука, изучающая народы, была презрительно названа «буржуазный суррогатом обществоведения», обвинена в игнорировании марксизма как «единственно верного» научного метода и применении вместо него концептуальных построений «буржуазной» этнологии. Развернувшаяся дискуссия о переводе этнографии на «марксистские рельсы» едва не привела к упразднению самой научной дисциплины [*Соловей* 2018: 160–178]. Униженной, чудом спасшейся науке была определена роль «вспомогательной исторической дисциплины». Главой советской

этнографии Н. М. Мариным (предположительно, в соавторстве с С. Н. Быковским[106]) был обозначен основной круг этнографических проблем, который мало менялся на протяжении всего советского периода: «а) процесс этногенезиса и расселения этнических и национальных групп, б) материальное производство в его конкретных вариантах, в) происхождение семьи, г) происхождение классов, д) происхождение и формы религии, искусства и др. надстроек, е) формы разложения первобытно-коммунистического и феодального общества в условиях капиталистического окружения, ж) формы перехода докапиталистического общества непосредственно к социализму, минуя капитализм, з) строительство культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию» [*Слезкин* 1993: 120].

В течение 3-х лет после первого совещания молодые этнографы-марксисты — выходцы из народа, получившие высшее образование при советской власти, гордые своим взлетом и подталкиваемые партийными руководителями, вели войну с немарксистскими учеными. Их обвиняли в «индивидуалистических классовых привычках», а также в написании книг, «затуманивающих мозги молодого поколения наших ученых» [*Слезкин* 1993: 117].

Среди репрессированных этнографов был и Д. А. Золотарев. 1930 год, ознаменовавшийся для Д. А. Золотарева завершением 10-летних полевых исследований в Карелии и почетным приглашением на правительственные торжества по случаю 10-летия АКССР, закончился первым арестом ученого 12 декабря. В 1931 г. он был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала. Получив досрочное освобождение в июне 1932 г., Д. А. Золотарев работал в Ленинграде в должности профессора антропологии и музееведения Центрального географического музея. В ноябре 1933 г. был повторно арестован за «пропаганду финского фашизма и за шпионаж в пользу Финляндии». В марте 1934 г. был осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей и отправлен в Сиблаг в г. Мариинск Кемеровской обл. Тяжелые моральные и физические испы-

[106] Быковский С. Н. (1896–1936) — выдвиженец по партийной линии; журналист и общественный деятель; советский профессор, несмотря на отсутствие высшего образования. С 1.10.1933 г. — заведующий кафедрой истории материальной культуры Восточной Европы эпохи раннего феодализма, в 1935 г. — заведующий кафедрой истории доклассового общества ЛГУ. Работал редактором журнала «Сообщения ГАИМК». В 1934 г. стал заведующим Археологической секцией Института антропологии и этнографии АН СССР. Область научных интересов С. Н. Быковского: история, этнография. Изучал древнейшую историю и палеоэтнографию Восточной Европы, включая верования и этногенез коми, вепсов, киммерийцев. Выступал за ликвидацию археологии как самостоятельной области знания. Основным гарантом правильности научных выводов для С. Н. Быковского выступало понятие пролетарского интереса, совпадающего со стремлением к объективной истине [Сетевой 2012].

тания подорвали здоровье ученого, он умер в Мариинске 29 августа 1935 г. в возрасте 49 лет [*Решетов* 2004: 210].

Уже в связи с первым арестом Д. А. Золотарева среди ученых Ленинграда началась критика его научной деятельности. В кампанию по дискредитации исследователя был подключен и недавно образованный Карельский НИИ. Выводы Карельской экспедиции (под руководством Д. А. Золотарева) в Ухтинский р-н АКССР (1926–1928 гг.) были определены как «*неверные в методологическом и вредные в политическом отношении*» [НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. Д. 75. Л. 53]. Д. А. Золотарева обвинили в отсутствии классового подхода при формулировке вывода о том, что до революции население пограничного Ухтинского края «в очень большом количестве занималось розничной торговлей с Финляндией». Его объяснение опустения Ухтинского края результатом ликвидации восстания против советской власти и уходом до 54% местного населения в Финляндию также было признано антинаучным. Исследователю вменялось и преувеличение роли финского влияния «во всех сторонах жизни ухтинских карел, начиная с экономики края и упомянутых политических событий и кончая мелочами бытовой жизни» [*Пальвадре* 1931: 207].

В 1931 г. возглавляемый Н. М. Маториным Институт по изучению народов СССР (ИПИН), одной из задач которого стало «разоблачение антимарксистских и антиленинских направлений в дореволюционной русской и зарубежной этнографии» [*Соловей* 1998: 197], организовал в Ухтинский р-н Карелии этнографическую экспедицию с целью проверки выводов Д. А. Золотарева. Начальником экспедиции была назначена аспирантка, а позже ученый секретарь ИПИН, М. Ю. Пальвадре (1896–1936), участвовавшая в Северо-Западной (1920–1923) и Карельской экспедициях (1926–1928 гг.) под руководством Д. А. Золотарева, а теперь отправленная его проверять. От Карельского научно-исследовательского института в экспедицию был направлен студент географического факультета ЛГУ И. М. Мулло (1906–1990), через год окончивший университет и назначенный директором КГМ. Экспедиция работала полтора месяца и пришла к заключениям, которые соответствовали новому курсу национальной политики. Один из выводов, касающийся разносной торговли у ухтинских карел, отразил классовый подход к этому явлению, которого не было у Д. А. Золотарева:

> «Большинство „торговцев“ представляет собой простых разносчиков. Отдельные подлинные торговцы — купцы имели таких разносчиков до 40 человек. Кроме этих двух слоев населения, <...> был слой бедняцкого населения, занимавшийся, наряду с обработкой имевшегося у них клочка земли, батрачеством в своей же деревне. Бедноты было до 40%» [*Пальвадре* 1931: 208].

По мнению этнографов-ревизоров, отмеченное Д. А. Золотаревым сходство культуры ухтинских карел и финнов затрагивало не все классы деревни:

«Финское влияние в бытовой жизни просачивалось преимущественно через отмеченный выше слой купцов. Представители этого слоя являлись деятельными проводниками буржуазно-демографических и националистических идей в крае и активными участниками националистического движения 1905–1906 гг., возглавлявшегося «Карельским союзом» (Karjalan litto) и имевшего своей целью присоединение Карелии к Финляндии» [*Пальвадре* 1931: 208].

Особенностью полевого отчета М. Ю. Пальвадре, в отличие от неприкрашенных отчетов-мониторингов Д. А. Золотарева 1920-х гг., была «лакировка действительности» — сглаживание проблем, связанных с социалистическими преобразованиями в деревне, свидетельствующее об изменившемся взгляде государства на роль этнографических исследований — никакой критики, только подтверждение правильности выбранного правительственного курса по решению национального вопроса:

«Деревни Ухтинского района строят свою жизнь на социалистических началах. Колхоз играет ведущую роль, общественные начала проникают глубоко в быт, в жизнь. Общественные хлевы и конюшни, силосные башни, общественная столовая почти в 50% колхозов, детские ясли, клуб» [*Пальвадре* 1931: 209].

Последняя фундаментальная монография Д. А. Золотарева «Карелы СССР» [*Золотарев* 1930], основанная на огромном цифровом материале — данных 1008 мужчин и 225 женщин, собранных автором, и измерениях 182 красноармейцев, сделанных С. Д. Синицыным, также подверглась яростным нападкам. В книге автором впервые давалась подробная антропологическая характеристика карел СССР. За эту монографию во время зарубежной поездки в 1930 г. в Париж Д. А. Золотарев был избран почетным доктором антропологии [*Решетов* 2004: 210]. Против выводов Д. А. Золотарева о четырех антропологических типах карел (северном, балтийском, лопарском и северноуральском) выступил С. Н. Быковский, который являлся активным агрессивным сторонником и пропагандистом в то время довлеющей в гуманитарной науке яфетической теории Н. Марра; участником и часто инициатором «чисток» и травли ряда ученых. Быковский обвинил Д. А. Золотарева в полном невнимании к опубликованной в центральном издании работе Н. Марра «Суоми-карельские и сомех-картские языки», в которой на лингвистических данных доказывались абсурдные «глубокие давнишние» связи карел с современными кавказскими народами [*Быковский* 1930: 11].

Критика в адрес Д. А. Золотарева прозвучала и в отчете С. А. Макарьева за первый год работы КНИИ. Суть необоснованных претензий касалась занятий ученого «чистой» наукой в стороне от практики социалистического строительства. Отчет был обнародован в газете «Советская Карелия».

По мнению С. А. Макарьева, многолетние антропологические исследования Д. А. Золотарева и монография «Карелы СССР» отличаются «своей отвлеченностью от современных требований к антропологии и явной контрреволюционностью». Руководитель ИЯЛИ считал, что антропологические работы должны быть переключены на другие рельсы — от «чистой» науки «к боевым вопросам сегодняшнего дня»: «Антропологические работы необходимо соединить с работами Наркомздрава, который должен принять живое участие в исследовательских работах в области изучения социальных болезней, влияния на физическое строение трудовых процессов в различных условиях работы, изучения вопросов естественного движения населения и т. д., т. е. на тех вопросах, которые в условиях колоссального роста советской культуры и экономики имеют существенное значение» [*Макарьев* 1931: 31]. Это обвинение было голословным. Как указывалось выше, в состав участников многолетней Карельской экспедиции входил врач, изучавший перечисленные С. А. Макарьевым проблемы, связанные со здоровьем населения.

В отчете за 1931 г. С. А. Макарьев также отметил, что важным пунктом работы КНИИ должен стать учет всех экспедиций в Карелию и их результатов, которые проводятся без участия КНИИ и, по возможности, «принимая в них хотя бы даже косвенное участие». Такой учет «позволит обратить особое внимание на работы, явно неправильно истолкованные и поэтому данные в ложном, классово-чуждом нам освещении, особенно представителями так называемой „чистой“ науки» [*Макарьев* 1931: 34]. По сути дела, этой фразой С. А. Макарьев давал негативную характеристику полевым исследованиям Карельской экспедиции и ее руководителю — Д. А. Золотареву.

В Ленинграде гонениям подвергся и другой участник Карельской экспедиции Л. Л. Капица. В начале 1931 г. он уволился из Русского музея, якобы по собственному желанию. С середины 1930-х гг. и до своей ранней смерти в 1938 г. исследователь работал штатным режиссером киностудии «Леннаучфильм». В 1937 г. Л. Л. Капица был уволен в связи с обвинением его брата П. П. Капица в сотрудничестве с Англией, выдвинутым наркомом внутренних дел СССР Ежовым, но через месяц был восстановлен на прежнем месте [Финно-угорский мир 2017: 22]. Кинематографические материалы проведенных Л. Л. Капицей экспедиций, включая полный фильм «Среди озер, лесов и порожистых рек Карелии» до сих пор числятся в разряде утраченных [*Головнев* 2021: 387].

Разгром этнографической науки на рубеже 1920–1930-х гг., деформация ее предметной области, низвержение выводов Карельской экспедиции и преследование ее участников, представляющих «старую» школу, дезориентировали этнографов КНИИ и повлияли на планы и результаты их работ в 1931–1937 гг. Несмотря на присутствие слова «этнография» в названии этнографо-лингвистической секции и профессионального этнографа во главе Института, ведущую роль в ней в те годы играли группы по подготовке сло-

варей, археологии и собиранию фольклора. Для этого достаточно полистать хотя бы планы научно-исследовательских работ этнографо-лингвистической секции КНИИ 1930-х гг. Например, в 1935 г. в план работы секции входили [Разр. XI. Оп. 2. Д. 75. Л. 14]:

1) Археологическая экспедиция.
2) Лингвистическая экспедиция.
3) Фольклорная экспедиция.
4) Усовершенствование национального музыкального инструмента — кантеле и пособие по игре на нем.
5) Изучение художественной резьбы по дереву.
6) Изучение умственного развития карельского ребенка.
7) Карело-финская сравнительная грамматика.
8) Пути освоения финского языка карелами.
9) Изучение карело-финской пролетарской литературы.
10) Пережитки дохристианских религиозных верований среди карел.
11) Петроглифы на островах Белого моря.

Об этом свидетельствует и отчет С. А. Макарьева о работе этнографо-лингвистической секции за 5 лет (1931–1935). Приоритетом в ее работе назывался сбор языковых материалов и подготовка словарей. В отчете указывалось, что на базе материалов карельской языковой экспедиции составляется словарь, в котором планируется дать все различия карельских говоров, а собранный среди прионежских и шимозерских вепсов материал используется для работы над вепсским словарем. Значительные открытия были сделаны и в результате археологических экспедиций. Как отмечалось в отчете, «за несколько лет работы собран такой обширный материал, что встает вопрос о временном приостановлении всякого рода специальных раскопок» [*Макарьев* 1935: 59]. Успехи в археологии в какой-то мере были связаны с деятельностью А. М. Линевского — профессионального этнографа, однокурсника С. А. Макарьева и его коллеги по студенческим экспедициям, пришедшим на работу в КНИИ в 1934 г. Еще в 1926 г. во время студенческой этнографической экспедиции А. М. Линевский открыл для науки скалу «Бесовы Следки» с петроглифами в Беломорье, которые круто поменяли направление его исследований от этнографии к археологии.

Этнография считалась основной наукой, изучающей народную культуру, и фольклор естественно входил в предметную область этнографии вплоть до середины 1920-х гг. [*Байбурин* 2011: 3]. Однако в эти годы между этнографией и фольклористикой была сооружена пропасть. Фольклористика оказалась в гораздо лучшем положении. Фольклор оценивался властями как важное воспитательно-идеологическое средство для широких слоев населения [*Шафранская* 2007: 401]. Как писал в своем отчете С. А. Макарьев, к 100-летнему юбилею «Калевалы», торжественно проведенному по всей Карелии,

фольклорная группа представила важные результаты: «собраны тысячи образцов народного творчества карелов, финнов, вепсов и русских — основных народностей Советской Карелии» [*Макарьев* 1935: 59].

Примечательно, что в отчете профессионального этнографа о работе этнографо-лингвистической секции за 5 лет ничего не говорилось об этнографических исследованиях, хотя они имелись. Можно предположить, что умалчивание явно было связано с ударом по научному статусу этнографии на рубеже 1920–1930-х гг. Важные результаты, например, были получены самим С. А. Макарьевым [*Савватеев* 1999: 40–41]. В эти годы он продолжал полевые исследования среди вепсов, начатые еще в студенческие годы. В 1930 г. С. А. Макарьев выезжал к вепсам Череповецкого округа, в 1931 г. работал среди шелтозерских вепсов, в 1932–1933 гг. совместно с языковедом Н. И. Богдановым осуществлял сбор лингвистического и этнографического материала среди шимозерских вепсов [НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. Д. 75. Л. 44–55]. В 1931 г. он опубликовал насыщенную уникальным материалом статью, посвященную чрезвычайно развитому у вепсов берестяному промыслу [*Макарьев* 1931а]. Изучение народных ремесел и промыслов, их сохранение и развитие являлось одной из важных задач национальной политики.

В 1932 г. вышел в свет этнографический очерк С. А. Макарьева «Вепсы». Несмотря на небольшой объем — 1,2 п. л., очерк представлял собой первое системное описание вепсов, основанное преимущественно на впервые полученных знаниях о вепсах Карелии. В него входили следующие рубрики: «Территория и численность вепсов», «Природа края», «Экономический быт», «Поселения и жилище», «Домашняя утварь», «Пища», «Одежда и обувь», «Средства передвижения», «Общественная жизнь вепсов», «Религиозные воззрения». Разделы о вепсском быте, как и было положено в те годы, включали обязательное противопоставление традиций и послереволюционных инноваций. Очерк «Вепсы» завершал раздел «Новый быт», в котором исследователь некоторое место уделил приниженному социальному положению вепсской женщины до революции. Автор выразил надежду, что в связи с социалистическими преобразованиями в деревне, вепсские женщины преодолеют свою отсталость и будут «строить новый быт, новые формы социальной жизни вепсской народности на основе правильно проводимой Ленинской национальной политики» [*Макарьев* 1932: 40].

В очерке С. А. Макарьева «Вепсы» впервые был введен изобретенный автором этноним *вепсянка* для обозначения женщины вепсской национальности *[Минеева 2008: 53].* Несколько раз на протяжении рассказа об особенностях жизни вепсов С. А. Макарьев использует этот этноним, например: «Женщина-*вепсянка* в сравнении с мужчиной в большинстве своем была наиболее невежественна и далека от многих культурных навыков»; «Некоторые *вепсянки* принимают участие в общественной работе» [*Макарьев* 1932: 38–40]. В период перестройки и начавшейся мобилизации вепсов введенный С. А. Макарьевым

этноним *вепсянка* для обозначения женщины вепсской национальности стал использоваться в официальных документах и при переписи населения в Карелии 1989 г. Этот этноним применяется и в современной жизни вепсов.

С. А. Макарьев считал, что каждый вопрос научного исследования должен быть увязан с практическими потребностями советского общества. Неслучайно свою статью о работе КНИИ за 1931 г. он озаглавил «Наука — на службу социалистическому строительству». Большое значение он придавал использованию научных знаний для развития туризма в Карелии, которая «из культурно и экономически отсталой страны, где бытовали почти первобытные формы земледелия, <...> встала на путь своего превращения <...> в индустриальную республику» [*Макарьев* 1931в: 6]. В целях популяризации этой территории для туристов С. А. Макарьевым был подготовлен путеводитель «По советской Карелии» [*Макарьев* 1931в]. Путеводитель отразил осуществляемую в Карелии коренизацию и антирелигиозную политику. Возьмем, к примеру, характеристику дореволюционного Петрозаводска, данную С. А. Макарьевым: «Старый Петрозаводск являлся центром национального угнетения карел, основных аборигенов этого края. Отсюда шла систематическая русификация всех национальных районов и насаждения „веры православной“» [*Макарьев* 1931в: 31–32].

Одной из проблем этнографии, изучаемой в КНИИ в начале 1930-х гг., являлись «пережитки дохристианских религиозных верований карел». Они исследовались в рамках научной темы «Жертвоприношения в Карелии». Ее исполнителем был профессиональный этнограф Г. А. Никитин. Георгий Александрович Никитин (1908–1942) родился 15 сентября 1908 г. в Санкт-Петербурге. В 1926 г. Г. А. Никитин поступил на этнографическое отделение географического факультета ЛГУ на специальность «Музейное дело». В июне 1929 г. он впервые побывал в Карелии, проходя студенческую экспедиционную практику под руководством С. А. Макарьева в с. Шуя Прионежского р-на [*Королькова* 2015: 207]. Видимо, студенческая практика и знакомство с С. А. Макарьевым, разглядевшим способного студента, повлияли на распределение Г. А. Никитина после окончания ЛГУ в 1931 г. Он был направлен на работу в Петрозаводск в КНИИ, где занял должность ученого секретаря Карельского бюро краеведения под председательством С. А. Макарьева.

Г. А. Никитин происходил из семьи священника. Он обладал глубокими знаниями по истории христианства и его распространению в России. Особый интерес у него вызывали языческие верования и религиозный синкретизм. Наладив обширнейшую корреспондентскую сеть в регионе, он собрал ранее неизвестные сведения о степени сохранности в первой трети XX в. архаичных обрядов с жертвоприношением животных под названиями *быкобои* или *бараньи праздники.* Исследователь также неоднократно выезжал в районы Карелии с целью выявления подобных реликтов, которые еще оставались живой традицией [*Лойко, Фишман* 2004: 47].

Работа Г. А. Никитина «Жертвоприношения в Карелии», содержащая оригинальные полевые материалы и важные научные выводы, к сожалению, осталась незаконченной. Она была подготовлена к печати и опубликована О. М. Фишман лишь в 2004 г. [*Никитин* 2004]. В любой работе о верованиях и религии того времени автору вменялось отразить курс советского государства на ожесточенную борьбу с религией и церковью. В работе «Жертвоприношения в Карелии» этому моменту Г. А. Никитин также вынужден был уделить немного места, назвав жертвоприношения, как и положено, «пережитками» и порекомендовав в качестве борьбы с ними научное изучение и распространение полученных знаний через культурно-просветительную работу с населением [*Никитин* 2004: 346–347].

Власти не только диктовали этнографам, как им писать про религию, но и стремились привлекать их в различные антирелигиозные кампании по дискредитации церкви. Изучая документы таких мероприятий, С. Н. Филимончик отмечала, что выступления ученых КНИИ на них, в обязательном порядке «по должности», «отличались, как правило, сдержанностью». Так, «выступая перед активистами Общества воинствующих безбожников, Г. А. Никитин подчеркивал, что нужно не только бороться с религией, но и изучать ее» [*Филимончик* 2010: 109].

Во время работы в КНИИ Г. А. Никитин занимался и такими актуальными темами, имеющими прикладное для Карелии значение, как «Промысел морского зверя» и «Тивдийские мраморные разработки (современное состояние)». Их исследование он продолжил на новом месте работы — в Этнографическом отделении Русского музея в Ленинграде, куда по приглашению руководства переехал в 1934 г. [*Лойко, Фишман* 2004: 48–49].

В середине 1930-х гг. к сильнейшей идеологизации и политизации советского общества, борьбе с «буржуазными элементами» во всех его сферах добавилась начатая Сталиным радикальная смена национальной политики. Коренизация сменилась политикой так называемого руссоцентризма, для которой было характерно провозглашение полного равенства народов советской страны при одновременном выделении ведущей роли русского народа как «старшего брата» и «первого среди равных в братской семье народов». По мнению исследователей, смена национальной политики имела несколько объяснений: «Во-первых, большевики хотели сохранить и приумножить поддержку со стороны русских, которые оказались наиболее лояльной этнической группой в период коллективизации и индустриализации. Во-вторых, большевики стали рассматривать русских как своего рода «этнический клей» Советского Союза» [*Щербак, Болячевец, Платонова* 2016: 106], поскольку, согласно их официальной стратегии, национальные культуры в советском государстве будут развиваться по линии постепенного «сближения», а затем слияния всех культур в единую. Таким образом, как пишет Т. М. Смирнова, «национальные культуры рассматривались как допустимые, но историче-

ски обреченные реалии, неизбежная ступень к всеобщей единой интернациональной социалистической культуре (в СССР и тем более в РСФСР — на русской основе)» [*Смирнова* 2002: 40].

В связи со сменой национальной политики заниматься национальными проблемами, в частности связанными с финно-угорскими народами, стало невозможным и смертельно опасным. Всякое изучение и пропаганда национальных культур расценивались, как проявление национализма, и жестоко карались. Ситуацию усугубляло резкое ухудшение взаимоотношений между СССР и Финляндией. Еще в начале 1930-х гг. многие ученые из республик Поволжья были обвинены в национал-шовинизме, симпатии к Финляндии и стремлении к созданию федерации финских народов [*Шнирельман* 2022: 77–78]. В 1935 г. волна репрессий докатилась и до Карелии. Представителей «финского руководства» — Э. Гюллинга, Г. Ровио и др. обвинили в ориентации на Финляндию и создании «шпионско-повстанческой организации», ставящей своей целью «...реставрацию капитализма, отторжение КАССР от Советского Союза и присоединение ее к фашистской Финляндии путем интервенции и вооруженного восстания» [*Савватеев* 1999: 33]. Они были арестованы и расстреляны. Такая же участь постигла в 1937 г. и С. А. Макарьева — талантливого организатора науки и ученого, так много сделавшего для создания КНИИ. Он также проходил по этому сфабрикованному громкому делу и был обвинен по 7 пунктам: «являлся участником шпионско-повстанческой националистической организации в Карелии; работая заместителем директора КНИИ, принимал на работу социально чуждый и классово враждебный элемент; в библиотеку института на должность заведующей принял «иноподданную» Матсон, этим дал возможность широко распространять фашистскую литературу среди посетителей; игнорировал социалистические формы хозяйства в работе КНИИ; имел письменную связь с рядом буржуазных фашистских профессоров: Тункело, Юрьевым, Боорком и др.; в 1927 г. примыкал к зиновьевской контрреволюционной оппозиции в ЛГУ и был тесно связан с профессором Маториным[107], привлеченным по делу зиновьевского центра в Ленинграде; не принимал мер к изучению и созданию карельского языка, проводил политику финнизации карельских и вепсских народностей» [*Савватеев* 1999: 33–34].

Поворот к руссоцентризму и отказ от политики финнизации карельских и вепсских народностей привели к неоднократным изменениям в языковой политике АКССР во второй половине 1930-х гг. В 1936 г. вместо финского языка в школах начали вводить карельский. Над созданием карельского ли-

[107] После убийства С. М. Кирова жертвами Большого террора, расстрелянными в 1936 г. «за участие в троцкистско-зиновьевской оппозиции», стали активно сотрудничавшие с КНИИ директор Музея антропологии и этнографии Н. М. Маторин, маррист С. Н. Быковский, участница Карельских экспедиций М. Ю. Пальвадре [*Королькова* 2015: 209].

тературного языка работал Д. В. Бубрих. В его основу ученым был положен не один диалект, а ведущие черты всех диалектов. Но уже в марте 1940 г. в связи с преобразованием Карельской АССР в Карело-Финскую ССР карельский язык повсеместно был отменен и вместо него был вновь введен финский язык. В послевоенное время обучение на финском языке в школах республики постепенно сокращалось. Осенью 1937 г. по требованию общественности и самих вепсов обучение в Шелтозерском районе Карельской АССР было переведено на вепсский язык. Однако 24 января 1938 г. в результате Постановления ЦК ВКП(б) «О реорганизации национальных школ и национальных отделений в школах» обучение в вепсских школах было переведено на русский язык [*Смирнова* 2002: 42].

В январе 1937 г. обезглавленный КНИИ был реорганизован в Карельский научно-исследовательский институт культуры (КНИИК), за которым сохранилось только гуманитарное направление — исследования в области лингвистики, истории, фольклора, археологии и, что примечательно, этнографии [*Филимончик* 2010: 110]. Однако репрессии прекратили этнографические исследования в реорганизованном Институте на 20 лет.

В целом отношение власти к этнографическим исследованиям в Карелии в 1920–1930-х гг. менялось и находилось в зависимости от изменчивой национальной политики. Оно довольно четко делилось на три периода:

1) 1920-е гг. Активное привлечение этнографов в проведение политики коренизации для получения относительно объективной информации об адаптации населения окраины к социалистическому быту и рекомендаций.

2) Первая половина 1930-х гг. Усиление классового и идеологического диктата на этнографические исследования сотрудников КНИИ с целью подтверждения правильности национальных преобразований в советской стране и республике.

3) Вторая половина 1930-х гг. Репрессии этнографов за участие в проведении политики «финнизации». Отказ от этнографических исследований в КНИИ.

Трагические зигзаги государственной политики и идеологические установки, препятствующие объективной оценке материала, явно мешали успешно начатому этнографическому изучению народов Карелии. Тем не менее, в 1920–1930-х гг. ленинградскими и карельскими этнографами в тесном взаимодействии с представителями других наук были собраны первые научные сведения о традиционном и новом образе жизни карельского, вепсского и русского населения Карелии, которые представляют собой уникальную базу для проведения научных исследований по широкой проблематике. Кроме того, огромный практический опыт первых этнографов Карелии в деле сохранения и развития исчезающих национальных языков и культур с его плюсами и минусами остается недостаточно учтенным, он может быть полезен в наши дни.

Этнографические исследования в Карелии в 1950–1960-е гг.

В первое послевоенное десятилетие в Советском Союзе происходило продвижение сталинской политики руссоцентризма, согласно которой всё лучшее в мировой истории было сделано русскими. Отказ от этой политики произошел после смерти И. В. Сталина и XX съезда КПСС, разоблачившего его культ личности. В 1956–1970-х гг. для советской национальной политики были характерны три направления: антисталинизм, коренизация и латентная русификация [*Щербак, Болячевец, Платонова* 2016: 107–108]. На волне кампании по ревизии сталинизма Н. С. Хрущев стал употреблять термин «многонациональный советский народ» при оценке вклада народов в мировую историю. В 1950-е гг. по всей стране началось возрождение этнографии как самостоятельной науки, чудом спасшейся от упразднения после обрушившейся на нее сталинской репрессивной политики. Главой этнографии С. П. Толстовым она была определена как «отрасль исторической науки, требующая конкретного исторического исследования культуры каждого народа и его живой истории». Создание этнологического направления стало возможно в эти годы и в ИЯЛИ Карело-Финского филиала АН СССР. Согласно официальной политике коренизации, к которой вернулись в республике после поправок, актуальным вновь стало изучение языка и культуры коренных народов Карелии, при этом вопрос об использовании карельской и вепсской письменности в школьном образовании и других сферах уже не поднимался. Как вспоминал д. ф. н. Г. М. Керт, в ИЯЛИ «поощрялась работа по карельской и вепсской диалектологии, однако ни словом нельзя было заикаться о письменностях для этих народов» [Культурное наследие 2022: 11].

Возвращение к этнографическим исследованиям в ИЯЛИ требовало подготовки профессиональных кадров, желательно из представителей коренных народов, знающих карельский, вепсский или финский языки. В 1951 г. после окончания исторического факультета Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в целевую аспирантуру Института этнографии АН СССР (ИЭ) в Москву по специальности «этнография финно-угорских народов» была направлена Р. Ф. Тароева (с 1970 г. — Никольская) (1927–2009), ставшая основательницей этнографической науки в Карелии. Р. Ф. Тароева свободно владела карельским языком. Она родилась в семье кареловлюдиков в с. Мунозеро Карело-Финской АССР. Темой ее диссертации стала «Материальная культура северных карел во второй половине XIX в. и первой половине XX в. (по материалам района Калевалы)» (научный руководитель Н. Н. Чебоксаров). Тема была выбрана в духе того времени. В истории, как русской, так и мировой этнографии систематическое изучение материальной культуры в ее традиционно-бытовых формах началось значительно позже, чем изучение духовной культуры (обрядов и обычаев, верований и т. д.). В 1930–1950-х гг. в советской этнографии исследование материальной культуры ста-

ло заметно преобладать. По мнению К. В. Чистова, «причины этого не формулировались прямо, но подразумевалось, что историко-материалистическое изучение традиционно-бытовой культуры означает выдвижение на первый план проблем экономики, способов землепользования, орудий труда, жилища и хозяйственных построек, одежды и т. д.» [*Чистов* 1983:14]. К тому же изучение народной духовной культуры по сути дела было равно изучению народной религии, которая в советское атеистическое время обходилась стороной или рассматривалось в отрицательном аксиологическом ключе.

После окончания аспирантуры 1 января 1955 г. Р. Ф. Тароева была принята на должность младшего научного сотрудника ИЯЛИ Карельского филиала АН СССР. Почти сразу же состоялась защита ее кандидатской диссертации [*Тароева* 1954]. Это была первая в отечественной науке диссертация, посвященная этнографии карельского народа, проживающего в Карелии. Диссертация была написана в свете этногенетического подхода. В ней впервые предметы материальной культуры северных карел (жилище, одежда, пища и пр.) рассматривались как источник для изучения вопросов этногенеза, этнической истории карел и культурных связей между народами. Как известно, в 1940-х гг. среди этнографов столичных научно-исследовательских институтов этногенез с его неотъемлемыми этнокультурными связями становится одним из приоритетных и перспективных исследований.

В послевоенных условиях натянутых отношений СССР и Финляндии этногенетические исследования карел приобретали особую важность. Работы кареловедов должны были способствовать развенчанию ошибочной теории западнофинского (емьского) происхождения карел, сформулированной учеными Финляндии. Однако данный идеологический диктат имел перегибы. Даже очевидные культурные связи между северными карелами и финнами, как и в 1930-е гг., должны были объясняться с применением классового подхода, чтобы в правящих кругах Финляндии не было ни малейшей попытки претендовать на карел. Этот момент отразился в диссертации Р. Ф. Тароевой: «...Влияние финнов на материальную культуру карел коснулось преимущественно более зажиточной верхушки. В западной части современного района Калевалы, у границы с Финляндией влияние это было более заметно, чем в восточной. Попытки финских буржуазных ученых доказать, что культура ухтинских карел имеет особые черты сходства с финнами, не обоснованы, поскольку культурное взаимодействие северных карел с русскими всегда было более интенсивным, чем с финнами» [*Тароева* 1954: 15].

Советские этнографы того времени, изучающие культурные связи, вынуждены были при написании работ отмечать братские связи между народами и бескорыстную помощь русского народа согласно курсу национальной политики. Так, в диссертации Р. Ф. Тароевой читаем: «Только в условиях советского социалистического общества, благодаря ленинско-сталинской национальной политике Коммунистической партии Советского Союза и брат-

ской бескорыстной помощи великого русского народа, стали возможны те преобразования, которые произошли в жизни карельского крестьянства» [*Тароева* 1954: 16].

Для ИЯЛИ защита первой диссертации по этнографии стала знаменательным событием, означающим возобновление этнографического изучения карел, прерванного в 1930-е гг. При секторе истории была сформирована «этнографическая группа», в которую, помимо Р. Ф. Тароевой, вошли четыре лаборанта-исследователя, т. е. были созданы благоприятные условия для проведения этнографических исследований. Однако, по рассказам очевидцев, первые годы работы молодого этнографа не всегда встречали понимание у ее коллег по сектору — историков. Изучение старых лодок, повозок, одежды, обрядов и т. д. воспринималось чем-то несерьезным и неактуальным. Такое отношение к этнографии наблюдалось по всей стране. Как отмечал С. В. Чешко, «официальная советская «историко-партийная» наука продолжала относиться к этнографии с некоторым пренебрежением и предубеждением» [*Чешко* 2005: 8]. В 1958 г. в ИЯЛИ из Краеведческого музея перешел В. В. Пименов (1930–2012), окончивший с отличием единственную в стране на тот период времени кафедру этнографии МГУ и имеющий серьезные публикации. Он стал поддержкой в отстаивании профессиональных интересов. В. В. Пименов сочетал работу с учебой в заочной аспирантуре ИЭ в Москве. Тема его диссертационной работы носила название «Этнография вепсов» [НА КарНЦ. Ф. 2. Оп. 35. 1842: 16].

Перевод В. В. Пименова в ИЯЛИ имел важное значение в деятельности принявшего его научного учреждения. Дело в том, что в конце 1940-х гг. был снят негласный запрет на исследование вепсского языка, существовавший с января 1938 г. в связи с постановлением о прекращении преподавания предметов на вепсском языке в школах и последовавшими за ним гонениями (репрессиями, уничтожениями учебников). В 1955 г. в ИЯЛИ после завершения подготовки диалектологического атласа карельского языка было начато изучение диалектов вепсского языка. Наряду с изучением языка, возникла необходимость и в этнографическом изучении вепсов, которое в связи с гибелью С. А. Макарьева было прервано во второй половине 1930-х гг.

Этнографической группой ежегодно стали проводиться продолжительные целенаправленные полевые работы в вепсских и карельских деревнях Карелии и за ее пределами. Исследователи выезжали не в одиночку, а организовывали большие коллективы экспедиций, включающие студентов, фотографов, художников. Помимо сбора материалов, в обязанность этнографов входила пропаганда научных знаний о народах Карелии: чтение лекций перед сельским населением, публикация статей в районных газетах.

Материалы экспедиций середины 1950-х гг. свидетельствуют о том, что в тот период времени этнографы рассматривали изучаемые народы с позиций проводимой в стране политики руссоцентризма с выделением прогрес-

сивной роли русского народа среди других национальностей. Так, в отчете об экспедиции к вепсам Прионежья за 1955 г. В. В. Пименов отмечал, что вепсы — исключительно радушный и гостеприимный народ. По мнению исследователя, такое радушие и гостеприимство проявляется у них, прежде всего, к русским, поскольку вепсы с большим уважением относятся к русскому народу, его языку и богатейшей культуре:

> «Вепсы на опыте убедились в том, что от русских приходит много хорошего: автомобили, автобусное сообщение, сельскохозяйственные машины, электричество, кино, клубы, лекции, концерты и пр. Поэтому вепсы в своем подавляющем большинстве хорошо знают русский язык, они все двуязычны. Сейчас уже невозможно найти человека среди вепсов, который не знал бы русского языка. И понятно: на русском языке существует богатейшая литература, через русский язык можно познакомиться с любым произведением, написанным на ином языке, русский язык — язык великой культуры, язык международного и межнационального общения» [Культурное наследие 2022: 247].

В то время В. В. Пименов считал, что вепсский язык не имеет возможностей для приобщения к высокой культуре и мировой политике:

> «Он, как его называют сами вепсы, „карманный", т. е. нелитературный, используемый только в быту, дома. Даже на собраниях, например, на общем колхозном, партийном, комсомольском собрании ораторы говорят меньше по-вепсски, а больше по-русски» [Культурное наследие 2022: 247].

К сожалению, в данном суждении автора не было объяснения, которое коренилось в последствиях принятого в 1938 г. государственного запрета на вепсский язык.

Рабочий класс всегда занимал важное место в тематике гуманитарных наук советского времени. На рубеже 1950–1960-х гг. к этому объекту исследования решили привлечь и этнографов. Перед этнографами СССР была поставлена централизованная задача, признанная наиболее актуальной, — «изучение ведущей роли рабочего класса в общественном развитии и в коренном преобразовании быта народов СССР в ходе революционной борьбы и построения социализма» [*Будина, Шмелева* 1977: 25]. Этнографические исследования рабочего быта были начаты почти одновременно во многих республиках нашей страны.

В 1960–1961 гг. в ИЯЛИ также пришлось изменить тематику этнографических исследований. Р. Ф. Тароева и В. В. Пименов вынуждены были оставить написание своих монографий, посвященных карелам и вепсам, и обратились к исследованию рабочего класса лесозаготовительной отрасли Карелии. Следует заметить, что этот вопрос уже поднимался перед исследователями Карелии в 1920-е гг., но не был реализован. В 1925 г. от ГАИМК в Карелию

был командирован М. В. Фармаковский для собирания материалов по быту рабочих Онежского металлургического завода, лесопильных и кирпичных заводов. Собранные им коллекции были частично использованы в историко-бытовом отделе Русского музея [НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. № 75].

Кроме этнографов, в исследовательскую группу по изучению рабочего класса, которое было задумано как междисциплинарное, вошли фольклористы У. С. Конкка и Т. И. Вяйзинен, экономист З. Н. Кильсеева и биолог В. И. Ильина. Объектом изучения был выбран многонациональный поселок лесозаготовителей Верхний Олонец, сформировавшийся к 1957–1958 гг. из двух основных групп: старожильческого местного карельского населения и пришлого (русского, белорусского и украинского). Многонациональный поселок изучался как единое целое, и такой подход был связан с актуальной проблемой советской этнографии — выявлением культурного взаимовлияния и сближения народов, — связанной с национальной концепцией советского государства о слиянии всех наций и народностей при коммунизме. В 1960–1963 гг. в Верхнем Олонце проводился интенсивный сбор материала. Исследователи использовали метод вживания в этнографическую среду. Для этого они посещали партийные собрания, работали на лесозаготовках. Методами сбора материала были также опрос населения и анкетирование. Полевые материалы подкреплялись и дополнялись архивными, газетными и литературными данными, часть из которых изучалась в местной библиотеке.

Итоги исследований были представлены в 1964 г. в коллективной монографии «Верхний Олонец — поселок лесорубов» [Верхний Олонец 1964]. В этой монографии этнографами была написана большая часть разделов. Книга справедливо была охарактеризована специалистами как серьезный труд, интересный в методологическом отношении [*Крупянская* 1963: 31; *Юхнева* 1966: 178]. Именно сегодня, когда в России происходит масштабная миграция сельских жителей в города и поселки эта монография приобретает для этнологов важное методическое и прикладное значение.

Хотя с позиции сегодняшнего состояния этнологической науки в Карелии можно сказать, что в тот период времени это исследование оказалось преждевременным. Как отмечал сам В. В. Пименов, «в процессе работы пришлось столкнуться с целым рядом трудностей, связанных с недостаточной этнографической изученностью Карелии вообще ...» [Верхний Олонец 1964: 9]. Вместо того, чтобы собирать материалы по еще функционирующей в то время традиционной культуре коренных народов Карелии, фиксировать уходящие формы, этнографы направили свое профессиональное мастерство на изучение советского быта. Например, стали изучать одежду лесорубов, вместо стремительно исчезающей национальной одежды карелов и вепсов, или описывать современную свадьбу без изучения на тот период времени карельской традиционной свадьбы, тем самым упуская время. В отличие от на-

шей страны, в финляндской этнологии исследование подобных профессиональных сообществ и городского населения началось только с исчезновением финляндской деревни в 1960–1970-е гг., изучение которой теряло смысл [*Сурво В., Сурво А.* 2011: 72].

Помимо исследований рабочего класса, этнографы Карелии были включены в ответственную работу ИЭ над созданием 18-томной фундаментальной серии «Народы мира», которая задумывалась как первое справочное издание, рассчитанное не только на специалистов, но и на широкие слои читателей. Перед авторами томов была поставлена задача, связанная с осуществлением советской национальной политики: при описании народов Европейской части СССР показать их развитие по линии всё более тесных и дружественных взаимных контактов, а также сближение культур братских народов, которое «идет одновременно и неразрывно с общим подъемом культурного уровня народов» [Народы 1964, I: 6]. В 1964 г. в рамках данной серии увидел свет второй том «Народы Европейской части СССР», в которой глава «Карелы» была написана Р. Ф. Тароевой, а глава «Вепсы» — В. В. Пименовым.

Завершив работу над темой о Верхнем Олонце, В. В. Пименов и Р. Ф. Тароева вернулись к подготовке своих монографий. В конце 1964 г. В. В. Пименов закончил работу над кандидатской диссертацией и оформил ее в виде монографии «Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры» [НА КарНЦ. Ф. 2. Оп. 35. № 1842: 51]. Рукопись не залежалась в письменном столе, уже на следующий год была опубликована в издательстве «Наука» [*Пименов* 1965]. Книга В. В. Пименова явилась первым фундаментальным, наиболее полным исследованием этнической истории вепсов с древнейших времен до XVIII в. на основе объединения данных смежных наук, а также генезиса их культуры. До ее появления существовало считанное количество работ, в основном статей, по вепсскому языку и совсем немного описательных — по этнографии вепсов. Издание этой монографии означало знаменательное событие не только для этнографии, но и для вепсского просвещения, способствующего укреплению этнической идентичности народа. В начале 1960-х гг., как вспоминал вепсский писатель А. В. Петухов, «вепсская тема была целиной» [*Петухов* 1995: 444]. К сожалению, такая ситуация сохранялась вплоть до периода перестройки, снявшей запрет на обсуждение проблем, связанных с малочисленными народами. Еще в начале 1980-х гг. только 2,6% сельских вепсов имели некоторое представление о происхождении и истории вепсов и еще 6,8% излагали ее на основе местных преданий [*Строгальщикова* 2016: 120].

По книге «Вепсы» 8 февраля 1966 г. в Москве в ИЭ В. В. Пименов успешно защитил кандидатскую диссертацию, а через 10 месяцев — здесь же был избран по конкурсу на замещение должности младшего научного сотрудника по специальности «этнография финно-угорских народов СССР» и пе-

реехал в родную Москву [НА КарНЦ. Ф. 2. Оп. 35. № 1842: 55–56]. Закончился период его жизни в Петрозаводске и почти на 15 лет этнографическое изучение вепсов в ИЯЛИ.

В 1965 г. через 10 лет после защиты кандидатской диссертации вышла в свет фундаментальная монография Р. Ф. Тароевой «Материальная культура карел (Карельская АССР)», редактором которой был В. В. Пименов. Как отмечали рецензенты: «Эта книга — первая сводная работа по материальной культуре карел — является существенным вкладом в довольно скудную этнографическую литературу по данному вопросу» [*Маслова, Санникова, Курсков* 1966: 176]. В книге, как и в диссертации, материальная культура показана как источник изучения карельских культурных связей.

В октябре 1967 г. Р. Ф. Тароева была назначена Ученым секретарем Президиума Карельского филиала АН СССР и проработала на этой должности 6 лет. По ее признанию, серьезно заниматься научной работой в эти годы у нее не было возможности. В 1972 г. она вернулась в ИЯЛИ и с 1977–1982 гг. возглавляла сектор фольклора и этнографии. Таким образом, в 1967 г. успешно работающая в ИЯЛИ этнографическая группа распалась. На освободившееся в 1966 г. место В. В. Пименова пришел Ю. Ю. Сурхаско (1929–2002), окончивший в 1964 г. целевую аспирантуру в ИЭ в Москве. Он оставался единственным этнографом в ИЯЛИ до 1970 г.

Таким образом, в середине 1950-х гг. в Карелии вновь появились профессиональные этнографы, положение которых со стороны властей было двойственным. На официальном уровне они были призваны работать в русле проводимой в республике политики коренизации, а по сути дела — общесоюзной русификации. Исследования проводились в условиях сохраняющегося идеологического диктата по выбору тем и единственно верной марксистско-ленинской методологии. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в 1950–1960-е гг. этнографами ИЯЛИ были подготовлены фундаментальные работы о карелах, вепсах и рабочих лесной промышленности Карелии, до сих пор не потерявшие научную ценность. В них формально с помощью нужных цитат отразились установки проводимой национальной политики СССР, которые не повлияли на достоверность представленных материалов. К сожалению, вышедшие книги по этнографии Карелии оказались доступными ученым, в какой-то мере, — работникам культуры и образования, но остались за пределами широкой аудитории из представителей коренных народов с их проблемами. Этот период времени обнаружил отрыв этнографических исследований от практики действительного решения национальных проблем. То же самое происходило и с другими гуманитарными науками. Например, вепсский и карельский языки «стали предметом чистой академической науки, превратившись в какой-то степени в музейный экспонат и элемент экзотики» [*Зайцева* 2002: 29].

Этнографические исследования в ИЯЛИ в 1970-е гг.

В 1970-е годы «размягчения советской идеологии и прогрессирующего дряхления советского государства», власти, сохраняя патерналистский тип отношений с гуманитарными науками, всё более дистанцировались от них и всё менее испытывали в них практическую потребность [*Соловей* 2003: 234]. Для советской этнографии последствия данного процесса имели положительные моменты: у ученых появилась возможность расширить исследовательскую проблематику, заниматься масштабными полевыми исследованиями и основательно развивать научную теорию, от которой переходить к практике. В конце 1960-х — 1970-е гг. в ИЭ под руководством Ю. В. Бромлея учеными разрабатывались проблемы теории этноса, типологии этнических общностей, определялись границы этнографии среди гуманитарных наук. Именно тогда в советском обществе распространились такие термины, как «этнография», «этнос», «этническая группа», «этническая общность», «этнические процессы» и др., ранее известные только в кругу ученых.

В ИЯЛИ этот период ознаменовался началом исследования семейной обрядности и верований карелов, проводимых Ю. Ю. Сурхаско, которые сначала переместились в выделившийся в 1967 г. из сектора истории сектор археологии, а затем в образованный в 1972 г. сектор фольклора и этнографии. Тема кандидатской диссертации Ю. Ю. Сурхаско была посвящена карельской свадебной обрядности. Задачи ее исследования, в конечном счете, были подчинены решению проблем этнической и этнокультурной истории карельского народа [*Сурхаско* 1977: 26]. В 1977 г. вышел капитальный труд Ю. Ю. Сурхаско «Карельская свадебная обрядность (конец XIX — начало XX в.)», на основе которого через год он защитил кандидатскую диссертацию. Эта работа получила высокую оценку в отечественном и зарубежном научном сообществе. Так, по мнению финляндской исследовательницы К. Хейккинен, книга «столь полно освещает карельский свадебный обряд, что к этому сложно что-либо добавить» [*Хейккинен* 2009: 19].

Книга отвечала и практическим задачам создания новых обрядов — «важного компонента советского образа жизни» [*Бромлей* 1981: 5], которые были поставлены в этот период перед этнографами. Пути создания нового свадебного ритуала у карел, который получил бы действительно общенародное признание, Ю. Ю. Сурхаско виделись следующими: «Во-первых, тщательное критическое изучение традиционной обрядности и, во-вторых, самое широкое использование ее бесчисленных богатств» с учетом локальных вариантов. В то же время, по мнению исследователя, нельзя не учитывать тот факт, что население Карелии в настоящее время является весьма многонациональным. «Поэтому при разработке нового ритуала свадьбы для карельского населения надо стремиться к его максимальной интернационализации» [*Сурхаско* 1977: 219]. Таким образом, новые обряды, необходимые для про-

ведения свадеб у карел, предлагалось создавать на основе переплетения интернациональных и национальных компонентов. Такие же рекомендации поступали и от исследователей других народов, что отвечало курсу проводимой национальной политики.

В этот период в секторе фольклора и этнографии ИЯЛИ появились новые этнографы. С 1971 г., пройдя аспирантскую подготовку в Москве под руководством Г. С. Масловой, в нем начинает работать А. П. Косменко, избравшая предметом своей научной деятельности народное изобразительное искусство. Первым результатом ее работы стала защита кандидатской диссертации, состоявшаяся в 1975 г. в Москве. Работа была посвящена народному изобразительному искусству карелов Карельской АССР, которое уже по сложившейся традиции рассматривалось в свете историко-культурных связей.

В 1972 г. в нашей стране торжественно праздновалось 50-летие образования СССР. В постановлении ЦК КПСС о подготовке к этому мероприятию отмечалось, что в ходе социалистических преобразований общественной жизни усилилось сближение наций и народностей нашей страны. «За годы строительства социализма и коммунизма в СССР возникла новая историческая общность людей — советский народ» [Современные этнические процессы 1975: 4]. В 1977 г. создание новой исторической общности «советского народа» было провозглашено в брежневской конституции. В то время в официальных документах, посвященных национальным проблемам, речь шла исключительно о союзных республиках. Руководство страны совершенно не интересовали явления, которые происходили в автономных республиках, национальных областях и округах. В Конституции СССР 1977 г. национальные меньшинства и национальные группы упомянуты не были. В принятой в 1978 г. Конституции КАССР ничего не говорилось о карелах, не был определен статус карельского языка [История Карелии 2001: 771]. Все эти явления вели к постепенному вызреванию кризиса в межнациональных отношениях.

В то же время в программных документах КПСС указывалось, что национальные отношения постоянно развиваются и выдвигают новые проблемы и задачи [Современные этнические процессы 1975: 4]. Данные установки не могли не оказать влияние на тематику научных работ ИЭ. Приоритетным направлением этого времени стали современные этнические процессы. Вполне закономерно поэтому, что в конце 1960-х –1970-е гг. в ИЭ начинает бурно развиваться этносоциология. В 1967 г. в сектор этносоциологии, руководимый Ю. В. Арутюняном, в целевую аспирантуру от КАССР был направлен Е. И. Клементьев (1938–1917), окончивший исторический факультет ПетрГУ. Он стал первым аспирантом этого сектора и в дальнейшем основал этносоциологическое направление в ИЯЛИ.

В 1972 г. Е. И. Клементьевым была защищена кандидатская диссертация по теме «Социальная структура и национальное самосознание (на материалах Карельской АССР)». В основу диссертации легли материалы впервые

проведенного в 1969 г. под его руководством массового этносоциологического опроса 1231 представителя карельской национальности в 53 сельских поселениях Карелии. Первоначально защита была назначена на 1971 г. [*Клементьев* 1971], но по неназванным диссертанту причинам была перенесена на год. В дальнейшем стало известно, что при проверке автореферата органами цензуры часть материалов была вычеркнута в связи с политизированностью некоторых выводов. Например, был полностью снят блок про демографию [*Литвин* 2020: 255].

В 1972 г., уже работая в ИЯЛИ, Е. И. Клементьев организовал еще одно масштабное этносоциологические исследование по теме «Социально-этнические процессы в Карелии (на примере карельского городского населения)», в результате которого было опрошено 1150 карелов в 4 городах (Петрозаводск, Олонец, Кондопога, Беломорск) и 4 поселках городского типа. Автором были получены важные данные, касающиеся сохранения и развития карельского языка. Так, на рубеже 1960-х — 1970-х гг. степень знания национального языка на селе оставалась достаточно высокой: 94,0% сельского работающего населения свободно говорили на карельском языке, 3,9% понимали и могли объясниться [*Клементьев* 2013: 18]. В отличие от села, в городе распространение двуязычия и языковой ассимиляции среди карел приняло значительные масштабы. В то же время 13,5% представителей карельской национальности — горожан, которые свободнее владели русским языком, чем карельским, указали, что предпочли бы совершенствовать знание карельского языка [*Клементьев* 2013: 30]. Таким образом, языковая ситуация среди карел указывала на острую необходимость введения в республике карельской письменности и преподавания карельского языка, мероприятий по укреплению их идентичности, но полученные данные остались без внимания карельских властей. В начале 1970-х гг. в СССР происходил окончательный переход к консервативной политике, предусматривающий отказ от серьезных реформ во всех сферах жизни советского общества, в том числе и в национальной сфере.

В 1979 г. под руководством Е. И. Клементьева было проведено крупное этносоциологическое исследование образа жизни белорусов, русских и карелов, проживающих в 27 сельских населенных пунктах КАССР и имеющих разную длительность и опыт этнокультурных контактов. Опросами было охвачено 1504 человека. При исследовании значительное внимание уделялось фиксации современных и традиционных черт в культурно-языковой практике, языковой и этнической идентификации, межэтническим отношениям [*Клементьев* 2015: 45–46]. По воспоминаниям Е. И. Клементьева, для полноценного и всестороннего представления результатов этого этносоциологического исследования существовали политические препятствия. В этой связи акцент был сделан на исторические аспекты социальных явлений. В таком ракурсе в соавторстве с А. А. Кожановым была написана первая из двух книг «Сельская среда и население. 1945–

1960 гг. Историко-социологические очерки», опубликованная в 1988 г. Вторая часть исследования увидела свет в 2000 г. [*Литвин* 2020: 257].

Одной из прикладных областей, в которую этносоциологи привлекались государством, были переписи населения. С появлением Е. И. Клементьева в ИЯЛИ началось участие этносоциологов в проведении переписей населения Карелии. Е. И. Клементьев занимался разработкой программ переписей населения 1979 и 1989 гг., организовывал их проведение на территории Республики Карелия, инструктировал анкетеров перед опросами.

Во всех этносоциологических исследованиях помощником Е. И. Клементьева был А. А. Кожанов, который после окончания исторического факультета ПетрГУ в 1973 г. также обучался в целевой аспирантуре по специальности «этносоциология» у Ю. В. Арутюняна. В 1976 г. А. А. Кожанов поступил на работу в сектор фольклора и этнографии ИЯЛИ. Диссертация А. А. Кожанова, защищенная в 1978 г., была посвящена изучению проблем этнической идентификации (на примере вепсов и карелов). Источниковедческую базу диссертации составили опросы 364 человек в Ведлозере, Пряже, Спасской Губе и Шелтозере в 1974–1975-х гг. Как отмечал А. А. Кожанов, исследование национального самосознания имеет практическое значение. Оно является частью всестороннего исследования национальных процессов и «обусловлено задачами социального прогнозирования, разработки научно аргументированных рекомендаций...» [*Кожанов* 1978: 1]. Однако, как указывалось выше, в те годы руководство Карелии практически не обращалось за рекомендациями ученых по национальному вопросу. А. А. Кожановым были получены важные данные о фиксации национальной принадлежности опрашиваемых в паспортах. Ответ 16 из 35 респондентов «так записали» [*Кожанов* 1978: 197] в тот период относительного спокойствия по национальному вопросу не вызывал необходимости дополнительного тщательного исследования, а в период перестройки вскрыл курс государства на ускоренную ассимиляцию малочисленных народов.

Одновременно с А. А. Кожановым на работу в сектор фольклора и этнографии пришла З. И. Строгальщикова — представительница первого выпуска кафедры этнографии и антропологии в ЛГУ, окончившая обучение в аспирантуре в Москве у В. В. Пименова. Уже обучаясь в ЛГУ, З. И. Строгальщикова занималась этнографией своего народа — вепсами. Ее кандидатская диссертация «Жилище вепсов (1900–1960 гг.). Опыт сравнительно-статистического анализа» [*Етоева* 1978] основывалась на общепринятой традиции выявлять этническую специфику жилища путем изучения его конструктивных особенностей в сравнении с постройками соседних народов, но отличалась новыми методическими приемами, которые в то время активно разрабатывались В. В. Пименовым: системно-структурный подход к предмету изучения и статистические методы исследования его компонентов. Статистико-этнологическое направление В. В. Пименова формировалось

частью во взаимодействии, а частью параллельно с этносоциологией [*Комарова* 2015: 58]. З. И. Строгальщикова в дальнейшем присоединилась к группе этносоциологов, изучающих современные этнические процессы. С ее приходом возобновились прерванные в 1965 г. исследования вепсов.

Итак, в 1970-е годы с появлением новых профессиональных кадров в ИЯЛИ были возобновлены этнографические исследования. Они отличались применением новой методики, активным освоением новой тематики, разделенной на два направления — исследование проблем исторической этнографии и этносоциологии, изучающей современность. Взаимоотношения этнографической науки Карелии и власти оставались такими же, как в 1950-е гг. Важные результаты исследований этнографов и этносоциологов Карелии, сигнализирующие о неблагополучии коренных народов, оставались невостребованными в республике. Власти Карелии, как и по всей стране, предпочитали оставлять в тени вскрытые этнографами национальные проблемы и делали вид, что «национальный вопрос решен полностью и окончательно».

Этнографические исследования в ИЯЛИ в 1980-е гг.

1980-е гг. стали наиболее благоприятным периодом для развития этнографической науки в Карелии. 1 ноября 1983 г. в ИЯЛИ был образован самостоятельный сектор этносоциологии и этнографии, в 1990 г. переименованный в сектор этнологии. Новое структурное подразделение пополнилось в этот период профессиональными кадрами, закончившими кафедру этнографии ЛГУ и аспирантуру в Москве или Ленинграде. В составе группы этносоциологов стал работать В. Н. Бирин, темой исследования которого стали брак и семья сельского населения КАССР на основе массовых источников. А. П. Конкка влился в группу исследователей по этнографии карелов. И. Ю. Винокурова стала изучать традиционную культуру вепсов. Еще одним профессиональным этнографом, появившимся в секторе в эти годы, был К. К. Логинов, с приходом которого началось систематическое изучение этнической истории и традиционной культуры русских Карелии. Частью этой культуры был фольклор, который стал объектом исследования В. П. Кузнецовой, перешедшей из сектора фольклора после защиты кандидатской диссертации, посвященной русским свадебным причитаниям.

Во второй половине 1980-х гг. начались кардинальные перемены в политической и экономической жизни народов СССР, связанные с осуществлением политики перестройки, включающей переход к гласности. Эти перемены способствовали резкой актуализации этничности и превращению ее в мощный политический ресурс [*Тишков, Шабаев*: 2011]. Они не могли не воздействовать и на деятельность ученых, занимающихся национальными проблемами, в том числе и в Карелии. Этнографы Карелии ощутили возросшую практическую значимость своих научных исследований, включились

в общественные дискуссии, образовательную, просветительскую и экспертную деятельность.

Во второй половине 1980-х гг. началась этническая мобилизация вепсов, одним из лидеров которого стала З. И. Строгальщикова, возглавившая на многие годы образованное в июле 1989 г. «Общество вепсской культуры». В 1981 и 1983 гг. под руководством З. И. Строгальщиковой было осуществлено двухэтапное массовое статистико-этнографическое исследование вепсского сельского населения с целью выявления современной этнокультурной ситуации. В ходе изучения похозяйственных книг 82 вепсских поселений, опросов работников сельсоветов и заполнения 780 вопросников численность вепсов оказалась на 4,5 тыс. чел. больше, чем по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. Выяснилось, что при проведении переписей 1970 и 1979 гг. допускались грубейшие нарушения, инициированные вышестоящими органами власти, направленные на ускоренную ассимиляцию: вепсы Ленинградской и Вологодской областей объявлялись несуществующими как народ и принудительно записывались русскими. Внедряемые на государственном уровне представления о «непрестижности» вепсской национальности, насильственная запись вепсов русскими, рассечение вепсской территории областными и районными границами, ликвидация «неперспективных» деревень нанесли серьезный удар национальному самосознанию вепсов, ускорили их языковую и этническую ассимиляцию [*Строгальщикова* 2016: 120–138]. Возникла парадоксальная ситуация, когда народ, имеющий богатую историю и внесший огромный вклад в культуру Европейского Севера, лишился своей национальной гордости, стал стесняться своей национальной принадлежности, намеренно отказываться от знания своего родного языка, воспринимаемого как ненужный.

В июне 1987 г. в с. Озера Ленинградской обл. был проведен первый вепсский праздник «Древо жизни» и состоялась научно-практическая конференция «Проблемы сохранения языка и культуры вепсов», а в октябре 1988 г. в г. Петрозаводске — совещание «Вепсы: проблемы развития экономики и культуры в условиях перестройки», на которых был заслушан доклад З. И. Строгальщиковой о результатах массового обследования вепсов (1981, 1983). Доклад оказал сильнейшее воздействие на слушателей. Присутствующие на этих мероприятиях активные представители вепсского народа, ученые, писатели, журналисты впервые открыто заговорили о трагической судьбе исчезающего на наших глазах этноса, о сохранении его языка и культуры, стремительной утрате этнической идентичности. К вепсам было приковано пристальное внимание общественности СССР и зарубежных стран. Существование этого народа для многих стало открытием, можно сказать, вторым открытием после А. М. Шегрена в 1824 г.

Совещание 1988 г. рекомендовало Совету Министров КАССР, Ленинградскому и Вологодскому облисполкомам рассмотреть возможность

создания в районах проживания вепсов национальных вепсских районов в качестве переходного этапа к созданию Вепсского автономного округа. Среди неотложных мер назывались возрождение хозяйственной деятельности в обезлюдевших и умирающих деревнях силами местного коренного и привлеченного вепсского населения на основе арендного, индивидуального и семейного подрядов; дорожное строительство; разработка и обоснование перечня льгот для вепсов или распространение на них льгот, предусмотренных для народностей Севера; разработка долгосрочной концепции экономического и социального развития в районах проживания вепсов. Культурное возрождение народа включало воссоздание письменности, подготовку учебников, введение изучения вепсского языка в детских дошкольных учреждениях и школах, введение в школьную программу курса «Народоведения» [История Карелии 2001: 773].

Вслед за вепсами в центре общественного внимания в Карелии оказались карелы. Проведение советской политики «сближения всех наций и народностей СССР» привело к тому, что титульные карелы, дав имя названию республики, оказались под реальной угрозой исчезновения в ходе естественной ассимиляции. По данным переписи населения 1989 г., карелы составляли всего 10% населения республики. Считали родным или могли свободно говорить на карельском языке 63,5% карел. Получив в 1920 г. свою государственность, карелы так и оставались народом, не имеющим своей письменности, а КАССР — единственной республикой, где язык титульного народа не являлся государственным.

Во второй половине 1980-х гг. в республиканских средствах массовой информации разгорелась дискуссия «Быть ли в Карелии карельскому языку?», толчком к которой стало заявление известного карельского писателя Я. Ругоева, выступившего за сохранение и развитие карельской культуры, но против создания карельской письменности, которую, по его мнению, может заменить финский литературный язык. Среди многочисленных противников этой позиции были и этнографы (Е. И. Клементьев, К. К. Логинов, З. И. Строгальщикова), высказавшие свое мнение в прессе [Карелы 2005: 44–46, 75, 77–80]. На страницах газеты «Комсомолец» (1988, 3 ноября) Е. И. Клементьев впервые получил возможность обнародовать результаты массового обследования карельского сельского населения 1979 г. В числе проблем, представляющих угрозу для карельского народа, он назвал и ничем не оправданную ликвидацию так называемых «неперспективных» деревень и поселков [Карелы 2005: 45].

Для решения карельских проблем ученые-карелы ИЯЛИ, включая Е. И. Клементьева, инициировали проведение в мае 1989 г. научно-практической конференции «Карелы: этнос, язык, культура, экономика. Проблемы развития в условиях совершенствования межнациональных отношений». Участники конференции приняли комплекс рекомендаций, ко-

торые касались осуществления системы неотложных мер по возрождению и развитию карельского народа, использованию их языка в государственно-правовой сфере, социально-экономической области, культуре и науке. Ставилась задача безотлагательного воссоздания карельской письменности, организации обучения детей родному языку, подготовки учебных пособий, открытия кафедры родных языков в Карельском государственном педагогическом институте и ПетрГУ и т. д. [*Клементьев* 2015: 58]. В 1990 г. на филологическом факультете ПетрГУ была открыта кафедра карельского и вепсского языков. Студентам этой кафедры преподавались не только родные языки, но и читался курс лекций по этнографии вепсов и карел. В качестве преподавателей этого курса были приглашены Ю. Ю. Сурхаско и И. Ю. Винокурова.

В период этнической мобилизации в обществе усилился интерес к публикациям по этнографии, касающимся национальных традиций народов, которые по сравнению с советским временем оказались невероятно востребованными в научной и практической жизни [*Чешко* 2005: 10]. Ярким событием в Карелии и за ее пределами стала научно-популярная книга Р. Ф. Никольской «Карельская кухня», первый выпуск которой увидел свет в 1986 г. [*Никольская* 1986]. Эта книга — одна из лучших по народной кулинарии — выдержала четыре издания и переведена на финский и шведский языки. Важное прикладное значение приобрели научно-популярные и научные книги А. П. Косменко, посвященные народному изобразительному искусству карел, вепсов и русских Карелии [*Косменко* 1977, 1984; Северные узоры 1989]. Орнамент — важный элемент представления этничности. Поэтому работы А. П. Косменко стали широко использоваться при создании национальной символики, эмблематики, одежды для демонстрации «этнического лица» народов в различных презентациях, оформлении любой книги по народной культуре Карелии.

Этнографы ИЯЛИ (Бирин В. В., Винокурова И. Ю., Строгальщикова З. И., Сурхаско Ю. Ю.) приняли участие в подготовке сборника «Проблемы истории и культуры вепсов», изданном в 1989 г. двумя тиражами [Проблемы 1989]. Этот сборник, как отмечает З. И. Строгальщикова, «сыграл особую роль в информировании вепсов об историческом прошлом народа, его культуре, современном состоянии. Более тысячи экземпляров сборника было разослано в библиотеки и школы вепсского региона и по личным обращениям жителей из разных регионов страны» [*Строгальщикова* 2016: 125]. На основе статей сборника в 1989 г. вышли два специальных номера финноязычного журнала «Punalippu» [1989, № 2, 3], благодаря чему основные проблемы вепсского народа стали известны за рубежом.

Во второй половине 1980-х гг. К. К. Логинов и И. Ю. Винокурова защитили кандидатские диссертации [*Логинов* 1986, *Винокурова* 1988]. Написанные в годы перестройки они отразили ослабление идеологическо-

го диктата. При указании методологии исследования диссертантам удавалось обходиться без длинных цитат классиков марксизма-ленинизма. В диссертациях появилась новая обязательная рубрика о практической значимости результатов исследования, которая свидетельствовала о повышении роли этнографии в решении прикладных вопросов, связанных с национальной сферой. Диссертация К. К. Логинова была посвящена исследованию в этногенетическом аспекте материальной культуры *этнолокальной группы русских Заонежья*. На практике результаты исследований применялись автором при чтении лекций в Петрозаводском государственном университете, на предприятиях г. Петрозаводска и непосредственно в Заонежье, на занятиях и семинарах с работниками музея-заповедника «Кижи» и других музеев Карелии, во время консультаций художникам-оформителям и модельерам [*Логинов* 1986: 3].

Диссертация И. Ю. Винокуровой: «Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX — начало XX в.)» сразу же стала использоваться работниками культуры при подготовке ежегодных вепсских фольклорных праздников. Работа содержала также рекомендации автора по использованию традиционных праздничных компонентов при организации новых праздников. Среди таких компонентов, например, называлась гостьба не только между вепсами близлежащих сел и деревень, но и между жителями северных, средневепсских и южновепсских поселений, которая позволяла бы на время праздника объединить вепсскую территорию, разделенную административными границами, помогала бы вепсам разных мест, особенно молодежи, знакомиться друг с другом, крепила бы их национальное единство и самосознание. В 1991 г. эта идея была успешно воплощена при организации фольклорного праздника «Кезакескуст» в Гимреке (режиссер Алексей Стрельников). Как показала дальнейшая практика, вепсские фольклорные праздники оказались важным средством национального воспитания и сплочения народа.

Начавшееся в 1990-х гг. тяжелое социально-экономическое положение в стране и науке, открытие границ, привлечение этнологов на работу в государственные учреждения повлияли на состояние этнологической науки в Карелии. Профессионально окрепший и численно выросший до 13 человек сектор этнологии сократился наполовину. В 1990 г. А. П. Конкка эмигрировал в Финляндию и возвратился обратно только через 15 лет. А. С. Кожанов в 1988 г. перешел на работу в ПетрГУ. З. И. Строгальщикова с 1991 по 1999 г. являлась депутатом Верховного Совета Республики Карелии (РК), а затем депутатом Законодательного собрания РК, где возглавляла комиссию по национальным вопросам. В. Н. Бирин с 1993 г. стал работать в Государственном комитете по национальной политике и межнациональным отношениям РК. С 1990-х гг. государственный заказ на разработки этнологов стал неотъемлемой частью работы сектора.

* * *

Как показало исследование, основными факторами, влияющими на состояние этнографических исследований в ИЯЛИ в советский период, являлись социально-политическая, экономическая и идеологическая обстановка в стране, доминирующие ориентации в центральных этнологических учреждениях России, особенности национальных отношений в Карельском регионе.

Профессиональное желание этнографов приносить пользу изучаемым народам, служить их культурному развитию не всегда совпадало с политикой государства. На протяжении советского периода роль этнографов в реализации национальной политики в республике Карелия неоднократно менялась. Власти вынуждены были обращаться к их помощи, когда ситуация в стране сигнализировала, что национализм существует и требует внимания. Наиболее благоприятными и относительно автономными в практической деятельности этнографов, работающих в Карелии, были два периода:

1) 1920-е годы — период так называемой культурной революции по возрождению языков и культур народов окраин и 2) вторая половина 1980-х годов — период этнической мобилизации вепсов и карел.

В 1920-х гг. ленинградские и карельские этнографы принимали активное участие в проводимой в АКССР политике коренизации. В этот период «практика как бы подгоняла теорию, активизировала работу ученых» [Зайцева 2002: 29].

В период проведения политики руссоцентризма и латентной русификации (начало 1950-х — вторая половина 1980-х гг.), связанной с игнорированием этнической дифференции общества, государство старалось дистанцироваться от этнографии, часто поставляющей неугодные результаты, но при этом оставляло за собой диктат на табуированные народы, темы и марксистско-ленинскую идеологию. Такая ситуация позволяла этнографам, в том числе и Карелии, серьезно углубляться в науку: проводить интенсивные полевые сборы материалов и их анализ с помощью разработки новых методов и подходов к исследованию. Этот период оказался богат на фундаментальные монографии, посвященные этногенезу и традиционной культуре карелов и вепсов, масштабные исследования современных этнических процессов в Карелии.

С началом перестройки во второй половине 1980-х гг. созданные ранее научные труды этнографов оказались невероятно востребованными. Они стали активно использоваться в образовательной и просветительской деятельности, в реализации этнопроектов, направленных на сохранение и развитие культуры коренных народов Карелии.

Источники и литература

Научный архив Карельского научного центра (НА КарНЦ):

НА КарНЦ. Р. VI. Оп. 1. Д. 97. 6 л. — Карельская этнологическая экспедиция (отчет за 1929 г.).

НА КарНЦ. Р. VI. Оп. 1. Д. 99. 8 л. — Золотарев Д. А. Отчет Карельской экспедиции. 1930 г.

НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. Д. 75. 73 л. — Обзор этнографических, фольклорных и лингвистических работ, проведенных в Ленинградской области и АКССР. 1917–1933 гг.

НА КарНЦ. Р. XI. Оп. 2. Д. 76. 8 л. — Капица Л. Л. Этнографический отдел Карельского музея. Путеводитель. 1927 г.

НА КарНЦ. Ф. 2. Оп. 35. № 1842. 64 л. — Личное дело В. В. Пименова.

Афанасьева А. И. Культурные преобразования в Советской Карелии, 1928–1940. Петрозаводск: Карелия, 1989. 279 с.

Байбурин А. К. Несколько замечаний к теме «Фольклор и этнография» (вместо предисловия) // Фольклор и этнография: К девяностолетию со дня рождения К. В. Чистова: Сборник научных статей / отв. ред. А. К. Байбурин, Т. Б. Щепанская. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 3–7.

Бромлей Ю. В. Новая обрядность — важный компонент советского образа жизни // Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. М.: Наука, 1981. С. 5–28.

Будина О. Р., Шмелева М. Н. Этнографическое изучение города в СССР // Советская этнография, 1977, № 6. *С.* 21–31.

Бутвило А. И. Карельская Трудовая Коммуна. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011.

Быковский С. Об очередных задачах изучения карел (по поводу книги Д. А. Золотарева «Карелы СССР») // Карело-Мурманский край. 1930, № 6. С. 10–12.

Верхний Олонец — поселок лесорубов. Опыт этнографического исследования. [Авт.: В. В. Пименов, Р. Ф. Тароева, З. Н. Кельсеева и др.] М.-Л.: Наука. 1964. 195 с.

Винокурова И. Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX — начало XX в.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ленинград, 1988. 24 с.

Головнев И. А. Карельские киноэкспедиции Леонида Капицы 1927–1928 гг. // Вестник угроведения. 2021. Т. 11, № 2. С. 378–387.

Етоева З. И. Жилище вепсов (1900–1960 гг.). Опыт сравнительно-статист. анализа.: Автореф. дис. на соиск. учен. степени к. и. н. М., 1978. 22 с.

Зайцева Н. Г. Исследование прибалтийско-финских языков Карелии: теория и практика // Бубриховские чтения: Проблемы прибалтийско-финской филологии и культуры: Сб. науч. ст. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. С. 26–33.

Золотарев Д. А. Поездка в Карелию // Вестник Мурмана. 1924, № 12. С. 1–3. № 13. С. 2–4.
Золотарев Д. А. Этнографические наблюдения в деревне РСФСР (1919–1925 гг.) // Материалы по этнографии (Этногр. отд. Рус. музея). 1926. Т. 3. Вып. 1. С. 143–158.
Золотарев Д. А. В северо-западной Карелии // Западнофинский сборник. Л.: Издательство АН СССР, 1930. С. 1–21.
Золотарев Д. А. Карелы СССР. По антропологическим данным. Л.: Издательство АН СССР, 1930. 124 с.
Иванов-Дятлов Ф. Г. Эндемический зоб в Олонецком уезде // Карело-Мурманский край. 1928, № 1. С. 29–32.
История Карелии с древнейших времен до наших дней / Науч. ред. Н. А. Кораблёв, В. Г. Макуров, Ю. А. Савватеев, М. И. Шумилов. Петрозаводск: Периодика, 2001.
Карелы: модели языковой мобилизации. Сборник материалов и документов / Составители В. Н. Бирин, Е. И. Клементьев, А. А. Кожанов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2005. 280 с.
Каспарьян Ж. Э. Экспедиционные врачи и их роль в изучении и освоении Кольского Севера // Труды Кольского научного центра. 2013, № 6 (19). С. 137–151.
Килин Ю. М. Карелия в политике советского государства: 1920–1941. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. 275 с.
Клементьев Е. И. Социальная структура и национальное самосознание: (на материалах Карельской АССР) Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Москва, 1971.
Клементьев Е. И. Языковые процессы в Карелии на примере карелов, вепсов, финнов: сборник статей. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. 193 с.
Клементьев Е. И. Этносоциология в Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 208 с.
Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии. 1945–1960. Ист.-социол. очерки. Л.: Наука, 1988. 212 с.
Кожанов А. А. Методика исследования национального самосознания (опыт разработки по материалам Карельской АССР): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. 1978. 24 с.
Кожанов А. А. Элементы этнической идентификации и признаки этнической общности в оценках карел и вепсов (по материалам экспериментального исследования) // Этнография Карелии. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1976. С. 100–205.
Комарова Г. А. В. В. Пименов и статистико-этнографические исследования в отечественной этнографии // Больше чем этнограф. Сб. науч. ст., посвященный памяти профессора Владимира Владимировича Пименова /

отв. ред.-сост. В. В. Карлов, Т. С. Гузенкова. М.: Издательство Московского университета. 2015. С. 47–62.
Кораблев Н. А., Макуров В. Г. Гюллинг Э. А. // Карелия. Энциклопедия. Т. 1. Петрозаводск: Петропресс, 2007. С. 31–32.
Королькова Л. В. Фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея. СПб: Инкери, 2015. 236 с.
Косменко А. П. Карельское народное искусство. Петрозаводск: Карелия. 1977. 98 с.
Косменко А. П. Народное изобразительное искусство вепсов. Л.: Наука, 1984. 220 с.
Крупянская В. Ю. Проблемы изучения современной культуры и быта рабочих СССР // Советская этнография. 1963. № 4. С. 28–34.
Культурное наследие вепсов: по материалам этнографических экспедиций В. В. Пименова / Сост.: Т. С. Гузенкова, З. И. Строгальщикова. Петрозаводск: Периодика, 2022 (в печати).
Культурное строительство в Советской Карелии. 1926–1941: Народное образование и просвещение. Документы и материалы. Петрозаводск: Карелия, 1986. 176 с.
Кутьков Н. П. АКССР // Карелия. Энциклопедия. Т. 1. Петрозаводск: Петропресс, 2007. С. 120.
Литвин Ю. В. Евгений Иванович Клементьев и становление этносоциологии в Карелии // Альманах североевропейских и балтийских исследований. 2020. № 5. С. 251–262.
Логинов К. К. Материальная культура заонежан (середина XIX — начало XX в.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1986. 18 с.
Лойко Л. М., Фишман О. М. Г. А. Никитин — ученый и собиратель // Материалы по этнографии. Том II. Народы Прибалтики, Северо-Запада, Среднего Поволжья и Приуралья. СПб: «Деловая Полиграфия», 2004. С. 46–60.
Макарьев С. А. Береста в вепсском быту // Финно-угроведение. 1931, № 1. С. 29–42.
Макарьев С. А. Наука — на службу социалистическому строительству // Советская Карелия. 1931б, № 8–10. С. 23–35.
Макарьев С. А. По Советской Карелии. (Краткий справочник для экскурсанта и туриста по Карелии). Ленинград — Петрозаводск: Кирья, 1931. 117 с.
Макарьев С. А. Вепсы: Этнографический очерк. Ленинград: Кирья, 1932. 40 с.
Макарьев С. А. Научно-исследовательская работа в Карелии // Карело-Мурманский край. 1935. № 5–6. С. 58–60.
Маслова Г., Санникова А., Курсков Г. О книге Р. Ф. Тароевой «Материальная культура карел» // Советская этнография, 1966, № 4. С. 176–179.
Минеева З. И. Он вепс, а она — ? // Русская речь. 2008, № 1. С. 51–56.

Народы Европейской части СССР. Под общ. ред. чл.-кор. АН СССР С. П. Толстова. Ред. В. А. Александров и др. Москва: Наука, 1964. Т. I, II.

Никитин Г. А. Жертвоприношения в Карелии // Материалы по этнографии. Том II. Народы Прибалтики, Северо-Запада, Среднего Поволжья и Приуралья. СПб: «Деловая Полиграфия», 2004. С. 335–347.

Никольская Р. Ф. Карельская кухня. Петрозаводск: Карелия, 1986. 194 с.

Нитобург Э. А. Ю. П. Петрова-Аверкиева — ученый и человек // Репрессированные этнографы. Вып. 2. М.: Наука, 2003. С. 399–428.

Нуортева А. Ф. Проблема карельского языка в национальной политике АКССР // Карело-Мурманский край. 1927, № 2. С. 1–3.

Пальвадре М. Ю. Экспедиция в Северо-Западную Карелию // Советская этнография. 1931, № 3–4. С. 207–209.

Петухов В. П. Вепсы // Прибалтийско-финские народы. История и судьбы родственных народов / сост. М. Йокипии, Ювяскюля: Атена. 1995. С. 433–454.

Пименов В. В. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. М. – Л.: Наука, 1965. 264 с.

Празднование 10-летнего юбилея журнала «Карело-Мурманский край» 2 января 1933 г. // Карело-Мурманский край, 1933, № 1. С. 21–25.

Проблемы истории и культуры вепсской народности: [Сб. ст.] / Науч. ред.: В. В. Пименов (отв. ред.) и др.]. Петрозаводск: КФАН СССР, 1989. 171 с.

Решетов А. М. Репрессированная ленинградская антропология: К постановке вопроса // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез. СПб.: МАЭ РАН, 2004. С. 201–219.

Савватеев Ю. А. Степан Андреевич Макарьев: жизнь и деятельность (к 100-летию со дня рождения) // Вепсы: история, культура, межэтнические контакты / науч. ред. И. Ю. Винокурова. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1999. С. 10–41.

Северные узоры — Северные узоры. Народная вышивка Карелии / А. П. Косменко, Л. Н. Белоголова, Т. А. Мошина. Петрозаводск: Карелия, 1989. 238 с.

Сенькина Т. И. Забытые и неизвестные страницы истории фольклористики Карелии. Очерки и материалы. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. 218 с.

Сетевой — Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII–XX вв. СПб., 2012. Доступ: https://bioslovhist.spbu.ru/person/1823-bykovskiy-sergey-nikolayevich.html?ysclid=l6y2rk9lu7314240400 [Дата обращения: 15.08.2022].

Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // Этнографическое обозрение. 1993, № 2. С. 113–125.

Смирнова Т. М. Национальность — питерские. Национальные меньшинства Петербурга и Ленинградской обл. в XX веке. СПб: Сударыня. 2002. 584 с.

Современные этнические процессы в СССР / [Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, Т. В. Жданко и др.]; [Ред. коллегия: Ю. В. Бромлей (отв. ред.) и др.]. М.: Наука, 1975. 543 с.

Соловей Т. Д. Отечественная этнология: от «золотого века» в 1920-е годы к кризису 1990-х годов // Академик Ю. В. Бромлей и отечественная этнология: 1960–1990-е гг. / отв. ред. С. Я. Козлов. Москва: Наука, 2003. С. 229–241.

Соловей Т. Д. От «буржуазной» этнологии к «марксистской» этнографии: стратегии продвижения марксистской ортодоксии в раннесоветский период // Исторические исследования. Журнал Исторического факультета МГУ. 2018, № 11. С. 160–178.

Строгальщикова З. И. Вепсы в этнокультурном пространстве Европейского Севера. Петрозаводск: Periodika, 2016. 198 с.

Сурво В., Сурво А. Верхний Олонец — новые традиции // Фольклор и этнография: К девяностолетию со дня рождения К. В. Чистова: Сборник научных статей / отв. ред. А. К. Байбурин, Т. Б. Щепанская. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 68–75.

Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность (конец XIX — начало XX в.). Л.: Наука, 1977. 237 с.

Тароева Р. Ф. Материальная культура северных карел во второй половине XIX в. и первой половине XX в. (по материалам района Калевалы КФССР). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1954. 16 с.

Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). М.-Л.: Наука, 1965. 225 с.

Тишков В. А. Три карты. Теория и общие подходы к проблеме «культура и пространство» // Культура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест / под редакцией В. К. Мальковой и академика В. А. Тишкова. М.: Южный научный центр, Ростов-на-Дону. 2012. С. 7–26.

Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов. М.: Издательство Московского университета, 2011. 376 с.

Филимончик С. Н. Роль научно-исследовательских институтов Карелии в развитии гуманитарных наук в 1930-е гг. // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. Серия. Гуманитарные исследования. Вып. 1. 2010, № 4. С. 103–114.

Филимончик С. Н. Сельскохозяйственная коммуна «Сяде» — «лучшая жемчужина» кооперации в Карелии 1920–1930-х годов // Сельская Россия: прошлое и настоящее: материалы XII Всероссийской научно-

практической конференции (Москва, 23–24 августа 2010 г.). М.: Энциклопедия российских деревень. 2010. С. 178–181.
Финно-угорский мир в фотографиях и документах: наследие Л. Л. Капицы / Авт.-сост. Н. И. Ивановская, А. А. Чувьюров. СПб.: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2017. 124 с.
Хейккинен К. Йоуко Сурхаско — исследователь карельской семьи // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Сборник памяти Юго Юльевича Сурхаско / Ред. А. П. Конкка. Петрозаводск, 2009. С. 19–31.
Чешко С. В. От советской этнографии к российской этнологии // Этнографическое обозрение. 2005, № 2. С. 8–10.
Чистов К. В. Из истории советской этнографии 30–80-х гг. XX века. К 50-летию Института этнографии АН СССР // Советская этнография. 1983, № 3. С. 3–18.
Шангина И. И. Д. А. Золотарев (к 100-летию со дня рождения) // Советская этнография. 1985, № 6. С. 76–84.
Шангина И. И. Концепция комплектования собраний этнографических музеев (30–50-е годы XX в.) // Из истории формирования этнографических коллекций в музеях России (XIX–XX вв.). Санкт-Петербург: Государственный музей этнографии. 1992. С. 133–144.
Шафранская К. В. Фольклорно-этнографические исследования в Карелии в первые десятилетия Советской власти (1917–1937 гг.) // Рябининские чтения — 2007 / отв. ред. Т. Г. Иванова. Петрозаводск. 2007. С. 400–402.
Шнирельман В. А. Академическая жизнь и академическое выживание: ученые на волнах сталинских репрессий // За синей птицей (антропология академической жизни). Памяти Г. А. Комаровой. М., 2022. С. 50–97.
Шумилов М. И. Карельская Трудовая Коммуна // Карелия. Энциклопедия. Т. 2. Петрозаводск: Петропресс, 2007. С. 31–32.
Щербак А. Н., Болячевец Л. С., Платонова Е. С. История советской национальной политики: колебания маятника? // Политическая наука. 2016. № 1. С. 100–122.
Юхнева Н. В. «Верхний Олонец — поселок лесорубов». Опыт этнографического описания // Советская этнография. 1966. № 5. С. 175–176.

Глава 11. НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ И КАЗАНСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Казанская этнография в 1920–1930 гг.: вузовские и академические сообщества

После Революции 1917 г. и утверждения советской власти в 1920-х гг., казанские этнографы продолжили свою планомерную работу, но произошла смена приоритетных направлений исследований. Центром подготовки этнографических кадров и концентрацией этнографических исследований, как и в дореволюционное время, продолжала оставаться кафедра географии и этнографии Казанского университета (в архивных документах 1922–1925 гг. встречается название кафедра географии, этнографии и антропологии). В период 1911–1922 гг. кафедру возглавлял российский географ, этнограф, антрополог, музеевед, общественный деятель Бруно Фридрихович (Федорович) Адлер (26.10.1874–18.03.1942). В 1919–1923 гг. кроме должности профессора, которую занимал Б. Ф. Адлер, на кафедре было четыре ставки преподавателей/ассистентов: по антропологии Б. Н. Вишневский, по географии — Н. И. Масленников, С. М. Присадский, которого в 1921 г. заменил Н. И. Воробьев, и Е. Э. Адольф [Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 38. Л. 4]. Следует отметить, что работу в Казанском университете преподаватели совмещали с работой в других вузах Казани, общественных и государственных организациях. Так, Б. Ф. Адлер был деканом Этнографического отделения, открытого при его непосредственном участии Северо-Восточного археологического и этнографического института (СВАИЭИ) (1917–1921 гг., с 1920 — Восточная академия, которая в 1922 г. вошла в состав Восточного педагогического института). По совместительству он был назначен также директором Казанского городского музея (1919 г.); председателем казанского отдела Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников старины и искусства (1919 г.); курировал издание первого в России профессионального журнала — «Казанского музейного вестника». Точно также работали и другие сотрудники кафедры: Б. Н. Вишневский помимо работы в Казанском университете читал курс «Антропология Камско-Волжского края» в СВАИЭИ, курсы в Казанском педагогическом институте (1919 г.) и был заведующим Научным отделом Народного комиссариата просвещения ТССР (Татнаркомпроса). Н. И. Воробьев в 1920-х гг. был научным сотрудником СВАИЭИ, читал курсы в Восточном педагогическом институте (1922 г.), являлся заведующим этнографическим и естественно-историческим отделами Государственного музея Татарстана (1921 г.), а после отъезда Б. Ф. Адлера заменил его на посту директора музея (1922 г.) [Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 89. Л. 59–61]. Е. А. Адольф

в свою очередь заменил Н. И. Воробьева в 1922 г. на должности заведующего этнографическим отделом [ОРРК НБ Лобачевского. Ф. 22, Д. 90. Л. 2].

Благодаря планомерной организационной и педагогической работе Б. Ф. Адлера началась профессиональная подготовка этнографов в Казанском университете (и в Поволжье в целом) и именно о Бруно Фридриховиче можно говорить как об основателе казанской этнографической школы. Б. Ф. Адлер существенно реорганизовал работу по кафедре и сформировал вокруг себя круг учеников, которые впоследствии продолжили профессионально заниматься этнографией в России и заграницей (И. А. Лопатин, С. А. Теплоухов, И. В. Тюшняков, В. М. Новицкий, В. И. Подгорбунский, Е. А. Голомшток, Н. И. Воробьев и др.). Большое значение в подготовке студентов занимала практическая (работа с коллекциями, картами и макетами), полевая (экспедиции по Поволжью и Сибири) и кружковая работа (Кружок любителей природы, Кружок по изучению Сибири) [*Гущина* 2014: 73–74]. Благодаря инициативе Б. Ф. Адлера все этнографические коллекции Казанского университета были объединены в Этнографический музей, который до настоящего времени является базой для научной работы и проведения специальных занятий у студентов профильных направлений (этнологов, востоковедов, историков). В это время были заложены методологические и методические основы казанской этнографической школы XX в. — рассмотрение во взаимосвязи природных и социальных явлений (взаимодействие и взаимообусловленность); комплексный анализ культурно-бытовых и хозяйственных взаимодействий как фактора формирования культуры и быта любого народа; экспедиция как главный метод сбора информации; работа с музейными коллекциями.

В период руководства кафедрой географии и этнографии Б. Ф. Адлером главным направлением научных исследований и экспедиционной работы было этнографическое и антропологическое изучение народов Сибири и Дальнего Востока, что соотносилось с научными интересами самого Бруно Фридриховича. Но после революции по заданию государственных органов акцент в исследованиях смещается на изучение народов Татарстана. По поручению Татнаркомпроса Б. Ф. Адлер начал заниматься составлением сводного географического очерка Татарстана, а также этнографической работой по татарам и башкирам [Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 38. Л. 5]. В 1920-х гг. все сотрудники кафедры занимались изучением географии и/или этнографии Татарстана.

Следует отметить, что Б. Ф. Адлер и сам понимал необходимость и недостаточность исследования культуры народов Поволжья. Например, он уделял большое внимание формированию университетского музейного собрания по народам Поволжья. Для Этнографического музея он закупал, в том числе и на свои личные деньги, предметы, которые были доступны (и по предложению о продаже, по стоимости и по качеству) и которые он видел логичными в музее для создания хорошей экспозиции по народам края [*Гущина* 2019:

137–138]. Изучение народов Поволжья в антропологическом аспекте было основным направлением исследований преподавателя кафедры географии и этнографии Казанского университета Бориса Николаевича Вишневского (13.06.1891–26.01.1965) — антрополога, археолога, географа и этнографа. Как и Б. Ф. Адлер, Б. Н. Вишневский окончил Московский университет и был учеником Д. Н. Анучина, что, вероятно, повлияло на близость научных взглядов ученых и видение развития кафедры, где география и каждое направление «анучинской триады» — антропология, этнография/этнология и археология — получили бы самостоятельное развитие. За время работы в Казани (1919–1923 гг.) Б. Н. Вишневский активно выезжал в экспедиции по Среднему Поволжью. Так, только в 1920 г. летом он исследовал «в антропологическом отношении» чуваш Цивильского, Ядринсокого, Козьмодемьянского и Чебоксарского уездов; собирал антропологический материал по луговым марийцам, а осенью по предложению Научной Коллегии Татнаркомпросса изучал в антропологическом отношении татар Спасского и Тетюшского уездов [Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 38. Л. 4].

Ученики Б. Ф. Адлера — Николай Иванович Масленников (1888–1942), Николай Иосифович Воробьев (1894–1967), Екатерина Эдуардовна Адольф (1894 — не ранее 1926 г.), которые остались в Казани и стали работать в университете, занимались и исследованиями по географии и этнографическими работами. Но в приоритете у каждого из этих исследователей было какое-то одно направление, которое в этот период заменилось другим. Например, будучи студентом, Н. И. Масленников занимался преимущественно этнографическими исследованиями. Он собрал материал и описал быт мордвы Алатырского уезда Симбирской губернии. Следует отметить, что данная территория была родиной Николая Масленникова и большинство студентов кафедры географии и этнографии отправлялись в научные экспедиции по инициативе Б. Ф. Адлера именно на свою родину, т. к. контакты на местах облегчали выполнение исследовательских задач и позволяли легче «войти» в профессию [*Гущина* 2019: 139]. Н. И. Масленников по результатам такой экспедиции подготовил статью «Из быта мордвы села Кученяева, Алатырского уезда Симбирской губернии», которая была напечатана в 1915 г. отдельным оттиском из 4-го выпуска XXIX тома «Известий Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском Университете» [*Масленников* 1915]. Доработанный материал по мордовской свадьбе он обобщил в виде статьи «Мордовская свадьба в с. Итяшево Алатырского уезда Симбирской губернии» позже, в 1920–1921 гг. (на данный момент ни печатный, ни рукописный вариант этой статьи не обнаружен). Но в 1920-х гг. он полностью переключился на географические исследования: замерял колебание температур и осадков в бассейне поволжских рек — Суры, Илети, Рудки и др.; готовил и публиковал соответствующие статьи в журналах Казани и Москвы [Ф. Р1337. Оп. 18. Д. 4, Л. 108].

Напротив, Н. И. Воробьев во время обучения и после окончания университета занимался географическими исследованиями (преимущественно лимнологией) — исследовал фауну казанского озера Кабан, затем озера в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии, дал их обстоятельную физико-географическую характеристику. После окончания университета Н. И. Воробьев по заданию Русского Географического Общества отправился в Сибирь (1918, 1920 гг.), где в районе Нижнего Енисея собирал географические и этнографические материалы. Результаты поездок он представил в виде нескольких статей («Отчет о поездке на Енисей», «Материалы по питанию рыб р. Енисея», «Рыболовство на реке Чуне», «Очерк красноловья на некоторых сибирских реках» и др.), в которых дал комплексную характеристику изучаемых природно-географических объектов, соединив и проведя параллели между природой и деятельностью человека, его культурой и бытом [*Бусыгин, Зорин* 1967: 6–9]. А вот по возвращению в Казань Н. И. Воробьев включился в работу своего учителя и вслед за ним занялся этнографическим изучением татар. На данный момент нам не удалось установить какими именно научными проблемами занималась во время обучения Е. Э. Адольф, но в 1920–1923 гг. она также стала изучать этнографические группы поволжских татар [*Титова, Гущина* 2018: 219]. Так, в 1927 г. вышла ее статья по искусству вышивки казанских татар [*Адольф* 1927].

Долгое время считалось, что именно Н. И. Воробьев начал планомерное этнографическое изучение поволжских татар, но у истоков этого, пусть и очень недолго, стоял Б. Ф. Адлер. В том числе — и в подготовке профильных научных кадров. Это можно объяснить тем, что долгое время имя Б. Ф. Адлера было «белым пятном» в истории казанской этнографии. С одной стороны, это было обусловлено тем, что и он сам, и несколько его учеников были репрессированы в 1930-е гг. (в том числе Н. И. Масленников и К. С. Губайдуллин, о котором речь пойдет далее). С другой стороны, история развития казанской этнографии этого периода стала активно изучаться только в последние годы. В период, когда историко-этнографические исследования по поволжским татарам начала активно развиваться, когда интенсифицировалась экспедиционная работа в районах Татарстана, где традиционно проживали татары, Бруно Фридрихович вынужден был уехать в заграничную командировку (1922 г.). Предполагалось, что потом он вернется в Казань, но ему не разрешили этого сделать — в 1925 г. его перевели в Московский университет, а профессором и заведующим кафедрой географии, этнографии и антропологии избрали вернувшегося в Казань географа Сементовского Владимира Николаевича. Он работал при кафедре в дореволюционном Казанском университете, но имел напряженные отношения с Б. Ф. Адлером и его учениками, что стало среди прочего одной из причин его отъезда из Казани. Вернувшись в Казанский университет и заняв пост профессора кафедры, свой первый отчет о деятельности за 1925–1926 ака-

демический год В. Н. Сементовский озаглавил как «Отчет по кафедре географии», исключая этнографию и антропологию не только на листе отчета... [Ф. Р1337. Оп. 3. Д. 36. Л. 66].

На многих постах, где позволяли квалификационные требования, Б. Ф. Адлера заменил его ученик и его ставленник — Н. И. Воробьев. Но он не смог в тот период времени занять место Б. Ф. Адлера в должности заведующего кафедрой географии и этнографии. Отсутствие в Казани такого специалиста-этнографа, который смог бы на тот момент заменить Б. Ф. Адлера, привели к резкому сужению этнографических исследований в Казанском университете, прекращению преподавания и реструктуризации кафедры географии и этнографии, а также закрытию Этнографического музея. Несмотря на сложные условия, ученики Б. Ф. Адлера, оставшиеся в Казани (Н. И. Воробьев, Н. И. Масленников, М. С. Губайдуллина, К. С. Губайдуллин и др.), продолжали работу в других научных, общественных и культурных учреждениях и не оставляли попытки «реанимировать» этнографию в Казанском университете.

Следует отметить, что в первой четверти XX в. этнографические исследования развивались также в рамках востоковедения и тюркологии на историко-филологическом факультете. Но в 1922 г. ушел из жизни выдающийся тюрколог, этнограф и лингвист, краевед и коллекционер Николай Федорович Катанов (18.05.1862–9.03.1922), который преподавал в университете «турецко-татарские наречия» [Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 18. Л. 23]. В это же время другие его коллеги-тюркологи — Николай Иванович Ашмарин (04.10.1870–26.08.1933) и Сергей Ефимович Малов (28.01.1880–06.05.1957) уехали из Казани, а Николай Васильевич Никольский (19.05.1878–02.11.1961) перешел на работу в Восточный педагогический институт. Таким образом, в Казанском университете в 1920-х гг. свернулись и востоковедческие исследования, хотя вопрос об открытии в Казанском университете Восточного факультета также активно обсуждался именно в это время (но по ряду объективных причин такой факультет в то время не был открыт). Примерно такое отделение востоковедения было создано при Восточном педагогическом институте. Его целью была подготовка преподавателей по родному языку и литературе, этнографии и культуре народов Поволжья. Внутри этого отделения были созданы татарский и чувашский национально-лингвистические отделы, а также музыкально-этнографический отдел.

Как мы упоминали ранее, с 1923 г. по инициативе и при поддержке Татнаркомпросса, местных властей начали развиваться этнографические, исторические, культурологические, краеведческие исследования в местах компактного проживания татар. Для этой цели в республике были открыты специальные научные учреждения — Общество татароведения и Общество изучения Татарстана, которые сыграли большую роль в развитии этнографического изучения татар. В «Программу работ научного Общества татарове-

дения» включалось изучение природы, истории и сбор соответствующего архивного материала, статистики, экономики (изучение «классового состава татарского населения», хозяйства, ремесел и промыслов, промышленности и торговли), фольклора и литературы, в том числе разработка татарского литературного языка, искусства и этнографии [Программа 1925: 71].

Активную работу там проводили молодые этнографы, выпускники профильной кафедры Казанского университета и профильного отделения СВАИЭИ, которые в свое время возглавлял Б. Ф. Адлер — Н. И. Воробьев, М. С. Губайдуллина и К. С. Губайдуллин. Руководил экспедиционными работами Н. И. Воробьев (как более старший и опытный полевик). Уже летом 1923 г. по поручению Общества татароведения «в плановом порядке работ по изучению этнографии татар» он вместе с двумя студентами кафедры географии, этнографии и антропологии Казанского университета К. И. Воробьевым и Ф. И. Трегуловой совершил первую этнографическую экспедицию в Арский кантон ТССР [Ф. Р1337. Оп. 3. Д. 36. Л. 79]. Говоря о студентах-этнографах Казанского университета, то в 1923–1925 гг. их было несколько и все занимались исследованием народов Волго-Уралья. Так, Ф. И. Терегулова собирала материал по казанским татарам Арского кантона, а также ездила в Уфу «по поручению Центрального музея» для ознакомления с материалами по этнографии башкир. Студент К. И. Воробьев помимо изучения татар Арского кантона, изучал татар-мишар Саратовской губернии (совершил экспедиционный выезд «по поручению Центрального музея ТАССР»). За отчетными формулировками «по поручению Центрального музея» скрывается тот факт, что именно Н. И. Воробьев, как в свое время Б. Ф. Адлер, изыскивал средства на экспедиции во всех доступных источниках — научных обществах, профильных музеях и т. п. Учреждения спонсировали экспедиции, получая взамен коллекции и другие материалы. Студент К. И. Воробьев занимался изучением татарского фольклора и опубликовал в Трудах студенческого кружка любителей Природы при КГУ «Материалы по культу домового и дворового у мишарей Буинского кантона Татреспублики» и «Программу для собирания сведений о духах-хозяевах: домовом, дворовом и усадебным у казанских татар и мишарей» [*Воробьев К.*: 1929]. Но мы не встретили никаких упоминаний о дальнейшей профессиональной работе этих студентов.

Помимо изучения татар, Н. И. Воробьев интересовался и этнографией русских Сибири и Поволжья: в 1926 г. вышла его статья «Материалы по быту русского старожильческого населения Восточной Сибири», написанная по его полевым данным 1920 г. [*Воробьев* 1926]. К этому направлению он стремился привлечь и студентов: некий Шриро — студент Восточного педагогического института, «вел самостоятельные исследования по этнографии русского населения Арского кантона» (но этнография русских Татарстана не стала ни его профессией, ни темой какой-либо публикации). Но всё же на длительный период времени приоритетной темой исследования Н. И. Во-

робьева становится именно этнографическое изучение поволжских (прежде всего казанских) татар.

В экспедиции по заданию Общества татароведения в Арский кантон Татарстана участвовали и другие ученые — Г. С. Губайдуллин и П. М. Дульский. Район был выбран как «наиболее типичный для татарской культуры». За время работы экспедиции была собрана большая коллекция предметов быта и декоративно-прикладного искусства, фотографий и зарисовок. Всё это было размещено в татарском павильоне на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве в 1923 г., а затем переданы в Центральный музей [*Улемнова* 2015: 54]. Описание экспонатов и особенностей представления традиционной культуры татар в выставочном пространстве описал Н. И. Воробьев [*Воробьев* 1923].

С 22 июля по 2 августа 1925 г. Обществом татароведения была организована экспедиция под руководством Н. И. Воробьева в Мамадышский кантон ТССР, в состав которой вошли М. С. Губайдуллина, К. С. Губайдуллин и С. Г. Вахидов. Целью экспедиции были историко-этнографическое исследования данного кантона [*Валеева* 2015: 28]. Марьям Салиховна Губайдуллина (1892–1933) стала первым татарским этнографом, получившим высшее профессиональное этнографическое образование, она окончила Этнографическое отделение СВАИЭИ. Для организации учебного процесса по этому отделению Б. Ф. Адлер привлекал крупных специалистов в области этнографии народов Поволжья: крупнейшего специалиста по чувашам Н. В. Никольского, занимавшегося этнографией мордвы М. Е. Евсевьева, тюрколога Н. Ф. Катанова. За время обучения в 1917–1919 гг. М. С. Губайдуллина участвовала и в научных экспедициях в различные районы Волжско-Камского края, организованные советом института, чтобы изучать «силами своих старших и младших членов (т. е. профессуры и студенчества) местный край с точки зрения этнографии, антропологии, географии, археологии и других древностей, искусства, истории, быта и вообще культурных проявлений» [цит. по: *Марданова* 2021: 82]. После окончания института М. С. Губайдуллина продолжила работать преподавателем. Так, в 1924–1925 гг. она преподавала этнологию тюрко-татарских племен на Отделении востоковедения Восточного педагогического института и читала курс «Этнография татар». Такой же предмет М. С. Губайдуллина читала на курсах по повышению квалификации школьных работников при Академцентр Татнаркомпроса. Ее старший брат — Абдул-Кадыр (Абдулкадыр, Кадыр) Салихович Губайдуллин (1888–1944) (в сокращении ФИО в источниках значится как К. С. Губайдуллин или А.-К. С. Губайдуллин) — востоковед и этнограф, сначала несколько лет обучался на физико-математическом отделении Казанского университета. Можно предположить, что именно знакомство с Б. Ф. Адлером и увлеченность этнографией повлияли на смену учебного заведения — он перешел в СВАИЭИ и окончил его в 1920 г. [*Губайдуллин* 2003: 218]. Как и сестра, Губайдуллин

преподавал в 1921–1925 гг. в Восточной Академии и Восточном педагогическом институте, а также был заведующим историко-археологического отдела Центрального музея ТССР.

В период 1925–1929 гг. по поручению Общества татароведения было организовано семь экспедиций в различные кантоны Татарстана (Мамадышский, Челнинский, Чистопольский, Спасский, Арский, Рыбнослободский, Мензелинский), целью которых было комплексное историко-этнографического изучение татар. Результаты экспедиций ученые публиковали в журнале «Вестник научного общества татароведения» (В.Н.О.Т.), выходивший в 1925–1930 гг. 1–3 раза в год. Цель журнала соответствовала цели Общества татароведения — изучение и популяризация истории, экономики, политической жизни, материальной и духовной культуры, быта и нравов татар. Всего в В.Н.О.Т. было опубликовано девять статей по этнографии [*Заманова*]. Большая часть статей по этнографии была написана Н. И. Воробьевым и содержала информацию о материальной культуре (традиционное жилище и одежда) казанских татар и кряшен [*Воробьев* 1926; *Воробьев* 1927; *Воробьев* 1927, № 6]. Отдельно хотелось бы упомянуть совместную работу Губайдуллиных «Пища казанских татар», которая стала первой специальной работой о культуре питания татарского народа [*Губайдуллин, Губайдуллина* 1924]. Собранные и опубликованные в В.Н.О.Т. материалы являются важным источником не только о системе питания казанских татар, но и по фольклору и обрядовой культуре, поскольку авторы приводят и описания блюд в контексте их бытования в будни и праздники.

Обработанные экспедиционные материалы публиковались и в других профильных журналах Казани и Москвы. Например, первая комплексная работа Н. И. Воробьева по казанским татарам — «Казанские татары (Этнографический очерк)» [*Воробьев* 1925] была опубликована в 1925 г. во втором выпуске сборника статей «Материалы по изучению Татарстана», приуроченных к пятилетию Татарской Советской Социалистической Республики. Первый выпуск был посвящен географии Татарстана и вышел под редакцией Б. Н. Вишневского, второй — посвящен изучению культуры и хозяйства, являлся «сводкой того, что сделано по вопросу и отчасти намечаемые рабочие пути для дальнейшей работы» [Материалы 1925: 4]. Редакторами этого сборника были Г. Г. Ибрагимов и Н. И. Воробьев. Помимо этнографической статьи о казанских татарах в сборник вошли работы о чувашах [*Никольский* 1925], марийцах [*Соколов* 1925] и мордве [*Евсевьев* 1925].

Если в первые годы после революции были созданы условия для развития полноценного образовательного и исследовательского кластера вокруг науки о народах, то последовавшая в 1930-х гг. реакция на этнографию (идеология в унификации культурных единиц, репрессии против этнографов и курс на создание единой советской нации) привели к сворачиванию интенсивных этнографических исследований, закрытию/реструктуризации

профильных вузов и кафедр, а следовательно — прекращению преподавания этнографии и подготовки профессиональных кадров. В 1930-е гг. закрылись научные общества (ОАИЭ, Общество татароведения и др.), были свернуты историко-культурные и этнографические экспедиции. В Казани как центре научной работы практически не осталось этнографов: большая часть уехала в другие республики Поволжья, Кавказа и Закавказья. Некоторые из ученых были арестованы и репрессированы: как мы писали ранее, были репрессированы и расстреляны Б. Ф. Адлер. К. С. Губайдуллин, Н. И. Масленников. Два раза в 1930-х гг. был арестован Н. В. Никольский, но оба раза был освобожден (в дальнейшем работал сотрудником гуманитарных НИИ Мордовской и Марийской АССР).

В 1932 г. вышел сборник статей «Этнография на службе классового врага», в предисловии к которому так описывалось то, чем занималась наша наука: «Этнография играла роль информатора правящих классов относительно состояния «инородцев», в интересах империалистической системы хозяйства <...> выявляя условия быта, степень материального благополучия, культурного развития каждой отдельной «инородческой» группы и тем самым обеспечивая наибольший успех в порабощении и разорении каждой отдельной «изучаемой» нации» [Цит. по: *Головнев* 2018: 26]. Историк религии Н. М. Маторин в докладе «О задачах историков-марксистов на этнографическом фронте» объявил этнографию изжившей себя наукой и в этом его поддерживали другие столичные ученые, в том числе и этнографы (например, С. П. Толстов). На длительное время этнография перешла в разряд «вспомогательных» исторических дисциплин...

В 1930 г. вышла доработанная монография Н. И. Воробьева «Материальная культура казанских татар» [*Воробьев* 1930] и до 1946 г. это была единственная опубликованная казанскими этнографами работа. Как мы отмечали ранее, на это повлияло не только отношение к этнографии, но и отсутствие этнографов в Казани. В 1930-е гг. Н. И. Воробьев переключается на географические исследования и развитие профильного географического образования в казанских вузах: продолжил преподавать географию в Казанском университете, в 1934–1944 гг. стал деканом географического факультета Казанского педагогического института; издал учебники по географии ТАССР.

Становление планомерного изучения русского и татарского населения ТАССР в 1940–1950 гг.

Возобновление преподавания этнографии и научной работы произошло еще в начале 1940-х гг. В это время Н. И. Воробьев продолжал совмещать свою основную работу с преподавательской деятельностью в Казанском университете, где он в это период читал курсы «Общей физической географии (Землеведение)», «Физическую географию СССР», «Историю

географии», «Геоморфологию» и, а чуть позже возобновил курс лекций «Этнография». Крупный ученый, талантливый педагог, радеющий за свою науку и всё то, что сделали до него его учителя и он сам, Н. И. Воробьев начал постепенно восстанавливать, «реанимировать» этнографию в Казанском университете. Стоит отметить, что и руководство университета поддерживало это: были и попытки восстановить работу Этнографического музея, который за двадцать лет отсутствия специалиста и планомерной работы лишился не только своих исторических площадей, но и многих экспонатов. Экспозиция была частично демонтирована и рассредоточена по различным аудиториям факультета географии (без составления описей имущества и без должного присмотра за коллекциями). Еще в 1938 г. руководство университета обратилось к руководству Центрального музея с ходатайством о помощи в восстановлении университетского музея: «При кафедре экономгеографии Казанского университета несколько десятков лет существует Этнографический музей. В музее имеются ценные материалы, характеризующие прошлое некоторых народов, но за последние годы новыми экспонатами он не пополняется. Музей нуждается в проведении соответствующей реконструкции и в приобретении новых экспонатов, отражающих современную жизнь отдельных народов СССР. Не имея в настоящее время в Казани высококвалифицированного специалиста — этнографа — музееведа, который мог бы дать необходимые консультации и составить план реконструкции, Дирекция Государственного университета обращается с просьбой сообщить на какие условиях возможно пригласить научного сотрудника вашего музея, специалиста по народам СССР (в частности, по народам Севера, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья) на кратковременный срок для консультирования и составления плана реконструкции» для консультирования и составления плана реконструкции» [*Гущина* 2013: 70]. Такого специалиста на тот момент не было и в Государственном музее ТАССР. Поэтому Н. И. Воробьев предложил на эту должность своего студента, который живо интересовался этнографией — Гаруна Валеевича Юсупова (1914–1968). Обучаясь на 5 курсе Г. В. Юсупов начал работать хранителем в Этнографическом музее университета, где и должен был остаться после окончания учебы. Но сокращение ставок, а после начавшаяся Великая Отечественная война внесли свои коррективы в этот план [*Ахатов* 2019: 243].

В 1944 г. Н. И. Воробьев перешел на работу в Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Казанского филиала АН СССР, где вплоть до своей смерти в 1967 г. возглавлял созданный сектор археологии и этнографии. При этом он продолжал совмещать административную работу в академической структуре с преподаванием в Казанском университете на кафедре экономической географии. Это позволило ему с течением времени и благодаря планомерной работе восстановить этнографию как науку в Казани, заинтересовать ею студентов-географов и тем самым создать новые профессиональные

кадры, как для университета, так и для академии наук. После окончания Великой Отечественной войны начались активные работы по восстановлению Этнографического музея КГУ и возобновлению экспедиций. В этой работе Н. И. Воробьеву помогали вернувшиеся с войны Г. В. Юсупов, который начал с марта 1946 г. работать старшим лаборантом на Географическом факультете КГУ и одновременно исполнять обязанности заведующего Этнографическим музеем, и Е. П. Бусыгин. Вернувшийся с фронта Евгений Прокопьевич Бусыгин (1914–2008) 1 ноября 1945 г. был принят ассистентом на кафедру географии Казанского университета. При этом одновременно он служил артистом оркестра Татарского театра оперы и балета, откуда уволился только в 1947 г. ввиду того, что стало невозможно совмещать научную работу и музыку. Если у Г. В. Юсупова этнография вызывала интерес и была знакомой областью исследования, то для Е. П. Бусыгина — совершенно незнакомой: «Об этнографии я не имел никакого представления. За пять лет моей учебы в университете никто никогда не упоминал о существовании такой науки, о том, что в университете есть этнографический музей, а когда-то работала кафедра этнографии» [*Бусыгин* 2007: 121]. Но поскольку ни у кого из них не было профильного образования, и они даже не слушали соответствующие курсы, то основы этнографии стали постигать на практике — работая с коллекциями, читая литературу, совершая экспедиции и беседуя с Николаем Иосифовичем. Вместе они написали свои первые статьи на основе экспонатов Этнографического музея. В мае-июне 1946 г. состоялась знаковая экспедиция — первая, после более пятнадцати лет перерыва, экспедиция, во многом определившая не только исследовательские интересы участников, но и векторы развития этнографии во второй половине XX в. Экспедиция была организована совместно КГУ и ИЯЛИ по инициативе под руководством Н. И. Воробьева по Восточному Закамью — от г. Набережных Челнов через Заинск, Сарманово, Муслюмово, Ютазы и Бавля до г. Бугульма. Главной целью было исследование по теме Н. И. Воробьева, а именно культуры и быта татарского населения Закамья, но также были исследованы русские и чувашские населенные пункты. В состав экспедиционного отряда помимо Н. И. Воробьева вошли: младший научный сотрудник академии Гумер Мухетдинович Хисамутдинов (1908–1975), Г. В. Юсупов и Е. П. Бусыгин. Работа этой экспедиции проходила в русле тематики предыдущих исследований Н. И. Воробьева по поволжским татарам: фиксировались и описывались элементы традиционной материальной культуры — поселения и жилища, одежда и украшения, бытовая утварь и пищи. При этом большое внимание уделялось сопоставлению традиционной культуры разных этнографических групп поволжских татар, преимущественно казанских и кряшен. Работа в экспедиции велась традиционными для этнографии того периода методами — с помощью наблюдения, опроса информаторов, съемки планов поселений и жилищ, сбора иллюстративного материала. Н. И. Воробьев передавал свой опыт полевых работ

молодым исследователям, обращая внимание на мельчайшие детали быта, внешний вид построек и все те видимые элементы традиционной культуры, которые давали возможность более полно представить этнографические особенности [*Бусыгин, Зорин* 2002]. По результатам экспедиции подготовили отчеты по тому блоку проблем, которыми они занимались: Е. П. Бусыгин — «Материалы по внешнему быту татар восточного Закамья ТАССР» [*Бусыгин* 2007: 170], Г. В. Юсупов — «Материалы по древним верованиям и поверьям казанских татар (отчет о поездке в юго-восточные районы Татарской АССР)» [*Ахатов* 2019: 246–247]. Отчеты не были напечатаны.

Как мы уже отмечали ранее, именно в этой первой экспедиции стал формироваться спектр научных исследований молодых ученых: Г. М. Хисамутдинов занялся изучением духовной культуры татар, обрядов и праздников, в том числе джиена как социального явления; Г. В. Юсупов — эпиграфическими исследованиями, а в октябре 1948 г. он поступил в аспирантуру ИЯЛИ КФ АН СССР по специальности археология. А Е. П. Бусыгина Николай Иосифович подвел к мысли об этнографическом изучении русского населения Поволжья. Как писал сам Е. П. Бусыгин, приняв его отчет по татарам, Н. И. Воробьев попросил дать характеристику посещенных во время экспедиций русских населенных пунктов. Здесь Евгений Прокопьевич столкнулся с проблемой — собранного материала было мало и не было возможности его дополнить информацией из литературы, т. к. не было описания русских этой территории. Сравнивая собранный в экспедиции материал по русским и описанием великорусам, Е. П. Бусыгин заметил, что «у нас в Поволжье какие-то другие великороссы, не похожие на живущих не только в Новгородской, Архангельской, Вологодской и других северных областях страны, но также в центральных районах и на Верхней Волге» [*Бусыгин* 2007: 171]. Его выводы подтвердил Николай Иосифович, отметив, что эту особую, никем еще не изученную группу русского народа нужно обязательно изучать, чтобы не только понять культурно-бытовые особенности русских Поволжья, но и представить полную картину взаимодействия и взаимовлияния поволжских народов. Ограничившись только этнографией тюркских и финно-угорских народов Поволжья, без всестороннего изучения русского населения, являющегося на протяжении длительного исторического периода одним из основных этнических компонентов в крае, невозможно решение многих историко-этнографических вопросов (этногенез, расселение, культурно-бытовые процессы, межэтнические отношения в целом) [*Бусыгин, Зорин* 2002: 42].

Следует отметить, что и сам Н. И. Воробьев в 1950-х гг. подключился к работе по изучению чувашей: начал экспедиционные исследования [*Воробьев* 1950], в том числе возглавил совместную этнографическую экспедицию Казанского филиала АН СССР и Института языка, литературы и истории Чувашской АССР. Результатом это работы стала двухтомная коллективная

монография «Чуваши. Этнографическое исследование» [Чуваши 1956; Чуваши 1970]. Этот труд стал первым крупным обобщающим исследованием по этнографии чувашей, подробно описывающим многие стороны их материальной и духовной культуры. Н. И. Воробьевым были написаны три раздела в первом томе (история изучения чувашского народа, этническая история, природно-географические условия, а также в главы о жилище, одежде и питании) и одна глава про народное декоративно-прикладное искусство во втором, который вышел уже после его смерти [*Бусыгин* 2002: 14].

Н. И. Воробьев заложил основы системного изучения культуры и быта татар и русских Поволжья, создал этнографические школы по изучению татар в КФ АН СССР и по изучению русских в КГУ. Работая в Академии наук, он продолжил систематическую экспедиционную работу, подключая к ней не только своих коллег, но и студентов, одной из которых стала Рамзия Гиниятовна Мухамедова (1923–2020). Обучаясь на Географическом факультете КГУ, Р. Г. Мухамедова заинтересовалась этнографией. В беседах со своим учителем Н. И. Воробьевым сформировалась тема ее работы — этнографическое исследование татар-мишарей. Выбор этого направления исследований был обусловлен несколькими фактами: если по казанским татарам и кряшенам систематический материал собирал сам Н. И. Воробьев (в 1953 г. Н. И. Воробьев выпустил доработанное исследование по дореволюционной материальной культуре казанских татар [*Воробьев* 1953]) и Г. М. Хисамутдинов, то в исследовании именно татар-мишарей существовали многочисленные пробелы. Также сама Р. Г. Мухамедова была мишаркой, что давало ей возможность более легко войти в исследуемую среду. После окончания университета в 1949 г. она поступила в аспирантуру ИЯЛИ по этнографии и изучала именно татар-мишарей, совершая систематические экспедиционные выезды в места компактного проживания мишар в Поволжье. Она являлась последовательницей своего учителя, развивая его методы и методологию исследования (системный подход в изучении татар, типологический подход к систематизации этнографического материала) [*Суслова* 2018: 362]. Р. Г. Мухамедова включилась в планомерное исследование татар Волго-Уралья, которое проводилось в секторе этнографии ИЯЛИ на протяжении двадцати лет (1946–1966 гг.) и результатом которого стала коллективная фундаментальная монография «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», выпущенная под редакцией Н. И. Воробьева и Г. М. Хисамутдинова. В этом издании представлена дифференциация волго-уральских татар, в основу которой были положены языковые и культурно-бытовые различия этнографических групп татар по собранным полевым материалам. Авторы описали хозяйство и материальную культуру, общественные и семейные отношения, духовную культуру и народное творчество [Татары 1967]. Развивая идеи Н. И. Воробьева, заложенные в его предшествующих трудах, в монографии не только приведено подробное этнографическое описание элементов культуры татар, но и показаны некото-

рые пути изменения данного культурно-бытового элемента в историческом контексте и у разных этнографических групп татар, а также представлен большой сравнительный этнографический материал по народам Волго-Уралья.

В Казанском университете, как мы отмечали ранее, с 1947 г. Е. П. Бусыгиным было начато систематическое изучение русского населения Среднего Поволжья. Эта главная тема научного исследования стала ведущим направлением в работе этнографов университета в 1940–1970-е гг. В свою первую самостоятельную экспедицию Евгений Прокопьевич поехал один, на велосипеде, посетив несколько русских населенных пунктов ТАССР (Свияжск, Савино, Большое Фролово, Чинчурино, Тетюши и др.). В этой экспедиции он собирал весь материал по материальной и духовной культуре, т. к. не было еще четко сформулирована цель исследования. Тогда он решил (вполне возможно по совету Н. И. Воробьева) в дальнейшей работе сконцентрировать свое внимание на изучении материальной культуры. Во второй экспедиции в предкамских районах ТАССР Е. П. Бусыгин собирал материал уже только по материальной культуре. В частности, он сделал много уникальных фотографий хозяйственных и жилых построек, которые позже исчезли и остались зафиксированными только на его экспедиционных фотографиях.

Ежегодные планомерные экспедиции 1947–1952 гг. и колоссальный собранный материал позволили Е. П. Бусыгину написать ряд научных статей [например, см.: *Бусыгин* 1953; *Бусыгин* 1955; *Бусыгин* 1956; *Бусыгин* 1957, *Бусыгин* 1959], подготовить и защитить в 1952 г. кандидатскую диссертацию на тему «Материальная культура русского сельского населения Татарской АССР». К сожалению, эта работа не была напечатана. Е. П. Бусыгин выявил границы Средневолжской историко-этнографической области, где происходило формирование особой этнотерриториальной группы русских — поволжских великороссов. В своей кандидатской работе Е. П. Бусыгин описал основные характерные черты хозяйства и материального быта русских ТАССР. Вместе с тем, проведенное исследование показало, что для решения вопросов, связанных с формированием русского населения и культурно-бытовыми взаимовлияниями, необходимо выйти за пределы одной республики и провести исследования на всей территории Среднего Поволжья. Для этого Е. П. Бусыгин провел три предварительные «разведывательные» экспедиции: в 1953 г. были изучены русские населенные пункты, лежащие на правом берегу Волги от Сызрани до Саратова; в 1954 г. маршрут проходил по левобережью Волги от Пугачева до Самары; в 1956 г. изучались правобережные районы между Нижним Новгородом и Чебоксарами. Как отмечает сам Евгений Прокопьевич, «эти экспедиции показали, что при сохранении общих культурно-бытовых черт, характерных для русских, живущих на обширной территории Среднего Поволжья, имеются серьезные различия по отдельным районам, обусловленные особенностями заселения территории и культурно-бытовыми взаимовлияниями с со-

седствующими нерусскими народами. Встал также вопрос об определении границ средневолжского историко-этнографического района. Решение этих задач привело к необходимости изменения всей организации полевой этнографической работы в количественном и качественном отношениях» [*Бусыгин, Зорин* 2002: 111–112].

С 1956 г. неизменным участником и одним из руководителей этнографических экспедиций стал молодой ученый, заведующий Этнографическим музеем университета Николай Владимирович Зорин (1923–2006). Плодотворная долгая совместная работа и дружба Е. П. Бусыгина и Н. В. Зорина позволили поднять большой пласт материала по русскому населению Среднего Поволжья, сравнить культуру русских этого региона с культурой русских в местах основного расселения. Это способствовало более полной репрезентации особенностей заселения отдельных районов Поволжья и позволило проследить изменения материальной культуры русских XVI в. — XX в.

Расширение территориальных границ и предметного поля казанской этнографии в 1960–1970 гг.

Продолжая заниматься изучением материальной культуры русского населения, этнографы КГУ в 1960-х гг. расширили территориальные рамки до Среднего Поволжья и стали собирать материал по общественно-семейному быту русских Среднего Поволжья [*Бусыгин* 1966]. Совместная деятельность и сбор данных повлияли на особенности публикации статей и монографий того периода — большая часть работ Е. П. Бусыгина и Н. В. Зорина, а также их учеников и коллег выходила в соавторстве [например, *Бусыгин, Зорин, Зорина* 1969]. В исследовании семьи и общественного быта на основе материалов этнографических экспедиций, анализа архивных источников и рукописей были выделены основные формы структурной организации семейных коллективов, исследованы тенденции развития внутрисемейных бытовых отношений в XVII–XX вв.

Подобные исследования проводились с использованием количественных методов, которые активно стали применятся в работе казанских этнографов, стали развиваться с 1950-х гг. Статистический материал собирался с помощью специально составленных анкет как индивидуальных (заполнявшихся на конкретного человека по месту его работы), так и посемейных (заполнявшихся на отдельные семьи согласно выборке). Результаты экспедиций с 1965 г. обрабатывались с помощью перфокарт и ручного селектора, с 1980-х гг. — с помощью ЭВМ. Как отмечала Лидия Сергеевна Токсубаева (1948–2017) — этнограф, ученица Е. П. Бусыгина и Н. В. Зорина, начавшая экспедиционную деятельность в 1968 г., работа эта была монотонная, но руководители видели интересы своих студентов и стремились их поддерживать: «В первые годы, когда я начала ездить в экспедиции, основными видами работ было запол-

нение посемейных анкет и сбор данных по семейным книгам в сельсоветах. Занятия были нудные, особенно в сельсоветах. Когда ты листаешь эту книгу и монотонно диктуешь: «муж, жена, дети», или слушаешь и ставишь палочки. Изучение семьи было во главе угла. Постепенно тематика исследований стала расширяться. Уже в первой моей экспедиции я стала обращать внимание на домовые украшения, что было замечено руководителями. Ко второй моей экспедиции уже была напечатана анкета для изучения домового декора и интерьера жилища. Все последующие годы я работала с ней, пока не переключилась на орнаментированный текстиль. Николай Владимирович начал сбор материала по русской свадьбе. Он разработал анкеты по праздникам. Я добавила анкеты по изучению положения русской женщины и девушки. Последние экспедиции, в которых я бывала, относятся уже к концу 1980-х гг. В них практически каждая работа была по отдельной теме» [ПМА, 1].

Как видно из воспоминаний Л. С. Токсубаевой, с 1969 г. стали исследовать декоративно-прикладное искусство. В основу был положен анкетно-статистический метод. Полученные материалы показали существенные территориальные различия в характере домовых украшений и в способах их использования, выявили динамику домового декора. Отмеченные тенденции развития домовых украшений подтвердили их существенную роль в материальном быту русского населения Среднего Поволжья [*Бусыгин, Зорин* 1974; *Зорин, Токсубаева* 1976]. В 1980 г. Л. С. Токсубаева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Декоративное оформление русского сельского жилища на территории автономных республик Среднего Поволжья», материалы которой вошли в их совместную монографию [*Бусыгин, Зорин, Токсубаева* 1986].

В этот период продолжали развиваться темы, связанные с внутрисемейными и общественными отношениями. Собирал материал по русской свадьбе в Казанском Поволжье Н. В. Зорин, но его исследование вышло только в 1981 г. [*Зорин* 1981]. В своей работе Н. В. Зорин пришел к выводу, что русская свадьба в Среднем Поволжье представляет собой сложное социально-экономическое явление, а в морфологической структуре русская свадьба в Среднем Поволжье является своеобразным вариантом восточнославянской свадьбы. Она включала различные по своему характеру компоненты традиционно-бытовой культуры (обрядовые и магические действия, фольклор и музыкальное творчество, нормы обычного права, мировоззренческие представления и локальные традиции).

Зачастую исследования казанских советских этнографов приобретали новаторский характер. Так, в Казанском университете одна из первых в отечественной науке стала рассматриваться женская тематика. Большую роль в исследовании гендерной истории в России сыграла ученица Е. П. Бусыгина и Н. В. Зорина — Зинара Зиевна Мухина. Свое обращение к вопросам женской истории она вспоминает так: «Е. П. Бусыгин и Н. В. Зорин в 1974 г. поставили задачу изучения общественного и семейного положения сельской

женщины в пределах Татарской АССР. Мне было предложено выполнить курсовую, а затем дипломную работу по этнографии на тему „Изменение положения женщины в русской сельской семье за годы советской власти". После защиты дипломной работы была дана рекомендация в целевую аспирантуру Казанского государственного университета (1975–1978 гг.). Однако после поступления в аспирантуру мне предложили изменить направление и заняться изучением положения женщины-татарки. Даже идеологические штампы, акцентировавшие внимание лишь на бесправии и угнетенности женщины в период до 1917 г., не явились значительным препятствием для создания объективной картины правового и семейного статуса крестьянки XIX — начала XX в. ... Хронологические рамки диссертационного исследования охватили более столетия, что дало возможность проследить изучаемые процессы в динамике. Я пыталась привлечь всю доступную для того времени информацию. Для разделов, характеризующих довоенный быт, мною были использованы архивные материалы, научная и научно-популярная литература, периодическая печать. Из последнего (в особенности для первых десятилетий советской эпохи) порой удавалось извлечь очень интересный фактический материал. Для советского периода сюда добавились партийные и советские документы, статистические материалы и, собранные во время экспедиций Казанского университета в 1976–1979 гг., полевые материалы, при этом использовался как индивидуальный опрос, так и массовое анкетирование в сельских населенных пунктах Татарской АССР. В основу работы был положен комплексный подход, позволивший раскрыть сущность и определить причины динамики изменений социального статуса татарской сельской женщины. Обработка статистических материалов и анкет проводилась по специально разработанной программе на ЭВМ, что в те годы только начинало внедряться в этнографических исследованиях» [ПМА, 2]. В 1981 г. З. З. Мухина защитила кандидатскую диссертацию по теме «Изменение положения татарской сельской женщины в семье и обществе в Татарской АССР за годы советской власти».

Развивая тему общественно-семейных отношений и обобщая собранный материал в 1973 г. вышла коллективная монография этнографов Казанского университета «Общественный и семейный быт русского населения Среднего Поволжья (историко-этнографическое исследование)». В этом обобщающем труде авторы рассмотрели бытование различных по структуре типов общин, исследовали организацию коммуникации между членами общины, в том числе и общественные праздники как их особую форму, а также проанализировали социальные роли и права в семье [*Бусыгин*, *Зорин, Михайличенко* 1973]. Следует отметить, что в работах казанских этнографов изучалась не только общественная жизнь дореволюционной деревни, но и современная на момент исследования общественная и культурная жизнь русского населения отдельных районов ТАССР [*Бусыгин, Кучерявенко* 1976].

С 1950-х гг. к участию в этнографических экспедициях Казанского университета стали привлекаться студенты-географы, которым работа в поле засчитывалась как производственная практика. Это способствовало приобщению студентов к этнографии и формированию профессиональных кадров. Следует отметить, что в 1950–1960-е гг. часто проводились совместные с филологами экспедиции, материалы которых до сих пор хранятся в Отделе редких рукописей и книг Научной библиотеки Казанского университета. Привлечение к экспедиционной работе большого числа участников (как вспоминают советские этнографы Казанского университета, иногда количество участников было 20–25 человек) позволило значительно изменить методику обследования территории и вести полевые работы по многим темам более углубленно и специализированно. Следствием этого стало и открытие аспирантуры по этнографии на географическом факультете в 1964 г. Но не все ученики Е. П. Бусыгина оставались в университетской аспирантуре: казанский университет продолжал «поставлять» кадры и для ИЯЛИ. Так, после окончания Географического факультета работать в казанскую академию по сектору этнографии перешла Рауфа Каримовна Уразманова. Причем, Р. К. Уразманова стала развивать новое направление — исследование городского образа жизни и такой социальной категории граждан как рабочий класс. Ее диссертационная работа «Быт рабочих-нефтяников татар юго-востока Татарии» была комплексным исследованием всех сторон систем жизнедеятельности и жизнеобеспечения рабочих-нефтяников в период становления нефтяной отрасли в республике (монография на основе диссертации была издана гораздо позднее, в 2000 г.) [*Уразманова* 2000]. Также для работы в ИЯЛИ Е. П. Бусыгин в конце 1960-х гг. рекомендовал свою ученицу Фариду Лутфулловну Шарифуллину, которая расширила географию региональных исследований татарского народа: комплексно изучала материальную культуру касимовских татар (защитила по этой теме кандидатскую диссертацию в 1985 г.).

Коллектив этнографов, входивших отдельным подразделением в сектор археологии и этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, после смерти своего учителя Н. И. Воробьева в 1967 г. возглавила Р. Г. Мухамедова. Она доработала свой многолетний экспедиционный материал по татарам-мишарам и выпустила в 1971 г. монографию «Татары-мишари (историко-этнографическое исследование)» [*Мухамедова* 1972]. В своем труде Р. Г. Мухамедова всесторонне описала материальную и духовную традиционную культуру мишарей; исследовала особенности их этнокультурного взаимодействия с соседними народами Поволжья. Рамзия Гиниатовна продолжила работу по сбору и систематизации материала по татарам Волго-Уралья и стала инициатором создания, а также научным руководителем фундаментального исследования «Историко-этнографический атлас татарского народа», которое курировалось и финансировалось Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Во второй половине XX в. в отечественной науке разви-

валось такое направление исследований как картографирование признаков и элементов традиционной, прежде всего материальной, культуры, которые представлялись в виде атласов. Это большая организационная и научная работа, которая требовала не только всесторонней разработки проблемы — от составления концепции исследования до камеральной обработки экспедиционного материала, но и наличия соответствующего штата исследователей. В подобной работе по созданию историко-этнографического атласа русского народа принимал участие и Е. П. Бусыгин [Русские 1967].

Р. Г. Мухамедова разработала научную проблематику атласа [*Мухамедова* 1974], создала команду — группу специалистов в разных областях этнографии (Мухаметшин Ю. Г., Сафина Ф. Ш., Суслова С. В., Халиков Н. А.) и вела подготовку кадров через систему академической аспирантуры. Для организаций экспедиций в соавторстве с коллегами и учениками был разработан инструментарий исследования (программы по темам хозяйственных занятий, поселений и жилища, костюма, отдельных видов ремесла). Важнейшей частью практической работы над Атласом стали ежегодные этнографические экспедиции (было совершено 28 выездов) в рамках сплошного территориального обследования всех районов проживания татар в Волго-Уралье (около 450 населенных пунктов) [*Суслова* 2018: 363–364]. Планомерная экспедиционная и камеральная работа проходила в 1970–1980-х гг., а издаваться Атлас стал уже после перестройки. «Историко-этнографический атлас татарского народа» был подготовлен в шести томах, первый из которого вышел в 1995 г., последний — в 2011 г. Тома соответствовали составленной программе и раскрывали особенности хозяйственных занятий [*Халиков* 1995], ткачества [*Сафина* 1996], народного костюма [*Суслова, Мухамедова* 2000], обряды и праздники [*Уразманова* 2001], вопросы формирования этнотерриториальных групп татар Волго-Уралья [Этнотерриториальные 2002] и традиционное жилище [*Мухаметшин, Халиков* 2011]. Как отмечают современные сотрудники этого отделения АН РТ, «Публикацией томов атласа фактически закончился закономерный и очень важный „моноэтнический“ подход в изучении этнографии волго-уральских татар» [*Габдрахманова, Мусина, Суслова* 2013].

Таким образом, этнографические исследования народов Поволжья в послереволюционное время уже в 1920-е гг. начало активно развиваться. При этом, период 1920–1930-х гг. был интересным и динамичным (открытие профильных институтов и музеев, интенсификация научных исследований и экспедиций), но вместе с тем во многом тяжелым и трагичным временем развития казанской науки (закрытие профильных кафедр, научных обществ, тяжелые бытовые условия жизни ученых, а позже — репрессии). В значительной степени свертывание этнографических исследований в Казани в 1930-е гг. было обусловлено не столько «гонениями» этнографов властями, сколько отсутствием таковых. Восстановление этнографии как науки и учебной дисциплины в Казани началось в 1940-е гг. и связано с именем Николая Иосифовича

Воробьева. Придерживаясь традиций школы Б. Ф. Адлера, Н. И. Воробьев смог привлечь к этнографической работе студентов-географов, ставших в последствие крупными учеными-этнографами и учителями, дело которых продолжили их ученики — Р. Г. Мухамедову, Е. П. Бусыгина, Н. В. Зорина. В этот период происходила институционализация и определение предметной области этнографических исследований в Казани. По инициативе Н. И. Воробьева были сформированы два этнографических центра — Казанский университет как центр изучения русского населения и Казанский филиал АН СССР как центр исследования поволжских татар. Период 1950–1960-х гг. время, когда планомерная этнографическая работы воплотилась в издании фундаментальных монографий по русским и татарам. Вместе с тем следует отметить, что издания этого периода, согласно условиям времени, изобилуют «актуальными» идеологическими сюжетами, в том числе описанием позитивных изменений, обусловленных переходом крестьян к колхозному быту. В 1960–1970-е гг. произошел отход от крупных монографических исследований по отдельному народу в пользу исследования отдельных аспектов материальной и духовной культуры. В это период произошло и изменение методики сбора материала — наряду с «классическими» наблюдением и опросом, активно начали применяться количественные, статистические (а позже — социологические) методы. Также в этот период времени этнографы более активно стали исследовать современность. Следует отметить, что в дальнейшем (в 1980–1990-х гг.) казанские этнологи продолжили развивать как «традиционные» для казанской этнографии темы — семейной и календарной обрядности (Л. Н. Шабалина, Л. Ф. Банцарева, Р. К. Уразманова) и внутрисемейных отношений (Н. В. Лештаева), а также находили новые векторы исследования традиционной культуры (например, музыкальные инструменты у В. И. Яковлева). В это период актуализировались исследования по вопросам взаимодействия поволжских народов в различных сферах жизнедеятельности (например, в семейно-брачных отношениях в работах Г. Р. Столяровой и Т. А. Титовой). Вместе с тем, в 1980-х гг. казанские этнологи стали разрабатывать новые междисциплинарные темы, связанные с психологическими, социологическими, политическими и культурными процессами, включились в новый для нашей науки дискурс. При этом Р. Г. Мухамедова и Е. П. Бусыгин продолжали играть важную роль руководителей и консультантов при подготовке диссертация и научных проектов.

Источники и литература

Адольф Е. А. Вышивки казанских татар. Материалы Центрального музея ТССР. 1927. № 1. С. 5–10.

Ахатов А. Т. Гарун Валеевич Юсупов: археолог, эпиграфист, этнограф (к 105-летию со дня рождения) // Genesis: исторические исследования. 2019. № 12. С. 243–253.

Бусыгин Е. П. Поселения и жилища русского сельского населения Татарской АССР // Советская этнография. 1953. № 2. С. 53–75.
Бусыгин Е. П. К вопросу формирования русского населения ТАССР // Ученые записки Казанск. ун-та. 1955. Т. 115. Кн. 2. С. 127–146.
Бусыгин Е. П. К вопросу этнографического районирования русского населения Среднего Поволжья // Ученые записки Казанск. ун-та. 1956. Т. 116. Кн. 5. С. 240–243.
Бусыгин Е. П. Этнографические исследования материальной культуры русского населения Среднего Поволжья // Ученые записки Казанск. ун-та. 1957. Т. 117. Кн. 4. С. 353–357.
Бусыгин Е. П. Этнографические исследования материальной культуры русского населения восточных районов Среднего Поволжья // Советская этнография. 1959. № 2. С. 134–145.
Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Николай Иосифович Воробьев, 1894–1967. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2002. 28 с.
Бусыгин Е. П. Счастье жить и творить. Казань: Изд-во Kazan-Казань, 2007. 400 с.
Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Декоративное оформление русского сельского жилища в Чувашской и Татарской АССР // Советская этнография. 1974. № 3. С. 96–103.
Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Этнография в Казанском университете/ Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2002. 202 с.
Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Зорина Л. И. Структура русской сельской семьи на территории Марийской АССР // Географический сборник. Казань: Изд-во КГУ, 1969. С. 131–138.
Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Михайличенко Е. В. Общественный и семейный быт русского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование (середина XIX — начало XX в.). Казань: Изд. Казанского университета, 1973. 165 с.
Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Токсубаева Л. С. Декоративное оформление сельского жилища в Казанском Поволжье. Казань: Татарское книжное издательство, 1986. 125 с.
Бусыгин Е. П., Кучерявенко Н. Н. Современная общественная и культурная жизнь русского населения правобережных районов ТАССР // Очерки статистической этнографии. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976. С. 85–106.
Валеева (Фаттахова) Г. А. Академический центр Татарии: 1920-е гг. //Академический центр Наркомпроса ТАССР: документы и материалы. Казань: ИЯЛИ, 2015. С. 7–33.
Воробьев К. И. Материалы по культу домового и дворового у мишарей Буинского кантона Татреспублики //Труды студенческого кружка любителей Природы при КГУ. 1929. Вып. 3. С. 87–92.

Воробьев К. И. Программа для собирания сведений о духах-хозяевах: домовом, дворовом и усадебным у казанских татар и мишарей //Труды студенческого кружка любителей Природы при КГУ. 1929. Вып. 3. С. 93–103.

Воробьев Н. И. Быт и культура татар на Всероссийской С.-Х. и Кустарной Выставке //Труд и хозяйство ТССР. 1923. № 4. С. 3–7.

Воробьев Н. И. Казанские татары (Этнографический очерк) // Материалы по изучению Татарстана: Сборник статей. Казань, 1925. Вып. 2. С. 133–166.

Воробьев Н. И. Материалы по быту русского старожильческого населения Восточной Сибири. Население Причуньского края (Енисейская губерния) // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском госуниверситете. 1926. Т. 33. Вып. 2–3. С. 59–112.

Воробьев Н. И. Жилища и поселения казанских татар Арского кантона ТССР // Вестник научного общества татароведения (В.Н.О.Т). 1926. № 4. С. 10–49.

Воробьев Н. И. К. Ф. Фукс — первый исследователь быта казанских татар // Вестник научного общества татароведения (В.Н.О.Т). 1927. № 6. С. 3–16.

Воробьев Н. И. Некоторые данные по быту крещенных татар Челнинского кантона ТССР // Вестник научного общества татароведения (В.Н.О.Т). 1927. № 7. С. 157–172.

Воробьев Н. И. Материальная культура казанских татар (опыт этнографического исследования). Казань: Издание Дома татарской культуры: Издание Академического Центра ТНКП, 1930. 480 с.

Воробьев Н. И. Этнографические исследования в Чувашской АССР // Советская этнография. 1950. № 2. С. 205–208.

Воробьев Н. И. Казанские татары (этнографическое исследование материальной культуры дооктябрьского периода). Казань: ТАТГОСИЗДАТ, 1953. 380 с.

Габдрахманова Г. Ф., Мусина Р. Н., Суслова С. В. Тюрко-татарский вектор российской этнологии (к 25-летию Отдела этнологии Института истории Академии наук Республики Татарстана) // Этнографическое обозрение. 2013. № 5. С. 162–178.

Головнев А. В. Этнография в российской академической традиции // Этнография. 2018. № 1. С. 6–39.

Губайдуллин С. Г. Дорогие мои предки // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2003. № 1/2. С. 214–219.

Губаайдуллин К. С., Губайдуллина М. С. Пища казанских татар // Вестник научного общества татароведения (В.Н.О.Т). 1924. № 6. С. 17–49.

Гущина Е. Г. «Познай самого себя»: кафедра географии и этнографии Казанского Императорского университета // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 11(49). Ч. 2. С. 72–75.

Гущина Е. Г. Этнографическое собрание Императорского Казанского университета: история формирования и развития // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанского университете. Казань, 2019. Т. 39. № 1–2. 255 с.

Евсевьев М. Е. Мордва Татреспублики // Материалы по изучению Татарстана: Сборник статей. Казань, 1925. Вып. 2. С. 173–196.

Егерев В. В. Самобытное расселение народностей Казанского края (мат.) // Вестник научного общества татароведения (В.Н.О.Т). 1928. № 8. С. 55–99.

Заманова Г. Р. Вестник научного общества татароведения [Электронный ресурс] // Tatarica. Татарская энциклопедия. Доступ: https://tatarica.org/ru/razdely/sredstva-massovoj-informacii/periodicheskie-izdaniya/vestnik-nauchnogo-obshchestva-tatarovedeniya

Зорин Н. В., Токсубаева Л. С. Декоративное оформление русского сельского жилища на территории автономных республик Среднего Поволжья // Очерки статистической этнографии Среднего Поволжья. Казань, 1976. С. 156–167.

Марданова Ф. Ф. Первый этнограф среди татар // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2021. № 4. С. 81–87.

Масленников Н. И. Из быта мордвы села Кученяева, Алатырского уезда Симбирской губернии / [студ. Н. Масленников]. Казань: Типо-лит. Императорского ун-та, 1915. 8 с.

Материалы по изучению Татарстана: Сборник статей / Бюро краеведения при Акад. центре Т.Н.К.П. Казань: [б. и.], 1925. Вып. 2: Посвящается пятилетию Татарской С. С. республики / Под ред. Г. Г. Ибрагимова, Н. И. Воробьева. 275 с.

Мухамедова Р. Г. Татары-мишари (историко-этнографическое исследование). М.: Наука, 1972. 246 с.

Мухаметшин Ю. Г., Халиков Н. А. Усадьба тюркских народов: сельское жилище татар Поволжья и Урала (конец XIX — начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Петропавл.: АО «Полиграфия», 2011. 248 с.

Никольский Н. В. Чуваши // Материалы по изучению Татарстана: Сборник статей. Казань, 1925. Вып. 2. С. 167–172.

ПМА, 1– Полевые материалы авторов. Ф. 1. Оп. 1. Интервью № 2.

ПМА, 2 — Полевые материалы авторов. Ф. 1. Оп. 1. Интервью № 2.

Программа работ научного Общества татароведения //Вестник научного Общества татароведения. 1925. № 1–2.

Русские: историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. Середина XIX — начало XX века [Карты]/ под ред. В. А. Александрова, В. И. Козлова, П. И. Кушнера (отв. ред.), М. Г. Рабиновича. М: Наука, 1967. 358 с. 71 отд. л. карт.

Сафина Ф. Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала. (Конец XIX– начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: Фэн, 1996. 206 с.

Соколов В. Т. Мари // Материалы по изучению Татарстана: Сборник статей. Казань, 1925. Вып. 2. С. 173–178.

Суслова С. В. К 95-летию Рамзии Гиниатовны Мухамедовой // Историческая этнология. 2018. Том 3. № 2. С. 361–374.

Суслова С. В., Мухамедова Р. Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX — начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: Фэн, 2000. 312 с.

Тарзиманов Ф. В., Рахим А. Хузялар Тауы // Вестник научного общества татароведения (В.Н.О.Т). 1928. № 8. С. 174–189.

Татары Среднего Поволжья и Приуралья / под ред. Н. И. Воробьева и Г. М. Хисамутдинова. Москва: Наука, 1967. 537 с.

Титова Т. А., Гущина Е. Г. Е. Женщины-этнографы дореволюционной Казани // Горожанки и горожане в политических, экономических и культурных процессах российской урбанизации XIV–XXI веков. Материалы Одиннадцатой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 4–7 октября 2018 г., Нижний Новгород. В 2-х томах. М.: ИЭА РАН, 2018. Т. 2. С. 217–219.

Улемнова О. Л. Музейное дело, охрана и изучение памятников искусства и старины //Академический центр Наркомпроса ТАССР: документы и материалы. Казань: ИЯЛИ, 2015. С. 49–59.

Уразманова Р. К. Быт нефтяников-татар юго-востока Татарстана (1950–1960 гг.). Альметьевск, 2000.

Уразманова Р. К. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала (Годовой цикл XIX — нач. XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: ПИК «Дом печати», 2001. 198 с.

Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 38 — Государственный архив Республики Татарстан (ГА РТ). Ф. Р1337. Оп. 1. Дело № 38. Отчеты о работе кабинетов минерологи, этнографии и географии, о научных командировках профессора В. Лепешкина за 1920 год. 7 л.

Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 18 — ГА РТ. Ф. Р1337 Оп. 1. Д. № 18. Учебные планы, планы факультетов, распределения учебной нагрузки между профессорами и преподавателями. 68 л.

Ф. Р1337. Оп. 1. Д. 89 — ГА РТ. Ф. Р1337. Оп. 1. Д. № 89. отчеты факультетов, лабораторий, библиотеки Университета за 1924/25 учебный год. Список научных сотрудников физико-математического факультета. 185 л.

Ф. Р1337. Оп. 3. Д. 36 — ГА РТ. Ф. Р1337. Оп. 3. Д. № 36. Отчет о деятельности факультета, его кабинетов, лабораторий и кружков за 1923–24 академический год. 206 л.

Ф. Р1337. Оп. 18. Д. 4 — ГА РТ. Ф. Р1337. Оп. 18. Д. № 4. Анкеты профессоров и преподавателей университета. 152 л.

Халиков Н. А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина XIX– начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань, 1995. 235 с.

Чуваши: этнографическое исследование. Ч. 1. Материальная культура / под ред. Н. И. Воробьева. Авт. Н. И. Воробьев, А. Н. Львова, Н. Р. Романов, А. Р. Симонова и др. Чебоксары, 1956. 415 с.

Чуваши: этнографические исследования. Ч. 2. Духовная культура / Авт. И. Д. Кузнецов, Н. И. Иванов, Н. Р. Романов и др. Чебоксары, 1970. Ч. 2. 308 с.

Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования. Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: ПИК «Дом печати», 2002. 248 с.

Глава 12. СОВЕТСКИЕ ЭТНОГРАФЫ-СЛАВЯНОФИЛЫ: В. А. АЛЕКСАНДРОВ, М. М. ГРОМЫКО, И. В. ВЛАСОВА

Особенности формирования советского славянофильства

Что выходило на первый план у классических славянофилов, что было сущностью их мировоззрения? Если в двух словах — это сердечная любовь к народу, к своему, русскому народу, корни которого в славянстве. Любовь в ее христианском смысле, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит, никогда не перестает...» [1 Кор. 13, 4–8]. Такая любовь исключала национализм, превозносящий гражданскую идентичность, она вся была сосредоточена на любви к этносу, начиная с его этнографического портрета и заканчивая народными основами всей русской цивилизации, этносом в его социальных, хозяйственных, культурных и религиозных формах. Христианская любовь к народу подразумевала не только гордость за народ, но и трезвую оценку в отношении его, материнское желание покрыть его недостатки, — словом всё, что обозначено у апостола Павла под термином «любовь».

Для классических славянофилов были характерны несколько идейных установок: на «почвенность», «народность», «народную цивилизацию». Почвенность означала страну, территорию, землю, Россию, священный — святорусский — статус этой территории. Эту тему емко развили в своих публицистических трудах братья Аксаковы: Константин Сергеевич и Иван Сергеевич [*Аксаков* 2002: 173–179; 180–186; 221–225; *Аксаков* 1861: 149]. Народность — конкретный русский народ, корни которого надо искать в славянстве. В вопросе народности славянофилы были за широкое, всесословное понимание народа, но, они констатировали сужение народного целого до простонародного, крестьянского, поэтому к нему они обращали свой взор защитников народности и ее ценителей. И. В. Киреевский обосновал в своих работах важность обращения к народным началам, в данным случае к русским началам [*Киреевский* 2006: 37–47; 71–127]. Эту же тему активно поддерживали позже братья Аксаковы. Цивилизационный подход означал противостояние народной и государственной истории, поскольку, по мысли славянофилов, народная история была богаче политической, государственной, она была цивилизационной. Как отмечал А. С. Хомяков: «естественная жизнь народов» и «искусственная жизнь государственных обществ» [*Хомяков* 1900: 340]. В нее включались демографическая, хозяйственная, культурная, сословная составляющие. В этом контексте государственная история

рассматривалась как оболочка (форма) без содержания. Всё богатство содержания исторического процесса принадлежало народу. Таким образом, исторический путь России — это путь цивилизации, а не государственности. Патриотизм славянофилов имел не гражданский, а этнокультурный характер. Хотя речь у них шла о стране, но эта страна — не государство, (политический организм), а цивилизация. При этом, как и государство, цивилизация претендовала на системность, наличие границ, порядок и иерархию. Цивилизационный подход был определяющей характеристикой этого направления мысли. Все основные положения характеристики «народной цивилизации», как и доминирования этого пункта у славянофилов можно найти в известной работе Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» [*Данилевский* 1995: 85, 100, 108–109, 398–431]. Но раньше Данилевского эту тему озвучил А. С. Хомяков. Ее поддерживали все известные славянофилы.

В период существования империи славянофилы занимали оппозиционную нишу в общественно-политической мысли; власть к ним прислушивалась, не преследовала их жесткими ограничениями, но и не давала им места в государственной системе идейности (в идеологии). В 1880-е годы их широкая общественная значимость вообще сошла на нет, т. к. началась новая эра в идейных приоритетах, началось формирование софинианства. Но славянофильство и в это время не угасало, оно в отдельных формах даже присоединилось к новой идейности, обогащая ее своим содержанием. Его гибкая, гуттаперчивая природа указывала как на отсутствие у него претензий быть идеологией, так и на возможности приспосабливаться к окружающей среде (что в советское время и было использовано). Неактивная, не броская, но довольно широкая (социально) жизнь славянофильства продолжалась до самой революции, она не остановилась и в советское время, так же тихо и малозаметно. Вот почему, когда славянофильская идейность понадобилась советскому государству, в середине 1930-х годов, она была извлечена на свет не из книг, архивов и музеев, а из мировоззрения действующей части гуманитарного научного общества.

Следует подчеркнуть, что события, связанные с реинкарнацией славянофильской идейности, были не совсем простые, у них была своя, сложная драматургия. Советское славянофильство ведет свой отсчет со времени падения влияния академика-большевика М. Н. Покровского, и утверждения позиций Б. Д. Грекова в середине 1930-х годов. До этого, представители «старой школы» могли трудиться в академии наук и в других научных центрах под строгим присмотром власти; ее спецорганов, также со стороны политических историков и идеологов — Е. М. Ярославского и М. Н. Покровского. Представители старой школы, судя по делу академиков 1929 г., были условно говоря «монархистами», т. е. государственниками, имперцами, православными, но согласившимися работать в СССР совершенно сознательно и открыто. В академическом деле 1929 г. (когда произошла зачистка этой генерации) фигурирует 17 человек,

из них 13 признались в своем монархизме, включая академика С. Ф. Платонова [*Академическое дело* 2015: 123–126]. Имперская монархическая идейность, в отличие от славянофильства, являлась частью государственной идеологии, поэтому эту идейность можно обозначать как монархическую, имперскую идейность. В ее рамках работала вся прежняя дореволюционная русская «государственная историческая школа», а если смотреть шире, то большинство крупнейших русских историков XIX — начала XX в. были выразителями этой идейности. Государственников не трогали до 1929 г., пока не началось форсирование нового сталинского курса. Но, даже подвергнув их аресту, суду и пятилетней высылке в провинцию, можно сказать, что с ними обошлись мягко, учитывая какие обвинения им предъявляли. Их обвиняли в сотрудничестве с заграницей, в попытке подготовки свержения советского строя и замены его монархией. Мягкость наказания указывала как на надуманность обвинений, так и на понимание неопасности их для советского общества. Происходил, судя по всему, процесс смены формата категории профессиональных историков. Власть была заинтересована, чтобы «государственников» старой школы сменили историки-славянофилы, которые до этого *никогда* профессионально не занимали этой научной ниши. Да и не было среди ученых-гуманитариев славянофилов, как отдельного направления. Число их было единично. Работы славянофилов входили в категорию философских или общественно-публицистических трудов. Вот почему, на наш взгляд, советские непартийные историки долго не могли понять, что власть от них хочет. Это новшество надо было осознать, прочувствовать, увидеть в нем научный потенциал, наконец, привыкнуть к новой роли и стезе. Это продолжалось приблизительно около десятилетия, начиная с 1929 г.

При этом место старых историков-государственников должны были занять историки-партийцы новой генерации, ученики школы М. Н. Покровского, с условием определенной идейной чистки этого направления от слишком радикального наследия ленинизма и троцкизма. Зачем нужна была эта идейная чистка? 1920-е годы, в научной, культурной и образовательной сферах стали для новой науки временем *механического* соединения новой — партийной — линии, со старой профессиональной, что, конечно, не могло долго продолжаться. Советская власть видела в старых ученых лишь группу «спецов», которые помогали ей временно справиться с дефицитом кадров в этих областях, еще не укомплектованных советскими учеными, педагогами и деятелями культуры. Ей казалось, что со временем доля партийной части будет всё более возрастать, а процент «старых» кадров уменьшаться, так что со временем сойдет на нет. Довольно скоро обнаружилась невозможность такой замены. Партийность, как методологическая основа для всей этой обширной области знания и культуры, не могла заменить профессионализма, потому что партийность оказывалась в области мыслительного и художественного творчества не более чем механизмом, который тиражирует идеоло-

гические механические формулы, схемы, общие положения. За партийностью не стояло никакого реального содержания, ни живого творчества, ни возможности опираться на жизненную реальность, ни облекаться в строгие профессиональные формы. Словом, подстраиваться под саму жизнь, а не требовать, чтобы жизнь подстраивалась под нее. Полное господство партийности в науке вело ее к катастрофе. Эту опасность большевики ощутили уже в середине 1920-х годов во всех сферах, особенно в экономической области, когда сравнивали данные роста их сегмента промышленности с областью роста доходов частного капитала и пришли к выводу, что НЭП приведет к победе капиталистического строя [Стенограммы заседаний Политбюро 2007: 171]. И это при том, что частный сектор в значительный степени находился под контролем советских органов. И всё равно он побеждал. Выход, предложенный, возможно, и не Сталиным, но принятый им к сведению, был единственно верным для сохранения советской власти. Партийность должна была подчиниться профессиональной целесообразности и это подчинение нужно было распространить на все сферы, а не только на экономическую [*Кириченко* 2018: 132–183]. Так, и для науки открылась своя стезя возвращения к господству профессионалов над партийными кадрами.

Стоит сказать, что новый курс, провозглашенный И. С. Сталиным, был очевиден власти только в общих чертах, поэтому не было никакого стремительного движения вперед, двигались больше «наощупь», чем по строго продуманному плану. Следствием этого были, как нам кажется, и активные репрессии, а также постоянная корректировка курса, наподобие той, что привела к появлению сталинской статьи «Головокружение от успехов». Вопрос ставился так, что отвечать приходилось людям, действующим на свой страх и риск (в рамках общего курса), допускающим просчеты, а точнее сказать — не удовлетворяющим запросы вождя. Впрочем, сам он интуитивно стремился к нужному результату.

Партийный историк большевик М. Н. Покровский был профессионалом в своей области, это признавали и в 1960-е годы известные советские историки, тот же М. Н. Тихомиров, который готовил тогда к изданию избранные труды Покровского. Сегодня работы Покровского вновь стали появляться на полках книжных магазинов! Но Покровский был не только историком, но и идейным большевиком, строгим ревнителем линии партии, в первой половине 1920-х годов, ориентированной на полную идеологизацию науки. Именно он был поставлен на роль демиурга, создателя нового поколения советских историков, партийных в своей историчности. За Покровским-профессионалом осуществлялся негласный надзор со стороны агитатора Ем. Ярославского, имевшего полномочия кроме главы пропагандистов, школы воинствующих безбожников, еще и обязанности идейного цензора над всей гуманитарной сферой. Не случайно именно он являлся ведущей фигурой в период компании разоблачения ошибок школы Покровского [*Артизов*

1998: 178]. Покровский и Ярославский конфликтовали между собой именно по этой причине. По той же причине Покровский старался быть не просто историком, но партийным историком, воинствующим атеистом, а кроме того, историком, выполняющим особую миссию создания советской исторической науки, в которой бы развенчивались прежние, дореволюционные, исторические мифы: о величие российской государственности, о позитивной роли русского народа, о всемирном значении русской культуры. Одно дело были полемические и теоретические ленинские работы, критикующие русские претензии на великодержавность, другое дело подобную несостоятельность показать на обширном историческом материале. Образцово партийное учебное пособие Покровского «Русская история в самом сжатом очерке», стало искомым историческим курсом, содержащим новый, советский, взгляд на российскую историю. Пособие начало выходить еще при жизни В. И. Ленина, было им поддержано и рекомендовано к переводу на европейские языки, выдержало десять только прижизненных изданий. В предисловии для чешского читателя Покровский оправдывался за столь несоветское название книги. «Может показаться, что название носит националистический характер (!), но для автора книги под словом русский понимается представитель любого народа России, хотя в содержании книги автор пишет и о конкретно русских, как особом народе» [*Артизов* 1998: 63].

Идеологический, партийный взгляд на историю русского народа подразумевал господство: а) схем над содержанием, т. е. опору на динамику социологических выводов, в ущерб историческим фактам; б) вынесение идейных, советских оценок прежнему (дореволюционному) взгляду на историю России; в) и наконец, желание видеть в центре истории политическую борьбу, классового характера. Партийность особенно ярко проявляла себя в первом и втором пункте, в максимальной степени — в первом. Когда в 1934 г. началась сталинская компания по созданию нового исторического учебника вместо учебника Покровского, то главными претензиями вождя к нему были обозначены как «схематизм, опора на социологические схемы, а не на факты». И это при том, что М. Н. Покровский ушел из жизни в почитании и славе, прах его нес сам Сталин, было принято партийное решение об издании его трудов. Последняя работа Покровского, написанная в русле решений XVI съезда ВКП(б), направленных на борьбу с великодержавным уклоном русских, называлась «Возникновение Московского государства и великорусская народность» [*Покровский* 1930: 14–28]. В ней историк излил всю свою партийную желчь на русских, к которым он принадлежал по происхождению, как и на российскую государственность, которая дала ему образование до революции. Жесткой критике была подвергнута вся старая российская историческая школа, включая и учителей М. Н. Покровского — В. О. Ключевского и А. Е. Преснякова. В этой статье прозвучали дефиниции нового и старого: новое — это интернационализм, а старое — это славянофильство и русофильство. Старая Россия опять объяв-

лялась «тюрьмой народов», где угнетателем было уже не только государство и царская власть, но и русский народ, ведь старая Россия строилась на «костях инородцев» [*Покровский* 1930: 28].

Критика великодержавности (как завета XVI съезда) сочеталась у М. Н. Покровского с идеями прежнего курса, с опорой на интернационализм, на партийный глобализм, включающий и пункт о мировой революции, к чему призывали В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и против чего, поначалу не выступал и И. В. Сталин. Но в новом, сталинском курсе, борьба с русской великодержавностью уже не сочеталась с интернационализмом. Это стало выясняться постепенно, как следует из событий, связанных с написанием нового учебника истории. Учебник, в данном случае, был тем инструментом, с помощью которого советское славянофильство должно было быть изложено (как идейность) не только для учителей и учащихся, но и для научного сообщества. Проводилась мысль, что это не идеология, а именно форма свободной идейности. Работа над учебником длилась четыре года, с 1934 по 1937 гг., в три этапа, когда менялся круг авторов, менялись подходы, к авторству привлекалось всё больше историков старой школы [*Артизов* 1998: 140–156]. И. В. Сталин никак не мог найти нужной ему интонации преподавания истории; не хотелось слишком ослаблять партийные вожжи, в то же время ощущалась острая необходимость ободрить народ более живым взглядом на русскую историю. Люди из группы М. Н. Покровского его не понимали, но в целом большинство просто опасалось после стольких лет красного террора быть откровенными. Для И. В. Сталина проблема славянофильского контекста российской истории была ясна только в самых общих чертах, он ставил перед историками общую задачу, которая долго не выполнялась в той степени, какая требовалась.

Работа же требовала от историков возвращения к тем славянофильским позициям, от которых так радикально открещивался М. Н. Покровский. И для партийных историков такой резкий переход к чужому для себя мировоззрению был, конечно, личной трагедией и часть из них сопротивлялась этому. Ведь славянофильство, как было замечено нами выше, требовало любви к истории народа и государства, а любовь, в отличие от партийности такое чувство, которое не приобреталось вместе с партбилетом. Например, один из близких учеников Покровского Горин, в споре с Ждановым на обсуждении варианта учебника, высказал недовольство что «появилась тенденция замены прежнего гиперклассового подхода (М. Н. Покровского. — *авт.*) к истории другой крайностью — идеализацией старой государственности и самодержавия» [*Артизов* 1998: 150]. Переход на славянофильские позиции требовал по крайне мере, пересмотра старых позиций. Именно в процессе работы над учебником, для сталинского руководства выяснились многие вещи, которые потом легли в основу принятия репрессивных решений. Не пострадали те из историков, кто сумел хотя бы не за совесть, а страх, принять новые

концептуальные положения. Поэтому советское славянофильство формировалось при Сталине из двух источников: из числа тех историков, которые готовы были трудиться на новом поприще не страх, а совесть, и тех из числа партийных историков, кто сумел найти возможность это делать не за совесть, а за страх, потому что партийность их некуда не уходила. Допускаем, что партийные исторические деятели пытались сохранить некоторые свои позиции, сумели добиться, чтобы их партийная позиция была учтена, сумели повлиять на качество принимаемых славянофильских послаблений. Об этом говорят многие факты, и прежде всего то, что такие люди как А. М. Панкратова, И. И. Минц, М. В. Нечкина и ряд других сумели сохранить свое влияние и возможность участвовать в написании новых учебников.

Сложно обвинять академика М. В. Нечкину в непатриотизме по отношению к СССР или прежней России, как нельзя говорить о ее непрофессионализме. К тому же она была непартийным историком (про нее говорили непартийный партиец), ученицей М. Н. Покровского, с которым порвала незадолго до его смерти по нравственным соображениям; потом, после кончины его, выступала одним из самых активных критиков Покровского в пору борьбы с идейным наследием партийного историка (1935–1937 гг.); позже, в 1960-е — 1980-е годы отстаивала положительный, а точнее умеренно критический, взгляд на Покровского-историка. М. В. Нечкина участвовала в середине 1930-х гг. в написании нового учебника по истории СССР, подготовила свой вариант книги. При этом она исходила из понимания истории как истории классовой борьбы «народа против угнетателей». Такой партийный подход, который преобладал у М. Н. Покровского, требовал своей логики развития событий: от одного участка борьбы к другому до освободительной социалистической революции. Поэтому, хотя М. В. Нечкина и становится во второй половине 1930-х годов историком-государственником, она незаметно для себя полемизировала со славянофильством в истории, со славянофильским направлением в советской историографии. Это ярко обозначилось в ее докладе «Почему Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития», прочитанным 13 февраля 1941 г. в Институте истории АН СССР [*Курапова* 2013: 22]. Доклад раскритиковал даже Е. М. Ярославский, который в свете новой политики не увидел в нем положительного образа России. «Отсталость эту Нечкина изобразила как абсолютную, исконную, на протяжении истории Росси от скифов до XX века». «Извечную отсталость» страны Ярославский оценил как «антимарксистское утверждение Нечкиной» [*Курапова* 2013: 22]. Даже такому партийному функционеру как Е. М. Ярославский Нечкина не угодила своей позицией, хотя она лишь зашла не на свою территорию компетенции. Для партийного государственника было еще трудно понять, что времена изменились и славянофильское историческое поле теперь защищает государство и права у советских славянофилов и партийных государственников теперь

почти равны. М. В. Нечкина знала о прежней точке зрения И. В. Сталина на российскую историю (об извечной отсталости России), и она отталкивалась от нее, но более приближенному к вождю Е. М. Ярославскому уже было известно, что тот стал не так остро критично смотреть на тему «отсталости», предпочитая выделять прогрессивные черты в каждую эпоху. Нечкина, очевидно, не знала этих тонкостей и в своем «головокружении от успехов» продолжала (как и многие идеологи) двигаться старым курсом. Как идеолог она скоро разобралась в переменах и не стала далее настаивать на своей точке зрения. Стоит, однако, отметить, что для идеолога мало было быть ученым, важно было всё время демонстрировать свою идеологическую (не идейную!) собранность, компетентность и бдительность. Даже в дневнике Нечкина критически оценивает волнение, которое охватило ее коллег по институту в первый месяц войны как «головотяпско-вредительский кавардак»: «летающая и веющая Панкратова», «растерянный Греков» [*Курапова* 2013: 347] и т. д. В этом беззаветном служении идеологии как научной истине, ей не казалось странным радоваться по поводу успешности чисток, проходивших в ее Институте. Ведь чистками занимался близкий ей родственник, и чистки происходили от слова «очищение». Для ее декабристского максимализма это было понятно и даже необходимо.

Тем не менее, та же самая М. В. Нечкина, которая призывала к пролетарскому возмездию к врагам власти в 1930-е годы, в годы войны со всей своей искренностью и экспрессией, стала трудиться на патриотическом фронте, писать брошюры о дореволюционных русских полководцах, героях и святых. Такова была идеология государства и линия партии в этот период. И ей, как ученому, нужно было подчиниться этим переменам. Интересно отметить, что школьный учебник «Истории СССР» для 7 класса, написанный ею в соавторстве с заслуженным учителем СССР П. С. Леубенгрубом, просуществовал до конца советской эпохи. В нем была зафиксирована калька со сталинского, славянофильского взгляда на российскую историю, с двумя принципиальными поправками: классовая борьба продолжала оставаться движущей силой истории, и Церковь была представлена в критическом свете, как разрушительная сила. Русская история лишь по названию оставалась русской, лишь по знакомым историческим фактам — российской историей, не более того.

Ученые-славянофилы и историки-партийцы находились в тесном единстве, что заставляло ту и другую сторону учитывать интересы друг другу, все делали общее дело. В этом случае, лишь личная позиция ученого определяла границы погружения в противоположную стихию, партийцев в славянофильство, а славянофилов в партийность. Славянофилы словно вернулись к прежнему состоянию легальной борьбы с западниками, но только в роли западников теперь выступали ученые партийно-идеологического толка.

Поэтому правильно было бы обозначить смысл происшедших в советской исторической науке перемен, как некоторое *выравнивание* положения

представителей и наследников «старой школы» с партийными историками. Те, из историков, которые попали в 1929 г. под арест и осуждение в связи с академическим делом и остались живы после ссылок (С. В. Бахрушин, В. Н. Пичета), смогли влиться в славянофильское сообщество в его новом качестве и передать свой опыт другому поколению. Во всяком случае, из числа старых академических кадров выделяются два человека — академик С. В. Бахрушин и не попавший под арест в 1929 г. Б. Д. Греков. От них, как нам кажется и следует вести линию советского славянофильства. Воспитанником Б. Д. Грекова и С. В. Бахрушина был М. Н. Тихомиров, крупнейшая для славянофильства фигура, вокруг которого сформировалась в 1960-е годы целая школа.

Не останавливаясь подробно на характеристике трудов этих ученых, отметим самые важные вещи, касающиеся их славянофильства. Академик Д. С. Лихачев видел в Грекове первостепенную фигуру для советской исторической науки — «восстановителя в нашей стране в 30-х годах значения исторической науки. В истории советской исторической науки Грекову будет всегда принадлежать первое место» [*Лихачев* 1985: 444]. Лихачев знал имена многих крупных, выдающихся русских историков, академиков, трудившихся в советское время в довоенный период, но выделил именно академика Грекова, с чьим именем было связано возвращение исторической науке ее подлинного качества. И здесь имело значение не только профессионализм, который был у академика М. Н. Покровского или член-корреспондента С. В. Бахрушина, но важнее была глубочайшая любовь к науке и к главному предмету науки. Этим и отличалось славянофильство от партийной истории. Как ни любила академик М. В. Нечкина свою страну и науку, свой народ, но она любила их *по-партийному*, а не по-христиански, не по-русски, поэтому ей было важно, как в свое время западникам Чаадаеву, Грановскому, Герцену, — показать «правду», а не явить любовь к народу. Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» подчеркивает, что с идейной стороны, как беззаветный служитель высокой идеи западник был безупречен: «Грановский был самый чистейший из тогдашних людей; это было нечто безупречное и прекрасное» [*Достоевский* 1981: 64]. Но именно этот кристально честный человек, становится у писателя литературным прообразом Степана Трофимовича Верховенского, идейного вдохновителя «бесов» — революционеров-террористов. Писатель объясняет эту странную зависимость «идеального» от разрушительного в таких людях несколькими причинами: «затаенное глубоко внутреннее неуважение к себе», т. е. желание быть не только профессором истории, но и пророком в своем отечестве, наставником общественного мнения, там, где он слаб и непрофессионален. И здесь проявляется его цинизм и даже радикализм. Эту способность перескакивать с почвы на идею, с профессиональной деятельности на что-то общественно резонансное, заставляет его следовать не логике истины, сердца, а идейной актуальности, забывая про все свои прежние высокопарные нормы «безупречного и прекрасного». Так Гранов-

ский в угоду европейской конъюнктуре, готов был в период Крымской войны смотреть «по-европейски» на славянский вопрос, обвиняя Россию в том, что Турция жестоко обращалась с подвластными славянами. Западничество Грановского, по мысли Достоевского состоит, в высокомерном отношении к народу, хотя внешне он «скорбит и плачет о народе». Но за его холодным, рассудочным, плачем стоит позиция «заклятого западника, готового всегда признать в народе прекрасные зачатки, но лишь в „пассивном виде" и на степени „замкнутого идиллического быта", а о настоящей и возможной деятельности народа — „лучше уж и не говорить"». И далее: «Для него народ наш, даже во всяком случае, лишь косная и безгласная масса» [*Достоевский* 1981: 69]. Советские партийные историки при всем их славословии в отношении народа, были теми же западниками, наподобие Грановского, с его формальной, идейной любовью, не более того.

Любовь деятельная первенствовала у советских славянофилов, как общее качество, присущее всем славянофилам, независимо от эпохи, в которую они трудились и по-разному выражали свое понимание народности, народной цивилизации, почвенности. В очерке М. Н. Тихомирова о Б. Д. Грекове выделяются слова, характеризующие его как ученого, имеющего горячее, сердечное отношение к тематике, которой он занимался: «С великой любовью охранял он седую старину», — это говорится о самых ранних работах Грекова, посвященных Великому Новгороду. Занимаясь вопросами феодализма и историей крестьянства, ученый проявлял то же неравнодушие: «монография Грекова воссоздавала исключительную по живости картину русского феодального хозяйства» (!), или: «Книга Грекова проникнута глубоким уважением к трудовому подвигу крестьянства». Тихомиров не мог не привести цитату их книги Грекова, в которой тот, действительно, воспевает крестьянские подвиги: «Русский крестьянин со своим топором и сохой привел в культурное состояние необозримые пространства Восточно-Европейской равнины и сумел перенести свои трудовые навыки на Урал, в далекую Азию. Крестьянин с оружием в руках оборонял родную землю в борьбе с многочисленными врагами и заслужил славу непобедимого» [*Тихомиров* 2000: 223–233]. О самом академике М. Н. Тихомирове, ученике Б. Д. Грекова, также было сказано в день прощания историком Н. Н. Ворониным: «Михаил Николаевич дрался на самом переднем крае… высоким сознанием того, что Русь стала не вчера, что наше сегодня стоит на фундаменте веков, что изучение многовекового прошлого русского народа не прихоть книжного червя, а патриотический долг русского ученого-гражданина, изучение истории Древней Руси и ее культуры вовсе не „уход в прошлое", а воскрешение этого прошлого, его возврат сегодняшнему дню и коммунистическому завтра… Пока он держал фронт русской медиевистики, мы как-то не оценивали в должной мере его значение. Упал щит, надежно прикрывавший от натиска недомыслия, а то и просто вельможного невежества наш участок науки. Его тело принимает древняя русская земля, земля великой русской столицы —

древней Москвы, которую он так беззаветно любил» [Надгробное слово 2012: 150]. Академик Арциховский писал Тихомирову в поздравлении с утверждением его в академическом статусе: «Никогда Вы этого не добивались и ничего специально для этого не делали. Вы только отдавали все силы научной работе, любили научную работу, любили Древнюю Русь» [*Шмидт* 2012: 34]. Ученик Тихомирова В. А. Александров в некрологе в память учителя отмечал также его «любовь к русской истории», которую Тихомирову привил его отец [*Александров* 1965: 138]. Учитель в ученике также имеет продолжение. И про профессора В. А. Александрова в некрологе тоже были сказаны, как будто не относящиеся к науке слова: «Горячо любил Вадим Александрович русский народ, Россию, ее природу. В его доме всегда имелось место цветам, птицам, животным. В свободное время он стремился в лес, к реке. Друзья с удовольствием слушали его образные и эмоциональные рассказы о летних „трофеях", в кругу близких людей его внезапно настигла смерть» [*Липинская* 1994: 190].

Советские славянофилы-историки и этнографы начали заниматься проблемами, которыми дореволюционные историки занимались минимально: генезисом феодализма, в социальном, а не только экономическом ключе; в самом широком спектре аграрными вопросами; впервые масштабно историей заселения и освоения территорий страны; эволюционной историей образования российского государства, материальной, правовой и духовной культурой народа. Советские славянофилы вернули «нормандскому вопросу» необходимый объективный тонус рассмотрения, показав, что западничество в этой сфере началось еще в пору спора М. В. Ломоносова с учеными из Германии, работами в стенах Российской академии наук. Суть спора состояла не в национальности немцев, отстаивавших начало нормандской истории российской государственности, а в их позиции видеть в славянах отсталый народ, не способный к созданию государственности. Интересно отметить, что М. В. Нечкина, как партийный историк, действительно не желала видеть в позиции Байера и Шлецера нравственного акцента. «Центральный момент спора (норманистов и антинорманистов. — *авт.*) — толкование племени „Русь", которому, согласно летописному преданию, принадлежали призванные варяги» [«Мучилась и работала невероятно» 2013: 709]. На этот счет М. Н. Тихомиров писал: «Несколько преувеличено значение борьбы Ломоносова с Миллером. Ведь по существу Ломоносов возмущался Миллеровскими работами не потому, что Миллер говорил о значении варягов, а потому что тот, повторяя Байера, практически отрицал какое-либо развитие культуры у славян...» [*Шмидт* 2012: 38]. По этой же причине, чтобы показать народные корни российской государственности, Б. Д. Греков обратился к ранней истории восточных славян, и показал существование у них раннегосударственных форм уже в VI н. э. [*Тихомиров* 2000: 224].

Распространение советской славянофильской методологии осуществлялось главным образом через учебные пособия, как это было нами пока-

зано в связи с написанием учебников для средних школ в середине 1930-х годов. Сам вождь выправлял тогда тексты, показывая, что власть заинтересована в этом нарративе не менее, чем была заинтересована в кратком курсе ВКП(б). После войны выходит такой же знаковый, как в 1930-е годы учебник Шестакова, учебник для исторических факультетов вузов «История СССР с древнейших времен до конца XVIII в.». Т. 1. М., 1946; 1948 2-е изд. и т. д. под редакцией академика Б. Д. Грекова, чл.-корр. С. В. Бахрушина, проф. В. И. Лебедева. Учебник готовил большой (27 человек) авторский коллектив самых авторитетных советских историков. Отсутствовали главы, написанные М. Н. Тихомировым и Н. Л. Рубинштейном, потому что они выпустили отдельные пособия по своим темам: «Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в.» и «Русская историография». Задача учебника, как отмечалось во введении, состоит в том, чтобы показать, что великая страна имеет великую историю; начиная с палеолита, историческая жизнь здесь не останавливалась и каждая эпоха представлена богатейшей культурой, созданной народами СССР. «Этническая история» — ключевой момент для истории СССР, поскольку вовлеченность народов «в сложные отношения друг с другом» позволяют говорить об изменениях в этническом составе и в целом — об «этнологическом процессе». «Каждый гражданин Советского Союза должен знать полную примеров героизма многовековую борьбу великого русского народа и других народов нашей страны за свою государственную независимость и честь» [История СССР с древнейших времен 1948: 8–9]. В этой истории есть «темные и светлые стороны», но после 1917 г. она вышла на свой высший этап развития, который характеризуется отсутствием эксплуатацией человека человеком. Грекову здесь принадлежало три обширных главы, посвященных киевскому, домонгольскому периоду русской истории.

Не углубляясь далее в детали обширной темы функционирования в целом системы советского славянофильства в послевоенный период, остановимся на трех характерных примерах, трех исследователях, историках и этнографах, работавших в стенах ИЭА РАН в послевоенный и частично постсоветский период в рамках славянофильской парадигмы. Поскольку славянофильская идейность не являлась всё же официальной доктриной, это был хрупкий и изменчивый методологический инструмент, хотя и обладающий вполне определенными константами, мы рассмотрим разные варианты славянофильской трансформации. В этом смысле, идейная позиция В. А. Александрова будет являть образец «классического» советского славянофильства (от начала до конца), М. М. Громыко — отказ от советского славянофильства на заре новой — постсоветской эпохи, И. В. Власовой — трансформацию советского славянофильства в условиях трансформации государства и его идеологии.

В. А. Александров (1921–1994)

Вадим Александрович Александров (1921–1994), советский историк и этнограф, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии, на счету которого более 300 научных работ, включая пять монографий, трудившийся в ИЭА РАН с 1956 г. до скоропостижной кончины в 1994 г. [Наши юбиляры 1982: 143–146; *Липинская* 1994: 187–190]. Яркий представитель советской исторической и этнографической науки, славянофил, но и государственник, а, значит, в какой-то мере и западник, до последних дней жизни трудившийся с невероятным напряжением сил и воли, результатом чего стали его многочисленные высококвалифицированные научные труды, построенные на первичных неопубликованных архивных источниках; несущий в себе противоречия эпохи как нечто должное и привычное; как славянофил, романтик и идеалист, искренний в своей любви к народу и стране; как западник весь пронизанный иронией и критицизмом по отношению к государственному делу, которому он служил. Свою личную свободу ощущал, как принадлежность к дворянскому сословию, образованной и служилой касте. «Случайно уцелевшие», — называет он подобную себе категорию людей. Свое идейное рабство не озвучивал, но переносил как дурные привычки времени, эпохи, в которую он жил. Сталинское и вообще советское время не любил, но эта нелюбовь открылась и была озвучена только в мемуарах уже в 1990-е на фоне роста в нем западнических настроений. Свой характер, очень непростой, ощущал, как привилегию, хотя на деле, он вырабатывался в тенетах и противоречиях своего времени, в союзе несоединимых вещей: белого и черного, добра и зла, подлинного и конъюнктурного. Тем не менее, это был историк-славянофил, яркий представитель той когорты, что сложилась в советской науке в послевоенные годы на волне Великой победы и у которой был оптимистичный дух, помогающий им трудиться не так как трудились в 1930-е годы, не для коммунизма, а для чего-то большего и осязаемого. Поражает удивительное сочетание в подобных ему людях любви к прошлому, не переходящей в диссидентское неприятие настоящего и искреннего служение современной, советской России, во всех ее противоречиях и сложностях жизни!

В. А. Александров не был атеистом, хотя и с большой осторожностью и нередко скептицизмом выражал свои религиозные взгляды. Это шло, мне думается, тоже от его понимания до́лжного у дворян[108]. Безусловная сим-

[108] В быту Вадим Александрович практиковал дворянские атрибуты: старинная дворянская мебель в гостиной, увлечение охотой (дома держались две охотничьи собаки), посещение ипподрома не только ради ставок, но и ради самого мероприятия. Он гордился родственной связью с известным митрополитом Трифоном (Туркестановым, 1867–1934), но о его родственной связи мы узнали уже после кончины историка. Она зафиксирована историком в его мемуарах: «Моя бабушка — урожденная княжна Туркестанова... ее двоюродный брат, знаменитый проповедник митропо-

патия к православию просматривалась в книгах, в личной же жизни к концу стал проявлять интерес и к церковному богослужению, но любопытство (скорее даже внутренняя тяга) не перешло в нечто большее. Дома хранилась небольшая коллекция старинных икон, которые были собраны и подарены Вадиму Александровичу его пермским учеником этнографом Г. Н. Чагиным. В. А. Александров предпочел, чтобы его отпевали в храме Ильи Обыденного, храме старинном, намоленном, сохранившем дух старой, церковной Москвы, хотя рядом с ним находился храм Михаила Архангела в Тропарево.

Славянофильство В. А. Александрова было естественным для него явлением, хотя само это идейное течение с самим собой он никогда не соотносил, во всяком случае, нигде не называл себя славянофилом. Из его научных трудов, из мемуаров вырисовывается облик человека, имеющего совершенно четкие жизненные ориентиры; патриота своей страны, русского народа, тепло, сердечно относящегося к родной истории, получившего воспитание в родительской семье[109]. Для такого человека быть славянофилом было также естественно, как «правильно дышать», правильно «смотреть на жизнь». Славянофильство как идейность, при всем обилие славянофильских трудов, никогда не сформировало своего теоретического, философского кредо, оно лишь выражало свое особое отношение к русскому народу. Отношение любви и почтения. У народа можно было что-то брать, чему учиться, чему-то следовать. Этой установке следовал и Вадим Александрович; ему нравилось серьезно трудиться; ответственно, не жалея сил и здоровья. Его архивные изыскания чем-то напоминали то, что делали в западной Сибири переселенцы из Русского Севера в XVI–XVII вв., когда корчевали тайгу и двигались всё дальше и дальше на восток.

Вадиму Александровичу везло на учителей; прекрасный школьный педагог Б. Б. Пыхтеев привил ему любовь к истории, к исторической книге, к аналитической работе с историческими фактами. Александров попал в МГУ в 1939 г. и закончил учебу в военное время в 1943 г., защищаясь на кафедре у члена-корреспондента АН СССР, профессора Михаила Николаевича Тихомирова (1892–1965). В числе немногих студентов, рекомендуемых в аспирантуру, он был допущен к защите диплома, а потом и публикации его в серии студенческих трудов. У Тихомирова была твердая славянофильская позиция, которая на деле означала прежде всего теплое сердечное отношение к средневековой русской истории, при том, что он серьезно занимался и классовой борьбой, и не был

лит Трифон до своей кончины в 1934 г. жил в Москве». См.: *Александров В. А.* Путь в историю, пути в истории (моя жизнь). М.: ИЭА РАН, 1998. С. 25.

[109] Историческое сознание у десятилетнего мальчика сформировало подробное чтение 5-томного труда Летописи русско-японской войны 1904–1905 гг. Чтение ее наложилось на «остро трагическое» переживание судьбы русской эскадры. *Александров В. А.* Путь в историю, пути в истории (моя жизнь). М.: ИЭА РАН, 1998. С. 30.

религиозен, видя в Церкви скорее экономический, чем духовно-религиозный институт. Но всё корректировала личная позиция по отношению древней русской культуре, не давая слишком увлекаться критикой Церкви.

Его, как и академика Б. Д. Грекова можно считать основоположником советского славянофильства. При этом, отмечает В. А. Александров, Тихомирову приходилось довольно осторожно проводить свою линию, не касаться общих вопросов, опираться большей частью на факты. «Он никогда (даже в частных беседах) не касался общих проблем исторического процесса России, по всей вероятности, не желая ввязываться в многочисленные споры, отзывавшиеся марксистской догматикой» [*Александров* 1998: 36]. В некрологе, посвященном памяти своего учителя, Александров отметил такие его черты и факты с ним связанные: «любовь к русской истории», работа с архивом семьи С. Т. Аксакова в ранний период, внимание к истории славянских народов, «героическому прошлому русского народа, вопросам, связанным с историческими судьбами народов, преимущественно славянских, проблемам истории культуры — письменности, летописания. Книгопечатания, происхождения и состава основных законодательных памятников» [*Александров* 1965: 138–141]. Тихомирова, как отмечает Александров, интересовал средневековый город (в отличие от Грекова, занимавшегося крестьянством) и он сумел развеять «столетние представления о неразвитости древнерусских городов». Советские славянофилы, как и их дореволюционные предшественники, видели свою главную задачу в раскрытии красоты и оригинальности собственной истории, собственного народа, поэтому старались увидеть в русской культуре нечто уникальное, нераскрытое, полное своей красоты и достоинства. Это Александров подчеркивает особо: «Работы М. Н. Тихомирова в области истории культуры пронизаны мыслью о высоком уровне развития средневековой русской письменности, книгопечатания, исторических знаний, о русской научной мысли, стоявшей для своего времени на высоком уровне» [*Александров* 1965: 140]. Далее, в некрологе отмечаются заслуги Тихомирова как исследователя-первопроходца «населения России XVI в., заселения им территории, особенностей хозяйства и положения различных районов страны». Такой «комплексный подход», по сути, цивилизационный подход, будет применять и Александров в своих исследованиях. Заслугой Тихомирова было и обращение к социальной истории, что на деле означало не только использование классового подхода. Всех этих отмеченных положений Александров и сам придерживался и разделял, создавая на их основе свои труды.

В. А. Александров, судя по его богатейшему научному наследию, свободно владел необходимой палитрой понимания теоретических задач в этой области. Он называл метод, которым он руководствовался при написании трудов *историко-этнографическим*. И это было для него не просто сочетанием двух подходов, но и возможностью более объективного взгляда на историю народа. При доминировании исторического метода та же история заселения

Сибири, по его мнению, выглядела только как политический процесс захвата государством новой, обширной территории. Что очевидным образом присутствовало во многих трудах советских историков! Этнографический же аспект позволял раскрыть народный, стихийный путь освоения Сибири, за которым стояли хозяйство, культура, социальные отношения, словом, вся сложная структура новой жизни. И это уже было не насилие и узко политическая деятельность, а *освоение*, тесное взаимодействие с местными народами, иное отношение к природе. За историко-этнографическим методом стояла, безусловно, своя идейность, которую мы и обозначаем славянофильской.

Он видел в русском народе творца оригинальной цивилизации, поэтому ставил перед собой задачу показать генезис ее формирования, региональные черты и общероссийские закономерности; истоки ее этнической силы, которые он видел в существовании традиции: общины, семьи, обычного права, хозяйственной активности переселенцев, основанной на развитой культуре земледелия. Как представитель советской славянофильской школы, он был ограничен в своем религиозном мировоззрении, поэтому облик народной цивилизации у него формировали не Церковь и вера, а народное право, куда было всё включено, что было нужно народу, чтобы отстаивать свою жизнь, честь и достоинство, строить свой хозяйственный и культурный путь. В 1990-е годы в двухтомнике документов, посвященных национальным отношениях в России, во вводной статье он продолжал утверждать свою сокровенную мысль: Россия никогда не была тюрьмой народов, а русский народ не был «держимордой», угнетателем других народов. Собственно, эта позиция, без акцентировки всегда присутствовала во всех его трудах. Последняя монография (совместно с академиком Н. Н. Покровским) в первой главе начиналась со слов: «Российскому крестьянству, стихийно заселявшему Сибирь с конца XVI в., принадлежит основная заслуга в хозяйственном освоении огромной сибирской территории...» [*Александров, Покровский* 1991: 22].

Овладение историко-этнографическим методом происходило у Александрова стихийно, интуитивно. Работая еще студентом над темой «гвардия Петра I», он мог бы, учитывая военное время, сделать акцент на чисто технической стороне дела, но ему был интересно другое: создание Петром мобильной социальной структуры, на которую тот мог бы опираться. Также и в последующей работе, которая писалась как кандидатская диссертация, о стрелецком войске в XVII в., Александрова интересует история комплектования стрелецкого населения, социальный статус этих людей, значимость их в экономической жизни городов. Отсюда рождалось новая методология: «При такой широкой постановке я всё более подходил к проблеме народных миграционных передвижений и их роли в хозяйственном освоении русскими поселенцами новых территорий» [*Александров* 1998: 40]. В. А. Александров видел в сословности важный элемент традиционности, но каждое сословие ему было интересно в своих функциональных особенностях, в рамках слу-

жения, профессиональной пригодности. В этом контексте он интересовался купечеством, писал о дворянстве, и сосредоточился на крестьянстве, любимейшем сословии славянофилов, поскольку к их времени только это сословие было носителем народности, тех, качеств, которые в полной мере характеризуют эту группу как этнического представителя русских.

Началась научная карьера Александрова с публикации небольшой научно-популярной книги, его дипломной работы «Гвардейцы –доверенные люди Петра I». Книга была издана в МГУ в 1947 г. малым форматом, каким издавали в годы войны патриотические работы ученых в пользу фронта. Это была серия «Труды научного студенческого общества». Имелся гриф «Исторический факультет. Кафедра истории СССР». Научный руководитель чл. корр. АН СССР М. Н. Тихомиров. Для студента Александрова работа была знаковой; он показал свой талант будущего крупного ученого, обладающего всеми необходимыми компетенциями: умением работать с источниками, быть четким и глубоким аналитиком, писать ясным языком, быть сердечно заинтересованным в теме. В работе представлен необычный взгляд на гвардию, как на лучших представителей народа, подлинной его элиты, поскольку молодой царь мог на них опереться не только в бою, но в любом деле: дипломатическом, чиновничьем, реформаторском. Для автора этот факт не только важное свидетельство широкого участия гвардии в реформаторской деятельности, но и указание на образцовый — дворянский — характер этой деятельности. Гвардейцы, стрельцы открыли для него, как ни странно, не мир военной истории, а динамичный мир социальной действительности и даже проблема миграций была впервые осмыслена автором именно благодаря этой тематике.

Однако, первая монография, в которой впервые был широко апробирован этот метод «миграционных передвижений», была написана «в стол» и несколько лет не могла быть издана. Речь идет об известной книге историка «Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.)». Первой изданной работой становится публикация докторской диссертации в виде монографии «Русское население Сибири в XVII — начале XVIII в.» (1964 г.)

Тема хозяйственного освоения России народом может считаться центральной для дореволюционных славянофилов. Для В. А. Александрова она стала стержневой для всего его научного пути. Одна из первых статей на эту тему появилась в 1962 г. «Начало хозяйственного освоения и присоединения к России северной части Енисейского края». Сибирь стала для Александрова тем регионом, который позволял ярко проиллюстрировать тему народной цивилизационной активности. Далее шла статья «Начало хозяйственного освоения русским населением Забайкалья и Приамурья (вторая половина XVII в.) (1968 г.). Затем (1968 г.) было участие с той же тематикой в фундаментальной, многотомной «Истории Сибири», где В. А. Александров работал в тесном контакте с В. И. Шунковым, ведущим авторитетом-сибиреведом в те годы. Логическим завершением и стало написание монографии автора «Россия

на дальневосточных рубежах», в которой он мог филигранно оперировать уже всем сибирским материалом по истории заселения Дальнего Востока.

Сам Александров называл эту монографию самой читаемой и популярной среди профессионального сообщества. Этому благоприятствовал целый ряд причин. Книга была подготовлена на основе блестяще защищенной докторской диссертации, что подразумевало особую аккумуляцию сил автора, ответственность перед оппонентами, рецензентами, наконец, диссертационным советом, словом большим коллективом ученых, единовременно принимающих участие в обсуждении работы. Поэтому, и в данную работу был вложен гораздо большой потенциал, чем в какую-либо другую. Как писал Вадим Александрович в воспоминаниях: «В архиве я исписал не менее двух десятков общих тетрадей по 96 листов каждая. Чаще всего в последнее время я занимался в нем (ЦГАДА) до закрытия глубоким вечером, а затем, случалось, покачиваясь от усталости, шел пешком с Девичьего поля домой на Поварскую через Пречистенку и арбатские переулки. Используя удобные моменты, я захватывал служебную машину (как ученый секретарь. — *авт.*) и ехал прямо из института в архив... Накопленный дома огромный архивный материал, используемый и далее, служил мне и в дальнейшем при углублении сибиреведческой тематики» [*Александров* 1998: 63–64]. Несомненно, теоретическим трамплином для работы стала работа над монографией «Россия на Дальневосточных рубежах...», которую автор завершил до написания докторской, но по обстоятельствам времени вынужден был отложить в стол почти на 10 лет. Именно здесь обозначилось ясно понимание цивилизационного пути русского населения в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, в результате чего понимание внутренней миграции приобрело масштаб, привязку к этногенезу русского народа и было связано именно с народной основой. К тому же, может быть впервые, за весь советский период, тема организующей роли «русского народа» в созидании Российской Сибири — значительной части территории страны — была представлена научно. Конечно, были и другие историки-сибиреведы (С. В. Бахрушин, В. И. Шунков, В. Н. Шерстобитов и др.), но Александров серьезно покусился на очень важный миф о России как тюрьме народов, существовавший еще до революции в среде революционных демократов, в том числе историков. В этом мифе, который большевики поддержали особенно в 1920-е годы, позже акцент исторической ответственности был перенесен на царскую власть, народ же стал рассматриваться в качестве жертвы царского режима. В работе «Русское население Сибири...» Александров сознательно ставит задачу развенчать миф о русском народе-эксплуататоре малых народов, что должно было способствовать и преодолению радикально революционного стереотипа о «России, как тюрьме народов». Успеху такого подхода способствовала и изменившаяся обстановка в стране. К 1950-м-1960-м годам и правительственная установка на характер «присоединения Сибири» (как и прочих «окраин») претерпе-

ла изменение. От дореволюционного «завоевания», в 1920-е годы она стала звучать как колониальное завоевание и порабощение местных народов (виновниками были и царская власть и русский народ), но постепенно, в 1930-е и 1940-е годы приобрела новые очертания «наименьшего зла» (учитывался и прогресс освоения Сибири, и угнетение малых народов). А уже в 1950-е годы стала формироваться идея «мирного присоединения» и «добровольного вхождения» в состав России [*Зуев* 2007: 55–63]. В таком духе писал в 1940-е годы свои работы известный сибиревед В. И. Шунков. В русле нового идеологического подхода действовал и В. А. Александров.

Его поддержали научный руководитель М. Н. Тихомиров («Многие люди будут Вам очень благодарны»), друзья и коллеги. Именитые оппоненты В. И. Шунков, Н. В. Устюгов, Л. П. Потапов тоже не имели принципиальных возражений по концепции автора. Александров в мемуарах отмечал, что книга писалась в «антиидеологическом ключе». Конечно, автору нельзя было свободно и обстоятельно излагать свою теоретическую позицию, как он потом писал «приходилось от выводов воздерживаться», но сам представленный материал, структура книги — всё это работало на славянофильскую идею самобытности народа, его цивилизационной мощи и очевидности органического вхождения в сибирскую историю. Последнее было тем более важно, что доказывало «неразрывность судеб русского и местного населения». Автору пришлось говорить дежурную советскую фразу, что «монографическое, посвященное истории русского населения Сибири, создает новые перспективы и для изучения истории и культуры нерусского сибирского населения». Но за этим стояла уже и более весомая правда, а не отписка, объясняющая, почему изучение русской истории в Сибири актуально.

Словом, автор выходил на более объективный исследовательский простор сибиреведения. Александров отдавал должное своим предшественникам, советским ученым, прежде всего, С. В. Бахрушину и В. И. Шункову, тем более что последний отталкивался от идеи крестьянской колонизации, а не торгово-промышленной. Принципиально важным для Александрова было показать, когда, как и за счет чего русское крестьянство становится частью сибирского населения. Теория феодализма, разработанная Б. Д. Грековым в рамках советского, марксистско-ленинского понимания собственности, активно применяется Александровым для теоретического обоснования своей концепции. Так главной причиной миграционной активности русского поморского населения он называет классовую борьбу против феодального гнета [*Александров* 1964: 9]. Другой причиной был предпринимательский интерес первых поселенцев-«промышленников». Исследовательская база работы опиралась на архивные фонды ЦГАДА, материалы Сибирского приказа, впервые вводимые в таком объеме в научный оборот. Также использовались документы коллекции Г. Миллера, сосредоточенные в архиве АН. Исто-

риография вопроса, масштабно и тщательно проработанная автором, была также важным исследовательским инструментом.

Наиболее сложным предстает в работе ранний хронологический период, где нужно было обозначить наиболее раннюю границу русского присутствия в Сибири. Александров опускает ее до конца XIV столетия, подчеркивая, что первоначальный этап был связан с торгово-промышленным освоением северной части западной Сибири и он носил не массовый характер. Подчеркивается, что непростой была история взаимоотношения русского населения с местным населением, причем частные интересы промышленников и интересы государства на этом этапе, нередко шли вразрез с интересами местных народов. Порядок и мир начинают устанавливаться на втором — земледельческом этапе — освоения западносибирских земель, когда сюда стали приезжать свободные переселенцы, крестьяне. Их экономическая активность не противоречила хозяйственной деятельности местных народов, но создавала возможности неутилитарного отношения к местным народам, что открывало для них возможности включения в более сложный и развитый хозяйственный мир русских. С этим фактом вынуждены были считаться и государство, и русские промышленники. Таким образом, севернорусское крестьянство, стихийно селившееся в Сибири, было для региона и примирителем для всех сил, и опорой, иными словами — подлинной цивилизационной основой для развития региона. Объясачивание местных племен (и поддержание этого порядка) в условиях расширения крестьянской колонизации проходило уже мирно. Этот фактор стал наиболее важным в деле укрепления мира и пресечения набеговой активности со стороны монгольских кочевников.

Появление постоянного русского населения было связано в первую очередь с крестьянской вольной колонизацией, пришедшей на смену промышленному освоению северных областей Западной Сибири. Постоянное население складывалось в условиях борьбы с разными трудностями. Главная трудность состояла в противодействии насаждению кабальных форм феодализма в результате чего, в Сибири утвердился облегченный вариант феодальной эксплуатации. Земля была юридически «государевой вотчиной», но крестьяне были свободны в передвижении, в освоении ее и даже в распоряжении ей. Опять же, заселение вольных крестьян победило процесс заселения территории ссыльными, который вначале подразумевался государством. Александров показывает, как народная инициатива в Сибири побеждает государственную политику, и государство было вынуждено с этим считаться. К середине XVII в. свободные переселенцы крестьяне-мужчины перевезли «из Руси» свои семьи, и проблема оседания русского населения была окончательно решена. В отдельной главе, посвященной семье (как экономической ячейке) Александров показывает, что именно вольное крестьянство из всех остальных русских сибирских групп смогло решить семейную проблему са-

мостоятельно и за счет этого стать не только основной хозяйственной единицей, но и наиболее демографически активной, что позволило им стать сибиряками по праву.

В книге также решаются целый ряд важнейший вопросов: о происхождении русского населения Сибири, о его этнографической маркировке, об экономическом единстве территории. Автор более локально и дифференцировано разбирает тему происхождения, показывает отдельные уезды в Поморье, откуда двигался поток переселенцев, отмечает, что вместе с русскими в миграции участвовали коми. Также он отмечает присутствие среди крестьян Сибири выходцев из центральных районов России, с очень пестрой, хаотичной географией происхождения. Яркими этнографическими маркерами для переселенцев были виды жилища и облик поселений. Важными здесь стали выводы о трансформации жилищных форм под влиянием сибирской жизни. Это же касается и особенностей расположения поселений. Сибирская действительность на всё накладывала свой отпечаток, вплоть до названий поселений. Знаковым элементом сибирской хозяйственной жизни русских крестьян оказывалась форма землевладения, коллективная или единоличная. В Сибири прижились и та, и другая. Земледельческое освоение шло преимущественно в коллективных формах, когда «землей владели вповал», т. е. сообща. Применяли, в отличие от Поморья и центральной России разные виды обработки поля: трехполье, двуполье, перелог и разные сочетания их. То же и касалось и видов поселений: деревень, слобод, заимок. Определенная текучесть их объяснялась сложностями освоения земельного фонда, что заставляло крестьянина двигаться от деревни к деревне, чтобы справиться с обработкой своей земли и государевой десятиной пашни.

Для Александрова Церковь была представлена в Сибири своим экономическим статусом, как самый здесь крупный частный землевладелец. К этому сводилась для автора жизнь четырех монастырей в Енисейском крае. Он не хочет углубляться в эту тему, останавливаться на ней, подробно разбирать ее особенности. Советская действительность 1960-х годов не давала возможность положительно оценивать деятельность Церкви, может быть поэтому автор при минимальной критической оценке уклоняется от ее разбора.

Крестьянство хотя и заняло ведущее положение в экономике региона, но не вытеснило отсюда купечество. Последнее, при всем том, что его ведущая роль со второй половины XVII в. начинает переходить к другой силе, продолжало и в последующие века оставаться важным элементом экономики России. Купечество, прежде всего именитое, включало Сибирь в круг международной торговли России и Азии, Сибири и Европы и также как и крестьянство было частью русской цивилизации.

Итак, отметим, самое важное, касающееся этой монографии В. А. Александрова. Наиболее серьезные и крупные выводы автор выносит за скобки своей монографии, он рассчитывает на вдумчивого, патриотичного (любяще-

го Россию) читателя и исследователя-славянофила. Вот почему, народ здесь представлен не как этнографическая группа, имеющая свой набор отличительных материальных признаков в одежде, жилище, утвари, фольклоре и т. д., а как цивилизационная сила, способная к освоению огромной территории. За народом, позади его, по Александрову, движутся все остальные силы: государство, вынужденное приспосабливаться к этой умной стихии; Церковь, живущая в Сибири народным ритмом движения; частные социальные группы предпринимателей, купцов. Именно благодаря тому, что в Сибири победила народная колонизация, здесь устроился гармоничный мир (насколько это возможно) русского присутствия как части сибирского населения, в результате чего Сибирь стало единым целым с Россией.

Следом после «Русского населения...» увидела свет монография «Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.)» [М.: Восточная литература, 1969], при первом тираже в 2700 экз., имела еще второе издание, большим тиражом. Книга отличается несколькими крупными достоинствами: это совершенно новая страница в истории России XVII в.; она вся документальна, насыщена, источниками, но читается с легко, с громадным интересом, словно это детектив, настолько виртуозно владеет автор материалом, настолько он живо и интересно его излагает. Здесь напрочь отсутствует партийно-классовый подход и это при том удивительно, что речь идет о государственной политике «крепостников». Дипломатия требует опоры на идеологию, на определенный фундамент, иначе вся дипломатическая конструкция может повиснуть в воздухе и будет неубедительной. В данном случае автора спасло имело его славянофильство, понимания народного освоения Сибири как цивилизационной деятельности. За успехами и неудачами русской дипломатии на острие фиксации государственной границы с Китаем, стояла не только Москва, с ее властью, армией, территорией и международным авторитетом; в не меньшей степени, как отмечает автор, за этим стояла народная колонизация Восточной Сибири.

Вот что пишет автор по этому поводу: «В процессе присоединения Сибири к России интенсивность развития русских внешнеторговых связей с центральноазиатскими и дальневосточными соседями определялась не только географическими и политическими факторами (т. е. территориальным сближением и состоянием дипломатических сношений), но и результатами хозяйственной деятельности русских переселенцев в отдельных областях Сибири и экономической заинтересованностью иноземного купечества в русских рынках» [*Александров* 1969: 77]. Автор широко трактует «результаты хозяйственной деятельности». Это и крестьянское земледелие, обеспечивающее регион хлебом, и обширная торговля внутри Сибири и вовне, при выдающейся роли русского купечества. Торговая и крестьянская колонизация в Восточной Сибири выступает в виде двух главных материальных сил, на которые опиралось государство в своем дипломатическом и военном при-

сутствии здесь. Русскому купечеству уделено в книге много места; показано как постепенно оно выигрывает конкурентную борьбу с местными монополистами, «бухарскими купцами», как выходит на китайский, и в целом азиатский рынок, как подставляют свое крепкое плечо российской дипломатии [*Александров* 1969: 204]. Нет возможности привести слишком обширную цитату, где подробно описывается объем государственных приготовлений для обеспечения Приамурского региона. Александров пишет: «без развитого местного сельского хозяйства, судостроения и других ремесел не могло быть и речи о передвижении ратных людей со всем снаряжением через всю Сибирь и их продовольственном обеспечении» [*Александров* 1969: 150]. Александров показывает, что Сибирь не завоевывалась, а осваивалась, взаимовыгодно для русского и местного населения.

Тесное единство русского и сибирских народов, позволяло Москве особым образом выстраивать свою дипломатию на переговорах с Китаем, Северной Монголией и Джунгарией. Малые народы в этих переговорах не становятся предметом торга между великими державами. Буряты и эвенки и ряд других народов, сами выбравшие путь русского подданства (испытав на себе ясачный гнет русской и другой стороны), защищаются российским правительством также как русское население. Как ни настаивает Китай на передаче ему тунгусского князя Гантимура, Москва не отдает его и его род Китаю, даже ценою размена с пленными русскими албазинцами. Тоже самое происходит и на переговорах с северомонгольскими ханами, которые силой вывозят к себе подчиненные народы, а когда те уходят обратно на русскую территорию, требуют их выдачи. Интересно, что монголы употребляют слово «братские», которое, очевидно, они слышали от русских. Так в письме в Нерчинск звучало: «Отдадите ли вы тех брацких людей или не отдадите?» [*Александров* 1969: 121]. Но братских людей российская власть ни в целом, ни по одному не отдавала. И это был один важнейших факторов общего успеха колонизации! Монография В. А. Александрова доныне может служить образцом написания исторического труда, где главная — дипломатическая — тема так зримо увязывается со всей исторической обстановкой, что и дает ей право быть объективным свидетельством этой эпохи.

Знаковой для выражения славянофильской позиции можно считать его монографию «Сельская община в России (XVII — начало XIX в.) [М.: Наука, 1976], имеющую гриф ИЭА РАН. Монографии предшествовали четыре статьи, посвященные общине: «В. И. Ленин о сельской общине в крепостнической общине» (1970 г.) и «Сельская община и вотчина в России (XVII — начало XIX в.) (1972 г.), «Земельно-передельный тип сельской общины в позднефеодальной России» (1975 г.), «Общинное управление в помещичьих имениях XVIII–начала XIX в.» (1975 г.). По ним можно судить, что данный труд был создан за 6–7 лет кропотливейшей работы в архиве и тщательной научной обработке этого материала. Уже после выхода монографии

автор не раз возвращался в статьях к общинной тематике; в статьях «Типы сельской общины в позднефеодальной России (XVII–XIX в.) (1979 г.), «Крестьянская община в Сибири XVII– начала XX в.» (1979 г.), «Возникновение сельской общины в Сибири (XVII в.) (1987 г.), «„Войско“ — организация сибирских служилых людей XVII в.» (1988 г.). Да и последняя монография автора (совместно с Н. Н. Покровским) «Власть и общество» (1984 г.) была связана с этой тематикой.

Община — любимая тема для славянофилов, главный маркер оригинальности, самобытности, уникальности народной традиции, с ее коллективными формами содержащими правовую, хозяйственную, нравственную и социальную основу крестьянского бытия. И хотя общиной активно занимались и до революции, но тогда не рассматривался вопрос о причинах жизнестойкости этого народного организма, о взаимоотношении его с официальными структурами: государством, вотчиной (или поместьем), церковными представителями. В данной работе акцент делался на функционировании общины как народно представительской структуре в условиях частновладельческой регламентации народной жизни, в самый сложный для крестьян период существования крепостного права. «Впервые, — как гласит аннотация работы, — в советской историографии исследуется история сельской общины», а советская наука возвращается к старой теме, но на новом уровне исследования. Здесь, как и в других работах Александрова применялся его любимый прием «сплошного историографического исследования», когда автор не ограничивал себя написанием историографии только во вводной части, но весь текст превращает в разбор разных точек зрения на конкретную проблему. Чем этот путь напоминает движение героев Данте в его бессмертном произведении; сначала «сумрачный лес», потом спиральный спуск в недра ада и, наконец, подъем к свету. И такое глубочайшее погружение в тему стало следствием того, что у советского историка появилась возможность работать с архивами крупных землевладельцев (до революции находившихся в частном владении), с документами повседневного помещичьего делопроизводства: инструкциями вотчинников и помещиков (50 помещичьих инструкций), мирскими приговорами (500 приговоров), что и стало фактологической основой работы. Со слов вдовы историка Галины Георгиевны Александровой, каждый день он ходил в ЦГАДА, «как на службу» в институт, трудясь там с утра до вечера.

Автор пишет (не акцентируя), что владельцев — вотчинников и помещиков — разделяла с крестьянством не пропасть классовой борьбы, а конкретные, частные формы противостояния.. Борьба имела характер «общественно-политический», не классовый. Начинает автор историографический обзор с трудов «единственного славянофильского историка-профессионала» И. Д. Беляева, у которого оценка общины — без идеологической прямолинейности. Более обширно была представлена русская школа западников, видевших в общине орган государственной манипуляции. Эта

школа обозначается им как «буржуазная». Более симпатичен, судя по всему, Александрову славянофильский взгляд на общину как на «высший нравственный союз, существующий только у русских». Буржуазные русские историки хотя и писали много об общине, но зашли в тупик во взглядах на происхождение общины и на формы собственности. Советскую историографию Александров начинает с трудов Б. Д. Грекова. Его мягкий тон в отношении «противников» крестьян присутствует и у Александрова. И хотя Вадиму Александровичу приходилось не раз в работе осуждать помещичий произвол, крепостничество, как таковое, но тексты представленных для разбора документов вотчинных инструкций тоже говорят сами за себя, во всяком случае, в пользу неоднозначного взгляда на «эксплуататоров». Допустим, автор приводит цитату из инструкции вотчинника В. Г. Орлова, где по отношению к выборным предполагаются следующие критерии: «Способные, верные, умные, совестливые люди». В другом документе: «лучшие люди» [*Александров* 1976: 155]. У самого историка, судя по всему, был не классово критический взгляд на этот вопрос; он отталкивался скорее от чеховского, едкого, иногда легко ироничного, насмешливого языка. Община ему виделась в двух ипостасях; как организм народной защиты и организации коллективной жизни и одновременно, как инструмент воздействия на народную жизнь со стороны вотчинников и государства. Даже полицейские функции осуществлялись сами крестьянами внутри своего мира.

Область свободы общинников была ограничена распределением фонда общинных земель и операциями с общинной суммой. В книге ясно показано, что ни о каких общих схемах взаимоотношения общины и помещиков говорить нельзя, поскольку существовало много разных вариантов. Они зависели от произвола вотчинников и от силы общины в каждом конкретном случае. Однако, доходило (в последней четверти XVIII в.) до того, что некоторые общины полностью теряли свою субъектность внутри вотчины. Между тем, внутри себя община жила весьма насыщенной жизнью, с точки зрения разнообразия организационных форм. В ней, кроме управляющих разного уровня, работающих на вотчинника и государство, были еще выборные для контроля в интересах общины. Да и «работающие на вотчинника и государство» несли обоюдные обязанности, не забывая и о крестьянских интересах. Главными ответственными лицами считались староста и бурмистр; далее шли лица, отвечающие за полицейский контроль: сотские, пятидесятские, десятские. Сборщиками податей были «сборщики», за урожай отвечали «гуменные», за состояние полей «польщики» и т. д. В организационном управлении жизни одной общины участвовало всего несколько десятков человек крестьян. Эта третья, по сути, центральная глава монографии, называется «Сельские миры, их организация и деятельность», впервые содержит сведения о структуре этого народного организма, сохранявшей свою эффективность и дееспособность в условиях самых неблагоприятных. Способность к само-

организации, показывает автор, была вызвана не столько текущими интересами (внешними и внутренними), сколько коллективным целеполаганием, таким же глубоким и сильным как потребность организма жить и бороться за жизнь. Эта тема «самоорганизации» иллюстрируется и на примере распределения фонда земель внутри общины, отделения рекрутов, а также при характеристике семейного быта. Община защищала свои ценности, и ради этой защиты впускала к себе внутрь средства внешнего контроля. Выборные от крестьян хотя и трудились ради вотчинника и государства, но это были из крестьянского мира, связанные с ним определенными узами и обязательствами. Монография Александрова, посвященная внутреннему миру функционирования общины, не только раскрывала этот внутренний мир, но и была для последующих исследователей основой для продолжения изучения этой проблематики. Это касается и крестьянской семьи, и рекрутчины, и вопросов регулирования земли. Последняя тема активно разрабатывалась в рамках постоянно действующего в СССР, с 1958 г., межреспубликанского аграрного симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. В. А. Александров был одним из организаторов и активных участников этого ведущего аграрного форума в советский послевоенный период.

Монография «Обычное право крепостной деревни России. XVIII — начало XIX в.» [М.: Наука, 1984] была в числе главных трудов автора, раскрывающих в полной мере его славянофильскую позицию. Здесь был представлен сугубо позитивный материал (без проблем борьбы), указывающий на подлинное лицо народа, его величие, его историческую самоценность, корни его силы и самобытности. Здесь нет классовой борьбы и противостояния народа и государства, всё внимание исследователя сосредоточено на семье и общине, как корневых основах жизни простого народа. Обширный и глубокий историографический раздел в полной мере дополняет исследовательскую часть и служит не только задаче «введения в тему», но и скрепляет идейное единство дореволюционного и советского нарратива. Автор словом наслаждается пиром обещерусской исторической мысли, подробно разбирает точки зрения, концепции, без стеснения и боязни, вполне законно ставит в названии книги слова «обычное право», «крепостная деревня» и особенно родное русское «Россия», так диссонирующее с нейтральным «СССР».

«Народ» — законный субъект исследуемой им истории России, живет во многом в рамках обычая, за которым стоят и обычное право, и уклад, и нравственный порядок. Александров подчеркивает, что его интересует «социальная и сословная действительность», как бы в противовес (но не декларируя это) классовой действительности. Уход от классового подхода (при том, что ссылки на Маркса и Ленина продолжают сопровождать текст), в пользу «социального», предполагает для автора обретение определенной теоретической свободы, позволяющей ему говорить о крестьянском мире вне динамики классовой борьбе и такой подход, как он замечает, отвечает внутренней

логике исторического развития народа. Чтобы закрепить такую позицию в научном тексте от автора требуется масштабная проработка первичного архивного материала (что и осуществлено автором) и строго выверенный историографический текст. Никогда еще (ни до революции, ни в постсоветский период) монографический текст не писался с такой плотно сжатой структурой, сочетающей документальность, историографичность и самостоятельную авторскую мысль. Это особенность не только трудов Александрова, так в это время пишут все советские историки-славянофилы. Читать такие страницы не просто, но за ними стоит не только качественная работа, но и попытка через этот своего рода переизбыток научности дать свою концепцию, отличающуюся от ленинско-марксисткой, но в тоже время не бросающую на автора тень диссидентского научного вольнодумства.

В данной монографии автором ставится сложная задача, не обеляя крепостного права, показать, что в народной среде существовали оригинальные механизмы поддержки и отстаивания народности, ее основ и крепости. К таким первичным механизмам автор относит общину. Не случайно объектом исследования он берет не государственную деревню, а крепостную, чтобы показать повсеместный характер существования этого главного механизма поддержки народной традиции. До мельчайших подробностей рассматривается практика функционирования крестьянского землепользования; исследуется его исторический и социальный путь, значение малой семьи, государства, землевладельцев, оказывающих влияние на трансформацию общины, как главной распорядительницы крестьянской земли. По мере «инкорпорации общины в феодальную систему и ее трансформацию в ходе развития этой системы» менялся и порядок землепользования. Опираясь на два типа феодальной зависимости, автор говорит о двух формах крестьянского землепользования: а) подворно-потомственной, характерной для крестьянства севернорусского, уральского, сибирского и части южнорусского; б) предельном землепользовании, бытовавшемо в среднерусской полосе, с господством крепостных отношений. Последнему автор и уделяет специальное внимание в данной монографии.

В. А. Александров опирался на постулаты Б. Д. Грекова о раннем разложении сельской общины и о раннем появлении индивидуального крестьянского хозяйства (малая семья), которое и становится для государства единицей фискального обложения. Другое важное положение касалось «дуализма общего (коллективного) и частного (индивидуального) владения». Александров считал, что «тягловое обложение обусловливалось феодальным принуждением, а использование угодий — обычно-правовыми представлениями о земельном обеспечении двора, необходимом для его хозяйственной деятельности» [*Александров* 1984: 110]. Государство давило на общину, модернизировало ее своим экономическим давлением, и община в условиях выживания меняла свою тактику и стратегию, менялась сама. Так произошло,

по мысли Александрова, преобразование в XVI в. общин-волостей в сельские общины, обеспечивающие народное существование в условиях вотчинного и помещичьего владения. Следующим этапом стала дальнейшая унификация сельской общины в XVIII в., приведшая к выделению новой ее основной «уравнительно-перераспределительной» функции. Но все эти процессы происходили не автоматически, а в условиях сохранения сложной системы народного контроля за уравнительным распределением.

Народные функции общины как бы она не деградировала под давлением «обстоятельств», т. е. государственных требований, продолжали сохранять порядок коллективной ответственности, а значит были задействованы в этом процессе и нравственная и религиозная мотивации. Вот почему, описывая жизнь общины даже в сложнейшем для нее XVIII в., Александров сосредотачивается не на крепостничестве, гнете, бесправии и прочих большей частью ярлыках, повешенных классовой историографией, своего рода идеологическом штампе, а на положительных сторонах народной жизни. А ведь в эти труднейшие крепостнические времена, действительно непростые, община в крепостной деревне содействовала отдельным крестьянам купле земельных участков; через нее решались многие вопросы социального характера; благодаря ей субъектность крепостного крестьянина продолжала оставаться на должной высоте. Как важно было со стороны Александрова описать всю эту рутинную общинную деятельность по неформальному перераспределению земли, показать не общее здесь, а единичное, на основе которого мы вправе судить «крепостное право» с других, социальных позиций. Община, при существовании, казалось бы, общего уравнительного правила, представляется тем важным народным механизмом, который помогал народу не рубить по живому, находить компромиссы, вести поиски лучших решений. Автор показал, что за десятками перечисленных им случаев неформального отношения общин к делу уравнения земли, стояли сотни тысяч и миллионы таких случаев, потому что община перемалывала формализм закона, спущенного сверху, в практику, приемлемую для народа. Об этом вся центральная для книги третья глава «Земельные отношения в сельской общине по обычному праву».

Народный закон, обозначенный исследователями как «обычное право» выступает в глазах историка как универсальный инструмент не менее сложный и не менее важный, чем гражданское право, на котором зиждется государственная власть в стране. Это основа народной цивилизации, ее особого организма, и ключ к пониманию живучести общины и всех других народных социальных образований. Сюда же автор относит и крестьянскую малую семью, не только социальную, но и основную хозяйственную ячейку общества. Семье он уделяет две главы в книге. Суть общины раскрывается им через драматургию землепользования, на основе обычая (народного права); суть крестьянской семьи получает свое объяснение через характеристику имуществен-

ных отношений, опять же на основе обычного права. Имущество как фактор свободы, демократичности, социальности семьи не сводится в этой трактовке только к материальной, стоимостной стороне. Оно — суть отношения, иерархия, гендер, религиозный мотив, живое воплощение понимания нравственных приоритетов у крестьян. Соответственно, автор самым дотошным и скрупулезным образом рисует все самые мелкие детали этой проблемы и показывает, что народный закон охватывал весь спектр социальных отношений, всю линейку человеческого бытия, не забывая ни вдов, ни сирот, ни покинувших свой иерархический пост (большак, большуха) лиц. Крестьянин не был забыт в народном законе ни в одном своем качестве, что и заставляет автора признать универсальность этого закона и в социальной сфере.

Автор не идеализирует русскую крепостную деревню, здесь мы не встретим никаких пафосных слов о «выдающемся опыте» и т. п., но его уход от идеологически ходульного классового анализа крепостничества, сам по себе служит высокой оценкой народному правовому опыту, как защитной силе этноса. Крепостные крестьяне в свете выводов автора знали «свое», «домашнее» владение, были свободны в имущественном владении, опирались в своей свободе и частновладельческой власти на народное право. Крестьянский закон постоянно работал «на стабилизацию и воспроизводство наличных общественных, общинных и семейных отношений в деревне» [*Александров* 1984: 253].

Тема обычного права, народного закона была для Александрова важнейшим элементом незыблемости народного, показателем его традиционности, силы, поэтому без обращения к ней он не мог обойтись. До написания монографии тема была апробирована в ряде публикаций статей: «Семейно-имущественные отношения по обычному праву в русской крепостной деревне XVIII — начало XIX в.» (1979 г.), «Обычное право в России в отечественной науке XIX — начале XX в.» (1981 г.).

Последняя крупная работа В. А. Александрова (в соавторстве с Н. Н. Покровским) «Власть и общество» вышла в издательстве «Наука» (Сибирское отделение) в 1991 г. Львиная доля текста написана Александровым, концепция, тоже была его. Монография интересна тем, что здесь была представлена именно новая теоретическая концепция, но в ее практическом виде, в виде материала, осторожно, как это мог сделать только советский ученый, выросший под домокловым мечом марксизма-ленинизма. Труд этот имеет безусловную научную ценность, нисколько не потерявшую свое значение со временем. Здесь проработан огромный массив первичных документов, архивных источников, материалы деловой переписки (а это скоропись XVII в.), позволяющий любому исследователю твердо опираться на этот фундамент. Уже в названии была обозначена идея «противостояния» двух сил, двух центров, народного и государственного. Александров продолжает вести прежнюю славянофильскую линию, сосредотачиваясь на «народе», представляя его как

сложную, саморазвивающуюся силу, способную не только тягаться с государством, но противостоять ему, заставлять его считаться с собой. В монографии «Власть и общество» народ представлен несколькими крупными сибирскими группами: крестьянством, служилыми (войском) и старообрядцами. Но если в предыдущих работах в большей степени решалась задача раскрытия исторического и этнографического потенциала русского народа, через рассмотрение общины, обычного права, процесс хозяйственного и культурного освоения новых территорий и т. д., то здесь уже народ, за которым явно стоит не узкая классовая реальность, а могучий цивилизационный потенциал, поэтому народ может быть в этом новом, немарксистском качестве противопоставлен государству, тоже не в классово идеологическом ключе. Это новое методологическое противостояние Александров обозначает как социальное противостояние. Повторимся, свою теоретическую мысль он проводит очень осторожно. Вот, например, он пишет о крестьянских миграциях, в которых была и доля протеста против воеводского управления: «Сама идея перемещений приобретала социальную направленность как своеобразная форма протеста против воеводского управления» [*Александров, Покровский* 1991: 332]. Но особенно ярко неклассовый характер противостояния власти и общества рисуется автором на примере борьбы крестьян, служилых и старообрядцев (последние представлены текстом Н. Н. Покровского) с местной сибирской администрацией. Воюют друг с другом не две враждебные классовые силы, а группы, по-разному мотивированные на деятельность. Для народных групп, во главу угла поставлены незыблемые, каноничные понятия: традиция, правда, справедливость, закон в народном понимании, т. е. нравственные и религиозные постулаты. Что не исключало, конечно, и меркантильных, хозяйственных и прочих материальных интересов. Но в отношении представителей власти доминировали нравственно-религиозные критерии. В то время как с другой стороны, наблюдалось нередко полное абстрагирование от народных ожиданий, и сосредоточение на материальной стороне, в ущерб закону и справедливости.

Нам кажется, что именно в данной монографии, Александров сумел, в полной мере, представить в полном виде свою *советскую* славянофильскую концепцию, где заветная славянофильская мысль о первичности народа и вторичности, но обязательности государственной власти, облечена была в форму борьбы этих двух сил, поскольку эта борьба происходила в досоветское время. Для автора суть этого противостояния состояла в принципиально разной готовности к диалогу той и другой стороны. Обе стороны имели в своем личностном багаже как духовно-нравственные, так и материальные, меркантильные ценности, но при контактах друг с другом, народ опирался на нравственно-религиозные постулаты и ими оценивал работу власти, в то время как власть обращалась к народу только с меркантильным подходом. Наличие у народа такого критерия, позволяло ему отстаивать свои ин-

тересы в самых тяжелых условиях. И государство, в лице центральной власти вынуждено было считаться с такой особенности народного менталитета. Отсюда и вытекал социальный, а не классовый характер борьбы народа и власти, поскольку боролись две социальные силы, равные в своих возможностях, но неравные в их использовании. Народ выигрывал борьбу тактически, но государство побеждало стратегически.

Цивилизационный подход требует учитывать взаимодействие (борьбу и единение) трех цивилизационных сил, действующих в Сибири в XVII в.: центрально-русскую, представленную властью, северно-русскую (крестьянство) и служилых (казачество, ссыльные стрельцы, и т. н. «гулящие»). Чтобы понять подлинную драматургию происходящего надо было учитывать столкновение (борьбу и взаимодействие) трех цивилизационных сил; а ведь была еще Церковь, православная и старообрядческая, было государство, в его отдельности от местной власти воевод и др. Нельзя говорить, что советский славянофил не знал цивилизационного подхода, но он понимал его узко, ограниченно, в случае с Александровым, как миграционно-расселенческую деятельность, как процесс освоения территории за которым стоит прежде всего хозяйственно-культурное освоение. У Александрова нерв исследования состоит в конфликте (социальном) мира и власти, отчего глава, посвященная сотрудничеству власти и миров, выглядит очень бледно на фоне страстей их противостояния. И это закономерный итог узости цивилизационного подхода. Широкий подход требует самого серьезного учета церковного фактора, как силы не менее значимой для сибиряков чем государственная сила. Да и государственный фактор должен иметь более емкое содержание. В книге же Православной церкви уделено 3,5 страницы, а старообрядческой вере — 6,5 страниц, хотя роль первой была, безусловно, большей и более определяющей для населения. Но важнее другое, что Церковь не включена в динамику процесса, не показана как цивилизационная сила, не представлена своим самобытным лицом: северно-русским, казачьим и центрально-русским (а было и такое лицо).

К началу 1980-х В. А. Александров накопил огромный опыт этнографического, славянофильского понимания этногенеза русских совершенно в ином ключе, отличном от советского идеологического. Естественным для ученого было обращение к более общей энциклопедической форме фиксации сложившейся модели. Во второй половине 1980-х гг., когда в ИЭА РАН, возникает идея создания серии «Народы и культуры», для Вадима Александровича наступает его звездный час представить свой проект в качестве основы для тома «Русские». Он руководит написанием тома, предполагая сделать его в 3-х томах. Кончина его помешала осуществлению этого обширного замысла, но важнейшая часть работы была им сделана; написаны главы по миграционному процессу, также главы по землепользованию, общине, семейно-имущественным отношениям. Собственно, революционной была первая

глава первой части по истории образования русской этнической территории. Именно здесь Александров разворачивает картину цивилизационной динамики движения русского населения «в пространстве», показывая какими экономическими, культурными и социальными формами это сопровождалось. Три параграфа этой главы написанные Александровым можно считать в том числе и теоретическим обоснованием тезиса о русском этногенезе, который может быть, по его мысли, обозначен по характеру как миграционный (или цивилизационный). На эту твердую основу, (настоящий фундамент всего тома!) лег весь остальной материал «Русских», особенно «Этнографические группы русского народа», были написаны ученицей Александрова И. В. Власовой. Более того, благодаря взятому Александрову темпу, а точнее обозначенной им динамике развития русского этноса, не повисли в воздухе, а нашли свое место такие сугубо статичные темы как «поселения», «жилища», «одежда», «пища, «утварь» и т. д. Впервые в советское этнографическое научное пространство попадают православие, старообрядчество, секты, правда еще как «статичные темы».

Стоило бы вкратце сравнить этот том «Русские», созданный московскими учеными, под редакцией В. А. Александрова [*Русские* 1997], первое издание которого было в 1997 г., с вышедшим в 1987 г. томом «Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры», под редакцией К. В. Чистова, руководителя ленинградской школы этнографов. Он написан именно по законам советского, идеологического, понимания исторического процесса, где историческая часть максимально идейно выхолощена, где имеется собрание исторических и этнографических «статичных» фактов; факты цепляются за факты, но живой картины этногенеза мы не наблюдаем. Нет его, конечно, и в главах, посвященных материальной и духовной культуре, где господствует та же статика. Разница этих двух трудов, написанных практически в одно время, огромна (при том, что у Чистова в очерках участвуют и московские этнографы, даже этногенез написан москвичом). Она вызвана двумя разными подходами к русскому материалу. Стоило бы подчеркнуть, что Александров свой подход строит не просто на славянофильской концепции, а на материале, колоссального объема, материале первичном, архивном, который вводился им впервые в научный оборот. В «Русских» он дает обобщенную картину этого материала. Его теория не только славянофильская теория любви к народу, понимания его особой роли в цивилизационном строительстве, но весьма качественный научный материал, раскрывающий этногенетические процессы у русских. Нам кажется, отсутствие такого материала у противоположной стороны и не давало автору концепции К. В. Чистову также фундаментально выстроить теоретическую часть. Это во многом объясняет то, что В. А. Александров, в течении всей его жизни был связан не с отдельными частными проблемами, а всегда трудился на общее понимание этнического процесса у русских. И в этом, думается ему помогало славянофильское

мировоззрение. Пусть советское, но всё же славянофильское, учитывающее подлинные приоритеты этнографической жизни народа.

Несомненно, такая позиция предполагала борьбу и противодействие, потому что выход славянофильства на теоретические рубежи, конечно, противоречил советской, партийной дисциплине. В. А. Александров позволил себе эту вольность в конце 1980-х, когда вольничать начала уже вся страна. В первой половине 1980-х, его «теоретический проект» начал активно разворачиваться, он как руководитель плановой темы, впервые осуществляет подобное («динамичное») исследование в Пермском крае. В коллективной монографии, написанной под его руководством, «На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии севернорусского крестьянства XVII–XX вв.» [М.: Наука, 1989] появляется его первая глава «Заселение Северного Приуралья и формирование русского сельского населения», объединяющая весь статичный материал книги. В эти годы, как он сам пишет в мемуарах, ему приходилось нередко защищаться и защищать своих учениц, работающих по его плану, прежде всего — И. В. Власову и В. А. Липинскую. «Гонения» на них были со стороны бдительных, при высоких должностях, этнографов, которых не устраивал идейный подход Александрова [*Александров* 1998: 93]. Очевидно, спасло положение только изменение политического климата в реформирующейся России, которые коснулись и административных изменений в ИЭА РАН, что и позволило, в конечном счете, А. В. Александрову подготовить к изданию том «Русские», уникальный памятник его жизненным трудам, его мировоззрению, его научному подвигу.

М. М. Громыко (1927–2018)

Марина Михайловна Громыко принадлежала почти одному с В. А. Александровым поколению; он родился в 1921 г., она — в 1927. У того и другого были репрессированы отцы, оба учились в МГУ на историческом факультете, Александров в 1939–1943 годы, М. М. Громыко в 1945–1949 г. Оба, по дореволюционному происхождению из среды мелкослужилых, близких к интеллигенции, по мировоззрению, дворян. Дворянском гордились. Для Громыко родительский дом был, кроме всего остального, местом второго университета. По ее словам, основное образование она получила в семье, а не в вузе, несмотря на то, что ее родителям приходилось как ссыльнопоселенцам жить и на Кольском п-ве, и в Удмуртии, а не только в родной ей Белоруссии. Славянофильство также было плодом домашнего, родительского воспитания. Тем не менее, в течение жизни ее отношение к славянофилам менялось. Перемена от положительного к умеренно отрицательному произошла в последние десятилетия ее жизни, когда она стала жить воцерковленной жизнью. Раньше же, как следует из воспоминаний Н. Т. Энеевой, с родителями которой Марина Михайловна дружила с университетских лет, она именно в славянофилах ви-

дела образец общественного служения и отношения к своему народу. Вот что пишет Наталья Тимуровна: «Автору этих строк довелось в 1970-х годах, находясь в музее-усадьбе Абрамцево, в кабинете Сергея Тимофеевича Аксакова, выслушать импровизированный рассказ Марины Михайловны о западниках и славянофилах, который она завершила словами: „мы – славянофилы!"» [*Энеева* 2021: 34]. В последние годы, тесно общаясь с Мариной Михайловной, навещая ее, я тоже слышал ее оценки славянофильства, но они носили скорее критический характер, как и в адрес Ф. М. Достоевского звучала хотя и осторожная, но критическая оценка. Все эти перемены были не случайны.

За новой позицией по отношению к русскому этнофильскому лагерю, как общественно-политической мысли стояло одно: отрицание общественно-политической борьбы как таковой, потому что она мешала этим людям жить деятельной церковной жизнью. Она не делала этих выводов, но для меня они напрашиваются сами собой, потому что такова была логика ее мыслей и поступков. А выводы, в таком случае, человек может и не делать, поскольку выводы предполагают определенный критицизм (от которого она хотела уйти). По этой причине, думаю, ею не были написаны и мемуары, потому что советская жизнь априори предполагала следование взаимоисключающим вещам, в результате чего человеку как-то надо было жить с тем теневым, негативным опытом, в котором он невольно участвовал; или забыть о нем, или покаяться, или гордиться им и выпячивать его. Мне думается она пошла вторым путем из возможных трех, что и не предполагала возвращения к этому опыту, даже в мемуарах. Она уже точно не была руссоисткой.

Итак, славянофильство М. М. Громыко, как мировоззрение, способствующее созданию ее научных трудов, можно распространять не на весь ее научный путь, а только на часть его, начиная с первых научных статей о торговле севернорусских купцов с Голландией и, заканчивая монографией «Мир русской деревни», вышедшей в 1991 г. Ее славянофильство можно считать советским, поскольку оно предполагало отдание «кесарева кесареву», а «Богова — Богому», т. е. при внимании к народу, она не забывала и роли государства в исторических процессах.

Первые исторические работы М. М. Громыко, в рамках русистики, были посвящены специфике крестьянского землепользования в Сибири XVIII в. [*Громыко* 1961: 105–108; *Громыко* 1962: 170–172] исследовательница выступает с докладами на крупнейшем тогда и авторитетном для историков СССР форуме — Симпозиуме по проблемам аграрной истории Восточной Европы (начало его относится к 1958 г.) в Риге (1961), Минске (1962), Кишиневе (1964); в 1965 г. вышла первая монография «Западная Сибирь в XVIII в. русское население и земледельческое освоение». (Новосибирск, 1965), а через год состоялась защита на тему «Русское население и земледельческое освоение Западной Сибири в 30–80 года XVIII века». Тема освоения крестьянами территории Западной Сибири стала интересовать Марину Михайловну с са-

мого начала в социальном, и даже в комплексном цивилизационном ключе; она исследовала формы заселения, социальный статус населения на примере государственных крестьян Сибири[*Громыко* 1964: 147–149; *Громыко* 1965; *Громыко* 1969: 129–135; *Громыко* 1970: 24–26].

Начало земледельческого заселения южных районов Западной Сибири следует относить, по ее мнению, ко второй половине XVII — первой четверти XVIII в. [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 88]. Это были первые крошечные очаги. Основной поток переселенцев придет сюда во второй половине XVIII столетия. Крестьяне селились в слободах вокруг укрепленных острогов и постепенно, отпочковываясь, удалялись от них. М. М. Громыко подчеркивает, что благодаря острогам, как военным крепостям, успешно решалась задача вольной крестьянской колонизации [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 90]. Основными типами крестьянских поселений были слободы и деревни. Причем «слободы часто возникали как укрепления, потому что во внешнем облике сохраняли черты крепости: прочная деревянная ограда из столбов, иногда с башней, надолбы, рогатки, рвы». Слободы представляли собой административные центры для группы деревень, «в слободах были острог, церковь, казенные амбары, двор приказчика» [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 90–91]. Автор замечает, что «слободы как тип населенного пункта, сочетавший военно-административную и земледельческую функции (в этом отношении они похожи на сибирские города в ранней стадии развития), были характерны именно для юго-западных территорий» [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 91]. Деревни имели здесь меньшую численность населения, чем деревни Тюменско-Тобольской территории, — в среднем по 12 дворов.

Тут же, в острогах, крестьянствовали те, кто раньше состоял на военной службе. Они поначалу, после выслуги, но до перехода в крестьянство, относились к категории разночинцев. О хозяйственном успехе говорит тот факт, что уже к 1730-м годам хлебные излишки в южных районах Западной Сибири стали отправляться (по речному пути) на продажу в Тобольск [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 93]. Как и в других местах Сибири, здесь создавались не просто остроги, а укрепленные линии — группа близко лежащих крепостей. В Тарском у. существовала Иртышская укрепленная линия, состоящая из пяти крепостей. К 1730-м годам в связи со строительством Оренбургской укрепленной линии начинается новый этап в колонизации Южного Зауралья (подробнее см. раздел «Оренбуржье»). Прямые военные столкновения с Джунгарией на юге Западной Сибири позволили решить вопрос о фронтире — политической границе. Защищая казахское население Среднего Жуза, Россия строит тут военные укрепления (Ишимская линия) и заключает договор со Средним Жузом о присоединении его к России. Русские крестьянские поселения проходили здесь по самой линии крепостей и даже заходили на нее, так что «для охраны крестьян высылались воинские команды» [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 98]. Затем началось строительство Новоишим-

ской линии и освоение земель рядом с ней. Сюда шел как добровольный поток переселенцев, так и принудительный (ссылка и насильственное переселение — в счет рекрутства и пойманные беглые крестьяне). Селения от крепости располагались по указанию властей не близко, на расстоянии 70–90 верст [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 99]. М. М. Громыко отмечает разницу колонизационных потоков: в одних местах наблюдалась правительственная колонизация (разночинное население), в других главным оказывалась вольная крестьянская колонизация. Монастырская колонизация, по мысли автора, была тесно привязана к численности монастырских крестьян, что зависело, очевидно, от монастырей-митрополий, организовавших эту колонизацию. В целом же было три формы колонизации: вольная, смешанная и правительственная (за счет крестьянства Европейской России) [*Громыко* Западная Сибирь 1965: 106)]. Автор приходит к выводу: только в результате земледельческой колонизации был обеспечен успех промышленного освоения Сибири Россией [*Громык*о Западная Сибирь 1965: 130]. Также и государство, могло опираться в своей деятельности не только на силу в этом регионе, но и на все цивилизационные возможности, которые открывались благодаря крестьянской колонизации.

Далее автора всё более начинает интересовать крестьянский мир изнутри, она сосредотачивает внимание на общине, а отсюда перебрасывается мостик к изучению норм обычного права [*Громыко* 1971: 388–396; *Громыко* 1973; 24–28; *Громыко* 1977: 33–102], во всех его проявлениях: община и семья, формы общинности, трудовые отношения у крестьян [*Громыко* Трудовые традиции 1975]. Начиная с обращения к общине, в трудах М. М. Громыко начинает более очевидно демонстрировать свой славянофильский интерес к изучению народа как цельной самобытной общности, с глубинными корнями духовной традиции. Община интересует автора именно как русский цивилизационный феномен, в деталях — как она формирует человека и в целом — как крестьянское сообщество, влияющее на семью, насколько она может быть многообразна по отношению к историческим реалиям, как адаптационная коллективно-народная форма. Исследовательница опирается на широкий круг источников из столичных и сибирских архивов (Новосибирска, Тобольска, Ленинграда и Москвы), что делает ее выводы основательными и взвешенными. Община для М. М. Громыко — это эффективный народный инструмент хозяйственного мироустроения, взаимодействия с властью, традиционализации культуры, обычно-правового регулирования спорных правовых вопросов. Функции ее многообразны. Есть у общины и свои духовные задачи; она поддерживает и проводит в жизнь общественное мнение, наряду с семьей, родственниками и артелью. Во всех этих ипостасях проявляется еще и региональное (западносибирское) лицо общины (особенности территориальных форм). По сибирской общине у М. М. не было написано отдельной монографии, хотя вышла отдельная основательная книга по трудовым отношениям у крестьян. И ду-

мается, что это не случайно. Общиной занимались в этот период немало достойных ученых, но занимались немного в другом ключе, максимально уходя в детали (например, замечательные работы В. А. Александрова), и лишь для связки смысла обращаясь к общему, связанному с местом общины в крестьянском социуме. М. М. Громыко, судя по всему, интересовало, прежде всего, «общее», но, очевидно, только общее затрагивать было нельзя, поскольку право на теорию было только у партийных историков.

Исследуя общину, М. М. затрагивает и тему обычного права и сталкивается неожиданно для себя, как нам кажется, с тем, что это не просто обычаи, нормы, устоявшиеся правила, а огромный мир, в котором зафиксирована нравственная жизнь крестьянина. Так появляется интерес к социальной психологии[110] русского крестьянства, где она вплотную подходит к своему излюбленную методу исследования [*Громыко* 1972: 1–13; *Громыко* Дохристианские верования 1975: 71–109; *Громыко* Труд в представлениях 1975: 130–131]. Отсюда, следующим шагом было обращение к традиционным нормам поведения, определяющимися нравственными и религиозными мотивами.

В 1971 г. она выступает на аграрном симпозиуме со статьей на эту тему [*Громыко* 1981: 388–396]. Именно эта тематика открыла перед ученым новые горизонты, — те, к которым она инстинктивно стремилась; она дала возможность увидеть подлинную, а не сублимированную нравственность русского крестьянина, полученную в результате реконструкций религиозной архаики. Здесь была *настоящая жизнь*, живые, человеческие отношения; многообразные, сложные, разнохарактерные. И далее, начинается энергичное движение автора в подлинный и многообразный мир народной нравственности на совершенно новых принципах. Такая нравственность, пронизанная, конечно, религиозными нормами, и начинает рассматриваться ею как духовность. Всё, что она успела собрать в рамках изучения общины, как «трудового коллектива», жизнь которого регулировалась целым комплексом нравственных и обычноправовых норм, было опубликовано в монографии «Трудовые традиции русских крестьян Сибири XVIII в. — первой половине XIX в.» [Новосибирск, 1975]. Книга эта завершает весь предыдущий, *подготовительный этап* движения в сторону изучения подлинного лица русской народной традиции.

С начала 1980-х годов Марина Михайловна всё более сосредотачивается на вопросах духовной культуры русского крестьянства, в новом ее понимании. Сначала, через социальную психологию, привлекая фольклор, идет

[110] Следует подчеркнуть, что социально-психологические подходы в советской исторической науке в это время были новаторством, огромный интерес вызвала появившаяся в 1966 г. книга историка Б. Ф. Поршнева «Социальная психология и история» [М., 1966], и как следствие — использование этого подхода в других работах, например, см. ст. Б. Г. Литвака О некоторых чертах психологии русских крепостных первой половины XIX в. // История и психология. М., 1971. С. 199–225.

проработка вопроса о сложной природе крестьянского духовного мира. Для автора в тот период, еще не стоит приоритета православия и православного мировоззрения, но она понимает, что за крестьянским, народным мировоззрением, стоит нечто большее, чем только фольклор, но и культура поведения, праздничная и аграрная культура. Автор исходит пока еще из факта *удивления* сложностью этого простонародного мира и в этой сложности пытается разобраться, используя привычные схемы ученого-материалиста. Расширяется круг источников, растет число посещаемых архивов; к сибирским добавляются ленинградские, и главным образом государственный исторический архив, архив Синода и Сената. Марина Михайловна смотрит челобитные, судебно-следственные материалы, следственные дела консисторий, записи крестьянских обрядов и т. д., отмечает тот круг источников, который в наибольшей степени отвечает за духовную сторону крестьянского сознания [*Громыко* 1972: 1–13].

Первой монографией, написанной в рамках нового подхода, стала работа «Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в.», изданная в Москве, в издательстве «Наука» [1986] большим тиражом в 6 500 экземпляров. Почти параллельно с этой книгой выходит другая — научно-популярная — «Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского» [Новосибирск, 1985], тираж которой был 80 000 экземпляров. Именно последняя, как мне кажется, впервые позволила М. М. Громыко заявить о своих первых еще приглушенных, смутных религиозных приоритетах и ориентирах, тем более что сибирский материал позволил это сделать на основе новых, свежих материалах о Достоевском, декабристах, и такой интересной фигуре как казахский просветитель Чокан Валиханов. Новыми были не только представленные архивные материалы; необычными для советского читателя предстали все упомянутые в книге исторические фигуры, через их связь с христианством, православной верой, связью с духовными лицами — старцами. У Ф. М. Достоевского, как показывает М. М. Громыко эти реальные жизненные пересечения со старцем Зосимой (Верховским) в Сибири вполне могли найти художественное воплощение в образ старца Зосимы в последнем его романе «Братья Карамазовы». Конечно, само время, которое тогда страна переживала, открывало новые возможности для ученого-гуманитария. Но каждый пришел к этой исторической точке со своим багажом и знаний, и намерений, и сокровенных желаний. Для Марины Михайловны Громыко, это была долгожданная возможность выхода за пределы идеологического контроля, довлеющего над учеными.

Монография «Традиционные нормы поведения...» заслуживает особого внимания для анализа. Она уникальна по многим своим характеристикам. Во-первых, здесь впервые представлена новая цельная концепция исследования «этических традиций» у русского народа. Автор выходит за рамки сибирской тематики на уровень общероссийский (это позволило сделать

многолетняя работа в ленинградских (тогда) и московских архивах), но при этом она опирается на всё то лучшее, что удалось сделать и наметить в «сибирский период» (тем более, что с 1977 г. М. М. Громыко работала в ИЭА РАН г. Москвы). Во-вторых, задача этой концепции в данной книге скорее методологическая, нежели содержательно-исследовательская, потому что слишком велик круг вопросов, стоящий перед автором, слишком сложны перипетии изучения «нравственности в традиции». И хотя определенная содержательно-исследовательская работа была проведена, но она скорее имела характер иллюстрации (и то частичной) новых теоретических подходов. И наконец, третье — эта книга резонансная для научного мира, несмотря на то, что общероссийскую и зарубежную известность приобрела другая ее работа — «Мир русской деревни», вышедшая в начале 1990-х годов. Для абсолютного большинства московских и петербургских (тогда ленинградских) этнографов (эти две школы до сих пор негласно оппонируют друг другу) эта книга стала откровением, заставившим по-новому взглянуть на проблемы исследования народной жизни. Многие почувствовали, что такое изучение требует своего рода сердечного участия, душевного сочувствия предмету изучения, что нравственный мир народа сложен и многообразен. Несомненно, книга повлияла и на ленинградскую школу, что, особенно очевидно, при чтении трудов таких крупных представителей ленинградской школы этнографов как Т. А. Бернштам [*Бернштам* 1988; *Бернштам* 2005] и И. И. Шангина [*Шангина* 1997; *Шангина* 2007].

Особенности методологического подхода М. М. Громыко, представленные в данной книге, состояли в следующих постулатах: 1) традиционная крестьянская событийная культура (а это разного рода общение) нравственна. Она не просто пронизана нравственностью, она завязана на нравственность, отталкивается от нее, держится ею и руководствуется нравственными постулатами. Нравственность, в данном случае, это не формальное и неопределенное поведение, а опосредованное высокими и устойчивыми мотивами. 2) Крестьянское общение имеет коллективно-личностную природу. При том, что крестьянину, присуще коллективистское сознание (благодаря опоре на общину, семью, родственный коллектив, народное самосознание), оно опирается и на личностное начало. В крестьянской среде ценится личностная природа, личностные качества, для которых есть все возможности проявляться (на сходке ли, в трудовых ли буднях, или на празднике и беседе). Коллективизм, однако — главное для народа, более того именно *им одним* меряется «народность», а личностные качества — лишь некая драгоценная огранка народности. И здесь очевидное следование славянофильской позиции видеть в отдельных единицах не-народ, но в совокупности их — народ [*Аксаков* 2002: 137]. Отсюда, вытекала и одна из центральных идей у классических славянофилов (И. С. Аксакова и др.) о национально-русском, православном образовании для народа. Уча таким образом «единицы», мы учим

весь народ. 3) Работа с нравственными феноменами традиционной культуры требует от исследователя некоего априорного знания и априорного положительного отношения к ней. Чтобы увидеть важность феномена взаимопомощи, как его форм — помочей и побратимства — М. М. Громыко — нужно было иметь в себе самой подготовленную почву для этого. 4) Исследовательница, по сути, возвращается к старому, дореволюционному — славянофильскому — пониманию народной культуры, как культуры эталонной; отсюда нравственность является не идеологической категорией, как ее представляла советско-марксистское мировоззрение, а религиозной. В этой работе М. М. Громыко об этом не говорит (очевидно, время еще всё-таки не пришло), но анализирует нравственность именно с позиции «вечных истин».

Всё сказанное позволяет говорить о настоящем прорыве (и не только научном, но и о мировоззренческом) в исследовании русской народной традиции и культуре, да и в целом в конце советской и начале постсоветской эпох. А то, что «попутно» приходилось решать важнейшие методологические философские вопросы, лишь указывает на решимость автора действовать «до конца» в рамках ясно выстроенной парадигмы.

С идейной точки зрения в указанной работе закреплялся этнографический и исторический взгляд на русский народ, как на этническое сообщество, уникальное своей культурой, верой, языком, социальной структурой и хозяйственным укладом. Народ — «нравственный феномен», в нем его зерно, а не в идеологически-гражданской составляющей, обозначаемой понятием «советский народ». Если Д. С. Лихачев подобную же работу — научную «реабилитацию» русского народа как этноса — совершил в отношении древнерусской литературы X–XVII в., то М. М. Громыко продолжила ту же линию, максимально приблизившись к современности — к 1917 г., раскрывая нравственную историю русской крестьянской России XIX — начала XX вв. Это и было важнейшей и существенней заслугой ее как ученого и как личности. Д. С. Лихачев в письме к Марине Михайловне, написанном в связи с выходом «Мира русской деревни», отметил именно эту заслугу автора, способность видеть и представить русский народ в его цельности, в традиции, в его идеалах и твердых началах.

Наиболее известной книгой М. М. Громыко, принесшую ей государственную премию, как и всероссийскую славу, является «Мир русской деревни» [М.: Молодая гвардия, 1991]. Она создавалась уже на отработанной методологической базе, «легко и свободно», как это можно почувствовать, читая эту книгу. Теплое, звучное название, не строго академичное, прекрасное оформление и весь иллюстративный ряд — всё это создавалось для ждущего, уже подготовленного читателя, новую книгу как долгожданный манускрипт, как живую весть из прошлого, пробившуюся в начало 1990-х гг. Отсюда невероятный тираж в 50 000 экземпляров. Но даже и он не покрыл всех потребностей потому, что к автору потом поступали неоднократные

обращения о переиздании книги, от чего она отказалась, потому что в этот период уже считала нужным более четко и определенно говорить о религиозной, а не только и столько о нравственной природе традиционной культуры. Вот почему вместо «дополненного и исправленного издания» свет увидела в 2000 г. новая книга «О воззрениях русского народа». Но остановимся более подробно на «Мире русской деревни».

Книга не просто вносила новую, свежую струю в понимание прошлого «простого народа», она была духоподъемна, и об этом М. М. Громыко говорили и писали многие известные люди того времени. Были письма от Д. С. Лихачева, благодарный звонок от писателя В. А. Солоухина, высказывал поддержу известный философ и писатель Э. Ф. Володин, в отдел русского народа Института этнологии и антропологии РАН, приходили ответственные работники образования (А. Д. Червяков и др.), ученые, вообще — много самого разного народа. Рассмотрим книгу подробнее. Первые слова эпиграфа — Ю. Ф. Самарина, укоряющие русскую интеллигенцию, которая «затемняет светлые стороны деревенской жизни». Знаковая фраза! В «Предварительном разговоре» (предисловии) автор говорит об идее «практического отношения к крестьянству» (подлинного), в отличие от «теоретического» (ложного) отношения. «Нравственные понятия» здесь лишь часть материала, а кроме него есть «хозяйственные знания», «социальный опыт», «исторические представления», «круг чтения и праздники», «общинные сходки и молодежные посиделки». Здесь автор открыто говорит о причинах непонимания деревни: «недостаток настоящего уважения к крестьянину, его труду» и является главной причиной этого непонимания. А «острота разговора о русском крестьянстве нарастает», поскольку крестьянина начинают делать ответственным за все проблемы и неудачи России в XX в. Поэтому важнейшая научная задача — «сказать правду о русских крестьянах». Посмотрим, кого субъектно выделяет автор изо всего деревенского мира. Это пахари, грамотеи, книжники, семья, мир (как крестьянское общество), молодые. Из личностных фигур — пахари и грамотеи с книжниками, подчеркивающие труд и учение. Из коллективных — семья, мир и молодые. Свою необходимую нагрузку несут и общие понятия — «совесть», «Отечество», «праздник». Они как-бы сопрягаются с коллективными фигурами: отечество/мир; совесть/семья; праздник/молодые и тем дополняют и объясняют свою сложную природу. А над всем стоит фигура пахаря, он — фундамент русской деревни. Пахари — это люди, глубоко понимающие природный мир и знающие свое сельское дело, но кроме того — «предприимчивые» и с «чудной понятливостью». Такова общая архитектоника книги, что указывает на глубокую продуманность ее структуры со стороны автора. Собственно, и здесь проявляется искомый подход: с любовью, вниманием и ответственностью представить читателю «целое», законченное, живое, похожее на реальную действительность. Но поскольку, перед автором-славянофилом всё же стоит еще и идей-

ная задача: «сказать правду о народе», то есть собрать всё лучшее и показать его. И это лучшее, по мысли М. М. Громыко, было не исключением, а повседневностью, обыденной жизнью, потому что в этом лучшем существовала ответственность друг за друга и за весь мир. И пусть эта ответственность была по-народному проста и безыскусна, но она была правдива, и искренна и ею держался огромный мир. Эту «славянофильскую правду» и хочет донести до читателя автор книги.

Книга «Мир русской деревни» завершает очередной, очень значительный (может быть главный!) этап научной жизни М. М. Громыко, который был обозначен нами как «торжество нравственного принципа» (в котором, как было замечено выше, было много от эстетического взгляда на традицию) во взгляде на русского крестьянина. Автор расширяет границы предыдущей книги о нормах поведения русских крестьян, популяризирует свой новый подход, вводит в книгу отдельные сюжеты из религиозной жизни крестьян. Надо помнить, что книга писалась во второй половине 1980-х годов, а с 1986 г. автор начинает вести активную церковную жизнь, знакомится с известным московским священником и старцем прот. Михаилом Трухановым. То есть, Марина Михайловна не спешит распространить свою личную, выросшую религиозность на научную жизнь. Подводятся лишь итоги предыдущему периоду. Яркость и выразительность подведения этих итогов совершенно очевидна. Навряд ли бы тоже самое случилось, живи она в обычном академическом режиме. Была бы монография, — хорошая, основательная, — но не имеющая такого пронзительного, моцартовского тона. Книга действительно ставит резкую границу между научным прошлым и будущим Марины Михайловны.

Новый период, при том, что это был разрыв с предыдущими этапами, был характерен еще, как нам кажется, разрывом со славянофильской парадигмой, как исчерпавшей себя, по мнению М. М. Громыко. А это уже требует серьезного пояснения. По сути, речь идет о понимании того, что светскость, как среда, как механизм понимания мира, его описания, исчерпала себя, по ее мнению. Делается шаг выхода за границы «Достоевского», с его «светским пророчеством», особым эсхатологическим народолюбием, наконец, сутью — его подходом — *эстетическим* оценочным критерием к народной традиции. И хотя сама М. М. Громыко, как историк и этнограф, ранее действовала на другом поле — этическом, но действовала там с багажом, который она нашла у Федора Михайловича. Это и позволило ей, по нашему мнению, взглянуть на крестьянский мир хотя и глазами нравственности, под особым эстетическим углом. Именно «эстетический угол зрения» и дал возможность увидеть в крестьяне духовную красоту образа, а не просто правильность его поступков. Здесь, как нам кажется, находится основной посыл ее методологической концепции, которая сформировалась в «период дорелигиозный». И от этого инструмента Марина Михайловна отказывается; от того, чтобы

изучать нравственную природу народной жизни под эстетическим углом. Эстетическое она хочет заменить религиозным началом. То есть чтобы нравственность народа изучалась под религиозным углом. Но отказ от эстетического принципа означал на деле, пренебрежение светским инструментом исследования как таковым.

Разрыв со славянофильством означал многое и прежде всего, отказ от модерна, как способа постижения предмета исследования и описания действительности. К этому, надо сказать стремились ранние славянофилы, но последователи их не подержали. Да и сами они, не могли этого сделать в реальности. Во всяком случае, параллели у М. М. Громыко в вопросе об отказе от модерна в пользу только традиции, налицо. То есть, получается, что отказ от славянофильства Марины Михайловны, мог быть только неполным, а условным. Что-то подобное сделал в свое время И. В. Киреевский, когда стал заниматься издательской деятельностью для Оптиной пустыни. Он ушел в прошлое, но не бытовое, а религиозное, с его истовостью (но православной) и аскетизмом в религиозной жизни, характерными для допетровской Руси. В этой связи мне теперь понятны ее устные (в разговоре) критические высказывания в адрес Достоевского: «писатель не был тем духовидцем и духовным подвижником, каким может быть духовный пророк. Не хватало ему духовного разумения, церковности благодати. Хотя человек он был глубоко и искренне верующий, любивший Россию, но не духовидец».

В своем новом качестве М. М. Громыко, должна была отказаться от этического и эстетического (светского и научного!) взгляда на традицию, что было важно для славянофильства, в пользу сугубо религиозного взгляда. Но религиозный взгляд предполагал уход в церковную сферу, погружение в нее, как это сделал Иван Васильевич Киреевский, и совсем не предполагал участия в светской деятельности. Марина Михайловна, как научный работник, в эти годы тоже помогала своему духовному отцу протоиерею Михаилу Труханову — известному московскому старцу, — редактировать его книги, готовить их к изданию, и в этом смысле у нее была своя «Оптина», но она продолжала работать и в Институте этнологии и антропологии РАН.

В рамках новой мировоззренческой парадигмы в 2000-м году вышла большая работа «О воззрениях русского народа» [М: Паломник, 2000], написанная в соавторстве с А. В. Бугановым. У книги было два издания (первое издание имело тираж 5 тыс. экземпляров), имелся гриф Министерства образования, разрешающий пользоваться книгой в качестве учебного пособия, что делало ее потенциально ориентированной и на допечатывание тиража. М. М. Громыко написано в монографии две части из трех: 1) Вера в народной жизни и 2) Русская община. Полностью новым был текст первой части; православная вера рассматривалась автором сквозь призму: отношения к загробной жизни; внехрамовые богослужения; посещение храма и отношению к храму и священнику; участие в богослужении; почитание святых; богомо-

лья; домашняя церковь; дела милосердия; подвижничество. Как видим, автор максимально охватывает все сферы церковной жизни; она показывает, что народу была доступна церковная жизнь, народ ее знал, жил ею, пользовался ее плодами, а понятие «Святая Русь» касалось именно простого народа, большей частью крестьянства. М. М. Громыко, опираясь на самые разные источники, приводит примеры, иллюстрирующие ее тезисы и старается показать общий характер описываемых ситуаций.

В целом, картина, представленная автором, не противоречила исторической реальности; все описанные вещи существовали, народ знал веру и церковность, но, однако, собранный уникальный материал, увы, не отражал подлинной сложности картины церковной жизни русского народа, из-за чего она выглядела хотя и не придуманной, но идеализированной. Еще точнее сказать, не проработанной в важнейших вопросах, касающейся религиозной повседневности, в той части, где было хорошее и плохое, где разного рода негативные явления следовало объяснять в свете православной духовности. Такая позиция чем-то напоминала действия тех специалистов в XIX в., которые трудились в отдельных епархиальных консисториях над текстами житий святых, выравнивая их в соответствие с канонической формой. Скажем, преп. Трифон Печенгский в молодые годы участвовал в разбойничьих ватагах, но после покаяния стал тем, кто записан сегодня в святцах. Но в вычищенном «для благочестивого читателя» житии мы видим другую житийную канву: благочестивых родителей, молодые годы, проведенные в смирении и чистоте, затем уход в монастырь по призванию. Об этом феномене написал исследователь его жития митрополит Митрофан (Баданин) [*Игумен Митрофан (Баданин)* 2009: 21]. Конечно, и речи нет о каком-то сознательном приукрашивании той религиозной жизни крестьян, которую берется описывать М. М. Громыко в книге «О воззрениях русского народа». Но в реальности религиозная жизнь была не столько менее благочестивой, сколько более сложной. Здесь не работал прежний метод собирания положительного материала и составления из них полной картины нравственной жизни крестьян, который безукоризненно действовал в прежних трудах. Нравственность, в отличие от религии, легко структурируется, легко описывается, здесь четко прослеживается, где добро, а где зло. Иное дело — религиозность. Она полна парадоксов и полутонов, и чтобы понять и оценить ее, нужно рассматривать ее не с двух и не с трех сторон, а с очень многих и многих. Она состоит из света, а свет нельзя описать одним или двумя мазками, свет можно описать лишь передав настроение всех героев картины, живых и неживых. Конечно, некая *застывшая картина* «идеальной религиозности» тоже, наверное, имеет право на существование и с точки зрения человека, вышедшего за пределы светских критериев, считается наиболее верной. Но надо помнить, что сам по себе текст (даже текст Евангелия) создавался не для того, чтобы залить его одним только внешним светом. В Евангелии есть внутренний свет богодухно-

венного текста, Слова Божия, не исключающий всей горькой и трагической правды, которая здесь очевидным образом присутствует. Могли ведь евангелисты и не писать о слабости апостола Петра, его отречении и принятии его Христом заново в ученики. Какая всё-таки тень ложится на апостола Петра, кто-то может и соблазниться. Но всё в Евангелие на своем месте: есть обиды и слабости, отступления и предательства, есть и верность, и твердость, есть вера и любовь. И есть определенная тайна, которую ничем нельзя объяснить. То есть здесь тоже действуют законы внутреннего света, которые если и браться описывать, то только через всю гамму поступков людей, ничего не скрывая и приукрашивая.

Светский текст, возникающий в Возрожденческую эпоху модерна, лишен, конечно, сам по себе религиозного внутреннего света, но и в нем есть своя высокая правда, если это прекрасный и высоконравственный текст. Если смотреть на светскую жизнь русских крестьян как на светский текст, полный самых разных жизненных противоречий, где есть и свет небесный, и свет земной и тьма небесная и тьма земная, то при написании только небесного света, мы явно погрешим против правды, зная о всех других оттенках. Важно лишь написать о других реальностях в нужном тоне.

Не хотелось бы представлять данную позицию М. М. Громыко как догматическую, уводящую ее в сторону тотальной идеализации и тем самым глубоко отклоняющуюся от истины. Сама она прекрасно осознавала, что в народе (и раньше и сейчас) есть разное; и святое, и грешное, подлинное и зряшное, но писать считала нужным только о хорошем. Всё плохое о народе — «чернуха», как она характеризовала — это отклонение, которое нужно забыть, потому что не плохим, а хорошим каждый народ представлен в истории. И, по сути, такой взгляд рассматривался ею как метод исследования, как взгляд на исторические события вообще. Такая позиция была близка и симпатична многим ученым из близкого круга Марины Михайловны. Как нам кажется, в этой позиции даже нет какой-то системной ошибки, некоего глобального противоречия, потому что, пользуясь даже другим методом, учитывая массу противоречий в народной церковной жизни, мы обязательно придем к тем же самым выводам о глубине церковной жизни русского народа. Вот почему, М. М. Громыко смогла, уже после написания «О воззрениях русского народа», обратиться к агиологической теме в совершенно ином ключе. И здесь ее новый — не тиражируемый на других исследователей подход — заработал! Идеализация, как метод, на примере одно человека, привела к блестящим результатам. В ее книге «Святой праведный Феодор Кузьмич — Александр I Благословенный. Исследование и материалы к житию» [М.: Паломник, 2007], увидевшей свет через семь лет после книги «О воззрениях русского народа», мы видим продолжение книги, вышедшей в 1985 г. под названием «Сибирские знакомые и друзья Ф.М, Достоевского...». Монография о преображении души императора Александра I писалась в близком

(книге «Сибирские знакомые...») жанре научного расследования, имело ясный драматургический замысел, была великолепно проработана на архивном материале. Писалась она с большим вдохновением и ясной целью поставить точку в сложном вопросе, касающемся идентичности сибирского старца Феодора Кузьмича и императора Александра I. В основу ее был положен ясный мотив духовного преображения человека под воздействием обретения веры, через что сама автор прошла некоторое время назад. И основным толчком для императора Александра I, стало лицезрение им в годы Отечественной войны 1812 г. народной веры, ее крепости, силы и культуры, о чем он раньше даже не подозревал. Попав в народную среду в период испытаний, т. е. пору ее активности, император смог почувствовать себя частью народа, зажечься от него верой. Выйдя из народной стихии другим человеком, во всяком случае, с жаждой искренней веры, император, чтобы продолжить этот путь, должен был дальше идти народным путем: сугубого покаяния, отказа от всех благ, странничества, чтобы очистить душу для будущей встречи с Богом.

Нельзя не отметить, что книга написана с филигранным мастерством; десятки судеб искусно собраны в одно целое, где центром притяжения оказался, вставший на путь странничества бывший император. М. М. Громыко использует не только весь корпус имеющихся архивных данных, но и учитывает самые разные, но заслуживающие доверия, сведения из опубликованных источников, рассматривает предания, сохранившиеся в русской эмигрантской высокородной аристократической среде. У непредвзятого читателя, прочитавшего книгу внимательно, не остается сомнений в идентичности Александра I и старца Феодора Кузьмича. Важная задача доказательства идентичности этих двух разведенных историей лиц, тем не менее, находится только в числе основных задач: среди которых — духовное преображение человека в результате глубокого покаяния; обращение к глубинам народной веры, из которых возможно было черпать не только простому человеку, но и такому высокородному как император; и, наконец, задача важности религиозных мотивов для истории России в целом.

Две последние книги М. М. Громыко «Обращение к старцам в духовной жизни русских XX в.» [М.: Паломник, 2015] и «О духовном возрасте ученых и изучаемых» [М.: Индрик, 2018] очевидным образом указывают на то, что автор трудилась в науке неустанно, почти до своей кончины. И это так. Только за год до того, у нас прекратились постоянные активные научные контакты (немощь и болезнь взяли свое): обсуждения статей, новых номеров журнала, споры о методах исследования. В этих книгах можно наблюдать удивительное явление: совместить несовместимое — утвердить религиозный метод исследования как равноценный светскому. До последнего Марина Михайловна ищет этот путь, который она выбрала и которым не проходила, да и не могла проходить наша наука. Тем не менее, с твердостью и ясным пониманием цели она движется в поисках (именно в поисках!), а не стоит на месте. Мы горячо

спорим, пока была еще возможность для встреч с глазу на глаз о разном понимании метода исследования. Я настаивал на методе, который выше в тексте был назван как эстетический взгляд на традицию (линия Достоевского), т. е. на сугубо светском характере научного исследования, что не исключало того, что исследователь может быть глубоко верующим, воцерковленным человеком. На мой взгляд, дело было не только в допущении религии в методику и методологию, а в том, что при этом у исследователя пропадает возможность иметь «тонкий хирургический скальпель», вместо кухонного ножа, там, где идет речь о хирургической операции. Эти образы должны показать, что антропология земного человека должна учитывать его телесность и здесь «хирургическим скальпелем» будет как раз светский научный метод, заточенный под работу с телом, а не с духом, как в богословии. Применение религиозного метода в сфере изучения «тела», сродни применению «кухонного ножа», а не «скальпеля», как ни парадоксальным это может показаться. Как может религиозный метод, метод интуиции, метод богословских понятий и т. п. быть более грубым, чем светский научный метод? Это было непонятно. Но я настаивал на таком понимании. К этому и сводилась суть нашего спора. Но Марина Михайловна со мной не соглашалась и продолжала двигаться в сторону абсолютизации религиозного метода. Собственно, две указанные книги и явились плодом наших споров, особенно, книга «О духовном возрасте ученых и изучаемых». В более ранней — «Обращение к старцам...» еще нет этого внутреннего напряжения, состоящее в желании «объясниться». Там, апробированное использование новой методологии в монографии «О воззрениях русского народа», уже применяется «естественным» образом. Единственное, что стоит заметить; в этой книге стало заметно одно следствие применение «религиозного метода исследования». А именно, что автор, как светский ученый, не может отказаться от светской мотивации, на чем построено любое научное исследование. Если бы она отказалась от светского языка мотивации, то работа была полностью богословской; а это не хотела ни она сама, ни жанр подобного исследования не позволял. В результате Марина Михайловна переходит на уровень «нравственной мотивации», при наличии обильной, конечно, религиозной фразеологии. Вот ее озвученная позиция: «Последовательное применение его (православного мировоззрения. — *авт.*) в социологии, психологии, педагогике и других общественных науках способствует утверждению нравственного образа жизни» [*Громыко* 2015: 10]. Или в другом месте: «Религиозность исследователя становится гарантией против безнравственного поиска, против бесчеловечности будущих открытий и изобретений, а благодать открывает возможности великих озарений в изучении Божьего мира» [*Громыко* 2015: 11]. В этом контексте материал, подобранный в книге весь посвящен «полезности» старцев для людей: их прозорливости, целительству и др. Старец выполняет некоторые важные функции «добра», уберегая людей от зла. И с этим невозможно

спорить, эти функции у них существовали и существуют. Но что же является смыслом, сутью старчества, разве не «эстетический» контекст, с точки зрения крестьянина-простолюдина? Разве не соответствие старца образа Христа, во всем его духовно прекрасном преображенном состоянии, в котором если и нет слепящего фаворского света, но всем заметен тихий неземной свет, «тихий свете»? Кого-то может и интересует только рука, которую может исцелить такой чудотворец, но и такие люди, если они верующие, всё-таки охватывают всё в целом; фигуру, образ подвижника цельно, в его святости, в его духовном свет, а не в его отдельных функциях. А тут получается автор замечает только нравственный урок, со стороны старца. Там, где в отдельных главах идет о разных старцах: на приходе, в монастыре, в миру — там, просто приводятся конкретные примеры обращения к старцам, но нет никакой специальной аналитики, в которой бы фиксировались что-то помимо приведенного описания. Вывод напрашивается один: это описание религиозного события, но ограниченное в силу определенной методологии (показать нравственное значение старца) только нравственным уровнем описания (и аналитики) явления. Автор, наверняка знает о религиозном уровне описания, он даже стремится к нему, и думает, что достиг его; но ее метод неумолимо держит исследователя в своих рамках.

В книге «О духовном возрасте ученых...», состоящей из восьми очерков та же проблема представляется еще более заостренной; автор настаивает на своей методологии. В первом очерке, посвященном общественному значению православной веры ученого, сразу же с первого предложения начинается разговор о нравственности: для верующих ученых «изучение мира, созданного Богом, требует особенно добросовестного отношения, оно всегда должно быть нравственным, преследовать благие для общества и отдельного человека цели... Реализация православного направления мировоззрения в науке «способствует утверждению нравственного образа жизни, создает основания для защиты от натиска беспредельной вседозволенности... Здесь (в естественных науках. — *авт.*) за счет откровений (на этом мы еще остановимся ниже), но великое значение для общества имеет состояние нравственности ученого» [*Громыко* 2018: 6]. Все перечисленные утверждения — это своего рода калька с неких религиозных постулатов и дефиниций, но введенных в светское пространство и произносимых от лица светского человека и потому все, привязанности к понятию «нравственность» не могут не рассматриваться вне религиозного контекста, во всяком случае, не как крипторелигиозный текст. То есть автор постоянно ощущает необходимость заменять некий искомый религиозный текст некоей равноценной нравственной дефиницией. И в этом Марина Михайловна видит применение своего метода. Приведем конкретный пример. В очерке 2 ставится проблема о богатстве, или как пишет автор о «социальном неравенстве». Очерк писался в ответ на мою появившуюся публикацию о конвертации богатства, где богатство

рассматривалось как историческая категория, как потенциально опасное для человека явление, нуждающееся в обязательной конвертации, отделении части его на благие дела. Марина Михайловна исходила из того, что богатство нейтрально, есть разные люди, по-разному распоряжающиеся богатством. В очерке она и показывает примеры богатых купцов, которые щедро делились своим богатством. Но этим вот уровнем — описанием судеб таких купцом такой подход и ограничен. А то, что богатство действует особым образом в самых разных сферах, влияет на судьбу целого региона страны (Новгорода в древности, например), формирует его культуру, уклад, характер людей, социальный и экономический строй, особенности церковной жизни, и в этом смысле имеет разное историческое лицо, как и и многое другое, — всё это нельзя выяснить при исследовании богатства с позиций хорошее/плохое. В восьмом очерке книге, посвященном взаимодействию Церкви и науки, Марина Михайловна, ставит вопрос о продуктивности научных исследований, написанных православными учеными, с православных позиций. Православное направление гуманитарных исследований в постсоветской России «развивается в глубоком контакте с Православной Церковью: не только во взаимном использовании исследований и внешних организационных формах, но в постоянной церковной жизни самих ученых, которым их мировоззрение помогает успешно реализовывать свои профессиональные знания». Здесь логика такова: православная вера и церковность обязательно выведут профессионала на истинный путь, откроют ему подлинное знание, но при этом никакой особой, «православной методологии» не существует.

«Религиозный период» научной деятельности М. М. Громыко (с начала 1990-х и до кончины в 2020 г.), т. е. 30 лет жизни, включал в себя большой объем и теоретических статей, в которых автор формулировала свои новые постулаты, говорила о «православной религиозности», как исследовательском поле, приемлемом для ученых-гуманитариев [*Громыко* 1993: 149–180; *Громыко* 1994: 3–5; *Громыко* 1995: 77–83; *Громыко* 2001: 19–33]. Позиция автора была однозначна: нравственность должна быть мотивирована православной религиозностью, в этом состоит научная задача православного этнографа. «Задача исследований должна быть поставлена именно так: насколько основополагающие идеи вероучения, богослужебная практика, мистический опыт, нравственные установления стали достоянием массы русских, считающих себя православными?», — пишет Марина Михайловна в программной вводной статье «О единстве православия в Церкви и в народной жизни русских», в № 1 журнала «Традиции и современность». В статье рассматриваются разные формы православной религиозности, но итожит статью раздел «Православные основания нравственности».

В 1990-е годы у М. М. Громыко появляется ряд теоретических статей, в которых предлагалось по-новому, не с позиции атеизма, рассмотреть тему религии. Публикуется обширная программа для сбора этнографического

материала по теме «Православие в русской народной культуре», автором которой была в значительной степени Марина Михайловна [Программа-опросник 2002; *Громыко, Кузнецов, Буганов* 1993: 60–68; Традиционная культура русских 1997: 91–110]. В указанных статьях, ставилась задача провести черту, разделяющую богословие и науку, поскольку постоянно возникали вопросы о предмете исследования, при изучении православия, звучали обвинения со стороны ученых с атеистическим мировоззрением, в узурпации сферы богословия. М. М. Громыко писала, что в предмет этнографии входит не религия, а религиозность, т. е. функционирование вероучения: религиозное сознание, вероисповедная практика и духовный опыт народа или отдельных его частей» [*Громыко* 1995: 77]. Также важным был вопрос о двоеверии у народа, т. е. официальном православии и «бытовом». Автор говорила о надуманности вопроса. Не исключая проникновение православия в быт, не исключая народной демонологии, она, тем не менее, связывала эти явления с второстепенными вещами, не касающимися веры у основной части крестьян. Здесь же, в этих статьях, предмет изучения обозначен как «народ», о личности, об отдельном человеке нет и речи. В лучшем случае основой для изучения может стать отдельная группа (сословная или др.) из народа, но никак ни меньше. То есть и в установочных, теоретических позициях автор исходила из славянофильского понимания предмета исследования.

За «религиозный период» автором издано четыре книги, десятки статей, программа полевых исследований, и всё же основным, на наш взгляд, было в эти годы не издание научных трудов, а «исповедование веры» известным и заслуженным тогда уже ученым Мариной Михайловной Громыко. Это исповедание зазвучало открыто, ярко и талантливо. Это не была проповедь православия, но это был звучный, умный разговор о праве ученого говорить о религии, как о духовной силе, а не слабости, как силе, преобразующей жизнь народа, его культуру и мировоззрение, влияющей на государство, социальные отношение. Такой подход, открыл многим глаза в секторе русского народа ИЭА РАН, где она тогда трудилась; слово открылись шлюзы, и хлынувшая вода обозначила сразу русло народной реки; все зримо ощутили, что это не озеро, пруд или водохранилище, и уж тем паче не болото, а могучая река составляет течение народной жизни и православие определяет саму традицию, саму суть этого движения. На семинарах, ею организованных и проводимых, выступали этнографы, филологи, литературоведы, педагоги, искусствоведы, архитекторы, — все, кого притянула эта смелая идея видеть в русской народной культуре православную религиозную основу. Отсюда, стали появляться аспиранты, защищаться диссертации, сначала кандидатские, потом и докторские; а также сюда из регионов потянулись исследователи с подобной тематикой, которую они могли защитить в ИЭА РАН, имея в секторе русских уже целую группу исследователей, работавших по этому направлению. Свя-

зи с Вологдой, Самарой, Пермью, Краснодаром, Новосибирском позволили расширить региональный горизонты.

Для всех, кто прошел в 1990-е и 2000-е годы эту школу «православной этнографии» в ИЭА РАН, конечно, памятно это время. Складывалась не столько школа православных этнографов или искусствоведов, складывалось понимание единства задачи: изучать русскую народную, как и профессиональную, конечно, культуру в тесном единстве с православием, в его свете, в его поле, в его константах. Очень важно, что все по-разному воспринимали методологию Марины Михайловны, ее опору на изучение нравственности в религиозном свете; кто-то шел за ней и буквально перенимал эту модель исследования и сам также работал. В других случаях, исследователи находили свои пути изучения культуры и традиций русских, двигаясь в рамках своих поисках; помня и о православии, и о науке. В этом смысле, щедрость и терпимость к иным взглядам Марины Михайловны, давали такую возможность и это ее заслуга и особенности ее отношения к ученичеству. Щедрость и терпимость, как талант привлекали к ней массу учеников, а также людей, которые старались получить у нее консультации, совет, необходимые справки. Вот почему, пока Марина Михайловна посещала институт до 2007 г., у ее стола всегда наблюдалось особое движение; приходило много новых людей; подсаживались и свои сотрудники; словом, постоянно шел с кем-то заинтересованный, неравнодушный разговор. Такой разговор, для автора статьи, был щедрым даром и после того, как Марина Михайловна, перестала посещать Институт, работая дома. Мы общались у нее дома, в среднем раза два в месяц, и до последнего сохранялся ее молодой, оптимистичный взгляд на человека, на события в стране: чтобы не было никаких осуждений патриарха, епископата, духовенства, чтобы не было никакой «чернухи» во взглядах на народ и народную культуру.

Подводя итог славянофильской позиции М. М. Громыко, остановимся на двух моментах: специфике ее советского славянофильства и причинах ее отказа от славянофильства, в пользу религиозной методологии. В отличие от В. А. Александрова ее понимание классического славянофильства носило несколько зауженный характер. На первом месте у нее была деятельная любовь к народу, народной культуре и традиции. Но из трех главных методологических славянофильских компонентов: почвенности, народности и цивилизационности, она с юных лет выбирает только два: почвенность и народность, точнее сказать, преимущественно — народность. Не народную цивилизацию, центральный компонент триады! А ведь именно за последним стояли и динамика, и цельное представление о явление. Почвенные и народнические характеристики лишь дополняли (расширяли и углубляли картину, созданную цивилизационным методом исследования). Однако, абсолютизация почвенической и народнической методологии, на коротком отрезке научного пути могла принести новые и яркие результаты. Они позволяли на-

рисовать идеальную картину народной жизни, в ее статике, при тщательно отобранном материале артефактов. Для 1970-х и 1980-х годов такая картина народной жизни была своего рода откровением! С чем и связан был особый резонанс выхода ее трудов, особенно «Мира русской деревни». Это были тоже славянофильские труды, потому что они вырастали на славянофильской методологии (хотя и зауженной), построенной на искренней любви к русскому народу. Но это были «статичные труды», по форме близкие к тем, которые писались партийными этнографами и историками. И в этом была их слабость. Но автор, конечно, этого не видела, но всё же внутренне ощущала какой-то изъян, в своей позиции. Эти внутренние сомнения совпали со временем ее воцерковления, смены приоритетов мировоззрения, в результате чего сам славянофильский метод был оценен ее как ошибочный. И ошибка его состояла по мнению Марины Михайловны в отсутствии в нем религиозного аспекта исследования. Хотя, славянофильство и не предполагало привлечения такого аспекта. Религиозная методология, конечно, уже не может считаться славянофильским подходом, поскольку здесь уже наблюдается выход за пределы светского пространства исследования. Но это не богословие, не философия, не светский метод исследования, а нечто среднее, находящее между богословием и светским методом. Безусловно, эта методология индивидуальна, единична, она характерна для конкретного человека — М. М. Громыко, и чтобы ею воспользоваться надо быть таким как она исследователем. Но не это даже главное среди отрицательных характеристик этой методологии. Между тем, как ученый, М. М. Громыко всё время двигалась, она искала выхода из сложившейся ситуации, она писала работы до последнего, и в этих работах сохранился и этот свет поиска, ее неуспокоенности, неравнодушия; запечатлелась энергия ее яркой, выдающейся личности.

И. В. Власова (1935–2014)

Самый младший из троих представителей послевоенной московской академической этнографии, Ирина Владимировна Власова, родилась 18 августа 1935 г. в Вологде, а умерла скоропостижно в Москве 19 марта 2014 г. Доктор исторических наук, лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки РФ. Замечательный организатор науки. По происхождению, из старинной мещанской семьи, в которой, по ее воспоминаниям, имелся иконописец, известный в Вологодском крае. Училась в Москве в МГУ, на историческом факультете с 1954 по 1958 гг., затем с 1958 и до кончины трудилась в ИЭА РАН. Любила свою малую родину Вологодчину, состояла в Москве в Вологодском землячестве, посещала все мероприятия, проводимые землячеством. Дружила с дочерью поэта и писателя А. Яшина, общалась с В. Беловым, в пору работы в Вологодской экспедиции. Славянофильство ее укреплялось и искренней любовью к поэзии Н. Рубцова,

поэта хотя и общерусского, классика, но вологодского по происхождению. Из оценок Ирины Владимировны, которые мне не раз приходилось слышать в частных беседах, ясно, что Рубцов (хотя они не были знакомы), даже входил в число ее «научных учителей», способствовавших ее мировоззренческому становлению. От поэзии Рубцова она получила некий звонкий «образ», искру народного чувства, позволившую другими глазами посмотреть на вологодские сельские избы, природный мир, вологодскую глубинку в ее растянутом пространстве редких поселений и еле светящего огня, словно собирающего этот разбросанный сельский мир в одно целое. Рубцова она ценила и любила не просто как великого поэта, равного Лермонтову и Тютчеву в изображении «этнического чувства», но и как великого земляка, протянувшего ей руку дружбы из своего поэтического вологодского и общерусского мира.

Своим учителем в науке считала этнографа и преподавателя МГУ доктора наук Михаила Васильевича Витова, с которым имела общую монографию, которую можно расценивать и как фундаментальный справочник по отдельным сельских поселениям Вологодчины. Книга на три четверти состоит из таблиц, схем, цифр и фактов и только на одну четверть из выводов. Свой главный труд «Русский Север» посвятила В. А. Александрову и П. А. Колесникову («Памяти наших учителей»), написав от лица всего коллектива этой монографии. А. В. Александров хотя и не был в прямом смысле учителем Ирины Владимировны, но под его руководством она несколько десятилетий работала над северноуральской, потом Вологодской тематикой. Также он курировал написание ей докторской диссертации. Несомненно, что идейное научное воспитание, «научную прививку», Власова получила как от М. В. Витова, сторонника географического и комплексного методов исследования, так и от В. А. Александрова, разрабатывавшего миграционную теорию. Ее славянофильство в сути своей было привито ей семьей, происхождением, местом рождения. Методологическая же часть была воспринята ею от научных учителей, как программа действия. Причудливым образом в ее исследованиях соединились подходы обоих ее учителей, но в большей степени всё же М. В. Витова. Привлечение комплекса источников: этнографических данных, ономастики, языкознания (диалекты), данных физической антропологии (региональные антропологические типы) для написания картины этногенеза, позволяло ей сосредоточится не на социальных, социально-правовых структурах, и в целом коллективной идентичности, как это делал Александров, а на индивидуальной, но потом обобщенной до уровня этнографической группы. Из этих сегментов и вырастали элементы динамичной картины, но сами сегменты и сама картины были отличны от той, что создавал Александров в своих трудах. У него была этничность социума, с определенной структурой социальных форм, у Власовой же этничность единиц, протестированных через языковые особенности, привязку к местности и т. п. Иными словами,

Власова вслед за Витовым, выделяла этнического субъекта и дальше смотрела, на какую территорию его этническая субъектность распространяется, привлекая для этой характеристики данные по жилью, одежде, характеру поселений, особенностям земледельческой культуры. Все эти материальные характеристики оживали именно вкупе с этническим субъектом. Так появлялась локальная этническая территория, точнее этнокультурная территория, локальная этническая группа. Соответственно, весь отмеченный этнокультурный набор признаков можно было использовать и для сравнения с предполагаемой территорией миграций для составления более общей картины. Таковой нам видится методология И. В. Власовой, где от славянофильства, из трех вышеуказанных его методологических компонентов, взят был за основу только один компонент — почвенность, дающий возможность составить картину формирования территории. Этот аспект становится главным, два другие же имеют для нее второстепенный, прикладной характер.

В силу этого, итогом такого исследования становится уже не народная цивилизация, а *этнокультурная территория*, которую может объединить только государство. Оно и играет в этой системе главную и решающую роль. На это автор обращает не раз внимание читателя: «Решающую роль в формировании историко-культурного типа у населения Севера сыграло освоение земель славянами и ранее их вхождение в состав древнерусской государственности» [Русский Север 2001: 22]. «Результаты труда, особенно русских, по освоению евразийского континента являются ключевыми моментами в понимании процесса возникновения и существования многонационального Русского государства. Русский земледелец, северный в том числе, осваивал земли и упрочивал свою земледельческую культуру. Вся совокупность элементов этой культуры составляла ту цивилизацию, которая обусловливала устойчивость государства и взаимодействовала с цивилизацией народов, входивших в состав России» [Русский Север 2001: 3]. Она говорит, что нет единой народной цивилизации русского народа, создавшей и государство, и сохранившей жизнь и культуру других народов. В этой концепции существует много цивилизаций, вместе с русской, ведь цивилизации в таком понимании — это просто этническая культура каждого отдельного народа. Над всем этим разнообразием и пестротой стоит государство. Оно у Власовой оказывается главным лицом, формирующим единство малых этнических групп, потому что оно — владелец всех земель, всей территории, всего этнического пространства и благодаря своей объединяющей роли государство этнократично. Собственно, перед нами тот вариант позднего советского славянофильства, когда государству предоставляются особые полномочия, гораздо большие чем они предоставляются народу. Допущение советского государства в 1930-е-1940-е годы государства в классическую славянофильскую модель, означало появление советской формы славянофильства. Но народное начало тогда господствовало над государственным, во всяком случае по отношению

к дореволюционному периоду России. Опираясь на эту позицию, писал свои труды В. А. Александров, как и другие советские ученые-славянофилы. Выделение первенствующей роли государства для этногенеза, указывает на важные перемены, коснувшиеся советского славянофильства в 1970-е — 1980-х годов, в конце советской эпохи. Здесь очевидна узурпация государственным началом народных прав, приведшее к изменению советской модели славянофильства. И Власова, в данном случае, озвучивает не свою позицию, а новую, идеологическую точку зрения. В этом нам видится главная особенность ее советского славянофильства. Но самое интересное состоит в том, что за эту методологическую установку, сложившуюся у нее в советский период, она продолжала держаться и в постсоветский период. Ведь «Русский Север», построенный на этой идейной основе, вышел в 2001 году! Рассмотрим далее на примере отдельных работ более содержательно этот процесс.

Всё научное наследие Ирины Владимировны Власовой можно разделить на три части, если исходить из методологических основ написания этих трудов. Часть работ написана в рамках методологии, предложенной ее научными учителями. Так, опираясь на методы М. В. Витова писалась первая (совместная с Витовым) работа «География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVIII в.» [М.: Наука, 1974]. В рамках методологии В. А. Александрова была подготовлена монография (на основе докторской диссертации) «Традиции крестьянского землепользования в Поморье и Западной Сибири в XVII–XVIII вв.» [М.: Наука, 1984]. Другая часть работ специфична тем, что автор взялась за разработку собственной методологии, опираясь на труды своих учителей и умело комбинируя их методы в своем исследовании. Но и здесь следует разделить всю совокупность «самостоятельных» трудов на две части: одна часть работ была написана с опорой на почвенную (территориальную) славянофильскую идею, другая — на их народническую идею. На основе первой позиции были написаны части в коллективных монографиях «На путях из Земли Пермской в Сибирь» (1989 г.), «Русские» (Народы и культуры) (1992), «Русский Север» (2001 г.). На основе второй, раздел в коллективной монографии «Мировоззрение и культура севернорусского населения» (2006), очерк в коллективном труде «Очерки русской народной культуры» (2009). Таким образом, львиная доля работ, наиболее фундаментальных и проработанных была ее создана в рамках территориальной славянофильской идейности, при разработке собственной методологии.

К слову сказать, методологическая позиция, связанная с именем М. В. Витова, в строгом смысле может быть отнесена не только к нему самому, но к этнографической кафедре МГУ в целом, которая в послевоенные годы была нацелена на комплексное изучение каждого народа. Эту идейность принес (из Ленинграда) в Институт этнографии в послевоенные годы его директор С. П. Толстов. Как отметил В. А. Александров, суть этого подхода заключалась в следующем: «Директор института Сергей Пав-

лович Толстов, фактически его создавший, свою научную работу подчинил, прежде всего, историко-этнографическому аспекту при комплексном привлечении всего многообразия разнотипных источников. Он стремился органично сочетать данные археологии, этнографии, лингвистики, истории, фольклора и антропологии, и этот принцип научного подхода им был положен в основу структуры института» [*Александров* 1998: 56]. Но Власова столкнулась с таким подходом еще учась в университете и работая в этнографических экспедициях под руководством Витова. Многовекторный, комплексный подход позволил М. В. Витову при исследовании процессов заселения Русского Севера выделить три этнических компонента [*Дмитриева* 2006: 6]. Работая на Вологодчине уже в рамках большого проекта, посвященному истории заселения Русского Севера, И. В. Власова тесно общалась с вологодским историком П. А. Колесниковым и внимательно ознакомилась с его трудами [*Колесников* 1976]. Его подход состоял в том, чтобы при изучении истории заселения Севера учитывать «своеобразие хозяйственных комплексов северных деревень и особенности крестьянского землепользования» [*Власова* 2001: 161].

Первая монография И. В. Власовой «География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVIII вв.» [М., 1974] была написана совместно с М. В. Витовым. Уже в названии была обозначена географическая суть исследовательского подхода. Она состояла в районировании, подробном описании территории Западного Поморья, позволяющем увидеть локальные группы, отличающиеся друг от друга. Расселение подразумевало динамический процесс движения, новых контактов, перенесение традиции на новое место и взаимодействие ее с новой традицией. Опираясь на этот подход Власова подготовила к печати и собственную монографию «Сельское расселение в Устюжском крае в XVIII– первой четверти XX вв.» [М., 1976], написанную на основе защищенной кандидатской диссертации. Выделение отдельных локальных с этноспецификой внутри большой территории с этого времени становится ее усвоенным и обязательным методом исследования. На эту тему позже будет написана отдельная теоретическая статья [*Власова* 1984: 3–4].

Докторская диссертация готовилась автором в другом методическом ключе, под идейным руководством В. А. Александрова, руководителя не структурной Сибирской группы, куда входили А. А. Лебедева, А. В. Сафьянова, И. В. Власова и В. А. Липинская. В докторской фундаментально прорабатывалась важная идея, над которой работал на сибирском материале Александров, о заселении Западной Сибири русскими крестьянами из Поморья. В диссертации Власовой, а потом и выпущенной монографии «Традиции крестьянского землепользования в Поморье и Западной Сибири в XVII–XVIII вв. [М.: Наука, 1984] на основе «сравнительно-исторического анализа» сибирского земледелия и поморского было показано их генетическая связь и проблема происхождения первых сибирских переселенцев была

окончательно закрыта. Работа не претендовала на какие-то теоретические обобщения и была в общем-то далека от интересов Ирины Владимировны, имевшей вкус и способности к теоретической деятельности, но она решала важную для нее задачу — работу с совершенно новым видом источников и новой сферы исследования. Тем не менее именно здесь она получила возможность интерпретировать материал в контексте общерусских процессов, что в значительной мере позже помогло ей написании «Русского Севера».

В коллективной монографии «На путях из Земли Пермской в Сибирь» [1989 г.] И. В. Власова уже выступает как вполне самостоятельный исследователь, сознательно выбравшая свою собственную методику работы с источниками, с учетом всего предыдущего опыта. В этой работе впервые она соединяет теоретические подходы Александрова (миграционные процессы), с географическим подходом Витова. Работа решала вполне конкретную задачу этнокультурного описания переселенцев в Сибирь на серединном отрезке их пути в северном Приуралье. Обширная полевая работа сочеталась с архивной и библиотечной. Основной упор сделан на четком выделении этнического пространства русских и местных народов. Среди русских выделяются не локальные, а конфессиональные. Богатейший этнографический материал, собранный участниками экспедиций, стал важной источниковедческой базой для характеристики Пермского русского населения в его динамике исторического развития.

Фундаментальную коллективную монографию «Русский Север. Этническая история и народная культура. XII–XX века» [М.: Наука, 2001. 848 с.] можно считать главной научной работой И. В. Власовой. На ее долю ответственного редактора и составителя пришлось более 500 страниц текста. В монографии впервые было дано системное описание севернорусской традиции, как одной из трех частей единой общерусской традиции. Описывались не вообще «русские» (что мы наблюдаем, например, в замечательном труде Д. К. Зеленина) в их типологических чертах, а русские отдельного, самобытного северного региона, с его уникальной историей, судьбой, культурой, церковной жизнью. Благодаря типологическому описанию этой традиции стало возможным в будущем осуществить (при создании, конечно, адекватных этому трудов по южнорусской и центральнорусской традиции!) полномасштабное сравнение всех трех типов. Как и предыдущая работа этот начал готовиться под научным руководством В. А. Александрова, хотя и при полной самостоятельности самой исследовательницы. Главным здесь (что шло от Александрова) было грамотно и фундаментально написать очерк, посвященный этнической истории и формированию населения всего обширного региона Русского Севера. Александрова, как и Власову волновал этот регион своей мощной древней историей, своей индивидуальностью, своей способностью стать материнским лоном для всей Сибири, и важно было отразить в центральном, объединяющем очерке все эти характеристики. Власова отталкива-

ется от четырех видов источников: археологических, топонимических, письменных и этнографических. «Это предпринималось для того, чтобы выявить этнокультурное районирование изучаемой территории и сопоставить разные ареалы на ней — археологические, антропологические, диалектологические с этнографическими, и таким образом исследовать как местную этническую историю и народную культуру, так и развитие севернорусской культуры и ее общерусских черт» [*Власова* Введение 2001:10]. Разные источники работают на выявление и описание системных структурных элементов: локальных групп с этнической спецификой, антропологических типов, выделяемых внутри крупных, известных антропологических групп и этнокультурных зон, и общей зоны. Данные антропологии коррелируются с диалектологическими материалами, привязываются к археологическим культурам, соотносятся с этнографическим материалом, бытующей на данной теории и всей совокупности вырисовываются те самые локальные этнокультурные зоны, территориальные единицы, которые имеют многослойную характеристику. Три антропологических типа, выделенных М. В. Витовым соотносятся с четырьмя диалектологическими группами, также современными тремя группами говоров. Сведя воедино всю информацию, автор приходит к выводу, что русское население Севера сформировали два потока: новгородцы и ростово-суздальцы. Велика на раннем этапе была роль финно-угорских племен, живших здесь до славян. Формирование севернорусского населения завершилось к началу XVIII в. И главный вывод автора: «Севернорусское население не является этнотерриториальной общностью, сохранившей архаические особенности, восходящие к племенным различиям древнерусского периода. Это относительно поздно сформировавшаяся общность, когда в едином этнокультурном развитии уже намечались тенденции к постепенному снятию локальных различий» [*Власова* Этническая история 2001: 22]. Иными словами, этот вывод говорит о том, что индивидуальность Русского Севера не является следствием непрерывного эволюционного развития русских этнических групп, поселившихся здесь в древности, а неких других процессов, о которых сложно говорить. Если индивидуальность Севера сохранилась, то, следовательно, ее сохраняли и поддерживали и те, кто приходил на смену древнему населению и благодаря этой эстафете разных групп (по происхождению) культура древнего Русского Севера сохранилась. Во всяком случае, та богатейшая этнографическая культура, которая присутствует в фундаментальном описании авторов этой монографии, ясно свидетельствует об этом, об особом лице Севера, о древности этой традиции и уникальности ее.

Благодаря теоретическому очерку об историческом расселении русских в этом регионе, весь остальной этнографический материал укладывался уже не просто в статику «иллюстрации», но — в динамичное повествование, посвященное развитию материальной культуры. Поэтому книга рассказывает не только о севернорусском регионе, но и о «создании русской эт-

нической территории» и доли Русского Севера в этом процессе. Вот план описания в ней этнического пространства Русского Севера: 1) этническая история; 2) сельские поселения; 3) население Вологодчины; 4) занятия населения; 5) крестьянская усадьба; 6) севернорусский костюм; 7) пища и утварь; 8) брак и семья; 9) свадьба; 10) рождение и воспитание детей; 11) похоронно-поминальные обряды; 12) религиозная культура; 13) народное искусство. Автор останавливается на этнографических группах в рамках существования и взаимодействия трех больших этнических зон (севернорусская, карельская и коми).

Этническое районирование, проведенное сначала на уровне этнической истории, оказывается объективным каркасом, который можно заполнять уже более частным материалом (поселения, занятия и т. д.), но при этом частный уровень, попадая в прокрустово ложе общего каркаса (строжайше выверенного технически измеряемыми инструментами — возможностями археологии, лингвистики, диалектологии, антропологии, ономастики и т. д.) тоже становится в какой-то мере общим явлением. В рамках общерусского контекста отдельный такой этнографический элемент (дом, вид одежды и т. д.) — это уже важный типологический признак общего характера.

В книге «Русский Север» процесс обобщения частных элементов общим контекстом доведен лично И. В. Власовой до уровня: поселение, население, занятия, усадьба, костюм, брак и семья. Поскольку работа была посвящена одному региону — Северу, в ней нельзя было проводить межрегиональные сравнительные исследования, но Ирина Владимировна вышла из положения, взяв за основу другой принцип сравнения двух частных явлений. Им стал временной подход — рассмотрение исследуемых ею комплексов в историческом развитии. Так, например, в отношении крестьянского жилища она делает такой общий вывод: «локальные и этнические черты крестьянского жилища всё более стираются (во времени. — О. К.), а вместе с ними исчезает и граница региональных усадебных комплексов» [*Власова* Этническая история 2001: 280]. По этому же принципу построены главы, посвященные пище и утвари (Т. А. Воронина) и отчасти раздел «Похоронно-поминальные обычаи» (И. А. Кремлева). Другие «частные этнические комплексы» рассмотрены в книге статично, в рамках одного временного контекста. Если же говорить в целом, то И. В. Власова справедливо считала поставленную задачу пространственного описания Русского Севера современными средствами выполненной. Данная монография, конечно, решала проблему гораздо большую чем просто описания региона «Русского Севера», но взывала всем материалом, всей постановкой проблемы комплексного исследования к тому, чтобы подобное исследование было продолжено на материалах других регионов. Но, к сожалению, этого не произошло, и мы до сих пор не имеем ни «Русского Юга», ни «Русского Центра», ни «Русского Запада».

Энциклопедия «Русские», в рамках проекта «Народы и культуры» готовилась под редакцией В. А. Александрова, как его концептуальный проект. Однако смерть помешала Вадиму Александровичу завершить это начинание, поэтому редакторская работа по завершению перешла к И. В. Власовой и Н. С. Полищук. В первой главе книги («Образование русской историко-этнической территории и государственности») И. В. Власовой был написан параграф «Расселение и численность русских в эпоху Российской империи (конец XVIII — начало XX в.)». Но сам по себе этот параграф не показателен для стиля И. В. Власовой: в нем господствует динамика цифр и этнических макрофактов. В таком же ключе написаны и другие части текста с ее участием: глава четвертая — «Этнографические группы русского народа» и пятая — «Этнодемографическое развитие с 1917 по 1990-е годы» и ряд других материалов. Совершенно очевидно, что И. В. Власова, при всем объеме написанного для тома «Русские», так и не смогла здесь «по-своему» развернуться. Здесь нет ее знаменитого районирования, даже глава 4 «Этнографические группы русского народа» написана в социологическом ключе, а не «географическом подходе», позволяющим выделять отдельные локальные группы с этническими особенностями. «Этнографические группы» — это не микролокальные группы, а территориальные группы русских в разных регионах страны, поэтому здесь были задействованы только исторические и этнографические источники.

Она определяет, как этнически маркируется пространство, каковы особенности этой маркировки в центре и на периферии, как оно дробится под воздействием иноэтничных и инорелигиозных сил, какое влияние оказывает на него природный фактор. Именно выработанный лично И. В. Власовой подход цельного описания региона исследования как самобытной этнической территории, и позволит В. А. Александрову выйти на пилотный и оригинальный проект «Русские». Безусловно, здесь сыграли свою роль и историческое время, и обстоятельства, в воздухе висел социальный и политический заказ на такой труд, особенно после появления обобщающих работ по славянам в России и за рубежом. Для Вадима Александровича такая работа также стала своего «лебединой песней», реализацией всего накопленного богатого опыта, прекрасного знания проблем формирования русского народа в историческом их ключе. Поддержанная дирекцией в лице В. А. Тишкова, эта задумка на высоком организационном уровне получила скорое продвижение и реализацию. У этой книги было семь изданий: 1997, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009. Надо подчеркнуть, что и в целом проект «Народы и культуры» именно в контексте выпущенного тома «Русские» обрел свои зримые очертания, свою особую форму, непохожую на все предыдущие советские труды общего характера. И в этом была заслуга и Ирины Владимировны Власовой. Важно отметить, что монография «Русские» потянула за собой и всю серию «Народы и культуры», это была планка и образец для всех последующих томов по другим народам России.

После начала двухтысячных годов в теоретических разработках И. В. Власовой начинает наблюдаться новая линия развития, реализованная в нескольких крупных коллективных монографиях, начиная с монографии «Мировоззрение и культура севернорусского населения» [М., Наука, 2006] и заканчивая работой «Народная культура..». Уже посмертно вышел ее последний самостоятельный труд — монография «Русский Север: историко-культурное развитие и идентичность населения» [М.: ИЭА РАН, 2015. 376 с.]. Таким образом, в новый период (около 15 лет, вплоть до кончины) ее теоретический подход получил не менее солидную текстовую основу, чем в предыдущий — две крупных коллективных монографии и одну авторскую. Эта линия может быть обозначена как исследование этнического мировоззрения или же «народного сознания», во всех его видов. От изучения этнической территории И. В. Власова переходит к изучению народа, в его славянофильском понимании, как уникальности, но в его единичности, субъектности, а не в коллективных его формах. Она продолжает идти тем же путем, что шла при написании «Русского Севера», когда она отталкивалась от индивидуальной этнической единицы, маркирующей этнической пространство.

Здесь общим и целым будет уже не территория, а этнический социум — народ, но изучение его подчинено той же задаче движения от частного к общему. Индуктивный путь понимания общего через частное она сохраняет, но использует иные параметры исследования. Исследование территории осуществлялось через выделение этнокультурных единиц. Эти единицы были для нее этническим субъектом, потому что на его основе она получала картину этнокультурной территории. Итак, это была *этнокультурная этническая единица*. Когда же речь зашла об исследовании народного самосознания (или сознания), то здесь этнической единицей становится человек в его психологическом акте «осознания» всего того, что окружает его и в нем присутствует: «мировоззрения, образа жизни, характера, поведения, оценка себя и своего окружения, отношение к себе и к людям, к окружающей среде». Единство таких единиц, объединенных общностью такого осознания, и создает «народное сознание». Власова уточняет: «Народное мировоззрение... включает в себя видение мира, присущее тому или иному народу, его представление о своей роли и месте в этом мире, о своих ценностных установках и нравственных ориентирах» [*Власова* 2009].

Для описания времени, которое проживает народ как этнос, она предложила использовать термины «этническое самосознание» и «этническое сознание» в своей трактовке. По мнению И. В. Власовой, и сознание, и самосознание являются отношением народа и его представителей к своей культуре, к созданной реальности и к окружающему миру. Описывая «отношение народа», считала Ирина Владимировна, мы описываем ту часть этнической реальности, которая является субъективной и потому имеет пси-

хологическую и социально-психологическую природу. Принцип «отношения» заставил ее считать, что кроме этнического сознания и самосознания существуют много других сознаний: крестьянское, дворянское, купеческое и др. Важнейшим маркером этнического мировоззрения, показателем этничности сознания ей виделся язык: «Именно на нем, на осознании индивидуумом или сообществом людей собственного языка и языкового поведения и представлении о речевом поведении чужих, соседей, другого народа основывается этносамосознание» [*Власова* 2006: 115]. Остановимся еще на выделении некоторых важных общих принципов, руководствуясь которыми Ирина Владимировна решала свои научные задачи. Так, она считала своим главным объектом исследования понятие «народ» (этнос) в его полноте народного бытия, а не просто отдельных «этнографических комплексах», артефактах и раритетах. Вот почему описание севернорусской традиции она доводит до уровня «работающей системы», а не просто «функции» или же «структуры», или оболочки «системы». В каждой работе она обязательно решает проблему контекстов или уровней: общерусский, региональный и далее — локальный. Оригинальным было у нее понимание народного сознания и народной культуры. В последнем случае это была культура крестьян как сословия, сохранившего народные формы культуры. Народное, по Власовой — это общерусское. Как только исчезает этот общерусский уровень, уходит и народность. Народная культура живуча и сильна традицией, народным сознанием, опорой на мораль и нравственность. Что касается народного сознания, то оно имеет сложный характер: оно этнично, сословно и т. д. (*Власова* 2009: 3–6). Для Власовой «русский вопрос» это не только недостаточная изученность русских, но и негативные проблемы (демографические, культурные и т. д.) в области воспроизводства русских как этноса и сохранения этнической традиции. Ирина Владимировна Власова сама была человеком традиции, «человеком коллектива», поэтому ее труды, чаще всего коллективные, были возможны лишь в научном сообществе друзей и единомышленников. Без всего Отдела русского народа Русский Север не был бы покорен науке. Особенно, как нам кажется, важно отметить в теоретических подходах И. В. Власовой ее научный вклад в исследование общих закономерностей этнического пространства. Здесь Ирина Владимировна продвинулась очень далеко, и многие ее теоретические подходы, несомненно, будут широко применяться в этнологии. И. В. Власова действовала в своих теоретических изысканиях, опираясь на широкий круг источников (полевых, письменных, из смежных наук) и имея личное сердечное отношение к исследуемой проблематике. Она видела в этнической идентичности русских не абстрактный термин, а живую народную душу, от любимого ею северянина до просто русского человека. И это давало ей силы и такта нигде не переходить грани допустимого в оценках тех или иных явлений, не мифологизировать действительность, но и не умалять ее.

Кратким итогом сказанному о всех трех вышеупомянутых исследователях будет наш вывод о специфике советского славянофильства, как мировоззрения и методологии. Оно, несомненно, имело незыблемые константы, на которые опирались или которые учитывали рассмотренные нами ученые. Здесь и их любовь к народу и теме, которой они занимались, а также понимание «народного» как целого, автономного, не менее емкого и целого чем «государственное». Отсюда, славянофилы развивали идеи почвенности (территориальности, этнического пространства), народности и цивилизации. Каждый из них по-разному опирался на эти идеи; В. А. Александров в большей степени — на понятие (и методику) «народной цивилизации», М. М. Громыко — на «народность», И. В. Власова поначалу (в основных работах) — на почвенность, но позже — на народность. Вместе с тем все они ощущали какую-то неполноту, если не сказать ущербность, но правильнее было бы сказать недостаточность в славянофильском подходе. По-разному они понимали природу этой недостаточности. Для В. А. Александрова она была связана с ее советским характером, в силу чего ему нужно было не забывать о роли государства в этнических процессах. М. М. Громыко увидела недостаток в отсутствие в нем религиозного компонента исследования, в силу чего она вообще отказалась от славянофильской методологии в 1990-е и 2000-е годы. Для И. В. Власовой сосредоточенность на второстепенных славянофильских маркерах, сначала почвенности, а потом народности (в силу поиска своего пути и дополнительных исследовательских возможностей) привело к пониманию недостаточности этого метода. Поэтому она от сосредоточения на почвенности переходит к народности, не дерзая даже думать о цивилизации (ведь это был путь В. А. Александрова, со всей его спецификой). О чем, в целом этого говорило? Только о том, что славянофильская методология была достаточно сложной теоретической системой, отчасти даже внутренне противоречивой, потому что ни один из исследователей не брался за применение всех трех компонентов одновременно. Также, как показала точка зрения М. М. Громыко, отсутствие в этом методологическом инструментарии религиозного компонента мешало объективному пониманию народной традиции. Но предложенный ей вариант тоже проблемы не решал. Таким образом, советское славянофильство, как научный метод и мировоззрение, хотя и помогло советским ученым гуманитариям выйти на совершенно новый научный уровень исследования истории и этнической традиции и создать выдающиеся фундаментальные труды, но вместе с тем оно было ограничено только материальными процессами, духовная, религиозная идентичность народа в этой парадигме не учитывалась. А это значит, что решалась только часть научных задач из числа всех возможных. Конечно, для науки, научного поиска это не страшно, более важен неравнодушный, искренний взгляд на решение научных задач, важно умение решать те проблемы, которые дает возможность решать время, в которое они жили. Каждый из них с честью справился с этой задачей.

Источники и литература

Академическое дело. 1929–1931. Документы и материалы. Следственное дело, сфабрикованного ГПУ. СПб, 2015. Вып. 9. Ч. 1. С. 123–126.

Аксаков И. С. В чем сила Россия // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 221–225.

Аксаков И. С. О лженародности в литературе 60-х годов // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002С. 180–186.

Аксаков И. С. Петербург или Киев? // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 173–179.

Аксаков И. С. О взаимном отношении народа, государства и общества // Аксаков И. С. «Отчего так нелегко живется в России». М.: РОССПЭН, 2002. С. 137.

Аксаков К. С. По поводу VI тома «Истории России» г. Соловьева // Аксаков К. С. Полное собрание сочинений. М., 1861. Т. 1. С. 149.

Александров В. А. Русское население Сибири XVII — начала XVIII в. (Енисейский край). М.: Наука, 1964. 303 с.

Александров В. А. Памяти академика М. Н. Тихомирова // Советская этнография. 1965. № 6. С. 138–141.

Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М.: Восточная литература, 1969. 271 с.

Александров В. А. Сельская община в России (XVII — начало XIX в.). М.: Наука, 1976. 324 с.

Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск: Наука, 1991. 399 с.

Александров В. А. Путь в историю, пути в истории (моя жизнь). М.: ИЭА РАН, 1998. 118 с.

Артизов А. Н. Школа М. Н. Покровского и советская историческая наука (конец 1920-х — 1930-е годы). М.: б. и., 1998. 198 с.

Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX — начала XX в. Половозрастной аспект традиционной культуры. Л.: Наука, 1988. 279 с.

Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни. Очерки по церковной этнографии. СПб.: Петербургское востоковедение, 2005. 416 с.

Власова И. В. Занятия населения и хозяйственные традиции // Русский Север: Этническая история и народная культура. XII–XX века. М.: Наука, 2001. С. 142–199.

Власова И. В. К изучению этнографических групп русских // Полевые исследования Института этнографии АН СССР 1981 г. М., 1984. С. 3–4.

Власова И. В. Введение // // Русский Север: Этническая история и народная культура. XII–XX века. М.: Наука, 2001. С. 3–15.

Власова И. В. Этническая история и формирование населения Русского Севера // Русский Север: Этническая история и народная культура. XII–XX века. М.: Наука, 2001. С. 16–37.

Власова И. В. Народное сознание и культура севернорусского населения // Очерки русской народной культуры. М.: Наука, 2009. отв. редактор и составитель И. В. Власова. С. 113–197.

Громыко М. М. Крестьяне церковных вотчин Западной Сибири в 40–60-х годах XVIII в. // Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы в г. Риге. Четвертая сессия. Тезисы докладов и сообщений. Рига, 1961. С. 105–108.

Громыко М. М. Государственные крестьяне Западной Сибири в XVIII в. // Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы в г. Минске. Пятая сессия. Тезисы докладов и сообщений. Минск, 1962. С. 170–172.

Громыко М. М. Земледельческое освоение Западной Сибири в 30–80-х годах XVIII в. // Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы в г. Кишиневе. Седьмая сессия. Тезисы докладов и сообщений. Кишинев, 1964. С. 147–149.

Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII в. русское население и земледельческое освоение. Новосибирск: Наука, 1965. 267 с.

Громыко М. М. Сибирский вариант позднефеодальных аграрных отношений // Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы в г. Одессе. Одиннадцатая сессия. Тезисы докладов и сообщений. Одесса, 1969. С. 129–135.

Громыко М. М. Некоторые вопросы истории Сибирского крестьянства периода феодализма // Проблемы истории советского общества Сибири / История крестьянства Сибири досоветского периода. Новосибирск: б. и., 1970. С. 24–26.

Громыко М. М. Община в обычном праве сибирских крестьян XVIII-70-х годов XIX в. // Ежегодник по аграрной истории за 1971. Вильнюс, 1971. С. 388–396

Громыко М. М. Община в обычном праве сибирских крестьян XVIII-70-х годов XIX в. // Ежегодник по аграрной истории за 1971. Вильнюс, 1971. С. 388–396.

Громыко М. М. Источники по социальной психологии русского крестьянства XVIII — первой половине XIX в. // Симпозиум по актуальным проблемам источниковедения. Материалы к обсуждению. Таллин–Москва, 1972. С. 1–13.

Громыко М. М. Сельская община в Сибири XVIII — первая половина XIX в. // Бахрушинские чтения 1973 г. Вып. 2. / Вопросы истории Сибири досоветского периода. Новосибирск: Наука, 1973. С. 24–28.

Громыко М. М. Труд в представлениях сибирских крестьян XVIII — первой половины XIX в. // Крестьянство Сибири XVIII– начала XX вв. Классовая борьба, общественное сознание и культура. Новосибирск: Наука, 1975. С. 130–131.

Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири XVIII в. — первой половине XIX в. Новосибирск: Наука, 1975. 351 с.
Громыко М. М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян XVIII–XIX вв. // Из истории семьи и быта сибирских крестьян XVII — начала XX вв. Новосибирск: Наука, 1975. С. 71–109.
Громыко М. М. Территориальная крестьянская община Сибири (30-е гг. XVII — 60-е гг. XIX в. // Крестьянская община в Сибири XVII– начала XX вв. Новосибирск: Наука, 1977. С. 33–102.
Громыко М. М. О народном благочестии у русских XIX в. // Православие и русская народная культура. Кн.1. М., 1993. С. 149–180.
Громыко М. М., Кузнецов С. В., Буганов А. В. Православие в русской народной культуре: направление исследований // Этнографическое обозрение. 1993. № 6. С. 60–68.
Громыко М. М. Православие в жизни русского крестьянина // Живая старина. 1994. № 3. С. 3–5.
Громыко М. М. Этнографическое изучение религиозности народа: заметки о предмете, подходах и особенностях современного этапа исследования // Советская этнография. 1995. № 5. С. 77–83.
Громыко М. М. Православие как традиционная религия большинства русского народа // Материалы международного научного симпозиума «Православие и культура этноса» (Москва, 9–13 октября 2000 г.). Москва-Воронеж, 2001. С. 19–33.
Громыко М. М. Обращение к старцам в духовной жизни русских XX века. М.: Паломник, 2015. 239 с.
Громыко М. М. О духовном возрасте ученых и изучаемых. Очерки по материалам России XIX–XXI веков. М.: Индрик, 2018. 221 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб.: «Глаголъ», 1995. Изд. 6. 513 с.
Дмитриева С. И. Очерк этнокультурной истории Архангельского Поморья // Мировоззрение и культура севернорусского населения /отв. ред. И. В. Власова. М.: Наука, 2006. С. 3–68.
Достоевский Ф. М. Идеалисты-циники // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. XXIII. Дневник писателя за 1876 год. Май-октябрь. Л.: Наука, 1981.
Зуев А. С. Отечественная историография присоединения Сибири к России: Учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2007. 120 с.
Игумен Митрофан (Баданин). Прп. Трифон Печенгский. Исторические материалы к написанию жития. Санкт-Петербург-Мурманск: Изд. «Ладан», 2009. 304 с.

«И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. М.: Российский государственный университет, 2013. 822 с.

История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1. М., 1948. 2-е изд. и т. д. под редакцией академика Б. Д. Грекова, чл.-корр. С. В. Бахрушина, проф. В. И. Лебедева. С. 8–9.

Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России Письмо к графу Е. Е. Комаровскому // *Киреевский И. В., Киреевский П. В.* Полное собрание сочинений в 4-х томах. Калуга «Гриф», 2006. Т. 1. С. 71–127.

Киреевский И. В. В ответ А. С. Хомякову // *Киреевский И. В., Киреевский П. В.* Полное собрание сочинений в 4-х томах. Калуга «Гриф», 2006. Т. 1. С. 33–47.

Кириченко О. В. Конвертация богатства в русской традиции //Идеалы и паллиативы в русской традиции и культуре. СПб: Алетейя, 2018. Отв. ред. и составитель О. В. Кириченко. С. 132–183.

Колесников П. А. Северная деревня в XV — первой половине XIX в. Вологда, 1976.

Хомяков А. А. Заметки по поводу г. Соловьева о Риле // Хомяков А. А. Полное собрание сочинений в восьми томах. М., 1900. Т. III. С. 340.

Курапова Е. Р. Милица Васильевна Нечкина: образ в истории // «...Мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2013. С. 7–58.

Липинская В. А. Вадим Александрович Александров // Советская этнография. 1994. № 5. С. 187–190.

Лихачев Д. С. Слово об академике Борисе Дмитриевиче Грекове // Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Статьи и очерки. Л.: Наука, 1985. С. 443–444.

Надгробное слово Н. Н. Воронина, в память М. Н. Тихомирова // Шмидт С. О. Московский историк Михаил Николаевич Тихомиров. Тихомировские традиции. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 150.

Наши юбиляры. Список работ доктора исторических наук Вадима Александровича Александрова (к 60-летию со дня рождения) // Советская этнография. 1982. № 3. С. 143–146.

Очерки русской народной культуры / отв. редактор и составитель И. В. Власова. М.: Наука, 2009. 786 с.

Покровский М. Н. Возникновение Московского государства и «великорусская народность» // Историк-марксист. 1930. Т. 18–19. С. 14–28.

Программа-опросник «Православие в русской народной культуре». М., 2002.

Русские / отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. М.: Наука, 1997. 827 с.

Русский Север: этническая история и народная культура. XII–XX века / отв. ред. и составитель И. В. Власова. М.: Наука, 2001. 848 с.
Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП (Б) — ВКП(Б). 1923–1938. В 3-х томах. Т. 2. М., 2007.
Тихомиров М. Н. О Б. Д. Грекове // Портреты историков. Время и судьбы. В 2-х томах. Т. 1. Москва-Иерусалим, 2000. С. 223–233.
Традиционная культура русских. Сборник программ и вопросников для этнографических исследований. Рязань, 1997. С. 91–110.
Шангина И. И. Русские традиционные праздники: Путеводитель по залам Российского этнографического музея. СПб.: Искусство-СПб., 1997. 188 с.
Шангина И. И. Русские девушки. СПб.: Азбука-классика, 2007. 352 с.
Шмидт С. О. Московский историк Михаил Николаевич Тихомиров. Тихомировские традиции. М.: Языки славянских культур, 2012. 462 с.
Энеева Н. Т. Несколько слов о М. М. Громыко как представителе славянофильского направления русской культуры // Традиции и современность. № 27. 2021. С. 34.

Часть III

Исследовательский инструментарий: идеология и наука

Глава 13. КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

Зарождение и развитие

Одним из научных направлений, зародившихся в стенах Института этнологии и антропологии РАН (тогда Институт этнографии АН СССР) и активно участвующих в разработке задач общегосударственного значения, можно назвать этносоциологию. Начало проведению конкретно-социологических исследований сотрудниками Института было положено в середине 1960-х гг. Весной 1966 г. в Институт этнографии АН СССР пришел новый 45-летний директор, будущий академик — Юлиан Владимирович Бромлей (1921–1990), который пригласил на работу 37-летнего доктора исторических наук Юрика Вартановича Арутюняна (1929–2016). Под руководством последнего в том же году в институте был создан «Сектор конкретно-социологических исследований культуры и быта народов СССР». Этому сектору, в конечном итоге, предстояло стать отделом этносоциологии и разрабатывать новое научное направление, которое сегодня уже конституировалось, превратилось в самостоятельную науку, о чем можно, в частности, судить на основании десятка изданных учебников и учебных пособий [см., напр.: *Арутюнян, Дробижева* 1998; *Арутюнян, Ковальченко* 1984; *Арутюнян, Дробижева*, *Сусоколов* 1988; *Денисова, Радовела* 2000; *Казьмина, Пучков* 1994; *Попков, Тюгашев* 2009 и др.].

Потребовалось, однако, почти целое десятилетие, прежде чем Л. М. Дробижева впервые предложила вместо многих ранее бытовавших длинных дефиниций и определений («конкретно-социологическое исследование национальных отношений», «социология национальных отношений», «социология этнических процессов и межэтнических отношений», «этносоциологическое изучение современности» и др.) краткое, емкое и точное название «этносоциология». Заслугой Ю. В. Арутюняна стало то, что он не просто реанимировал этническую социологию (первые конкретные социологические исследования в этнической сфере были проведены П. А. Сорокиным), но стал «отцом» новой отечественной этносоциологии, соединив два направления: социологию межэтнических отношений и социологию развития.

Суть объекта и предмета этносоциологии виделась его авторам в том, что этносоциологи рассматривают любые отношения между народами, между правительством и гражданами через призму социальных интересов представителей этих народов. Ученые исходили из того, что люди дружат или конфликтуют между собой не потому, что один татарин или еврей, или башкир, или удмурт, а потому, что они преследуют какие-то свои материальные или духовные интересы. Это интересы часто связаны с желанием пробиться

на вершину власти или с распределением финансовых, материальных или духовных богатств. То есть в основе межэтнических отношений, как определили этносоциологи, лежат социальные интересы. Именно поэтому первая книга, которая заложила фундамент данного научного направления, называлась «Социальное и национальное». Она была написана по материалам этносоциологических исследований, проведенных в 1967 г. в Республике Татарстан бывшего Советского Союза [Социальное и национальное 1973].

Ю. В. Арутюнян отмечал, что главный предмет этносоциологии — современная жизнь народов: их социальная структура и мобильность, перемещения, социальные аспекты трудовой, культурной и бытовой жизнедеятельности, этнические особенности психологии и межнациональные отношения [Русские 1992: 3]. Благодаря Ю. В. Арутюняну, в основу исследований было положено изучение социальной структуры этнических общностей, и это направление стало отличаться от социологии расовых и межэтнических отношений, развиваемой на Западе.

До появления этносоциологии этнография и прочие общественные науки (география, экономика, история и др.) рассматривали все явления через триединое социальное пространство — были рабочий класс, крестьянство и интеллигенция. Но конкретно-социологические исследования выявили сразу же, что внутри класса крестьянства, рабочего класса существует масса различий. И вот эти различия стали важным объектом для изучения этнических, социальных, демографических, культурных, языковых и психологических процессов.

Когда начались первые этносоциологические исследования, специалисты столкнулись с тем, что этносоциальную сферу в нашей стране прежде изучали исключительно с институциональных позиций: предметом рассмотрения оказывались в основном официальные взаимоотношения союзных республик между собой и с Центром, описывали формальные мероприятия вроде декад культуры и т. п. С началом этносоциологических исследований в центре внимания ученых оказалась реальная жизнь людей разных национальностей, их проблемы, ценностные и культурные особенности и различия и т. п. Стали активно изучаться вопросы соотношения социальных структур контактирующих народов, уровень мобильности, сходство и разнообразие в ценностях и ориентациях этнических групп, т. е. различные феномены интеграции и взаимодействия культур [*Арутюнян, Дробижева* 1987; *Арутюнян, Дробижева* 1998; Опыт этносоциологического 1980; Социально-культурный 1986 и др.].

Первоначально, при организации сектора конкретно-социологических исследований, предполагалось, что этнографические исследования будут просто проводиться на основе количественных замеров: кто, где, когда, что знает, как выражает свое отношение, т. е. речь шла о внесении количественных показателей в этнографические исследования. Но очень скоро пришло

осмысление, что под конкретно-социологическими исследованиями подразумевается не просто перечисление и описание того, что «находится в сундуке», а сравнение этнокультурного облика и социокультурных традиций хозяев и хозяек разных сундуков.

Интерес к конкретно-социологическим исследованиям в то время в нашей стране возник не случайно. Вместе с первыми признаками демократизации в годы «хрущевской оттепели» дрогнул «железный занавес», стали расширяться контакты с зарубежными политиками, общественными деятелями, учеными, возросли возможности знакомства с их научными трудами. У руководства страны возросла необходимость в исследованиях, отражающих реально происходящие в ней процессы, чтобы не лозунгами, а фактами доказывать преимущества социалистического строя над капиталистическим. Кроме того, в конце 1950-х — начале 1960-х гг. по ряду городов Союза прокатилась волна рабочих движений, среди наиболее известных — забастовка в Новочеркасске, жестоко подавленных, но побудивших власть проявить больше внимания к жизни «простого» человека, его интересам, потребностям, ориентациям и т. п. В этот период обнаружилось стремление «этнического» фактора к освобождению от идеологического прессинга КПСС и от институтов государственного контроля. Стали всё ярче проявляться противоречия в национальной сфере. Советские немцы, крымские татары выступали за создание национальных автономий, утраченных во время Второй мировой войны, а представители этнических общностей, переселенные в военный период — возвращения на прежние места жительства. Проходили выступления в Абхазии с требованием выделения из состава Грузии и т. п.

Нельзя отрицать, что во времена советской власти имели место определенные препоны, ограничения в работе обществоведов, в публикации их работ. Существовал «страшный» Главлит, строго контролировавший лояльность авторов коммунистическим идеям и советскому строю, в самих научных учреждениях работали редакционные коллегии, которые жестко фильтровали представляемые к печати труды и весьма часто их «заворачивали», а те, которые пропускались нередко были «обрезаны», так как вычеркивалось всё то, что, по мнению редакторов, не соответствовало государственной идеологии, подрывало единство советских народов. Но в то же время руководство страны проявляло обоснованный интерес к исследованиям, освещающим происходящие этносоциальные процессы, сознавая необходимость изучения и решения существующих проблем, которые сотрудники сектора упорно и не всегда безуспешно пытались донести до общественности. Среди них были и такие серьезные как сохраняющиеся социально-экономические и культурные различия между этническими общностями в союзных республиках, неравенство шансов социальной мобильности, скрытые или явные межэтнические конфликты и т. п. При всех цензурных ограничениях спрос на этносоциологическую продукцию

со стороны руководящих органов страны был весьма высоким. Докладные записки в вышестоящие инстанции, носившие в основном закрытый характер, готовились по несколько раз в год. Ведущие сотрудники сектора — Ю. В. Арутюнян, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижева постоянно составляли различные отчеты, выступали на конференциях, в том числе зарубежных, участвовали в диспутах, сотрудничали со СМИ и т. п.

Своим появлением в стенах головного академического этнографического центра нашей страны этносоциология была обязана богатейшим традициям отечественной этнографии, в том числе получившему мировое призвание эволюционистскому направлению, испытавшему на себе влияние раннего марксизма. Близкой к междисциплинарному направлению была анучинская школа с симбиозом триады научных направлений: этнографии, археологии и физической антропологии. Одним из первых среди ученых России на стыке социологии и этнографии стал работать академик М. М. Ковалевский (1851–1916), автор многофакторной концепции общественного развития. Он обратил внимание на тесное соприкосновение объектов этих двух наук, на тематическое совпадение границ проблематики и предметной области в приоритетных объектах изучения [*Ковалевский* 1904].

Этносоциология XX в. с ее методами массовых опросов, активного обращения к ведомственной статистике и архивным данным, очных и замещенных интервью, а также полевых наблюдений, была едва ли не прямой наследницей «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева (1898–1901). Составленная им программа исследований охватывала все стороны жизни крестьян. Не случайно первые шаги этносоциологии были напрямую связаны с социологией села, на алтарь которой в равной степени можно возложить и часть томов, изданных по материалам «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева, и монографии Ю. В. Арутюняна «Опыт социологического изучения села» и «Социальная структура сельского населения СССР» [*Арутюнян* 1968; *Арутюнян* 1971], написанные по материалам конкретно-социологических исследований и изданные в 1968 и 1971 гг.

В середине 1960-х гг. Институт этнографии АН СССР отличался большой свободой деятельности, Ю. В. Бромлей знал, что за рубежом изучением современности в этнически маркированном пространстве исконно занимаются социологи. А он хотел, чтобы Институт этнографии занимался социально-значимой этничностью. Он дал возможность Ю. В. Арутюняну создать коллектив, который начал профессионально работать над социальными проблемами этничности. Будучи практически оторванным от мировой науки, добывая разными путями литературу, сотрудники во многом интуитивно набирали опыт и усердно экспериментировали. Рождению этносоциологии сопутствовало возрождение отечественной социологии, имеющей богатые традиции и общепризнанный авторитет в досоветские времена, а также в 1920-е гг., на заре образования Советского Союза. У истоков современной

отечественной этносоциологии стояли специалисты, ранее уже зарекомендовавшие себя в социологии. Так, Ю. В. Арутюнян и О. И. Шкаратан прежде занимались социальной структурой. И. С. Кон — социологией личности. Сразу обозначился междисциплинарный, по сути, характер этносоциологии, она сочеталась с этнологией, психологией, политологией, историей.

Первое время отношение в Институте этнографии к новому сектору, его руководителю и развивающемуся в его стенах новому направлению было настороженным, несмотря на поддержку со стороны директора Института Ю. В. Бромлея. Подобное отношение академического сообщества обуславливалось и тем, что в составе сектора были преимущественно совсем молодые сотрудники, без степеней и званий, которые только начинали свой путь в большой науке. Однако те программы, которые стали разрабатывать в научном коллективе, трудно было не оценить, так как они оказались весьма актуальными и отвечали запросам времени. Прежде всего, это социология села, имевшая в годы правления Н. С. Хрущева, а затем и Л. И. Брежнева приоритетное значение, и — главное — проблема «сближения наций и народностей» в нашей стране, созвучная основным идеям партии и правительства по выравниванию условий жизни и основных социально-экономических и культурных характеристик жителей горда и деревни, представителей рабочего класса и крестьянства, разных этнических общностей.

Для научной деятельности Сектора конкретно-социологических исследований культуры и быта народов СССР с самого начала его существования была характерна актуальность проблемного поля, акцент на исследование наиболее злободневных задач, важных с точки рения развития страны. С течением времени расширялась тематика исследований этносоциологов, но всегда она отвечала запросам времени, реагировала на актуальные проблемы в сфере межэтнических отношений, национального строительства. Исследовались такие вопросы, как социальная структура и мобильность в этнических общностях, миграционные перемещения, изменения этнического состава республик, взаимодействие современной и традиционной культур в социальных группах, этносоциальные аспекты семейно-бытовых отношений, этническая идентичность и межэтнические установки в городской и сельской среде, социальные аспекты этноязыковых процессов и т. п.

Первые крупные реализованные сектором проекты были посвящены такой значимой и востребованной теме, как «Развитие и сближения наций в СССР», при этом сближение понималось как достижение сходства в уровне включенности этнических общностей в урбанизацию, как выравнивание условий их жизни, что, в свою очередь, должно было способствовать развитию сходной социальной структуры, одинакового образовательного уровня, появлению общих черт в быту и культуре. Складывание новой исторической общности — советский народ, ни в коей мере не связывалось с нивелированием этнических особенностей.

Расцветом этносоциологии в Институте этнографии АН СССР можно назвать 1970–1980-е гг. В это время сотрудниками сектора были задуманы и проведены два поистине грандиозных по своим масштабам и вряд ли когда-либо повторимых проекта: «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР» и «Русские», осуществление которых растянулось на более чем двадцатилетний период. Были организованы массовые опросы городского и сельского населения ряда российских регионов и союзных республик, в том числе Татарии, Армении, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии, во время которых были опрошены десятки тысяч человек, собран богатейший архивный, статистический и документальный материал.

Этот период был богат публикациями крупных монографий, сборников, теоретических статей: «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований. По материалам Татарской АССР» [Социальное и национальное 1973] (это была первая крупная этносоциологическая работа в Советском Союзе), «Опыт этносоциологического исследования образа жизни. По материалам Молдавской ССР» [Опыт 1980], «Социально-культурный облик советских наций: по результатам этносоциологических исследований» [Социально-культурный 1986], «Русские. Этносоциологические очерки» [Русские 1992] и др. Коллективная монография «Современные этнические процессы в СССР» [Современные этнические 1975], одним из авторов которой выступал Ю. В. Арутюнян, была удостоена Государственной премии СССР, а книга «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований. По материалам Татарской АССР», широко обсуждаемая на форумах в СССР, на Международных конгрессах социологии (Варна, 1972 г.) и этнологии (Чикаго, 1973 г.), была переведена в США на английский язык.

Все перечисленные книги вызвали большой интерес и получили высокую оценку научного сообщества как с теоретической, так и с практической точки зрения. Отмечалось, в частности, что в монографии «Социальная структура сельского населения СССР» [Социальная структура 1971] Ю. В. Арутюняном было сделано открытие, касающееся природы послевоенного советского общества. Он эмпирически доказал, что внутриклассовые различия между профессиональными группами сельского населения глубже и сильнее, чем межклассовые, показал, что главное — в использовании собственности, а не в формальном владении [*Дробижева* 2016].

Немало теоретически и практически значимых выводов содержалось и в других трудах этносоциологов. Так, одной из основных идей, разрабатываемых в секторе, была мысль о том, что в СССР различия в социально-культурном облике людей одной национальности, но разной социально-профессиональной принадлежности более выражены, чем различия между представителями одних и тех же социально-профессиональных групп, принадлежащих к разным национальностям. Центральная мысль, которой

Ю. В. Арутюнян придерживался на протяжении всей своей научной карьеры, несмотря на все перипетии и сомнения, касалась вопроса развития и сближении наций. Она была заложена еще в проекте «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближений наций в СССР», но и в конце 1990-гг., в период этнической мобилизации Ю. В. Арутюнян писал: «Главный интегрирующий индикатор национальных процессов в прошлом отражался в понятии «развития и сближения наций». Данное понятие и тогда, и теперь не теряет своего смысла. Оно довольно многогранно. Сближение — двуединый процесс. Это — с одной стороны, утверждение общих черт, связанных с модернизацией экономики и социальных отношений, сближение культур цивилизованного общества, соответственно взаимодействиям и взаимопониманиям народов.

С другой стороны, «сближение» — отнюдь не синоним пропагандистского лозунга «дружбы народов». Как писал Ю. В. Арутюнян, сходство социального развития наций, при сохранении зримых национальных границ, неминуемо приводит к определенному соперничеству... Если рассматривать в этническом плане, «сближение» предполагает усиление сходства этнических черт народов, что может вызвать сопротивление институтов, стремящихся к этническому самоутверждению и абсолютизации этнического характера культуры» [*Арутюнян* 1971: 6–7]. А в 2015 г. он продолжил эту мысль: «... Несмотря на неизбежные сложности в этнонациональных процессах, очевидно, что на определенном этапе цивилизационного развития, если оно реально, неизбежно преобладание исторически заданных интегративных тенденций. В перспективе это предполагает формирование новых межэтнических, а точнее, «надэтнических» общностей со сходными и даже единообразными чертами в культуре, образе жизни, в конечном счете, даже в самосознании...» [*Арутюнян* 2015: 11].

Оригинальность выводов этносоциологов состояла в том, что ими было показано формирование советского народа одновременно с сохранением и развитием этнических особенностей в культуре и языке. Интернационализм Ю. В. Арутюнян понимал как взаимоуважительное отношение между людьми разных национальностей, благоприятное межэтническое взаимодействие. На основе сравнительного анализа социальной структуры и культурных характеристик народов в этносоциологии был сделан вывод о существовании двух типов социально-этнических образований: у одного, «европейского», социальные характеристики рассматривались как практически независимые от этнонациональных, у второго, по мнению отечественных ученых, границы этнического существенно расширялись за счет повседневной практики и религиозности.

Говоря о достижениях этносоциологии, уместно упомянуть и выдвинутое Ю. В. Арутюняном положение о национализме («Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований», «Социальная структу-

ра сельского населения СССР» и др.). Он говорил, что существует два типа национализма — сельский и интеллигентский. Сельский национализм он объяснял тем, что люди одной национальности плохо знают историю и культуру другого народа. И это порождает страх. И отсюда рождались негативные установки: не жениться, не дружить, не иметь соседом человека другой национальности. В основе примитивных установок — явления и вещи, связанные с незнанием. Второй тип национализма — интеллигентский. Это когда часть элиты народа относилась недружественно, негативно к представителям другой национальности из-за конкурентной борьбы за продвинутые высокооплачиваемые места на вершине социальной лестницы.

Одним из важных из очень многих научных успехов этносоциологов можно назвать их исследования русских, живущих в своей и иноэтнической среде. Собранные материалы убедительно показали, что именно русские вместе с украинцами и белорусами были ведущей силой в процессе индустриализации страны, в подъеме экономики национальных регионов, а также о том, что проводившаяся в стране политика социально-экономического выравнивания регионов с акцентом на первостепенный рост этнической периферии, вела к ущемлению интересов русского народа и стала одной из причин распада СССР.

В силу исторических обстоятельств многое отечественным этносоциологам приходилось делать практически впервые. О том, что происходит в мировой социологии, наши ученые знали мало. Между тем, в зарубежной этносоциологии 1960-х гг. существовало три различных подхода к изучению расовых отношений и отношений групп меньшинств: с точки зрения этнической группы (классический пример — исследования У. Томаса и Ф. Знанецкого), с точки зрения социального взаимодействия (конкуренция, конфликт, аккомодация, ассимиляция) и социально-проблемного подхода (дискриминация, предрассудки, межэтнические отношения). В отечественной этносоциологии все эти три подхода совмещались, взаимодополняя друг друга, исследования носили комплексный характер и охватывали широкий круг проблем развития этнических общностей, их взаимодействия, аккультурации, аккомодации [Двадцать лет реформ 2011]. Впрочем, сами эти понятия употреблялись редко, как и понятие «конкуренция». Тем не менее, в реальности социальная конкуренция этнических групп неизбежно попадала в предметную сферу советской этносоциологии, поскольку являлась источником межэтнической напряженности.

Далеко не сразу сотрудники сектора стали осознавать, что нащупывали те пути, которыми шли П. Сорокин, М. Вебер, связывающие этничность с проблемами культурных паттернов и социального неравенства.

Для решения важных государственных задач, в котором принимали участие и этносоциологии, был значим сравнительный, многосторонний подход. Ю. В. Арутюнян в предисловии к книге «Русские» писал, что принци-

пиально единым для этнографии и этносоциологии является подход, давно сформулированный и развиваемый этнографами, утверждающий, что нельзя познать народ, не сопоставляя, не сравнивая его с другими. В этносоциологии этот принцип является строго обязательным, он заложен в самой процедуре исследования. Так, например, исследование русских должно было быть осуществлено в разных республиках, в разных этнических средах. Это продиктовано стремлением расширить границы конкретных исследований и усилить их результативность в понимании исключительно важных для нашей страны современных социально-национальных процессов, что и вызвало появление этносоциологии в целом. Актуальность такого рода этносоциологического анализа подтверждена всем ходом современной жизни нашего общества. Опыт показывает, что вместе со сходными процессами модернизации социально-культурной жизни народов происходит интенсивный рост их национального самосознания, активизируется и нередко болезненно обостряется выражение национальных интересов [Русские 1992: 4].

Этносоциологам было свойственно видение явлений и процессов в динамике, понимание того, что ситуация меняется и требует новых замеров. Об этом неоднократно писал Ю. В. Арутюнян. Например, в книги «Русские» он отмечал, что сравнительно небольшой, но насыщенный важными событиями в жизни нашего общества период после выхода книги «Социально-культурный облик советских наций», обобщающей итоги исследования по программе «Оптимизация социально-культурных условий развития наций», показал, что их проблематика стала еще более злободневной и нуждается в дальнейшем расширении и углублении [Русские 1992: 4].

Принципиально важным достоинством работ этносоциологов была их практическая направленность и прогностический характер. Так, например, в изданном в начале 1990-х гг. труде «Русские» особое внимание было уделено русским в иноэтнической среде и сделана попытка прогнозировать их судьбу в распадающемся Союзе [Русские 1992]. Эти прогнозы были представлены руководству страны, и многие из них подтвердились. Материалы середины и конца 1980-х гг. фиксировали убыли русского населения в союзных республиках Закавказья и Средней Азии, что было результатом не только низкого естественного прироста, но и миграции. В книге «Русские», подготовленной сотрудниками сектора конкретно-социологических исследований, делался прогноз, что в последующие годы миграция неизбежно усилится и в остальных республиках. Чем дальше, тем больше русские буду сосредотачиваться у себя дома, что мы и наблюдаем с начала постсоветского периода.

Одним из важных направлений работы этносоциологов было изучение формирования профессиональных кадров в разных республиках и у представителей разных национальностей. Анализ этнического состава абитуриентов и студентов вузов в союзных республиках показал, что в ряде случаев представители титульных этносов имели преимущества при зачислении. Подобная

ситуация наблюдалась, например, в Тбилисском университете, где доля принятых среди грузин оказалась непропорционально выше, чем среди абхазов. Ряд докладных записок, подготовленных сотрудниками сектора конкретно-социологических исследований в руководящие органы, надо думать, явились одним из аргументов того, что в 1979 г. в Сухуме на базе педагогического института был создан Абхазский государственный университет.

С самого начала специфика этносоциологических исследований состояла в том, что они требовали коллективных усилий, как при сборе материалов, в том числе проведении массовых опросов, так и при дальнейшей обработке и анализе собранной информации, для раскрытия проблем развития наций и межэтнических отношений во всем их многообразии и разноплановости. Коллектив, созданный в Институте этнографии АН СССР, распределил между собой в общей программе исследования сферы личных профессиональных интересов. Сам Ю. В. Арутюнян вместе с Л. В. Остапенко изучал социальную структуру. Демографию продуктивно осваивала И. А. Субботина, семью и семейные отношения — А. П. Новицкая, И. А. Гришаев, культуру — С. С. Савоскул, язык и этноязыковые процессы — М. Н. Губогло, психологию межэтнических отношений — Л. М. Дробижева, В. К. Малькова и т. п. И по каждому из этих направлений у сотрудников были свои темы специализированных исследований и вопросы в анкетах. Каждый автор обязательно знакомился с материалами и выводами остальных коллег и на основе этого коллективного труда рождались коллективные монографии, в которых процессы и явления рассматривались всесторонне и комплексно.

Для того, чтобы собрать нужную информацию, сделать серьезные научные разработки и получить новые знания нужна была огромная и кропотливая работа по сбору информации. В те годы конкретная этносоциология не мыслилась без масштабной исследовательской базы, помимо сбора различных статистических и документальных материалов, проведения личных наблюдений, интервью, необходима была организация массовых опросов населения, причем в выборку входило обычно несколько тысяч человек, живущих как в городе, так и в селе, принадлежащих к разных этническим, демографическим и социальным группам. Широко использовался материл переписей населения. А так как в то время еще не было ксерокса, все необходимые показатели (а их были сотни тысяч) выписывались вручную из многочисленных не подлежащих публикации томов переписей, хранившихся в архивах Центрального статистического управления СССР под грифом «для служебного пользования». Часто привлекались и другие довольно оригинальные источники информации, например, Большая советская энциклопедия, сборники русских народных песен, сведения об этническом составе творческих союзов, абитуриентов и студентов вузов, материалы паспортных столов, отделов ЗАГС, публикации в СМИ (проводился контент-анализ прессы) и т. п.

Нельзя не отметить, что в те годы ученым создавались довольно благоприятные условия для сбора информации, в том числе для проведения массовых этносоциологических опросов. Финансовое обеспечение научных исследований со стороны государства выглядело более или менее приемлемым и, благодаря поддержке дирекции Института этнографии, сектор Арутюняна имел достаточные возможности для осуществления дальних и длительных экспедиций. Представители местных партийных и советских органов оказывали помощь в их проведении, сотрудникам сектора предоставляли жилье, помогали в привлечении интервьюеров, давали бесплатный допуск в архивы, ЦСУ, ЗАГСы и другие учреждения, организовывали опросы на предприятиях. Экспедиционная машина с надписью «Академия наук СССР» повсюду вызывала интерес и уважение. В целом за период 1960–1980-х гг. сотрудниками сектора было осуществлено около 50 экспедиционных выездов.

В копилку достижений этносоциологов Института этнологии и антропологии РАН можно положить и открытость методологии и методики исследований, что служило и служит делу распространения этносоциологических знаний в научной среде, помогало подключиться к проведению подобных работ представителям других научных коллективов. Многие методические инструкции, теоретические положения, высказанные в публикациях этносоциологов в советский период, остаются востребованными. Они разрабатывались очень добросовестно и профессионально. Анкета, по которой проводились опросы населения по проекту «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР», нередко берется за основу современных анкет, естественно, с определенной корректировкой. Используются и разработанные в те годы принципы выборки, методы организации опросов, в том числе, например, пожелание того, чтобы интервьюер и интервьюируемый были одной этнической принадлежности.

Передача опыта, теории и практики этносоциологических исследований проходила и во время подготовки аспирантов и стажеров, которых за время более чем полувекового существования этносоциологии в Институте этнологии и антропологии РАН набралось не менее сотни. «Птенцы гнезда Арутюнянова» работали и работают в Москве, Казани, Смоленске, Уфе, Петрозаводске, Элисте, Нальчике, Улан-Удэ, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Литве, Казахстане, Молдавии, Узбекистане, Украине и др. Среди них те первые стажеры и аспиранты сектора, которые потом стали докторами, профессорами, член-корреспондентами. Благодаря Ю. В. Арутюняну, Л. М. Дробижевой, М. Н. Губогло было положено начало развитию этносоциологии в Армении, Молдавии, Киргизии, Казахстане и др.

Можно сказать, что преимуществом развития этносоциологии в советский период была возможность осуществлять крупномасштабные межреспубликанские сравнительные исследования, возможность реализовывать репрезентативные для взаимодействующих этнических групп опросы. Госу-

дарство выделяло на это средства, а позиция авторитетного центрального академического учреждения открывала двери (правда, в начале со скрипом) для проведения исследований в республиках. Междисциплинарность, объективность, внимание к личности, ориентированность на решение практических задач — отличительные черты отечественной этносоциологии в советский период ее существования. Минусом начального периода становления отечественной этносоциологии можно назвать, по мнению некоторых авторов, недостаточное внимание исследователей к теоретическим вопросам [*Мнацаканян* 2004: 19).

Говоря о начальном периоде развитии этносоциологии в Институте этнологии и антропологии АН СССР, нельзя не отметить, что в 1960–1970-е гг. в его стенах появилось еще одно направление, использующее количественные методы — этностатистика. Инициатором этого направления был В. В. Пименов, который использовал количественные измерения элементов культуры с этнически выраженными признаками. Если у Ю. В. Арутюняна объяснение этнических явлений выводилось, прежде всего, через социальное, то у В. В. Пименова — через устойчивость компонентов этноса (социального, демографического, этноязыкового, этнокультурного и т. д.). В основе исследований лежало измерение числа лиц, знающих те или иные обряды, национальные блюда и т. п. Такой подход был основой для предложенного им компонентного изучения межэтнических отношений. Статистико-этнографические исследования стали проводиться в связи с тем, что этнографы /этнологи начали ставить вопросы, которые они изучали и раньше, но при ответе на эти вопросы они хотели учесть социальные различия. Естественно, одно из направлений могло отчасти перекрывать другое и наоборот, но не всегда. Например, статистические распределения распространения тех или иных обрядов были интересны с точки зрения обоих направлений, а конкретное содержание этих обрядов — только с точки зрения статистико-этнографического направления.

В силу ряда объективных и субъективных факторов статистико-этнографические исследования в Институте этнологии и антропологии РАН в отличие от этносоциологических постепенно прекратились. В итоге, если не считать сборников и отдельных статей, по результатам статистико-этнографических исследований было опубликовано всего две полновесные монографии — по исследованию 1968 г. в Удмуртии и 1981 г. в Чувашии [*Пименов* 1977; Чуваши 1988]. Всё это явилось причиной того, что сам термин «статистико-этнографические исследования» стал постепенно забываться, а коллеги, пришедшие в науку сравнительно недавно в результате естественной смены поколений, могли в каких-то случаях и вообще о нем не слышать [*Коростелев* 2022].

* * *

Более подробно хотелось бы остановиться на двух основных темах, разрабатываемых в секторе конкретно-социологических исследований в советский период, которые полностью отвечали задачам национально-государственного строительства в Советском Союзе — «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР» и «Русские». Работа над первой из них началась еще в конце 1960-х гг. и находилась в русле партийно-государственной политики тех лет. В своей статье «Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР» Ю. В. Арутюнян отмечал те вопросы, которые, на его взгляд, вставали в то время перед общественными науками, в частности, этносоциологией: «Как реализуются процессы развития и сближения наций, каковы пути их оптимального сочетания в различных сферах жизни — экономической, политической, культурной, психологической... Изучение их позволит судить об осуществлении программных положений партии, вновь подтвердившей на своем XXIV съезде необходимость последовательно добиваться «дальнейшего расцвета всех социалистических наций и их постепенного сближения». [*Арутюнян* 1972: 3–18].

Этносоциологами Института этнографии АН СССР с самого начала основания сектора активно исследовались социально-культурные аспекты этих процессов. К концу 1960-х гг. была завершена работа в Татарской АССР, являвшейся типичным для страны «социально-экономическим организмом» и в то же время зоной активного взаимодействия двух разнородных культур. Это исследование позволило сделать ряд существенных выводов о закономерностях культурного взаимодействия наций, особенностях их социального развития, роли национального фактора в социальной мобильности, источниках национального предубеждения и средствах их преодоления. Результаты исследования нашли отражение в многочисленных публикациях — статьях, докладах и обобщающей монографии о соотношении социального и национального [Социальное и национальное 1973]. Завершение работы в Татарии помогло приступить к следующему этапу исследования — распространению его на союзные республики, что открывало новые возможности для ученых, позволяло поставить целый ряд специфических задач. Появились возможности для *сравнительного* изучения опыта культурного развития и взаимодействия народов.

В Советском Союзе самой историей был как бы поставлен гигантский эксперимент взаимодействия разнородных в прошлом культур, сформировавшихся в каждом случае на своеобразной социально-экономической и идеологической почве. Континуум был весьма велик — от культуры феодально-патриархального общества до развитого капитализма; от мусульманского Востока до католического и лютеранского Запада. Различны также как длительность и теснота культурных контактов, так и опыт исторического об-

щения между народами. Для нашей страны были и остаются характерными огромное разнообразие и в то же время теснота взаимодействия культур. С этой точки зрения, по мнению Ю. В. Арутюняна, именно в Советском Союзе существовало наиболее благоприятное «экспериментальное поле» для исследования процессов культурного взаимодействия и прогнозирования их перспектив [*Арутюнян* 1972: 3–18].

В 1970–80-е гг. в период активного развития научно-технической революции в СССР усилились связи между всеми народами Союзного государства, стали шире распространяться общие элементы цивилизации. Процесс интернационализации культуры, выработки новых форм поведения, представлений всемерно активизировался. В этих условиях особый интерес приобретал вопрос о многообразных судьбах традиционных культур, их адаптации к новой ситуации и перспективах сочетания в каждой из них общего и особенного.

Сравнительное изучение культурного взаимодействия представителей разных народов (наций по терминологии того времени) позволило этносоциологам поставить и решить ряд фундаментальных для того времени задач:

1. Выяснить, как влияет на развитие и сближение наций специфика их культурного прошлого, мера развития собственного национального фонда культуры, характер исторического опыта культурных, социальных и политических отношений между народами.

2. Определить зависимость развития национальной культуры от степени урбанизации и индустриализации республик.

3. Найти закономерности изменения внутренней структуры национальных культур (инфраструктуры)—соотношение между материальной культурой, языком, художественной культурой, ценностными ориентациями и т. п., вскрыть особенности и темпы интернационализации в разных сферах культуры, различных по уровню развития.

4. Выявить общие и специфические черты в культурном облике различных народов, что позволило углубить культурно-этническую характеристику современных наций.

Как и в завершенном уже исследовании в Татарии, в новом проекте кроме того, был поставлен ряд «традиционных» задач, но на более широком, сравнительном материале: дать характеристику социально-этнической структуры народов, выявить роль этнической принадлежности и других этнокультурных факторов (язык, поведение) в процессах социальной мобильности, раскрыть многообразие культурных особенностей в социальных группах отдельных народов, выявить в этих группах соотношение интернациональных и традиционно-национальных черт, определить меру и глубину усвоения ими современной этнической культуры, найти закономерности, влияющие на процессы культурного обмена, установить связь между развитием этнической культуры и национальными отношениями, фиксируемыми системой национальных установок.

Исходя из логики развития культуры, исследование этнокультурных процессов представлялось по крайней мере на трех уровнях, точнее в трех направлениях. Одно — изучение самого этнокультурного фонда, выяснение того, как меняется фонд традиционных материальных и духовных культур, как сочетаются в культурном фонде народа вертикальная информация (переданная предшествующими поколениями) и горизонтальная, всё расширяющаяся под влиянием межнациональных контактов. Другое направление было связано с выяснением механизма распространения культурных ценностей, характера контактов и культурного общения между народами. Третий аспект касался распределения культурного фонд народа, того, как усваивается культура, в какой мере она становится реальным достоянием всего народа. Эти вопросы стали особенно актуальны в период, когда культурный фонд расширялся прежде всего за счет профессиональных форм.

Таким образом, этносоциологами исследовалось восприятие культуры разными слоями и группами народа, т. е. по существу культура в массах, а значит изменение культурного облика населения во всем ее социальном разнообразии. Субъектом исследования выступала личность, анализ всех факторов в конечном счете осуществлялся на личностно-групповом уровне. Биопсихические особенности индивида не принимались во внимание. Анализировалась роль каналов культурной информации —школы, семьи, средств массовой коммуникации — в социально-культурном развитии народа. Существенной особенностью исследования выступало исключительное внимание к практическим вопросам. Этот аспект имелся в виду и в ходе исследования в Татарской АССР, что нашло отклик в партийной печати, в частности, в статье Первого секретаря Татарского обкома КПСС [см.: *Табеев* 1971: 15].

Принципиальное значение имело теоретическое определение критериев оптимального развития социально-культурных процессов. Выделялись три критерия. Первый был связан с собственно культурным развитием. Другие критерии оптимальности лежали, по мнению этносоциологов, в «сопредельных» с культурой областях. Прежде всего — в плоскости взаимоотношений культуры и экономики. Высказывалось мнение, что развитие культуры, с одной стороны, и производства — с другой, не происходят равномерно, что равновесие между этими сферами устанавливается через преодоление диспропорций и противоречий. Оптимизация отношений между производством и культурой может происходить, как за счет всемерного развития производства, в соответствии с требованиями личности, так и за счет оптимизации процессов социально-культурного развития. Культура может быть не только средством для роста производства, но и *самоцелью,* т. е. носить не только узкоутилитарный характер, но непосредственно служить источником духовного наслаждения и творчества гармонично развитой личности. Следующий критерий оптимизации социально-культурных процессов, как определили этносоциологи, лежал в плоскости социально-психологической.

В 1970-е годы они исходили из того, что консолидирующими ценностями служат язык, общность происхождения и исторических судеб, обычаи и т. п.

Этносоциологи отмечали, что согласно результатам их исследований, в 1970-е годы процесс «сближения наций» приобрел особую актуальность. С одной стороны, имелось в виду «выравнивание» их социального и культурного уровня, создание принципиально сходных социально-профессиональных структур, фактически одинаковый доступ и одинаковая мера потребления всеми народами богатства духовного фонда человечества и выработка на этой основе общих черт. С другой стороны, имелись в виду взаимные отношения народов. Генеральная гипотеза рассматриваемого исследования, которая подтвердилась его итогами, определялась идеей детерминации культурного развития народа социальными факторами.

Выводы, сделанные на основе этого исследования, имели принципиально важное значение для совершенствования национальной политики. Они были основаны на анализе обширного фактического материала и выглядели достаточно обоснованными и объективными. В частности, отмечалось, что у народов СССР создается единый ценностный фонд, общие нравственные представления, что является признаком морального единства новой исторической общности, всё более утверждающейся в сознании каждого как единый советский народ. На этих идеях во многом строилась национальная политика советского руководства. «Ныне трудящиеся каждой республики, —было записано в постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования СССР», — составляют многонациональный коллектив, в котором национальные особенности органически сочетаются с интернациональными, социалистическими, общесоветскими чертами и традициями» [Цит. по *Арутюнян* 1972: 3–18].

Акцентируя внимание на наиболее общих, ярко проявляющихся процессах в советском обществе, этносоциологи и в тот период фиксировали те или иные острые явления в жизни представителей разных этнических общностей, в их взаимоотношениях, которые особенно четко дали о себе знать во второй половине 1980-х гг., с началом, так называемой, перестройки. Исследование, проведенное сектором конкретно-социологических исследований в 1980-х гг., посвященное русским, отвечая запросам времени, уделяло серьезное внимание изучению проблем, имеющих этническую окраску. В этот период у уже сформировавшихся элит в союзных и ряде автономных республик России заметно выросли запросы на повышение собственной роли в «своих» регионах, рост значимости языка и культуры «титульного этноса». Этнорегиональный фактор стал звучать всё громче. В этих условиях на повестку дня встал вопрос о положении представителей русского народа в своей и иноэтничной среде. По словам Ю. В. Арутюняна, «чтобы оценить ситуацию и перспективы переживаемых ныне исключительно сложных процессов преобразования нашей системы, надо знать «главное действующее

лицо» — народ, его структуру, особенности мышления и поведения, культуры, интересы и национальные ориентации... Впервые в цикле этносоциологических исследований в центре анализа один народ — русские, но в разных социально-этнических средах: в «собственной» республике (РСФСР) и за ее пределами — в других республиках страны» [Русские 1992: 3].

Ввиду масштабности и значимости проблемы внимание к исследованию русских как этносоциальной общности было достаточно очевидно. Этносоциологи отмечали, что именно со второй половины 1980-х гг. анализ социально-культурной жизни этого народа становится особенно актуальным, так как именно в этот период началась существенная трансформация советского общества, что было органически связано с жизнедеятельностью русских, как большинства населения страны, пробуждением понимания ими собственных интересов и путей их реализации.

Русские длительное время изучались этнографами, которыми была проделана огромная работа по исследованию традиционной русской культуры и быта, этнической истории русского народа, процессов формирования его отдельных территориальных групп, характеристике их культурно-бытового облика и отдельных аспектов образа жизни. В отличие от этнографических работ, сосредотачивающих внимание преимущественно на этнических особенностях традиционной культурно-бытовой сферы, главный предмет этносоциологии — современная жизнь народов: их социальная структура и мобильность, перемещения, социальные аспекты их трудовой, культурной и бытовой жизнедеятельности, этнические особенности психологии и межэтнические отношения.

Основные задачи авторы этносоциологического исследования видели в том, чтобы в принципиальных направлениях представить основные социально-культурные характеристики русских в сравнении с другими этническими общностями страны, определить, какое место занимают русские в государственной системе, как они «вписываются» в нее, попытаться раскрыть некоторые, но существенные тенденции трансформации соотношения традиционных и современных черт культуры и быта, сознания русского народа.

Отмеченные общие задачи конкретизировались в отдельных их аспектах. Прежде всего, это динамика расселения и миграции русских, формирования их социально-профессиональной структуры и некоторых аспектов трудовой деятельности, особенности семейно-бытовой сферы, условия и интенсивность деятельности в сфере культуры, взаимодействие национальной и инонациональной культур в образе жизни русских, их этноязыковое поведение в своей и инонациональной среде, национальное самосознание и другие этнопсихологические характеристики, существенные для понимания межэтнических отношений.

Названные проблемы, рассматриваемые в сравнении — в преимущественно однонациональной русской среде (РСФСР) и инонациональной среде разных республик (Грузия, Молдавия, Узбекистан, Эстония) — помог-

ли конкретно увидеть сходство и различия социально-культурных характеристик русских и других национальностей как по стране в целом, так и в отдельных республиках. Для собственно же этнических характеристик предпринятое сравнение — своеобразный эксперимент, поставленный самой жизнью, позволяющий судить об устойчивости этнических черт и их функционирования в разных этнических условиях.

Результаты анализа материалов проведенного исследования оказались принципиально важными и в ряде случаев неожиданными. Так, с точки зрения общесоциальных проблем развития русских в системе других народов особого внимания заслуживает выявленная тенденция к изменению роли русского народа. Во второй половине 1980-х гг., когда страна достигла уровня развития современного индустриального общества, когда у большинства народов сформировалась собственная значительная по численности интеллигенция, прежние содержание и форма межнациональных отношений утратили свое значение. В ходе исследования трансформации этнокультурной жизни становилась очевидной необходимость поиска новых решений в этой сфере. Существенные изменения, по мнению этносоциологов, должны были коснуться всех народов страны, но в первую очередь русских.

Как показало исследование, теперь элита каждого народа стремилась сама решать свою судьбу. Хотя непосредственное участие русского населения в экономическом и социально-культурном развитии национальных районов оставалось велико, во взаимоотношениях русских с другими народами страны наступил принципиально новый этап. Сложность состояла в том, что, несмотря на этнические перемены, для русских в инонациональной среде стали характерны пока только начальные изменения собственных этнокультурных и языковых установок, слабая адаптация к культуре, языку этнического большинства, в окружении которого они проживали.

Этносоциологи пришли к выводу, что объективная причина слабой адаптации русских к инонациональным культурам была обусловлена особенностями этнодемографической, языковой и этнокультурной ситуации, которая в прошлом делала такую адаптацию как бы излишней. Расселение русских почти во всех союзных республиках и во всех автономиях РСФСР позволяло им при смене места жительства в большинстве случаев иметь широкие возможности для общения с представителями своего народа. К тому же и иноэтничная среда не всегда стимулировала русских к овладению языками народов СССР — национально-русское двуязычие было широко распространено у всех народов страны. В этом же направлении действовало и повсеместное развитие средств массовой информации, книг, кино и т. д. на русском языке. Если в прошлом у русского населения союзных республик (вне РСФСР) объективно не было сколько-нибудь сильных стимулов к изучению языка и культуры коренных народов республик, то теперь, чем дальше, тем острее стала ощущаться такая необходимость.

Но, как показали, материалы исследования, адаптация большинства русских к инонациональным средам республик оказалась весьма «неглубокой» и не прочной. Их социальная карьера, культурная жизнь, быт в прошлом мало зависели, если вообще зависели от приобщенности к культуре коренных народов республик, личных контактов с людьми других национальностей, знания их языков. Русские, где бы они ни жили, больше чувствовали, что живут в «своем Союзе», а не в республике. С началом перестройки при резком росте национального самосознания коренных национальностей такая ситуация начала меняться. Русские стали остро чувствовать необходимость либо перемены среды, либо более полной и всесторонней адаптации к иноэтничной среде, в которой они жили.

Исследование выявило высокую роль языкового фактора. Приобщение к языку титульного народа влияло и на трудовую карьеру русских, и на широту деловых контактов, активность в работе, и на политические взгляды и предпочтения, миграцию. При этом ситуация в разных республиках заметно варьировала и во многом зависела от социально-экономического и культурного уровня развития республики и ее титульного народа. В Таллине, например, среди местных русских процент владеющих эстонским языком был заметно выше, чем в Ташкенте владеющих узбекским.

На основе анализа материалов исследования его авторы пришли к заключению, что при всей независимости и даже «стихийности» социально-этнических процессов возможно их определенное регулирование. Для этого необходимо, как они считали, овладеть механизмом управления указанными процессами и исследовать рычаги адаптации русских в инонациональной среде. По мнению этносоциологов, главное, чего надо было избегать — это стереотипных решений лишь во внешне схожих вопросах. Они отмечали, что проблемы адаптации, равно как и миграции, в каждой этнической среде имеют свою специфику и должны поэтому решаться со строгим учетом этой специфики. Это важно не только с точки зрения выбора правильного политического курса, но и правильной идеологической ориентации русского населения в республиках. Авторы исследования подчеркивали, что больше всего следует опасаться унифицированных централизованных решений, не учитывающих специфики национальных регионов и навязывающих одинаковые средства при глубокой дифференциации этнических сред. В заключении к книге «Русские» отмечалось: «Со временем в нашем обществе всё сильнее будет осознаваться необходимость дифференцированного подхода. И чем скорее это станет обязательным и существенным принципом в решении национальных проблем, тем меньше будет издержек и сложностей, что создаст основу оптимизации национальных отношений между нашими народами сегодня и в будущем. Этносоциологические исследования должны в меру своих возможностей способствовать таким решениям» [Русские 1992: 449].

Подчеркнем, что для этносоциологии всегда была и остается характерной практическая и прогностическая направленность исследований. Не слу-

чайно в начале 1990-х гг. некоторые бывшие сотрудники отдела этносоциологии были приняты на работу в государственные структуры. И. А. Гришаев получил должность заместителя начальника одного из Управлений в Госдуме РФ. В. Н. Шамшуров работал заместителем министра по делам национальностей. Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, М. Н. Губогло внесли немалый вклад в разработку принципов политики по проблемам национальностей. М. Н. Губогло стал одним из авторов закона «О национально-культурной автономии». Л. М. Дробижева с начала 2000-х гг. работала в группе по подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих сферу национальной политики, принимала непосредственное участие в подготовке текста Стратегии государственной национальной политики 2012 и 2018 гг.

Отметим также постепенный рост количества ученых-этносоциологов в регионах страны. Связано это было не только с тем, что выросли ученики, прошедшие школу головного института, но и с тем, что существенно возросло количество научных центров, изучающих этносоциологическую проблематику. Самостоятельные этносоциологические центры существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Петрозаводске, Казани, Ижевске, Нальчике, Сыктывкаре, Уфе. Новосибирская школа этносоциологии восходит корнями к грандиозному социолингвистическому исследованию языковой жизни, проведенному среди 27 коренных народов Сибири и Дальнего Востока в 1965–1968 гг. по инициативе и под руководством члена-корреспондента АН СССР В. А. Аврорина и Е. И. Убрятовой. Значительный вклад в развитие новосибирской социолингвистически и экономически ориентированной этносоциологии внесли академик РАН А. П. Окладников, члены-корреспонденты РАН В. И. Бойко и Ю. В. Попков [*Костюк* 2009; *Попков, Тюгашев* 2009]. Авторитетная этносоциологическая команда — Л. Сагитова, Г. Габдрахманова и Г. Макарова — работает в наши дни в Татарстане. В Башкортостане активно функционирует несколько социологических центров с включением этносоциологической тематики, в частности Центр Р. Валиахметова, вузовские центры Р. Галямова и др. В якутском Институте гуманитарных исследований при администрации Президента республики Саха также работают ученые-этносоциологи. Кроме того, проводятся профессиональные исследования социальных аспектов этничности в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане, Адыгее и др.

По мере того, как этносоциология утверждалась в качестве самостоятельной дисциплины, появлялись учебники и учебные пособия, этносоциологические исследования переходили из академической среды в университеты, прикладные проекты перемещались из Москвы в столицы республик, множились определения предмета и объекта этносоциологии как научной дисциплины, развивающейся на стыке этнологии и социологии с целью изучения социальных процессов в разных этнических сообществах и этниче-

ских процессов в различных социальных группах и слоях. К двадцатым годам XXI в. этносоциология приблизилась, имея уже десятки учебников, учебных пособий, университетских и институтских курсов и спецкурсов. Центральное место в этом потоке учебной литературы занимает учебное пособие «Этносоциология», созданное под руководством Ю. В. Арутюняна и Л. М. Дробижевой [*Арутюнян, Дробижева, Сусоколов* 1998].

По образному выражению М. Н. Губогло, этносоциологию можно сравнить с деревом, ветви которого подпитываются прошлыми фрагментами истории, как единой корневой системой, и далее постепенно расходятся в разные стороны. Образ дерева вряд ли можно в полной мере и строго экстраполировать на все гуманитарные дисциплины, но к этнологии и ассоциированной с ней этносоциологии он вполне применим. Во всяком случае, с момента зарождения этносоциология стала ветвиться, и, как на стволе дерева, у нее появились побеги, т. е. научные направления, изучающие этнодемографические, этнокультурные, этноязыковые, этнопсихологические и этнополитические аспекты в развитии и взаимодействии народов. При этом надежным и признанным подходом в каждом из названных направлений стало изучение, во-первых, через личность как носителя социального статуса и обладателя совокупности идентичностей, социально-культурных и этико-эстетических норм; во-вторых, с учетом специфики среды обитания; в-третьих, в ракурсе социальной рефлексии тех или иных памятных дат в истории отдельного человека и целых народов. Указанные подходы приобретают особое значение при выявлении текстов и смыслов, пружин и мотивов, при измерении времени и пространства, а также при их интерпретации.

Образ дерева в данном случае кажется уместным; он противостоит представлениям о чрезмерной фрагментации предметной области этносоциологии путем малообоснованного и ненужного разграничения тесно связанных между собой социально детерминированных явлений, имеющих этническую окраску, но показывающих этничность и этнические сообщества как единый этносоциальный и этнополитический процесс. Признаки автономизации отдельных направлений в предметной области этносоциологии появляются в том случае, когда, наряду с базовыми трендами и направлениями, характеризующими ход и динамику этносоциальных, этнодемографических, этнокультурных и этноязыковых процессов, всплывают отдельные частные, — на первых порах, темы: как, например, межэтнические конфликты, этнически гетерогенные браки, межэтнические отношения, тренды двуязычия и двукультурья, различные идентичности.

Социально-экономические проблемы в зеркале этносоциологии

Заслуга Ю. В. Арутюняна, отца-основателя отечественной этносоциологии, состоит в том, что разработанная им вместе с сотрудниками методика из-

учения социальной структуры должна была ответить на вопрос о зависимости межэтнических отношений от социальной структуры контактирующих народов. Как известно, попасть на верх социальной лестницы, где сосредоточены наиболее престижные, высокостатусные и высокооплачиваемые места, достаточно сложно, так как спрос на них заметно превышает предложение. В каждом коллективе формируются группы людей элитарных, которых Л. Н. Гумилев называл пассионарными. Они рвутся наверх, чтобы получить место на узенькой и тесной вершине, где возникает очень сильная конкурентная ситуация, в том числе между представителями разных национальностей [*Остапенко* 2002]. Объяснение межэтнических отношений через призму социальной структуры было весьма важным открытием Ю. В. Арутюняна, который заложил основы изучения этнических процессов через социальную структуру каждого народа.

Вот как объяснял методологическое и стратегическое значение изучения социальной структуры в деле исследования социального многообразия национальных процессов и, добавим, этнических историй сам Ю. В. Арутюнян: «Социальная структура и мобильность наций имеют первостепенное значение для понимания их эволюции в современной жизни. Социальная структура наций обусловливает их многообразие, динамику и специфику переживаемых ими социальных процессов; она позволяет понять перспективы развития национальных отношений, их повседневность и масштабность <...> Национальные процессы в разных социальных группах неоднозначны; они различаются глубиной и интенсивностью проявления этнических особенностей; для них характерны разные пути и средства межнационального взаимодействия, заметно видоизменяющегося во времени и социальном пространстве» [*Арутюнян, Дробижева, Сусоколов* 1998: 104].

Одним из выдающихся достижений этносоциологии, опирающейся на конкретные эмпирические материалы и прикладные исследования, можно считать вывод о недальновидности той части национальной политики Советского Союза, согласно которой поддерживался курс на дальнейшее развитие и сближение наций путем целенаправленного выравнивания уровней их экономического и социального развития. Еще в 1921 г. на X съезде РКПБ (Российской коммунистической партии большевиков) была поставлена задача помочь отсталым в прошлом народам за счет создания соответствующих условий догнать те, которые ушли вперед. В американской и европейской традиции это называется affirmative action protection. В СССР для 50 народов была создана письменность, т. е. были разработаны алфавиты, составлены учебники, буквари и т. д. И действительно, эти 50 бесписьменных народов сделали гигантский рывок в подъеме образовательного уровня и своей культуры. В ряде автономных и союзных республик в 1920–1930-е г. благодаря решениям этого съезда начала проводиться политика коренизации — представителям титульного народа (преимущественно чиновникам) создавались

особые условия для продвижения на вершину социальной лестницы. Смысл коренизации, хотя это называлось «особая языковая политика», на самом деле состоял в оптимизации кадровой политики, которая должна была обеспечить титульным национальностям приоритетные условия для продвижения вверх, к власти, к соучастию в разделении и распределении средств, моральных, материальных и художественных богатств.

Накануне развала Советского Союза некоторые отсталые в прошлом народы не только догнали, но и перегнали ранее ушедших вперед. Сравнение в исторической динамике социально-профессионального состава русских и представителей титульных национальностей показало, что еще в СССР стало возможным возникновение новых неравенств в социально-профессиональных структурах и составах народов страны. В некоторых республиках (как, например, в Эстонии и Грузии), титульные национальности стали опережать местных русских в занятиях, требующих квалифицированного умственного труда, а в остальных республиках, хотя подобных кардинальных изменений не произошло, но, тем не менее, всюду с течением времени пропорции менялись в пользу титульных национальностей [Русские 1992].

Опережающие темпы роста кадров из числа титульных национальностей задевали интересы русского и остального нетитульного населения и порождали дополнительные претензии у политической, научной и художественной элиты титульных этносов. Искусственно созданные льготные условия для форсированного развития высокооплачиваемых кадров и чиновничества из числа титульных национальностей вместо стабилизации и умиротворения этнокультурной ситуации приводили к возникновению этнополитической турбулентности и конфликтным ситуациям.

Целесообразность подобной кадровой политики была, по мнению ученых, сомнительна и с экономической точки зрения. Как показали этносоциологические исследования, к концу советской эпохи только 3 из 15 союзных республик (Россия, Украина и Белоруссия) служили донорами союзного бюджета, остальные были реципиентами. Фактическая репарация со стороны бывшей «угнетающей» нации не ограничивалась лишь начальной стадией социально-экономической модернизации, перекачка средств и ресурсов из центральных областей на периферию составила магистральную линию советской политики. СССР проводил сознательную и целенаправленную стратегию социально-экономического и культурного развития этнических меньшинств, этнической периферии. При этом костяк индустриальных рабочих и инженеров почти во всех республиках составляли представители восточнославянских народов, в первую очередь, русские. Задачи выравнивания уровней экономического развития и модернизации социальной структуры традиционных обществ так и не были достигнуты. Причем, даже элита ряда бывших союзных республик нередко возражала против форсированного индустриального развития своих регионов.

Все эти принципиально важные моменты фиксировались этносоциологами, которые убедительно доказали, что при выравнивании социально-профессионального состава народов сохранялись заметные различия в характере их отраслевой занятости, в том числе в профессионально-отраслевой структуре интеллигенции, на чем руководство страны старалось не заострять внимание, уповая на сложившуюся межэтническую хозяйственную кооперацию. Между тем, работа на предприятиях разной отраслевой принадлежности, с разными условиями труда и уровнем зарплаты, разной обеспеченностью социальными благами (ведомственное жилье, дома отдыха, детские сады и т. д.) не способствовала сближению людей разной этнической принадлежности ни в производственной сфере, ни в культурно-бытовой.

Тем не менее в отечественной и зарубежной литературе последнего времени утверждается мнение о позитивном итоге политики коренизации межвоенного периода в Советском Союзе. Более того, политика и итоги интернационального воспитания 1920–1930-х годов переосмысливаются и оцениваются как позитивный опыт воспитания доверия между представителями разных национальностей, между народами и правящими структурами [*Казиев* 2015; *Мартин* 2011].

Об участии этносоциологов в решении задач, имеющих общегосударственное значение, свидетельствует их приглашение в качестве экспертов для оценки эффективности программы перемещения трудовых ресурсов. В середине 1980-х гг. в СССР остро встал вопрос неравномерного распределения по стране занятого населения. Была разработана «Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1986–2005 гг.», в которой намечалась работа по переселению людей из трудоизбыточных регионов (в основном республики Средней Азии) в трудонедостаточные, которая совершенно не учитывала этнические особенности жизни переселенцев, своеобразие их быта и культуры, трудовых привычек и предпочтений и т. д. Перед массовыми переселениями были проведены пробные эксперименты. В одном из них участвовали сотрудники отдела этносоциологии, которым было поручено провести опрос туркмен, переселенных в Амурскую область, выяснить их мнение, а также отношение к ним местного населения, и дать свои прогнозы. Хочется думать, что негативные отзывы этносоциологов по поводу этой программы внесли свою лепту в то, что она была скоро свернута.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что этносоциологи всегда привлекали внимание руководящих органов к вопросу о сохраняющемся влиянии этнического фактора на все стороны жизни населения многонационального Союза, и не только на культурно-бытовую, но и социально-экономическую, в том числе на сферу труда, складывание социально-профессиональной и отраслевой структуры, шансы социальной мобильности, уровень материального благосостояния.

В связи с этим несколько слов следует сказать о состоявшихся в свое время в Институте этнографии этноэкономических исследованиях, проведен-

ных под руководством Л. М. Дробижевой, М. Н. Губогло и А. А. Сусоколова и в дальнейшем нашедших отражение в ряде публикаций: «Этничность и алмазы» В. В. Коротеевой [*Коротеева* 2000], «Каспийская нефть и межнациональные отношения» М. Ю. Чумалова [*Чумалов* 2000], «Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию» А. А. Сусоколова [*Сусоколов* 2006], которые, к сожалению, не были продолжены в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств.

Этнополитические и этноправовые процессы и этносоциология

Наряду с изображением и характеристикой социальных структур народов Советского Союза, несомненной заслугой этносоциологии является создание теории социальной и взаимосвязанной с ней теории этнической мобилизации. Родственность этих двух направлений (ветвей) этносоциологических исследований определяется как на личностно-индивидуальном, так и на групповом уровне, а также в широкомасштабном историко-социальном плане. На протяжении 70 лет существования Советского Союза разные темпы социальной и этнической мобилизации служили взаимными катализаторами и обеспечивали преодоление глубоких различий между народами в конфигурации их социальных структур и в социально-профессиональном составе.

Если, несколько забегая вперед, обратиться за примерами к базовым итогам исследования Ю. В. Арутюняна и выполненных параллельно проектов Л. В. Остапенко, можно распознать ряд глубинных пружин межэтнических процессов (точнее, отношений между этнополитическими элитами) и ряд трудных вопросов в сфере этногосударственных отношений.

К концу 1980-х гг. на повестку дня выдвинулись вопросы участия этносоциологов в разработке рекомендаций для национальной политики, понимаемой, вслед за американскими политологами Джозефом Ротшильдом, Дональдом Хоровицем и социолингвистом Джошуа Фишманом, как этническая политика, регулирующая некоторые вопросы взаимоотношений между государственной властью и различными народами [*Fishman* 1989; *Horowitz* 1985].

В конце 1980-х гг. этносоциологами, опирающимися на огромный фактический материал, в том числе массовых опросов, и хорошо владеющими информацией о ситуации в разных союзных республиках предпринимались попытки, например, дать конкретные предложения по содержанию нового Союзного договора, который так и не был подписан. В основе этих предложений лежал тезис о необходимости взаимной адаптации титульных народов и живущих в национальных республиках русских. Так, Ю. В. Арутюнян писал: «В прошлом нерусские национальности приобщались к культуре русских — «старшего брата», у которого не было особой необходимости сколько-нибудь в равной мере осваивать инонациональную культуру. Теперь, когда утверждаются принципы равноправия, все «братья — старшие». И русские,

если они хотят взаимодействия, должны также активно приобщаться к инонациональной культуре, как и «братья» приобщались к русской. Разумеется, рассмотренная теоретическая схема не предполагает совершенно сходного решения проблемы взаимной адаптации русских и коренных национальностей республик в разных этнических средах... Поэтому в Союзном договоре могли быть более приемлемы в республиках самые общие принципы. Особый смысл и исключительно ответственные функции выпадут в этой связи на долю межреспубликанских договоров, которые уже сейчас отличаются друг от друга. Специфика межреспубликанских отношений предполагает, безусловно, вариативность и политических, и экономических, и социальных интересов и соответственно программ» [Русские 1992: 447].

В постсоветский период этническая политология стала развиваться более активно, выросла роль этносоциологов в решении важных политических задач.

Разделение (разветвление) традиционной сферы межэтнических отношений на этногосударственные и межэтнические отношения произошло в связи с обострением к середине первого постсоветского десятилетия этноправовых проблем этничности и изменения роли этнического фактора в системе федеративного государственного устройства. Демократизация общества, конституционное утверждение прав и свобод человека актуализировали проблему достраивания личностных прав групповыми правами. Эта идея, изложенная М. Н. Губогло в ряде статей и в монографии [*Губогло* 2000] и озвученная в выступлениях и докладах экспертов Государственной Думы, была поддержана на рубеже 1990-х и нулевых годов Председателем Комитета по делам национальностей Госдумы В. Ю. Зориным.

К сфере этнополитики можно отнести и такое направление, как этножурналистика. Изучение деятельности СМИ в рамках этносоциологии началось в секторе конкретно-социологических исследований Института этнографии и антропологии АН СССР с конца 1960-х гг. и приобрело большое научное и серьезное практическое значение. Тематика исследований многогранна и крайне актуальна для всех полиэтничных сообществ.

«Из отечественной и мировой практики известно, что пресса (а затем и другие каналы массовой информации) всегда, с первых дней своего существования использовалась элитами в целях регулирования общественных процессов и манипулирования массовым сознанием. Уже давно элиты научились с помощью информации распространять в общественном пространстве определенные стереотипы, ценности, идеи и установки и тем самым сближать или разделять людей по группам, регионам, странам и по мировоззрению. Вполне закономерно, что этносоциологические исследования конца 60–80-х гг. прошлого века не могли обойти вниманием целенаправленное использование прессы советскими, а затем и российскими идеологами и политиками и особенно широко распространяемую в пропагандистских целях этнически окрашенную информацию» [*Малькова* 2022].

Разрабатывающая данное направление в Институте этнологии и антропологии РАН В. К. Малькова активно сотрудничала и сотрудничает с различными журналистскими организациями, в том числе и международными, работающими в Москве и в других российских регионах. Вместе с вузовскими преподавателями журналистики, с практикующими журналистами, представителями Союзов журналистов из Центра страны и республик она проводила и проводит по их приглашению научно-практические обучающие семинары в разных российских городах и республиках, а иногда и в странах ближнего зарубежья (в Киргизии, Казахстане, Молдавии и др.). Результатом ее работы стали не только публикации в научных изданиях, пособия и хрестоматии для журналистов и управленцев, результаты анкетных опросов региональных этнических активистов в разных республиках страны, но и многочисленные выступления с рекомендациями в российских и московских государственных и общественных структурах, в том числе на экспертных заседаниях [*Малькова* 1991 и др.].

Исследование этнодемографических процессов

Этносоциологические исследования динамики численности народов, соотношения естественного прироста и миграционных передвижений, компактного и дисперсного расселения, мотивации семейных отношений и демографического поведения, пожалуй, менее всего освоены в их предметной области. В известной мере это объясняется скорее субъективными, чем объективными факторами. Ко времени создания в Институте этнографии АН СССР сектора, которому суждено было стать родоначальником нового научного направления, здесь уже действовала научная школа этнодемографии и этногеографии, создателями и видными представителями которой были С. И. Брук, В. И. Козлов, В. В. Покшишевский, П. И. Пучков и другие менее маститые специалисты [*Казьмина, Пучков* 1994; *Козлов* 1969; *Козлов* 1977; *Козлов* 1982].

В этносоциологическом плане предпринимались исследования взаимодействия этнодемографических и этноязыковых процессов [*Брук, Губогло* 1974], сравнительной динамики численности городской и сельской части народов союзных республик, формирования этнически смешанного населения в столицах союзных и автономных республик [Губогло 1992], изменений соотношения титульной и русской национальности в республиках и субъектах Российской Федерации в связи с процессами этнической мобилизации. Вместе с урбансоциологами этносоциологи фиксировали разные темпы урбанизации, как в части прироста городского населения, так и в темпах привнесения городских стандартов жизни в сельскую среду. Выводы о неравномерных темпах динамики численности народов подтверждались показателями в этническом и региональном аспектах.

При совместном исследовании этнической и региональной идентичностей населения этносоциологами были установлены определенные закономерности динамики рождаемости и смертности, деформации возрастной структуры, векторы миграционных потоков, соотношения занятости и безработицы, криминальности и обеспеченности, брачности и разводимости, мужского и женского суицида.

Важным направлением в изучении этнических и этнодемографических процессов стало изучение динамики численности народов. Необходимо знать с какой скоростью происходит увеличение численности народа, т. е. какова разница между рождаемостью и смертностью населения. Этнографов и этносоциологов в демографии в данном случае, прежде всего, интересовали этнические отношения, т. е. понимание влияния внешнего фактора в межэтнических отношениях на динамику численности. Используя материалы переписи населения 1979 г., М. Н. Губогло занимался изучением возраста юношей и девушек на брачном рынке, чтобы понять, как окружающая этническая среда влияет на возраст вступления в брак и вместе с тем на продолжительность фертильности женщины. Он установил, что среди русских девушек, проживающих в Узбекистане, уже каждая пятая была замужем до 18 лет под влиянием узбекского окружения, где молодые люди, уходящие на службу в армию, рано должны были жениться, чтобы, вернувшись, уже иметь младенца. Это сухие цифры, но из них, оказалось, можно извлечь много информации. Среди русских девушек этого же возраста в России, в субъектах Российской Федерации, замужем были уже только около 10%. То есть на них не влиял исламский, среднеазиатский фактор, под влиянием которого надо было раньше создавать свою семью, заводить ребенка и т. д. А вот в республиках Прибалтики, где девушка должна была сначала получить среднее и даже высшее образование (в соответствии с европейскими нормами сконструировать себя), получить профессию — только 3,1% [*Губогло* 1992].

Под влиянием этнической среды находится и уровень межэтнической брачности. В результате этносоциологических исследований было, например, установлено, что с 1959 по 1979 г. удельный вес межэтнических браков вырос в СССР с 10% до 17%. И этот факт был очень важным для советской пропаганды, т. к. давал возможность говорить о сближении (не слиянии, а именно сближении) народов. Было доказано, что чем разнообразнее этнический состав и выше численность контактирующих этнических групп, тем шире возможности для заключения меэтнических браков и выше их частота.

Одним из важных факторов, влияющих на динамику роста численности народов, является, конечно, религия. Потому, что народы, исповедующие ислам, давали более высокий процент рождаемости, нежели православные, иудеи или другие.

Итак, этнодемографическое направление, как ветвь на древе этносоциологии, представляет собой связь между демографией и этнологией, в том

числе по выявлению того, как среда влияет на динамику численности населения и как численность способствует сохранению самобытности. На развитие исследований этнодемографических процессов, как особого сегмента этносоциологии, существенное влияние, в частности, оказывает систематический анализ динамики численности русского населения, живущего в иноэтнической среде (исследования И. А. Субботиной в Молдавии).

Этнокультурные процессы и этносоциология

Еще одна ветвь этносоциологического дерева — исследование этнокультурных процессов, в значительной мере определяющих не только лицо и имидж народа, но и самобытность и устойчивость традиционной и уровень развития профессиональной культуры. Отвлекаясь от бесконечных споров о сотнях существующих в литературе дефиниций культуры и критериях их типологизации, этносоциологи изначально пошли своим оригинальным путем. Было предпринято исследование производства, тиражирования, распространения и потребления (читают, слушают, посещают, смотрят) культуры.

Указанный комплексный многокомпонентный этносоциологический замер (практически одна из самобытных теорий советской этносоциологии, охватывающей «знание, поведение, отношение») позволил обнаружить и зафиксировать перемещение этнического из сферы материальной в сферу сознания, а на рубеже первого и второго постсоветских десятилетий — из духовной культуры в сферу психологии и политики и далее обратным ходом из политики в сферу символизации элементов материальной культуры. Эти тренды соответственно получили название в одних случаях «этнические качели», в других — «этнополитический маятник» [*Паин* 2004].

Благодаря этому трехкомпонентному подходу к изучению культуры, взаимодействию культур, этносоциологи сделали ряд чрезвычайно важных открытий. Например, подтверждая теорию Ю. В. Арутюняна о неразрывной связи социального и этнического, по-своему культурному облику (потреблению культуры) трактористы Молдавии оказались гораздо ближе к трактористам Эстонии, чем к своим молдавским поэтам и писателям. То есть социальные различия внутри одного этнического образования оказались сильнее в рамках всего Советского Союза, чем этнические. И здесь очень большая заслуга этносоциологии в том, что она сумела на примере ряда проблем показать ведущее значение социального фактора в формировании межэтнических отношений.

Конечно, важную роль играла и идеология. В советские годы эстонский академик Юхан Юханович Кахк назвал свою книгу «Черты сходства». Задача интеллектуальной элиты Эстонии состояла, по его мнению, в том, чтобы показать, как происходит сближение эстонской культуры на всех трех направлениях (производство, тиражирование и потребление) с культурами в других регионах страны.

Для этносоциологов в исследовании культуры было очень важно изучение уровня образования, поскольку в советские времена карьера человека, его культурный уровень, мировоззрение, идеология в немалой степени зависели от образования. И надо сказать, что, исходя из уровня образования и профессиональной квалификации, этносоциологам было довольно легко классифицировать народы. Сегодня в условиях рыночной экономики уже нет смысла закладывать в оценку уровня социальной структуры эти два ключевых фактора. Уже в первые годы после распада Советского Союза появилась масса торговцев-челночников, которые, не обладая даже школьными дипломами, обеспечивали себя гораздо лучше, чем люди с престижным уровнем образования и высоким уровнем профессиональной подготовки. Тем не менее, образование остается важным индикатором социально-культурного облика как отдельного человека, так и этнической общности. Уровень образования и культуры определяют запросы и потребности людей, их амбиции и притязания, а в условиях жизни в полиэтничном обществе влияют и на характер межэтнических отношений.

Этноязыковые процессы и этносоциология

В 1960–1970-х гг. в Советском Союзе было несколько направлений, которые занимались изучением внешней истории языка — это Институт языкознания АН СССР (его сотрудники во главе с Ю. Д. Дешериевым занимались в основном выявлением и составлением классификаций в функциональном соотношении между старописьменными, младописьменными и бесписьменными языками). В Ленинграде работал член-корреспондент Академии наук Советского Союза В. А. Аврорин. Он первым среди советских языковедов предложил проводить широкомасштабные социолингвистические исследования народов Севера. Сам корпус идей социолингвистики очень хорошо вписывался в общие исследования взаимосвязи языковых, культурных и этнических явлений.

Сотрудники сектора конкретно-социологических исследований Института этнографии АН СССР предложили новый подход — изучение взаимосвязи языковых, политических и этнических явлений. Изначально в анкету, созданную этносоциологами, был заложен триединый блок вопросов по изучению этноязыковых процессов. С помощью серии взаимодополняющих вопросов фиксировались знание языка, речевое поведение и языковые установки, т. е., как человек знает языки, как он их реализует в своем речевом поведении и как к ним относится. Весьма актуальным значение этого подхода в дальнейшем стало при изучении ситуации на Украине и в Молдавии, где в постсоветское время был утвержден законодательно один единственный государственный язык [Курсом развивающейся 2009]. В основу использования языка в политических целях в качестве заложницы была взята языковая

ситуация. Дело в том, что в советские времена манифестировалась, декларировалась, пропагандировалась проблема второго родного языка. Русский язык, несколько огульно, поскольку им в той или иной мере владели почти все представители нерусских национальностей — был поспешно объявлен вторым родным языком нерусских народов.

Уже первое этносоциологическое исследование в 1967 г. показало, что русский язык стал локомотивом, лакмусовой бумажкой в деле возрастающего интереса к родному языку. Однако это не привело к росту влияния языка представителей нерусских национальностей, в том числе титульных этносов союзных и автономных республик. Политика активного внедрения русского языка в жизнь нерусских народов была одним из методов осуществления идеи форсированного повышения социально-культурного уровня отставших в прошлом национальностей. Двуязычие считалось одним из важнейших достижений советской власти. Но это двуязычие носило односторонний характер, будучи присущим преимущественно лицам не русской национальности, владеющим как русским, так и своим родным языком. В то же время владение русскими национальными языками находилось на низком уровне, так как не имело серьезных стимулов. В Книге «Русские» было, в частности, отмечено, что уровень связи между величиной интеллигенции у русских и знанием ими языка коренной национальности был незначительным [Русские 1992: 119].

Именно этносоциологи обратили внимание на необходимость изучения не только национально-русского, но и русско-национального двуязычия. «Самое главное... — найти разумные, в соответствии с реальными потребностями людей различных национальностей рамки для сбалансированного взаимодействия общественных функций языков народов нашей страны и языка межнационального общения. Путь же к этому только один — конкретное изучение реальных языковых потребностей представителей всех наций, народностей и национальных групп», — считали они [Русские 1992: 308]. Однако, эти факторы были слабо учтены, и одним из главных лозунгов этнической мобилизации конца 1980-х годов было повышение статуса и роли языка титульных народов союзных и автономных республик. В современных условиях роста урбанизации и глобализации у ряда титульных народов российских республик обострилась проблема сохранения своего национального языка, т. к. под влиянием меняющихся условий потребность в нем стала снижаться, а в русском языке возрастать. Вот почему языковая ситуация представляет чрезвычайно важный политический фактор, который определяет атмосферу межэтнических отношений.

Этнопсихологические процессы и проблематика идентичности

Предметное поле этносоциологии и ее проблематика значительно расширились, благодаря нарастающему валу исследований этнического само-

сознания в системе этнических идентичностей и возрастающей роли психологического фактора в современных этнополитических процессах. Прогноз этого феномена, сделанный еще в самом начале XX века великим русским этнографом. социологом, общественным деятелем М. М. Ковалевским, в том числе в монографии «Этнография і социология» [*Ковалевский* 1904], подтвердился и оправдался в полной мере.

«Каков бы ни был характер учреждения, происхождение которого мы изучаем, — писал М. М. Ковалевский, призывая искать объяснения изучаемого явления «во всей совокупности условий народной жизни», исходя из этого, что «разные стороны быта народного тесно связаны между собой», — идет ли дело о собственности, о кастах и о сословиях, о власти главы племени или народных вождей, мы постоянно наталкиваемся то на преобладающую, то на второстепенную роль психологического фактора. Таким образом... будущность сравнительной этнографии и услуги, которых социология вправе ждать от нее зависят, на мой взгляд, от того, откажется ли она или нет от несчастного стремления сводить все подлежащие ее решению задачи к уравнению с одним неизвестным, которым является форма производства...» [*Ковалевский* 1904].

В советской этнографии точка зрения великого соотечественника М. М. Ковалевского нашла воплощение в трудах П. И. Кушнера, Ю. В. Бромлея, В. И. Козлова, Л. М. Дробижевой. Особой близостью к указанному в начале XX в. определению психологического фактора отличалась крылатая формула В. И. Козлова. Он настаивал на важности «этнического (национального) самосознания, представляющего собой как бы субъективную равнодействующую объективных элементов (компонентов) этнической общности». При этом В. И. Козлов принимал во внимание тот факт, что этническое самосознание использовалось в качестве «основного этнического определителя в переписях и других формах массового статистического учета населения ряда стран мира» [*Козлов* 1969: 50].

Учитывая значительный вклад, привнесенный в изучение этнопсихологических и социально-психологических процессов одной из родоначальниц этносоциологических исследований Л. М. Дробижевой, ограничимся здесь лишь ее определением той значимой роли, какую играют неоднократно вскрытые ею этническое самосознание и этнопсихологический фактор в процессах этнополитического и социокультурного развития и взаимодействия народов, в том числе в доктринальных программах и идеологемах национальных движений (этнических мобилизациях) в СССР и России.

«Для этносоциологов важно, — писала Л. М. Дробижева в одном из первых учебных пособий по этносоциологии для вузов, — как формируется этническое самосознание, какова его структура, каким может быть его содержательное наполнение и регулятивная способность. Ведь этот психо-

логический феномен играет существенную роль в этнической мобилизации, консолидации, социальном контроле, стремлении к партнерству или доминированию и может быть использован как для преуспевания народа, так и для агрессивного национализма» [*Арутюнян, Дробижева, Сусоколов* 1998: 165].

В одной из первых анкет для массовых опросов по проектам Института этнографии АН СССР этнопсихологическая проблематика охватывала более десятка вопросов и предназначалась для исследования мотивов и стимулов личностного выбора, в том числе межэтнической брачности и ценностных ориентаций. Серьезный вклад в изучение этнического самосознания внесло формирование нового, гибридного по характеру направления, связанного с расширяющимся фронтом работ по исследованию идентичности.

Гордостью отечественного гуманитарного знания, достоинством и общественно значимым достоянием этносоциологии, как отмечается в литературе, является изучение социальных и этнических процессов через личность, обладающую этнической, региональной, гражданской, языковой и другими идентичностями [*Комарова* 2012].

Изучение социальной структуры этнических образований, динамика их численности (этнодемография), производство, тиражирование и потребление культуры (этнокультурология), знание, употребление и отношение к языкам (этническая социолингвистика), факторы, тактика и стратегии межэтнических отношений (этнопсихология) — эти направления, составляющие уже классику этносоциологии, ее стержневые направления, в ходе развития дали дополнительные новые ростки, также рожденные на стыке наук и потому имеющие междисциплинарный характер. Океан публикаций, бесчисленные конференции, серьезные диссертации и скороспелые рефераты, факультативные и обязательные курсы об идентичности могут служить вполне весомым основанием для постановки вопроса об изучении идентичности в статическом и динамическом аспектах.

Проблематика идентичности сегодня имеет необозримую историографию, особенно в связи с идентификацией идентичности [*Губогло* 2003], с теоретическими разработками национальной идентичности, с Я-концепциями, с теориями личности и многими другими теоретическими дискурсами. Исходя из этносоциологического опыта, идентологию можно считать законной дочерью этносоциологии. В предметной области этносоциологии и в реализованных проектах наиболее ярко и убедительно проявил себя подход, предложенный Энтони Смитом более двух десятилетий тому назад в нашумевшей книге «Национальная идентичность». Суть его концепции сводится к различию двух разновидностей идентичности: во-первых, к проблеме индивидуального ВЫБОРА человеком или группой людей своей идентичности, во-вторых, к проблеме ПРИНАДЛЕЖНОСТИ к определенной общности, в т. ч. к этнической, независимо от того, пребывает человек в рамках своей этнической общности или переселяется в иноэтническую среду. Одна из форм

идентичности, как видно, лежит в основе конструктивизма, другая теснее связана с традиционным примордиализмом.

Этносоциологический по материалу доклад М. Н. Губогло «Языковые контакты и элементы этнической идентификации» (на русском и английском языках), представленный на IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго, 1973 г.), можно назвать некой сейсмографической станцией, которая зафиксировала первые толчки грядущего интеллектуального бума в связи с проблематикой идентичности, выдвинувшейся накануне распада СССР на передний план этнологии и этносоциологии. Востребованность новой парадигмы и терминологии сорок лет тому назад не сразу была принята отдельными коллегами. Тем не менее парадигма, основы и понятие «идентичность», хотя не легко и далеко не сразу в конце концов прочно утвердились в понятийно-терминологическом аппарате этнологического знания. Целая серия публикаций М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой и В. А. Тишкова вместе с трудами их единомышленников стала столбовой дорогой по пути к созданию нового научного направления, которое вполне корректно можно назвать идентологией.

Подводя итоги исследованиям по социально-культурной антропологии, В. А. Тишков в заключительной главе «Диалог истории и антропологии» специальное внимание уделил, во-первых, «проблеме идентичности в истории и антропологии», как процессу конструирования значимых миров, во-вторых, «конструированию реальности через теорию», считая, что «история XX в. во многом создавалась интеллектуалами, причем не только в форме объяснительных описаний происходящего, но и в форме предписаний, что и как надо делать. И в этом смысле мы говорим не просто об ответственности историка, но и об его авторстве в истории, а значит, и о пользе или вреде его действий» [*Тишков* 2003: 507–508].

Важную роль в выявлении и актуализации этнического самосознания и идентичности в зигзагах этнической истории народов сыграли труды этносоциологов, этнографов и историков. Их публикации способствовали прочтению прежних, полузабытых страниц этнической истории народов, порождали стремление понять истоки, судьбу и будущее своих культур, языков, стратегий повседневной жизни.

* * *

В заключение отметим, что все перечисленные направления в рамках предметной области этносоциологии рождались в процессе работы над проектом «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР» (автор и руководитель Ю. В. Арутюнян). Еще раз хотелось бы уточнить, что речь шла именно о сближении, а не о слиянии народов

(наций). Это значит, что этносоциологи никогда не думали об уничтожении этнических особенностей и самобытности каждого народа, точно так же не занимались очернением фрагментов истории того или иного народа, как это делалось в работах некоторых радикально конструктивистских настроениях политологов.

Панорамное видение предметной области этносоциологии не только с «высоты птичьего полета», но и «из мышиной норы» убеждает в том, что этносоциологии, пожалуй, более адекватно, чем другим научным направлениям, видны перспективы исследований условий и факторов по реализации национальной политики, ориентированной на стабилизацию этнополитической и этнокультурной ситуации в стране и укрепление российской нации. Эта миссия, по сути, изначально была заложена в программе Ю. В. Арутюняна по проекту «Оптимизация социально-культурных условии развития и сближения наций в СССР» еще на рубеже 1960–1970-х гг. Отзвук ключевого слова «оптимизация» обернулся сегодня откликом в духе и в букве Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России (2014–2020 гг.)». Более чем через четыре десятилетия вместе с Л. М. Дробижевой Ю. В. Арутюнян остался верным своему посылу о больших аналитических возможностях этносоциологии: «В советский период этносоциология, если и не вскрывала все противоречия в этносоциальном пространстве общества, то, во всяком случае, глубже и конкретнее, чем другие научные дисциплины в этой сфере отражала реальные жизненные практики, в которых люди чувствовали свою этническую принадлежность» [*Арутюнян, Дробижева* 2010: 200]. В самом деле, в десятках коллективных и индивидуальных монографий, а также в сотнях статей читатели и политики могут находить ответы на волнующие вопросы, связанные с этносоциальными процессами в стране и за рубежом, в том числе с реализацией Федеральной целевой программы.

За более чем полувековой этап своего существования российская этносоциология прошла огромный путь [*Арутюнян, Дробижева* 2010; *Арутюнян, Дробижева* 2016; *Комарова* 2012], большинство ее достижений в советский период было связано с решением важных и актуальных задач, имеющих общегосударственное значение. Еще раз подчеркнем ее практическую направленность, выход на практические рекомендации и прогнозы. Обширный арсенал ее источников и методов исследования служит доказательством достоверности получаемой информации, обоснованности выводов. Несмотря на значимые успехи, отечественная этносоциология продолжает сталкиваться с проблемами, далекими от своего разрешения и поэтому требующими особого внимания ученых.

Хотелось бы также отметить, что подтверждением профессиональной зрелости коллектива этносоциологов ИЭА РАН могут служить, в частности, две организованные ими в последние годы конференции и три сборни-

ка статей, в которых приняли участие многие бывшие выпускники сектора конкретно-социологических исследований и новые когорты молодых ученых, вступивших на путь этносоциологии. Если в первом сборнике «Этносоциология и этносоциологи» [2008] участвовало 47 авторов, то во втором «Этносоциология вчера и сегодня» [2016] — 72, а третьем «Этносоциология: поиски и свершения» [2022] — 79, что свидетельствует о развитии этого научного направления, расширении научной тематики и исследовательского поля.

Источники и литература

Арутюнян Ю. В. Опыт социологического изучения села. М.: Изд-во МГУ, 1968. 104 с.

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения СССР. М.: Мысль, 1971. 374 с.

Арутюнян Ю. В. Трансформация постсоветских наций. М.: Наука, 2003. 205 с.

Арутюнян Ю. В. Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР. Программа, методика и перспективы исследования //Советская этнография. 1972, № 3, с. 3–18.

Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Многообразие культурной жизни народов СССР. М.: Мысль, 1987. 303 с.

Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Предмет этнической социологии // Арутюнян Ю. В. и др. Этносоциология. М., 1998. С. 8–26.

Арутюнян Ю. В. Дробижева Л. М. Этносоциология перед вызовами времени //Вехи российской социологии. 1950–2000-е годы. СПб.: Алетейя, 2010. С. 195–211.

Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Пройденные пути и некоторые проблемы современной российской этносоциологии //Этносоциология вчера и сегодня. М.: ИЭА РАН, 2016. 474 с.

Арутюнян Ю. В., Ковальченко И. Д. Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты исследования. М.: Наука, 1984. 253 с.

Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Сусоколов А. А. Этносоциология. Учебное пособие для вузов. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1998. 271 с.

Брук С. И., Губогло М. Н. Развитие и взаимодействие этнодемографических и этнолингвистических процессов в советском обществе //История СССР. 1974. № 4

Губогло М. Н. Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки М.: Наука, 2003. 764 с.

Губогло М. Н. Изменение этнодемографической ситуации в столицах союзных республик (по материалам переписей населения СССР) //Межнациональные отношения в современном мире. Серия А. 1992. № 32.

Губогло М. Н. Может ли двуглавый орел летать с одним крылом? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных отношений. М.: Рос. акад. наук. ЦИМО, 2000. 512 с.
Двадцать лет реформ глазами россиян /Под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, В. В. Петухова. М.: Весь мир, 2011. 328 с.
Денисова Г. С., Радовела М. Р. Этносоциология. Ростов-н/Дону: ЦВВР, 2000. 280 с.
Дробижева Л. М. Памяти Юрика Вартановича Арутюняна //Этносоциология вчера и сегодня. М.: ИЭА РАН, 2016. 474 с.
Казиев С. Советская национальная политика и проблемы доверия в межэтнических отношениях в Казахстане (1917–1991 гг.) Петропавловск, 2015. 208 с.
Казьмина А. Е., Пучков П. И. Основы этнодемографии. Учебное пособие. М.: Наука, 1994. 253 с.
Ковалевский М. М. Этнография и социология. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904. 35 с.
Козлов В. И. Динамика численности народов. Методология исследования и основные факторы. М.: Наука, 1969. 407 с.
Козлов В. И. Национальности в СССР. Этнодемографический обзор. М.: Финансы и статистика, 1982. 203 с.
Козлов В. И. Этническая демография. М.: Статистика, 1977. 239 с.
Комарова Г. А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии. М.: ИЭА РАН. 2012. 193 с.
Коростелев А. Д. Об этносоциологических и статистико-этнографических исследованиях //Этносоциология: поиски и свершения /Составители и отв. ред. Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. М.: ИЭА РАН, 2022.
Коротеева В. В. Экономические интересы и национализм. М.: Изд-во РГГУ, 2000. 250 с.
Костюк В. Г. Новосибирская школа этносоциологии //СоцИс. 2009. № 3. С. 89–93.
Курсом развивающейся Молдовы [сборник статей] / Российская акад. наук, Центр по изучению межэтнических отношений Ин-та этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Ин-т культур. наследия Акад. наук Респ. Молдова [и др.]; под общ. ред. М. Н. Губогло. Т. 6. М.: Старый сад, 2009. 448 с.
Малькова В. К. Образы этносов в республиканских газетах (опыт этносоциологического изучения. М.: ИЭ АН СССР. 1991. 183 с.
Малькова В. К. Этносоциология и СМИ // Этносоциология: поиски и свершения. М.: ИЭА РАН, 2022.
Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР. 1923–1939. М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. 855 с.

Мнацаканян Д. Нации и национализм. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 367 с.
Опыт этносоциологического исследования образа жизни: по материалам Молдавской ССР /отв. ред. Ю. В. Арутюнян. М.: Наука, 1980. 270 с.
Остапенко Л. В. Социальная мобильность в этнических группах: шансы на равенство //Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность /автор проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М.: Academia, 2002. С. 61–104.
Паин Э. А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. М.: Ин-т социологии РАН, 2004. 328 с.
Пименов В. В. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. М.: Наука, 1977. 262 с.
Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Предмет этносоциологии: опыт концептуализации // СоцИс. 2009. № 3 С. 93–101.
Русские. Этносоциологические очерки / отв. ред. Ю. В. Арутюнян. М.: Наука, 1992. 461 с.
Социально-культурный облик советских наций (по материалам этносоциологических исследований/ отв. ред. Ю. В. Арутюнян, Ю. В. Бромлей. М.: Наука, 1986. 453 с.
Социальное и национальное: опыт этносоциологического исследования по материалам Татарской АССР /отв. ред. Ю. В. Арутюнян. М.: Наука, 1973. 330 с.
Сусоколов А. А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию М.: SPSL — «Русская панорама», 2006. 446 с.
Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. 544 с.
Табеев Ф. А. (Первый секретарь Татарского обкома КПСС). Совершенствование партийного руководства хозяйственным строительством // Вопросы истории КПСС. 1971. № 1. С. 3–18.
Чуваши: современные этнокультурные процессы /отв. ред. В. В. Пименов. М.: Наука, 1988. 238 с.
Чумалов М. Ю. Каспийская нефть и межнациональные отношения. М.: ИЭА РАН 2000. — 560 с.
Этносоциология вчера и сегодня /Сост. и отв. ред. Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. М.: ИЭА РАН, 2016. 473 с.
Этносоциология и этносоциологи. Исследования, поиски, воспоминания / Сост. Н. А. Дубова, Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. М.: ИЭА РАН, 2008. 360 с.
Этносоциология: поиски и свершения. М.: ИЭА РАН, 2022.
Fishman J. A. Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective, Clevedon Piladelphia, 1989. 717 p.
Horowitz D. L. Ethnik Groups in Conflict. Berkeley, 1985. 697 p.

Глава 14. ИЗУЧЕНИЕ РАБОЧЕГО БЫТА И ГОРОДСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Ответ этнографии на социально значимые проблемы

Отвечая на потребу дня, границы предметной области советской этнографии были заметно расширены в 1950-е годы. О произошедшем в этот период повороте к современной тематике уже говорилось в предыдущих разделах. Отметим, что несмотря на всё более активное использование социологической методологии в изучении текущего времени, нет оснований полагать, что социология полностью поглотила этнологию современности. Многие социально значимые проблемы развития общества продолжали и продолжают исследоваться в отечественной науке о народах с опорой на этнографический метод. Безусловно в мире злободневной тематикой с середины XX в. стало изучение индустриальных обществ [см., например: *Токарев* 1967]. Заметен был возрастающий интерес к исследованию населения государств с развитой экономикой в зарубежной социальной и культурной антропологии. Бизнес-антропология или антропология бизнеса, модное направление, спроецированное на изучение производства, стало развиваться на Западе, в частности в США, еще в 30-е годы XX века [См., например: *Браун, Крамер* 2018]. К исследованию рабочего класса в эти же годы обратился крупнейший шведский этнолог Сигурд Эриксон, который в своих поздних работах писал, что «народная жизнь есть социальная жизнь» [*Erixon* 1957].

Что касается отечественной науки, и в частности, этнографии, то она не могла находиться в стороне от изучения «социалистического быта и культуры», этнографов призывали содействовать «строительству социализма». Один из главных социалистических лозунгов — «Слава труду!» воплощался в жизнь и учеными. В самых разных партийных и правительственных документах подчеркивалась значимость трудового человека для страны и ее будущего. Поэтому люди труда должны были оказаться в фокусе исследования науки, ориентированной на человека. Как писала московский этнограф В. Ю. Крупянская на страницах журнала «Вопросы истории», «Советская наука выдвинула этнографическое изучение рабочего класса как одну из наиболее важных и актуальных проблем» [*Крупянская* 1960: 40].

Собственно, трудовая деятельность человека всегда была объектом этнографического изучения, но традиционно оно фокусировалось на сельском населении, крестьянстве и его занятиях. Уступкой времени, ответом на «установки партии и правительства» были так называемые «колхозные монографии» (среди них труды московских этнографов Л. А. Анохиной, М. Н. Шмелевой, Г. С. Масловой, Л. Н. Чижиковой, И. Г. Борозной, с 1970-х

годов — И. В. Власовой, В. А. Липинской, А. В. Сафьяновой, А. А. Лебедевой, С. И. Дмитриевой и многих других). Но этого оказалось недостаточно. Как известно, концепция создания социалистического общества ставила во главу угла рост промышленного потенциала страны и провозглашала ведущую роль рабочего класса, его значимость в социально-экономическом развитии человечества, подъеме материального благосостояния людей. Нельзя было не учитывать воплощавшийся в жизнь курс страны на индустриализацию. Он был взят во время первой пятилетки, продолжен в последующие годы и оказался не менее значимым в послевоенный период восстановления «народного хозяйства». При этом, несмотря на идеологизированность задач по изучению современного общества, многие научные подходы отечественных этнографов того периода выглядят не только своевременными, но вполне научными и даже новаторскими.

Понимание, что в этнографических исследованиях нельзя ограничиваться только сельским населением, стало приходить к отечественным ученым уже в 1920-е-1930-е годы. Доля рабочих в структуре населения страны увеличивалась, урбанизация приводила к распространению городского образа жизни, постепенно менялась бытовая культура. Эти факторы, логика развития науки, наряду с причинами идеологического и политического характера, влияли на то, что, как писали О. Р. Будина, М. Н. Шмелева, «в сферу изучения попали социальные слои населения, не привлекавшие ранее внимания этнографов» [*Будина, Шмелева* 1977: 21]. Книги, изданные в первые десятилетия советской власти, являются ценным источником для понимания культуры рабочих того периода, содержат в т. ч. и этнографический материал [см., например: *Кабо* 1928 или серию сборников, изданных по инициативе М. Горького «История заводов и фабрик»: *Горький* 1959], но не являются еще собственно этнографическими исследованиями.

Вместе с тем, о зарождении новых направлений в этнографии свидетельствует факт разработки нескольких программ для сбора сведений о быте рабочих, которые были опубликованы в 20-е-30-е годы небольшими тиражами в местных издательствах. Так, Этнологической станцией Костромского научного общества по изучению местного края была составлена «Программа по изучению быта рабочих» [Программа 1929]. Авторы ориентировались на исследование производственного, домашнего и общественного быта рабочих. В программе уделялось внимание разделению рабочих на группы (старые кадры рабочих, вновь поступившие, молодежь, женщины и т. д.), взаимоотношениям в коллективе между разными категориями трудящихся, в частности, между потомственными рабочими и выходцами из крестьян, между женщинами и мужчинами, отношение к работе, отдых во время работы, прием пищи, рабочая одежда, фольклор и язык труда и др. [Программа 1929: 2–8]. Анкеты, заполненные рабочими или со слов рабочих, хранятся в архиве Костромского музея-заповедника [Костромской 1930; *Нестеренко* 2010].

В Нижне-Волжском областном научном обществе краеведов было разработано два вопросника: «Производство и быт. Обследование предприятий» и «Бурлачество по Волге и другим рекам. Собирание сведений». В первой из них акцент сделан на производственном фольклоре, языке труда, рабочей одежде, а также на собственно производстве (орудия труда, изготовляемая продукция, квалификационные характеристики рабочих. Вторая программа интересна тем, что направлена на изучение довольно специфической социальной группы — бурлаков. Автор программы Ф. Родин включил в анкету вопросы об артельной организации и о взглядах на систему ценностей [*Советов, Родин* 1925]. Упомянем также тематическую программу на белорусском языке, разработанную белорусскими учеными и направленную на изучение социальных аспектов жизни рабочих, их культуры и быта [*Касьпярович* 1930]. Были составлены и другие программы. Собранные по ним данные — кладезь эмпирического материала о разных сторонах жизни рабочих в первые годы советской власти.

Отметим, что акцент в программах, быть может не умышленно, был сделан на социальных отличительных чертах представителей рабочего класса, а не на этнических. Правда, и исследования проводились, как правило, в моноэтничных коллективах. Кстати, такой подход, несмотря на господствовавший в то время в этнографии этноцентризм, проявлялся при изучении быта рабочих и в последующие годы. Например, чувашский ученый В. П. Иванов в работе, посвященной современной городской семье, в 1979 г. сформулировал свой взгляд следующим образом: «Различия, существующие между горожанами, в основном обусловлены не фактом их принадлежности к той или иной национальности, а разным социально-экономическим и культурно-образовательным уровням городских жителей» [*Иванов* 1979: 134]. Ю. В. Бромлей в книге «Современные проблемы этнографии писал: «Выступая в послевоенные годы по существу пионерами в деле изучения современного образа жизни, культуры и быта, советские этнографы, естественно, стремились охарактеризовать все стороны, все компоненты этих явлений, не разграничивая их этнических и социальных функций. Между тем хорошо известно, что многие параметры образа жизни (например, уровень материального быта, образования, обеспеченности средствами массовой информации и т. д.) являются важнейшими показателями социального развития общества» [*Бромлей* 1981: 359]. Перед учеными всё более активно ставал вопрос, какие именно аспекты современной жизни составляют предмет изучения этнографии.

От эмпирики к теории

Теоретические концепции этнографического исследования городского, точнее несельского населения начали разрабатываться в 1950-е годы и были

продолжены в следующих десятилетиях. В 1951 г. [*Залеский* 1955], затем в 1957 г. в Институте этнографии были проведены совещания о задачах и методике этнографического изучения рабочих. По их результатам группой под руководством В. Ю. Крупянской составлена специальная программа, на основе которой в последующие годы собирался полевой материал в разных регионах страны [*Крупянская* 1960: 41]. Параллельно на страницах «Советской этнографии» развернулась дискуссия о том, какие сферы жизни и деятельности рабочих может и должна изучать этнография. Методологические и методические проблемы этнографического изучения современного рабочего класса стали предметом специального обсуждения на годичной научной сессии Института этнографии АН СССР 1972–1973 гг. [Методологические 1974]. Не вызывало особых сомнений, что этнографы должны исследовать быт и культуру рабочих, их семейную и общественную жизнь. Но не столь однозначным виделся вопрос о производственной жизни трудящихся. Автор одной из статей Н. В. Юхнева, на тот момент молодой ленинградский ученый, в 1975 г. утверждала, «что особенности производственной жизни рабочих зависят от традиций, свойственных разным национальным, локальным или профессиональным группам. Производственная жизнь рабочих разных стран до настоящего времени имеет свои особенности, сравнительное исследование которых может дать дополнительные штрихи к этническим характеристикам» [*Юхнева* 1975: 18]. Т. е. отечественные этнографы в 70-х годах прошлого века отмечали необходимость изучения хозяйственной жизни в условиях разных культур.

О глубине исследований свидетельствует тот факт, что этнографами обсуждались концептуальные вопросы подхода к теме, в т. ч. и само определение предмета исследования. Так, в книге коллектива петрозаводских этнографов, посвященной рабочим лесной промышленности и содержащей раздел о производственной жизни (автор — В. В. Пименов), говорится, что: «Под производственным бытом мы подразумеваем: во-первых, характерные производственные навыки, необходимые рабочим для пользования орудиями труда и эксплуатации средств производства, а также способы приобретения этих навыков; во-вторых, формы организации труда; в третьих, бытовые условия труда (производственно-защитная одежда, медицинское и культурное обслуживание рабочих на производстве, организация питания и прочее) и, в-четвертых, устойчивые формы поведения рабочих на производстве» [Верхний Олонец 1964: 9–10].

Н. В. Юхнева, в целом соглашаясь с определением В. В. Пименова, замечает, что понятия «производственная жизнь» и «производственный быт» не равнозначны. Быт, по мнению исследовательницы, — составная часть образа жизни, трудовая деятельность является частью «образа жизни» [*Юхнева* 1975: 20]. Показательно, что предмет дискуссии для нее не в самом понятийном аппарате, а в том, «подлежит ли изучению этнографии что-ли-

бо еще, кроме одежды и пищи («быта» в узком смысле) на производстве» [*Юхнева* 1975: 20]. Как пишет автор, «этнографическому изучению подлежит производственная жизнь, как компонент образа жизни, а не только производственный быт, как компонент быта». Под производственной жизнью она понимает «все виды взаимоотношений на производстве» (с оговоркой, что их не следует смешивать с производственными отношениями, категорией социально-экономической), с «окружающей их материальной средой и между собой, а также отражение того и другого в сознании».

Для Н. В. Юхневой «производственная жизнь — это, во-первых, материальная сторона труда: производственная среда, орудия труда и способы работы, бытовые условия труда (одежда, питание во время работы и т. п.). Это, во-вторых, обстоятельства, характеризующие труд как социальное явление: пути формирования изучаемой группы рабочих, ее внутренняя дифференциация, взаимоотношения между людьми в процессе производства, приобретение профессии, отношение к труду, взаимовлияние производственной и домашней жизни, а также устойчивые формы поведения и связанная с производством общественная деятельность. И, в-третьих, производственная жизнь включает некоторые элементы духовной культуры — профессиональные обычаи, традиции, производственный фольклор, систему ценностей, связанную с производством» [*Юхнева* 1975: 20].

Теоретические подходы к изучению жизни рабочего класса разрабатывались в московской части Института этнографии АН СССР довольно интенсивно, одновременно с этим шел сбор эмпирического материала. С 1960–1970-х гг. к рабочей теме в головном институте обратились сотрудники сектора восточнославянских народов Н. С. Полищук, О. Р. Будина, С. Б. Рождественская. Этнографией русского города с 1960-х гг. занимались Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева, позднее — О. Р. Будина. При этом исследователи отмечали, что невозможна разработка вопроса этнографического изучения города и его населения без обращения к особенностям протекания социально-этнических процессов в семейно-бытовой среде национального рабочего класса.

В 1950-е-1970-е гг. проводились многочисленные этнографические исследования, охватывавшие разные аспекты жизни рабочих. Как отмечали О. Р. Будина и М. Н. Шмелева в своей статье об этнографическом изучении города, «изучались промышленные рабочие, объединенные как в крупные, так и в небольшие трудовые коллективы, представляющие самые разнообразные отрасли промышленности. Территориально предприятия, в которых велись исследования, были расположены и в крупнейших индустриальных центрах страны, и в городах средних и небольших размеров, и в сельской местности. Иногда проводилось изучение быта и культуры целого района, для которого была характерна данная отрасль промышленности, определяющая его хозяйственно-экономические и культурно-бытовые особенности» [*Будина, Шмелева* 1977: 23].

Этнографическое изучение быта и культуры рабочих было одновременно начато в разных республиках страны, тем самым накапливались эмпирические данные в этнокультурном срезе. В упомянутых статьях В. Ю. Крупянской в «Вопросах истории» и О. Р. Будины и М. Н. Шмелевой, опубликованной на страницах «Советской этнографии», перечислены работы того времени, написанные по результатам проведенных исследований.

> «Русский рабочий класс в его прошлом и настоящем изучался в Москве и Ленинграде, в Московском угольном бассейне, на Урале, в Горьковской области [*Чебоксаров* 1950; *Гусев* 1956; *Гуськова* 1958; *Крупянская* 1953; *Крупянская* 1958; *Маслова, Станюкович* 1960; *Труфанов* 1963; *Герасимова* 1963]. Украинские этнографы проводили работы в крупных промышленных районах — в Донбассе и Прикарпатье, а также в Киеве и Львове [*Куницкий* 1953; *Куницкий* 1958; *Шевченко* 1954; *Приходько* 1964; *Фиголь* 1961; *Гошко* 1967; *Мазюта* 1969]. Быт белорусских рабочих исследовался на ряде предприятий Минска, а также среди сельскохозяйственных рабочих [*Иванов* 1959; *Иванов* 1961]. Культура и быт рабочих Грузии изучались как в старых горняцких районах — на Чнатурских марганцевых рудниках, в Тквибульском каменноугольном бассейне, так и на предприятиях, возникших за годы Советской власти, — на Касинском цементном заводе, Кутаисском автомобильном заводе им. Серго Орджоникидзе и др. [*Робакидзе* 1953; *Акаба* 1960; *Джавахишвили* 1971]. Рабочий класс Азербайджана был представлен исследованием, посвященным культуре и быту нефтяников Баку [*Трофимова* 1953, *Трофимова* 1963]. В республиках Прибалтики изучение рабочего быта проводилось среди рабочих текстильной промышленности, на опытно-бумажном комбинате и на старейших металлообрабатывающих заводах [*Даниляускас* 1962]. В Карелии был изучен Верхний Олонец— поселок лесорубов и близлежащие села, составляющие единый микрорайон [Верхний Олонец 1964]. Ряд исследований, посвященных рабочему классу республик Средней Азии, велся в возникших в советское время крупнейших промышленных центрах Туркмении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также в центре традиционного кустарного текстильного промысла — Маргилане (УзССР) [*Анаклычев* 1961; *Мамбеталиева* 1963; *Морозова* 1969; *Курбангалиева* 1966]. Изучение быта рабочих-нефтяников в новом промышленном районе проводилось и в Татарской АССР [*Уразманова* 1968]» [*Будина, Шмелева* 1977: 23–24]. В дальнейшем они также были продолжены в Калмыцкой АССР [*Таванец* 1981] и Коми АССР [*Белорукова* 1973; *Белорукова* 1974].

На прикладную роль многих исследований обратил внимание в 1980-е годы, в частности, В. В. Пименов. Научно-практические задачи, по его словам,

> «явилась одним из важнейших мотивов проведения серии массовых этнографических обследований в пределах Урало-Поволжской и Северной историко-этнографических областей (в Удмуртии в 1968 и 1979–1980 гг., в Мордовии в 1973 г., в Чувашии в 1981—-1982 гг., в Марийской АССР

в 1984 г., в Калмыкии в 1985 г., в Башкирии в 1986 г.). Кроме названных обследований, осуществленных Институтом этнографии АН СССР совместно с местными научно-исследовательскими центрами, проведены массовые обследования силами региональных научных центров, а также отдельных молодых ученых (изучение культуры и быта карелов, вепсов и коми, поселений и жилищ сельского населения в Мордовии, сельских поселений в Удмуртии и т. д.). В 1987–1988 гг. предстоит массовое этнографическое обследование в Татарии» [*Пименов* 1986: 9].

Пласт охваченных вниманием ученых вопросов был очень разнообразен. Многие исследования носили комплексный характер, в других же случаях объектами анализа становились отдельные элементы производственной жизни, например, орудия и процесс труда (инструменты шахтеров Донбасса, способы добычи руды тагильскими горняками, работа карельских лесорубов и др. [*Закса* 1955, *Пименов* 1963, Верхний 1964, *Юхнева* 1972]); бытовые условия труда, в т. ч. рабочая одежда и питание на производстве; режим работы и уклад жизни [*Анохина, Шмелева* 1977]; социальная сторона формирования групп рабочих и профессиональных коллективов [*Рождественская* 1968]; процесс складывания заводских поселков и новых городов на их основе; выработка профессиональных традиций и сохранение традиционных черт культуры в производственной среде; дифференциация производственного коллектива по культурно-бытовым особенностям; престижность и непрестижность должностей; взаимосвязь отношений на производстве, дома и в семье [*Полищук* 1963]; приобретение профессии, отношение к труду, удовлетворенность работой; роль семьи в профессионализации; общественная деятельность; устойчивые формы поведения, духовная культура, обряды и производственный фольклор [*Гельгардт* 1962; *Полищук* 1963; *Полищук* 1994]; материальная культура [*Маслова, Станюкович* 1960]; язык труда; этнокультурные особенности производственной жизни и многое другое [*Юхнева* 1975: 25–29].

В ходе исследований этнографами были выработаны теоретические подходы к проблеме и на основе анализа эмпирических данных сделаны научные выводы. Например, интересно заключение о том, что производственная одежда не всегда носит утилитарный характер, но и является отличительным признаком той или иной группы. Еще одно наблюдение касалось влияния производства на некоторые привычки человека, которые вырабатываются не только у него, но и у членов семьи [*Юхнева* 1975: 22]. Ученые в экспедиционных отчетах и публикациях отмечали влияние быта рабочих на живущих в соседних селах крестьян и тот факт, что у них раньше, чем у жителей непромышленных районов появляются городские формы культуры (городская одежда, изменения в жилище и т. д.) [*Крупянская* 1960: 42; *Коган* 1967; *Коган* 1975].

Этнография города и изучение современности

Вместе с наращиванием масштаба и углублением теоретических подходов в этнографических исследованиях рабочего класса в науке приходило понимание необходимости расширения границ предметной области в т. ч. и за счет охвата других социальных групп городского населения. В изучении современности постепенно складывалось направление этноурбанистики или этнографии города. Как верно отметили О. Р. Будина и М. Н. Шмелева, «обращение к „рабочей" проблематике стало для советской этнографии этапным, но ограничение исследований по городу сферой быта главным образом промышленных рабочих всё же приводило к искусственному сужению темы, а в ряде случаев и к некоторой односторонности суждений» [*Будина, Шмелева* 1977: 25–26].

Город и городское население в целом были включены в сферу этнографических исследований наиболее интенсивно со второй половины 1960-х гг. Одновременно этот процесс шел и в мировой науке. Определенным стимулом для развития данного направления в СССР стало проведение в Москве в 1964 г. крупнейшего научного форума — VII Международного конгресса антропологических и этнологических наук (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences — IUAES), где звучала мысль о необходимости поворота науки в сторону городской тематики. Несколько советских ученых, среди которых были Э. Л. Нитобург, В. В. Покшышевский, Д. Д. Тумаркин, Я. Г. Машбиц, М. Г. Рабинович выступили с докладами, посвященными социальным процессам, происходящим в связи с урбанизацией. На вопросах методики изучения современных изменений в жизни и быте сельского и городского населения сфокусировали внимание В. Ю. Крупянская (доклад «Культура и быт рабочих как предмет этнографической науки»), а также зарубежные ученые Х. Гандева (Болгария, «Успехи изучения современного быта в социалистических странах Европы»), К. Квашневский (Польша, «Роль этнографии в изучении современности»). Этнографии современности были посвящены и доклады К. Фойтика (Чехословакия, «Некоторые проблемы и итоги этнографического изучения Готвальдовской области»), В. Николаича (Югославия, «Этнографическое изучение социалистического преобразования Колумбарского горнорудного бассейна Сербии») и др. [*Аверкиева*, *Чебоксаров* 1964: 136]. Проблемы изучения городского населения и городской культуры обсуждались на симпозиуме «Этнография города и промышленного поселка». Специальная секция была посвящена «прикладной этнографии», где также затрагивались вопросы исследования современности и возможности использования этнографических знаний для решения практических задач [*Аверкиева*, *Чебоксаров* 1964: 136].

Разработка городской проблематики сопровождалась поиском тем, подходов и методов исследования. Весной 1977 г. в Москве состоялась все-

союзная конференция, посвященная вопросам методологии и методики этнографического изучения современности, где также обсуждались проблемы координации работы этнографов в масштабе всей страны и тема связи конкретных исследований с практикой [*Полищук* 1977]. Ю. В. Бромлей в своих публикациях и выступлениях планируя тематику будущих исследований подчеркивал, что «среди сформулированных в документах съезда основных задач, стоящих перед общественными науками, немало таких, которые непосредственно касаются этнографии» [*Бромлей, Тер-Саркисянц* 1981: 3]. Работая в русле поставленных партией и правительством задач, несмотря на предопределенную идеологическую направленность, ученые, вместе с тем, открывали для себя новые нюансы при штудировании привычных сюжетов и убеждались, что «в городе остается довольно широкое поле деятельности для этнографа» [*Будина, Шмелева* 1977: 30]. О. Р. Будина и М. Н. Шмелева отмечали важность «духовного аспекта» в исследованиях современности. Они считали актуальным также рассмотрение особенностей формирования городского населения. По их словам,

> «...изучение процесса адаптации отдельных групп приезжего населения в условиях города, взаимодействия их между собой и коренным (местным) населением на различных этапах современности в моноэтнической или в полиэтнической средах позволяет выявить многие моменты эволюции современной бытовой культуры народов, понять «механизм» складывания общих черт и сохранения групповых особенностей, сохранения, трансформации, отмирания или возникновения народных традиций под воздействием урбанизации т широких и разнообразных этнических и межсоциальных контактов. С этим аспектом тесно связан и другой — изучение города с точки зрения этнографических особенностей отдельных групп городского населения, отличающихся социальными признаками и специфическими чертами быта — социально-бытовых групп. Выявление совокупности общих и особенных признаков в культуре и быту этих групп и дает представление об этнографических аспектах образа жизни многообразного городского населения в целом» [*Будина, Шмелева* 1977: 30].

Отметим, что один из основателей советский географии населения, этногеограф и экономикогеограф В. В. Покшишевский, последние 20 лет своей жизни работавший в Институте этнографии, на основании данных переписей населения проанализировал этнический состав жителей столиц союзных и автономных республик, долю в них «коренного народа», русских и «соседних народов», давал некоторые практические рекомендации по регулированию этого фактора [*Покшишевский* 1969: 8]. Ученый сделал вывод о том, что при быстром индустриальном росте региона приток русского населения как бы «перекрывает» стягивание коренного населения в его «национально-этнический центр», при более замедленном росте экономики доля коренного народа в населении оказывается более высокой [*Покшишевский* 1969:

12–13]. Помимо анализа демографических данных в качестве дальнейшего направления исследований В. В. Покшишевский предлагал привлекать сведения о языке и языковой ассимиляции, статистику школьной сети о языках и этническом составе учащихся, материалы о фактическом распространении периодических изданий и книг на разных языках и т. п.

На страницах «Советской этнографии» он писал, что «при изучении процессов, происходящих в городах, необходимо исследовать такие явления, как двуязычие, культурные взаимозаимствования, а также механизмы сближения наций через школу, печать, радио и т. д.» [*Покшишевский* 1969: 4]. По его мнению, об объективном ходе этнических процессов можно судить через показатели посещения национальных театров, тиражи периодических изданий и книг на национальных языках, обороты книг в национальных библиотеках, численность учащихся в национальных школах (всё это — в отношении к численности в городах населения коренной национальности) и т. п. [*Покшишевский* 1969: 5]. Как считал исследователь, «следует изучить и проблему предпочтения, отдаваемого отдельными национальностями и даже этнографическими группами определенным занятиям, о большей или меньшей легкости приобретения ими производственных навыков и профессиональной подготовки и, соответственно, о возможностях вовлечения их в те или иные отрасли, представленные в: городах, и т. п.» [*Покшишевский* 1969: 15]. Далее В. В. Покшишевский отметил, что «здесь создается важный стык собственно-демографических и этнографических показателей с целым комплексом характеристик, которые могут быть получены лишь в результате конкретных социологических исследований».

Надо сказать, что о разграничении предметного поля истории, этнографии, социологии, демографии размышляли и другие ученые, в том числе научные лидеры. Так, академик Ю. В. Бромлей и социолог с мировым именем О. И. Шкаратан видели в этом методологическую проблему, заключающуюся в установлении взаимосвязи между общим, особенным и единичным. В статье «О соотношении истории, этнографии и социологии» и других выступлениях Ю. В. Бромлеем выдвинуто определение особенностей этнографического подхода к изучению современности, согласно которому «этнографический подход к изучению общества предполагает прежде всего рассмотрение единичного лишь как базиса для выявления особенного, как носителя информации об этом особенном [*Бромлей, Шкаратан* 1969: 10, 18; см. также *Бромлей* 1977]. При этом ученые отмечали, что взаимодействие наук, изучающих общество, не остается неизменным, поскольку «определение предметной области любой науки — исторически непрерывный процесс, вызываемый общественными потребностями» [*Бромлей, Шкаратан* 1969: 4]. Они сформулировали свое видение отличительных особенностей методов этнографических исследований.

> «Методика этнографических исследований значительной мере предопределена их предметом, тем, что этнография изучает не только прошлое, но на-

стоящее народов. С этим связана большая роль в этнографических исследованиях материалов, полученных о современном населении в ходе специальных полевых экспедиций, включая широко распространенный метод непосредственного наблюдения. Важное значение имеет ретроспективный метод; большие возможности его приложения связаны тем, что этнические особенности, изучаемые этнографией, отличаются высокой степенью устойчивости, поэтому сведения современных народах могут широко использоваться для реконструкции их этнического прошлого. Этнография базируется также на данных письменных, археологических других самых разнообразных источников. Вообще следует подчеркнуть, что поскольку познавательные задачи этнографии требуют исследования не какой-либо одной конкретной сферы жизни народов, а всех сфер, в которых находит проявление этническая специфика, постольку этой науке присущ комплексный подход применение многообразных приемов изучения общества, созданных различных науках» [*Бромлей, Шкаратан* 1969: 6–7].

Далее Ю. В. Бромлей и О. И. Шкаратан высказали мысль о том, что расширение исследовательского поля ведет к привлечению новых методик:

«Всё более активный переход этнографической науки к исследованию народов современных промышленно-развитых стран уже сам по себе предполагает применение в дополнение к традиционным методам непосредственного наблюдения методик, разработанных в социологической и психологической науках специально для нужд анализа взаимоотношений людей в современном обществе…Сочетание же этнографии с сопредельными науками при изучении современности приводит к формированию научных зон, выходящих за рамки исторической науки. Это обусловлено уже указанным выше особым подходом этнографии к современности, отличающим ее от истории, но зато тесно сближающим с конкретной социологией» [*Бромлей, Шкаратан* 1969: 17–18].

О. И. Шкаратан, переехавший из Ленинграда в Москву и работавший по приглашению Ю. В. Бромлея в 1980-х гг. в Институте этнографии, активно разрабатывал тему урбанистики, индустриальной социологии, этносоциологии, расширив тем самым (наряду с группой под руководством Ю. В. Арутюняна, Л. М. Дробижевой и др., см. об этом главу по этносоциологии) рамки этнически ориентированных исследований современности. Изучение влияния этнических факторов на процессы модернизации производства осуществлялось сотрудниками отдела общих проблем (среди них Л. С. Перепелкин, А. М. Коршунов, М. Ю. Мартынова) под руководством О. И. Шкаратана в Татарии, Узбекистане, Эстонии и др. регионах. Некоторые результаты масштабного исследования были изложены в коллективной монографии «НТР и национальные процессы» [*Шкаратан* 1989]. Эмпирические показатели характера труда и внепроизводственной деятельности, проблемы развития этносоциальных групп, общее и этнически особенное в воспроизводстве социальной структуры горожан, в городском образе жизни раскрываются так-

же в книге под редакцией О. И. Шкаратана «Этносоциологические проблемы города» (авторы А. А. Сарно, В. И. Пароль, А. М. Коршунов, Л. С. Перепелкин, Г. В. Старовойтова, А. И. Гинзбург, Гришаев А. И. и др.) [*Шкаратан* 1986]. Сам О. И. Шкаратан свою заслугу видел в том, что он «не занимается абстрактной теорией, а изучает реальное положение дел в нашей стране» [Как развивалась 2009].

Уместно также отметить, что, завершая свои размышления на страницах журнала «Советская этнография», Ю. В. Бромлей и О. И. Шкаратан подчеркнули, что

> «этнографические исследования тесно взаимодействуют отнюдь не только с историческими и социологическими. Специфика предмета этнографии приводит тому, что у нее нет „зон", разделов знания, которые не пересекались бы какой-либо из смежных наук, позволяющих углубить познание этнически особенного. Поэтому, наряду с историко-этнографическим, этнографо-социологическим, в ней существуют другие научные направления, являющиеся результатом пересечения этнографии географией, лингвистикой, психологией, антропологией и т. д.» [*Бромлей, Шкаратан* 1969: 18].

Действительно, перечисленные сферы знания, а также и некоторые другие, активно разрабатывались в отечественной этнографии в последней четверти XX в. Вместе с тем, как можно увидеть даже при беглом знакомстве с работами того периода, исследования с применением этнографического метода, написанные этнографами-классиками, занимают достойное место в историографии по теме современности. В 1981 г., подводя итоги работе Института этнографии в прошедшие 5 лет, Ю. В. Бромлей и А. Е. Тер-Саркисянц (в то время ученый секретарь ИЭ) писали, что «ни сама этносоциология, ни характерные для нее методы не могут заменить собственно этнографические исследования современности». По их мнению,

> «прежде всего это относится к изучению образа жизни народов, их бытовой культуры и соответственно культурно-бытовых процессов. В минувшую пятилетку вышло в свет немало публикаций, посвященных выявлению этнического своеобразия современного образа жизни, бытовой культуры и этнокультурных процессов у народов СССР» [*Бромлей, Тер-Саркисянц* 1981: 6].

Список опубликованных трудов по актуальным направлениям ввиду его объема нет возможности привести в данной главе. Скажем лишь, что об их востребованности и высокой оценке властью свидетельствует факт присуждения Государственной премии СССР авторам коллективной монографии «Современные этнические процессы в СССР», изданной дважды — в 1975 и 1977 гг. и содержащей итоги комплексного этнографического изучения этнокультурных процессов, проходивших в стране в изучаемый период [Современные этнические 1975].

Источники и литература

Аверкиева Ю. П., Чебоксаров Н. Н. К итогам работы VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук // Вопросы истории, 1964, № 12. С. 131–139.

Акаба Л. Х. Материалы о быте рабочих-абхазов Ткварчели // Труды Абхазского ин-та языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа. Выпуск XXXI. Сухуми: Изд-во АН Грузинской ССР, 1960. С. 49–68.

Аннаклычев Ш. Быт рабочих-нефтяников Небит-Дага и Кум-Дага (историко-этнографический очерк). Ашхабад, 1961.

Анохина Л. А., Шмелева М. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем (на примере городов Калуга, Елец, Ефремов). М.: Наука, 1977. 359 с.

Белорукова Г. П. К изучению лесных рабочих Коми АССР // Новое в этнографических и антропологических исследованиях: (Итоги полевых работ Института этнографии в 1972 году). М., 1974. Ч. 2. С. 86–95.

Белорукова Г. П. Лесные рабочие Коми АССР: (этнокультурные процессы) // Советская этнография. 1973. № 5. С. 29–39.

Браун Д., Крамер И. Чему антрополог может научить топ-менеджера. Альпина-паблишер, 2018. 248 с.

Бромлей Ю. В. К вопросу об особенностях этнографического изучения современности // Советская этнография, 1977, № 1. С. 19–30.

Бромлей Ю. В., Тер-Саркисянц А. Е. Этнографическая наука в десятой пятилетке // Советская этнография, 1981, № 3–25.

Бромлей Ю. В., Шкаратан О. И. О соотношении истории, этнографии и социологии // Советская этнография. 1969. № 3. С. 3–19.

Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981. 392 с.

Будина О. Р., Шмелева М. Н. Этнографическое изучение города в СССР // Советская этнография, 1977, № 6. С. 21–31.

Верхний Олонец — поселок лесорубов. Опыт этнографического описания / Акад. наук СССР. Петрозавод. ин-т языка, литературы и истории / отв. ред. К. В. Чистов /авт.: В. В. Пименов, Р. Ф. Тароева, З. Н. Кельсеева, У. С. Конкка, Т. И. Вяйзенен, В. И. Ильина. М. – Л.: Наука, 1964. 195 с.

Гельгардт Р. Р. О сравнительном изучении рабочего фольклора // Советская этнография, 1962, № 5. С. 3–14.

Герасимова В. И. Из опыта этнографического изучения рабочего класса на ленинградских заводах «Красный выборжец» и «Красногвардеец» // Советская этнография. 1963. № 2. С. 126–129.

А. М. Горький и создание истории фабрик и заводов: Сборник документов и материалов в помощь работающим над историей фабрик и заводов СССР. Москва: Соцэкгиз, 1959. 363 с.

Гошко Ю. Г. Громадський побут робітників Західної України (1920–1939). Київ, 1967.

Гусев В. Е. Из опыта этнографического изучения рабочих старых заводов Южного Урала (по материалам экспедиций Челябинского пединститута в 1952–1953 гг.) // Ученые записки Челябинского гос. педагогического ин-та. 1956. Т. I. Вып. 1. С. 57–68.

Гуськова Т. К. Некоторые этнографические особенности населения б. Нижне-Тагильского горнозаводского округа в конце XIX — начале XX века // Советская этнография, 1958, № 2. С. 36–37.

Даниляускас А. К вопросу об изучении культуры и быта литовских рабочих (по материалам фабрики «Нямунас» Рокишкского района) // Советская этнография, 1962, № 5. С. 41–47.

Джавахишвили Г. Н. Быт и культура шахтеров Ткибули: диссертация ... кандидата исторических наук. Тбилиси: Мецниереба, 1971. 130 с.

Закса А. Б. Труд и быт рабочих Донбасса // Историко-бытовые экспедиции 1951–1953 гг. Материалы по истории пролетариата и крестьянства России конца 19 — начала 20 века / под общей ред. Панкратовой А. М. Труды Государственного исторического музея. М.: Госкультпросветиздат, 1955. 221 с.

Залеский А. И. Об изучении быта рабочего класса СССР // Вопросы истории, 1955, № 5. С. 24–31.

Иванов В. П. О некоторых этнографических аспектах изучения современной городской семьи Чувашской АССР // Современные этнические процессы в Чувашской АССР. Чебоксары: Изд. ЧНИИ, 1979. С. 29–43.

Иванов У. М. Риси нового в побуті робітників Радянської Белоруси // Журнал «Народна творчість та етнографія», 1959, № 1.

Иванов У. М. Современный быт рабочих города Минска (историко-этнографическое исследование на материалах железнодорожного узла, завода «Большевик», завода им. Октябрьской революции, радиозавода и тракторного завода). Автореферат канд. дис. Акад. наук УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. Киев: б. и., 1961. 21 с.

Кабо Е. О. Очерки рабочего быта: Опыт монографического исследования домашнего быта. Том I. М.: книгоиздательство ВЦСПС, 1928. 290 с.

Как развивалась социология в СССР. Беседа с социологом Овсеем Шкаратаном // аналитический портал Полит.ру [Электронный ресурс]. 29/07/2009. URL: Как развивалась социология в СССР. Беседа с социологом Овсеем Шкаратаном — аналитический портал ПОЛИТ.РУ (polit.ru)

Касьпярович В. Вывучэньне быту рабочих // «Наш край», 1930, № 1 (52). Менск: Цэнтральнага Бюро Краязнауства пры Інстытуце Беларускае Культуры. С. 14–24.

Коган Л. Б. Связи городского населения с сельским как проблема этнографии города // Советская этнография, 1967, № 4. С. 40–50.

Коган Д. М. Особенности быта сельского населения, работающего в городе: (по материалам городов средней полосы РСФСР) // Советская этнография. 1975. № 6. С. 71–78.

Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. КОК 40649. Черновик отчета Е. Полянской «О методах и формах по изучению быта рабочих». Кострома, 1930. Л. 1.

Крупянская В. Ю. Опыт этнографического изучения уральских рабочих второй половины XIX в. // Советская этнография, 1953, № 1. С. 15–22.

Крупянская В. Ю. К вопросу о проблематике и методике этнографического изучения советского рабочего класса // Вопросы истории. 1960. № 11. С. 40–49.

Крупянская В. Ю. Этнографическое изучение рабочего класса // Вопросы истории. 1961 № 11. С. 47–49.

Крупянская В. Ю. Вопросы этнографического изучения быта рабочих // Этнографическое изучение быта рабочих. По материалам отдельных промышленных районов СССР / отв. ред. В. Ю. Крупянская. М.: Наука, 1968. С. 3–12.

Крупянская В. Ю. Некоторые аспекты этнографического изучения рабочих (на основе русского материала) // Краткие сообщения Института этнографии. Вып. 29. М.: Наука, 1958. С. 3–10.

Крупянская В. Ю., Полищук Н. С. Культура и быт рабочих Горнозаводского Урала (конец XIX — начало XX в.). М.: Наука, 1971. 290 с.

Крупянская В. Ю., Юхнева Н. В. Методологические и методические проблемы этнографического изучения современного рабочего класса // «Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР, 1972–1973. 23–26 июля 1974 г.». Л.: Наука, 1974.

Куницкий А. С. Социалистический быт рабочих Ворошиловградского завода им. Октябрьской революции. Автореф. канд. дис. Киев: Акад. наук Укр. ССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии, 1953. 16 с.

Куницкий А. С. К вопросу о методике этнографического изучения рабочих Украины // Краткие сообщения Института этнографии. Вып. 29. М.: Наука, 1958. С. 11–23.

Курбангалиева Р. Быт и культура рабочих-узбеков шелковой промышленности Маргилана (историко-этнографический очерк). Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук / АН УзССР. Ин-т истории и археологии. Ташкент: [б. и.]. Ташкент, 1966. 24 с.

Мазюта М. А. Быт рабочего класса Советского Закарпатья (историко-этнографическое исследование). Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. (576) / АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. Киев: б. и., 1969. 26 с.

Мамбеталиева К. Быт и культура шахтеров-киргизов каменноугольной промышленности Киргизии. Фрунзе, 1963.
Маслова Г. С., Станюкович Т. В. Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX — начало XX в.) // Труды Института этнографии АН СССР. Т. 57. М.: Наука, 1960. С. 72–171.
Морозова А. С. Опыт изучения рабочего класса Казахстана (по материалам экспедиции Гос. музея этнографии народов СССР, 1959 г.) // Советская этнография, 1969, № 6. С. 17–28.
Нестеренко Н. Н. Жилищные условия рабочих г. Костромы (по материалам обследования быта рабочих Этнологической Станции Костромского Научного Общества) // Рабочие — предприниматели — власть в конце XIX — начале XX в.: социальные аспекты проблемы. Материалы V Международной научной конференции Кострома, 23–24 сентября 2010 года в 2 ч. / отв. ред., сост. А. М. Белов. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. Ч. II. Разд. IV. [Без стр.]
Пименов В. В. Производственный быт лесорубов Карелии // Советская этнография», 1963, № 4. С. 46–55.
Пименов В. В. Прикладные аспекты этнографии: тенденции и проблемы // Советская этнография, 1986, с. 3–12.
Покшишевский В. В. Этнические процессы в городах СССР и некоторые проблемы их изучения // Советская этнография, 1969, № 5. С. 3–15.
Полищук Н. С. О некоторых новых чертах коллективного отдыха горняков и металлургов Нижнего Тагила // Советская этнография, 1963, № 4. С. 35–45.
Полищук Н. С. Обычаи фабрично-заводских рабочих Европейской России, связанные с производством и производственными отношениями (конец XIX начало XX века) // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 73–90.
Полищук Н. С. Всесоюзная конференция по вопросам этнографического изучения современности // Советская этнография, 1977, № 6. С. 104–112.
Приходько М. П. Житло робкніків Донбасу. Київ: Наукова думка, 1964. 107 с.
Программа по изучению быта рабочих. Составители Л. Китицына и В. Смирнов. Кострома: Этнологическая станция Костром. науч. о-ва, 1929 (гос. типо-лит.»Красный печатник»), 1929. 18 с.
Робакидзе А. И. Некоторые стороны быта рабочих Чиатурской марганцевой промышленности. Тбилиси: Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1953 [вып. дан. 1954]. 62 с.
Рождественская С. Б. История формирования и современный состав рабочих коллективов Горьковской области (на материалах заводов «Красное Сормово», Выксунского металлургического и Ново-Горьковского нефтеперерабатывающего) // Этнографическое изучение быта рабочих.

По материалам отдельных промышленных районов СССР. Отв. ред. В. Ю. Крупянская. М.: Наука, 1968. С. 37–59.

Советов М., Родин Ф. Программы этнографического изучения производства; 1. Производство и быт. Обследование предприятий; 2. Бурлачество по Волге и другим рекам. Собирание сведений / Сост. М. Советовым и Ф. Родиным. [Саратов]: Учвод Сарр-на, [1925]. 16 с.

Современные этнические процессы в СССР / [Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, Т. В. Жданко и др.]; [Ред. коллегия: Ю. В. Бромлей (отв. ред.) и др.]; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 1975; 2-е изд. М.: Наука, 1977. 542 с.

Таванец С. Д. Формирование многонациональных трудовых коллективов и их роль в сближении социалистических наций (на примере рабочего класса Калмыцкой АССР в условиях развитого социализма) // Всесоюзная конференция «Этнокультурные процессы в современном мире»: Краткие тезисы докладов и сообщений, май 1981 г. Элиста, 1981. С. 44–46.

Токарев С. А. О задачах этнографического изучения народов индустриальных стран // Советская этнография», 1967, № 5. С. 133–142.

Трофимова А. Г. Бакинские рабочие-нефтянники: (Опыт этногр. изучения культуры и быта рабочих Орджоникидзев. района г. Баку): Автореферат дис., представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Акад. наук СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва: [б. и.], 1953. 14 с.

Трофимова А. Г. Типы поселения и жилища бакинских рабочих-нефтяников // Советская этнография, 1963, № 4. С. 56–71.

Труфанов И. П. Опыт этнографического изучения рабочих ленинградского завода «Электросила» им. С. М. Кирова (по материалам этнографического исследования 1961–1962 гг.) // Советская этнография. 1963. № 4. С. 157–165.

Уразманова Р. К. Особенности формирования и основные черты быта рабочих нефтяников татар Юго-Востока Татарии // Этнографическое изучение быта рабочих. По материалам отдельных промышленных районов СССР. Отв. ред. В. Ю. Крупянская. М.: Наука, 1968. С. 96–118.

Фиголь Д. І. Комуністичні риси у виробничому і громадському побуті робітників м. Львова // Народна творчість та етнографія, 1961, № 1. С. 17–21.

Чебоксаров Л. Н. Этнографическое изучение культуры и быта московских рабочих. Очерк первый. Производственная жизнь // Сов. этнография, 1950, № 3. С. 107–122.

Шевченко Л. И. Социалистические преобразования в культуре и быте рабочих Кролевецкой ткацкой артели им. 20-летия Октябрьской революции // Советская этнография, 1954, № 4. С. 142–147.

Шкаратан О. И. (отв. ред.). НТР и национальные процессы. М.: Наука, 1987. 247 с.
Шкаратан О. И. (отв. ред.). Этносоциологические проблемы города. М.: Наука, 1986. 284.
Юхнева Н. В. Производственная жизнь рабочих как предмет этнографического изучения // Советская этнография. 1975, № 1. С. 18–30.
Юхнева Н. В. Традиционные способы труда при добыче железной руды в Нижнем Тагиле в первой четверти XX в. // Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР. Л., 1972. С. 14–15.
Этнографическое изучение быта рабочих. По материалам отдельных промышленных районов СССР. Отв. ред. В. Ю. Крупянская. М.: Наука, 1968. 207 с.
Erixon S. Technik und Gemeinschaftsbildung in schwedischem Traditionsmilieu. Stokholm, 1957.

Глава 15. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЕ В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВЕТСКОГО НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА

В теоретической рамке, выстроенной в последние десятилетия, Советский Союз являлся империей позитивного действия. Он не только формировал единую советскую идентичность, но развивал национальные идентичности в федеративных республиках [*Мартин* 2011]. С одной стороны, все данные процессы были непосредственно связаны с работой музеев [*Андерсон* 2001; *Hirsch* 2005]. С другой, большую роль здесь играла и этнографическая наука [*Мартин* 2011; *Хирш* 2022; *Соловей* 2022]. Однако в музейной антропологии [*Гринько* 2019; *Гринько* 2021] остается открытым вопрос, насколько оба этих института синхронизировали свою деятельность в данных процессах, и насколько работа музеев в данном направлении была отрефлексирована профессиональным этнографическим сообществом.

По этой причине важно оценить, насколько советское этнографическое музееведение было включено в вышеуказанные процессы нациестроительства. В свете последних публичных дискуссий о взаимоотношениях науки и музеев [Что скрывает экспонат 2022], подобное исследование может иметь не только теоретическое, но и практическое значение из-за перманентной мифологизации данной тематики.

Для этого планируется сопоставить музейную и этнографическую теорию с практическими задачами, ставившимися и возникающими перед музеями. В качестве основного источника для данного исследования были выбраны материалы журнала «Советская этнография», печатного органа Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Данная источниковая база уже привлекалась исследователями для анализа отдельных советских институтов [*Досмурзинов* 2017; *Надыршин* 2021]. В нашем случае был проведен контент- и дискурс-анализ упоминаний музейной тематики в журнале с 1946 по 1991 гг. Также для сравнительного анализа были привлечены советский учебники по музейному делу и отдельные музейные путеводители данного периода.

В последние годы наблюдается интерес к анализу взаимоотношений музеев и этнографии в Советском Союзе [*Аброськина* 2019; *Дмитриев* 2012; *Петряшин* 2021a; *Петряшин* 2021b], однако, как правило рассматриваются либо отдельные аспекты этих взаимоотношений, либо их эволюция в рамках одного музея, либо более ранние периоды [*Ананьев* 2020]. Вместе с тем показательно, что в последних работах, посвященных советскому нациестроительства исследователи не фокусируются на музеях [*Аманжолова, Дроздов, Красовицкая, Тихонов* 2021], хотя в целом, профессиональное сообщество согласно с тезисом, что

«этнографический музей служил экспертам и администраторам важной площадкой по выработке и пропаганде нарратива о трансформации Российской империи в Советский Союз — нарратива, делавшего акцент на развитии народов СССР под эгидой советской власти» [*Хирш* 2022: 14].

Количественный анализ

Всего было проанализировано 237 номеров «Советской этнографии» (далее — СЭ), в которых зафиксировано 15584 упоминаний музеев (и производных от слова «музей»). Медианное значение упоминаний в одном номере равняется 71, среднее — 65,7, что говорит об отрицательной асимметрии распределения.

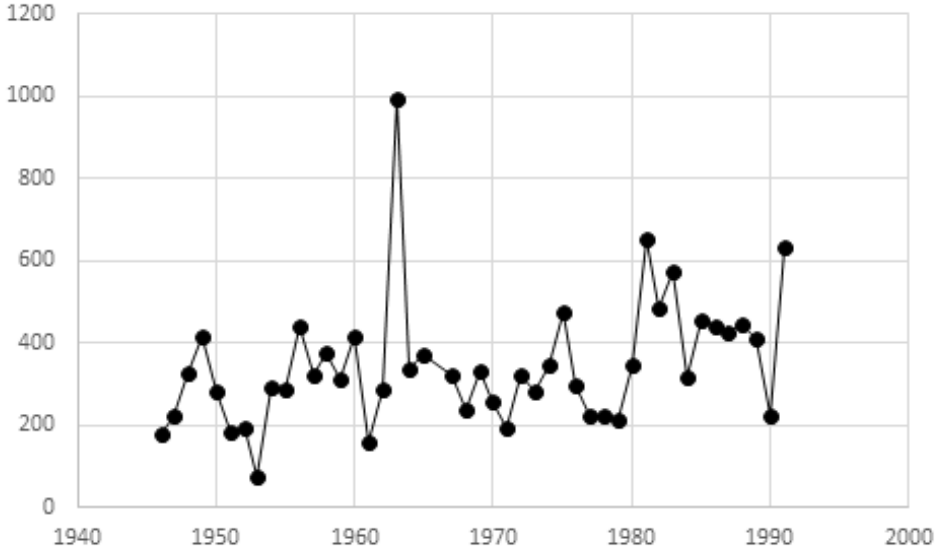
Из диаграмм видно наличие нескольких пиков интереса к музейной тематике. Такое резкое изменение количества упоминаний музеев связано с самыми различными внутренними (тематика исследований) и внешними (постановления партии и правительства) факторами. Например, рост числа упоминаний музеев после 1954–1955 гг. связан в первую очередь с некоторым ростом международного академического туризма, неотъемлемой частью которого являлось посещение музейных экспозиций. Пик 1964–1965 гг., возможно, связан с подготовкой и изданием НИИ музееведения справочника «Этнографические коллекции в музеях СССР» [Этнографические коллекции 1964] и публикацией как информационных, так и критических материалов [*Лебедева* 1965], посвященных состоянию, хранению и экспонированию коллекций. Публикации о новорожденных музеях под открытым небом, появляющихся как грибы в 1970-е гг., могут объяснить еще один пик 1975 г. Нарастание академических контактов и мировой музейный бум в 1980-х гг., и теоретический тупик, с которым столкнулись многие этнографы, заставили даже не связанных напрямую с музеями исследователей обратить внимание на музееведение.

Однако, прежде всего, надо учитывать, что наиболее частые варианты обращения к музейной тематике носили не содержательный, а технический характер. Здесь можно выделить четыре большие группы упоминаний музеев в материалах «Советской этнографии».

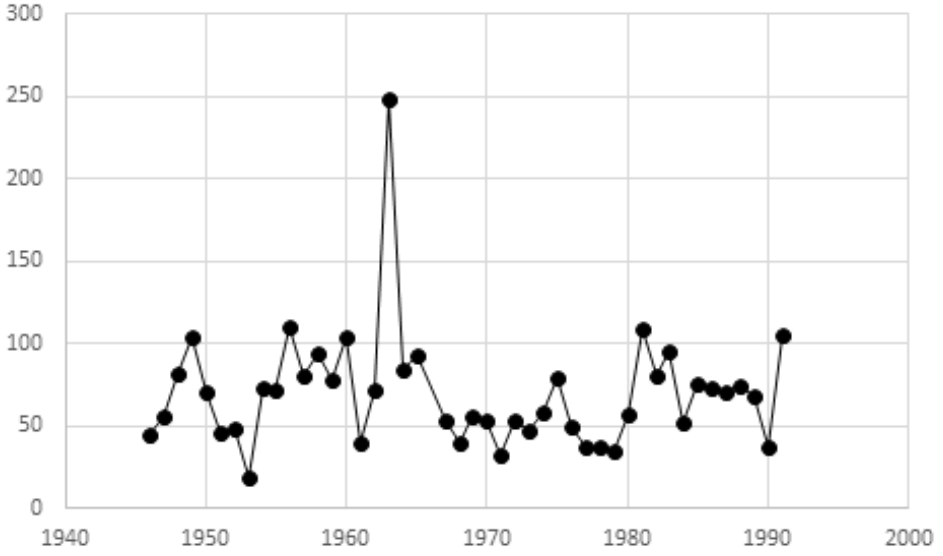
— *институциональный* (указание места работы авторов, участников профессиональных мероприятий или указание на музеи, как научные центры). В этом блоке упоминания музеев как мест работы без подробностей регулярно можно увидеть в некрологах в рубрике In memoriam среди перечисления заслуг покойного. Во всяком случае, с мертвыми музейными сотрудниками во всем блеске их научного признания читатель СЭ на страницах журнала встречается едва ли не чаще, чем с живыми.

— *источниковый* (отсылки к местам хранения этнографических объектов, упоминаемых в исследованиях).

Количество упоминаний музеев по годам



Среднее количество упоминаний в номере



— *«академический туризм»* (краткий пересказ так называемой обязательной «культурной программы», упоминаемой в научных отчетах после посещения научной конференции, симпозиума или стажировки в другом городе / стране, свидетельствующая о добросовестности командируемых сотрудников. Если музеи не упоминались, в большинстве случаев в месте командировки их просто не было, как, например, участникам

сессии, посвященной итогам полевых археологических и этнографических исследований 1972 г., пришлось довольствоваться докладами председателя колхоза «Узбекистан» Пост-Даргомского района, секретаря райкома, концертом узбекской народной музыки и комсомольской свадьбой [*Семашко, Соколова* 1973]).

— *ежегодные данные по посещаемости МАЭ*, публикуемые в отчетах Института этнографии, где, с 1970-х гг., как заклинание, повторяется цифра о полумиллионе посетителей («Видную роль в пропаганде этнографической науки и этнографических знаний, играет, как и прежде, Музей антропологии и этнографии, который за 1972 год посетило около полумиллиона человек» [*Басилов* 1973: 162]).

Технические упоминания, особенно первый и два последних блока, выглядят максимально ритуализированными.

В качестве примера можно привести № 6 за 1969 г., который хронологически расположен в середине описываемого периода. В журнале насчитывается 56 упоминаний музеев, которые распределяются следующим образом:

- 15 при описании этнографической науки в Польше, в следующем контексте: «Возникают частные и публичные этнографические коллекции, открываются первые этнографические музеи: в. Варшаве (1888), Кракове (1911)» [*Кутшеба-Пойнарова* 1969: 44]);
- 3 отсылки к источникам (перемещения коллекции А. М. Остроухова);
- 11 институциональных упоминаний в статье, посвященной XI научной конференции Государственного этнографического музея Эстонской СССР;
- 3 институциональных отсылки в статье к юбилею С. А. Токарева;
- 8 отсылок к источникам в рецензии на книгу «Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву»;
- 3 в названиях научных трудов в списке новой литературы по народам Кавказа;
- и только 5 (10% всех упоминаний) в тематической статье о выставке современного японского искусства [*Арутюнов, Джарылгасинова* 1969].

Таким образом, интерес к музейной тематике трудно назвать высоким. Косвенно это подтверждается и такими источниками, как материалы Рабочего оргкомитета VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук, на котором из общего числа докладов «48% по разделу общей этнографии, 28% — по региональной этнографии, 20% — по антропологическим секциям и 4% — по музейным секциям» [*Якимова* 1963: 136].

Журнал и музейщики: ожидания и реальность

В начале 1950-х гг. этот факт публично признавался руководством Института этнографии:

«... В то же время влияние журнала на местных работников недостаточно. Журнал не освещает критически деятельность местных организаций — музеев, научных институтов, не руководит ими последовательно и целеустремленно» [*Першиц* 1953: 195].

Очевидно, что необходимо делать скидку на традиции академических покаяний, характерных для данного периода [*Крих* 2020], однако это не означает полного отсутствия проблемы. Тем более, что подобная критика так или иначе возникала до начала 1990-х гг., причем носила обоюдный характер:

«К. В. Чистов призвал сотрудников ГМЭ считать журнал органом не только Института этнографии АН СССР, но и всех советских этнографов, обратил их внимание на слабое участие музейных работников в журнале; так, в нем публикуется мало статей по теории и методике этнографического музееведения, скудна информация о новым экспозициях, передвижных выставках, истории этнографических музеев. Сотрудники ГМЭ, несмотря на свой богатый экспедиционный опыт, не опубликовали ни одной статьи, посвященной национальным проблемам, теории и практике современной обрядности, они не участвуют в дискуссиях, проводящихся в журнале».

«Далее выступавшая (О. М. Фишман — *авт.*) отметила, что на страницах журнала недостаточно освещена работа ГМЭ, проводимая им по музееведению. Музей мог бы предложить статьи по вопросам каталогизации, по комплектованию фондов, по методике полевой работы» [*Молотова* 1988: 152–153].

Данная проблема касалась не только СЭ, исследователи музейной этнографии даже в 1980-х гг. жаловались на тот факт, что «исследований, посвященных музейной проблематике, пока крайне мало. Мало работ и по истории этнографического музееведения» [*Разгон* 1983: 109] или «Число работ, посвященных этой проблематике, сравнительно невелико» [*Станюкович, Чистов* 1981: 24]. А музейные сотрудники сетовали на то, что «не хватает информации по вопросам музейной работы. Особенно велика потребность в методических пособиях и рекомендациях» [*Молотова* 1982].

Ситуация несколько изменилась после 1983 г., когда в журнале появляется рубрика «Этнография в музеях», что, по всей видимости, было спровоцировано Постановлением ЦК КПСС «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев», принятом в августе 1982 г. Однако, как видно из статистики, кардинально на количество тематических публикаций и упоминаний это не повлияло. Но, во всяком случае, этнографическое музееведение и музейное краеведение обрело собственную трибуну, хотя какой-либо стратегии или плана публикаций проследить не удалось.

Если переходить к анализу содержательных форматов рефлексии над музейной проблематикой, то надо отметить, что форматы представления менялись в зависимости от конкретного периода.

«Решения партии и правительства и итоги пятилетки»: задачи этнографического музееведения

В первую очередь, стоит обратить внимание на те задачи, которые формулировались перед этнографическим музееведением. Например, в конце 1940-х гг. они звучали следующим образом:

> «а) всесторонний показ Северо-Осетинской АССР как части нашей страны (ее природа, история, экономика, культура и быт, а также участие населения в Великой Отечественной войне), в основном — на подлинном музейном материале: вещевом, документальном, художественно-изобразительном и пр.;
>
> б) содействие развитию производительных сил республики путем отображения в экспозиции местных природных богатств и возможностей их практического использования;
>
> в) воспитание граждан в духе советского патриотизма, в духе марксистско-ленинского мировоззрения и повышение их общего культурного уровня. В экспозиции особое внимание уделяется развитию истории экономических, политических и культурных связей осетинского народа с великим русским народом» [*Калоев* 1950: 239–240].

Несмотря на то, что подобные задачи формулировались на региональном уровне, они вполне отвечали общесоюзной повестке. Этнографическое сообщество в данном случае не было полностью согласно с подобным подходом, и со множеством оговорок пыталось указать на то, что

«Трактуя музей как научно-просветительское учреждение и рассматривая политико-просветительскую пропаганду как его важнейшую функцию, советские этнографы подчеркивали необходимость отражения в музеях своеобразия этнических культур народов, населяющих СССР. При этом ставка делалась на экспонирование подлинных вещей, подчеркивающих своеобразие традиционной культуры» [*Потапов* 1951: 13].

Важно отметить, что обсуждение этого принципиального вопроса происходило по касательной в работах, посвященных другим проблемам. Первая специализированная публикация по данной проблематике, — редакционная статья, озаглавленная «Задачи этнографического музееведения», появилась только в начале 1960-х гг., и в ней использовались практически те же формулы:

> «Советские этнографические музеи, как и этнографические отделы исторических и, особенно, краеведческих музеев призваны играть и играют крупную роль в развитии советской этнографической науки и способствуют широкой популяризации научных и политических знаний, коммунистическому воспитанию трудящихся» [Задачи 1963: 7].

Встречного движения со стороны музейной сферы практически не наблюдалось, если в 1955 г. было разработано «Положение о мемориальном

музее», а в 1956 г. — «Положение о художественных музеях, картинных и художественных, галереях, музеях изобразительных искусств системы МК РСФСР», то об этнографических музеях и экспозициях аналогичных документов так и не появилось. Аналогичным образом в книге «Основы советского музееведения» [Основы 1955] не было даже отдельной главы об этнографических музеях, хотя подобной чести удостоились исторические, мемориальные и естественно-научные музеи. Возможно, это было связано с тем состоянием, в котором находились этнографические музеи в конце 1940-х — начале 1950-х гг.:

> «Неумение связать показ этнографических материалов с выполнением этих требований приводило к закрытию этнографических отделов, к ликвидации этнографической работы. В настоящее время этнографический материал в большинстве краеведческих музеев свернут и в экспозиции не используется, собирательская работа в области этнографии почти не ведется, так как музейные работники недоучитывают значения этнографического материала как исторического источника» [*Галкина* 1949: 179]; «немногочисленные историко-этнографические музеи, которые должны быть базой для работы этнографов, находятся в запущенном состоянии» [*Ганцкая* 1954: 160].

При этом кризис краеведения в некоторых случаях напрямую связывался с отказом от этнографической работы: «Краеведческие музеи захирели, так как этнография, изучение людей, населяющих данную территорию, устранена из экспозиции» [Этнографическое совещание 1956: 125], что довольно актуально и сегодня.

В 1970-е гг. подобная дихотомия в задачах этнографических музеев и экспозиций сохранялась. С одной стороны, признавалось, что «музейная и краеведческая работа играют большую идеологическую и культурно-воспитательную роль» [XXIV Съезд 1971: 7], с другой, представители этнографического сообщества пытались обратить внимание на тот факт, что «музеи должны способствовать сохранению предметов материальной культуры и росту научно-просветительной работы в этнографии» [*Стродс* 1972: 25–26].

Если конкретизировать запросы от учредителя, то перед музеями, в том числе и этнографическими, ставились следующие задачи:

> «1) шире развернуть деятельность музеев по коммунистическому воспитанию трудящихся;
> 2) пропагандировать итоги и решения XXIV съезда КПСС;
> 3) показывать роль партии, роль местных партийных организаций;
> 4) отражать рост культуры и благосостояния народа;
> 5) освещать итоги 8-й и задачи 9-й пятилеток;
> 6) организовать передвижные выставки на селе и т. д.» [*Фараджев* 1972: 170].

Как видно, задачи по работе с «советской нацией» или «нациями» в официальной повестке не стояли. Если музеи и упоминались в контексте «культурно-исторической общности», то совсем вскользь:

> «Сближению советских социалистических наций и народностей способствуют единые всесоюзные системы просвещения, здравоохранения, учреждения культуры... Музеи, библиотеки, театры... используются всем населением нашей страны» [*Гурвич* 1972: 31].

В лучшем случае дело сводилось к констатации факта, что музеи играют определенную (второстепенную) роль «в процессе консолидации народов страны, в повышении степени их внутренней сплоченности» [*Бромлей, Козлов* 1975: 7], однако нюансы этой роли оставались для читателя за кадром. Иногда упоминались и довольно подробно разбирались специфические задачи этнографических музеев, например, «атеистическое воспитание трудящихся» [*Бутинова* 1973], в том числе посредством введения в экспозицию подлинных предметов, рассказывающих о «ранних формах религии», например, знахарстве и шаманизме, или «выработка и распространение новой обрядности» [*Крывелев* 1977], которые отчасти можно рассматривать в контексте советского конструктивистского дискурса, но это было скорее исключением, нежели правилом.

После принятия новой Конституции в 1977 г. риторика несколько изменилась, однако снова глобальные цели и задачи формулировались довольно абстрактно:

> «Составляемые этнографами историко-этнографические атласы, как и деятельность этнографических и историко-краеведческих музеев нашей страны, обеспечивают сохранность этих культурных ценностей и их использование в интересах повышения культурного уровня советских людей, воспитания их в духе интернационализма» [Конституция 1978: 14].

Тем не менее относительно регулярно обсуждались и более локальные научные задачи музеев:

> «Проведение музеями работ по научной паспортизации старых коллекций, сбору и приобретению новых коллекций, тщательно подобранных и документированных» [*Бусыгин, Зорин* 1958: 110]; «Музеи ... могут оказать немалую помощь в развертывании работы по изучению современной культуры и быта» [*Александров* 1962: 15].

При том, что сотрудники ГМЭ на страницах «Советской этнографии» время от времени декларировали претензии музея стать методическим центром этнографического музееведения в силу того, что это самый крупный этнографический музей СССР, однако журнальные публикации

практически не дают возможности оценить качество подобной методической работы — не публикуются программы стажировок, отзывы участников и т. п. Так, сообщение об опыте работы ГМЭ по оказанию помощи музеям Северо-Запада и пропаганде этнографических данных, «которую Музей оказывает местным краеведческим и национальным республиканским музеям (в аннотировании и атрибуции экспонатов, оформлении экспозиций и т. п.) — в Старой Ладоге, Лодейном Поле, Сыктывкаре, Кижах и др.» [*Старовойтова* 1975: 147], стажировках сотрудников этих музеев в ГМЭ, было сделано сотрудницей самого ГМЭ.

Несомненная и важная заслуга ГМЭ в конце 1970-х — начале 1980-х гг. — инициирование и проведение в разные годы конференций, научных сессий, совещаний посвященных этнографическим проблемам современности, хранению и комплектованию фондов, вопросам этнографического музееведения [*Молотова* 1978; *Молотова* 1982] с массовым участием коллег из союзных республик, а также уже упоминавшейся читательской конференции журнала «Советская этнография» в 1988 г. Но в целом для теоретического и прикладного этнографического музееведения гораздо более значимы критические труды Т. В. Станюкович (МАЭ) и К. В. Чистова [*Станюкович, Чистов* 1970; *Станюкович, Чистов* 1981], требующие отдельного монографического осмысления.

Удивительно, но в изучаемый период после 1956 г. ни редакторов, ни авторов журнала СЭ практически, за редчайшим исключением, не волновали две парадоксальные, с точки зрения здравого смысла, ситуации: 1) отсутствие этнографического музея в Москве, столице полиэтничного государства, [*Толстов* 1956: 13] и экспонирование немногочисленных имеющихся этнографических коллекций или предметов в соответствии с принципами художественного музея; 2) хранение и регулярное пополнение за государственный счет, в том числе посредством экспедиций обширных и интереснейших коллекций по народам СССР в МАЭ, который их принципиально самостоятельно почти не экспонировал, за редким исключением [*Станюкович* 1974], и слабые связи между двумя крупнейшими в стране этнографическими музеями в г. Ленинграде.

Таким образом, исходя из представленных формулировок, можно сделать несколько промежуточных выводов. Ключевым из них будет признание того факта, что никакого системного обсуждения использования музеев, в том числе и этнографических, для работы по формированию советской нации и отдельных практически не велось.

Скорее здесь можно говорить о той борьбе, которая велась за определение ключевой функции музеев практически весь советский период [Музей и власть 1991]: пропаганда и воспитание советских граждан или сохранение наследия и научная работа. По понятным причинам, этнографическое сообщество больше тяготело именно ко второму варианту.

Советский образ жизни: содержание этнографических экспозиций

Следующей после задач по важности темой должна была быть тема этнографических экспозиций — то есть основного инструмента по решению сформулированных задач. Именно она оставалась «наиболее дискуссионной и сложной проблемой» [*Баранова* 1981: 25] для отечественного этнографического музееведения на весь указанный период.

Показательно, что первые специализированные теоретические статьи появились только в начале 1960-х гг. [*Чепелевецкая* 1962; *Маковецкий* 1963; *Ионова* 1963], до постановления ЦК КПСС от 12 мая 1964 г. «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся», что можно расценивать и как наличие внутренней мотивации в этнографическом сообществе к решению наиболее актуальных этнографических вопросов.

Вероятнее всего, сложность и дискуссионность были связаны с априорной противоречивостью задач, стоящих перед этнографическими музеями, или, если быть конкретнее, между сиюминутными идеологическими задачами и изначальной предметной природой музея [*Хирш* 2022]. С точки зрения музейного проектирования, здесь было две ключевые трудности. Первая — дисбаланс в зрительной ценности:

> «Историческая часть строилась на самобытном вещевом этнографическом материале, а в разделе по современности преобладали фотодокументы, таблицы, карты и другие зрительно менее выразительные экспонаты» [*Баранова* 1981: 25].

Вторая — однородность экспонатов по современному периоду:

> «К тому же процесс нивелировки национальных форм быта обуславливает неизбежную повторяемость однородного общесоветского материала в разделах по современности» [*Баранова* 1981: 25; *Сазонова* 1963].

ГМЭ подробно рассказывал о проектируемых экспозициях, посвященных праздникам и обрядам народов СССР из-за «необходимости отражения в экспозиции изменений в духовной культуре народов СССР», при этом предполагая «показать те современные праздники и обряды, которые имеют устоявшиеся ритуалы и достаточно яркое материальное и этническое выражение» [*Грусман, Яглинская* 1977: 70]. Это позволяет увидеть в таком подходе, как минимум, непреднамеренную экзотизацию экспозиции, которая шла и по другим каналам, например, СМИ [*Шевцова, Гринько* 2019; *Гринько, Шевцова* 2017]. Полагая задачей советской этнографической науки «изучение отличительных черт советского образа жизни», коллектив ГМЭ

«выбирает для изучения те аспекты советского образа жизни, которые могут найти отражение в первую очередь в экспозиционных материалах», то есть «исторически сложившиеся формы хозяйственной деятельности, отдельные элементы системы жизнеобеспечения советского образа жизни, духовная культура, традиции» [*Грусман, Яглинская* 1982: 88–89].

По большей части, всё, что, по мнению сотрудников музея, не вписывается в эту рамку, всё, что нельзя «показать музейными средствами», остается за бортом изучения, собирательства и показа. При этом экспозиционеров волнует «процесс активного взаимодействия национальных культур и сложения интернациональной общесоветской культуры» [*Грусман, Яглинская* 1982: 93].

Никакого решения этой дилемме найдено так и не было. Вариант, предложенный ГМЭ на страницах «Советской этнографии», по сути отличался лишь техническим разделением двух хронологических элементов:

«Суть его сводится к тому, что прошлое показывается в монографических экспозициях по отдельным народам или группам родственных в историко-культурном отношении народов, а современный этап — в обобщенных тематических экспозициях. Дореволюционному периоду посвящены экспозиции: „Русские“, „Украинцы“, „Белорусы“, „Молдаване“, „Эстонцы“, „Латыши“, „Литовцы“, „Армяне“, „Грузины“, „Азербайджанцы“, „Туркмены“, „Казахи“, «Народы Поволжья и Приуралья» (7 народов), „Ненцы“, „Эвенки“. Политической основой, логическим началом или завершением любой экскурсии по музею служит экспозиция „СССР — братский союз равноправных народов“. Она построена на „плоскостных“, постоянно обновляющихся материалах» [*Баранова* 1981: 32].

При этом, подобный подход изначально не задумывался как образец для краеведческих музеев:

«Выработанные приемы являются оптимальными для современного центрального этнографического музея. Мы подчеркиваем — центрального, не считая их единственно возможными для других этнографических и тем более краеведческих музеев» [*Баранова* 1981: 32].

Соответственно, его методологическая ценность была не очень высока. Кризис концептуальных идей, как и в современном музейном деле, пытались смягчить за счет технических инноваций:

«...В музейных собраниях и экспозициях всё больше возрастает роль документальной фотографии, кинофильма и различных технических средств. Уже ни у кого не вызывает сомнений, что современный музей не может обойтись без аудиовизуальных средств» [*Баранова* 1981: 32].

Или человеческого фактора:

> «Все эти виды демонстрации могут быть объединены и оживлены пояснениями опытного экскурсовода, умеющего варьировать текст своего рассказа в зависимости. от состава посетителей» [*Станюкович, Чистов* 1981: 34].

На уровень ниже, при формировании отдельных элементов экспозиции, изменений было еще меньше, их общая структура практически не менялась с 1940-х годов:

> «Схема построения всех экспозиций в основном едина. Каждой из них предпослан краткий вводный раздел, показывающий основные этапы этнической истории данного народа. Затем следуют материалы, характеризующие главные хозяйственные занятия сельского населения, ремёсла и промыслы, материальную и духовную культуру, торговлю и промышленность» [*Студенецкая* 1981: 170].

Дефицит актуальных экспозиционных решений вынуждал обращать пристальное внимание на зарубежный опыт, например, японский:

> «Расположение экспонатов полностью подчинено решению дизайнера. Внешние свойства каждого предмета великолепно обыграны, чему способствует цвет панелей, на которых экспонируются вещи, сочетание рассеянного и направленного света. Пояснительные тексты и этикетки практически отсутствуют и, по мнению сотрудников ГМЭ, не нужны, так как задерживают поток посетителей... Основная цель экспозиции Национального музея этнологии состоит в том, чтобы дать посетителю возможность перешагнуть через национальный барьер, перестать ощущать чужую культуру как не свою. Большая часть экспонатов расположена так, чтобы посетители могли их свободно касаться и можно было играть на музыкальных инструментах и т. д.» [*Дмитриев* 1978: 164–165].

Необходимо отметить, что подобное описание сопровождалось важным уточнением: «Цель весьма благородная, но осуществляется она методами, неприемлемыми для советского музееведения» [*Дмитриев* 1978: 165]. Обращали внимание и на идеи из стран социалистического блока: «Для нее (выставки — *авт.*) характерен комплексный метод подачи материала: фотографии и другие плоскостные элементы (тексты, статистические данные, этикетки с конкретными сведениями о каждом предмете) не просто иллюстрировали вещи из музейных коллекций, а органически сочетаясь с ними, углубляли и развивали тему» [*Кармышева* 1980: 142].

Иногда в СЭ публиковались заметки об этнографических выставках, посвященных народам мира: так выставка о народах Океании привлекла внимание использованием бинарных оппозиций, как основного структурно-

го элемента [*Иванова* 1980], а экспозиция декоративно-прикладного искусства Японии — своей атмосферой и иллюзией присутствия в традиционном японском доме: «устроители выставки как бы пригласили нас посетить японский дом для того, чтобы увидеть те предметы, которые окружали и окружают японцев в их повседневной жизни, почувствовать очарование и особую привлекательность этих вещей» [*Джарылгасинова* 1980: 151].

Однако количество подобных теоретико-практических публикаций было явно недостаточно, и в то же время, они не отвечали на главный вопрос: как демонстрировать формирование и объединение советских наций и советский интернационализм. Лишь после распада Советского Союза было признано, что «сам материал многонациональной советской художественной культуры дает основания для обобщений. Это следовало бы учесть и при формировании музейных экспозиций» [*Червонная* 1991: 18], но по объективным причинам данный тезис немного запоздал.

Описанные выше публикации составляли лишь небольшую часть из тех форматов, в которых обсуждалось музейное дело на страницах «Советской этнографии». В конце 1940-х гг. наиболее популярным форматом было отчетное описание работы музея [*Макалатия* 1946; *Ткешелашвили* 1946; *Крихели* 1946; *Антропова* 1947; *Ануфриев* 1947; *Маслова* 1948; *Сухарева* 1949]. Статус этих материалов подчеркивало размещение в конце номера в разделе «Хроника». Даже с использованием мелкого шрифта, подобные материал редко выходили за рамки одной страницы. С учетом того, что зачастую их авторами были сотрудники или руководители описываемых учреждений, от них трудно было ожидать глубокого критического анализа.

В этом отношении выделяется целый ряд материалов В. Н. Белицер [*Белицер* 1946; *Белицер* 1948a; *Белицер* 1948b], в которых наряду с описанием самих этнографических экспозиций содержатся элементы концептуального анализа и попытки сопоставить экспозиционные материалы с потенциальными задачами музеев:

- «Несколько рыболовных снастей, „острога“ и „сак“ — вот всё, что видит посетитель в музее по этой отрасли хозяйства, столь богатой и разнообразной, занимающей значительное место в Коми АССР» [*Белицер* 1946];
- «При осмотре музея поражает то обстоятельство, что этнографические коллекции занимают в нем крайне незначительное место. Этнография представлена двумя манекенами пермяков неизвестного района, несколькими манекенами представителей других национальностей, проживающих в Молотовской области, и небольшой витриной с изделиями из бересты и дерева. Такая экспозиция слишком „скромна“ для крупного областного музея» [*Белицер* 1948a];
- «Простота оформления и хороший фон оставляют благоприятное впечатление. Однако отсутствие шкафов, настенных витрин, стеклянных колпаков ставит под угрозу сохранность ценных экспонатов. Что же касается материала, то вновь открытая выставка всё же не отражает пока всего многообразия

и богатства белорусского народного искусства. Ряд тем совершенно выпал при показе, другие показаны крайне слабо и нуждаются в дополнении» [*Белицер* 1948b].

Ее поддерживали и другие авторы:

«Экспозиция Якутского краеведческого музея не лишена недостатков. В ряде случаев без всякой нужды вместо подлинных предметов экспонируются аляповатые модели. Несмотря на наличие места, многие ценные экспонаты не выставлены. В экспозиции недостает этикетажа. Следует отметить, что в экспозиции находится лишь незначительная часть этнографических коллекций Музея. Большая часть этих коллекций хранится в фондах» [*Гурвич* 1954: 135].

Бросается в глаза, что подобная критика касалась в основном региональных музеев, и она отчасти подтверждает тезисы о кризисе этнографических экспозиций в указанный период. Впрочем, значительная часть критических отзывов во многом касалась недостаточной «советизации» экспозиции:

- «Существенным недостатком в этнографической работе музеев Литовской ССР является отсутствие в экспозиции разделов, посвященных общественному и семейному быту, социальному расслоению и классовой борьбе в старой литовской деревне, а также социалистическому переустройству сельского хозяйства. Без показа этих важнейших явлений в жизни сельского населения этнографическая экспозиция, несмотря на всю ее красочность, остается оторванной от актуальных вопросов современности, архаизирующей культуру и быт литовского народа, строящего социализм в братской семье народов СССР. Перед литовскими этнографами, работающими в музеях, стоит первоочередная задача ликвидировать отставание этнографической экспозиции от современной жизни» [*Чебоксаров* 1949: 183].
- «Большим достижением Северо-Осетинского краеведческого музея является открытие отдела социалистического строительства... Однако последний имеет ряд недостатков; одним из них является то, что этнографические материалы, которые должны быть представлены в экспозиции отдела социалистического строительства во многих темах, используются музеем очень мало. В отделе не разработаны темы: современное горное и плоскостное жилище, орнамент, современный фольклор, пища и т. д. Мало внимания уделено быту и культуре колхозников» [*Такоева* 1949: 198].

В то же время констатация данного факта не сопровождалась методическими рекомендациями по решению данной задачи.

В середине 1950-х гг. среди материалов, связанных с музеями, появляется новый жанр — отчеты о зарубежных поездках. «Музейный туризм» был одним из обязательных элементов академических визитов, и в статьях так или иначе обнаруживается материал для компаративного анализа. Естественно, что ученые по большей части ездили в соцстраны [*Кушнер* 1954; *Ганц-*

кая 1958; *Стратанович* 1958; *Левин, Гроздова* 1959; *Шихарева* 1965], однако были выезды и по другую сторону «железного занавеса» [*Золотаревская* 1959; *Трисман* 1967; *Мыльников* 1977]. И в том, и в другом случае описания зарубежных музеев позволяют довольно точно диагностировать те проблемы советских музеев, о которых не было принято говорить напрямую, вплоть до некачественного этикетажа:

> «Очень приятное впечатление производит оформление экспозиции. Витрины не пестрят этикетками. Около мелких предметов лежит маленький номерок, а в стороне — список номеров и экспликации к каждому из них. Этикетки к картинам прикреплены на боковой стороне рамы» [*Трисман* 1967: 138].

Не менее показательна и реакция на обыкновенную системную организацию хранения:

> «В Лейпцигском музее этнографии хорошо поставлена учетно-хранительская работа. ... Коллекции четко систематизированы по народам, отдельным регионам и типам предметов. Каждая полка шкафа снабжена соответствующей этикеткой с указателем. При такой системе хранения легко отыскать нужный предмет» [*Демин* 1976: 153].

Любопытно, как подробно классики отечественной этнологии и антропологии описывали возможность внеурочно поработать с коллекциями в музее:

> «Советский делегат работал также над изучением горизонтальной профилировки черепов индейцев в антропологическом отделе Национального музея США, где встретил самый радушный прием. Вследствие недостатка времени возникла необходимость работать в вечерние часы — соответствующее разрешение было получено немедленно» [*Дебец, Ольдерогге, Потехин* 1957: 164].

Конечно, это можно было бы интерпретировать как удивление коллег от такого теплого приема в стране, перманентно позиционировавшейся в советской прессе как главный идеологический противник в Холодной войне. Однако о существовании проблем с доступом к коллекциям в отечественных музеях можно судить по оговоркам того же Г. Ф. Дебеца: «Выявился до того погребенный в недрах музеев куро-аракский энеолит» [*Дебец* 1954: 167]. Вскользь говорили о трудностях с доступом и недостатком публикаций коллекций и другие исследователи [*Членова* 1958: 203–204; *Разумовская* 1971: 174].

В последующие десятилетия данный формат сохранялся, несколько трансформируясь по содержанию. Если в 1970-е гг. описания музеев, посещенных в ходе поездок, обычно давались довольно кратко [*Путилов* 1973; *Гусев* 1974; *Мыльников* 1977; *Тумаркин* 1977; *Жданко* 1977], за редким исключением специальных визитов [*Демин* 1976; *Дмитриев* 1978], то уже в 1980-е гг. внимания зарубежному музейному опыту уделялось значительно боль-

ше [*Кармышева* 1980; *Гурвич, Ляпунова* 1980; *Бромлей, Крюков* 1981; *Евтух* 1985]. Более того, начали публиковать работы зарубежных авторов, посвященные проблемам этнографических музеев [*Вайнштейн, Кёниг* 1979; *Уорнер* 1980], а в самом конце 1980-х гг. — и материалы с международных музейных конференций, позволяющие знакомиться с передовыми теоретическими и практическими разработками [*Давыдов* 1989; *Арсеньев* 1990].

Возвращаясь к публичному признанию проблем музейного дела, надо констатировать, что по понятным причинам отдельные статьи, посвященные им, полностью отсутствовали. Однако, как уже было показано выше, это отнюдь не означало безоблачное состояние этнографических музеев и экспозиций. Так, в 1970–1980-е гг. в числе ключевых проблем музейной отрасли постоянно фигурировали хранение и учет:

- «Музейные материалы еще далеко не полностью учтены и систематизированы» [*Жданко* 1971: 36];
- «Фонд этот, частично пострадавший во время войны, окончательно еще не обработан» [*Померанцева* 1971: 137];
- «Затем эти изображения попали в Ханты-Мансийский музей, где хранились без паспорта» [*Соколова* 1975: 144];
- «Материалы данного кургана, переданные на хранение в Музей истории и реконструкции Москвы, не сохранились» [*Сабурова* 1976: 128];
- «Плохая сохранность тканей в археологических памятниках, быстрое исчезновение их в музейных коллекциях из-за отсутствия необходимых условий консервации и хранения» [*Сабурова* 1976: 130];
- «Многие хранилища (даже центральных музеев) созданы давно и более не могут удовлетворять; они малы и располагают только старым оборудованием, не обеспечивают должного теплового режима и режима влажности. Это приводит к преждевременной порче ценнейших экспонатов. Не менее сложной проблемой является научное описание коллекций, их паспортизация и каталогизация, без которых фонды превращаются в склады. ...внедрение унифицированных учетных карточек, содержащих необходимые сведения о каждом предмете, ... до сих пор не осуществлено» [*Станюкович, Чистов* 1981: 34–35].

Очевидно, что эта проблема актуализировалась в первую очередь из-за того, что затрагивала интересы многих исследователей-этнографов. Проблемам хранения даже посвятили отдельную, хоть и обзорную публикацию [*Фараджев* 1971] по следам Всесоюзной конференции, организованной в Москве в 1970 г. Минкультом СССР, Управлением изобразительных искусств и охраны памятников и Всесоюзной центральной научно-исследовательской лабораторией по консервации и реставрации музейных и художественных ценностей.

Эпизодически поднимались и косвенные вопросы, связанные с хранением и учетом, например, проблема использования устаревших этнонимов в музейной документации [*Лебедева* 1982], актуальная по сей день [*Гринько, Шевцова* 2019].

«Разжалованный в музей»: кадры и престиж профессии

Еще одной традиционной проблемой на всем протяжении описываемого периода предстает кадровое обеспечение музейной отрасли этнографами:

- «Нельзя мириться с тем положением, ... что во многих даже крупных местных музеях, обладающих ценными этнографическими коллекциями, нет в штате специалистов-этнографов» [*Толстов* 1947: 27].
- «В. Н. Белицер также уделила много внимания вопросу подготовке кадров, в частности указав на недостаточную ориентацию аспирантов Института этнографии в методике полевой работы и полное отсутствие у них элементарных знаний и практических навыков в области музейной работы» [*Жданко* 1949: 172].
- «Потребность в музееведах-этнографах особенно остро ощущается в Бельцах, Сороках, Комрате, Кагуле, где в последние годы возникли зональные историко-краеведческие музеи» [*Зеленчук* 1974: 7].
- «Во многих из них (музеев — *авт.*) работают энтузиасты, не имеющие, к сожалению, специального образования и навыков музейной работы. Есть опасность, что собранные ими интереснейшие, а иногда и уникальные материалы (вовремя и должным образом не паспортизированные), могут потерять свою научную значимость, превратиться в сувениры, собираемые дилетантами» [*Станюкович, Чистов* 1981: 35].

Неслучайно, что знакомство с зарубежной системой подготовки кадров для музеев вызывало такой энтузиазм:

> «Обычно они (музейные сотрудники — *авт.*) заканчивают специальную среднюю школу музееведения (типа техникума). Подобная школа имеется в Лейпциге. Срок обучения в ней два года, после чего учащиеся проходят практику в музее. Такая система позволяет привлекать для работы в музеях грамотную и профессионально подготовленную молодежь и избежать услуг случайных и некомпетентных людей. Нам представляется, что этот опыт мог бы найти успешное применение в нашей стране» [*Демин* 1976: 155].

Общее место для «отчетных» публикаций о музеях страны — упоминание одной-двумя строками того, что музеи выступают базой прохождения практик студентов (этнографов, историков, педагогов, филологов и т. п.), но специально задача подготовки музейных кадров через учебные практики не обсуждалась.

Здесь необходимо отметить два важных момента: во-первых, ситуация с музейными кадрами в описываемый период была в принципе постоянно тяжелой. Это провоцировалось целым рядом причин: низкие зарплаты в отрасли, невысокая престижность, некачественный менеджмент, текучка кадров и наличие большого числа лиц без должной профессиональной подготовки [*Златоустова* 1991]. Во-вторых, музей рассматривался государственными

органами в первую очередь как инструмент пропаганды, а не научный институт [*Музей и власть* 1991].

Из-за этого отношение профессионального сообщества к работе в музее тоже было довольно специфическим. Показательны высказывания известных специалистов (выделено нами — *авт.*):

- «Это бывший Институт этнографии, ***разжалованный*** в Музей» [*Клейн* 2017: 86].
- «На стажировку в академические учреждения следует направлять ***только студентов, проявивших способности*** к научной работе, ***другие*** могут проходить практику в музеях или в архивах» [*Наулко* 1989: 68].

Впрочем, это не мешало периодически романтизировать музейную работу:

> «И находку эту совершаешь не ты, так называемый специалист, который во время своих торопливых и редких набегов в музейные фонды ничего там по существу не видит, кроме срочно понадобившейся вещи. Тебе ее преподносит хранитель, который за несколько десятков лет постоянного общения с фондами не только прекрасно знает любой из многих тысяч предметов, но словно бы чувствует, когда и кому этот, лежащий давно уже без движения, казалось бы, «мертвый», предмет вдруг может понадобиться» [*Волчок* 1979: 141].

Возможно, именно поэтому, несмотря на все слова о важности музеев, для этнографического сообщества они всё равно оставались синонимом архаики, что регулярно проявлялось в текстах:

- «Бытующая песня, как бы давно она ни возникла, не пережиток и не музейный экспонат, а ценимое народом художественное наследие» [*Чистов* 1962: 11].
- «Если тридцать два года назад сельское хозяйство народов Средней Азии было своего рода живым музеем тысячелетней отсталости» [*Толстов* 1950: 15].
- «Однако буржуазная болгарская фольклористика рассматривала народное творчество как музейную древность» [*Абаджиева* 1955: 148].
- «Буржуазные исследователи юго-запада Китая еще издавна цинично называли его „этнографическим музеем", „антропосадом"» [*Горбачева* 1952: 102].

Подобный подход сохранился и в 1970-е («превращение северных районов страны как бы в живой „этнографический музей"» [Андрианов 1975: 186]), и в 1980-е гг. («не сводится к „музейному" экспонированию древних представлений» [Юдин 1985: 14]). Правда, надо обратить внимание, на то, что в подобном контексте словом «музей» и его производные начали брать в кавычки.

Возможно, именно аналогичные стереотипы в профессиональной среде вызвали довольно резкое замечание коллег:

> «Справедливо высказывание ... Э. М. Виммера (ФРГ): „Музеи не только сообщают посетителю научную информацию об экспонатах, но и выполняют

еще одну благородную миссию: они борются с невежеством и проявлением недоверия к незнакомым идеям, а не воспевают — как им приписывают — пыль веков и руины древности“» [*Воробьева* 1989: 145].

Только в годы Перестройки в статьях «Советской этнографии» появились социальные проблемы, связанные с музеями. Например, музеефикация культуры репрессированных народов [*Вормсбехер* 1989], или проблема репатриации культурных ценностей малых народов [*Дмитриев* 1991].

В середине 1950-х гг. появляется целая серия материалов, посвященных результатам «музейной дипломатии» [*Дэвид-Фокс* 2015] — музейным выставкам, отражавшим культуры стран, потенциальных союзниц СССР: Индонезии [*Грач* 1957], Эфиопии [*Акишева* 1959], Шри-Ланки [*Авдеев, Кочнев* 1963]. Однако данные материалы носили научно-описательный характер и не содержали глубокой рефлексии о музейной составляющей. С начала 1970-х гг., в период «разрядки», отмечается и рост числа ответных зарубежных этнографических выставок советских музеев [*Авижанская* 1976].

Здесь необходимо отметить, что концепции большинства выставок, посвященных как народам мира, так и народам СССР, во многом совпадали с современной концепцией Музея Бранли, делая акцент на художественном творчестве. Так, например, на выставке в МАЭ в 1963 г. ленинградцы «впервые могли познакомиться с глубоко своеобразным и национальным по характеру искусством Цейлона», на которой «было представлено много слонов, но ни один не повторял другого» [*Авдеев, Кочнев* 1963: 193, 195]. Тренд на экзотизацию, вопреки диалектическому материализму, проявлялся в особом внимании к «самобытному» декоративно-прикладному искусству, «богатому», то есть праздничному, национальному костюму и т. п.

Прикладное музееведение

В конце 1960-х гг. появились исследования, связанные с интеграцией этнографических музеев и экспозиций в систему туристических объектов [*Пачулиа* 1969]. Несмотря на всю важность данного направления, продолжения он практически не получил.

С того же момента в «Советской этнографии» начинает публиковаться всё больше статей, посвященных условно новому жанру — музеям под открытым небом [*Самойлов* 1972; *Няйпавер, Федака* 1979; *Давыдов* 1982; *Давыдов* 1983; *Тишков* 1983*; Сафронов* 1983], в том числе, этнографические исследования, предварявшие их создание [*Заякина* 1978]. Важно отметить, что в силу своей специфики этот профиль музеев практически никак не мог решать конструктивистские задачи. Более того, в ряде случае подчеркивалось:

«Во избежание однообразия в тематическом решении интерьеров в каждой усадьбе или хате воспроизведены характерные для того или иного этногра-

фического района направления хозяйства, занятия, промыслы» [*Няйпавер, Федака* 1979: 125].

А попытки «*усреднения*» локальных вариантов и импровизации на «народную тему», наоборот жестко критиковались [*Орфинский* 1983]. Кроме того, данные музеи создавались в первую очередь архитекторами, что накладывало свой отпечаток на их структуру и деятельность [*Севан* 2011: 50]. Этнографам оставалось лишь констатировать:

> «Основное внимание уделялось архитектурно-художественной ценности объектов и их индивидуальным стилистическим особенностям; бытовая и этническая типология при этом игнорировались. Создание архитектурного заповедника оттеснило на задний план историко-этнографические задачи, которые легко было совместить с историко-культурными» [*Станюкович, Чистов* 1981: 28].

Даже с учетом скромного внимания к музеям, этнографам удалось зафиксировать целый ряд перспективных идей в музейной сфере, которые не теряют актуальности до сих пор. В первую очередь, речь идет о форматах партисипативного музея [*Simon* 2010] и привлечении представителей локальных сообществ к научно-исследовательской деятельности. Этот формат «гражданской науки» относительно активно использовался в описываемый период [*Ануфриев* 1947: 213; *Лятт* 1963], причем данная работа была не разовой, а велась системно [*Проодель* 1968]. В отдельных случаях сообщества выступали не как собиратели, а как носители традиции, например, помогая музею изготовить реплики сельскохозяйственных орудий [*Джавадов* 1981].

Хоть и косвенно, но возникают крайне актуальные в свете пересмотра самого понятия «музей» вопросы, связанные с тем, насколько музеефикация универсальна и насколько традиционные ее форматы отвечают задачам сохранения нематериального наследия:

> «Достаточно ли будет сохранить лучшие образцы этих изделий для потомства в музейных коллекциях? Но как сохранить орнамент и технику исполнения, если самого предмета больше нет в быту?» [*Каплан, Барадулин* 1969: 132].

Подобные формы «культуры участия» касались не только собирательства, но и организации «народных» музеев. Например, в селах Армении для этого консервировались наиболее старые дома [*Вардумян* 1950], таким образом за несколько десятилетий до концепции эко-музея Ривьера [*Ривьер* 1985: 2–3], она отчасти была реализована в советской музейной практике. Поднимался до сих пор актуальный вопрос о создании городских скансенов [*Станюкович, Чистов* 1981]. Фиксировалась работа ряда музеев по сохранению и интеграции в культуру повседневности нематериального наследия, например, свадебных обрядов [*Давыдов* 1982]. Вскользь упоминалась деятель-

ность тематических музейных мастер-классов [*Джарылгасинова* 1980] и даже работа по музейной инклюзии [*Гурвич, Ляпунова* 1980].

Заходила речь и о включении этнографических музеев в то, что сейчас называется креативными индустриями: например, работа с текстильными фабриками и домами моделей [*Гавриленко* 1975]. Причем, речь шла и о возможностях коммерциализации подобного партнерства:

> «Чрезвычайно желательна при ... выставках организация продажи произведений народных мастеров (керамики, деревянной скульптуры, туесов, набойки, игрушек и т. п.), а также репродукций с экспонатов выставки» [*Маслова* 1957: 183].

Констатировались, но не концептуализировались удачные практики создания творческой среды и коммерческих заказов музея народным мастерам, помощь в выборе тематики и снабжение их специальной литературой, обсуждение и экспонирование работ резчиков, стеклодувов, керамистов в Государственного музея этнографии и художественного промысла АН УССР (Львов), а также проактивные консультации музея с выездами сотрудников «на предприятия легкой промышленности для составления рекомендаций по улучшению качества и ассортимента продукции» [*Гавриленко* 1975: 64].

Иногда речь шла даже о мелких деталях, которые тем не менее, могут играть важную роль не только в формировании образа музея, но и в реализации его миссии. Например, традиция одевать сотрудников музея в этнические костюмы, как это делалось в Государственном музее народного быта Латвийской СССР [*Кушнер* 1948]. Подобные подходы до сих пор актуальны, и применяются, например, во всемирно известном музее «Колониальный Вильямсбург».

Поднимались в журнале и прикладные вопросы музейного дела: уже в начале 1980-х гг. можно проследить ряд статей, затрагивающих проблемы музейной антропологии [*Гринько* 2021], и, в первую очередь, исследований музейного посетителя [*Иванова* 1980; *Зязева, Островский* 1988; *Воробьева* 1989], причем анализировались и довольно редкие сюжеты, например, актуальная сегодня тема антропогенной нагрузки на музеи [*Ивановская, Глинский* 1991].

В 1980-х гг. начали ставиться проектные вопросы, о взаимосвязи между целевой аудиторией и содержанием экспозиции:

> «Экспозиционеру не следует забывать и о составе посетителей музея; половина из них сегодня — иностранные туристы» [*Баранова* 1981: 29]; «в зоне внимания авторов постоянно находились: 1) концепция выставки; 2) посетители и их запросы; 3) коммуникационный подход» [*Воробьева* 1989: 145].

Однако большинство из данных тем так и не получили подробного раскрытия. Впрочем, отдельные сюжеты крайне интересны и сегодня. Например, неототемные практики в музейной экспозиции:

«Работники Турткульского краеведческого музея жаловались, что трудно найти более плешивое чучело тигра, нежели выставленное у них в экспозиции: некоторые рьяные посетительницы украдкой ощипывали его и подлезали под его брюхом» [*Снесарев* 1972: 176] (ради исцеления от бесплодия. — *авт.*)

Подводя итог анализу освещения теоретических проблем взаимодействия этнографической науки и музейного дела, необходимо отметить несколько ключевых моментов:

• освещение музейной тематики велось бессистемно, по признанию самого профессионального сообщества, недостаточно и при этом крайне неравномерно;

• рассмотрение музейных проблем во многом исходило из их прикладной и второстепенной/обслуживающей роли для науки;

• основной акцент делался именно на практическую пользу музейной сети для науки, а не на самостоятельное развитие музея как социокультурного института, в том числе и в рамках формирования советских идентичностей;

• теоретическая и методологическая базы для развития этнографических музеев и экспозиций до конца советского периода по факту так и не были созданы;

• косвенно многие авторы затронули системные музейные проблемы, до сих пор не утратившие свою злободневность;

• несмотря на это, было представлено достаточно теоретических и полевых материалов, актуальных до сегодняшнего дня.

Исходя из того, что тема национального строительства до сих пор актуальна для Российской Федерации, советский опыт взаимодействия этнографии и музеев в любом случае должен быть учтен и использован при новых исследованиях в сфере музейной антропологии.

Источники и литература

XXIV Съезд КПСС и актуальные проблемы советской этнографической науки // Советская этнография (*далее — СЭ*). 1971. № 4. С. 3–7.

Абаджиева Ц. Материалы экспедиции Института и Музея этнографии Болгарской академии наук // СЭ. 1955. № 2. С. 147–148.

Аброськина Е. В. Российский этнографический музей в фокусе музеологических исследований 50–80-х годов XX в. Вещи. Экспедиции. Музеи. К 100-летию со дня рождения Т. В. Станюкович / отв. ред. Н. П. Копанева, Л. С. Лаврентьева, М. В. Станюкович. СПб.: МАЭ РАН, 2019. 448 с. С. 134–146.

Авдеев А. Д., Кочнев В. И. Выставка искусства Цейлона в Музее антропологии и этнографии // СЭ. 1963. № 3. С. 193–200.

Авижанская С. А. Отчетная сессия в Государственном музее этнографии народов СССР // СЭ. 1976. № 1. С. 146–148.
Акишева З. П. Этнографическая выставка по Эфиопии // СЭ. 1959. № 5. С. 140–144.
Александров В. А. Сессия, посвященная итогам полевых исследований 1961 год // СЭ. 1962. № 4. С. 179–182.
Аманжолова Д. А. Советский национальный проект в 1920–1940-е годы: идеология и практика / Д. А. Аманжолова, К. В. Дроздов, Т. Ю. Красовицкая, В. В. Тихонов. М.: Новый хронограф, 2021. 576 с.
Ананьев В. Г. «Строительство музеев должно быть основано на научной базе»: к истории формирования концептуальной модели музея в раннесоветский период // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 460. С. 133–137.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 288 с.
Андрианов Б. В. [Рецензия] // СЭ. 1975. № 2. С. 186–187. Рец. на кн.: Кулик С. Ф. Современная Кения (Справочник). М., 1972. 446 с.
Антропова В. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого в 1946 году // СЭ. 1947. № 1. С. 193–195.
Ануфриев Д. Д. Собирательская работа музея Мордовской АССР // СЭ. 1947. № 1. С. 213.
Арсеньев В. Р. Международный симпозиум «Сбор, хранение, реставрация и экспонирование предметов традиционного африканского искусства» // СЭ. 1990. № 5. С. 151–153.
Арутюнов С. А., Джарылгасинова Р. Ш. Выставки «Современное декоративное искусство Японии» и «Древняя и средневековая скульптура Японии // СЭ. 1969. № 6. С. 136–145.
Баранова И. И. Показ современности в Государственном музее этнографии народов СССР (Поиски и проблемы) // СЭ. 1981. № 2. С. 25–35.
Басилов В. Н. Работа Института этнографии АН СССР в 1972 году // СЭ. 1973. № 3. С. 155–162.
Белицер В. Н. Выставка «Народная одежда и народное творчество белорусов» в Музее народов СССР // СЭ. 1948. № 2. С. 217–219.
Белицер В. Н. Этнографическая экспозиция в Краеведческом музее Коми АССР // СЭ. 1946. № 4. С. 222.
Белицер В. Н. Этнография в краеведческих музеях Молотовской области // СЭ. 1948. № 1. С. 225–227.
Бромлей Ю. В., Козлов В. И. К изучению современных этнических процессов в сфере духовной культуры народов СССР // СЭ. 1975. № 1. С. 3–17.
Бромлей Ю. В., Крюков М. В. Японский государственный этнографический музей // СЭ. 1981. № 5. С. 143–148.

Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Русские коллекции в Этнографическом музее Казанского университета // СЭ. 1958. № 5. С. 107–113.
Бутинова М. С. Проблемы происхождения и ранних форм религии в музейных экспозициях // СЭ. 1973. № 5. С. 17–28.
Вайнштейн С. И., Кёниг В. Изучение кочевничества в Лейпцигском этнографическом музее // СЭ. 1979. № 4. С. 132–136.
Вардумян Д. С. Колхозный музей в Армении // СЭ. 1950. № 2. С. 208–210.
Волчок Б. Я. Цейлонский талисман // СЭ. 1979. № 3. С. 141–146.
Вормсбехер Г. Как мы представляем себе восстановление Немецкой АССР // СЭ. 1989. № 6. С. 29–33.
Воробьева Н. С. Выставка Государственного музея этнографии народов СССР на Кубе // СЭ. 1989. № 6. С. 144–147.
Гавриленко В. А. Столетие Государственного музея этнографии и художественного промысла АН УССР // СЭ. 1975. № 2. С. 57–67.
Галкина П. Сессия Научно-исследовательского института краеведческой и музейной работы // СЭ. 1949. № 2. С. 179–183.
Ганцкая О. А. Координационное совещание по согласованию научно-исследовательских планов на 1954 год // СЭ. 1954. № 1. С. 160–161.
Ганцкая О. А. Поездка в Польскую Народную Республику // СЭ. 1958. № 3. С. 136–142.
Горбачева З. И. Национальное строительство в юго-западных районах Китайской Народной Республики // СЭ. 1952. № 4. С. 101–114.
Грач А. Д. Этнографическая экспозиция «Индонезия» в Москве // СЭ. 1957. № 2. С. 168–172.
Гринько И. А. Музейная антропология в современном музейном менеджменте: задачи и инструментарий. Дис. ... д-ра истор. наук: 07.00.07: Этнология, этнография и антропология. Казань: КФУ, 2021. 433 с.
Гринько И. А. Музейная антропология и музейный менеджмент // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2019. Вып. 1 (23). С. 113–123.
Гринько И. А., Шевцова А. А. Иконография национального вопроса в журнале «Крокодил» (1960–1970-е гг.) // Вестник БИСТ. 2017. № 3. С. 52–63.
Гринько И. А., Шевцова А. А. Этнонимы и этнофолизмы в музейной практике // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology). 2019. Вып. 4 (26). С. 109–119.
Грусман В. М., Яглинская Э. С. Показ отдельных аспектов советского образа жизни в Государственном музее этнографии народов СССР // СЭ. 1982. № 3. С. 88–95.
Грусман В. М., Яглинская Э. С. Современные праздники и обряды народов СССР (к созданию экспозиции в ГМЭ) // СЭ. 1977. № 3. С. 68–71.
Гурвич И. С., Ляпунова Р. Г. Коллекции музеев США по народам Северо-Западной Америки и Сибири // СЭ. 1980. № 5. С. 121–128.

Гурвич И. С. Современные направления этнических процессов в СССР // СЭ. 1972. № 4. С. 16–33.
Гурвич И. С. Этнографические материалы в Якутском краеведческом музее // СЭ. 1954. № 2. С. 133–136.
Гусев В. Е. Поездка в Польшу // СЭ. 1974. № 3. С. 147–153.
Давыдов А. Н. X конференция Ассоциации европейских музеев под открытым небом // СЭ. 1983. № 4. С. 134–137.;
Давыдов А. Н. Архангельский музей деревянного зодчества // СЭ. 1982. № 4. С. 93–105.
Давыдов А. Н. Международная конференция в Греции «Музей и развитие» // СЭ. 1989. № 6. С. 148–151.
Дебец Г. Ф. 5-й международный конгресс этнографов и антропологов / Г. Ф. Дебец, Д. Ф. Ольдерогге, И. И. Потехин // СЭ. 1957. № 1. С. 159–166.
Дебец Г. Ф. Памяти Б. А. Куфтина // СЭ. 1954. № 1. С. 166–167.
Демин Л. М. Знакомство с тремя музеями ГДР // СЭ. 1976. № 4. С. 150–155.
Джавадов Г. Д. Традиционное азербайджанское пахотное орудие *гара котан*. Историко-этнографическое изучение // СЭ. 1981. № 6. С. 119–128.
Джарылгасинова Р. Ш. Выставка «Традиции и современность в декоративном искусстве Японии» // СЭ. 1980. № 3. С. 151–157.
Дмитриев В. А. Этнокультурная ситуация в черноморской Шапсугии летом 1988 г. // СЭ. 1991. № 6. С. 92–98.
Дмитриев В. А. Государственный музей этнографии — свой путь между идеологией и наукой // Музей. Традиции. Этничность. 2012. № 2. С. 6–20.
Дмитриев В. А. Этнологический центр в Японии // СЭ. 1978. № 3. С. 164–165.
Досмурзинов Р. К. Проблемы этнографии города на страницах журнала «Советская этнография» // Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае в 2016 году: археология, этнография, устная история. Вып. 12. Омск: Издатель-Полиграфист, 2017. С. 89–91.
Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921–1941 годы / Пер. с англ. В. Макарова; науч. ред. пер. М. Долбилов и В. Рыжковский. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 568 с.
Евтух В. Б. Музей народного искусства Кипра // СЭ. 1985. № 6. С. 91–97.
Жданко Т. А. Историко-этнографический атлас Средней Азии и Казахстана (принципы и методы составления) // СЭ. 1971. № 4. С. 31–42.
Жданко Т. А. Обсуждение научно-исследовательской работы Института этнографии АН СССР // СЭ. 1949. № 1. С. 136–175.
Жданко Т. А., Кудрявцев М. К. Советско-индийский симпозиум в Шантиникетане // СЭ. 1977. № 6. С. 117–125.
Задачи этнографии и этнографического музееведения // СЭ. 1963. № 2. С. 3–7.

Заякина Н. П. Коротко об экспедициях // СЭ. 1978. № 2. С. 137–138.
Зеленчук В. С. Этнографическое изучение населения Молдавии СССР // СЭ. 1974. № 6. С. 3–12.
Златоустова В. И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.) // *Музей и власть. Государственная* политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). Сб. научн. тр. / отв. ред. С. А. Каспаринская. М.: НИИ культуры, 1991. С. 227–299.
Золотаревская И. А. Поездка к индейцам США // СЭ. 1959. № 6. С. 162–173.
Зязева Л. К., Островский А. Б. Этнографическая лекция: методика и организация (опыт государственного музея этнографии народов СССР) // СЭ. 1988. № 6. С. 88–98.
Иванова Л. А. Выставка «Этнография и искусство Океании» // СЭ. 1980. № 3. С. 148–156.
Ивановская Н. И., Глинский Е. А. Всесоюзное совещание «Проблемы этнографического музееведения на современном этапе // СЭ. 1991. № 1. С. 133–135.
Ионова О. В. Этнографические материалы в экспозициях отделов истории советского общества краеведческих музеев // СЭ. 1963. № 2. С. 30–40.
Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия / СССР, 186001940 / Пер. с фр. Э. Кустовой. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 336 с.;
Калоев Б. [Рецензия] // СЭ. 1950. № 2. С. 239–241. Рец. на кн.: Семенов Л. П., Кастуев А. Г. Музей краеведения Северной Осетии, 1897–1947 гг. Гос. изд-во Северо-Осетинской АССР, 1947. 83 с.
Каплан Н. И., Барадулин В. А. Якутские народные художественные промыслы (По материалам экспедиции в Якутскую АССР в 1967 году) // СЭ. 1969. № 1. С. 129–135.
Кармышева Б. Х. «Жизнь детей в старой венгерской деревне» (выставка в Этнографическом музее Будапешта) // СЭ. 1980. № 3. С. 142–148.
Клейн Л. С. Муки науки: ученый и власть, ученый и деньги, ученый и мораль. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 576 с.
Конституция развитого социализма // СЭ. 1978. № 1. С. 3–14.
Крих С. Другая история: «Периферийная» советская наука о древности. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 320 с.
Крихели А. Государственный историко-этнографический музей евреев Грузии // СЭ. 1946. № 4. С. 219–220.
Крывелев И. А. Современные обряды и роль этнографической науки в их изучении, формировании и внедрении // СЭ. 1977. № 5. С. 36–45.
Кутшеба-Пойнарова А. Польская этнография в системе мировой науки. Предмет и методы исследований // СЭ. 1969. № 6. С. 42–54.
Кушнер П. И. Государственный музей народного быта Латвийской ССР // СЭ. 1948. № 3. С. 164–168.
Кушнер П. И. Поездка в Чехословакию // СЭ. 1954. № 2. С. 172–177.

Лебедева А. А. [Рецензия] // СЭ. 1965. № 3. С. 168–169. Рец. на кн.: Справочник «Этнографические коллекции в музеях СССР». М., 1964, 98 стр. + 20 л. илл.

Лебедева А. А. [Рецензия] // СЭ. 1982. № 5. С. 159–161. Рец. на кн.: Каталог этнографических коллекций Музея археологии и этнографии Сибири Томского университета. Ч' I. Народы Сибири. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1979, 340 с.; Ч. II. Народы СССР (кроме Сибири) и Зарубежных стран. Томск. 1980. 250 с.

Левин М. Г., Гроздова И. Н. Поездка в Венгерскую Народную Республику // СЭ. 1959. № 1. С. 136–144.

Лятт С. Х. О собирании произведений народного творчества Литературным музеем АН Эстонской ССР // СЭ. 1963. № 5. С. 95–99.

Макалатия С. Горийский Государственный историко-этнографический музей // СЭ. 1946. № 2. С. 214–215.

Маковецкий И. В. Принципы организации музеев под открытым небом и их задачи // СЭ. 1963. № 2. С. 7–19.

Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939: [пер. с англ.]. М.: Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. 664 с.

Маслова Г. С. Выставка народного прикладного и декоративного искусства РСФСР // СЭ. 1957. № 3. С. 176–184.

Маслова Г. С. Этнографическая работа в музеях Вильнюса // СЭ. 1948. № 1. С. 227–228.

Молотова Л. Н. Всесоюзная научная сессия «Актуальные вопросы этнографии и этнографического музееведения» // СЭ. 1982. № 3. С. 159–163.

Молотова Л. Н. Научная сессия «Изучение этнографических проблем современности и комплектование музейных фондов» // СЭ. 1978. № 5. С. 160–162.

Молотова Л. Н. Читательская конференция журнала «Советская этнография» в ГМЭ // СЭ. 1988. № 6. С. 152–153.

Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). Сб. научн. тр. / отв. ред. С. А. Каспаринская. М.: НИИ культуры, 1991. 323 с.

Мыльников А. С. В гостях у австрийских этнографов (заметки и наблюдения) // СЭ. 1977. № 2. С. 132–136.

Надыршин Т. М. Школа в советских этнографических исследованиях с 1937 по 1953 гг. По материалам журнала «Советская этнография» // Genesis: исторические исследования. 2021. № 12. С. 157–170.

Наулко В. И. Обсуждение статьи В. В. Пименова «Подготовка профессионального этнографа: проблемы перестройки» // СЭ. 1989. № 3. С. 66–68.

Няйпавер К. С., Федака П. М. Музей на Замковой горе // СЭ. 1979. № 4. С. 118–125.

Орфинский В. П. К методике исследования деревянного зодчества // СЭ. 1983. № 4. С. 50–62.

Основы советского музееведения / М-во культуры РСФСР, НИИ музееведения; [редкол.: П. И. Галкина и др.]. М.: Госкультпросветиздат, 1955. 374 с.

Пачулиа В. П. Туризм и национальные традиции // СЭ. 1969. № 5. С. 91–94.

Першиц А. Обсуждение работы журнала «Советская этнография» в Бюро Отделения истории и философии АН СССР // СЭ. 1953. № 3. С. 191–196.

Петряшин С. С. Обстановочные сцены в советском этнографическом музее 1930-х годов: идеология, наука и зрелище // Новое литературное обозрение. 2021. № 1. С. 151–164.

Петряшин С. С. Рабочие в советской музейной этнографии 1950-х годов: классовый анализ и политика времени // Этнографическое обозрение. 2021. № 4. С. 157–175.

Померанцева Э. В. Фольклорные материалы «Этнографического бюро» В. Н. Тенишева // СЭ. 1971. № 6. С. 137–147.

Потапов Л. П. Основные вопросы этнографической экспозиции в советских музеях // СЭ. 1951. № 2. С. 13–17.

Проодель М. Э. О работе местных корреспондентов фольклорного отдела Литературного музея АН Эстонской СССР // СЭ. 1968. № 1. С. 126–130.

Путилов Б. Н. Встречи с эпосом в Черногории // СЭ. 1973. № 3. С. 142–154.

Разгон А. М. Музей и наука // СЭ. 1983. № 2. С. 109.

Разумовская Р. С. [Рецензия] // СЭ. 1971. № 1. С. 174. Рец. на кн.: Siebert E. Werner Forman. Indianerkunst der Amerikanischen Nordwestkie. Praha, 1967

Ривьер Ж. А. Эволюционное определение экомузея // Museum. 1985. № 148. С. 2–3.

Сабурова М. А. Шерстяные головные уборы с бахромой из курганов вятичей // СЭ. 1976. № 3. С. 127–132.

Сазонова М. В. Государственный музей этнографии народов СССР // СЭ. 1963. № 2. С. 7–19.

Самойлов Ю. Г. Горьковский архитектурно-этнографический музей под открытым небом // СЭ. 1972. № 6. С. 104–111.

Сафронов Ф. Г. Музей под открытым небом в с. Черкех (Якутская АССР) // СЭ. 1983. № 5. С. 123–129.

Севан О. Г. «Малые Корелы». Архангельский музей деревянного зодчества. М.: Прогресс-Традиция, 2011. 368 с.

Семашко И. М., Соколова З. П. Сессия, посвященная итогам полевых археологических и этнографических исследований 1972 года // СЭ. 1973. № 5. С. 142–148.

Снесарев Г. П. Люди и звери (этнографические поиски в области культа животных) // СЭ. 1972. № 1. С. 166–177.
Соколова З. П. Находки в Шишингах (культ лягушки и угорская проблема) // СЭ. 1975. № 6. С 143–154.
Соловей Т. Д. История российской этнологии в очерках. XVII — начало XXI вв. М.: Этносфера, 2022. 612 с.
Станюкович Т. В. Выставка коллекции Музея антропологии и этнографии к 250-летию Академии наук СССР // СЭ. 1974. № 6. С. 119–124.
Станюкович Т. В., Чистов К. В. Экспозиция «Новое и традиционное в современном жилище и одежде народов СССР» в государственном музее этнографии народов СССР // СЭ. 1970. № 3. С. 159–163.
Станюкович Т. В., Чистов К. В. Этнография и актуальные проблемы развития этнографических музеев // СЭ. 1981. № 1. С. 24–37.
Старовойтова Г. В. Научная конференция по проблемам этнографии Северо-запада СССР // 1975. № 1. С. 146–149.
Стратанович Г. Г. Поездка в Китайскую Народную Республику // СЭ. 1958. № 2. С. 106–122.
Стродс Х. Этнографическая наука в Латвийской ССР // СЭ. 1972. № 1. С. 24–30.
Студенецкая Е. Н. Экспозиция по народам Закавказья в Государственном музее этнографии народов СССР // СЭ. 1981. № 4. С. 170–172.
Сухарева О. А. Этнографическая работа Самаркандского музея // СЭ. 1949. № 1. С. 198–200.
Такоева Н. Этнографические материалы в краеведческих музеях Дагестанской и Северо-Осетинской АССР // СЭ. 1949. № 1. С. 194–198.
Тишков В. А. Норвежское жилище в музее под открытым небом // СЭ. 1983. № 5. С. 129–141.
Ткешелашвили Г. И. Кустарный музей Грузинской ССР // СЭ. 1946. № 4. С. 216–219.
Толстов С. П. Великая победа ленинско-сталинской национальной политики // СЭ. 1950. № . 1. С. 3–23.
Толстов С. П. Итоги и перспективы развития этнографической науки в СССР // СЭ. 1956. № 3. С. 5–14.
Толстов С. П. Советская школа в этнографии // СЭ. 1947. № 4. С. 8–28.
Трисман В. Г. По этнографическим научным учреждениям и университетам Нидерландов // СЭ. 1967. № 3. С. 138–145.
Тумаркин Д. Д. Новая встреча с Океанией // СЭ. 1977. № 6. С. 71–98.
Уорнер Э. Некоторые аспекты изучения и популяризации народной культуры в Великобритании // СЭ. 1980. № 3. С. 101–119.
Фараджев С. Б. Всесоюзная конференция «Проблемы хранения художественных ценностей в музеях» // СЭ. 1971. № 5. С. 168–169.

Фараджев С. Б. Всесоюзный семинар-совещание работников музеев // СЭ. 1972. № 3. С. 169–171.
Хирш Ф. Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М.: НЛО, 2022. 472 с.
Чачашвили К. А. Государственный историко-этнографический музей г. Тбилиси // СЭ. 1946. № 2. С. 215.
Чебоксаров Н. Н. Этнографическая работа в Советской Прибалтике // СЭ. 1949. № 4. С. 180–188.
Чепелевецкая Г. Л. О некоторых приемах экспозиции произведений прикладного искусства // СЭ. 1962. № 2. С. 110–115.
Чербуленас К. К. Организация музея народного быта Литовской ССР // СЭ. 1976. № 3. С. 116–126.
Червонная С. М. Полиэтнический комплекс искусства народов СССР и пути его исследования // СЭ. 1991. № 6. С. 13–25.
Чистов К. В. Фольклористика и современность //СЭ. 1962. № 3. С. 3–17.
Членова Л. Н. По поводу письма Л. Кызласова // СЭ. 1958. № 1. С. 203–204.
Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии // РИА Новости. 09.02.2022. URL: https://ria.ru/20220209/nauka_v_muzeyakh-1771808646.html (дата обращения: 07.08.2022).
Шевцова А. А., Гринько И. А. Музеи и советская сатира // Человек и культура. 2019. № 2. С. 80–96.
Шихарева М. С. Поездка в Социалистическую Федеративную Республику Югославия // СЭ. 1965. № 2. С. 174–177.
Этнографические коллекции в музеях СССР: [Краткий справочник] / А. И. Михайловская / Материал к VII Междунар. конгрессу по этногр. и антропол. наукам. М., 1964. 98 с.+20 л. ил.
Этнографическое совещание 1956 года // СЭ. 1956. № 3. С. 123–142.
Юдин Ю. И. Фантастические образы русской бытовой сказки // СЭ. 1985. № 1. С. 14–25.
Якимова К. В. Четвертое заседание Рабочего оргкомитета VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук // СЭ. 1963. № 5. С. 134–136.
Hirsch F. Empire of nations: ethnographic knowledge and the making of the Soviet Union. Cornell University Press, 2005. 392 p.
Simon N. The Participatory Museum. Santa Cruz, CA: Museum 2.0. 2010. 390 p.

Глава 16.
ПОЗДНИЙ СССР И СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА В. А. ТИШКОВА

Кажется, наступило время сочинять что-то похожее на мемуары или на так называемую автоэтнографию, т. е. сочинение научного текста в контексте личного опыта. У ряда коллег это получилось вполне продуктивно. Достаточно назвать последние книги З. П. Соколовой и Д. Д. Тумаркина [*Соколова* 2017, *Тумаркин* 2018]. Мои предыдущие публикации в жанре интервью [См., например: *Тишков* 2021] и некоторые отсылки к лично прожитому тоже вызывают у читателя интерес и даже настоятельные советы в мой адрес написать мемуары.

Исходя из сказанного и было принято мною предложение М. Ю. Мартыновой участвовать в проекте, посвященном роли отечественной этнографии в судьбе нашей страны во время ее существования под названием Союз Советских Социалистических Республик — СССР. В 2022 г. исполнилось 100 лет с момента создания СССР, завершившего свое существование в 1991 г. Мне тогда было 50 лет, и это значит, что значительная часть взрослой жизни и научной деятельности пришлась на советское время. Но если вести речь об этнографическом цехе, то мое пребывание в нем пришлось на 1980-е годы и самое начало 1990-х годов. В 1982 г. по приглашению Ю. В. Бромлея и С. И. Брука я начал свою работу в Институте этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР в должности заведующего сектором народов Америки, затем — заместителя директора, а с 1989 г. –директора института. Это было последнее десятилетие СССР, и это был завершающий этап в истории советской этнографии. О нем и пойдет речь.

Предлагаемый анализ не претендует на описание всего научного фронта дисциплины даже в разрезе только одного из его пусть и ведущих институтов. Кое о чем мною уже было написано по теме, обозначенной как «кризис советской этнографии» [*Тишков* 1992: 5–20], под которым имелись в виду прежде всего тогдашние теоретико-методологическая база, исследовательская повестка науки и идеологические предписания. В данном тексте меня интересует только одна сторона всей этой истории, а именно — роль этнографической науки в последнее десятилетие жизни государства под углом взаимодействия науки и власти и более широко — роль нашей науки в развитии ситуации в стране и в ее регионах.

Проблема науки и власти как тема социально-культурной антропологии и мировой общественной мысли в целом уже многократно обсуждалась самыми выдающимися именами и известными сочинениями. От конкретных работ по антропологии Американского конгресса как «племени на хол-

ме» [*Weatherford* 1985] до постмодернистских высказываний Мишеля Фуко на предмет неизбывного риска, связанного с участием гуманитариев в общественном управлении, а тем более — в процессах реформирования обществ. В большом числе имеются работы о роли ведущих антропологических школ, национальных сообществ и отдельных ученых в политике и управлении, включая идеологическое обеспечение разных «освободительных» и «возрожденческих» проектов, разработку идей и практик нациестроительства, хозяйственной, социальной, культурной политики, внешнеполитических связей, войн и конфликтов. Здесь особенно богатые послужные списки есть у американских и британских антропологов. Кое-что было написано и о роли советской этнографии в истории нашей страны [*Линевский* 1929; *Соловей* 2004; *Соловей* 2022; *Арзютов, Алымов, Андерсон* 2014; *Керимова, Сирина* 2019], а по самому ее позднему периоду имеется точная по своим оценкам статья С. С. Алымова [*Алымов* 2021: 70–92]. Мой анализ во многом касается тех же самых сюжетов, но больше с упором на личностные участие и рефлексии.

Должен признать, что из богатого научного багажа социально-культурной антропологии мне лично в описываемый период мало что было известно. Мой переход в институт и в новую дисциплину произошел именно в начале 1980-х гг. из исторической науки, хотя схожая тема была мною исследована применительно к американской историографии [*Тишков* 1985]. Осмысление темы и освоение антропологического анализа произошло позднее. Тогда же мне выпало осваивать почти с чистого листа новое поле, включая взаимоотношения с властью и анализ самой власти. Причем произошло всё это во время драматических перемен, невиданных социальной турбулентности и политических импровизаций, завершившихся драмой распада государства.

Этнографы и «национальный вопрос» времени брежневского застоя

Приход в Институт этнографии АН СССР был для меня резким жизненным поворотом. Хотя пространственно это был переход всего лишь с третьего этажа, где размещался Институт всеобщей истории АН СССР, на четвертый этаж, который занимал Институт этнографии АН СССР. Между этими двумя службами была работа в Президиуме АН СССР в качестве ученого секретаря Отделения истории АН СССР, но и это было всё в том же здании по адресу улица Дмитрия Ульянова, 19. Приглашение было неожиданным и мною никаким образом не планируемым. С этнографами до тех пор жизнь меня не сводила, кроме студенческих друзей по историческому факультету МГУ однокурсника Марата Дурдыева и товарища курсом постарше Михаила Губогло. Приход в сектор Америки, овеянный славой Алексея Владимировича Ефимова и Юлии Павловны Аверкиевой, прошел не без некоторых трений и сложных адаптаций, но в целом успешно. Тем более что я не внял совету временно исполнявшему обязанности заведую-

щего сектором Иосифа Ромуальдовича Григулевича: «Разгони всех нынешних и набери новых сотрудников». Я проработал почти 10 лет в этой должности, и кое-что смог сделать вместе с тогдашним коллективом. Начатые в то время симпозиумы по идеанистике продолжаются и ныне, а вышедшие по их итогам труды широко используются. Точно также достойно продолжается тема Русской Америки, ставшая особо актуальной в последние десятилетия. Однако при всей ее исторической значимости американистика не была мэйнстримом советской этнографии и менее всего касалась дел страны и забот властвующих.

А ситуация в этом плане была следующей. Из многочисленных научно-исследовательских институтов АН СССР социогуманитарного профиля Институт этнографии не был среди наиболее приближенных к государственно-партийным органам. Поскольку и сама этнография не могла сравниться с такими областями жизни и науки, как экономика, право, международные отношения. Даже институты чисто исторического профиля были больше востребованы и пребывали под большим надзором, ибо нужно было воспроизводить нарратив общенациональной истории, а также противодействовать «буржуазным фальсификациям истории». Этнография была лишь в разряде «вспомогательной исторической дисциплины». За пределы этнической тематики ученые этой сферы не выходили, а во временном срезе в приоритете был конец XIX — начало XX в., которые представлялись как эпоха этнографической нормы, не испорченная урбанизацией и советской модернизацией. Современность представлялась как одна из задач развития науки, лицом к которой должны были всё больше поворачиваться ученые.

Этнографы были ближе всего к археологам, сами вели археологические работы. Директором института долгие годы был археолог Сергей Павлович Толстов. Всесоюзные научные конференции, своего рода дисциплинарные научные съезды, также проводились вместе с археологами. Ведущий институтский антрополог Валерий Павлович Алексеев ушел директорствовать в Институт археологии АН СССР, сказав мне, что он «у себя будет делать антропологию» и поэтому не поддерживал добавление слова «антропология» при переименовании нашего института в 1990 г. Так что «изучение современности» — это был некоторый должок за советскими этнографами, за который время от времени могли пожурить власти, или же новый вызов как прежде всего «спасительная этнография» от забывания и умирания. «Надо срочно всё это изучать, так как быстро многое исчезает», — как-то посетовал в разговоре со мною Валентин Лаврентьевич Янин.

Почему этнографии было позволительно пребывать в этнографическом кафтане XIX века, в который ее засунули после разгрома рождающейся этнологии в начале 1930-х годов [Об этом см. *Соловей* 2018: 160–178]? Ведь это так отличалось от времени первых двух десятилетий советской власти, когда этнографы-антропологи и лингвисты были в первых рядах модернизаторов,

проводников политики «коренизации», языковых реформ, а самое важное — авторитетами и прямыми участниками национально-государственного строительства. Одна из причин относительного равнодушия власти к науке этнографии времени 1960–1980-х годов была прежде всего в восприятии ситуации в «стране победившего социализма», в которой, если следовать решениям партийных органов и тексту Конституции, «национальный вопрос в СССР был решен в том виде, как он достался нам от царской власти». В позднем СССР на этом фронте до горбачевской перестройки была относительная «тишь да гладь». В области национальной политики и межнациональных отношений не существовало «антагонистических противоречий». Это несколько позднее партийный генсек Ю. В. Андропов скажет, что советская национальная политика напоминала собой заздравные тосты, в чем, кстати, он был абсолютно прав.

В подтверждение можно процитировать материалы XXVI съезда КПСС, который состоялся в феврале 1981 г. Собственно говоря, и цитировать особенно нечего, ибо тема фактически отсутствовала в повестке высшего собрания правящей партии. В самом начале своего отчетного доклада Л. И. Брежнев ограничился (под аплодисменты) одним предложением: «Семья советских народов стала еще сплоченнее, живет еще дружнее», а в специальном разделе доклада о развитии социально-классовой структуры и «национальных отношений» главная установка была всё на то же «неуклонное укрепление братской дружбы всех народов нашей многонациональной Родины». Л. И. Брежнев объявил, что благодаря «тесному сотрудничеству всех наций нашей страны и прежде всего бескорыстной помощи русского народа, ... отсталых национальных окраин ныне, товарищи, не существует» [Материалы XXVI съезда КПСС 1981: 3, 55]. И уж совсем продолжительные аплодисменты вызвало заявление, что «единство советских наций сегодня прочно, как никогда», хотя, естественно, «не все вопросы в сфере национальных отношений уже решены».

Среди нерешенных был назван вопрос о недостаточном представительстве в государственных и партийных органах республик «граждан некоренной национальности», число которых значительно выросло за последние годы. Далее была названа борьба против шовинизма и национализма и «любых националистических вывихов, будь то, скажем, антисемитизм или сионизм». Ну, и конечно «священным долгом партии» были названы воспитание советского патриотизма и социалистического интернационализма, чувства принадлежности к Советской Родине. В качестве задачи и перспективы было названо дальнейшее развитие каждой из республик и их «всестороннее сближение», в результате чего «происходит расцвет и взаимообогащение национальных культур, формирование культуры единого советского народа — новой социальной и интернациональной общности» [Материалы XXVI съезда КПСС 1981: 56, 57]. Равенство, братское сотрудничество и добровольность были

названы главными «ленинскими принципами национальной политики партии», за которыми она обещала строго следить и всегда им следовать.

Надо отметить, что помимо общего разговора о развитии республик, их экономики и культуры, в партийных документах появилась тема роста национального самосознания, т. е. на современном языке — этнической идентичности. Для отечественных этнографических разработок это не было новым сюжетом: национальное самосознание «как этнический определитель» и как «черта нации» постоянно назывались в послевоенной историко-этнографической литературе [*Кушнер* 1949, *Чебоксаров* 1964]. В партийном лексиконе эта категория была обозначена как «закономерный, объективный процесс», который, однако не следовало гиперболизировать [Материалы Пленума 1983: 17, 18, 72]. В этой связи Л. М. Дробижева писала: «Следовательно, наука послужит практике, если будут полнее раскрыты механизмы формирования национального самосознания, факторы, определяющие его развитие, и обстоятельства, при которых это развитие не ведет к этноцентризму и национальным предубеждениям» [*Дробижева* 1985: 49].

Исследования национального самосознания в рамках изучения культуры народов СССР проводились на протяжении 1970–1980-х гг. по единой программе и под руководством Ю. В. Арутюняна в ряде автономий РСФСР, Грузии, Узбекистане, Молдавии, Эстонии. В числе первых Л. М. Дробижева вместе с местными коллегами выполнила исследование в Татарии и издала книги по материалам этого и других этносоциологических исследований [Социальное и национальное 1972, *Дробижева* 1981]. В итоге многолетних усилий советских этносоциологов их вывод сводился к тому, что «в нашей стране при благоприятных социальных и политических условиях рост национального самосознания не препятствует развитию дружественных межнациональных отношений. Важно не допускать неблагоприятных социальных ситуаций, способных порождать гиперболизацию национального самосознания и разобщать народы, а наоборот использовать идеологические рычаги и социально-культурные механизмы, способные обеспечивать дальнейшее развитие дружественных межнациональных отношений» [*Дробижева* 1985: 63].

Итоговый труд по программе вышел в свет уже во время горбачевской перестройки, но никаких актуальных ревизий в подходе сделано не было. Проявления кризисных явлений в этой сфере были еще впереди. Как писал Ю. В. Арутюнян, главным для участников программы было выяснить специфику «культурного прошлого» и как эта специфика влияет на «развитие и сближение наций», как национальные культуры зависят от индустриализации и урбанизации и какова динамика и взаимовлияние разных сфер культуры. А критериями «оптимального социально-культурного развития наций» были в итоге зафиксированы следующие: «освоение мирового фонда культуры при сохранении прогрессивных элементов национальной культуры; развитие социально-культурных процессов, которое, устраняя угрозу

деформации национальных чувств (этноцентризм и др.), способствует усилению контактности культур и взаимообогащению наций». При этом растущее культурное сходство между народами, по мнению ученых этнографов, «не исключает национальной консолидации и не снижает интенсивности национальных чувств» [Социально-культурный облик 1986: 7].

Можно сказать, что эти выводы, изложенные языком догматики тогдашней общественной мысли по части что есть «национальное», были достаточно тривиальными и совсем недальновидными. Как скоро обнаружилось, котел советской этнической мозаики прилично нагревался, а реальный советский народ как гражданская и историко-культурная общность настоятельно нуждался в приоритетном признании и научной аргументации. В этой ситуации сводить повестку к «предотвращению национальной кичливости и зазнайства» и не порождать «тенденции обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям» [*Андропов* 1983: 11], было явно недостаточно. Другими словами, казалось бы, модная для советской науки, но глубоко примордиальная по своему существу этносоциология продолжала своим научным пафосом призывать к дружбе народов вместо утверждения концепта и реалий дружного народа одной страны. Здесь советские этнографы и властная элита пребывали в одной обойме с точки зрения понимания ситуации и ее перспектив. Ответственность за недостаток дальновидности скорее всего здесь должна быть обоюдной.

Партийные съезды и резолюции по национальному вопросу

Напомним, что на XXVI съезде КПСС в 1981 г. было пять тысяч делегатов, представлявших 66 «наций и народностей Советского Союза». Три тысячи представляли партийные организации краев, областей и автономных республик Российской Федерации. Самой крупной делегацией от союзных республик была украинская (896 чел.), затем Казахстана (221 чел.) и Белоруссии (183 чел.). Самыми малыми были киргизская, таджикская, эстонская и туркменская (примерно по 30 чел. каждая). Ученые также были представлены вполне достойно: 118 членов Академии наук СССР, отраслевых академий и академий союзных республик. Правда, как я понимаю, представителей этнографической науки на съезд избрано не было. Не были мои коллеги привлечены и к подготовке документов съезда. Из ученых-гуманитариев на съезде были некоторые известные экономисты, юристы и международники. У нас также нет сведений, что Ю. В. Бромлей или кто-то из этнографов принимали участие в подготовке последующих высших партийных собраний, за исключением XIX Всесоюзной партийной конференции 1988 г., на которой была принята специальная резолюция «О межнациональных отношениях».

Эта конференция заслуживает внимания, ибо, как мне представляется, некоторые наработки этнографов и этносоциологов достигли властных

ушей. В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, посвященном «задачам по углублению перестройки», был отдельный раздел «Развитие межнациональных отношений». Определяя государство как «союз равноправных наций и народностей» — «величайшее завоевание социализма», генсек повел речь не только о достижениях, но и «очевидных недоработках, упущениях и трудностях, связанных с нерешенностью конкретных социально-экономических вопросов, а также с неумением иногда связать воедино национальные и общенародные интересы» [XIX Всесоюзная 1988: 66]. Среди этих «недоработок» были названы вопросы, связанные с языком, культурой, литературой, историческими памятниками, охраной природы. Что касается «роста национального самосознания», то здесь «некоторые вопросы начали осложняться, приобретать в ряде случаев националистическую окраску». Никем из выступающих ничего конкретно названо не было, а рецепт лечения был предложен всё тот же: «как зеницу ока беречь братство и дружбу наших народов» [XIX Всесоюзная 1988: 67].

И всё же на конференции прозвучали такие две серьезные темы, как определение новых норм отношений между Союзом и республиками, другими «национальными образованиями» по части прав и обязанностей, а также тема, которую М. С. Горбачев озвучил следующим образом: «...Многие люди живут за пределами своих национальных образований, а есть и народности, не имеющие территориальной автономии». И вот здесь «коллизии» было предложено разрешать в рамках всего союзного государств и при этом «обеспечивать максимальный учет интересов каждой нации и народности и всего сообщества советских народов» [XIX Всесоюзная 1988: 67].

Что касается итоговой резолюции, то в ней после выступлений почти всех лидеров союзных республик и представителей автономий появились более резкие и определенные оценки и наставления. Во-первых, речь уже пошла не о «недоработках», а о «негативных явлениях, которые накапливались десятилетиями, долгое время игнорировались, загонялись внутрь». В отношениях центра и регионов было записано четко о расширении самостоятельности и прав союзных республик и автономных образований, а также о необходимости принятия правовых актов и внесения изменений в законодательства о республиках, автономных областях и округах. Это должно было касаться также союзной и республиканских конституций. Одновременно с этим было предложено образовать общесоюзный государственный орган по делам национальностей и национальных отношений, а также созвать специальный Пленум ЦК по вопросам национальных отношений.

Внимание не может не привлечь пункт 7 резолюции, который звучал так: «Современная национальная политика нуждается в глубокой научно-теоретической разработке. Это — ответственный социальный заказ научным учреждениям и специалистам. Для его успешного выполнения предстоит создать соответствующие организационные и кадровые предпосылки, объеди-

нить усилия научной общественности. Целесообразно рассмотреть вопрос о создании на общегосударственном уровне научного центра по комплексному изучению актуальных проблем национальных отношений, расширять научно-исследовательскую и информационную работу в этой области» [XIX Всесоюзная 1988: 156–160]. Каковы были последствия этой записи по части научно-теоретической разработки?

Партийные философы и академические этнографы в конфликте

Безусловно, это была серьезная партийная директива в адрес нашей науки. Ясно, что на сей раз, в отличие от 1970-х гг., у власти не было удовлетворенности ситуацией с «научным руководством обществом». Ясно, что нужны были ответы на новые вызовы и нужно было укреплять научно-экспертную работу в этой области. Я спросил Вячеслава Александровича Михайлова, что тогда реально было сделано. И он ответил, что только после событий 1986 г. в Якутии и Казахстана было принято решение создать отдельный сектор по межнациональным отношениям в аппарате ЦК КПСС, который он возглавлял до момента распада СССР. Основной опорой на начальной стадии его работы были созданная заново кафедра национальных отношений при Академии общественных наук ЦК КПСС и научные работники Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. С директором Ю. В. Бромлеем он познакомился во время подготовки XIX партийной конференции, и некоторые материалы от института к нему поступали.

Таким образом, можно заключить, что весь послевоенный период до конца 1980-х гг. развитие страны, государственное строительство и национальная политика фактически обходились без прямого привлечения этнографов к выработке решений и их реализации. В «национальном» словаре почти не было этнической терминологии: регионы, государственно-административные образования, культура, интересы, язык, традиции, всё это обозначалось словом «национальное», а этническому словарю место было только в редких смыслах. Теория нации и национальной политики была слишком важной, чтобы доверять ее этнографам. Здесь ключевыми были такие фигуры, как вице-президент АН СССР Петр Николаевич Федосеев, партийные философы Эдуард Александрович Баграмов и Михаил Иванович Куличенко. Примечательно, что в один и тот же 1983 г. вышли в свет две книги: «Очерки теории этноса» Ю. В. Бромлея и «Нация и социальный прогресс» М. И. Куличенко. Только лишь длительное соискание последним членства в Академии сдерживало его от открытой критики позиций академика и его единомышленников по формулированию концепции этноса. Однако после выборных неудач рассерженный М. И. Куличенко напишет в 1985 г. письмо на имя М. С. Горбачева с сигналом о «явном неблагополучии» в советской науке по части изучения проблемы наций и национальных отношений, когда

«нация и всё национальное, в том числе взаимоотношения народов, сводятся к этническим факторам», когда по всем общественным наукам распространились «метастазы теории этноса» [*Алымов* 2021: 76–77]. Публичной разборки этого письма не последовало. Его переслали в Отделение истории АН СССР, и успокоительный ответ был отправлен в ЦК КПСС академиком-секретарем С. Л. Тихвинским.

В тогдашних публикациях многое надо было читать между строк, не говоря уже о необходимости продираться через кондовый язык марксистской ортодоксии. Однако попробуем кое-что процитировать из языка партийных теоретиков нации. Примечательно, что книга Куличенко вышла под грифом Научного совета по национальным проблемам при Секции общественных наук Президиума АН СССР и в серии «Национальные отношения в современную эпоху». Этот совет существовал с 1969 г. и его председателем был Ю. В. Бромлей, одним из заместителей — М. И. Куличенко, а ученым секретарем совета были сначала Л. М. Дробижева, затем — М. Н. Губогло. Этот научный совет проводил конференции, издавал сборники и некоторые монографические труды, внося тем самым свой вклад в теоретическую разработку «национальных отношений», но эта теория была не более как политизированной схемой и совсем не нуждалась в особом эмпирическом подтверждении.

Самым главным в этих делах долгое время был академик П. Н. Федосеев. Он больше всех писал на тему советского народа как новой исторической общности, как это он и сделал в предисловии к книге М. И. Куличенко: «Советский народ — это не простая сумма наций, которые живут бок о бок в одном государстве, под одной, так сказать, крышей. У наших соотечественников независимо от их национальной принадлежности есть много общих черт, которые объединяют их в единое целое. При этом интернационализм как форма отношений к окружающей социальной действительности, как норма поведения граждан СССР не существует иначе, как в национальном и через национальное. Всё общее, свойственное советскому народу, раскрывается в специфических особенностях и формах жизни наций и народностей» [*Куличенко* 1983: 13].

Если это высказывание преломить через словарь теории этноса, где национальное и есть хотя и высшая, но всё же форма этнического, тогда вся жизнь советского народа, включая, например, полиэтничный коллектив Института этнографии, представляла собой проявления специфических особенностей каждого из носителей своей нации. Схожий вопрос можно было бы задать и относительно жителей многомиллионной Москвы и других городов, включая Киев, Баку, Казань и другие. Да и советское село жило далеко не так, чтобы «всё общее» «раскрывалось в специфическом», имея в виду под специфическим этническую отличительность.

М. Н. Куличенко сформулировал проблему «национального» и соотношения его с «этническим» следующим образом: «*Национальное.* Оно возни-

кает и существует как отражение процессов формирования и развития наций, представляя собой специфические черты материальной и духовной культуры, социальной и политической жизни, сознания и психологии народов, особенности их исторического развития, взаимоотношений с другими народами. В национальном тесно переплетено социальное и этническое». *Этническое* это то, что формировалось в глубине веков. «Если этническое (язык, устоявшиеся виды материальной культуры, фольклор, народное искусство, традиции, обычаи, обряды, особенности сознания и психологии) — наиболее консервативная и, по сути, внеклассовая сторона национального, то самой подвижной частью национального выступает всё социально-экономическое и идейно-политическое, что, естественно, всегда имеет классовый характер» [*Куличенко* 1983: 20].

М. Н. Куличенко писал о «национальной структуре общества», «основным элементом» которого является нация. Но помимо нации, есть еще народности, национальные группы, этнические группы, этнографические группы, национальные меньшинства. Никаких конкретных примеров нации и народности автор не приводит на протяжении всей своей книги (кстати, очень распространенный вариант изложения темы среди философов — теоретиков нации и этноса!). Главное в этой позиции было заключено в трактовке соотношения национального и этнического. С точки зрения официальных теоретиков, «нет ничего ошибочного в характеристике нации как этнической общности (реверанс в строну теории этноса — *авт.*), если это делается в целях изучения именно этнических факторов жизни того или иного народа как цельного организма. Неверно, однако, было бы представлять нацию только этнической общностью людей при общетеоретической характеристике ее сущности и исторической роли» [*Куличенко* 1983: 51].

И вот здесь уже следует почти «оргвывод» в адрес этнографов: «Преувеличение роли этнических факторов может негативно сказаться на оценке сущности, места и роли национальных процессов..., а безоговорочная характеристика сущности нации как этнической, даже социально-этнической общности неправильна не только сама по себе, но и, что особенно важно подчеркнуть, неверна и в методологическим отношении. Такой подход ориентирует на ошибочное понимание соотношения социального и этнического в национальном, на ограниченное, ущербное его толкование, при котором определяющая роль социально-экономических факторов выпадает из поля зрения» [*Куличенко* 1983: 52]. Далее следовали грозные обвинения в том, что «употребление понятия «национальность» в смысле только учета этнических признаков людей в отдельных случаях служит лишь классовым врагам трудящихся» [*Куличенко* 1983: 53].

Тот, кто помнит это время и язык общения ученых и политиков, понимает, что расхождения между теоретиками национального вопроса и теоретиками этноса были очень существенными и имели серьезную политическую

подоплеку. Бромлеевский *этнос* не вписывался в национальное (скорее — наоборот: национальное было в этническом как одна из его высших форм) [см., например: *Бромлей* 1988: 16–28], и ИМЭЛовские теоретики не сдавали свои схоластические наработки, постоянно ссылаясь на труды классиков марксизма, а не на реальные явления жизни. Этнографы попытались уйти от этих обвинений тем, что в их трактовке появились как бы два варианта существования этноса: *ЭСО* (этносоциальный организм) и *этникос* как сообщества одного народа, которые проявляют свое этнокультурное единство независимо от места проживания. В таком случае, скажем, и по Куличенко, и по Бромлею украинская нация как цельный организм пребывает на Украине, где этническое подкреплено государственностью и социально-экономической базой, а украинцы в США и Канаде — это тот самый этникос, в организм («материнский этнос») не входящий. Правда, куда входят украинцы, живущие в Москве или на Сахалине, оба эти подхода ответа не давали.

Таким образом, «неклассовый» характер этнографических конструкций явно вызывал недоверие у верхушечных ортодоксов, к которым советские этнографы в описываемый нами период не принадлежали. К разработке политики партии в национальном вопросе их фактически не подпускали. Так что с точки зрения участия в государственном управлении и политике у этнографии был своего рода косвенный вклад, уровнем ниже, чем официальные формулы. Это было взаимодействием на некотором расстоянии. Однако этот вклад был значительный прежде всего по части обогащения знаний о народах, о состоянии межнациональных отношений, о конкретных запросах в области культуры, языка, социального развития. Именно эта сторона дела вскоре высветится в стране и в науке как потребность в конкретном знании и адекватном языке анализа и воздействия на реальность. Язык, на котором была написана книга М. И. Куличенко и труды других «теоретиков нации», не были рассчитаны на практическое использование. Они были рассчитаны на выучивание и бессмысленное повторение. А коли так, то с этнографов и спрос был невелик.

Отношения власти и этнографов

На моей памяти Ю. В. Бромлей несколько ревниво переживал ситуацию отстраненного отношения к нашей науке, к институту и к нему лично со стороны высших партийных инстанций. По национальной политике в авторитетах пребывали сотрудники Института марксизма-ленинизма и Академии общественных наук при ЦК КПСС (назову также имена А. Ф. Дашдамирова, М. С. Джунусова, Г. Е. Глезермана, С. Т. Калтахчяна, И. П. Цамеряна). Поскольку классическая этнография мало кого интересовала во властных структурах высшего порядка, это создавало для ученых некоторые дополнительные возможности по части свободы интеллектуальных занятий и формули-

ровок. И действительно у Института этнографии АН СССР была репутация вполне либерального учреждения, не отягощенного идеологическими догмами и верхушечными предписаниями. Такое же отстраненное отношение к институту и к нашей науке было и внутри академической иерархии. В Отделении истории АН СССР, куда входил Институт этнографии вместе с его ленинградской частью (Кунсткамерой), в числе более приближенных к делам и заданиями ЦК КПСС были институты истории СССР, всеобщей истории, востоковедения. К тому же у нашего института были также уязвимые места по части лояльности, а именно эмигрировавшие из СССР сотрудники-диссиденты (Л. А. Шур, А. М. Хазанов, В. Р. Кабо). В штате числились возмутители идеологической чистоты со своими исследованиями сексуальности или социальной структуры советского общества (И. С. Кон, О. И. Шкаратан). Переход в московскую часть института Г. В. Старовойтовой заслуживает отдельного упоминания, и он связан с довольно крутым поворотом в описываемой ситуации.

В подтверждение нашей оценки Института этнографии и отношения к нему верхов приведу пример одного из отчетов партийной организации института на Бюро КПСС Черемушкинского района г. Москвы. Никаких особых заслуг и похвалы высказано в наш адрес не было. Зато были замечания по следующей части: больше заниматься современными проблемами, избегать мелкотемья типа изучения «каких-то турок-месхетинцев» (это примерно за пару лет как проблема рванула в Узбекистане!), а также внимательнее следить за кадровым составом научных сотрудников («Если судить по составу сотрудников, что, евреи имеют больше способностей к этнографии?» — спросил докладчика Ю. В. Бромлея первый секретарь райкома). Именно либеральная репутация и вышедшая на передний план жизни страны сама этнонациональная тематика поставят совсем скоро Институт этнографии в число центральных в решении острых проблем и даже в определении судеб страны. Так получилось, что это фактически совпало с жестокой болезнью Ю. В. Бромлея и с моим приходом на должность директора института.

И всё же было бы неправильно сводить вклад советских этнографов брежневской эпохи только к скромным отношениям с высшими партийными инстанциями. Общественная жизнь в СССР была многообразной, а наука не только многоплановой, но и распределенной по территории СССР. Кроме «центральной» этнографии, сосредоточенной в Москве и Ленинграде вокруг Института этнографии и двух университетских кафедр в МГУ и ЛГУ, были в 1970–1980-е годы вполне достойные и активные научные сообщества этнографов в ряде российских регионов (Новосибирск, Владивосток, Омск), почти во всех союзных республиках, а также в некоторых автономных образованиях РСФСР (Башкирия, Бурятия, Дагестан, Мордовия, Северная Осетия, Татария, Якутия и др.). Многие «периферийные» этнографы прошли школу в столичной аспирантуре, но в рамках республиканских академий у них были

и свои собственные исследовательские повестки, свои научные связи, профессиональный стиль и некоторые идейно-теоретические различия.

Причем, отряд советских этнографов тех лет не был особо многочисленным: на всесоюзные археолого-этнографические научные сессии собиралось от силы около сотни участников. Насколько могу судить по времени своего прихода в это сообщество, здесь можно было выделить несколько существенных моментов. Прежде всего это явная лояльность и расположенность к сотрудничеству с «центром»: книги Ю. В. Бромлея все читали и принимали его теорию как символ веры, от общих проектов типа составления этнографических атласов не смели отказываться, тратя на сбор разных карточек и другого материала уйму времени и средств. И хотя, кроме дисциплинированных прибалтов, такие атласы нигде не были опубликованы, никто не подвергал сомнению столь разорительную форму коллективной кооперации под координацией московского института. Никакой особой пользы стране и ее этническим сообществам программа подготовки этнографических атласов не принесла и осталась примером неэффективной научной кооперации в масштабах почти всей страны.

Более продуктивной и тесно связанной с политической повесткой была программа всесоюзного исследования «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР», проводимого институтом вместе с республиканскими учреждениями на протяжении 1970 — начала 1980-х гг. Из этой программы родилось научное направление этносоциологии [о программе исследования см. *Арутюнян* и др. 1984] с его лидерами Юриком Вартановичем Арутюняном и Леокадией Михайловной Дробижевой, а также их постоянным партнером Михаилом Николаевичем Губогло. Из этой программы выделилось также международное исследование «Культурная деятельность в рамках семьи и трансмиссия культуры», в котором советская часть была представлена сравнительно-социологическими исследованиями семьи в Эстонской ССР под руководством республиканских академиков Виктора Андреевича Маамяги и Юхана Юхановича Кахка [Нация и культура 1985].

Но дело в том, что у республиканских академий и регионально-периферийных центров были свои собственные проекты и целевые потребители в лице местных сообществ и властных институтов. Поэтому было бы справедливо отдать должное той полезной службе, которую отряды советских этнографов оказали своими трудами и советами в разных частях большого Советского Союза. Полезно напомнить об исследованиях в области т. н. этногенеза (ранние стадии человеческой эволюции), этнической истории и культуры, языка, эпоса и фольклора, обычного права и социальных структур, традиционных систем жизнеобеспечения, хозяйственных и лечебных практик. И еще много чего было изучено, описано, уходило в общественную практику, в сферу образования и воспитания через труды наших коллег в союзных и ав-

тономных республиках, в региональных научных центрах и университетах. Всё это способствовало «национальному развитию», особенно национальному самосознанию уже в период обретения государственного суверенитета. Невозможно выкинуть из истории и тот факт, что этнография вместе с историей и археологией были задействованы в программатику и политическую идеологию национализма и сепаратизма, разорвавших страну по границам советских т. н. «национально-государственных образований», а некоторые этнографы вместе с другими академическими гуманитариями выступали лидерами националистических движений и этносепаратизма (Владислав Ардзинба, Звиад Гамсахурдия, Амбарцум Галстян и другие).

Нельзя не отметить, что богатая эмпирическая база советской этнографии сделала возможным уже в постсоветское время, с одной стороны, разрабатывать и внедрять концепции этногенеза, традиции государственности и территориального охвата самоопределившихся на развалинах СССР наций, но, с другой стороны, осуществить под руководством московского института фундаментальное многотомное издание в серии «Народы и культуры». Так что правильнее было бы говорить о противоречивом по своей сути и наследию воздействии отечественной этнографии советского периода на общественные процессы, включая и судьбу страны. Как, кстати, противоречивой по своей сути и результатам была советская национальная политика на протяжении всей ее истории.

Некоторые из наиболее выдающихся достижений советских этнографов (как правило, в кооперации с археологами, лингвистами и историками) были признаны на общесоюзном уровне и отмечены высшими государственными премиями в области науки. Можно назвать такие труды и проекты, как 26-томная история городов и сел Украины, многотомная серия по фольклору народов Сибири, история и этнография народов Средней Азии и других регионов. Многие из этих научных описаний способствовали тому самому «национальному развитию», по крайней мере, в области культуры, союзных республик и других регионов.

Но были и «вывихи» национализма, о которых было сказано на партийном съезде в Москве. На моей памяти пара примеров по ныне крайне актуальной украинской теме. Историки и этнографы Украинской ССР во главе с вице-президентом АН УССР, академиков Петром Тимофеевичем Тронько в конце 1960 — начале 1970-х гг. осуществили крупный научный и просветительский проект по истории городов и сел республики. Вместе с этим в окрестностях Киева был создан этнографический музей под открытым небом, где каждый из историко-этнографических регионов республики имел свою территорию с традиционными типами жилищ, интерьерами, хозяйственными постройками и прочее. Это был важный вклад в формирование украинского национального самосознания, в раскрытие богатой этнокультурной мозаики населения Украины.

Свой труд украинские коллеги выдвинули на соискание Государственной премии СССР в области науки и техники (был удостоен в 1976 г.). Обсуждение и представление шло через Отделение истории АН СССР, где я выполнял тогда обязанности ученого секретаря. Мне и довелось отвозить пакет документов, включая огромную сумку с томами, в один из важных кабинетов на Старой площади. Это был кабинет заведующего отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС Сергея Павловича Трапезникова. Вот он и огорошил меня своей репликой: «Ну, что же вы поддержали этот памятник украинскому национализму?!». Эта реплика со временем соединилась в моей памяти с «антимоскалькими» высказываниями и поступками двух директоров украинских академических институтов гуманитарного профиля, которые я наблюдал во время наших контактов. Юрий Юрьевич Кондуфор, директор Института истории АН УССР, мне признался, что он «в Москву вообще не ездит, если только не в аэропорт для зарубежной поездки».

И всё же Москва и Ленинград всегда были в лидерах этнографического цеха. Институт этнографии выполнил ряд крупных проектов общесоюзного значения. Причем, как сугубо этнографических, так и социально-политического звучания. Из первых назову подготовленную совместно с географами и изданную в 1978–1985 гг. издательством «Мысль» 20-томную серию книг «Страны и народы», которая содержала географические, этнографические и исторические сведения о всех странах мира в популярном изложении. Этот труд получил Государственную премию СССР, как и коллективная монография «Современные этнические процессы в СССР» (1975). Таким образом этнографы ответили на запрос больше обращаться к современности. Вообще дискуссия как этнография соотносится с изучением современности примечательна, ибо мировой контекст нашей науки как этнологии и социально-культурной антропологии и социальный запрос требовали изучения современной жизни, выхода советской этнографии из статуса вспомогательной исторической дисциплины и выхода за пределы тематики этничности вообще. Всё это произошло в разгар так называемой перестройки, связанной с именем М. С. Горбачева.

Карабах, Сумгаит и начало большого кризиса

Началось всё с массовых волнений лиц титульной национальности в Казахстане, в других союзных и автономных республиках в 1986 г. В Казахстане долгое время первым секретарем республиканской компартии был Динмухамед Кунаев, и местная этническая элита принимала как норму занятие этническим казахом высшей должности в республике. Назначение русского по национальности Геннадия Колбина вызвало недовольство и открытые требования убрать «варяга». Разгон демонстрантов был силовым, с пострадавшими и арестованными. Разные версии приписывали организа-

цию волнений двум основным соперникам на руководство — Д. А. Кунаеву и Н. А. Назарбаеву. Не менее вероятна версия о том, что М. С. Горбачев хотел иметь своего человека во главе столь важного региона, который не был бы связан с местными кланами. В любом случае эти события символически обозначили начало кризиса в т. н. национальном вопросе, который за три года разрушил СССР. Некоторое подобие волнений имело место среди молодежи Якутии, но оно не оказало сильного влияния на ход событий. Подлинно поворотным моментом стали события в Нагорном Карабахе и азербайджано-армянские столкновения, включая жестокий погром армян в Сумгаите в феврале 1988 г. За этим последовали кровавые столкновения в июне 1989 г. в Фергане, где местное узбекское население громило поселки и убивало местных турок-месхетинцев.

И вот здесь на авансцену вышли отечественные этнографы в разных своих ипостасях и идейно-политических ориентациях. Прямое отношение к этим событиям имел и Институт этнографии. Весной 1988 г. в кабинете директора института раздался звонок от Елены Боннер, супруги академика Сахарова, которая просила порекомендовать знающего Кавказ этнографа в состав группы общественников по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Уже до этого от института по этой теме выходили «записки в инстанции», автором которых была Алла Ервандовна Тер-Саркисянц, глубоко вовлеченная в тему и сильно переживавшая за судьбы армянского населения и его историко-культурного наследия в этом автономном округе Азербайджанской ССР. Но тогда из ЦК КПСС особой реакции на записку А. Е. Тер-Саркисянц не последовало. Ю. В. Бромлей в разговоре с Е. Г. Боннер назвал имя Галины Старовойтовой, которая незадолго перед этим перевелась из Ленинградской части института в Москву. Она имела опыт полевой работы на Кавказе (проект изучения кавказского долгожительства) и ее темой были проблемы меньшинств «в иноэтничном окружении». Присутствовавший при этом разговоре заместитель директора С. И. Брук грустно заметил: «Как бы не наступил конец армянам с этой нашей помощью». Он имел в виду явно проармянскую заангажированность сахаровской «миротворческой группы», включая и Г. В. Старовойтову, которые могли привести к большой войне Армении с более мощным по своему потенциалу Азербайджаном.

Активная позиция Г. В. Старовойтовой среди наиболее радикально настроенных демократов и ее ораторские таланты помогли мобилизации армянского населения и многих общественных активистов в пользу озабоченностей и требований жителей Нагорного Карабаха, включая выдвижение требований независимости и присоединения к Армении. Отсюда начинается феерическая карьера этнографа Старовойтовой, избранной народным депутатом СССР, а затем депутатом Государственной Думы РФ и занимавшей должность советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по национальному вопросу. На волне перестроечного кризиса и открытых

конфликтов последних трех лет в центр политических событий, включая и сами конфликты, оказались вовлечены еще ряд этнографов. У периферийных коллег позиция в основном была против центра, за самостоятельность, хозрасчет, самоопределение и независимость. Причем, коллег не только из союзных республик, но и некоторых российских автономий. «Центральная» этнография (Москва и Ленинград), за некоторыми исключениями, держалась позиций в пользу сохранения Союза, его демократизацию, решение таких застарелых и больных вопросов, как реабилитация репрессированных народов, экологические и хозяйственные проблемы бедственных регионов страны, социальные проблемы малочисленных народов Севера и другие. Этот мой вывод совпадает с оценкой С. С. Алымова позиций «центральной» этнографии [*Алымов* 2021: 79–80, 84–87].

В Институте этнографии шла работа по подготовке всесоюзной переписи населения 1989 г. в части выявления этнического состава населения. Эта важная государственная кампания всегда проводилась с активным участием этнографов. С переписи 1959 г. Институт этнографии готовил список возможных ответов на вопрос о национальности, которые встречаются в переписи как отражение этнического самосознания. Поскольку существует большое разнообразие как сугубо в языковом выражении, так и в реальной сложности групповых идентификаций среди населения страны, этнографы берут на себя миссию своего рода упорядочивания финального «списка народов». Конкретные этнографические знания накапливаются в ходе полевых исследований и крайне необходимы, чтобы избежать путаницы и нелепостей в случае, когда название национальности записывается строго по ответу опрашиваемого и не может подвергаться коррекции при подведении итогов переписи. Но у этой коррекции также есть свои принципы и пределы.

Советская этнографическая наука на разработке этнической номенклатуры (это называется *таксономией*, т. е. иерархической категоризацией) можно сказать «собаку съела». Поскольку примордиальный, а за ним и государственно-политический подход видели в национальном (этническом) исключительно коллективные образования, а не формы личностной и коллективной идентификации, то эти тела (группы) нужно было строго разделить и упорядочить кто в кого входит и кто составляет часть целого, кто принадлежит к «материнскому» этносу, а кто «сколок с этноса» или его подразделение (субэтнос). Существование в одном человеке сложной идентичности не допускалось, как и отсутствие групповой этнической принадлежности. Советский человек должен быть обязательно «этнофором», т. е. принадлежать к этносу и только к одному. Этот подход быстро усваивался как научной и управленческой средой, так и на бытовом уровне. Человек «вне этноса» или в каком-то «переходном» состоянии считался аномалией, «маргиналом» в научной терминологии, «манкуртом» — в художественно-метафорическом изображении.

Перестройка внесла новые веяния во всю эту ситуацию и отразилась на позициях специалистов по данному вопросу, среди которых лидером был Соломон Ильич Брук. Под его и Павла Ивановича Пучкова руководством готовились как перечень возможных вариантов ответов на вопрос о национальности и финальная группировка этих ответов в «список народов СССР», а также этнодемографические справочники и этнические карты. Эти ученые обладали энциклопедическими знаниями об этническом и конфессиональном составе населения СССР и всего мира, а работы советских этнографов по этому направлению имели мировое признание. Хотя уже на моей памяти институт переживал неприятности по причине жалоб-доносительств в ЦК КПСС от зарубежных коммунистических лидеров: Тодора Живкова (за указание на этнической карте Болгарии ареала проживания македонцев) и Жоржа Марше (за указание разных этнических общностей в составе французов). Внешний мир не только науки, но и политики не очень жаловал «советскую теорию этноса».

Этнографы на высшем собрании коммунистической партии

Среди исторических событий завершающих лет существования СССР в плане «национальной политики» можно назвать Пленум ЦК КПСС в сентябре 1989 г. по межнациональным отношениям и XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза в июле 1990 г. Решение о созыве специального пленума было принято еще на XIX партконференции и даже ранее, ибо Политбюро ЦК КПСС приняло 13 октября 1988 г. решение о привлечении ученых к подготовке Пленума ЦК КПСС по «совершенствованию межнациональных отношений» в СССР «как одно из неотложных дел советского государства в ходе перестройки». Институт этнографии принимал участие подготовкой материалов с анализом ситуации и предложениями. С. С. Алымов в своей статье ссылается на вариант такого подготовительного материала, который отложился в архиве института [*Алымов* 2021: 79–80]. Лично я не помню суть наших предложений, но подготовке пленума предшествовала своего рода интеллектуальная работа, в ходе которой мною были написаны и опубликованы в научных журналах статьи [*Бромлей* 1989а: 19–36; *Тишков* 1989а: 49–59; *Тишков* 1989б: 73–89; *Тишков* 1989в], а также сделан доклад на заседании Секции общественных наук Президиума АН СССР о новых подходах в теории и практике межнациональных отношений, который затем вышел отдельной брошюрой с дерзким названием «Да изменится молитва моя!».

В чем была суть моей позиции, которая уже воспринималась в какой-то мере и как позиция ведущего института, хотя журнальные статьи были написаны мною до избрания директором? Позволю себе в данном случае пространное самоцитирование. Статья в «Советской этнографии» о концепции

перестройки начиналась по тем временам довольно круто: «Сложившаяся в стране острая и во многом кризисная ситуация в сфере межнациональных отношений, грозящая самому существованию Советского многонационального государства, а не только ходу перестройки, требует осуществления глубоких реформ. Эти реформы должны быть основаны на действительно новых подходах, которые учитывали бы как специфический опыт советской действительности, так и некоторые закономерности глобального характера, свойственные современному миру, общие тенденции, действующие в общественной жизни многонациональных государств в конце XX века» [*Тишков* 1989б: 73]. Эти реформы должны были, по моему мнению, не только устранить деформации и накопившиеся кризисные проблемы, но и ставить цель строительства справедливого, демократического гражданского сообщества. «Для этого необходимо изменить политику в сфере межнациональных отношений, которая в настоящем ее виде, включая концептуально-теоретический багаж и государственно-правовую практику, устарела, во многом просто неверна и превратилась в тормоз дальнейшего развития советского общества» [*Тишков* 1989б: 74].

Далее следовал анализ ситуации в России и в мире, связанный с т. н. этническим возрождением, а также причин конфликтов исторического и социального характера. Нужны глубокие реформы в этой области и целью этих реформ должно быть создание как можно более благоприятных условий для проявления и обеспечения специфических интересов советских граждан, обусловленных их принадлежностью к той или иной историко-культурной общности. Необходимо было исходить из того, что сфера межнациональных отношений и проблемы в многонациональном государстве являются такой же объективной реальностью, как и сфера экономических и социально-политических отношений. Со стороны государства и политических сил в союзе с наукой требуется постоянный анализ этой меняющейся ситуации, включая выявление факторов, которые вызывают «всплеск» этничности или, наоборот, «охлаждают» этнические чувства. «Даже такие феномены и понятия, как «культура» и «традиции», должны восприниматься как живые, рождающиеся и угасающие явления, конструируемые людьми в процессе взаимодействия прошлого опыта и настоящей действительности» [*Тишков* 1989б: 75].

Таким образом, мною было публично заявлено об устарелости как теории, так и практики государство-строительства, а целью политики должно быть не давняя формула «решения национального вопроса», а обеспечение интересов граждан в связи с их этнической принадлежностью. Здесь же просматривалась позднее более полно сформулированная нами конструктивистская природа этнического (национального) вместо примордиальной заданности этнического феномена. Отсюда следовала вторая важнейшая посылка: «К этнической ситуации в стране необходимо подходить не как к чему-то из-

вечно заданному, а как к подверженным изменениям процессам проявления этнического. Эти процессы на данном историческом отрезке времени в мире в целом, а в СССР в условиях перестройки тем более, переживают этап наибольшей «интенсивности» и требуют по отношению к себе гибкого, многовариантного и чувствительного взаимодействия без их обязательной фиксации в конституционных структурах». Столь ревизионистские предложения были подстрахованы мною тезисом о необходимости открытого обсуждения и принятия решений по вопросам национальной политики. «Поэтому полная гласность, особенно когда речь идет о позиции ученых, — одно из непременных условий обновления в наших исходных позициях. Причем гласность, обязательный компонент которой — честность и открытость в изложении своих концепций, их целей и возможных результатов» [*Тишков* 1989б: 75].

И, наконец, важным для формулирования научных позиций был отказ от унитарного мышления, от веры, что возможна выработка какой-то единой концепции, которая, будучи принятой в научной среде, должна быть проведена через весь процесс принятия политических решений. Как я писал тогда, «дискуссии в Институте этнографии АН СССР, особенно в связи с событиями в Закавказье, с подготовкой XIX партийной конференции и предстоящего Пленума ЦК КПСС показали широкую поляризацию взглядов ученых... Было бы более верным и действительно научным подходом признание возможности и даже необходимости существования различных альтернативных позиций и вариантов, которые учитывались бы на всех стадиях подготовки и решения вопросов, вплоть до самого высокого государственного уровня, когда наряду с соображениями специалистов по национальным отношениям должны учитываться и другие факторы» [*Тишков* 1989б: 76].

Тогда же была предложена ревизия основных понятий и категорий в области национальной политики. Трудно было согласиться с «горизонтальным» делением современных народов нашей страны на нации и народности на основе практически единственного критерия — наличия или отсутствия государственности на уровне союзной или автономной республики. Ибо даже по признаку численности, не говоря уже о социально-экономических и культурных характеристиках, принципиальную грань между советскими нацией и народностью провести было невозможно. Нейтральный и обобщенный термин «народы» или «национальности» СССР, который уже присутствовал в наших программных документах, в том числе в тексте Конституции и в резолюции XIX партконференции, представлялся более уместным и более точным.

Был поднят вопрос и о главном термине «нация». Поскольку общественная мысль давно пытается найти новую дефиницию взамен неудовлетворительной сталинской формулировки, которая, в свою очередь, основывалась на концепции, родившейся в Европе и служившей почти два столетия интегрирующей идеей в процессе становления государственности многих

народов мира. Мною предлагался выход из теоретического тупика в отказе от термина «нация» в его этническом значении и сохранении того его значения, которое принято в мировой научной литературе и международной политической практике, т. е. нация — это совокупность граждан одного государства. Правда, вставал вопрос о новом определении типов этнических общностей. В этом случае из нашего терминологического арсенала исчезнет хотя бы одно из трех равнозначно употребляемых определений: нации и народности, национальности, народы СССР, как это сейчас имеет место. «Достаточно двух последних понятий, чтобы отразить реальную действительность СССР как многонационального (много национальностей) государства, не создавая при этом теоретическую неясность и ненужную усложненность категорий в общественно-политическом лексиконе. Вопрос этот, конечно, огромной теоретической важности. Он затрагивает саму суть марксистско-ленинского учения о национальном вопросе, которое, на мой взгляд, ныне нуждается в творческом обновлении» [*Тишков* 1989б: 76–77].

Понятийным анахронизмом представлялось нам и деление проживающих в республиках граждан на «коренные нации» и «некоренное население». Долгое время эти термины широко использовались в нашей стране. На основе этих понятий в значительной мере строилась политика в области национальных отношений и даже некоторые юридическо-правовые нормы на протяжении того периода в истории нашего общества, когда решалась задача преодоления отсталости и выравнивания уровней социально-экономического и культурного развития. При внешней нейтральности этих понятий, они всё же содержали оценочные моменты, характеризующие различия в уровнях развития. Иначе невозможно объяснить, почему эти же понятия и связанные с ними привилегии (например, в области получения высшего образования) не распространялись на русских в РСФСР или на старожильческое русское население в Казахстане. «Существованием данных различий наносится ущерб не только жителям республик «некоренной» национальности, но и не в меньшей степени самому «коренному» населению, ибо оно лишается притока в республику или область наиболее квалифицированных хозяйственных, научных и прочих кадров, которых сдерживает фактор потенциального отнесения их к «некоренному» населению и связанные с этим возможные ограничения в жизненном продвижении» [*Тишков* 1989б: 77–78].

Как мне тогда представлялось, задача демократизации общественных институтов и совершенствования национальных отношений определяет тенденцию не усложнения используемых в общественно-политической практике понятий и терминов в сфере межнациональных отношений, а, наоборот, их упрощения с подчеркиванием общегражданских, общесоюзных и общереспубликанских моментов. И в этой связи, на мой взгляд, вызывал сожаление отказ некоторых ученых и публицистов от понятия «советский

народ как новая историческая общность людей». Хотя и сформулированное далеко не в самую плодотворную пору теоретических изысканий, оно всё же отражает реальный феномен складывания на основе союзной государственности однотипных социальных и культурных условий, своего рода метаэтничности, нового уровня осознания своей принадлежности к более широкой социально-культурной общности людей. Как я писал тогда, «мы уже не просто сограждане, представители различных народов, но и обладатели целого комплекса общих черт, включая отдельные культурные характеристики, чувство общности исторической судьбы, некоторые черты социально-политического поведения, жизненные понятия и ценности. Поэтому вполне можно говорить о наличии двух уровней самосознания у советских людей: о возможности одновременно ощущать себя и представителем собственного этноса, и представителем более широкой общности — советского народа» [*Тишков* 1989б: 79].

В той же статье и в докладе на Президиуме АН СССР были сформулированы положения, которые звучали в публицистике и в политике как «права народов». Действительно, в 1960–80-е годы произошел знаменательный прорыв в мировом общественном сознании в отстаивании и утверждении прав и специфических интересов народов, расовых, религиозных и национальных групп. Существовавшие национальные законодательства и международно-правовая практика не обеспечивали интересы, которые имеют люди на основе своей принадлежности к той или иной общности историко-культурного, этнорасового, языкового или религиозного характера. Вопрос о правах народов находил свое отражение не только в национальных законодательствах многих стран, но и на уровне важнейших международных договоров и деклараций, документов ООН и других международных организаций, в деятельности многочисленных и влиятельных неправительственных организаций и групп. В СССР на этот счет после советской формулы «дружбы и интернационализма» стал всё громче звучать лозунг большевиков о праве наций на самоопределение. С учетом советского понимания нации этот лозунг стал основой этнического национализма и сепаратизма и при ослаблении авторитарной власти грозил серьезнейшими последствиями для государства. Что тогда было предложено нами?

Перечислим кратко, ибо в цитируемой нами статье содержатся пространные аргументы и разъяснения. Это: право на признание и существование, право на самоидентификацию и определение гражданами своей национальной принадлежности, право на суверенитет, самоопределение и самоуправление, право на сохранение культурной самобытности, право на доступ к достижениям мировой цивилизации и их использование. Конечно, это был своего рода инициативный перечень, но в тех условиях «парада суверенитетов», правовых импровизаций и силовых манифестаций данное высказывание было очень кстати.

Особая важность касалась трактовки самоопределения. Тогда наша трактовка была следующей: в условиях действия современных мировых хозяйственных связей и сохраняющейся социально-политической неоднородности мира сама по себе возведенная в абсолют национальная государственность не гарантирует народу главного — процветающего и мирного существования. Гораздо в большей степени интересам народов, включая сохранение их культурной самобытности, отвечают различные формы автономии и самоуправления в составе более крупных образований, в которых обеспечены необходимые социальная гармония и демократические гарантии волеизъявления на индивидуальном и коллективном уровнях. В этом плане разработка и углубление понятия автономии в ее сущностном, содержательном, а не только формально-конституционном, аспекте является одной из задач строительства правового государства в нашей стране». Позднее нами будет предложено считать наиболее полной формой самоопределения не выделение или отделение, а право участвовать как можно более полно в как можно в более широком общественно-политическом процессе.

Помимо моих статей, докладов и публицистических выступлений, обсуждение темы и поиск ответов на кризисные явления предпринимали и другие коллеги-этнографы. Ю. В. Бромлей также написал статью общего характера для «Советской этнографии» и опубликовал статью в газете «Правда» [*Бромлей* 1989б: 4–18; *Бромлей* 1989в]. В обсуждении темы нации и этнической общности участвовали Л. М. Дробижева, М. В. Крюков, С. А. Арутюнов, В. И. Козлов, М. Н. Губогло. В Ленинградском отделении института с актуальными статьями и публичными действиями выступали Р. Ф. Итс, Н. М. Гиренко. В завершающие перестройку кризисные годы этнографы фактически перехватили инициативу у партийных ортодоксов. Это особо проявилось на XXVIII съезде КПСС, с трибуны которого впервые выступили представители советской этнографической науки. Делегатами съезда были избраны заведующий кафедрой этнографии Ереванского государственного университета Юрий Исраэлевич Мкртумян и я как директор Института этнографии АН СССР. Помимо пленарных заседаний, на съезде были сформированы секции по обсуждению в том числе и национальной политики с задачей предложить съезду резолюцию по данному вопросу. К сожалению, у меня не сохранился текст выступления на секции, и я не смог его обнаружить в опубликованных материалах съезда. Но одна из моих позиций была озвучена на пленарном заседании, где по итогам работы секции «Национальная политика КПСС» выступил председатель секции, секретарь ЦК КПСС Андрей Николаевич Гиренко. Он сказал: «Если суммировать смысл выступлений, отсеять частности, можно выделить такие главные направления состоявшейся дискуссии. Первое — сразу же развернулась острая полемика вокруг формулы и проекта Программного заявления о приоритете

прав человека над правами нации. Делегат Тишков, директор Института этнографии Академии наук СССР, назвал эту позицию шагом вперед по сравнению с предшествовавшими партийными документами по национальному вопросу. А именно такой подход согласуется с нашим стремлением построить гражданское общество, правовое государство. С другой стороны, писатель Борис Олейник, делегат от Армении товарищ Даллакян предостерегали от абсолютизации этой формулы, поскольку она, по их мнению, таит в себе угрозу размывания национальной общности, вне которой могут обесцениваться такие понятия, как Родина, патриотизм, Отечество. Думаю, к этим возражениям и замечаниям следовало бы прислушаться и можно было бы предложить для рассмотрения в Комиссии по Программному заявлению партии примерно такую формулу: КПСС, признавая самоценность национальных форм общественной жизни, защищая права наций, на первое место ставит права человека» [XXVIII съезд 1990: 584–585].

Съезд создал комиссию по главе с Чингизом Айтматовым по подготовке резолюции съезда по национальному вопросу. Реально комиссия собралась только один раз, а писатель больше не появлялся даже на заседаниях съезда. Академик Виктор Алексеевич Пальм из Эстонии и я работали над проектом резолюции в кабинете Вячеслава Александровича Михайлова и с его участием. Резолюция была принята съездом, и это, возможно, самый важный официальный документ, в котором ученый-этнограф выступил принципиальным соавтором. У этого утверждения есть одно скрытое доказательство: в тексте ни разу не было использовано слово «нация» (эту же позицию мне удалось позднее провести и в тексте Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 г.). «Забывание нации» как базовой категории тем самым было лучшим вариантом в сторону желаемого мною утверждения его хотя бы двойного содержания.

Итак, резолюция XXVIII съезда КПСС называлась «Демократическая национальная политика — путь к добровольному союзу, миру и согласию между народами». Съезд констатировал, что «союз наших народов переживает серьезный кризис, который создает угрозу демократическим процессам, а его эскалация грозит обществу распадом». Было сказано об исторических корнях кризиса, а именно: насильственное лишение народов государственности и депортации, игнорирование экономических и духовных интересов народов, разрушения природной и социальной среды, деградация культур, взаимные обиды и претензии. Резолюция признавала демократический характер движений за национальное возрождение, стремление граждан всех национальностей к самоопределению, к улучшению условий жизни, к сохранению и развитию национальных культур. В тоже самое время отмечено, что «использование национальных чувств в узкогрупповых и корыстных интересах создали почву для обострения межнациональных противоречий и центробежных тенденций».

Не могу сказать, как изначально родился текст проекта резолюции, но узнаю написанные мною слова, в том числе: «Этнические конфликты (до этого такой термин вообще не употреблялся в официальном партийном языке — *авт.*) уже привели к множеству человеческих жертв, сотням тысяч беженцев, нанесли огромный моральный, политический и материальный ущерб, пагубно влияют на процессы демократизации и национального возрождения. Если не произойдет улучшения экономической ситуации, осуществления реального самоуправления районов, областей, республик и регионов, если в национальных движениях сохранится установка на нетерпимость, если не будет остановлен национально-шовинистический экстремизм, то десятки миллионов граждан нашей страны и всё общество ожидают еще более серьезные потрясения и трагические времена». В резолюции была записано, что ЦК КПСС и высшее руководство партии не смогли оценить глубину деформаций и противоречий в сфере национальной политики, предусмотреть их воздействие на ход перестройки, преодолеть догматизм, выработать опережающие ход событий принципиально новые подходы [Материалы XXVIII съезда 1990: 169]. Для понимающего читателя это было прямым осуждением партийных теоретиков национального вопроса. Кстати, после съезда известные авторы-философы отошли на второй план общественных дебатов и научных дискуссий.

В резолюции были предложены выходы из положения и предлагалась стратегия признания права как каждого народа, так и личности на самоопределение на основе свободного выбора. Далее — уважительное отношение к национальному языку, культуре, традициям и обычаям, согласие между гражданами и народами. «Необходимо сделать всё, чтобы претворение в жизнь принципов суверенитета включало в себя защиту прав всех граждан, такие формы самоуправления и программы культурной автономии в республиках, краях, областях и округах, которые обеспечивали бы права и интересы национальных меньшинств и малочисленных народов» [Материалы XXVIII съезда 1990: 171]. Съезд высказался за подготовку и заключение нового Союзного договора, в основу которого должна была быть положена идея союза суверенных государств с равноправным участием всех национально-государственных образований, включая автономные.

Союзный договор — последний акт драмы

Еще в 1989 г. на I съезде народных депутатов СССР было заявлено о необходимости заключения нового Союзного договора как формы юридического закрепления находившейся в остром кризисе советской государственности. Вопрос о целесообразности или, напротив, нецелесообразности заключения Союзного договора буквально раздирал советское руководство. Последовательной позиции не было и у советского лидера М. С. Горбачева.

Однако волна сепаратизма, захлестнувшая почти все союзные республики, заставляла искать новые формы объединения государства. Осознание этого появилось и в Кремле. На съезде партии было прямо записано о подготовке и заключении договора, но с оговоркой о необходимости делать это без спешки и с большой осторожностью. Подготовкой договора занялась группа экспертов-ученых (под общим кураторством Р. Н. Нишанова и руководителя аппарата Президента СССР Г. М. Ревенко), в которую был включен и я.

Сразу же начали поступать предложения по подготовке и заключению нового Союзного договора. По крайней мере, мои предложения на имя М. С. Горбачева были направлены еще во время работы съезда. Многие идеи, сформулированные советскими учеными, политиками и интеллектуалами в ходе мозгового штурма при подготовке этого документа, в 1990–1991 гг., не были востребованы. Так называемый ново-огаревский процесс был прерван в самый решающий момент, а вокруг содержания документа бушевали страсти, вызванные амбициями Горбачева и Ельцина и особыми позициями республиканских лидеров [*Батурин* 2021]. Петербургский историк А. С. Пученков обнаружил в Государственном архиве Российской Федерации текст моей записки и подготовил ее публикацию [*Пученков, Тишков* 2019: 819–822] как достаточно поучительный урок и одно из свидетельств драмы распада СССР, к которому была (не)причастна и академическая этнография. Приводим ниже текст данной записки:

> «К позиции Союзной делегации на переговорах по новому договору
>
> I. Важно определить заново аргументы в пользу сохранения Союза. Старые, преимущественно обращенные в прошлое (победа в войне с фашизмом, вековая история создания Российского государства и т. п.), или эмоции («Мы еще не жили в настоящей федерации», «Аморально покинуть Союз в тяжелое время») фактически не работают. В современных условиях сохранение Союза оправданно прежде всего [по] трем причинам:
>
> А) исторические: Слишком глубоки историко-культурные взаимосвязи народов страны, где нет четких этнических границ, по которым можно провести национально-государственное размежевание, желание республик самоопределиться вплоть до отделения в нынешних территориях и самоопределиться в качестве национальных государств, т. е. как самоопределение «коренной» нации — это путь к конфликтам или всеобщему переселению. Десятки народов расселены дисперсно. Десятки миллионов граждан имеют смешанное происхождение. Все эти процессы «отыграть» назад невозможно.
>
> Б) хозяйственные: Эффективное хозяйство, тем более рынок и частное предпринимательство не признают национальных границ. Не все народы имеют достаточно «критическую массу», чтобы обеспечить полноценные системы жизнеобеспечения. Уже сложившиеся связи разорвать фактически невозможно: они продиктованы не только волей Центра, но и природно-ресурсными факторами. Важные условия прогресса — мобильность населения — возможны именно в Союзе.

В) политические: В сохраняющейся социальной неоднородности мира вопросы безопасности не снимаются и общая оборона нужна. «Балканизация» Союза может привести к «ливанизации» — и превратить целые регионы в очаги гражданских, религиозно-этнических конфликтов. Союз — это почти готовая форма для включения в структуру мирового правления, для того чтобы привести народы страны в мировое сообщество, облегчить доступ к достижениям мировой цивилизации и культуры.

II. Разумно и тактически верно занять следующую исходную позицию: Центру выгоднее и легче, и он этого искренне желает — передать как можно больше полномочий республикам или другим составляющим Союза. Основная ответственность за организацию гражданской (не только национально-культурной) жизни от федеральной власти должна быть передана республикам. Эффективная рыночная экономика, приватизация всё равно избавят Центр и республики от необходимости делить территорию и собственность. Центр — это прежде всего высший гарант общегражданских начал, арбитр и модератор, это структура, облегчающая функционирование Союза, это пересечение республиканских связей, средоточие добровольно делегированных полномочий. Центр — это не железный обруч, а скрепляющая втулка в колесе республик, позволяющая прикрепить его к быстро двигающейся повозке мирового сообщества. Только такая исходная философия (хотя и не самая идеальная с точки зрения мирового опыта и науки) может сейчас быть воспринята. Мы вынуждены учитывать и наследие империи, и негативную часть советского опыта. Пределы свободы в условиях сохранения единства далеко не исчерпаны. Даже если дать уровень суверенитета, как у штатов в США и земель в ФРГ, это будет огромным шагом вперед.

III. Центр должен искать новые источники и рычаги своей целесообразности.

04.07.1990. В. А. Тишков» [ГАРФ Ф. 9654. Оп. 7 Д. 1062. Л. 13–15. С. 19–37].

Однако среди моих коллег были и противоположные взгляды. Так, Г. В. Старовойтова в своем докладе на конференции в Джорджтаунском университете весной 1990 г. изложила свои оценки ситуации в СССР, но больше как политик, а не профессиональный этнограф. «Советский Союз как последняя империя в мире следует по пути своих предшественниц. Две отличительные характеристики Советской империи заключаются в следующем: ее колонии не находятся за морями и центр империи — Россия — гораздо беднее своих колоний. Более того, Россия сама была колонией сталинского тоталитарного режима и нуждается в деколонизации, в восстановлении своего суверенитета наравне с другими республиками» [*Starovoitova* 1991: 203]. Влиятельный политик сделала свой прогноз развития ситуации и даже посетовала, что западные страны не очень поддерживают вариант распада СССР на 15 государств: «Я думаю, что Россия и другие республики могут в будущем создать что-то наподобие Британского Содружества. Однако сегодня радикальная экономическая реформа была

подорвана попытками Горбачева сохранить империю путем силы. А Запад в свою очередь не очень желает иметь дело не с одним, а с 15 новыми президентами, которые могут иметь ядерное оружие, и поэтому деликатно, но поддерживают центральную власть» [*Starovoitova* 1991: 203]. Таким образом, среди российских этнографов и тем более — среди гуманитарной интеллигенции было достаточно лиц, которые желали и обосновывали в меру своего понимания или идеологической заангажированности распад Советского Союза по линии союзных республик и даже более того. Этот момент трудно выкинуть из истории нашей страны.

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется (вместо заключения)

«Тяжело Союз сохранить, еще тяжелее разрушить». Под таким названием вышла моя статься в сентябре 1991 г. в журнале «Новое время» [*Тишков* 1991]. В ней содержался анализ позиций разных общественно-политических сил и государственно-административных образований СССР в отношении августовского путча 1991 г. и последовавших за этим декларациями регионов о суверенитете и независимости. Именно тогда были изложены некоторые идеи о государственном устройстве культурно-сложных обществ, о чем призваны размышлять в том числе и социально-культурные антропологи-этнологи. Эти идеи полезно напомнить, в том числе и как (не)сбывшиеся прогнозы одного из советских этнографов.

Итак, государства создаются людьми, решившими составить гражданское сообщество, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия своего социального существования. Еще никому не удалось выработать или умозрительно определить оптимальную форму образования государств, а тем более их упразднения. Есть лишь некоторые примерные условия. Среди них одним из важнейших является учет этнокультурного фактора. Суть его в том, что существующие на Земле этнокультурные общности (народы) стремятся оформить свое бытие не только системами хозяйственного жизнеобеспечения и передачи культурной информации, но и институтами власти, в том числе в форме государства. Однако государства — это оформленные границами территории, которые почти во всех случаях не совпадают с границами распространения культур и языков. Государства стремятся через общие символы, идеологические и правовые нормы конструировать общую идентичность среди своих граждан. Обеспечение лояльности граждан государств предусматривает сохранение и уважение культурного плюрализма. Именно такие нации-государства оказываются более жизнеспособными и добиваются процветания. «Старому Советскому Союзу не удалось решить эту проблему. Удастся ли новым образованиям не повторить один трагический эксперимент в 15-ти уменьшенных вариантах?», — вопрос, который был тогда задан мною в попытке предугадать на него ответы.

Как представлялось, по крайней мере три крупные проблемы просматривались на горизонте возможных новых суверенных государств.

Первая. Пока дезинтеграция произошла верхушечно, на уровне больших политических шахмат, в итоге усилий интеллектуалов, политиков и общественных активистов, сумевших увлечь за собою большинство. Но этого явно недостаточно для того, чтобы составить базу новых независимых государств. Размеры территорий, обладание ресурсами здесь не столь важны, как уверенность населения в своем выборе. А что, если крупные массивы компактно проживаемых граждан заявят об ином выборе? Готовы ли те, кто на основе права на самоопределение обрел независимость, дать такое же право на автономию другим осознающим свою отличительность группам? Например, венграм, болгарам, полякам на Украине, абхазам и осетинам в Грузии, корейцам и уйгурам в Казахстане, талышам и лезгинам в Азербайджане и так далее. «Список этот гораздо длиннее, чем подозревают политики, ибо этничность имеет свойство рождаться заново, оформляться на региональной основе или на основе общей исторической традиции. Если общество поощряет не свободу и развитие культур, а этнонационализм в виде создания для каждой из групп своих государств — движение за самоопределение, за которым стремление обеспечить доступ к власти и избежать неравного статуса, будет продолжаться бесконечно со стороны тех, кого в новых государствах хотят квалифицировать как «этнические меньшинства».

Вторая. Статус меньшинств никак не будет принят «сколками» с крупных народов, которые составляют в отделившихся государствах иногда многомиллионные массы. Прежде всего это касается русских, 6,5 млн. которых проживает в Казахстане, составляя большинство в шести областях этой республики, и 11,3 млн. на Украине, где они находятся главным образом в сложной по составу и смешанной по культуре зоне русско-украинского пограничья и превалируют среди населения Крыма. Такая же ситуация характерна для украинцев в России, в Молдавии и в Белоруссии, для русских в Латвии и Эстонии, не говоря уже об опасной чересполосице в среднеазиатском регионе, особенно узбекско-таджикском пограничье.

Статус меньшинств для этой части населения невозможен потому, что они есть такие же автохтонные жители новых образований и рядом, за государственной границей, пребывает основное ядро их собственного народа. В этих случаях очень вероятно, особенно при неблагоприятных социальных и культурных условиях, возникновение так называемого ирредентизма, т. е. движения за воссоединение с собратьями. Это обычно самая грозная причина и форма межэтнических конфликтов. Ирредентизм уже наблюдается среди части русских в Эстонии, украинцев и русских в Приднестровье. Но он может обрести силу в таких регионах, как Северный Казахстан, Восточная Украина и Крым (среди русских), для которых успокаивающие заверения политиков и верхушечные договоренности ровным счетом ничего не значат.

Массовые миграции и переселения здесь не помогут, как и другие силовые методы. Пересмотр, вернее уточнение границ (никак не территориальные претензии, ибо речь идет о желании части граждан в отношении территории собственных государств), может быть единственным, хотя и очень сложным, путем решения конфликтных ситуаций. Но есть более верный и гарантированный путь утверждения основ новой государственности — это признание равнообщинного характера населения ряда новых стран, в том числе и прежде всего через официальное двуязычие (украинско-русское, молдавско-русское, латышско-русское, казахско-русское, узбекско-таджикское).

Третья. Это вопрос о судьбе многочисленного, порой более влиятельного, чем политики, интернационального по составу слоя образованной гуманитарной и технической интеллигенции в Центре, рекрутированного из народов всех республик, особенно Украины, Грузии, Армении. Завтра десятки, если не сотни, тысячи талантливых, широко известных, высокообразованных людей утратят ставшее для них привычным и жизненно важным социально-культурное пространство советской страны. Их этническая (историческая) родина будет за рубежами России, а гражданство и общественный статус должны будут обеспечиваться в независимой России в условиях уже безусловно доминирующего русского окружения? Национализм среди самого крупного народа страны — русских был до этого менее развит, чем среди других народов. После образования суверенных государств русские среди всех других аналогичных по численности народов мира (свыше ста миллионов) окажутся в явно невыгодном положении, когда значительная территория их расселения станет «зарубежьем» или землей суверенных российских автономий, тоже мечтающих хотя бы денек побыть независимыми. «Рост русского национализма и движение за самоопределение русской нации вполне могут разделить логику развития аналогичных процессов среди других народов. Обо всем этом есть смысл задуматься, чтобы уйти подальше от путча и избежать более масштабного насилия».

Эти наши размышления-предупреждения в значительной своей части оказались обоснованными. Но осенью 1991 г. еще был СССР и государство Российская Федерация не существовало. Однако подведем итоги попыткой ответить на вопрос: какую роль играли этнический фактор и советская этнографическая наука в годы горбачевской перестройки? Драматические годы распада СССР по этнотерриториальным границам (больше по причине раскола элит, борьбы за власть в Кремле и внешних разрушительных воздействий [*Тишков* 2005: 588–600]) были отмечены «национальным возрождением», «парадом суверенитетов», когда союзный парламент больше напоминал «ассамблею наций», а принимаемые им законы были о «свободном национальном развитии» граждан, проживающих на территориях «своих» или «не своих национально-государственных образований». Никто из ученых-гуманитариев, включая и этнографов, тогда не выступил с критикой самой

формулы приписывания этнической общности эксклюзивной собственности на государственность в рамках одной страны.

Молодая российская демократия добавила к правовым несуразицам этнического самоопределения еще и антиимперский мотив. На I Съезде народных депутатов РСФСР в мае 1990 г. Б. Н. Ельцин заявил: «Многолетняя имперская политика центра привела к неопределенности нынешнего положения союзных республик, к неясности их прав, обязанностей, ответственности. Страдает от этого диктата и Россия (имелась в виду РСФСР. — *авт.*), которая и должна объявить собственный суверенитет». К этому добавились призывы «обустроить Россию» и таких властителей дум, как писатель А. И. Солженицын: «Нет у нас сил на окраины», «Нет у нас сил на Империю!». Большинство гуманитариев, включая и этнографов, поддерживали децентрализацию, но только немногие (как правило, представители нерусских народов в союзных и автономных республиках) выступали за «самоопределение вплоть до отделения» и поучаствовали в разной степени в националистических движениях и в самом процессе демонтажа советского государства.

Таким образом, концептуально национальная политика не смогла вырваться из дискурса самоопределения и антиимперской парадигмы. Тем самым распад СССР можно считать и поражением старых доктринальных подходов, включая научные теории в области этнонациональной политики. Но в советском наследии, включая гуманитарную науку, было много позитивных моментов по части этнокультурного развития больших и малых народов СССР, формирования этнического самосознания. Многое из опыта советской национальной политики было заимствовано другими странами, особенно в плане сохранения малых культур и языков, а также развития этнической периферии полиэтничных обществ.

Научные наработки советских этнографов 1960–1980-х гг., особенно в области конкретного изучения народов, межэтнических взаимодействий, демографии и картографии послужили во многом одной из основ обустройства новой государственности как в Российской Федерации, так и в других странах бывшего СССР. Однако присущие советской этнографии теоретические подходы в рамках примордиального этнонационализма не были изжиты до конца. Долгие годы эти подходы сохранялись среди гуманитарной интеллигенции российских автономных образований — республик [*Гранин* 2010: 147–154]. Тем более во всех странах бывшего СССР, кроме России, этнонационализм в его разных вариантах стал доктринальной основой государственного строительства. Здесь советские теории нации и этноса от Федосеева-Куличенко до Бромлея-Гумилева были задействованы в местном исполнении, вызвав мгновенные или отложенные конфликты. Это противоречивое наследие осталось с нами после 1991 года. Но это уже другая история.

Источники и литература

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9654. Оп. 7. Д. 1062. Л. 13–15. Машинопись. Подлинник. 1 С. 19–37.

Алымов С. С. Забывая этнос и нацию: этнографические дискуссии и экспертиза «национального вопроса» в период перестройки // Шаги / Steps. 2021. Т. 7. № 2. С. 70–92.

Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР // Избранные речи и статьи. М.: Прогресс, 1983. 334 с.

Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Кондратьев В. С., Сусоколов А. А. Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты исследования. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1984. 271 с.

Батурин Ю. М. Союз (не)возможный. Документированная хроника Ново-огаревского процесса. 1990–1991. М.: ИИЕТ РАН — Саратов: ООО «Амирит», 2021. 988 с.

Бромлей Ю. В. Человек в этнической (национальной) системе // Вопросы философии. 1988. № 7. С. 16–28.

Бромлей Ю. В. О разработке национальной проблематики к пленуму ЦК КПСС // Что делать? В поисках идей совершенствования межнациональных отношений в СССР. М.: ИНИОН, 1989а. С. 19–36.

Бромлей Ю. В. О разработке национальной проблематики в свете решений XIX партконференции // Советская этнография. 1989б. № 1. С. 4–18.

Бромлей Ю. В. Федерация или конфедерация? // Правда. 1989в. № 219 (7 авг.). С. 2.

Гранин Ю. Д. Национализм и интеллигенция // Вестник Российской академии наук. 2010. Т. 80. № 2. С. 147–154.

Дробижева Л. М. Национальное самосознание и динамика культуры // Нация и культура. Под ред. В. А. Маамяги. Таллин, 1985. С. 49.

Дробижева Л. М. Духовная общность народов СССР. Историко-социологический очерк межнациональных отношений. М.: Мысль, 1981. 261 с.

Куличенко М. И. Нация и социальный прогресс. М.: Наука, 1983. 317 с.

Материалы XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1990. 351 с.

Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 14–15 июня 1983 г. М.: Политиздат, 1983. 129 с.

Нация и культура. Под ред. В. А. Маамяги. Таллин: АН ЭССР, 1985. 136 с.

От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). Под ред. Д. В. Арзютова, С. С. Алымова, Д. Дж. Андерсона. СПб: МАЭ РАН, 2014. 509 с.

Пученков А. С., Тишков В. А. «Важно определить заново аргументы в пользу сохранения Союза…» // Новейшая история России. 2019. Т. 9, № 3. С. 819–822.

Соколова З. П. Этнограф в поле: Западная Сибирь. 1950–1980-е годы. Полевые материалы, научные отчеты и докладные. М.: Наука, 2017. 942 с.

Соловей Т. Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте (XIX — начало XXI вв.). М.: Прометей, 2004. 498 с.

Соловей Т. Д. История российской этнологии в очерках. XVIII — начало XXI века. М.: Этносфера, 2022. 612 с.

Соловей Т. Д. От «буржуазной» этнологии к «марксисткой» этнографии: стратегия продвижения марксистской ортодоксии в раннесоветский период // Исторические исследования. Журнал исторического факультета МГУ. 2018. № 11. С. 160–178.

Социальное и национальное. Опыт этносоциологического исследования по материалам Татарской АССР. Под ред. Л. М. Дробижевой. М., 1972. 330 с.

Социально-культурный облик советских наций. По результатам этносоциологического исследования. Под ред. Ю. В. Арутюняна, Ю. В. Бромлея. М.: Наука, 1986. 453 с.

Тишков В. А. Разговоры с этнографами. М.: Алетейя, 2021. 175 с.

Тишков В. А. Советская этнография: преодоление кризиса // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 5–20.

Тишков В. А. История и историки в США. М.: Наука, 1985. 352 с.

Тишков В. А. Тяжело Союз сохранить, еще тяжелее разрушить // Новое время. 1991. Сентябрь. № 3.

Тишков В. А. Этнический фактор и распад СССР: варианты объяснительных моделей // Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза / под ред. Г. Н. Севостьянова. М.: Наука, 2005. С. 588–600.

Тишков В. А. Народы и государство // Коммунист. 1989а, № 1. С. 49–59.

Тишков В. А. О концепции перестройки межнациональных отношений в СССР // Советская этнография. 1989б. № 1. С. 73–89.

Тишков В. А. О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений // Советская этнография. 1989в. № 5. С. 3–14.

Тишков В. А. Народ, нация, государственность // Советская культура. 1989. 3 июля.

Три века российской этнографии: страницы истории. Под ред. М. М. Керимовой, А. А. Сириной. М.: Наука-Восточная литература, 2020. 310 с.

Тумаркин Д. Д. «О тамо, кайе!» Воспоминания и размышления ученого-путешественника. М.: Наука-Восточная литература, 2018. 381 с.

Чебоксаров Н. Н. Проблемы происхождения древних и современных народов. М.: Наука, 1964. 19 с.

XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня — 1 июля 1988 г.: Стенографический отчет. В 2 т. Т. 1. М.: Политиздат, 1988. 352 с.

XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 2–13 июля 1990 года. Стенографический отчет. Т. 1. М.: Политиздат, 1990. С. 584–585.

Starovoitova G. V. The Soviet Union in 1990 // Five Years That Shook the World. Gorbachev's Unfinished Revolution. Ed. By Harley D. Balzer. Boulder: Westview Press, 1991. P. 201–205.

Weatherford J. M. Tribes on the Hill: The U. S. Congress Rituals and Realities. New York: Bergin & Garvey Publishers, 1985. 300 p.

Авторский коллектив

д. и. н. *Ирина Юрьевна Винокурова* (глава 10),

член-корр. РАН *Андрей Владимирович Головнев* (глава 1),

д. и. н. *Иван Александрович Гринько* (глава 15),

к. и. н. *Елена Геннадьевна Гущина* (глава 11),

к. и. н. *Галина Геннадьевна Ермак* (глава 7),

д. и. н. *Алексей Егорович Загребин* (глава 9),

д. и. н. *Залина Владимировна Канукова* (глава 8),

д. и. н. *Виктор Владимирович Карлов* (главы 3 и 4),

д. и. н. *Олег Викторович Кириченко* (глава 12),

д. и. н. *Марина Юрьевна Мартынова* (введение, глава 14),

д. и. н. *Ирина Вячеславовна Октябрьская* (глава 6),

к. и. н. *Любовь Викторовна Остапенко* (глава 13),

к. и. н. *Елена Анатольевна Пивнева* (глава 5),

д. и. н. *Татьяна Дмитриевна Соловей* (глава 2),

д. и. н. *Анатолий Федорович Старцев* (глава 7),

д. и. н. *Татьяна Алексеевна Титова* (глава 11),

академик *Валерий Александрович Тишков* (введение, глава 16),

д. и. н. *Инга Тотразовна Цориева* (глава 8),

к. и. н. *Валерий Энгельсович Шарапов* (глава 9),

д. и. н. *Анна Александровна Шевцова* (глава 15).

Научное издание

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ
В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Коллективная монография
Ответственный редактор: М. Ю. Мартынова

Утверждено к печати Ученым советом Ордена Дружбы народов
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

Литературный редактор: М. Ю. Мартынова
Верстка: В. О. Березин

ISBN 978-5-4211-0296-0
DOI: 10.33876/978-5-4211-0296-0/1-556
Подписано в печать 29.09.2022 Формат 70x100 1/16
Усл.-печ. л. 45,18 Тираж 500 экз. Заказ № 1146

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
в типографии Т8 «Издательские Технологии»